



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

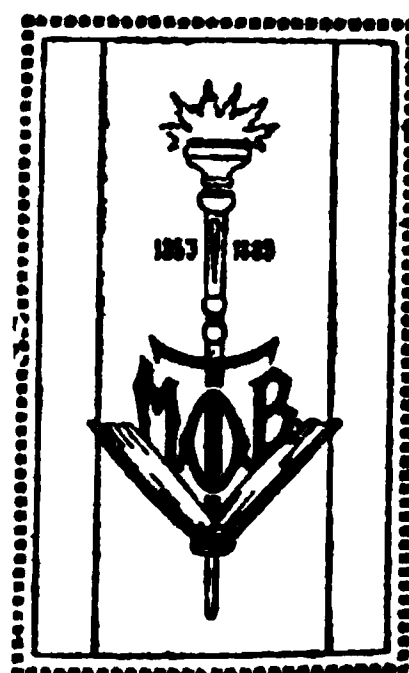
Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

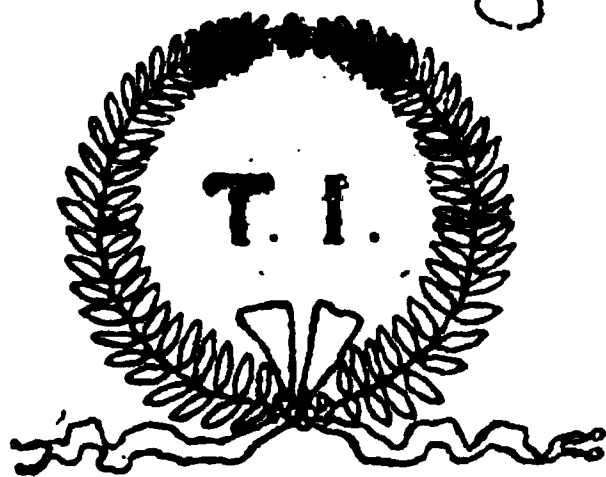


Merezhkovskii
Д. МЕРЕЖКОВСКИЙ

A l e k s a n d r
АЛЕКСАНДРЪ

ПЕРВЫЙ

R e k u y i



ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ



ИЗДАНИЕ

Т-ВА М. О. ВОЛЬФЪ и Т-ВА И. Д. СЫТИНА

С. ПЕТЕРБУРГЪ и МОСКВА

1913

PRESERVATION
COPY ADDED
ORIGINAL TO BE
RETAINED

~~261~~
~~M 559~~
~~1A3~~

JAN 6 1913

1913

TO VIMU
AIRBORNE

PG 3467

M4 A75

1913

MAIN

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Очки погубили карьеру князя Валерьяна Михайловича Голицына.

— Поди-ка сюда, карбонарь! За ушко да на солнышко. Расскажи, чего напроказилъ? Что за исторія съ очками, а? Весь городъ говоритъ, а я и не знаю, — сказалъ, подставляя бритую щеку для поцѣлуя князю Валерьяну дядя его, старичокъ лысенькій, кругленькій, катавшійся, какъ шарикъ, на коротенькихъ ножкахъ; все лицо въ мягкихъ бабьихъ морщинахъ, какія бываютъ у старыхъ актеровъ и царедворцевъ; — министръ народнаго просвѣщенія и оберъ-прокуроръ Синода, князь Александръ Николаевичъ Голицынъ.

Когда князь Валерьянъ, послѣ двухлѣтняго отсутствія (онъ только что вернулся изъ чужихъ краевъ), вошелъ въ министерскую пріемную, большую, мрачную комнату съ окнами на Михайловскій замокъ, такъ и пахнуло на него запахомъ прошлаго, вѣчною скукою повторяющихся сновъ.

На томъ же мѣстѣ опустилась подъ нимъ ослабѣвшая пружина въ старомъ кожаномъ креслѣ. Такъ же

на вапцелярскомъ зеленомъ сукнѣ стола лежали запрещенныя духовною цензурою книги; *О вредѣ грибовъ*, прочелъ онъ заглавіе одной изъ нихъ: грибы постная пища,—догадался,—нельзя сомнѣваться въ ихъ пользѣ. Тѣми же снимками со всѣхъ изображеній Спасителя, какія только существуютъ на свѣтѣ, увѣшаны были стѣны пріемной: ликъ Господень превращенъ въ обойный узоръ. Такъ же рдѣла въ глубинѣ сосѣдней комнаты-молельни темно-красная лампада, въ видѣ кроваваго сердца; такъ же пахло застарѣлымъ, точно покойническимъ, ладаномъ.

— Помилосердствуйте, дядюшка! Вы уже двадцатый меня объ этомъ сегодня спрашиваете,—сказалъ князь Валерьянъ, глядя на стараго князя изъ-подъ знаменитыхъ очковъ, съ тонкою усмѣшкою на сухомъ, желчномъ и умномъ лицѣ, напоминавшемъ лицо Грибоѣдова.

— Да ну же, ну, говори толкомъ, въ чемъ дѣло?

— Дѣло выѣденнаго яйца не стоитъ. На вчерашнемъ дворцовомъ выходѣ въ очкахъ явился; отвыкъ отъ здѣшнихъ порядковъ: изъ памяти вонъ, что въ присутствіи особъ высочайшихъ ношеніе очковъ не дозволено...

— Поздравляю, племянничекъ. Камеръ-юнкеръ въ очкахъ! И свой карьеръ испортилъ, и меня, старика, подвелъ. Да еще въ такую минуту...

— Изъ-за очковъ паденіе министерства, что-ли?

— Не шути, мой другъ, не доведутъ тебя до добра эти шутки...

— Что за шутки! Завтра къ Аракчееву являться. Ежели въ крѣпость или въ телѣжку посадятъ съ фельдъегеремъ,—только на васъ и надѣюсь, дядюшка.

— Не надѣйся, душа моя! Я отъ тебя отсту-

пися: совѣтовъ не слушаешь, самъ лѣзешь въ петлю. Думаешь, не знаетъ начальство, какая у васъ каша заваривается? Все знаетъ, мой милый, все. Погоди-ка, ужо выведутъ васъ на чистую воду, господа карбонары... А письмо-то, письмо? Это еще что такое? Откровенничать вздумалъ по почтѣ? Ужъ если такъ приспичило, можно бы, чай, и съ оказіей...

Въ перехваченномъ тайной полиціей и представленномъ государю письмѣ князь Валерьянъ называлъ Аракчеева „гадиной“. Князь Александръ Николаевичъ ненавидѣлъ Аракчеева; не кланялся съ нимъ, даже во дворцѣ, въ присутствіи государя. Князь Валерьянъ зналъ, что за это письмо дядя готовъ простить ему многое.

— Я всегда полагалъ, ваше сіятельство, — проговорилъ онъ съ еще болѣе тонкой усмѣшкой на слегка поблѣднѣвшихъ губахъ, — что заглядывать въ частныя письма все равно, что у дверей подслушивать...

Старикъ зашивалъ, замахалъ руками.

— Если желаете, сударь, продолжать со мною знакомство, извольте выбирать выраженія ваши, — сказалъ онъ по-французски.

— Виновать, ваше сіятельство, но, право, мочи нѣтъ! Вся кровь въ желчь превращается. Я понимаю, что можно здоровому человѣку привыкнуть жить въ желтомъ домѣ съ сумасшедшими, но честному съ подлецами въ лакейской — нельзя.

— Вы очень измѣнились, мой милый, очень измѣнились, — покачалъ головою дядюшка. — И скажу прямо, не къ лучшему: эти заграничныя знакомства вамъ не впрокъ.

„Успѣли-таки донести, мерзавцы!“ подумалъ князь

Валерьянъ. Заграничное знакомство былъ вольнодумный философъ Чаадаевъ, съ которымъ онъ сблизился во время своего пребыванія въ Парижѣ.

— Я вижу, дорогой мой, вы все еще не можете освободиться отъ самого себя и обратиться въ то ничто, которое едино способно творить волю Господню, — проговорилъ дядюшка и завелъ глаза къ небу. — Какъ блудный сынъ, покинули вы отчій домъ и рады питаться свиными рожками на поляхъ ино-племенниковъ...

„Свиные рожки—конституція“, догадался князь Валерьянъ.

Долго еще говорилъ дядюшка объ Іисусѣ сладчайшемъ, о совлеченіи ветхаго Адама и воскрешеніи Лазаря, о состояніи Маріи, должествующемъ замѣнить состояніе Марѣы, о божественной росѣ и воздыханьяхъ голубицы.

Князь Валерьянъ слушалъ съ тоскою. „Гюлевый бы чепчикъ съ рюшками тебѣ на лысенку, и точь въ точь Крюденерша пророчица!“ думалъ онъ, глядя на стараго князя.

— Всякая власть отъ Бога. Христіанинъ и возмутитель противъ власти, отъ Бога установленной, есть совершенное противорѣчіе, — кончилъ старикъ тѣмъ, чѣмъ кончались всѣ подобныя проповѣди.

— А вѣдь я и забылъ, ваше сіятельство, — успѣлъ, наконецъ, вставить князь Валерьянъ, — порученіе отъ Марьи Антоновны...

Взялъ со стола свертокъ, развязалъ и подалъ, не безъ камеръ-юнкерской ловкости, шелковую подушечку изъ тѣхъ, какія употреблялись для колѣнопреклоненій во время молитвы, съ вышитымъ католическимъ пламенѣющимъ сердцемъ Іисусовымъ.

— Собственными ручьями вышить изволили. Пусть, говорятъ, будетъ князю память о другѣ вѣрномъ всегда, особенно же нынѣ, въ претерпѣваемыхъ имъ безвинно гоненіяхъ.

— Ахъ, милая, милая! Вотъ истинная дочь Израиля!—умилился дядюшка.—Будешь у нея сегодня на концертѣ Вьельгорскаго?

— Буду.

— Ну, такъ скажи ей, что завтра же приѣду расцѣловать ручки.

Въ любовныхъ ссорахъ государя съ Марьей Антоновой Нарышкиной князь Александръ Николаевичъ Голицынъ былъ всегдашнимъ примирителемъ, за что злые языки называли его „старою своднею“.—„Тридцатилѣтній другъ царевъ, угождая плоти, міру и діаволу, князь всегда былъ заодно съ царемъ, въ такихъ дѣлахъ, о нихъ же нельзя и глаголати“,—обличалъ его архимандритъ Фотій.

— И еще порученьице, дядюшка: узнать о министерскихъ дѣлахъ, о козняхъ враговъ.

— Самъ расскажу ей... А, впрочемъ, вы, можете быть, тамъ больше нашего знаете? Ну-ка, что слышалъ? Рассказывай.

— Много ходитъ слуховъ. Говорятъ, министерства вашего дни сочтены; въ заговорѣ, будто, о. Фотій съ Аракчеевымъ...

— И съ Магницкимъ.

— Быть не можетъ! Магницкій—сынъ о Христѣ возлюбленный... А вѣдь говорилъ я вамъ, дядюшка: берегитесь Магницкаго. Шельма, какихъ свѣтъ не видалъ,—помѣсь курицы съ гіеною.

— Какъ, какъ? Курица съ гіеною? Недурно. Ты иногда бываешь остроуменъ, мой милый...

— А помните, ваше сіятельство, какъ исцѣляли бѣсноватаго?—спросилъ князь Валерьянъ.

— Да, представь себѣ, кто бы могъ подумать? Мошенники... Ну, да что Магницкій! Богъ съ нимъ. А вотъ о. Фотій, о. Фотій,—какой сюрприз!

Сбѣгалъ въ кабинетъ и вернулся съ двумя пись-
ми

— Читай.

„Ваше сіятельство, высокочтимый князь! Ты и я—
въ тѣло и душа. Сердце одно мы. Христосъ по-
ди насъ и есть будетъ“, вончалось одно письмо,
Фотія.

Другое—черновикъ, отвѣтъ Голицына:

„Высокопреподобный отче Фотій! Свиданія съ
и жажду, какъ холодной воды въ жаркій день.
мшаюсь слезами и прошу у Господа крылъ голу-
ыхъ, чтобы легѣть къ вамъ. Воистину, Христосъ
реди насъ“.

— Ахъ, дядюшка, дядюшка, погубить васъ доб-
сердце!—едва удержался князь Валерьянъ отъ
раднago смѣха.

— Богъ милостивъ, мой другъ. Сколько люди
я ни обманываютъ, а я въ дуракахъ не бывалъ.
въ вотъ и нынче. Министерство отнять хотятъ.
я радешенекъ! Только того и желаю, чтобы на
бодѣ подумать о спасеніи души...

Опять завелъ глава въ небу.

— У государя, вотъ у кого доброе сердце,—
охнулъ съ умиленіемъ.—Ну, тотъ этимъ и поль-
гся...

„Тотъ“ былъ Аракчеевъ: старый князь такъ не-
идѣлъ его, что никогда не называлъ по имени.

— Подойдетъ тихохонько, склонить голову на

бокъ и пригнорюнится: „государь батюшка, ваше величество, одолѣли меня, старика, немощи, увольте въ отставку“...

Князь Валерьянъ взглянулъ на дядюшку и замеръ отъ удивленія: мягкія бабьи морщины сдѣлались жесткими, глаза потухли, щеки впали, лицо вытянулось, — живой Аракчеевъ. Но исчезло видѣніе—и опять сидѣлъ передъ нимъ благочестивый проповѣдникъ; только гдѣ-то, въ самой глубинѣ глазъ, искрилась шалость.

Вспомнился князю Валерьяну рассказъ, слышанный отъ самого дядюшки, какъ однажды въ юности, еще камеръ-пажемъ, побился онъ объ закладъ, что дернетъ за косу императора Павла І. И, дѣйствительно, стоя за государевымъ стуломъ, во время обѣда, изловчился, — дернулъ. Государь обернулся. „Ваше величество, коса покривилась, я исправилъ“. — „А, спасибо, дружокъ!“

— Такъ-то, мой милый, — продолжалъ дядюшка. — Говоря между нами, это министерство просвѣщенія у меня вотъ гдѣ! Сытъ по горло. Не министерство, а гнѣздо демонское, котораго очистить нельзя, — развѣ ангелъ съ неба сойдетъ. Всѣ училища—шѣолы разврата. Новая философія изрыгнула адскія лжемудрствованія и уже стоитъ среди Европы съ поднятымъ кинжаломъ. Кричатъ: науки! науки! А мы, христіане, знаемъ, что въ злохудожную душу не внидетъ премудрость, ниже обитаетъ въ тѣлеси, повинномъ грѣху. И что можно сдѣлать добраго книгами? Все уже написано. Буква мертвитъ, а духъ животворить... Я бы, мой другъ, всѣ книги сжегъ! — закончилъ онъ съ тою же рѣзвостью, съ которою, должно быть, дергалъ императора за косу.

„Ахъ, шалунъ, шалунъ! — думалъ князь Валеръ-

янь.—Сколько зла надѣлалъ, а вѣдь вотъ невинень.
какъ дитя новорожденное“.

— Ты что на меня такъ уставился? Аль не по
шерсткѣ? Ничего, братъ, стерпится. слюбится. Ты
еще вернешься къ намъ...

Посмотрѣлъ на часы.

— Въ Синодъ пора, два архіерея ждутъ. Ну,
Господь съ тобой. Дай перекрещу. Вотъ такъ,—те-
перь не бойся, ничего тебѣ *тотъ* не сдѣлаетъ. А
право же, возвращайся-ка къ намъ, блудный сы-
нокъ!

— Нѣтъ ужъ, дядюшка, куда мнѣ? Горбатаго
развѣ могилка исправить.

— Не могилка, а дѣвица Турчанинова.

— Какая дѣвица?

— Не слышалъ? Удивительно. Исполняетъ взгля-
домъ горбатыхъ и глухонѣмыхъ. Я собственными гла-
зами видѣлъ сына генерала Толя, съ одной ногой ко-
роче другой, и представь себѣ, черезъ мѣсяцъ ноги
сравнялись. Силу эту уподобить можно помпѣ или—
какъ это?—насосу, что ли, извлекающему изъ на-
туры магнетизмъ животный... Сейчасъ некогда, по-
томъ расскажу. Хочешь, къ ней съѣздимъ?

— Съ удовольствіемъ. Можетъ быть, и меня вы-
править?

— А ты что думалъ? Богу все возможно. Или
не вѣришь?

— Вѣрю, дядюшка. А только знаете, что мнѣ
иногда въ голову приходитъ: если бы самъ Христосъ
сталъ творить чудеса и проповѣдывать на Адмирал-
тейской или Дворцовой площади, тутъ и до Пилата
не дошло бы, а первый квартальный взялъ бы Его
на съѣзжую. И архіереи ваши не заступились бы...

„Ни вы, ни вы, ваше сіятельство!“—едва не сорвалось у него съ языка, и не дожидаясь отвѣта, выбжалъ изъ комнаты.

Старый князь только пожалъ плечами.

— Безпутная голова, а сердце доброе. Жаль, что скверно кончить!

ГЛАВА ВТОРАЯ

.
Вскорѣ послѣ Аустерлица, появилось въ иностран-
ныхъ газетахъ извѣстие изъ Петербурга: „госпожа
Нарышкина побѣдила всѣхъ своихъ соперницъ. Госу-
дарь былъ у нея въ первый же день по своемъ воз-
вращеніи изъ арміи. Доселѣ связь была тайной; те-
перь же Нарышкина выставляетъ ее на показъ, и всѣ
передъ ней на колѣняхъ. Эта открытая связь мучить
императрицу“.

Однажды на придворномъ балу государыня спро-
сила Марью Антоновну объ ея здоровьѣ.

— Не совсѣмъ хорошо, — отвѣтила та, — я, ка-
жется, беременна.

Объ знали отъ кого.

„Поведеніе вашего супруга возмутительно, — осо-
бенно, маленькіе обѣды съ этою тварью, въ собствен-
номъ кабинетѣ его, рядомъ съ вами“, — писала до-
чери своей, русской императрицѣ, великая герцогиня
Баденская. Пла рѣчь о разводѣ.

Но за двадцать лѣтъ къ этому всѣ привыкли, и
уже никто не удивлялся. Марья Антоновна была

такъ хороша, что не хватало духа осудить ея любовника.

„Разиня ротъ, стоялъ я въ театрѣ передъ ея ложей и преглушымъ образомъ дивился красотѣ ея, до того совершенной, что она казалась неестественной, невозможной“, — вспоминалъ черезъ много лѣтъ одинъ изъ ея поклонниковъ.

„Скажи ей, что она ангелъ, — писалъ Кутузовъ женѣ, — и что если я боготворю женщинъ, то для того только, что она — сего пола: а если-бъ она мужчиной была, тогда бы всѣ женщины были мнѣ равнодушны“.

Всѣхъ Аспазія милѣй
Черными очей огнями,
Грудью пышною своею...
Она чувствуетъ, вздыхаетъ,
Нѣжная видна душа;
И сама того не знаетъ,
Чѣмъ всѣхъ болѣ хороша, —

пѣлъ старикъ Державинъ.

Никто не удивлялся и тому, что у мужа Марьи Антоновны, Дмитрія Львовича Нарышкина, двѣ должности: явная — оберъ-гофмейстера и тайная — „снисходительнаго мужа“ или, какъ шутники говорили, „великаго мастера масонской ложи рогоносцевъ“.

Добродѣтельная императрица Марія Теодоровна писала добродѣтельной супругѣ Марьѣ Антоновнѣ: „супругъ вашъ доставляетъ мнѣ удовольствіе, говоря о васъ съ чувствами такой любви, коей, полагаю, немногія жены, подобно вамъ, похвалиться могутъ“.

Любовникъ, впрочемъ, былъ не менѣе снисходителенъ, чѣмъ мужъ. Однажды засталъ онъ Марью Антоновну врасплохъ со своимъ адъютантомъ Ожа-

ровскимъ. Но она сумѣла убѣдить государя, что ничего не было, и онъ повѣрилъ ей больше, чѣмъ глазамъ своимъ. Слѣдовали другіе, безчисленные, большею частью, изъ молоденькихъ флигель-адъютантовъ.

Обѣ дочери государя отъ Елисаветы Алексѣевны умерли въ младенчествѣ. Первая дочь отъ Марьи Антоновны умерла тоже. Вторая, Софья, осталась въ живыхъ, но съ дѣтства была слаба грудью. Опасались чахотки. Этотъ послѣдній и единственный ребенокъ, котораго государь считалъ своимъ, — о чемъ, однако, спорили, — маленькая Софочка была его любимицей.

Благодаря дядѣ своему, старому другу дома, князь Валерьянъ Михайловичъ принятъ былъ у Нарышкиныхъ, какъ родной. Софья любила его, какъ сестра. Онъ — ее больше, чѣмъ братъ, хотя самъ того не зналъ. Надолго разлучались, — Софью часто увозили на югъ, — какъ будто забывали другъ друга, но сходились опять, какъ родные.

— Лучшаго жениха не надо для Софьи, — говорила Марья Антоновна.

Но на Веронскомъ конгрессѣ государь представилъ ей другого жениха, графа Андрея Петровича Шувалова, только что зачисленнаго въ коллегію иностранныхъ дѣлъ, молодого дипломата меттерниховской школы.

Какъ всѣ Шуваловы, графъ Андрей былъ искателемъ, ловокъ и вкрадчивъ; втируша, тихоня, лавовый теленокъ, который двухъ матокъ сосетъ. Та-іе, впрочемъ, государю нравились.

Старая графиня, мать жениха, долго жившая въ

Италіи, перешла въ католичество. Римскіе отцы-іезуиты начали свадьбу, а парижскіе шарлатаны кончили. Месмэрово лѣченіе тогда снова входило въ моду. Принялись лѣчить и Софью. Графъ Андрей магнетизировалъ ее, по предписанію ясновидящихъ. Пятнадцатилѣтняя дѣвочка, почти ребенокъ, отдала ему руку свою, какъ отдала бы ее первому встрѣчному, по волѣ отца, сама не зная, что дѣлаетъ.

Князь Валерьянъ, тоже бывшій тогда въ Веронѣ, — только утративъ Софью, понялъ, какъ ее любилъ. Онъ уѣхалъ въ Парижъ къ Чаадаеву. Бесѣды съ мудрецомъ не утѣшили его, но дали надежду замѣнить любовь къ женщинѣ любовью къ Богу и къ отечеству.

Года черезъ два, съ дозволенія ясновидящихъ, Софью привезли въ Петербургъ, гдѣ назначена была свадьба. Зимой начались обычные среды у Нарышкиныхъ, на Фонтанкѣ, близъ Аничкина моста.

Урожденная княгиня Святополкъ-Четвертинская, Марья Антоновна была ревностной полькой и собирала вокругъ себя польскихъ патріотовъ. Увѣряли, будто конституціей Польша обязана ей. И русскіе либералы видѣли въ ней свою заступницу. Салонъ ея былъ единственнымъ мѣстомъ въ Петербургѣ, гдѣ можно было говорить свободно не только о вредѣ взятокъ, но и о самомъ Аракчеевѣ, котораго она ненавидѣла.

По средамъ, въ Великомъ посту, у Нарышкиныхъ давались концерты. Въ ту среду, въ которую собрался къ нимъ князь Валерьянъ, въ первый разъ по возвращеніи своемъ въ Петербургъ, назначенъ былъ концертъ знаменитаго музыканта-любителя, графа Михаила Вьельгорскаго.

Когда князь Валерьянъ вошелъ въ бѣлый залъ съ колоннами и огромнымъ, во всю стѣну, зеркаломъ, отражавшимъ портретъ юнаго императора Александра Павловича,—первая половина концерта кончилась, и послѣдній звукъ віолончели замеръ, какъ человѣческое рыданіе. Послышались рукоплесканія, шумъ отодвигаемыхъ стульевъ, шорохъ дамскихъ платьевъ и жужжащій говоръ толпы. Раззолоченные арапы высоко подымали надъ головами гостей подносы съ мороженымъ; поправляли восковыя свѣчи въ жирондоляхъ.

Голицынъ увидалъ издали своего пріятеля, лейбъ-гвардіи полковника, князя Сергѣя Трубецкаго, директора Сѣверной Управы Тайнаго Общества, и хотѣлъ подойти къ нему, чтобы переговорить окончательно о своемъ, уже почти рѣшенномъ, поступленіи въ члены Общества, но раздумалъ: рѣшилъ—потомъ.

Опять, какъ давеча, въ пріемной у дядюшки, пахнуло на него знакомымъ запахомъ прошлаго, вѣчною скукою повторяющихся сновъ.

Все такъ же, какъ два года назадъ: такъ же воскликнула, повторяя, видимо, заученую фразу, пожилая дама съ голыми, костлявыми плечами:

— Графъ Михаилъ играетъ, какъ ангелы на концертахъ у Господа Бога!

Такъ же склонился и шепчетъ что-то на ухо графинѣ Еленѣ Радзивиллъ о. Розавенна, іезуитъ, молодой, красивый итальянецъ, идолъ петербургскихъ дамъ, похожій, въ своей шелковой черной сутанѣ, на чернаго, гладкаго кота, который, выгнувъ спину, ласково мурлычитъ; нельзя понять, любезничаетъ или исповѣдуетъ; съ одинаковымъ искусствомъ передаетъ любовныя записочки и при-

чащаетъ изъ тайной дароносицы, тутъ же на велико-свѣтскихъ раутахъ, своихъ поклонницъ, новообращенныхъ въ католичество. „Ушкомъ“ прозвали графиню Елену за то, что она краснѣла не лицомъ, однимъ изъ своихъ прелестныхъ, какъ перламутровыя раковинки, ушекъ. И теперь, подъ ласковый шопоть о. Розавенны, недаромъ у нея краснѣетъ ушко: можетъ быть, по примѣру хорошенькой графини Куракиной, сожжетъ себѣ пальчикъ на свѣчѣ, чтобы уподобиться христіанскимъ мученицамъ. А девяностолѣтняя бабушка Архарова, въ пунцовомъ халдейскомъ тюрбанѣ, съ ярко-зелеными перьями, нарумяненная, похожая на свою собственную москву, которая вѣчно храпитъ у нея на колѣняхъ, — смотритъ ехидно въ лорнетъ на эту ларочку—отца-іезуита съ графиней Ушкомъ—и, должно быть, готовитъ злую сплетню.

На своемъ обычномъ мѣстѣ, поближе къ печкѣ, сидитъ баснописецъ Крыловъ. Видно, какъ пришелъ, — завалился въ кресло, чтобы не вставать до самаго ужина: „спасибо хозяйшкѣ-умницѣ, что мѣсто мое не занято; тутъ потеплѣе“. Въ поношенномъ, просторномъ, какъ халатъ, фракѣ табачнаго цвѣта, съ мѣдными пуговицами и потускнѣвшей орденской звѣздой, — эта огромная туша кажется необходимою мебелью. Руки уперлись въ колѣни, потому что уже не сходятся на брюхѣ; ротъ слегка перекошенъ отъ бывшаго два года назадъ удара; лицо жирное, бѣлое, расплзшееся, какъ опара въ квашнѣ, ничего не выражающее, — развѣ только, что жаренаго гуся съ груздями за обѣдомъ обѣлся и ожидаетъ поросенка подъ хрѣномъ къ ужину, несмотря на Великій постъ: „у меня, грѣшнаго, — говаривалъ, — по

натурѣ своей, желудокъ къ посту неудобенъ“. Дре-
млетъ; иногда пріотероетъ одинъ глазъ, посмотритъ
изъ-подъ нависшей брови, прислушается, усмѣх-
нется, не безъ тонкаго лукавства—и опять дремлетъ:

Не движась, я смотрю на суету мірскую
И философствую сквозъ сонъ.

А подойдетъ къ нему саяовникъ въ золотомъ
лѣтѣ: „какъ ваше драгоценное, Иванъ Андре-
ичъ?“—и дремоты какъ не бывало: вскочить вдругъ
съ косолапою ловкостью, легкостью медвѣдя, подъ
арабанъ танцующаго на ярмаркѣ, изогнется весь,
разсыпаясь въ учтивостяхъ, — вотъ-вотъ въ плечико
его превосходительство чмокнетъ. Потомъ опять за-
лится—дремлетъ.

Такъ и пахнуло на Голицына отъ этой крылов-
вой туши, какъ изъ печки, роднымъ тепломъ, род-
нымъ удушьемъ. Вспоминалось слово Пушкина:
„Крыловъ — представитель русскаго духа; не ру-
аюсь, чтобы онъ отчасти не вонялъ; въ старину
нашъ народъ назывался *смердъ*“. И, въ самомъ дѣлѣ,
дѣсь, въ замороженномъ приличіи большого свѣта,
въ благоуханіяхъ пармской фіалки и букэ-а-ля-ма-
ешаль, эта отечественная непристойность напоми-
нала запахъ рыбнаго садка у Пантелеймонскаго мо-
та или гнилой капусты изъ погребовъ Пустого
ынка.

— Давно ли, батюшка, изъ чужихъ краевъ?—
воздоровался Крыловъ съ Голицынымъ, проговоривъ
то съ такою лѣнью въ голосъ, что, видно было, его
замого въ чужіе края калачемъ не заманишь.

— Въ старыхъ-то зданіяхъ, Иванъ Андреевичъ,
сегда клопамъ водъ, — продолжалъ начатый разго-

воръ князь Нелединскій-Мелецкій, секретарь императрицы Маріи Ѳеодоровны, директоръ карточной экспедиціи, маленькій, пузатенькій старичокъ, похожій на старую бабу:—вотъ и въ Зимнемъ дворцѣ, и въ Аничкиномъ, и въ Царскомъ—клоповъ тьма-тьмушая, никакъ не выведутъ...

Почему-то всегда такіе несвѣтскіе разговоры заводились около Ивана Андреевича.

— Да и у насъ, въ Публичной библіотекѣ, клоповъ не оберешься, а зданіе-то новое. Отъ книгъ, что ли? Книга, говорятъ, клопа родитъ, — замѣтилъ Крыловъ.

— Была у меня въ Москвѣ, у Харитонья, фатерка изрядненькая, — улыбнулся Нелединскій пріятному воспоминанію, — и свѣтленько, и тепленько — словомъ, всѣмъ хорошо. А клоповъ такая пропасть, какъ нигдѣ я не видывалъ. „Что это, говорю хозяйскому приказчику, какая у васъ въ домѣ нечисть?“ А онъ: „извольте, говоритъ, сударь, посмотрѣть — на стѣнкѣ билетъ противъ клоповъ“. Велѣлъ принести; какое-нибудь, думаю, средство, или клоповника мѣстожителство. И что же, представьте себѣ, на билетѣ написано? Святому священномученику Діонисію Ареопагиту молитва!

— Н-да, точно, Ареопагитъ клопу изводчикъ, — промямлилъ Крыловъ, зѣвая и крестя ротъ. — Ежели который человекъ вѣритъ, то, по вѣрѣ, ему и бываетъ...

— А меня почечуй, батюшки, замучилъ, — не разслышавъ, о чемъ говорятъ, запамкалъ другой старичокъ, сенаторъ, дряхлый-предряхлый, съ отвислой губой. — И еще маленькіе вертижцы...

— Какіе вертижцы? — спросилъ Нелединскій съ досадой.

— Вертижцы... когда голова кругомъ идетъ... Помню, во дни блаженной памяти Екатерины матушки... — началъ онъ и, какъ всегда, не кончилъ: его никто не слушалъ; со своимъ почетуемъ-геморроемъ онъ лѣзъ во всѣмъ, даже, по разсвѣанности, къ дамамъ.

— Опять разболталъ! И какой тебя чортъ за языкъ дергаетъ? — выговаривалъ князь Вяземскій Александру Ивановичу Тургеневу. — Ну, можно ли такія письма въ клубъ показывать? Разблаговѣстятъ по городу, попадетъ въ тайную полицію—и поминай Сверчка какъ звали...

Голицынъ прислушался. Онъ зналъ, что Сверчокъ — арзамасское прозвище Пушкина. Вмѣстѣ съ Тургеневымъ и Вяземскимъ случилось ему не разъ хлопотать у дядюшки за ссыльнаго коллежскаго секретаря Пушкина

— Слышали, князь? — обратился къ нему Вяземскій.

— Нѣтъ. Какое письмо?

— А вотъ какое,—зашепталъ ему Тургеневъ на ухо знаменитыя строки, которыя такъ часто повторялъ, что затвердилъ ихъ наизусть: „ты хочешь знать, что я дѣлаю. Беру уроки чистаго аэеизма. Система не столь утѣшительная, какъ обыкновенно думаютъ, но, къ несчастью, болѣе всего правдоподобная“.

— Ну, посудите сами, князь, неужели за такой вздоръ...

— Да ты гдѣ живешь, братецъ, на лунѣ, что ли?—опять загорячился Вяземскій:—будто не знаешь, что нынче въ Россіи за какой угодно вздоръ...

— Ну, не ворчи, полно, не буду... А Сверчокъ-то, говорятъ, опять въ пухъ проигрался?

— Мало ли врутъ? Вотъ распустили намеренный слухъ, будто застрѣлился...

— Ну, нѣтъ, не застрѣлится, — усмѣхнулся Тургеневъ, — словечко-то его помнишь: „только бы жить!“ Кто другой, а Пушкинъ, небось, не застрѣлится...

Подожелъ хозяинъ, Дмитрій Львовичъ Нарышкинъ; одѣтый по-старинному, въ пудрѣ, въ чулкахъ и башмакахъ съ красными каблучками — настоящій маркизъ Людовика XV; иногда судорога дергала лицо его, такъ что онъ языкъ высовывалъ, точно поддразнивалъ; но все же величественъ, какъ старый пѣтухъ, хотя и съ продолбленной головой, а шагающій съ важностью.

— А вашъ-то пострѣлъ Пушкинъ опять пресмѣшные стишки сочинилъ, слышали? — сказалъ онъ, присоединяясь къ собесѣдникамъ.

— А ну-ка, ну? — залюбопытствовалъ Тургеневъ и подставилъ ухо съ жадностью.

По знаку Дмитрія Львовича, головы сблизились, и онъ прошепталъ съ игривой улыбкой прошлаго вѣка:

Свободъ хотѣли вы, — свободы вамъ даны:
Изъ узкихъ сдѣлали широкіе штаны.

— Да это не Пушкина! — разсмѣялся Вяземскій. — Сказалъ бы я вамъ стишки, да боюсь, не прогнѣваюсь бы, ваше высокопревосходительство: ужъ очень вольные...

— Ничего, ничего, говори, князь, — ободрилъ его Дмитрій Львовичъ. — Я вольные стишки люблю. Вѣдь и мы, сударь, небось, въ наше время наизусть Баркова знали...

Глядя на портретъ государя съ такимъ вольно-мысленнымъ видомъ, какъ будто дѣлалъ революцію, Вяземскій прочелъ:

Воспитанный подъ барабаномъ,
Нашъ ... былъ бравымъ капитаномъ,
Подъ Аустерлицемъ онъ бѣжалъ,
Въ двѣнадцатомъ году—дрожагъ;
За то былъ фрунтовой профессоръ
Но фрунтъ герою надоѣгъ;
Теперь коллежскій онъ ассессоръ,
По части иностранныхъ дѣлъ.

Нарышкинъ тихонько захопалъ въ ладоши и вынулъ языкъ отъ удовольствія: былъ вѣрнопопдаанный и сердечный другъ царя, но не даромъ, видно, учился у Баркова вольномыслию.

— А докторъ говорить, отдышка отъ гречневой каши,—жаловался Нелединскій Крылову.—И такъ я отъ этихъ удушій ослабъ, такъ ослабъ, что надо бы у меня приставить маму...

— А у меня все маленькіе вертижцы...—зашамкалъ опять старичокъ.

— Плюнь-ка ты на докторовъ, князенька! — другъ оживился Крыловъ, даже оба глаза раскрылъ.— Возьми съ меня примѣръ: чуть задурить желудокъ,—идвое наѣмся, а тамъ онъ себѣ, какъ хочешь, разгѣдывайся. У Степаниды Петровны, на масляной, передъ самымъ обѣдомъ,—рубцы и потрохъ у нея готовятъ ангельскіе,—такъ подвело, что хотъ вонъ бѣги. (а вспомнилъ, что на Щукиномъ—грузди отмытые. Только что доложилъ о томъ, Степанида Петровна, матушка, сію-жъ минуту,—пошли ей Господь здоювя, кормилецъ,—спосылала на Щукинъ верхомъ, и грузди поспѣли къ жареному. Принялъ я порцію, въ шести груздяхъ состоящую, и съ тѣхъ поръ свѣтъ видѣлъ. А ты говоришь, доктора...

Вяземскій вольнодумничалъ уже не въ стихахъ, а въ прозѣ, говорилъ о „затменіи свѣта“, о цензур-

ныхъ неистовствахъ, которыя дошли до того, что нельзя сказать „голая истина“, потому что не пристойно лицу женскаго пола являться голымъ; о за-прещеніи Филаретова Катехизиса; объ изувѣрствахъ Магницкаго, который предлагалъ разрушить ,о основанія Казанскій университетъ и заставилъ профессоровъ похоронить весь анатомическій кабинетъ, трупы, скелеты и человѣческихъ уродцевъ, потому что находилъ „мерзкимъ и богопротивнымъ употреблять чело-вѣка, образъ и подобіе Божіе, на анатомическіе пре-параты“, вслѣдствіе чего заказаны были гробы, въ коихъ помѣстили препараты и, по отпѣтіи панихиды, въ торжественномъ шествіи понесли ихъ на кладбище.

Слушая однимъ ухомъ Крылова, другимъ Вяземскаго, Голицынъ сравнивалъ обоихъ, и ему казалось, что пылающій свободомысліемъ Вяземскій лопнетъ, какъ мыльный пузырь, а чугунный дѣдушка Крыловъ не поколеблется. Неужели же это лицо—опара, изъ квашни расплзшаяся — лицо всей Россіи? — думалъ онъ со смѣхомъ и ужасомъ.

Но пересталъ думать, увидя на другомъ концѣ залы Марью Антоновну съ графомъ Шуваловымъ.

На ней—всегдашнее простое, бѣлое платье, ту-ника съ прямыми складками, какъ на древнихъ извая-ніяхъ; старая мода, а на ней—новая, вѣчная; ни-какихъ украшеній, только вмѣсто пряжки на плечѣ—камей-хризолитъ, подарокъ императрицы Жозефины, да гирлянда незабудокъ въ черныхъ волосахъ. Лѣтъ за сорокъ, а все еще плѣнительна. Сегодня, особенно. Не вторая, а двадцатая молодость. Глубокая ясность осеннихъ закатовъ, душистая зрѣлость осеннихъ плодовъ.

Всѣхъ Аспазія милѣй
Черными очей огнями.

Сегодня — чернѣе, огненнѣе, чѣмъ когда-либо. „Минерва въ часъ похоти“, назвалъ ее кто-то. Рѣсницы стыдливо опущены, и во всѣхъ движеніяхъ — тоже стыдливость, опущенность, какъ въ томномъ трепетѣ плакучихъ ивъ.

„Что съ нею?“ удивлялся Голицынъ. Онъ зналъ ее хорошо: недаромъ былъ почти влюбленъ въ нее когда-то; зналъ, что такой, какъ сегодня, она бываетъ всегда, когда мѣняетъ любовника. Кто же теперь?

Вглядѣлся пристальнѣй въ Шувалова. Лицо красивое до наглости, какъ у Платона Зубова, героя „постельныхъ услугъ“. По этому лицу, хотѣлось вѣрить ходившимъ о немъ слухамъ, будто бралъ онъ деньги у старыхъ женщинъ и отказался отъ поединка за дѣло чести. Безукоризненный англійскій фракъ съ преувеличенно-узкой, по послѣдней модѣ, таліей; точенныя ножки, затянутыя въ черный атласъ; галстучекъ, завязанный небрежно, по-шатобриановски; кохолокъ, взбитый тщательно, по-меттерниховски. „А хорошо бы поддержать у барьера, подъ пистолетомъ эту смазливую рожицу!“ — подумалъ Голицынъ съ ненавистью.

И вдругъ показалось ему, что на слишкомъ ласковый блескъ въ глазахъ Марьи Антоновны глаза Шувалова отвѣтили такимъ же блескомъ.

„Такъ вотъ кто! — промелькнула у Голицына мысль, которая ему самому показалась нелѣпой. — Мать — съ женихомъ дочери!.. Съ ума я схожу, что ли?“

Насильно отвелъ глаза въ другую сторону и увидѣлъ Софью. Она разговаривала съ княземъ Трубецкимъ. Для нея одной пришелъ сюда Голицынъ, но какъ-будто испугался, — спрятался отъ нея за колонну

и, по тому, какъ забилося у него сердце, какъ не хотѣлъ давеча говорить съ Трубецкимъ о Тайномъ Обществѣ, — вдругъ понялъ, что все еще не исполнилъ совѣтовъ мудреца Чаадаева — не замѣнилъ любви къ женщинѣ любовью къ отечеству.

— Принимая вещи даже въ самой строгой сцен-тикѣ, должно, полагаю, согласиться, что въ Россіи не можетъ быть хуже того, что есть, — заговорилъ князь Козловскій, отвѣчая Вяземскому, въ постепенно расширяющемся кругѣ собесѣдниковъ.

Козловскій, бывшій посланникъ въ Сардиніи, „за неосновательность поступковъ“ отъ службы уволенный, былъ полу-полякъ, тайный католикъ и, по слухамъ, даже іезуитъ, но въ то же время человѣкъ вольнаго образа мыслей въ политикѣ. Наружностью не то Бурбонъ, не то Фальстафъ. Дородства не меньшаго, чѣмъ дѣдушка Крыловъ, но живой, бойкій, подвижный. Когда говорилъ о политикѣ, не только лицо его, но и вся тюленья туша трепетала, какъ будто искрилась умомъ. Въ такія минуты влюблялись въ него даже молоденькія женщины.

— Освободили Европу, Россію возвеличили! Съ нами Богъ! А у князя Меттерниха на послкахъ бѣгаемъ. Каланчой пожарной сдѣлалась россійская политика: стережемъ, не загорится ли гдѣ, и скачемъ, высуня языкъ, по всей Европѣ, съ конгресса на конгрессъ, заливая чужіе пожары собственной кровью. Революція здѣсь, революція тамъ. Ужъ не ошиблись ли народы, низложивъ Бонапарта? Въмѣсто одного великаго тирана — сотни маленькихъ. Льва свалили и достались волкамъ на добычу...

— За то, говорятъ, правленіе нынче законное, — поддразнилъ его Вяземскій.

— Законное? Гдѣ? Видѣли, князь, на Литейномъ выѣзду: Комиссія составленія законовъ. Буква С выпала: Комиссія... оставленія законовъ. Не вѣрите ли тѣмъ? Не пора ли оставить законы? Къ чему они, когда скрижали ихъ о первый камень самовластья разбиваются?..

Ударилъ жирнымъ кулакомъ по жирной ладони съ демократической яростью. Фальстафъ превратился въ Мирабо. А дамы слушали съ такой же пріятностью, какъ давеча Вьельгорскаго: второй концертъ не хуже перваго.

— Да, сударь, въ Россіи нѣтъ законовъ!—гремѣлъ Козловскій, какъ съ трибуны:—указы, то отъ любимца-истопника исходящіе, то отъ вурляндца-берейтора, то отъ турка-брадобрея, то отъ Аракчеева, нельзя считать законами: это только право сильного, анархія, гдѣ лучше задушить, чѣмъ быть задушеннымъ. Мы, какъ Донъ-Кихоты, дѣйствуемъ: освобождая другихъ, сами стонемъ подъ ненавистнымъ игомъ...

— Да за это, батюшка, на съѣзжую! — прошипѣла Архарова, и зеленныя перья на пунцовомъ тобѣ грозно заколебались, моська на ея волѣняхъ проснулась съ ворчаніемъ. Крыловъ тоже проснулся, зашевелился съ такимъ видомъ, что откуда-то сквознякъ. А панъ Вышковскій, и панъ Хлоповскій, и панъ Храповицкій, и панъ Салтыкъ хлопали въ ладоши, какъ на Варшавскомъ сеймѣ: „bravo! bravo! bravissimo!“ Тургеневъ наклонилъ голову, загнувъ ухо ладонью руки, чтобы не пропустить ни слова, запомнить и разнести по городу. Вяземскій наслаждался и завидовалъ. Ушко графини Елены пылало. О. Розавенна рѣшила о Козловскомъ по Жозефу де-Местру: „университетскій Пугачевъ“. Дмитрій Львовичъ высо-

вызвать языкъ отъ восхищенія, а Марья Антоновна улыбалась, какъ добрая хозяйка, радуясь, что гости довольны.

Голицынъ смотрѣлъ на Софью. Она тихонько подошла, присѣла на кончикъ стула, положила на колѣни худенькія дѣтскія ручки, — казалось, пальцы должны быть въ чернилахъ, какъ у швольницы, — и, вытянувъ шею, никого не видя, вся замерла, недвижимая, устремленная, какъ стрѣла на тетивѣ. Глаза ясновидящей. „Человѣкъ съ нечистою совѣстью не могъ бы въ нихъ смотрѣть“, сказалъ однажды Голицынъ объ этихъ глазахъ. Вся не отъ міра сего; слишкомъ хрупкая, тонкая, прозрачная; кажется, душа видна сквозь тѣло, какъ огонь сквозь алебастръ: вотъ-вотъ не выдержать стѣпки лампы, огонь разобьетъ ихъ и вывется наружу.

Голицыну вспомнилось то, что онъ слышалъ о ней: какъ тринадцатилѣтняя дѣвочка носила поясъ, вываренный въ соли, разѣдавшій тѣло; стояла на солнцѣ, пока кожа на лицѣ не трескалась; хотѣла убѣжать въ монастырь, принять постриженіе и странствовать въ мужской одеждѣ, подъ именемъ умершаго юнаго послушника Назарія.

Для такихъ, какъ она, отъ слова до дѣла — только шагъ. И теперь для нея одной, въ этой толпѣ, рѣчь Козловскаго — не музыка, а проповѣдь.

— Суровость покойнаго императора Павла, безъ обмана, безъ лести, не въ тысячу ли разъ сноснѣе того, что мы терпимъ въ наши дни? — продолжалъ Козловскій все вдохновеннѣе. — Не вздыхаемъ ли о временахъ Павловыхъ, терпя, чего терпѣть безъ подлости не можно? Всякій день оскорбляется у насъ человѣчество, правосудіе, просвѣщеніе — все, что мѣ-

шаеѣ землѣ превратиться въ пустыню или вертепъ разбойничій. Когда видишь всѣ мерзости, на каждомъ шагу въ Россіи совершающіяся, хочется бѣжать за тридевять земель...

Бабушка Архарова встала, гнѣвная, собираясь уходить, и моська на рукахъ ея, поджавъ хвостъ, залаяла. Крыловъ тоже привсталъ, но, должно быть, вспомнивъ объ ужинѣ, снова опустился въ кресло и только рукой махнулъ. У Нелединскаго сдѣлалась одышка хуже, чѣмъ отъ гречневой каши. Старичокъ съ вертижцами, казалось, готовъ былъ упасть въ обморокъ. А паны повскакали и захлопали неистово—видно было по лицамъ ихъ: „еще Польша не сгинѣла“.

Но звукъ віолончели раздался—и все затихло, успокоилось, словно кто-то пролилъ масло на бурныя волны.

Вьельгорскій игралъ духовный концертъ Гайдна. Слышался ангельскій хоръ. И рабство, свобода, Россія, политика—все земное вдругъ сдѣлалось ничтожнымъ. Казалось, по хрустальной лѣстницѣ, звенящей и поющей, какъ солнечный дождь, златокрылые, съ золотыми ведрами, восходятъ и нисходятъ ангелы.

Голицынъ подошелъ къ Софѣ. Но она не замѣтила его, погруженная въ мысли свои или музыку.

— Софья Дмитріевна...

Обернулась, вздрогнула.

— Вы... здѣсь?... А я и не знала, Господи!..

Вся покраснѣла отъ радости. На вопросъ его о здоровьи отвѣтила по-французски, совсѣмъ какъ большая свѣтская барышня:

— Не надо о моемъ здоровьи, ради Бога! Расскажите-ка лучше о вашихъ очкахъ...

А глаза, полные дѣтскимъ восторгомъ, говорили другое, родное, милое, старое.

Несмотря на модную, сложную прическу, на парижское длинное платье попелиноваго сѣро-серебристаго газа съ вышитымъ зеленымъ верескомъ, — видно было по глазамъ, что она все та же маленькая дѣвочка въ коротенькомъ бѣломъ платьицѣ, въ соломенной шляпкѣ-мармоткѣ, голубоглазая, пепельнокудрая, съ которой онъ бѣгалъ въ горѣлки, въ селѣ Покровскомъ, подмосковной Нарышкиныхъ, удилъ пескарей въ пруду, за теплицами, и читалъ Людмилу Жуковскаго.

Ахъ, невеста, гдѣ твой милый?
Гдѣ вѣнчальный твой вѣнецъ?
Домъ твой гробъ; женихъ мертвецъ, —

прочла непонимающимъ дѣтскимъ голоскомъ и вдругъ задумалась, какъ будто поняла, — выронила книгу, поблѣднѣла, закинула ему тоненькія руки на шею и вся прижалась довѣрчиво: „какъ страшно!..“ Тогда въ первый разъ поцѣловалъ онъ ее, не какъ братъ сестру:

О, не знай сихъ страшныхъ сновъ,
Ты, моя Свѣтлана!

Все та же, родная, любимая, вѣчная, Богомъ данная, — сестра и невеста вмѣстѣ. А Шуваловъ? Ну, чтожъ, пусть Шуваловъ. „А ну ее къ чорту, эту парикмахерскую вуклу!“ Зналъ, что ея не отнимутъ у него сорокъ тысячъ Шуваловыхъ.

Отошли вмѣстѣ на другой конецъ залы и сѣли рядомъ у большого зеркала, противъ портрета юнаго императора: семнадцатилѣтній, улыбающійся мальчикъ похожъ былъ на голубоглазую, пепельнокудрую дѣвочку. Говорили шепотомъ, подъ музыку, подъ пѣ-

вучіе звонъ солнечнаго ливня, который лили на землю золотыя ведра ангеловъ, восходящихъ и нисходящихъ по хрустальной лѣстницѣ. Чувствовали оба, что не говорили бы такъ, еслибъ не музыка.

— Правда, что вы карбонаромъ сдѣлались?

— Что значитъ карбонарь, Софья Дмитриевна?

— Какая Софья Дмитриевна?—поправила она съ ребяческимъ кокетствомъ въ улыбкѣ и строгою лаской въ глазахъ. — Забыли Верону? Забыли Покровское? Забыли все?

— Ничего не забылъ, Софочка... Ахъ, еслибъ вы знали... Ну, да что говорить? Вы же знаете...

— Что значитъ карбонарь? — перебила она его, съ дѣтскимъ усиліемъ мысли сдвинувъ тонкія брови. — Карбонары — тѣ, кто противъ Бога и царей? Мнѣ еще намедни Михаилъ Евграфычъ объяснилъ...

Михаилъ Евграфовичъ Лобановъ былъ Софьинъ учитель русскаго языка, ревностный поклонникъ Магницкаго.

— А развѣ нельзя быть противъ царей съ Богомъ?—усмѣхнулся Голицынъ.

— Не знаю,—задумалась она.—Нѣтъ, нельзя... у насъ въ Россіи нельзя. Спросите нянюшку Прокофьевну, и Филатыча дворецкаго, и дѣдушку Власія, покровскаго пчельника,—помните, онъ такой умный,—и самого дѣдушку Крылова,—онъ вѣдь тоже умница... Ну, чего вы смѣтаетесь? Я сказать не умѣю. Но это такъ: всѣ скажутъ, что въ Россіи царь отъ Бога.

— А почему же правда, что всѣ говорятъ? И развѣ одна Россія на свѣтѣ?... По-итальянски карбонары значитъ *уольщики*. Это простые добрые люди, которые въ Бога вѣруютъ не меньше нашего и хотятъ свободы отечеству отъ чужеземнаго ига...

— Да развѣ у насъ чужеземное иго?

— А слышали, что говорилъ Козловскій?

— Козловскій—полякъ: они всѣ ненавидятъ Россію, готовы сдѣлать ей всякое зло. А вѣдь вы ее любите?

— Не знаю, люблю ли, но можно, и любя, ненавидѣть. И чья вина, что наша любовь похожа на ненависть?... Только лучше не надо объ этомъ, милая, право, не надо... Посмотрите-ка на дѣдушку Крылова. Вотъ, кто чужеземнаго ига не чувствуетъ! Когда его спросили однажды, какое по-русски самое нѣжное слово, онъ отвѣтилъ, не задумавшись: „кормилецъ мой“. Какая рожа, Господи! А уменъ, еще бы! Можетъ быть, умнѣе насъ всѣхъ... Только вотъ никакъ не рѣшится:

Не больше ли вреда, чѣмъ пользы отъ наукъ?

— Зачѣмъ вы?... Не надо, не смѣйтесь.

— Да я не смѣюсь, Софья. Мнѣ страшно...

— Слушайте, Валя, голубчикъ, скажите, скажите мнѣ все, что думаете! Со мной никто никогда не говоритъ объ этомъ, а мнѣ такъ нужно, если бы вы знали... такъ нужно!..

— Что сказать?

— Все, все! Почему въ Россіи чужеземное иго? Почему любовь похожа на ненависть? Почему вамъ страшно?...

Онъ взглянулъ на нее и опять, какъ давеча, увидѣлъ въ лицѣ ея недвижную стремительность: стрѣла на тетивѣ, слишкомъ натянутой. Понялъ, что отъ того, что скажетъ, будутъ зависѣть ихъ общія судьбы. Душа ея обнажена передъ нимъ, беззащитна, и, можетъ быть, слова его пройдутъ ее, какъ мечъ; будутъ подобны убійству. Но нельзя молчать.

И онъ заговорилъ уже не подъ музыку, а противъ музыки: она — о небесномъ, онъ — о земномъ, о великой неправдѣ земли, о человѣческомъ рабствѣ.

Говорилъ о русскихъ помѣщикахъ-извергахъ, которые раздають борзыхъ щенятъ по деревнямъ своимъ для прокормленія грудью крестьянокъ. Не всѣ ли мы эти щенки, а Россія раба, кормящая грудью щенятъ? Говорилъ о баринѣ, который сѣкъ восьмилѣтнюю дворовую дѣвочку до крови, а потомъ барыня приказывала ей слизывать языкомъ кровь съ пола. Не вся ли Россія эта дѣвочка? О княгинѣ помѣщицѣ, которая велѣла старостѣ отбирать каждый день по семи здоровыхъ дѣвокъ и присылать на господскій дворъ; тамъ надѣвали на нихъ упряжь, впрягали въ шарабанъ; молоденькая княжна садилась на вѣзла, рядомъ съ собой сажала кучера, брала въ руки вожжи, хлысть и отправлялась кататься; вернувшись домой, кричала: „Мама! мама! овса лошадямъ!“ Мама выходила; приносили кульки орѣховъ, пряниковъ, конфетъ, насыпали въ колоду и подгоняли дѣвокъ; онѣ должны были стоять у колоды и ѣсть. Не все ли величье Россіи, ея побѣдоносное шествіе—катанье на семеркѣ бабъ?

Онъ говорилъ,—и съ жалобнымъ звономъ хрустальная лѣстница рушилась, и въ черную пропасть падали ангелы. Онъ видѣлъ, какъ лицо Софьи блѣднѣетъ, но уже не могъ остановиться; чувствовалъ восторгъ разрушенія, насилія, убійства. Вѣчная правда земли—противъ вѣчной правды небесъ.

— Почему же государю не скажете?—прошептала Софья, когда онъ умолкъ:—вѣдь не вы одинъ такъ думаете?

— Не я одинъ.

— Ну, такъ вы должны сказать ему все...

Онъ взглянулъ на портретъ государя, такой похожій на нее,—и вдругъ ему обоихъ стало жалко, страшно за обоихъ. Но опять — небесная музыка, опять хрустальная лѣстница—и восторгъ святого разрушенія, святого насилія, святого убійства.

— А вы, Софья, почему государю не скажете?

— Развѣ онъ меня послушаетъ? Я для него ребенокъ...

— Ну, такъ и мы всѣ ребята, щенята: сосемъ рабью грудь и пищимъ, а когда надоѣстъ нашъ писекъ, удавятъ, какъ щенятъ...

Послѣдній звукъ віолончели замеръ; послѣдніе осколки хрустальной лѣстницы рухнули—и наступило молчаніе, мракъ; и во мракѣ—бѣлое, жирное, какъ онара, изъ квашни расплзшаяся,—лицо Крылова,—лицо всей рабьей земли: „долго ли до поросенка подъ хрѣномъ?“

Въ лицѣ Софьи было такое страданіе, такой ужасъ, что Голицынъ самъ ужаснулся тому, что сдѣлалъ.

— Софочка, милая...

— Нѣтъ, оставьте, не надо, не надо, молчите! Потомъ...—проговорила она, еще больше блѣднѣя; быстро встала и пошла отъ него. Онъ хотѣлъ было идти за ней, но почувствовалъ, что не надо—лучше оставить одну. Ужаснулся. Но радость была сильнѣе, чѣмъ ужасъ; радость о томъ, что теперь любовь къ Софьѣ и любовь къ свободѣ для него уже одна любовь.

Захотѣлось играть, шалить, какъ школьнику. Подсѣлъ къ дѣдушкѣ Крылову и шепнулъ ему на ухо съ таинственнымъ видомъ:

— Все ли съ огурцами, дѣдушка?

— Ну, ну, чего тебѣ? Какихъ огурцовъ?—перевосился тотъ недоувѣрчиво.

— Изъ вашей же басни, Иванъ Андреевичъ. Помните, *Огородникъ и Философъ*:

У Огородника возшло все и поспѣло.
А Философъ—
Безъ огурцовъ.

Это вѣдь о насъ, глупенькихъ. А вы, дѣдушка, умница — единственный въ Россіи философъ съ огурцами...

— Ну, ладно, ладно, братъ, ступай-ка, не замай дѣдушку...

— А только какъ бы и вамъ безъ огурцовъ не остаться?—не унимался Голицынъ. — У дядюшки-то моего, въ министерствѣ, знаете что? На баснописца Крылова доносъ...

И разсказалъ, немного преувеличивая, то, что дѣйствительно было. Филаретъ Московскій, составитель Катехизиса, предлагалъ запретить большую часть басенъ Крылова за глумленіе надъ святыми, такъ какъ въ этихъ басняхъ названы христіанскими именами безсловесныя животныя: медвѣдь—Мишкою, козелъ—Ваською, кошка—Машкой, а самое нечистое животное, свинья—Февроньей.

Крыловъ остоленѣлъ, вытаращилъ глаза, и ротъ у него перевосился такъ, что, казалось, вотъ-вотъ сдѣлается съ нимъ второй ударъ. Голицынъ уже и самъ не радъ былъ шуткѣ своей.

Подошла Марья Антоновна и, когда узнала, въ чемъ дѣло, разсмѣялась.

— Крылышко, миленькій, какъ же вы не видите, что онъ пугаетъ васъ нарочно? Никакого доноса нѣтъ,

а еслибъ и было что, развѣ мы васъ въ обиду дадимъ?

— Матушка!... Марья Антоновна!... Кормилица!... — лепеталъ Крыловъ, и цѣловалъ ея руки, и готовъ былъ повалиться въ ноги.

Долго еще не могъ успокоиться, все крестился, чурался, отплеывался:

— Ахти, ахти!... Грѣхъ-то какой!... Февронья-Хавронья... А мнѣ и невдомекъ... Господи, Матерь Царица Небесная!...

Наконецъ, позвали ужинать. Только войдя въ столовую и увидѣвъ поросенка, который, оскаливъ мордочку, улыбнулся ему ласково, какъ внучекъ дѣдушкѣ, — Иванъ Андреевичъ успокоился окончательно, выпилъ рюмку водки, подвязалъ салфетку, и опять воцарилась на лицѣ его ясность невозмутимая:

А мнѣ что говорить ни стануть, —

Я буду все твердить свое:

Что впереди — Богъ вѣсть, а что мое — мое.

Уходя отъ Нарышкиныхъ, Голицынъ встрѣтился на лѣстницѣ съ княземъ Трубецкимъ и сказалъ ему, что о своемъ поступленіи въ Тайное Общество завтра, послѣ свиданія съ Аракчеевымъ, дастъ рѣшительный отвѣтъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

„Милый другъ Софа, сегодня я не приду къ вамъ, какъ обѣщалъ. Я усталъ на заупокойной обѣднѣ и, хотя ногѣ моей лучше, но она всетаки даетъ себя чувствовать. Штофрегенъ говорилъ мнѣ, что вы опять больны. Онъ жалуется, что вы недостаточно бережетесь. Еслибъ вы знали, какъ это огорчаетъ меня. Прошу васъ, дитя мое, исполняйте совѣты медиковъ въ точности: всякая неосторожность въ здѣшнемъ климатѣ можетъ быть для васъ пагубна. Будьте же умницей, слушайтесь докторовъ и лѣчитесь, какъ слѣдуетъ. Только что выберу свободную минуту, приѣду къ вамъ и надѣюсь видѣть васъ уже здоровой. Государыня цѣлуетъ васъ. Медальонъ съ ея портретомъ почти готовъ; я самъ привезу его вамъ. Храни васъ Богъ.

11 марта, 1824 г.
С.-Петербургъ“.

Это письмо государя, написанное по-французски, передала Софѣ старая няня, Василиса Прокофьевна. Когда Софья прочла его, ей захотѣлось плакать.

— Ну, хорошо, ступай, — проговорила она, едва удерживая слезы.

— Лѣкарство принять извольте, барышня.

Съ рѣшительнымъ видомъ Прокофьевна взяла стьянку съ лѣкарствомъ и ложку.

— Не надо, оставь. Потомъ. Сама приму... Ступай же!

— Давеча не приняли. И теперь не хотите?

— Ахъ, няня, няня! Господи, какая несносная... Да ступай же, говорятъ тебѣ, ступай!.. — прикрикнула на нее Софья, и слезы дѣтскаго упрямства, дѣтской обиды задрожали въ голосѣ.

Но старушка не уходила и, наливъ лѣкарство въ ложку, продолжала ворчать:

— Докторъ, небось, велѣлъ аккуратно, а вы что? И маменькѣ обѣщали, и папенькѣ...

Поднесла къ самымъ губамъ ея ложку.

— Сейчасъ принять извольте.

Ложка дрожала въ старыхъ рукахъ, вотъ-вотъ расплещется. Когда Софья представила себѣ, что проглотить мутно-желтую густую жидкость съ отвратительно-знакомымъ вкусомъ, вкусомъ болѣзни, ей показалось, что ее стошнитъ. Склоненное надъ нею, съ поджатымъ, ввалившимся ртомъ, сморщенное лицо старушки, незапамятно-родное, милое, все, до послѣдней морщинки, нѣжно любимое, — вдругъ сдѣлалось ненавистнымъ, тошнымъ, какъ вкусъ лѣкарства. Ей казалось, что она больна не отъ болѣзни, а отъ няни, отъ мамы, отъ доктора, отъ Шувалова, отъ всѣхъ, кто къ ней пристаётъ, мучаетъ ее. Злобно оттолкнула протянутую руку. Ложка упала на полъ, лѣкарство пролилось.

— Матерь Царица Небесная! — захалась Прокофьевна. — Коверъ залили! Ужо Филатычъ увидитъ... Что же это такое, Господи? Что за ребенокъ! Ни

лаской, ни сердцемъ! Погоди-ка, сударыня, вотъ ужъ скажу папенькѣ...

„Какому папенькѣ?“—подумала Софья. Няня называла когда-то Дмитрія Львовича папенькой, теперь—государя, а прежняго папеньку—дяденькой или просто бариномъ,—его превосходительствомъ; уоолько иногда путалась и стыдилась. Развѣ она маленькая? Развѣ не знаетъ всего? Чего же стыдиться? Два—такъ два.

Старушка вышла. Слава Богу, теперь можно подумать, поплакать. Но только что усѣлась поудобнѣе, поджала подъ себя ноги, закуталась въ старенькій нянинъ платокъ и начала думать,—послышались старческіе, шаркающіе шаги. Прокофьевна вернулась съ полотенцемъ. Крехтя, опустилась на колѣни, вытерла полъ и опять начала наливать лѣкарство въ ложку. Софья вскочила, вырвала у нея стеклянку, бросила ее въ каминъ,—бутылка разбилась въ дребезги, лѣкарство зашипѣло на горящихъ угольяхъ,—и закричала, затопала:

— Вонъ! Вонъ! Вонъ!

— Воля ваша, Софья Дмитріевна, а только, какъ заболѣете опять, сляжете,—хуже будетъ. Богъ вамъ судья, не жалѣете вы папеньку...

— И не жалѣю, и заболѣю, и слягу, и умру, умру, подохну... И пусть! Такъ мнѣ и нужно. Оставьте меня, оставьте!.. Ради Бога, не мучьте... Не могу я больше, не могу... Уходи же! уходи! уходи!

Бросилась лицомъ въ подушку, зарыдала; худенькія плечи задергались отъ разрывающей судороги кашля.

Когда успокоилась и подняла лицо, няни уже не было въ комнатѣ. На носовомъ платкѣ увидѣла при-

вычное алое пятнышко. Надо будетъ спрятать отъ няни, отъ маменьки, отъ папеньки, отъ доктора, отъ всѣхъ. А то опять пойдутъ разговоры: кровью кашляетъ, на югъ везти. А лучше умереть, чѣмъ уѣхать сейчасъ.

Жаль няню. За что обидѣла? Гдѣ-нибудь плачетъ теперь. Пойти помириться. Но когда встала, — почувствовала, что ноги подкашиваются, въ глазахъ темнѣетъ. А, можетъ быть, это день такой темный? На дворѣ безконечная мартовская оттепель съ мокрымъ снѣгомъ.

Опять опустилась на диванъ, поближе къ огню, усѣлась „каворою“, какъ говорила няня, подобрала ноги, руками обняла колѣни, съежилась вся, сдѣлалась маленькой, съ головой закуталась въ платокъ.

Перечла письмо; поцѣловала то мѣсто, гдѣ сказано о государынѣ. Вспомнила свои рѣдкія, словно запретныя и влюбленныя, встрѣчи съ нею, то въ церкви, то во время прогулки на набережной, въ Лѣтнемъ саду или на Крестовскомъ островѣ; вспомнила ея усталое, почти старое, но все еще прекрасное, не женское, а дѣвичье лицо; благоуханную свѣжесть, какъ будто не духовъ отъ платья, а отъ нея самой, какъ отъ цвѣтка; торопливыя, словно тоже запретныя и влюбленныя, ласки; теплоту поцѣлуевъ и слезъ ея на лицѣ своемъ и робкіе взоры, которыми оглядывалась императрица, какъ будто боялась, чтобы ихъ не увидѣли вмѣстѣ; и почти безумный, жадный, страстный шопотъ: „дѣвочка моя милая, любишь ли ты меня хоть чуточку?“ — и свой отвѣтный, такой же безумный, страстный шопотъ: „люблю, маменька, маменька!“ — и такое при этомъ счастье, какое бываетъ только во снѣ. Тогда, ребенкомъ, сама не понимала, чтò говорить; потомъ поняла. Да, дру-

гая настоящая мать, какъ другой настоящій отецъ. Два отца, двѣ матери. Но она вѣдь знаетъ, что настоящая мать одна. Такъ почему же?.. Нѣтъ, лучше объ этомъ не думать. Страшно.

Хотѣлось опять кашлять, но удерживалась, а то будетъ кровь; если много, то не спрячешь. Вспомнилась крошечная обезьянка Тинька, ея любимица, которая не вынесла петербургской зимы, простудилась, долго кашляла, дрожала отъ озноба, вся скорчившись и сидя тоже какорою, поближе къ огню; глядѣла на всѣхъ жалкими дѣтскими глазами, странно, по-птичьи, языкомъ щелкала и, наконецъ, умерла отъ чахотки.

Тинькой ее прозвала няня, потому что нѣсколько похожа была на эту обезьянку Софьиной французенка, мадамъ д'Аттиньи; няня звала ее тоже Тинькою, не долюбивая обѣихъ — мартышку, похожую на чорта, и мадаму, похожую на вѣдьму. Ходили слухи, будто въ ранней молодости, еще во время Великой Революціи, мадамъ д'Аттиньи была первосвященницей Авиньонскаго тайнаго общества, основаннаго графомъ Оадеемъ Грабянкою, который занимался черной магіей. Черезъ него мадамъ д'Аттиньи, „Великая Матерь боговъ, Геката, Діана, Царица неба и ада, современная хаосу“, какъ называли ее адепты, поступила гувернанткой къ Нарышкинымъ. Умерла въ глубокой старости; передъ смертью впала въ дѣтство, сморщилась, ссохлась и сдѣлалась еще больше похожа на обезьяну.

Всю ночь сегодня въ бреду Софья снилась Тинька, не то мадама, не то мартышка: бѣгаетъ, будто, прыгаетъ по комнатамъ, языкомъ щелкаетъ: „я — Геката, я — Діана, я — Великая Матерь боговъ!“ Потомъ вдругъ вскочила ей на грудь, стала душить. Снилось также,

что дѣдушка Крыловъ сѣчетъ маленькую дѣвочку до крови и кричитъ ей: „Тинька, Тинька, слижи кровь языкомъ!“ — и дѣвочка, ползая на карачкахъ, по полу, сморщивается, ссыхается, становится Тинькою и языкомъ слизываетъ кровь. А потомъ, будто множество маленькихъ, черненькихъ полу-щенятъ, полу-мартышекъ присосалось къ бѣлымъ, толстымъ грудямъ бабы Ненилы, покровской скотницы. Вотъ и сейчасъ, кажется, забралась къ ней Тинька подъ платовъ и холодной лапкой щекочетъ ей горло, такъ что хочется кашлять до крови.

Очнулась; съ усиліемъ открыла глаза; поняла, что бредить. Неужели, и правда, заболѣть, сляжетъ опять, какъ въ прошломъ году, до самаго лѣта, — такъ и не увидить „настоящей маменьки“? Нѣтъ, вздоръ, не надо поддаваться болѣзни. Вотъ угрѣлась, и прошелъ ознобъ; только жарко, душно подъ платкомъ. Скинула его, встала, подошла къ окну.

Окно зеркальное, въ полукругломъ балконѣ-фонаривѣ, выходящемъ на Фонтанку. Посмотрѣла въ обѣ стороны, къ Симеоновскому мосту и къ Невскому; не промелькнетъ ли знакомая, темно-синяя карета съ бородатымъ вучеромъ Ильею? Намедни тоже папенька писалъ, что не будетъ, а потомъ пріѣхалъ.

Кареты не было, а тянулись похоронныя дроги съ маленькимъ гробикомъ, сосновымъ, бѣлымъ, парчой не прикрытымъ: вмѣсто парчи — сѣрый мокрый снѣгъ. За гробикомъ шелъ старый, плѣшивый, красноносый чиновникъ въ куцей шинелишкѣ, похожей на женскій салопъ; шатался, какъ пьяный, не то отъ горя, не то отъ водки; крошечная дѣвочка вела его за руку, должно быть, сестрица покойника. По ухабамъ и

ямамъ раскачивались дроги такъ, что вотъ-вотъ гробикъ свалится въ грязь.

Небо мутно-желтое съ темно-сѣрыми пятнами. И сыцлется оттуда изморозь, не то льдистый дождь, не то мокрый ледъ. Оттепельный черный, страшный городъ похожъ на трупъ, съ котораго сорвали саванъ. И трупнымъ запахомъ проникаетъ мутно-желтый, удушливо-ѣдкій туманъ сквозь окно въ комнату, сжимаетъ горло, саднитъ грудь такъ, что нечѣмъ дышать. А на другой сторонѣ Фонтанки, на челѣ казеннаго зданія, Екатерининскаго института, паритъ съ распростертыми крыльями двуглавый орелъ. Надъ черной петербургской слякотью, надъ чернымъ, оголеннымъ трупомъ кажется онъ зловѣщимъ и нелѣпо-торжественнымъ.

Опять подкосились ноги, потемнѣло въ глазахъ. Оперлась о подножіе бюста. Это былъ снимокъ съ Торвальдсенова мрамора — изваяніе императора Александра I.

Когда прошла темнота въ глазахъ, взглянула въ мраморъ. Онъ ей не понравился: родное лицо казалось чужимъ; напоминало видѣнныхъ въ музеяхъ, древнихъ римскихъ императоровъ, Траяна, Антонина, Марка-Аврелія, — та же печально-покорная, какъ бы вечерняя, ясность и благодать въ чертахъ. Пухлые бритые щеки съ ямочками; короткій, тупой, упрямый носъ; плѣшивый, крутой лобъ; на лбу суровая, почти жесткая, морщинка, а на извилистыхъ, тонкихъ, немного вдавленныхъ, какъ будто старушечьихъ, губахъ — неподвижно-любезная улыбка.

Взглянула, сравнивая, на висѣвшій въ той же комнатѣ портретъ императрицы Екатерины. Да, у обоихъ, у внучка и бабушки, — одна улыбка. Двусмы-

сленное противорѣчіе между этою слишкомъ ласковой улыбкою губъ и жестокой морщиною лба.

Вспомнилось, какъ, бывало, ребенкомъ, когда долго не видала отца и соскучивалась по немъ, — тайкомъ отъ всѣхъ, подходила къ бюсту, взбиралась на стулъ, становилась на цыпочки и, закрывъ глаза, цѣловала холодный мраморъ, пока не теплѣлъ онъ, — какъ будто отвѣчалъ на ея поцѣлуй поцѣлуемъ.

Такъ и теперь прижалась къ нему жаркой щекой. Но тотчасъ отняла ее: ознобъ пробѣжалъ по тѣлу, какъ холодъ смерти; въ мутно-желтомъ свѣтѣ дня желтизна мрамора напоминала тѣло покойника. Слепыми бѣлыми зрачками смотрѣла на нее страшная кукла съ двусмысленной улыбкой.

Софья закрыла глаза, стараясь увидѣть живое лицо его, но не могла. Сдѣлалось такъ больно, что, казалось, умереть, если не увидить его, живого, сейчасъ.

Внизу, у крыльца, слышался стукъ кареты. „Папенька! Папенька!“ Бросилась къ окну. Но это была карета Шувалова. Онъ вошелъ въ подъѣздъ. Неужели сюда, въ ней? Прислушалась. По далекому хлопанью дверей поняла, что прошелъ къ маменькѣ. Слава Богу!

Продолжала смотрѣть на улицу, все еще надѣясь. Тамъ громыхали только телѣги мясниковъ, должно быть, съ бойни, изъ-подъ мокрыхъ роговъ торчали окровавленные, раскаряченные туши. Ей казалось, что она слышитъ запахъ сырого мяса, видитъ, какъ теплая красная кровь капаетъ на черную грязь.

Зажмурила глаза, чтобы не видѣть. Съ трудомъ волоча ноги, вернулась на диванъ у камина, повалилась въ изнеможеніи, но не закрывала глазъ, чтобы

опять не начался бредъ, смотрѣла пристально сквозь открытыя двери въ сосѣдную, бѣлую залу съ колоннами, гдѣ вчера давался концертъ. Почти противъ двери—большое зеркало, въ которомъ отражался портретъ юнаго императора. Изъ таинственной, зеркально-темной, какъ будто подводной, глубины улыбался ей все той же вѣчной, двусмысленной улыбкою голубоглазый, пепельновудрый мальчикъ.

О чемъ уже давно хотѣла подумать? Да, о Шуваловѣ и Голицынѣ. Почему графъ Андрей непонятный, ненужный, далекій—ея женихъ, а не Валя, родной, близкій? Дурочкой была, когда согласилась: ничего не знала; теперь знаетъ, что значитъ быть замужемъ.

Въ прошломъ году, въ Парижѣ, во время укладки вещей, — маменьки не было дома, — попалась ей въ руки маленькая золотообрѣзаная книжечка въ пергаментѣ, антверпенское изданіе съ непристойными картинками. Долго рассматривала ихъ, удивлялась, ужасалась, но не понимала. Вдругъ поняла все или почти все; поняла, почему, много лѣтъ назадъ, когда разъ нечаянно вошла въ комнату, тогдашній маменькинъ другъ, молодой генераль-адъютантъ Ожаровскій вскочилъ, испуганный, красный, растрепанный, похожій на непристойную картинку, и маменька на нее закричала, едва не прибила, неизвестно за что; поняла, почему и другіе безчисленные маменькины друзья, чужіе люди, становились какъ будто родными; сажали ее, Софочку, въ себѣ на колѣни, ласкали; называли своей дочкою, а ей было скучно, страшно отъ этихъ ласкъ. Вспомнила рассказъ въ старинномъ московскомъ „Журналѣ для милыхъ“: какъ Аглантинъ и Аннушка купались вмѣстѣ въ рѣчкѣ, подобно Адо-

нису и Венерѣ; а потомъ, когда Аннушка горько о чемъ-то заплакала, Аглантинъ ее утѣшалъ: „я тебя увѣряю, мой другъ, что ты называешь грѣхомъ то, что только есть наслажденіе натуральное“...

Тогда, послѣ тѣхъ антверпенскихъ картинокъ, заболѣла отъ ужаса и отвращенія къ матери, къ Шувалову, къ себѣ, ко всѣмъ людямъ, ко всему міру. Одинъ Валя казался ей чистымъ, и она была увѣрена, что онъ бы понялъ ее. „Натуральное наслажденіе!“ Если такова натура и самъ Богъ устроилъ такъ, то она не хочетъ міра, не хочетъ Бога. Ей казалось, что она больна и, можетъ быть, умретъ—не отъ болѣзни, а отъ этого.

Въ сосѣдней бѣлой залѣ слышались приближающіеся голоса: Шуваловъ, маменька. Софья вскочила, чтобы убѣжать: не могла ихъ видѣть сейчасъ. Но вдругъ остановилась, окаменѣла, глядя широко раскрытыми глазами въ глубину зеркала. Опять бредить, что ли? Нѣтъ, слишкомъ ясно видитъ то, что видитъ: Шуваловъ цѣлуетъ Марью Антоновну, и у обоихъ такія лица, какъ тогда, когда Софья вошла печально въ комнату, гдѣ Ожаровскій дѣлалъ что-то съ маменькой. Непристойная картинка. Женихъ—съ матерью. А голубоглазый мальчикъ улыбался имъ двусмысленной улыбкою.

Съ тихимъ стономъ, протянувъ руки впередъ, какъ будто защищаясь отъ привидѣнія, Софья упала навзничь на диванъ. Все помутилось, поплыло въ глазахъ ея, и сама она плыла, утопала въ бездонной глубинѣ.

Очнулась. Увидѣла надъ собой лицо матери и опять лишилась чувствъ.

Но матери уже не было въ комнатѣ, когда очнулась во второй разъ, окончательно. Слышались шаркаю-

ііе шаги Прокофьевны и вдругъ вблизи знакомый голосъ:

— Да скоро ли докторъ?

— Папенъка! Папенъка!

Онъ обернулъ къ ней лицо, испуганное, блѣдное, бросился къ дивану, сталъ на колѣни и, наклонившись надъ ней, поцѣловалъ ее въ лобъ.

— Ну, слава Богу, слава Богу! — перекрестился. — Софочка, милая, вотъ напугала-то!..

Обвивъ ему шею руками, она вся прижималась къ нему, цѣплялась за него, какъ утопающая.

— Папенъка! Папенъка! Папенъка!

Немного приподнялась, отстранилась и всего оглядывала, ощупывала, какъ будто желала убѣдиться, что это онъ. Да, онъ, живой, настоящій, не холодная мертвая кукла, не древній римскій императоръ, а живой, родной, теплый, настоящій папенъка. Оглядывала, ощупывала, трогала пальцами. Вотъ пухлые бритые щеки съ ямочками, съ двумя полосками золотистыхъ бакеновъ, и мягкій, раздвоенный подбородокъ, и гладкій, плѣшивый лобъ съ остатками бѣловурыхъ, вьющихся волосъ, начесанныхъ кверху; и между нависшими бровями морщинка, не гнѣвная, а только грустная, жалкая; и жалкіе, грустные, дѣтскіе прозрачно-голубые глаза; и на губахъ, прелестно очерченныхъ, юныхъ, улыбка не лукавая, а плѣнительно-нѣжная, тоже дѣтская, безпомощная. И сутулые плечи, немного наклоненныя впередъ; и тучный, но все еще стройный станъ, затянутый въ узкій темно-зеленый кавалергардскій мундиръ съ серебряными погонами; и стройныя, словно изваянныя, ноги въ лакированныхъ ботфортахъ съ острыми кончиками. Да, весь родной, любимый, возлюбленный.

Опять прижалась къ нему, полузакрывъ глаза, улыбаясь.

— Ну, вотъ видишь, дружокъ: не надо было вставать; докторъ правду говорилъ: лежала бы—ничего бы не было...

— Да ничего и нѣтъ, папенька! Я совсѣмъ здорова. Маленькій жаръ. Пройдетъ...

— Ну, гдѣ же здорова? Вонъ кашляешь, голова горячая, и руки какъ ледъ. Будь умницей, пойдемъ-ка, лягъ: сейчасъ докторъ придетъ.

— Зачѣмъ докторъ? — заговорила она по-французски, изрѣдка вставляя русскія слова, какъ обыкновенно говорила съ нимъ. — Я не буду больна, не буду кашлять. Только не уходите, ради Бога, не уходите! Не могу я безъ васъ. Если бы вы знали, какъ страшно, какъ страшно...

— Да что тутъ было? Что такое? Скажи...

— Нѣтъ, не надо. Не говорите, не спрашивайте! Ничего не надо. Только бы такъ съ вами долго, долго, всегда. И все хорошо будетъ, все пройдетъ. И никого не надо. Только вы и маменька... охъ, нѣтъ, нѣтъ... не та, а другая, настоящая маменька...

Онъ думалъ, что она бредитъ; но, взглянувъ на ея лицо, понялъ, что это не бредъ.

— Что ты, дружокъ? Господь съ тобой! Развѣ можно такъ о матери?..

— Не мать! не мать! Не могу я больше, не могу, не хочу!.. Страшно, гадко... папенька, папенька, возьми меня отсюда! Развѣ не видишь, что я не могу...

Зарыдала и, бросившись къ нему на шею, опять охватила его руками, уцѣпилась за него, какъ утопающая.

— Ну, полно же, полно, дружокъ. О чемъ ты? Вѣдь я же тебѣ обѣщаль: когда выйду въ отставку,— уѣдемъ съ тобой и будемъ вмѣстѣ, всегда вмѣстѣ...

— Да, папенька, ты обѣщаль, помнишь? Только когда же, Господи?..

Заглянула ему въ глаза пристально. Увидѣла, что онъ думаетъ или сейчасъ думалъ о другомъ, о своемъ,— можетъ быть, такомъ же страшномъ, какъ и то, что было съ нею. О чемъ же? Вдругъ вспомнила: 11-е марта годовщина смерти императора Павла I. Знала, какой это день для него; знала, что дѣдушка умеръ не своею смертью, и что отецъ всегда объ этомъ думаетъ, мучается этимъ, хотя никогда ни съ кѣмъ не говоритъ. Если и не знала всего, то угадывала. Сколько разъ хотѣла заговорить, спросить; но не смѣла. И теперь не посмѣла; только повторила вслухъ:

— Одиннадцатое марта, одиннадцатое марта...

Онъ смотрѣлъ на нее такъ же пристально, какъ она, и по лицу его пробѣжала тѣнь; появилось, какъ въ мраморномъ ликѣ, двусмысленное противорѣчіе между слишкомъ суровою морщиною лба и слишкомъ ласковой улыбкою губъ.

— Вы сегодня въ церкви, папенька... заупокойная обѣдня длинная... устали, измучились?.. А тутъ еще я... И нога болитъ? Вѣдь болитъ, а?

— Нѣтъ, ничего.

— Ну, зачѣмъ пріѣхали? Сидѣли бы дома... Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, хорошо, что пріѣхалъ! Охъ, хорошо, Господи! Я бы тутъ умерла безъ тебя...

Онъ больше не спрашивалъ. Оба чувствовали, что между ними то, о чемъ нельзя говорить: лучше понимать и жалѣть молча. Онъ былъ такъ же оди-

нокъ и безпомощенъ, какъ она; такъ же за нее
цѣплялся, какъ утопающій.

Одной рукой держалъ ея голову, другой—тихонько
гладилъ волосы,—качалъ, баюкая.

Опять, улыбаясь, полузаврыла глаза, дышала все
тише и тише, но заснуть боялась, чтобы не ушелъ
во снѣ. И сквозь дремоту казалось ей, что въ селѣ
Покровскомъ, у пруда, за теплицами, тринадцати-
лѣтняя дѣвочка въ коротенькомъ бѣломъ платьицѣ,
вмѣстѣ съ братомъ—женихомъ возлюбленнымъ, чи-
таетъ старую, страшную, милую сказку:

Конченъ путь; ко мнѣ, Людмила!
Намъ постель—темна могла,
Завѣсь—саванъ гробовой.
Сладко спать въ землѣ сырой...

— Папенька... Валенька...—шептала въ полуснѣ.

И кто—отецъ любимый, кто—женихъ возлюблен-
ный, уже не могла отличить. Оба одно. И любить
вмѣстѣ обоихъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Свиданье съ Аракчеевымъ было страшно князю Валерьяну Голицыну, хотя онъ и смѣялся надъ этимъ свиданьемъ.

Зналъ, что у государева любимца—бѣлые листы бумаги, бланки за царскою подписью; онъ могъ вписать въ нихъ, что угодно—чины, ордена, или заточеніе въ крѣпость, ссылку, каторгу. Могъ также оскорбить, ударить—и чѣмъ ему отвѣтить?

„Я другъ царя,—говаривалъ,—и на меня жаловаться можно только Богу“.

Нѣсколько лѣтъ назадъ, прошелъ слухъ, будто сочинителя Пушкина высѣкли розгами въ тайной полиціи; лучшіе друзья поэта передавали объ этомъ съ добродушной веселостью.—„Можетъ ли быть?“ сомнѣвались одни.—„Очень просто,—объясняли другіе:—половица опускаемая, какъ на сценѣ любовь, куда черти проваливаются; станешь на нее и до половины тѣла опустишься, а внизу, въ подпольѣ, съ обѣихъ сторонъ по голому тѣлу розгами—чикъ, чикъ, чикъ. Поди-ка жалуйся!“

Да что поэтъ или камеръ-юнкеръ, когда великіе

князя трепетали передъ змѣю. Преображенскимъ офицеромъ, стоя на караулѣ въ Зимнемъ дворцѣ, князь Валерьянъ увидѣлъ однажды, какъ Николай Павловичъ и Михаилъ Павловичъ, тогда еще совсѣмъ юные, сидя на подоконникѣ, ребячились, шалили съ молодыми флигель-адъютантами; вдругъ кто-то провнесъ шопотомъ: „Аракчеевъ!“ — и великіе князья, соскочивъ съ подоконника, вытянулись, какъ солдаты, руки по швамъ.

Да, страшно; но подъ страхомъ—надежда.

Года два тому назадъ, Голицынъ подалъ государю записку объ освобожденіи крестьянъ и о конституціи, какъ о близкомъ будущемъ, волю самого императора, съ высоты престола объявленной.

О запискѣ съ тѣхъ поръ ни слуху, ни духу, какъ въ воду канула. Да онъ уже и самъ не вѣрилъ въ мечты свои, зналъ, что надѣяться не на что; а все-таки надѣялся: что, если государь пожелаетъ видѣть его,—онъ скажетъ ему все,—и тотъ пойметъ?..

Вспоминалъ портретъ юнаго императора: бѣлые, въ пудрѣ, вьющіеся волосы, цвѣтъ кожи блѣдно-розовый, какъ отливъ перламутра, темноглубые глаза съ поволокою, прелестная, какъ будто не совсѣмъ проснувшаяся, улыбка дѣтскихъ губъ. Похожъ на Софью, какъ братъ на сестру.

Иногда Голицыну снилось это лицо, и не зналъ онъ, чье оно, отца или дочери,—но во снѣ влюбленъ былъ въ обоихъ вмѣстѣ, какъ нѣкогда влюблена была вся Россія въ прекраснаго отрока.

— Я желалъ бы видѣть всюду республики: это единственная форма правленія, сообразная съ правами человѣчества, — говаривалъ государь съ этою дѣтскою улыбкою. А потомъ, послѣ чугуевской бойни.

гдѣ проводили людей сквозь строй по двѣнадцати тысячъ разъ,—плакалъ на груди Аракчеева: „я знаю, чего это стоило твоему чувствительному сердцу!“

Э. Отецъ Софьи и другъ Аракчеева, республика и шпицрутены, ожиданіе чуда и ожиданіе розогъ — все смѣшалось, какъ въ бреду, въ мысляхъ Голицына. Чтобы отвязаться отъ нихъ, легъ спать.

Дурной сонъ приснился: похоронное шествіе; въ открытыхъ гробахъ—скелеты и уродцы въ банкахъ со спиртомъ; все знакомыя лица—старые пріатели, члены Тайнаго Общества; онъ и самъ плаваетъ въ спирту, похожій на блѣдную личинку,—гомункулъ въ очкахъ.

Проснувшись, долго не могъ понять, чтò это было; наконецъ, понялъ: профессора Казанскаго университета хоронили анатомическій кабинетъ, по предложенію Магницкаго.

Когда на слѣдующій день, въ назначенное время, въ шести часамъ вечера, князь Валерьянъ вошелъ во флигель-адъютантскую комнату Зимняго дворца, находившіеся тамъ генераль-адъютанты, Уваровъ, Закревскій, князь Меншиковъ, Орловъ, привѣтствовали его особенно ласково.

— За твое здоровье, князенька, свѣчку пудовую: обругалъ подлеца, какъ слѣдуетъ!—сказалъ, пожимая ему руку, Меншиковъ.

— Воистину, *адина*!—воскликнулъ Орловъ.

— Змій!—добавилъ Закревскій.

— Ну, какой змій? Просто *ночанка*! — возразилъ Уваровъ и рассказалъ, какъ у одного мужика въ Грузинѣ нашли въ платѣхъ засушеную летучую мышъ, „ночанку“, которую носилъ онъ при себѣ для того, будто бы, чтобы извести колдовствомъ Аракчеева; а тотъ засѣкъ его до смерти, приговаривая: „буду я

тебѣ самъ ночанкою!“—Такъ вотъ и для всей Россіи ночанкою сдѣлался.

— И неужели же никого не найдется, чтобы открыть государю глаза на этого изверга? — заключилъ Уваровъ.

Изъ пріотворенной двери высунуль голову съ плоскимъ, деревяннымъ, кукольнымъ лицомъ адъютантъ Аракчеева, нѣмецъ Клейнмихель.

— Пожалуйста, князь.

Голицынъ вошелъ въ Секретарскую, большую темную комнату съ окнами на дворцовый дворъ.

У стола, крытаго зеленымъ сукномъ, сидѣлъ Аракчеевъ. Передъ нимъ стоялъ старый генералъ, можетъ быть, одинъ изъ боевыхъ генераловъ двѣнадцатаго года, сподвижниковъ Багратіона и Раевского въ тѣхъ славныхъ бояхъ, въ которыхъ царскій любимецъ не принималъ участія „по слабости нервовъ“. Слушая выговоръ, какъ школьникъ, виновато горбилъ онъ спину и вбиралъ голову въ плечи; не видя лица его — онъ стоялъ въ нему спиною, — Голицынъ видѣлъ, по гладкой и красной, какъ личико новорожденного, лысинѣ, по вздувшейся надъ воротникомъ, синебагровой складкѣ шеи, что старикъ ни живъ, ни мертвъ.

— Не думаете ли вы, сударь, отлынять отъ службы, видя, что у меня камеръ-юнкерствовать не можно? — говорилъ Аракчеевъ гнусавымъ, ровнымъ, тихимъ, почти шопотнымъ, голосомъ: нельзя говорить громко въ покояхъ государевыхъ. — Предписаніе за номеромъ тысяча восемьсотъ семьдесятъ третьимъ, которое поставило, будто бы, васъ въ невозможность исполнять обязанность вашу въ точности, совсѣмъ не требуетъ отъ вашего превосходительства

никакихъ невозможностей, конхъ, впрочемъ, по службѣ и быть не должно...

Видно было, что можетъ говорить такъ, не переводя духа, не измѣняя выраженія лица и голоса, часъ, два, три—сколько угодно.

Голицыну случалось видѣть Аракчеева; но теперь вглядывался онъ съ особеннымъ любопытствомъ, какъ будто видѣлъ его въ первый разъ.

Лѣтъ за пятьдесятъ. Высокъ ростомъ, сутулъ, костлявъ, жилистъ. Поношенный артиллерійскій темно-зеленый мундиръ; между двухъ верхнихъ пуговицъ—маленькій, какъ образокъ, портретъ покойнаго императора Павла I. Лицо—не военное, а чиновничье. Впалыя бритыя щеки; тонкія губы; толстый носъ, слегка вздернутый и красноватый, какъ будто въ вѣчномъ насморкѣ. Ни ума, ни глупости, ни доброты, ни злобы—ничего въ этомъ лицѣ, кромѣ скуки. Полуоткрытыя надъ мутными глазами вѣки дѣлали его похожимъ на человѣка, который только что проснулся и сейчасъ опять заснетъ.

— Я люблю, чтобы всѣ дѣла шли порядочно, скоро, но порядочно; а инныя дѣла и скоро дѣлать вредно. Все сіе дано намъ отъ Бога на разсужденіе, ибо хорошее на свѣтѣ не можетъ быть безъ дурного, и всегда болѣе дурного, чѣмъ хорошаго...

За окномъ шелъ мокрый снѣгъ. Въ комнату вползали сѣрыя, какъ паутина, сумерки. И въ сѣрой паутинѣ сумерекъ, въ сѣрой паутинѣ словъ была скука нездѣшная, которой, должно быть, въ гробахъ своихъ скучаютъ мертвые; страшно было отъ скуки.

Аракчеевъ кивнулъ головой въ знакъ того, что аудіенція кончена. Пыхтя и отдуваясь, потный и красный, какъ изъ бани, генералъ вышелъ изъ комнаты.

Голицынъ подошелъ къ столу.

— Князя Александра Николаевича племянничекъ?

— Точно такъ, ваше сіятельство.

— Ну, князь, два дѣла къ вамъ. Первое: за пошение очковъ въ присутствіи особъ августѣйшихъ государь повелѣлъ сдѣлать вамъ замѣчаніе строжайшее. Второе—касательно записки вашей...

Подавъ ему бумагу, на которой большими буквами, краснымъ карандашомъ, его, Аракчеева, собственной рукой написано было съ тремя ошибками въ пяти словахъ: „возвратить бумаги сіи по ненадобію въ оныхъ“.

— Вы ужъ на меня, старика, не погнѣвайтесь, — посмотрѣлъ ему не въ глаза, а въ брови (никогда не смотрѣлъ собесѣднику прямо въ глаза), и лицо его вдругъ сдѣлалось ехидно-ласковымъ. — Я человекъ простой, неученый; какъ бѣдный новгородскій дворянинъ, совершенно по-русски воспитанъ; у дядька учился грамотѣ, по часослову: мудрено ли, что мало знаю? Вотъ и въ запискѣ вашей, — при простомъ умѣ моемъ, никакъ въ толкъ не возьму, — о какой конституціи писано? Сколько лѣтъ на свѣтѣ живши, о томъ не слыхалъ и полагалъ доселѣ, что у насъ въ Россіи правленіе самодержавное...

Опять нескончаемая паутина словъ; опять страшно, скучно нездѣшнюю скукою.

Вдругъ всталъ, перешелъ отъ стола къ камину и поманилъ Голицына пальцемъ: не хотѣлъ, должно быть, чтобы адъютантъ слышалъ. Когда Голицынъ подошелъ, взялъ его за пуговицу и зашепталъ почти на ухо, еще ласковѣй, вкрадчивѣй:

— Я всегда, ваше сіятельство, въ ономъ несчастливъ, что обо мнѣ дурно публика думаетъ. Ну, да

вѣдь и то сказать, одинъ умный человѣкъ спрашивалъ: сколько дураковъ нужно, чтобы составить публику? Посему и не весьма опасаясь санктъ-петербургскаго праздноглаголанія: собака лаетъ, вѣтеръ носитъ. Была бы совѣсть чиста... Вещица сія, изволите видѣть, какъ называется?

— Экранъ, ваше сіятельство.

— Экранъ, да-съ. Ну, такъ вотъ и вашъ покорный слуга все равно, что экранъ; за моей спиной чтò ни дѣлается, а моимъ лицомъ все покрывается. Ваютъ на меня, какъ на мертваго. И ругаютъ за все: Аракчеевъ — злодѣй, Аракчеевъ — извергъ, Аракчеевъ — *адина*. А вся-то вина моя, что никому не льщу, по прямому моему характеру, да волю государя императора исполняю въ точности. Чтò велить, тò и дѣлаю. Хоть конституцію, хоть самую республику, велить — сдѣлаю... Мнѣ чтò?

„А вѣдь не глупъ, — удивился Голицынъ. — Только чтò ему отъ меня надо?“

— Вотъ и дядюшка вашъ, князь Александръ Николаевичъ, меня, старика, не жалуетъ; а я зла никому не помню, по закону евангельскому: любите ненавидящихъ васъ. И въ тебѣ, голубчикъ, князь Валерьянъ Михайловичъ, увѣренъ, что ты меня полюбишь, видя, что я съ тобой обхожусь, какъ истинный христьянинъ...

Умолкъ — и вѣки, надъ мутными глазами полузакрытыя, закрылъ совсѣмъ, какъ будто забылъ о собесѣдникѣ и, угрѣвшись у камина, стоя, задремалъ. Голицынъ тоже молчалъ, рассматривая лицо его вблизи; замѣтилъ неожиданную въ этомъ лицѣ странную, мягкую, на раздвоенномъ подбородкѣ, ямочку и почему-то не могъ отвести отъ нея глазъ. Вспо-

мнилось ему „чувствительное сердце“ Аракчеева, котораго пожалѣлъ государь послѣ чугуевской бойни; вспомнилась также дворовая дѣвка, Настасья Минкина, которая, въ минуты нѣжности, цѣловала Аракчеева, должно быть, въ эту самую ямочку.

А тотъ вдругъ медленно-медленно пріоткрылъ одинъ глазъ, какъ будто исподтишка подмигивая, и посмотрѣлъ Голицыну опять не въ глаза, а въ брови.

— А что, князь, давно ли вы членомъ Тайнаго Общества?

— О какомъ тайномъ обществѣ ваше сіятельство говоритъ изволите? — отвѣтилъ Голицынъ съ такимъ спокойнымъ недоумѣніемъ, что самъ себѣ удивился; но сердце у него упало, — подумалъ: „начинается!“

— Не знаете? Ну, а мы все знаемъ, все знаемъ, и не только о васъ, но и о дядюшкѣ...

— Дядюшка—въ Тайномъ Обществѣ!—не удержался Голицынъ и, хотя спохватился тотчасъ, но было поздно.

— Что же такъ удивились, если ничего не знаете? А, можетъ, и знаете что, да забыли? А?

— Еслибъ и зналъ что, ваше сіятельство, то не могъ бы ничего сказать, не бывъ подлецомъ и доносчикомъ! — отвѣтилъ Голицынъ, блѣднѣя уже не отъ страха, а отъ злобы.

— Ну, полно, князь, полно! Не хочешь, и не надо. Я вѣдь съ тобой, какъ отецъ, говорю, тебѣ же добра желаю, чтобы сдѣлать изъ тебя, по уму твоему, государю человѣка полезнаго. Очки—пустое, а ты на хорошемъ счету: по Веронскому конгрессу помянуть тебя государь вмѣстѣ съ графомъ Шуваловымъ, женихомъ Софьи Дмитріевны, и всегда^е отзываться изволить милостиво. Сегодня — камеръ-юнкеръ. зав-

тра—камергеръ. Ни за что я, дружокъ, тому не повѣрю, что есть такой на свѣтѣ камеръ-юнкеръ, который не желалъ бы камергеромъ сдѣлаться... Подумай, князь, подумай хорошенечко. Утро вечера мудренѣе. Да пріѣзжай-ка въ Грузино—тамъ потолкуемъ. Посѣти старика, милости просимъ, я очень желаю видѣть ваше сіятельство у себя въ Грузинской пустынѣ...

„Твоимъ вниманіемъ не дорожу, подлецъ!“—вспомнился Голицыну рылѣевскій стихъ, когда къ двумъ протянутымъ пальцамъ Аракчеева—знакъ рѣдкой милости—прикоснулся онъ, чувствуя, что этою ласвою хуже, чѣмъ розгою, высѣченъ.

Пріемъ кончился. Клейнмихель ушелъ.

Аракчеевъ, подойдя на цыпочкахъ, словно радуясь, къ двери въ первую изъ двухъ залъ, которыя отдѣляли Секретарскую отъ кабинета государева, пріотворилъ дверь осторожно и позвалъ шопотомъ:

— Ефимычъ? А Ефимычъ?

— Здѣсь, ваше сіятельство,—тѣмъ же осторожнымъ шопотомъ отвѣтилъ государевъ камердинеръ, Мельниковъ.

— Не звалъ государь?

— Никакъ нѣтъ.

— Никого не было?

— Никого.

Все такъ же радуясь, на цыпочкахъ, прошли обѣ пустынные залы. Когда половица скрипнула подъ ногой Мельникова, Аракчеевъ замахалъ на него руками. Во всѣхъ движеніяхъ его была безшумно-шуршащая мягкость летучей мыши—ночанки.

Остановившись у двери кабинета, затаивъ ды-

ханье, какъ будто умирающій былъ тамъ за дверью, прислушались. Сперва Мельниковъ, потомъ Аракчеевъ наклонился привычно-ловкимъ движеніемъ къ замочной скважинѣ и приложилъ къ ней глазъ: государь сидѣлъ одинъ, читая книгу. Переглянулись молча.

Опять вернулись въ Секретарскую.

— Проводи о. Фотія, чтобъ никто не видалъ.

— Слушаю-съ, ваше сіятельство.

— Князевой кареты съ набережной не было?

— Не было.

— А съ Эрмитажа?

— И оттуда не было. Вездѣ люди поставлены: не пропустить.

— Смотри же: если что, сейчасъ доложи.

— Будьте покойны, ваше сіятельство.

— Да вучеру Ильѣ скажи, не забудь: ежели государь на Фонтанку поѣдетъ, — курьера ко мнѣ на Литейную тотчасъ же.

На Фонтанку — значило: къ министру духовныхъ дѣлъ, князю Александру Николаевичу Голицыну.

Аракчеевъ вынулъ изъ кармана золотую табакерку и сунулъ въ руку Мельникова. Тотъ не понялъ, отърылъ ее, понюхалъ съ такимъ благоговѣніемъ, какъ будто къ мощамъ приложился, и хотѣлъ отдать.

— Возьми, Ефимычъ, на память.

— Ваше сіятельство! И такъ милостями осыпанъ... Не знаю, какъ за васъ Бога молить! — проговорилъ, цѣлуя ему руку, Мельниковъ.

— Смотри же, братецъ, чтобъ все въ аккуратѣ было.

— Будьте покойны, ваше сіятельство.

Когда камердинеръ ушелъ, Аракчеевъ сѣлъ въ кресло у камина и вынулъ изъ портфеля письмо.

„Любезный мой отецъ и благодѣтель, батюшка, ваше сіятельство! Нѣтъ васъ—нѣтъ для меня веселья и утѣшенья, ъ окромѣ слезъ: все плачу, да плачу; воображаю, мой отецъ, что выходите изъ спальни и цѣлуете меня за сюрпризъ. А подумаю, что васъ нѣтъ,—такъ слезами и зальюсь. Если вы останетесь еще долго тамъ одинъ, то лучше ужъ прямо къ вамъ, на Литейную, въ телѣжкѣ приѣду, чѣмъ представлять васъ каждую минуту съ растерзаннымъ сердцемъ. А у насъ, батюшка, на мызѣ благополучно. Люди здоровы, а также скотъ и птицы. Только въ молошникѣ разбилъ крышку фарфоровую Матюшка, и я его за то высѣкла; и Нефеда, и Оиногена повара, по вашему, отецъ, приказу, также высѣкла хорошенечко. А Французенка и Осенняя Фаворитка отелились на прошлой недѣлѣ. Въ оранжерейныхъ рамахъ стекла вставили. А соленой телятины двѣ кадушки попортились; я людямъ на кухню сдала. Поберегите себя, душа моя, ради Христа! Въ сырую погоду не выходите. На молоденькихъ не заглядывайся, дружокъ. Часто въ васъ сомнѣваюсь, зная вашъ характеръ непостоянный, но все вамъ прощаю, по любви моей: ежели мнѣ васъ не любить, то недостойна я и по землѣ ходить.—Вашего сіятельства по гробъ жизни своей слуга вѣчная, Настя.—И за галстучекъ тоже цѣлую“.

Закрывъ глаза, представилъ себѣ, какъ она цѣлуетъ его за галстукъ и въ подбородокъ, въ самую ямочку. Задремалъ; слышалась музыка вѣтра въ *золотой арфѣ* на одной изъ грузинскихъ башенъ, и въ этой музыкѣ—баюкающій голосъ Настеньки: „почивайте, батюшка, покойно—вашему слабому здоровью нуженъ покой...“

Вздрыгнулъ, очнулся. Неровѣнь часъ—пропустить Голицына.

Чтобы отогнать дремоту, принялся считать въ умѣ: сколько нужно метеловъ для грузинской мызы: въ кухню господскую по 2 въ недѣлю — 104 штуки въ годъ; въ службы людскія по 5 — 260 въ годъ; въ оранжереи, конюшни, флигеля—всего 1,890 въ годъ; на 5 лѣтъ — 9,450, на 25 — 47,250.

Задача была слишкомъ простая; придумалъ посложнѣе: сколько надо щебенки для шоссеиной дороги отъ Грузина до Чудова.

Въ каждой кучѣ: въ вышину — 3 аршина 7 вершковъ; въ окружности — 6 аршинъ 13 вершковъ; по откосу — 4 аршина 9 вершковъ. Трудно было сосчитать въ умѣ; взялъ клочокъ бумаги, карандашикъ обгрызанный и началъ дѣлать выкладки, ставя цифры какъ можно тѣснѣе, такъ чтобы все умѣстилось на одномъ клочкѣ: былъ скупъ на бумагу.

Хорошо стало, тихо, спокойно, безгорестно-безрадостно, какъ въ вѣчности.

Вдругъ, въ самой серединѣ выкладокъ, когда расчетъ подходилъ уже къ милліонамъ кубическихъ вершковъ, пріотворилась дверь изъ флигель-адъютантской.

— Ваше сіятельство, отъ его высочества, великаго князя,—доложилъ Клейнмихель.

— Я тебѣ, чортовъ сынъ, говорилъ: въ шею гони!—произнесъ Аракчеевъ, бросился на него, выругался нехорошимъ словомъ и поднялъ руку.

Клейнмихель не шелохнулся, подставляя безчувственно-кувольное лицо свое: казалось, ударъ прозвучать по лицу, какъ по дереву.

Аракчеевъ опустилъ руку и только прибавилъ неистовымъ шопотомъ:

— Вонъ!

Вернулся въ кресло у камина; но уже не могъ продолжать счетъ: помѣшали—запутался; огорчился, почувствовалъ сердцебіеніе и разстройство нервовъ.

— О, Богъ мой, Богъ мой!—тяжело вздыхалъ:—минутки не дадутъ покоя...

Принялъ миндально-анисовыхъ капель; отдохнулъ, успокоился и опять погрузился въ выкладки.

Опять хорошо стало, тихо-тихо, безрадостно-безгорестно, какъ будто никогда ничего не было, нѣтъ и не будетъ, кромѣ совершенно тождественныхъ, правильныхъ, единообразныхъ каменныхъ кучъ, уходящихъ, по обѣимъ сторонамъ шоссе, въ безконечную даль.

Послѣ свиданія съ Аракчеевымъ, князь Валерьянъ поѣхалъ къ своему пріятелю, князю Сергѣю Петровичу Трубецкому, директору Сѣверной Управы Тайнаго Общества, объявилъ ему о своемъ рѣшеніи поступить въ члены Общества и черезъ нѣсколько дней былъ принятъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ

„Прекрасная Юлія, вздыхая о возлюбленномъ своемъ Ліодорѣ, бродитъ кротчайшими шагами, блѣдная, унылая, съ поникшей головой, въ мрачной пустотѣ березовой рощи, гдѣ осенній Борей осыпаетъ землю пожелтѣвшими листьями; картина осени вливается въ составъ растерзаннаго существа ея нѣчто мрачнѣйшее, нежели самая мрачная меланхолія“...

„Ліодоръ и Юлія, или награжденная постоянность — сельская повѣсть“. Бывало, во дни императора Павла, сидя подъ арестомъ на Гатчинской гауптвахтѣ, въ долгіе осенніе вечера, отъ скуки читывалъ Александръ Павловичъ такіе же точно романы и повѣсти. Потомъ уже было не до книгъ; иногда цѣлые годы ничего, кромѣ газетныхъ вырѣзокъ да военныхъ реляцій, въ руки не бралъ. Но, во время послѣдней болѣзни, опять пристрастился къ чтенію.

Чѣмъ романы скучнѣе, глупѣе, стариннѣе, тѣмъ успокоительнѣй, какъ старыя дѣтскія пѣсенки. Пожелтѣвшія страницы шуршатъ, какъ пожелтѣвшіе листья осени, и осенью пахнетъ отъ нихъ — сладостно-унылымъ запахомъ проплаго — того, что было юностью

и стало стариной почти незапамятной. Двадцать пять лѣтъ, а какъ будто два съ половиной столѣтія, — такъ все измѣнилось, такъ постарѣло все — постарѣлъ онъ самъ.

„Прошла зима, и возлюбленный Ліодоръ вернулся къ прекрасной Юліи. Отдыхая, при корнѣхъ черемухъ благоухающихъ, обоняли они весеннія амбры. Кроткая луна плавала въ эмальной гемисферѣ.

— „Коль восхитителенъ театръ молодыхъ прелестей натуры! — восклицала Юлія, въ объятіяхъ своего Ліодора предаваясь живѣйшей томности.

— „О, священная природа, — отвѣтствовалъ Ліодоръ, — токмо во храмѣ твоёмъ человѣкъ добродѣтельный можетъ существенно блаженствовать. Хотѣлъ бы я съ чувствительностью прижать весь міръ къ моему меланхолическому сердцу, такъ же какъ прижимаю тебя, о Юлія!..“

Читалъ, сидя въ покойномъ креслѣ и протянувъ больную ногу на подставку съ мягкимъ сафьяннымъ валикомъ — устройство, придуманное государыней.

Рожистое воспаленіе на лѣвой ногѣ была первая, за всю его жизнь, опасная болѣзнь. Язва доходила до берцовой кости, и врачи одно время опасались антонова огня. Теперь зажило все; но надо было беречься; нога все еще болѣла иногда, опухала послѣ долгаго стоянія, какъ сегодня въ церкви, во время заупокойной обѣдни. Сегодня — двадцать третья годовщина смерти императора Павла I: 11-е марта 1801 — 11-е марта 1824 года.

„Одной ногой въ могилѣ“, — усмѣхнулся онъ, глядя на свою протянутую ногу, той грустной усмѣшкой надъ самимъ собою, которая являлась у него въ послѣднее время все чаще.

Отъ слишкомъ долгой неподвижности нога затекла, нѣмѣла. Надо было перемѣнить положеніе. Но встать, пошевелиться—лѣнь.

Въ пять назначилъ себѣ приняться за работу; пробило пять, половина шестого, шесть, а онъ все откладывалъ.

Теперь, послѣ болѣзни, часто находила на него эта лѣнь, желаніе сидѣть такъ, цѣлыми часами, не двигаясь, уставивъ глаза въ одну точку, ничего не дѣлая, ни о чемъ не думая, только чувствуя, что душа затекаетъ, нѣмѣетъ, какъ отсиженная нога, и бѣгаютъ въ умѣ, какъ мурашки въ тѣлѣ, маленькія мысли, случайныя слова, Богъ вѣсть когда и гдѣ слышанныя, прилипшія къ памяти, назойливыя. Все одна и та же, бесконечно, однозвучно тикаетъ да тикаетъ въ ушахъ, какъ маятникъ, глупая пѣсенка. Одинъ стихъ забылъ; старался вспомнить и не могъ; вышла безсмыслица:

Но на счастье прочно...
Къ розѣ, какъ нарочно,
Привилась полынь.

Какая рима на полынь? Простынь? пустынь? аминь? Нѣтъ, безсмыслица. Но чѣмъ безсмысленнѣй, тѣмъ прилипчивѣй.

Или еще другое. Давеча, когда государыня совѣтовала ему, вмѣсто скучныхъ русскихъ романовъ, читать Вальтеръ-Скотта, вспомнился ему анекдотъ Константина Павловича, большого любителя такихъ вздоровъ: какъ уѣздная барыня-старушка, слушая разговоръ о Вальтеръ-Скоттѣ, удивилась: „конечно, господинъ Вальтеръ большой вольнодумецъ, но право же, *скотомъ* нельзя его назвать“. — „Вальтеръ-Скоттъ,

Вольтеръ скотъ; Вальтеръ-Скоттъ, Вольтеръ скотъ“, — если повторять быстро, съ удареніемъ на первомъ слогѣ, выходитъ, въ самомъ дѣлѣ, похоже.

„А воспаленіе-то сдѣлалось тамъ, гдѣ нога уже болѣла разъ“, — подумалъ вдругъ и вспомнилъ, какъ, года три назадъ, на кавалерійскихъ маневрахъ шальная лошадь зашибла ему ударомъ копыта это самое мѣсто — берцовую кость лѣвой ноги. Такъ и въ душѣ больное мѣсто, кажется, совсѣмъ зажило, а потомъ вдругъ опять заболитъ: ушибъ на ушибъ, рана на рану — хуже всего: можетъ антоновъ огонь сдѣлаться. Нѣтъ, не надо, не надо объ этомъ; ужъ лучше — „Вальтеръ-Скоттъ, Вольтеръ скотъ“.

Но на счастье прочно...
Къ розѣ, какъ нарочно,
Привилась полынъ.

Всталъ, потянулся и медленно-медленно, судорожно, до боли въ скулахъ, зѣвнулъ. „Иногда бываетъ тяжеле зѣвать, чѣмъ плавать, — пришла ему давняя мысль: — кто знаетъ, можетъ быть, въ аду — не плачь и скрежетъ зубовъ, а только зѣвота, скука — вѣчность скуки?“

Часы опять пробили. „Который часъ? — Вѣчность. — Кто это сказалъ? Да, сумасшедшій поэтъ Батюшковъ, — намедни Жуковскій рассказывалъ... Часъ на часъ, вѣчность на вѣчность, рана на рану — 11-е марта, 11-е марта... Нѣтъ, не надо, не надо...“

Подошелъ къ столу, сѣлъ, хотѣлъ начать работу; но замѣтилъ пыль на малахитовой чернильницѣ. Слугамъ не позволялъ сметать пыль со столовъ, чтобъ не рылись въ бумагахъ. Стеръ замшевой тряпочкой. Замѣтилъ также, что одинъ изъ двухъ канделябровъ по обѣимъ сторонамъ часовъ на каминѣ снять. Нару-

шенный порядокъ въ комнатѣ мѣшалъ ему работать. Отыскивая недостающій канделябръ, оглядывалъ комнату близорукими глазами въ лорнетъ, старенькій, простенькій, черепаховый, всегда хранившійся за обшлагомъ рукава.

Кабинетъ былъ угловая зала окнами на Неву и Адмиралтейство. Ни рѣзбы, ни позолоты; сѣрыя голыя стѣны; на потолокъ — темно-зеленою краской живопись въ древне-римскомъ вкусѣ: крылатая побѣда, трофеи, колесницы, всадники. Мебель краснаго лака, съ бронзою, наполеоновской имперіи; при малѣйшемъ пятнышкѣ или царапинѣ замѣнялась новою; вся въ чехлахъ, дешевенькихъ, бланжевыхъ съ розовыми полосками, три раза въ годъ мытыхъ. Паркетъ гладкій и скользкій, какъ ледъ. Большой письменный столъ — въ простѣнкѣ, между окнами, а посерединѣ — столики маленькіе, въ родѣ ломберныхъ, крытые зеленымъ сукномъ, какъ въ канцеляріяхъ; на каждомъ — дѣла особаго вѣдомства, одинаковыя чернильницы и одинаковыя пачки гусиныхъ перьевъ, очиненныхъ заново: перо, употребленное разъ, хотя бы только для подписи, замѣнялось новымъ; за этимъ слѣдилъ камердинеръ Мельниковъ, получавшій три тысячи въ годъ за чинку перьевъ. И подъ каждымъ столомъ одинаковый коврикъ, красный, съ голубыми разводами. Всюду чистые платки и замшевыя тряпочки для сметанія пыли. Два камна, одинъ противъ другого, тоже одинаковые: бюстъ Паллады — на одномъ, бюстъ Юноны — на другомъ; часы съ бронзовымъ Ахиллесомъ и часы съ бронзовымъ Гекторомъ; канделябры здѣсь и канделябры тамъ. Все одинаково, правильно, соотвѣтственно, единообразно. „Я люблю единообразіе во всемъ“, — говорилъ Аракчеевъ и повторялъ государь.

Отыскалъ, наконецъ, канделябръ на кругломъ шахматномъ столикѣ, въ дальнемъ углу; отнесъ и поставилъ на мѣсто.

Вдругъ вспомнилъ недостающій стихъ:

Но на счастье прочно
Всякъ надежду кинь:
Къ розѣ, какъ нарочно,
Привилась полынъ.

Это удовлетворило его такъ же, какъ поставленный на мѣсто канделябръ; теперь все въ порядкѣ. Опять сѣлъ за столъ.

Передъ нимъ лежали двѣ записки члена Государственнаго Совѣта, адмирала Мордвинова о смертной казни и о кнутѣ.

„Прошло болѣе семидесяти лѣтъ, какъ смертная казнь отмѣнена въ Россіи, — писалъ Мордвиновъ. — Возстановленіе оной казни въ ново-издаваемомъ уголовномъ уставѣ, при царствованіи императора Александра I, приводитъ меня въ смущеніе и содроганіе. Я не дерзаю и помыслить, что казнь сія, при благополучномъ его величества правленіи, сдѣлалась нужнѣе, нежели въ то время, когда была отмѣнена“...

„Да, нужнѣе, — подумалъ, — если будетъ судъ надъ нами...“

Сморщился, какъ отъ внезапной боли, поскорѣе отложилъ записку о казни и сталъ читать другую — о кнутѣ.

„Съ того знаменитаго для человѣчества времени, когда всѣ народы европейскіе отмѣнили пытки, одна Россія сохранила у себя кнутъ, что даетъ поводъ народамъ иностраннымъ заключать, что отечество наше находится еще въ состояніи варварскомъ. Кнутъ есть мучительное орудіе, которое раздираетъ человѣческое тѣло, отрываетъ мясо отъ костей, метаетъ по воздуху

брызги крови и потоками оной обливаетъ тѣло; мученіе лютейшее изъ всѣхъ извѣстныхъ, ибо всѣ другія менѣе бываютъ продолжительны; тогда какъ для двадцати ударовъ кнута нуженъ цѣлый часъ; при многочисленности же ударовъ мученіе продолжается отъ восходящаго до заходящаго солнца“.

Предлагалось „уничтожить навсегда кнутъ, орудіе казни, несоотвѣтственной настоящей степени просвѣщенія и благонравія русскаго народа“.

Семь лѣтъ назадъ, по высочайшему повелѣнію, предложено было Государственному Совѣту уничтожить кнутъ; въ семь лѣтъ ничего не сдѣлано, и если опять предложить, — пройдетъ еще семь лѣтъ, — и ничего не сдѣлаютъ.

Не проще ли взять перо, обмакнуть въ чернила и написать тутъ же, на поляхъ записки: „Быть по сему“? Ужъ если нельзя и этого, то на что самодержавіе? А вотъ нельзя. Быть по сему, быть по сему—и ничему не быть.

Что Аракчеевъ скажетъ? То, что уже говоритъ: „доложу вамъ, батюшка: Мордвиновъ—пустой человѣкъ. Поговорю съ нимъ, но напередъ знаю, что ничего добраго не услышу“. А старички-сенаторы, столпы отечества, во всѣхъ углахъ зашумываютъ: „нельзя Россіи быть безъ кнута!“ Если ихъ послушать, то конецъ кнута—начало революціи.

Вспомнилъ указъ о снятіи шлагбаумовъ, никому ненужныхъ, кромѣ пьяныхъ инвалидовъ, чтобы кланчить на водку съ проѣзжихъ, да срывать верхи съ колясокъ. Указъ готовъ былъ къ подписи, но государь подумалъ и не подписалъ. „Какъ ни мудри, все будетъ по-старому“, — говоритъ Аракчеевъ и правъ. Стоитъ ли ворошить кучу?

— „Покрасили бы комнату“, — сказалъ кто-то баснописцу Крылову, увидѣвъ сальное отъ головы его пятно на стѣнѣ.

— „Эхъ, братецъ, выведешь одно, будетъ другое. Не накрасишься“.

Такъ и онъ: ни сальныхъ, ни кровавыхъ пятенъ уже не мечтаетъ вывести; мечталъ объ отмѣнѣ самодержавія—и вотъ не отмѣнилъ шлагбаумовъ, не отмѣнить кнута. „Какъ ни мудри, все будетъ по-старому“.

Но вѣрилъ же когда-то, что все будетъ по-новому. „Что бы ни говорили обо мнѣ, я въ душѣ республиканецъ, и никогда не привыкну царствовать деснотомъ“. Если не отрекся отъ самодержавія тотчасъ же, какъ вступилъ на престолъ, то только потому, что раньше хотѣлъ, даруя свободу Россіи, произвести лучшую изъ всѣхъ революцій — властью законною. Помѣшало Наполеоново нашествіе. Но, по освобожденіи отъ врага внѣшняго, не вернулся ли къ мысли объ освобожденіи внутреннемъ? Что же такое — Священный Союзъ, главное дѣло жизни его, какъ не послѣднее освобожденіе народовъ? Евангеліе—вмѣсто законовъ; власть Божія—вмѣсто власти человѣческой. Вѣрилъ: когда всѣ цари земные сложатъ вѣнцы свои къ ногамъ единого Царя Небеснаго, да будетъ Самодержцемъ народовъ христіанскихъ не кто иной, какъ самъ Христосъ, тогда, наконецъ, совершится молитва Господня: да прійдетъ царствіе Твое, да будетъ воля Твоя на землѣ, какъ на небѣ.

Да, вѣрилъ и донинѣ вѣрить. Но, какъ ни мудри, все будетъ по-старому.

— „Болтовня безобидная, памятникъ пустой и звонкій“, — говорилъ Меттернихъ о Священномъ Союзѣ.

Евангеліе—Евангеліемъ, а кнутъ—кнутомъ. Пусть же брызги крови по воздуху мечутся, мясо отъ костей отрывается,—въ часъ двадцать ударовъ, въ три минуты ударъ,—и такъ отъ восходящаго до заходящаго солнца. Можетъ быть, и сейчасъ, пока онъ думаетъ...

Но если не отмѣнить, то хоть смягчить?... Смягчить кнутъ? „Кнутъ на ватѣ“—вспомнилось ему изъ доносовъ тайной полиціи чье-то слово о немъ. Любилъ подслушивать и собирать такія словечки—посыпать солью раны свои.

Вспомнилъ и то, какъ, готовясь къ рѣчи о конституціи на Польскомъ сеймѣ, учился красивымъ движеніямъ тѣла и выраженіямъ лица, точно актеръ передъ зеркаломъ,—и вдругъ вошелъ адъютантъ. Теперь еще, вспоминая, краснѣетъ. Когда потомъ называли Польскую конституцію „зеркальной“, онъ зналъ почему.

„Господинъ Александръ, по природѣ своей, великій актеръ, любитель красивыхъ тѣлодвиженій“,—говорила о немъ Бабушка.

Неужели—такъ? Неужели все въ немъ—ложь, обманъ, красивое тѣлодвиженіе, любованіе собой передъ зеркаломъ? И послѣдняя правда—то, что сейчасъ подступаетъ въ сердцу его тошнотой смертною—презрѣніе къ себѣ?

Хоть бы—ужасъ; но ужаса нѣтъ, а только скука—вѣчность скуки, та зѣвота, которая хуже, чѣмъ плачъ и скрежетъ зубовъ.

А можетъ быть, и лучше, покойнѣе такъ? Вернуться бы въ кресло, устѣться поудобнѣе, протянуть больную ногу на подушку и приняться опять за „Людора и Юлію“; или уставиться глазами въ одну точку, ничего не дѣлая, ни о чемъ не думая, пока

душа опять не затечетъ, не онѣмѣетъ, какъ отсиженная нога, и маленькія мысли въ умѣ, какъ мурашки въ тѣлѣ, не забѣгаютъ: „Вальтеръ-Скоттъ, Вольтеръ-скотъ“...

Съ неимовернымъ усиліемъ всталъ, торопливо, какъ будто боясь, что не хватитъ рѣшимости, подошелъ къ столу въ простѣнкѣ между окнами, торопливо-торопливо отперъ ящикъ и вынулъ бумаги.

То былъ доносъ генерала Бенкендорфа и его, государя, собственная записка о Тайномъ Обществѣ.

Доносъ подробнѣйшій: вся исторія Общества; его зарожденіе, развитіе, раздѣленіе на двѣ Управы, Сѣверную въ Петербургѣ и Южную въ Тульчинѣ, Васильковѣ, Каменкѣ; имена директоровъ и главныхъ членовъ; цѣли: у Сѣверныхъ—ограниченіе монархіи, у Южныхъ—республика; способы дѣйствія: у однихъ—тайная проповѣдь, у другихъ—военный бунтъ и революція съ цареубійствомъ.

Легко было по этому доносу схватить всѣхъ заговорщиковъ и уничтожить заговоръ: протянуть руку и взять, какъ гнѣздо птенцовъ.

Четыре года назадъ, былъ поданъ доносъ и четыре года пролежалъ въ столѣ, нетронутый: прочелъ его, положилъ въ ящикъ, заперъ на ключъ и не вынималъ съ тѣхъ поръ, какъ будто забылъ. Ничего не сдѣлалъ, никому не сказалъ. Бенкендорфа избѣгалъ, въ глаза ему не смотрѣлъ, точно гнѣвался, а тотъ не могъ понять, за что немилость.

Какъ будто забылъ,—но не забывалъ. Какъ преступникъ, не думая о своемъ преступленіи, чувствуетъ его во снѣ и наяву; какъ неизлѣчимо больной, не думая о своей болѣзни, никогда ея не забываетъ, — такъ не забывалъ и онъ, за всѣ эти

четыре года, ни на одинъ день, ни на одинъ часъ, ни на одну минуту.

Тогда же, при первомъ чтеніи, началъ-было составлять записку для себя самого, чтобы успокоить, отдалить и выяснить свои собственные, слишкомъ страшныя, близкія и смутныя мысли, а также для Аракчеева, которому хотѣлъ сказать все; тогда хотѣлъ, потомъ уже не могъ. Но едва началъ писать, какъ почувствовалъ, что нѣтъ силъ: думать трудно, а говорить и писать невозможно.

Перечелъ доносъ и взглянулъ на первыя слова неоконченной записки:

„Есть слухи, что пагубный духъ вольномыслія разлитъ или, по крайней мѣрѣ, сильно ужъ разливается между войсками. Зараженіе умовъ генеральное...“

И еще въ другомъ мѣстѣ по-французски:

„Эти господа хотятъ меня застращать; они обладаютъ большими средствами: кого угодно могутъ возвысить или уничтожить. Дѣло идетъ объ изысканіи средствъ для борьбы съ такъ называемымъ духомъ *оремеи* — духомъ сатанинскимъ, распространяющимъ господство зла быстро и тайно, какъ въ Европѣ, такъ и въ Россіи. Одинъ только Спаситель можетъ доставить это средство Своимъ божественнымъ словомъ. Воззовемъ же къ Нему изъ глубины нашихъ сердецъ, да пошлетъ Онъ намъ Духа Своего Святого. Карбонары разсѣяны всюду. Но, съ помощью Божественнаго Промысла, я буду посредникомъ для огражденія Европы, а слѣдовательно, и Россіи отъ язвы революціи...“

И теперь, такъ же какъ тогда, почувствовалъ, что продолжать записку нѣтъ силъ. Надо терпѣть,

молчать, скрывать отъ всѣхъ эту страшную и постыдную язву.

Онъ зналъ, что дѣлаетъ; зналъ, что ни дня, ни часа, ни минуты медлить нельзя; что за эти четыре года заговоръ неимоვნно усилился; что онъ, бездѣйствуя, потворствуетъ злу, губить Россію и за это дастъ отвѣтъ Богу;—все зналъ и ничего не дѣлалъ.

И чѣмъ утѣшалъ себя, чѣмъ оправдывалъ?

Всегда носилъ въ карманѣ записную книжку, подарокъ князя Меттерниха, главнаго совѣтника своего въ борьбѣ съ революціей; на первой страницѣ—вмѣсто заглавія: *Не давать ходу*, — и далѣе въ азбучномъ порядкѣ — списокъ лицъ подозрительныхъ въ Европѣ и въ Россіи. Меттернихъ началъ, Александръ продолжалъ. Когда представляли ему новое лицо, справлялся о немъ по *Сибиллиной книгѣ*, какъ называла ее Марья Антоновна, — и если находилъ имя, — не давалъ ходу, преслѣдовалъ тайно или явно. Были въ спискахъ и члены Тайнаго Общества; за четыре года много именъ прибавилось, которыхъ въ доносѣ Бенкендорфа не было. И вотъ чѣмъ утѣшался: „всѣ они, — думалъ, — у меня въ рукахъ; когда наступитъ время, уничтожу всѣхъ“.

Такъ и теперь попробовалъ утѣшиться: досталъ изъ кармана книжку, перечелъ списокъ; на букву Г прибавилъ: „Камеръ-юнкеръ Голицынъ—въ очкахъ“.

„Вотъ бы съ кѣмъ поговорить. Онъ Софьинъ другъ; не можетъ быть и мнѣ врагомъ. Обличить, пристыдить, довести до раскаянія. Сначала — его, а потомъ и другихъ. Кто знаетъ, можетъ быть, преувеличено? Никакого заговора нѣтъ, а только дѣтская шалость? Подождать, — само пройдетъ“.

Утѣшался, но не утѣшился. Похоже было на то,

какъ если-бъ кто-нибудь, видя чумной нарывъ на тѣлѣ своемъ, говорилъ себѣ: это ничего, — такъ, прыщикъ, само пройдетъ. Теперь уже зналъ, что само не пройдетъ, и что эта книжечка — противъ Тайнаго Общества — тряпочка съ масломъ на чумной нарывъ.

И Крыловъ, опять Крыловъ, лѣнтяй — лѣнтая, вспомнился. Надъ самымъ диваномъ, гдѣ обыкновенно сидѣлъ Крыловъ, большая, въ тяжелой рамѣ, картина висѣла наискось, съ одного гвоздя сорвалась и на другомъ едва держалась.

— „Берегитесь, Иванъ Андреевичъ, убѣеъ.“

— „Небось, по закону механики, кривую линію опишетъ, падая: какъ разъ мимо головы пролетитъ“.

„Пролетитъ мимо“, — думалъ когда-то и онъ о заговорѣ; но теперь зналъ, что не мимо.

Во время болѣзни, ожидая смерти, понялъ, что нельзя оставлять Россіи такого наслѣдства, и далъ себѣ клятву, если выживетъ, рѣшить, наконецъ, что-нибудь о Тайномъ Обществѣ, что-нибудь сдѣлать. И вотъ именно сегодняшній день, самый для него святой и страшный — 11-е марта — назначилъ себѣ, чтобы рѣшить.

Что же? Судъ? Казнь?

— „Не мнѣ ихъ судить и казнить: я самъ раздѣлялъ и поощрялъ нѣкогда всѣ эти мысли, я самъ больше всѣхъ виноватъ“, — сорвалось у него съ языка, при первыхъ слухахъ о Тайномъ Обществѣ, которые сообщилъ ему, еще раньше доноса бенкендорфова, генералъ Васильчиковъ.

Да, первый и главный членъ Тайнаго Общества — онъ самъ. „Негласный комитетъ“, собиравшійся здѣсь же, въ покояхъ Зимняго дворца, — пять молодыхъ заговорщиковъ — Чарторыжскій, Новосиль-

цевъ, Кочубей, Строгановъ и онъ, государь, — вотъ колыбель Тайнаго Общества.

Къ бенкендорфову доносу приложенъ былъ уставъ Союза Благоденствія. Цѣли союза: ограниченіе монархіи, народное представительство, уничтоженіе вѣрнопостного права, гласность судовъ, свобода тисненія, свобода совѣсти, — все, чего желалъ онъ самъ.

Сколько разъ говорилъ: желалъ бы сдѣлать то и то, но гдѣ люди? Кѣмъ я возьмусь? Вотъ кѣмъ. Вотъ люди. Сами шли къ нему, но онъ ихъ отвергъ; и если пойдутъ мимо, противъ него, кто виновать?

Говорилъ — услышали; училъ — учились; повелѣлъ — исполнили. Онъ измѣнилъ тому, во что вѣрилъ; они остались вѣрными. За что же ихъ судить? За что казнить? Если имъ на шею петлю, то ему — жерновъ мельничный за соблазнъ малыхъ сихъ. Судить ихъ — себя судить; казнить ихъ — себя казнить.

Онъ — отецъ; они — дѣти. И казнь ихъ будетъ не казнь, а убійство дѣтей. Отцеубійствомъ началъ, дѣтоубійствомъ кончить. Взошелъ на престолъ черезъ кровь и черезъ кровь сойдетъ: 11-е марта — 11-е марта.

Такъ вотъ ужасъ, который онъ звалъ, — пробужденіе отъ страшнаго смертнаго сна. Что еще жива душа его, онъ только и зналъ по этому ужасу.

Нѣтъ, никогда ничего не рѣшить, ничего не сдѣлаетъ. Будь что будетъ, — молчать, терпѣть, скрывать до конца страшную и постыдную язву.

Собралъ бумаги, положилъ ихъ опять въ тотъ же ящикъ стола и заперъ съ такимъ чувствомъ, что уже никогда не вынетъ.

На самомъ днѣ замѣтилъ отдѣльный листокъ

очень старой пожелтѣвшей бумаги—чье-то письмо. Зналъ чье, къ кому, о чемъ; хотѣлъ-было перечестъ, но раздумалъ, рѣшилъ—потомъ; оставилъ въ ящикѣ, только положилъ на виду, сверху, такъ, чтобы найти тотчасъ, когда надо будетъ.

Подошелъ къ окну, посмотрѣлъ. Прояснило,—должно быть, подморозило. Мокрый снѣгъ пересталъ. Слышался желѣзный скрежетъ скребковъ: счищали снѣгъ съ набережной—знакомый петербургскій звукъ, напоминающій весеннюю оттепель. Посыпали гранитныя плиты желтымъ несомъ: государь любилъ весеннія прогулки по набережной. Черезъ бѣлую скатерть Невы перевозъ подтаившій, съ наклоненными елками, уже чернѣлъ по-весеннему. Свѣтлый шпиль Петропавловской крѣпости пересѣкалъ темно-лиловыя полосы тучъ и блѣдно-зеленыя полосы неба, тоже весенняго; а тамъ, на западѣ, надъ многоколонною биржею, похожей на древній храмъ, небо еще блѣднѣе, зеленѣе, золотистѣе,—бездонно-ясное, бездонно-грустное, какъ чей-то взоръ. Чей?

„Не надо, не надо“... хотѣлъ сказать еще разъ, но уже не могъ,—вспомнилъ все.

То былъ послѣдній, наканунѣ страшной ночи, семейный обѣдъ императора Павла I; всѣ они, жена и дѣти, думали, что онъ—сумасшедшій; а онъ, отецъ, думалъ, что они—убійцы. Но ѣли, пили, говорили, шутили, какъ ни въ чемъ не бывало. Только на прощаніе Павелъ подошелъ къ Александру, обнялъ его, поцѣловалъ, перекрестилъ, положилъ ему обѣ руки на плечи и посмотрѣлъ прямо въ глаза, долго-долго, съ таковой любовью, какъ никогда. Одинъ мигъ казалось обоимъ, что они другъ другу скажутъ все и все простятъ.

И вотъ опять блѣдно-зеленое небо смотритъ ему прямо въ душу, бездонно-ясное, бездонно-грустное, какъ тотъ послѣдній взоръ. Но теперь уже нельзя сказать, нельзя простить.

И кажется, тотъ мигъ и этотъ — одинъ; между ними нѣтъ времени, какъ будто время шло не впередъ, а назадъ: наступало прошлое, наступило, пришло — и уже никогда не уйдетъ. И двадцать три года жизни — Наполеонъ, пожаръ Москвы, взятіе Парижа, побѣды, слава, величіе, — все исчезло, какъ сонъ, — ничего не было, а было, есть и будетъ одно — вотъ этотъ вѣчный мигъ.

Теперь только понялъ, почему не можетъ судить и казнить заговорщиковъ. Не онъ — ихъ, а они его будутъ судить и казнить. Божій судъ надъ нимъ, Божья казнь ему — въ нихъ. Кровь за кровь. Кровь сына за кровь отца.

Повалился на стулъ и закрылъ лицо руками.

Кто-то постучался въ дверь. Вздрогнулъ, обернулся, поблѣднѣлъ такъ, какъ въ ту страшную ночь.

Откликнулся не сразу. Но когда черезъ нѣсколько минутъ вошелъ камердинеръ Мельниковъ со свѣчами — уже стемнѣло — и съ докладомъ объ архимандритѣ Фотіи, государь сидѣлъ опять въ креслѣ, какъ давеча, протянувъ больную ногу за подушку, съ книгой въ рукахъ, и лицо его было такъ спокойно, что никто не догадался бы, что онъ сейчасъ думалъ и чувствовалъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Дежурный камердинеръ Мельниковъ доложилъ государю объ архимандритѣ Фотіи. Государь велѣлъ принять.

Потайной Zubовской лѣстницей, такой темной, что среди дня ходили по ней съ огнемъ, введенъ былъ Фотій во дворецъ.

Въ былые годы раздавалось по ночамъ на этой лѣстницѣ мяуканье, которымъ фрейлины звали юнаго кота къ дряхлой кошуркѣ, Платона Zubова—къ Бабушкѣ; а потомъ къ внуку пробирались тайкомъ на духовныя бесѣды статская совѣтница Татаринова-хлыстовка, Крюденерша-пророчица, придворный лакей Кобелевъ—посолъ свопческаго бога Селиванова, и графъ Жозефъ де-Местръ—посолъ римскаго папы, и англійскіе квакеры, и русскій юродъ, барабанщикъ Никитушка, и еще много другихъ.

Идучи по лѣстницѣ, Фотій крестился и крестилъ всѣ углы, переходы, и двери, и стѣны дворца, помышляя, что „тѣмъ здѣсь живутъ силъ вражьихъ“.

Когда вошелъ въ кабинетъ государя, тотъ всталъ навстрѣчу ему и хотѣлъ подойти подѣ благословеніе.

Но Фотій какъ будто не видѣлъ его; искалъ глазами по угламъ, перебѣгая взоромъ отъ мраморной Паллады надъ каминнымъ зеркаломъ къ триумфальнымъ колесницамъ и крылатымъ побѣдамъ на потолкѣ. Тамъ, подъ ними, въ углу, нашелъ, наконецъ, образокъ. Истово, медленно перекрестился и тогда только взглянулъ на государя.

Тотъ понялъ: сначала Богу поклонись, Царю Небесному, а потомъ—земному. Понравилось.

— Благословите, о. Фотій.

— Во имя Отца, и Сына, и Духа Святаго. Благослови тебя Господи!

Тѣмъ же истовымъ, широкимъ крестомъ перекрестилъ его такъ, какъ простыхъ мужиковъ крестить сельскій священникъ. Опять понравилось.

Государь поцѣловалъ руку монаха, и тотъ не отдернулъ ея, какъ будто даже нарочно сунулъ, почти съ грубостью. Этого учить не придется, какъ прочихъ, чтобъ не кланялся въ ноги царю,—скорѣе самъ потребуетъ, чтобы ему поклонился царь.

Страхомъ расширенными глазами смотрѣлъ Фотій на государя; но то былъ страхъ нечеловѣческій;—продолжалъ, какъ давеча, на лѣстницѣ, крестить себя, крестить во всѣ стороны воздухъ: еще большія тѣмы вражьихъ силъ живутъ здѣсь, близъ царя, а можетъ быть, и въ немъ самомъ.

— Прошу васъ, присядьте, ваше преподобіе...

Государь запнулся: не былъ увѣренъ, что архимандрита зовутъ преподобіемъ; не твердъ былъ въ церковныхъ чинахъ, какъ и въ русскомъ языкѣ вообще, когда рѣчь шла о предметахъ духовныхъ: привыкъ говорить о нихъ по-французски и по-англійски.

Фотій сѣлъ, но не тамъ, гдѣ государь указывалъ,

рядомъ съ собой, а поодазь, у окна, неловко, на самый край стула.

— Я очень радъ васъ видѣть,—продолжалъ государь, затрудняясь и не зная, съ чего начать.—Я много слышалъ о васъ отъ князя Голицына... и отъ графа Аракчеева,—поспѣшилъ прибавить, вспомнивъ, что Фотій Голицыну врагъ.—Я давно желалъ поговорить съ вами о дѣлахъ церкви, которыя, къ душевному прискорбію моему, не такъ идутъ, какъ слѣдуетъ. Объ одномъ прошу васъ: говорите всю правду... Если бы вы знали, отецъ, какъ рѣдко слышу я правду и какъ въ этомъ нуждаюсь,—заклучилъ съ искреннимъ чувствомъ.

— Государь всемилостивѣйшій, ваше императорское величество!—началъ-было Фотій торжественно, видимо, заранѣе приготовленную рѣчь, но вдругъ остановился, какъ будто забылъ все, что хотѣлъ сказать; вытеръ платкомъ потъ съ лица, растерянно махнулъ рукою, приподнялъ полу рясы, открывая высокій мужичій сапогъ, и вынулъ изъ-за голенища пачку листовъ, мелко исписанныхъ.

— Тутъ все, все,—забормоталъ, торопясь и оглядываясь:—если хочешь знать все, государь, слушай... Тутъ все, по Писанію, до точности...

И прочелъ заглавіе:

— *„Планъ раззоренія Россіи и способъ оный планъ вдружь уничтожить тихо и счастливо“.*

Государь плохо слышалъ—былъ тугъ на ухо—и думалъ о другомъ: вспоминалъ рассказы Голицына о Фотіи.

Сынъ бѣднаго сельскаго причетника, родился на соломѣ, въ хлѣву, какъ оный Младенецъ въ ясляхъ внолеемскихъ. Всю жизнь былъ въ бѣдахъ; ранахъ,

болѣзняхъ, біеніяхъ, потопленіяхъ многократно; нищъ, нагъ, хладенъ и гладенъ. Когда учился въ петербургской семинаріи, бѣгалъ по праздникамъ изъ Лавры на Васильевскій, къ теткѣ, за концомъ пирога или пятачкомъ на сбитень. Служа въ первомъ кадетскомъ корпусѣ законоучителемъ, вступилъ въ борьбу съ масонами, иллюминатами, мистиками и прочими слугами антихристовыми. Исполнившись Ильиною ревностью, небоязненно голосъ свой, какъ трубу, возвышалъ; какъ юродъ, ходилъ всюду; вопіялъ, обличалъ, хотѣлъ взять штурмомъ крѣпость вражью. На корпусномъ дворѣ, въ присутствіи кадетъ, собравъ кучу книгъ еретическихъ, сжегъ въ огнѣ съ громогласной анаемой. Подкупалъ слугъ въ домахъ, гдѣ происходили сборища мистиковъ; слуги проламывали стѣны подъ потолкомъ, просверливали дыры, и онъ наблюдалъ за тѣмъ, что творилось внизу, а потомъ доносилъ митрополиту или оберъ-полицеймейстеру. Наконецъ, враги обѣщали, будто бы, миллионъ за убійство Фотія. Онъ бѣжалъ отъ нихъ при помощи кадетъ, выскочивъ ночью въ одной рубахѣ черезъ окно въ садъ и черезъ стѣну сада на улицу. Боролся съ бѣсами, которые являлись ему въ страшныхъ подобьяхъ тѣлесныхъ, били его и таскали за волосы до безчувствія, или, въ образѣ ангеловъ свѣтлыхъ, искушали хитрою лестью: „преподобный отче Фотій, сотворилъ бы ты нѣкое чудо,—перешелъ бы у дворца по Невѣ, яко по суху“. Былъ дѣвственникъ, плоти истязатель, великій постникъ; носилъ желѣзные вериги, спалъ въ гробу; цѣлыми недѣлями питался однимъ липовымъ цвѣтомъ съ медомъ, какъ Божья пчела, даже чая не имѣлъ у себя въ кельѣ, а пилъ укропникъ. Такъ ослабѣвалъ отъ поста, что едва стоялъ

на ногахъ и шатался, какъ тѣнь; дрожалъ въ вѣчномъ ознобѣ и лѣтомъ ходилъ въ шубѣ. Въ Страстную же седмицу желудокъ его въ орѣховую скорлупу сжимался, и потомъ, чтобы привыкнуть къ пищѣ, постепенно увеличивая приемы, развѣшивалъ ихъ, какъ лѣкарство, на аптекарскихъ вѣскахъ.

Вспоминая все это, государь съ любопытствомъ вглядывался въ лицо Фотія.

Худенькій, сухенькій, востренькій, будто весь колючій, съ колючими, какъ рыбы восточки, быстро сверкающими, сѣрыми глазками, хищными, какъ у хорька, съ пушистыми, рыжими, какъ хорьковый мѣхъ, волосами и рыжей бородкой; сквозь прозрачно-восковую блѣдность кожи проступаетъ синева пятнами, какъ на лицѣ покойника. Не посидитъ на мѣстѣ, все шевелится, боязливо оглядываясь, тоже какъ дикій хорекъ въ клѣткѣ. Но въ этой дикости—что-то жалкое, дѣтское, что внушало невольное желаніе погладить и приручить его,—только бы не укусилъ.

Фотій продолжалъ читать, бормоча себѣ подъ носъ, невнятно, быстрымъ задыхающимся шопотомъ; отдѣльные слова долетали до государя, похожія на бредъ.

— „Число звѣриное 666. Се—тайна послѣднихъ временъ, тайна великая. На 1836 годъ готовится царство Звѣря... Пароль на все наложенъ: раскопать алтари и разрушить престолы... Подъ видомъ тысячелѣтняго царствованія, еоократическаго правленія—новая религія во грядущаго Антихриста... всемірная революція“...

— Прошу васъ, о. Фотій,—остановилъ его государь:—я плохо слышу на лѣвое ухо, пересядьте сюда, поближе.

Фотій вздрогнулъ и дико воззрился, но тотчасъ

пересѣлъ; продолжалъ читать. Государь слушалъ и не вѣрилъ ушамъ своимъ: Священный Союзъ—революціонный заговоръ.

— Какъ же такъ, о. Фотій? О тысячелѣтнемъ царствіи святыхъ на землѣ не молится ли сама церковь?

Это слышалъ онъ отъ Голицына; тотъ именно такъ объяснялъ Священный Союзъ, о которомъ, при заключеніи его, объявлено было торжественно, во всѣхъ церквахъ Россійской имперіи.

— Чего молиться? Все исполнилось, — проворчалъ Фотій сердито.

— Когда же? Гдѣ?

— Со дней св. Константина Равноапостольнаго— въ церкви православной, католической; иного же царства не будетъ. Такъ отцы предали, такъ и мы вѣруемъ. А что сверхъ сего, то отъ лукаваго...

Государь не возражалъ болѣе, но покачалъ головою сомнительно: войны, смуты, революціи, раздѣленіе церквей, братоубійственная ненависть народовъ— это ли царство Божіе на землѣ, какъ на небѣ?

— Тутъ все у меня, все по Писанію, до точности. Вотъ слушай...

Опять засуетился, отыскивая нужные листки, лазилъ за голенища, за отвороты рукавовъ и за пазуху; весь былъ обложенъ доносами, какъ воинъ доспѣхами.

Государь испугался, что чтеніе никогда не кончится.

— Знаете что, о. Фотій: оставьте мнѣ ваши записки, я прочту уже внимательно, а теперь поговоримъ. Скажите мнѣ все, что на сердцѣ у васъ...

Фотій началъ—было снова суетиться, креститься, но вдругъ положилъ листки на столъ, привсталъ, нахло-

нился, вытянул шею, приблизил губы къ самому уху царя и зашепталъ уже внятнѣмъ шопотомъ:

— Какъ пожаръ, въ Россіи вскорѣ возгорится революція; уже дрова поджжены и огонь поджигаютъ... Министерство духовныхъ дѣлъ, Библейское Общество, иллюминаты, масоны и прочихъ мистиковъ сволочь зловредная — одинъ всеобщій заговоръ. Готовится вдругъ всегубительство. Торжественно о томъ опубликовано, дабы мечи взять и всѣхъ заколотъ нечаянно... А всему причина главная, всѣмъ злодѣямъ злодѣй — знаешь кто?

— Кто?

— Голицынъ.

— Что вы, отецъ? Я князя Александра Николаевича знаю, вотъ уже тридцать лѣтъ: вмѣстѣ росли; люблю, какъ родного. Да если онъ, то и я...

— И ты, и ты, государь благочестивѣйшій, помазанникъ Божій, самъ себѣ, по невѣдѣнію, изрываешь ровъ погибели. Если не покаешься, будешь и ты въ сѣтяхъ дьявольскихъ!..

Вскочилъ и, весь дрожа, какъ листъ, глядя на него горящими глазами, закричалъ неистово:

— Съ нами Богъ! Господь силъ съ нами! Что сдѣлаешь мнѣ человекъ? Ты, царь, можешь все: наступишь на меня, яко путникъ на мравіа, — и нѣтъ меня... Казни же, убей, возьми душу мою! Ничего не боюсь! На всѣхъ враговъ Господнихъ — анаема!..

Въ поднятой рукѣ его что-то блеснуло, какъ ножъ: то былъ крестъ.

Государь тоже всталъ и невольно отступилъ. „Сумасшедшій!“ — промелькнуло въ головѣ его.

— Да воскреснетъ Богъ и да расточатся враги его! Яко таетъ воскъ передъ лицомъ огня, да исчез-

нутъ! — потрясалъ Фотій врестомъ, какъ ножомъ. — Если и ты, царь, не слушаешь, одно осталось: взять въ одну руку Евангеліе, въ другую — врестъ, и на площадь пойти, возгласить въ народъ: „православные, ратуйте!“ И вся Россія узнаетъ... Многіе вступятся... Революція, такъ революція! Съ нами Богъ! Господь силъ съ нами! Пошли, Боже, громы твои, блесни молніей и разжени враговъ! О, Господи, спаси же! О, Господи, поспѣши же!..

Съ воплемъ, ломая руки, упалъ къ ногамъ государя; трясся весь, какъ въ припадкѣ.

— Встаньте же, встаньте, прошу васъ, не надо... — старался его поднять государь.

Но Фотій не вставалъ, ухватившись за него руками судорожно, какъ утопающій.

— Спаси, защити, помилуй, царь мой, Богомъ данный, возлюбленный! Я тебѣ вѣрный слуга, яко Богу... Хочешь, все скажу, все?.. Какъ планъ революціи вдругъ уничтожить тихо и счастливо?

И опять зашепталъ ему на ухо:

— Было мнѣ отъ Господа видѣніе: или мы втроемъ по водѣ, яко по суху, — я, ты и онъ...

— Кто онъ? — съ какимъ-то суевѣрнымъ страхомъ спросилъ государь.

— Графъ Аракчеевъ, — отвѣтилъ Фотій. — Графъ Аракчеевъ — столпъ отечества, мужъ преизящѣйшій. Яко Георгій Побѣдоносецъ явится; вѣренъ, правдивъ, церковь Божію истинно любитъ; ему можно все повѣрить — все сдѣлаетъ... И я съ нимъ. Я, ты и онъ. Выѣстѣ втроемъ, по водѣ, яко по суху... Государь батюшка, ваше величество, въ двѣнадцатомъ году побѣдилъ ты Наполеона тѣлеснаго; самого же Антихриста, Наполеона духовнаго, побѣдить можешь нынѣ

въ три минуты одною чертою пера! Только указъ подпиши: Общество Библейское закрыть, Голицына удалить, министерство духовныхъ дѣлъ упразднить,— и въ три минуты, въ три минуты одною чертою пера уничтожишь всю революцію!..

Всталъ, но не удержался на ногахъ и въ изнеможеніи, почти въ безпамятствѣ, упалъ на стулъ; рыжіе волосы прилипли къ потному лбу; смотрѣлъ въ одну точку безсмысленно, какъ будто ничего не видѣлъ и не сознавалъ, гдѣ онъ, что съ нимъ. Синева проступала еще больше сквозь трупную блѣдность лица; кончикъ носа заострился, какъ у мертваго.

Сумасшедшій? — думалъ Александръ. — Почему сумасшедшій? Потому ли, что красно говорить не умѣеть, — не царедворецъ въ рясахъ, а простой мужикъ, неученый, немудрый, какъ тѣ галилейскіе рыбаки, коихъ избралъ Господь, дабы пристыдить мудрыхъ вѣва сего? И не все ли почти правда, что онъ говоритъ? Не въ Голицынѣ же дѣло. А что самъ я служилъ духу своеволія безбожнаго, духу революціи сатанинскому и теперь еще, быть-можетъ, служу, по невѣдѣнію, — развѣ не такъ? И откуда онъ знаетъ, какъ-будто прочелъ въ сердцѣ моемъ? Полно, ужъ не онъ ли мужъ Господень въ духѣ и силѣ, для моего спасенія посланный?..“

Фотій очнулся, зашевелился и съ трудомъ, черезъ силу, всталъ на ноги: должно быть, понялъ, наконецъ, что нельзя сидѣть, когда царь стоитъ; понялъ также, что бесѣда кончена. Торопливо доставъ откуда-то забытый листокъ, приложилъ къ остальной пачкѣ на столѣ государевомъ. И опять что-то было дѣтское, жалкое въ этомъ движеніи, отъ чего государь еще сильнѣе почувствовалъ, что обидѣлъ его.

— О. Фотій, — проговорилъ онъ, взявъ его за руку, — обѣщаю вамъ обо всемъ, что вы мнѣ сказали, подумать и, вѣрьте, все, что могу, сдѣлаю... А если что не такъ сказалъ, — простите, Бога ради! И помолитесь за меня, прошу васъ, очень прошу...

Какъ это часто съ нимъ бывало, умилился и растрогался отъ собственныхъ словъ.

Медленнымъ движеніемъ, морщась отъ боли въ ногѣ, — но чѣмъ больнѣе, тѣмъ пріятнѣе, — опустился на колѣни передъ Фотіемъ; красоту смиреннаго величія своего тоже почувствовалъ, какъ будто увидѣлъ себя въ зеркалѣ, — и еще больше растрогался; что-то подступило къ горлу, защеботало привычно-сладостно.

Вотъ кому исповѣдаться во всемъ, сказать все, какъ самому Христу Господню, — самое страшное, тайное, — объ этой вѣчной мукѣ своей, о пролитой крови отца: ужъ если онъ простить, разрѣшить на землѣ, 'то будетъ разрѣшено и на небѣ.

И о красотѣ не думая, почти не сознавая, что дѣлаетъ, государь поклонился въ ноги Фотію.

Упоительнѣй, чѣмъ запахъ мускуса отъ черныхъ кружевъ баронессы Брюденеръ, былъ запахъ дегтя отъ мужичьихъ сапогъ. И такъ легко стало, какъ будто кровавая тяжесть вѣнца, которая всю жизнь давила его, вдругъ спала на одно мгновеніе.

Радость засверкала въ глазахъ Фотія, и онъ положилъ руки на голову царя, какъ на свою добычу.

— Благослови тебя, Господи!

Потомъ наклонился и еще разъ шепнулъ ему на ухо:

— Помни же, помни, помни: вмѣстѣ втроемъ — я, ты и онъ!

Уходя въ одну дверь, Фотій увидѣлъ въ другой, чуть-чуть пріотворенной, глазъ Аракчеева: онъ подслушивалъ и подглядывалъ.

Когда Фотій ушелъ, дверь пріотворилась шире, и Аракчеевъ, не входя, просунулъ голову.

— Алексѣй Андреичъ, ты? — позвалъ государь тѣмъ осторожнымъ голосомъ, которымъ говорилъ съ нимъ однимъ: такъ любящій говоритъ съ тяжело-больнымъ любимымъ другомъ. — Войди.

Аракчеевъ вошелъ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Давняя вражда двухъ царскихъ любимцевъ, Аракчеева и Голицына, въ послѣднее время такъ усилилась, что самому государю отъ нихъ житья не стало. Надо было сдѣлать выборъ и вѣшь-нибудь изъ двухъ пожертвовать. Но въ обоихъ нуждался онъ одинаково: въ Аракчеевъ для дѣлъ земныхъ, въ Голицына—для дѣлъ небесныхъ.

Голицына обратилъ государя въ христіанство: вмѣстѣ молились, вмѣстѣ читали Писаніе, вмѣстѣ издавали сочиненія мистиковъ, устраивали Библейское Общество и Священный Союзъ, мечтали о царствіи Божіемъ на землѣ, какъ на небѣ. А безъ Аракчеева, какъ безъ рукъ и безъ ногъ,—пошевелиться нельзя.

И хуже всего было то, что Аракчеевъ, какъ подозрѣвалъ государь, вступилъ въ заговоръ противъ Голицына съ митрополитомъ Серафимомъ и Фотіемъ. Голицына все духовенство ненавидѣло, но скрывало ненависть, покорялось и терпѣло, молча. Когда же явился Фотій, то осмѣлѣло и взбунтовалось.

— Голицына патріархомъ сталъ, все свѣщенство разрушилъ, все себѣ въ руки забралъ!—вопилъ Фо-

тій, и повторяли за нимъ другіе. — Изъ св. Синода министерскую канцелярію сдѣлалъ и единъ, просто сказать, нечистый заходъ...

Между Синодомъ и министерствомъ началась такая свара, что хотъ святыхъ вонъ выноси. Но государь надѣялся, по своему обыкновенію, примирить непримиримое, сдѣлать такъ, чтобъ и овцы были цѣлы и волки сыты.

Объ этомъ и хотѣлъ говорить съ Аракчеевымъ. Но слишкомъ скрытны были оба, чтобы начать сразу; говорили о другомъ, ходили вокругъ да около, притворялись, точно въ жмурки играли; высматривали и ощущивали другъ друга, какъ бойцы передъ битвою.

Государь хвалилъ Фотія; Аракчеевъ поддакивалъ.

— Святой человѣкъ, ваше величество, батюшка, воистину, святой. Такихъ только два и есть у насъ: о. Фотій, да о. Серафимъ, подвижникъ Саровскій...

Какъ всѣ глухіе, государь былъ застѣнчивъ и мнителенъ: не любилъ, когда говорили слишкомъ громко, — это напоминало ему глухоту; а когда тихо, — боялся не слышать. Одинъ Аракчеевъ умѣлъ говорить, не возвышая голоса, но такъ внятно, что государь слышалъ каждое слово.

— Какъ же намъ, Алексѣй Андреичъ, съ Голицынымъ быть? — началъ онъ съ притворною безпечностью, убѣдившись, наконецъ, что Аракчеевъ объ этомъ первый ни за что не начнетъ; но взглянувъ исподлобья, украдкою, — по лицу его, сразу окаменѣвшему, понялъ, что дѣло плохо.

— Ужъ не знаю, право, какъ быть? — продолжалъ государь боязливо и вкрадчиво: — всѣ дѣла стали, просто бѣда... Съѣздишь бы ты къ митрополиту, поговорилъ бы съ нимъ — можетъ, и помирятся?

Устроилъ бы какъ-нибудь... сдѣлай это для меня, голубчикъ...

— Радъ стараться, ваше величество! Какъ повелѣтъ изволите, такъ и сдѣлаю,—отвѣтилъ Аракчеевъ по-солдатски, сухо, почти грубо, и лицо его еще больше окаменѣло.

— Только не подумай чего, ради Бога, Алексѣй Андреичъ! Я вѣдь только такъ... Если ты... если тебѣ... — началъ государь и умолялъ подъ каменнымъ безмолвіемъ своего собесѣдника, — вдругъ испугался, растерялся окончательно; уже не радъ былъ, что заговорилъ.

Долго молчали оба, не глядя другъ на друга.

— Ваше величество, — произнесъ, наконецъ, Аракчеевъ тѣмъ глухимъ, уныло-торжественнымъ, какъ будто замогильнымъ, голосомъ, котораго боялся государь пуще всего, — почитаю себя въ обязанности, по долгу вѣрноподданнаго, говорить всю правду вашему величеству: вы столько были ко мнѣ милостивы, что сами приучили меня къ тому. И нынѣ, боясь гнѣва Божьяго...

— Да нѣтъ же, нѣтъ, Алексѣй Андреичъ, я не о томъ, — тщетно пытался государь остановить его.

— ...И нынѣ, боясь гнѣва Божьяго, — продолжалъ Аракчеевъ неумолимо, — скажу вамъ всю правду, какъ передъ Богомъ истиннымъ. Я ничьихъ дѣлъ не знаю, а только, видя на опытѣ, что злыхъ людей больше, чѣмъ добрыхъ, и всегда худого больше на свѣтѣ, чѣмъ хорошаго, поставилъ себѣ непремѣннымъ правиломъ никакого не имѣть ни съ кѣмъ знакомства и единственно своею заниматься должностью. Но грѣшно мнѣ было бъ не открыть того, что знаю,

вашему величеству. Князь Александръ Николаевичъ Голицынъ...

Голосъ его оборвался, визгливый, пронзительный, плачущій. Государь слушалъ, уже не пытаясь остановить, покорно наклонивъ голову, съ такимъ же виноватымъ лицомъ, какъ давеча тотъ старый генералъ, которому Аракчеевъ дѣлалъ выговоръ.

— Князь Голицынъ — царю и отечеству врагъ, злодѣй государственный. Появленіе книгъ богоотступныхъ пронзаетъ горестью сердца благомыслящихъ подданныхъ. Уже и въ подломъ народѣ, отъ чтенія разсылаемыхъ повсюду библій, о вольности толки рождаются. Далеко ли до бунта? Зараженіе умовъ есть генеральное... неблагомѣренность, развратъ и революція...

Со страхомъ ждалъ государь, что онъ заговоритъ о Тайномъ Обществѣ. Но и теперь, какъ всегда, Аракчеевъ говорилъ такъ, что нельзя было понять, знаетъ онъ или не знаетъ, — держалъ угрозу, какъ мечъ, надъ головой царя.

— Впрочемъ, буди воля вашего величества, а я изъяснилъ мысли мои, по слабому моему разумѣнію; молчать и повиноваться не стать мнѣ учиться въ пятьдесятъ одинъ годъ отъ роду, съ самыхъ юныхъ лѣтъ жизни моей пріобыкнувъ къ сему. Какъ прикажете, такъ и сдѣлаемъ, — заключилъ онъ, вставая и вытягиваясь, какъ во фронтѣ, руки по швамъ.

— Алексѣй Андреичъ, Алексѣй Андреичъ! — воскликнулъ государь горестно. — Ты знаешь, какъ я тебѣ... — хотѣлъ сказать: преданъ, — какъ и тебя люблю... Сколько лѣтъ вмѣстѣ! И вотъ неужели же, неужели теперь?..

Что теперь будетъ, — предвидѣлъ: хотя, по дав-

нему опыту, могъ знать, что ничего не будетъ, но при каждой ссорѣ боялся, что Аравчеевъ уйдетъ отъ него—и онъ пропалъ.

— Я, ваше величество, батюшка, знаю, что какъ милостей ко мнѣ вашихъ нѣтъ примѣра, такъ и преданности моей нѣтъ предѣловъ. Ни разума столько, ни словъ не имѣю, чтобы изъяснить вамъ всю благодарность мою. Но, чувствуя слабость здоровья, долженъ просить увольненія. Старость пришибла, кости болятъ; часъ-отъ-часу, слабѣю, таю, какъ воскъ. Пора на покой, надобно и честь знать. Пропусъ совсѣмъ прочь отъ дѣлъ, кои мнѣ наскучили и здоровье мое тяготятъ, по прямому моему характеру... Пусть ужъ другіе, а я не могу, не могу... Нѣтъ лести на языкѣ моемъ... Правдивая душа въ Божѣ почивающаго благодѣтеля моего, государя императора Павла I призираетъ съ горнихъ и одобряетъ чувства, меня одушевляющія...

Поднявъ глаза къ небу и началъ всхлипывать, сперва тихо, потомъ все громче и громче. Государь смотрѣлъ на него съ возрастающимъ ужасомъ: слезъ его не могъ вынести.

— Алексѣй Андреичъ! Алексѣй Андреичъ!—повторялъ съ мольбою.—Что жъ это такое? За что? Господи, Господи!..

И всплескивалъ руками, и протягивалъ къ нему руки, и хватался за голову.

— Увольте, увольте, батюшка!—вдругъ зарыдалъ Аравчеевъ, заикался, задохся, затрясся весь, какъ въ припадкѣ, повалился на стулъ и сквозь кашель и плачь завизжалъ какимъ-то не своимъ, тонкимъ, страшнымъ, бабьимъ голосомъ.—На покой, на покой! Въ Цуруканскую крѣпость! Плацъ-майоромъ! По шапкѣ

дурава стараго! Аракчеевъ — извергъ! Аракчеевъ —
мій! Аракчеевъ — гадина!..

Государь вскочилъ, весь блѣдный, дрожащій, и, пока тотъ отхаркивалъ мокроту въ платокъ, — смотрѣлъ, не будетъ ли крови: давно уже пугалъ его Аракчеевъ своимъ кровохарканьемъ. Вдругъ отчаянно махнувъ рукою, государь тоже повалился въ кресло, уперся локтями въ столъ, стиснулъ руками голову и закрылъ глаза, заткнулъ уши, чтобы не видѣть, не слышать.

Аракчеевъ высморкался оглушительно, мало-помалу затихъ, посмотрѣлъ на него украдкой, долго, спокойно и проницательно, какъ бы рѣшая, готовъ ли онъ; рѣшилъ, — готовъ. Тихонько всталъ и, весь изогнувшись, крадучись на цыпочкахъ, подошелъ, — черная тѣнь на сѣрой стѣнѣ промелькнула, какъ тѣнь исполинской *Ночанки*. Опустился на колѣни, на колѣняхъ подползъ.

— Прости, батюшка! Огорчилъ я тебя, прости старика глупаго, ради Христа...

Тихонько взялъ руку его и поцѣловалъ. Государь вздрогнулъ, обернулся, съ боязливой улыбкой, какъ будто не вѣря своему счастью, посмотрѣлъ на него и вдругъ весь просіялъ, заплакалъ, бросился къ нему на шею. Лицо у него было въ эту минуту такое же, какъ у Софьи, больной дѣвочки, когда она къ нему ласкалась давеча.

— Алексѣй Андреичъ, дружочекъ миленькій... *ты* меня прости за все!.. И не надо больше, не надо объ этомъ. Ну развѣ я?.. Боже мой, Боже мой, развѣ я могу безъ тебя? Да если бъ ты отъ меня...

— Не уйду, батюшка, не уйду, небось! Куда мнѣ? Только ты да Богъ, — больше никого не имѣю на свѣтѣ...

— А Голицына,—лепеталъ государь, торопясь и захлебываясь отъ радости,—Голицына, будь повоенъ... я и самъ хотѣлъ... Голицына завтра же не будетъ!

— Нѣтъ, государь, оставь Голицына, не тронь. Ужо къ митрополиту съѣзжу, дастъ Богъ, уладимъ все.

— Ну, хорошо, хорошо. Все, какъ ты... какъ вмѣстѣ рѣшимъ... только бы вмѣстѣ—и все хорошо будетъ!—проговорилъ онъ, глядя на него съ блаженной, сквозь слезы, почти влюбленной, улыбкой.— Да побереги ты себя, голубчикъ, ради Бога, о своемъ здоровьи подумай. Вѣдь, кашляешь-то какъ опять! Простудился, должно быть... А молоко кобылье пьешь?

— Пью, батюшка, пью. Только не молоко, а милость твоя мнѣ лучше всѣхъ бальзамовъ цѣлительныхъ... ничего больше не надо,—умереть бы у ногъ твоихъ, какъ псу, издохнуть...

Положилъ голову на колѣни государя, прижавшись къ рукѣ его мокрою отъ слезъ щекою, и смотрѣлъ снизу вверхъ, въ самый дѣлѣ, какъ старый вѣрный песъ.

— Одни мы съ тобою, одни на свѣтѣ, батюшка! Сироты бѣдные. Никто-то насъ не любитъ, никто не жалѣетъ... Вотъ въ отставку выйдемъ вмѣстѣ ужо, уйдемъ въ Грузино,—лепеталъ, какъ въ бреду,—по полямъ, по лѣсамъ будемъ гулять, цвѣтки собирать, пѣсенки пѣть, два брата названные... Только насъ двое всего, ты да я, да вотъ онъ еще, онъ промежъ насъ двухъ—третій...

Указалъ на медальонъ императора Павла I, висѣвшій у него на груди. Всегда въ этотъ день — 11-го марта, единственный день въ году, — вмѣсто портрета царствующаго, надѣвалъ портретъ покойнаго

императора. Поднесъ его къ губамъ благоговѣйно, перекрестился и поцѣловалъ, какъ образъ.

— Прильпни языкъ мой къ гортани моей, аще не помяну ты во всѣ дни живота моего! — прошепталъ молитвеннымъ шопотомъ. — Какъ ручки-то наши соединилъ, помнишь?..

Александръ кивнулъ головою молча. Въ день восшествія своего на престолъ императоръ Павелъ I въ Зимнемъ дворцѣ, рядомъ съ комнатою, гдѣ умирала императрица Екатерина, соединяя руки Александра и Аракчеева, сказалъ: „будьте вѣчными друзьями“.

— А рубашечку помнишь?..

Государь кивнулъ опять съ нѣжной улыбкой. Въ тотъ же памятный день, когда прискакавшій изъ Гатчины на фельдъегерской телѣжкѣ, подъ проливнымъ дождемъ, и промокшій весь до нитки Аракчеевъ долженъ былъ переимѣнить бѣлье, — Александръ далъ ему свою рубашку; и онъ завѣщалъ похоронить себя въ ней.

— Во снѣ-то нынче опять видѣлъ ея, — шепталъ все тѣмъ же благоговѣйнымъ шопотомъ.

— Опять?

— Опять, батюшка. Каждый годъ въ эту самую ночь. Марта 11-го каждый годъ. Во прошломъ-то году — будто смутненькій такой, темненькій, и личико все отворачиваетъ, шляпочку низко надвинулъ — лица не видать, вотъ какъ въ гробу лежалъ. А нынче, будто, съ открытымъ личикомъ, только весь желтенькій, жаленькій такой, и на височкѣхъ на лѣвомъ малое черное пятнышко...

— Не надо! Не надо! — простоналъ Александръ, почти въ безпамятствѣ, закрывая лицо руками.

— Не буду, батюшка, небось, не буду. Прости меня, глупаго...

— Нѣтъ, говори, говори все. Какъ же нынче?

— А нынче, будто, все шейкою вертитъ.— „Что это, говоритъ, какой галстухъ тугой? Не, умѣютъ впору и галстуха сдѣлать!“ И сердится будто. А потомъ о тебѣ говоритъ: „смотри, говоритъ, Алексѣй Андреичъ, чтобъ и съ нимъ тою же не было. Береги его, будь ему въ отца мѣсто!“

Александръ слушалъ, содрогаясь, холодѣя весь, какъ будто доносилась въ нему въ этомъ шопотѣ нездѣшная вѣсть.

— „Въ отца мѣсто“... — повторилъ, рыдая, и прильнулъ губами къ портрету Павла I на груди Аракчеева: ему казалось, что онъ цѣлуетъ живого отца. Было дальнее, дальнее дѣтство въ прикосновеніи жесткихъ, бритыхъ щекъ и въ запахѣ стараго зеленого мундирнаго сукна — знакомый казарменный гатчинскій запахъ, запахъ отца. Последнее убѣжище, гдѣ ему уютно, покойно и ничего не страшно ни въ прошломъ, ни въ будущемъ—только здѣсь, на груди Аракчеева, на груди отца, какъ будто оба—одно, и онъ уже не различаетъ ихъ.

Плакали оба, и слезы ихъ смѣшивались. Аракчеевъ гладилъ волосы его, ласкалъ, какъ маленькаго мальчика. И государю казалось, что ласкаетъ его, прощаетъ отецъ.

Опомнился, когда Аракчеевъ кашлянулъ; затревожился.

— Горяченькаго бы тебѣ, дружокъ? Малины хочешь, аль пуншику?

— Чайку бы! — простоналъ Аракчеевъ болѣзненно.

Государь любилъ чай, и съ Аракчеевымъ, особенно. Захлопоталъ, засуетился, позвонилъ камерди-

нера. Зналъ, что государыня ждетъ; привыкла, во время болѣзни его, пить съ нимъ чай, дорожила этимъ единственнымъ временемъ, когда были они вмѣстѣ. Но послалъ ей сказать, что не придетъ,—не задумался пожертвовать ею „другу любезному“.

Самъ заварилъ чаю, особаго, зеленаго, аракчсевскаго, изъ свѣжаго цыбика; перемылъ чашки, полотенцемъ вытеръ тщательно; налилъ не жидко, не крѣпко, а впору какъ разъ. Кололъ для прикуски мелкіе кусочки сахару: зналъ всѣ его привычки и прихоти. Ухаживалъ, потчевалъ.

— Крендельковъ анисовыхъ? Любимые твои. Сливочекъ?

— Сырыхъ не пью, батюшка.

— Варенныя. Ефимычъ знаетъ: сырыхъ не подастъ. Видишь, пѣночка. Ты съ пѣночкой любишь?

— Люблю съ пѣночкой, — вздохнулъ Аракчеевъ жалобно; и жалобно дую губами, сложенными въ трубочку, смиренно пилъ съ блюдечка. Государь смотрѣлъ на него съ умиленіемъ, какъ мать на больного ребенка.

Бесѣдовали о мелочахъ военной службы—предметъ излюбленный, неизсякаемый и всегда успокоительный.

Разсматривали новаго образца щеточку для солдатскихъ усовъ и дощечку для чищенія пуговицъ. Тутъ же сдѣлали пробу: вычищенные на мундирѣ Аракчеева пуговицы заблестѣли, какъ жаръ. И щеточка оказалась восхитительной.

Потомъ заговорили о новомъ указѣ: „дабы по всей арміи дѣлали шаги въ аршинъ, тихимъ шагомъ, по 75 въ минуту, а скорымъ, той же мѣры, по 120 шаговъ; и отнюдь бы съ оной мѣры и кадансу не отступать“.

Но, послѣ болѣзни, начались безсонницы. Тамъ и теперь—уже засыпалъ, вдругъ слышались голоса, голоса и шаги бѣгущихъ людей по гулкимъ переходамъ и лѣстницамъ, приближающіеся—вотъ-вотъ войдутъ, какъ въ ту страшную ночь. Вздогнулъ и проснулся съ тяжело бьющимся сердцемъ. Чтобы успокоиться, сталъ думать о правильныхъ, подобныхъ движущимся стѣнамъ, шеренгахъ, о пяти пуговицахъ, вмѣсто семи, на обшлагѣ мундира и началъ забываться опять. Но Аракчеевъ зашепталъ ему на ухо: „желтенькій-желтенькій, жалкенькій такой... И на височкѣ, будто, на лѣвомъ малое черное пятнышко“... Опять вздогнулъ, проснулся, широко раскрылъ глаза въ ужасѣ—сна какъ не бывало; почувствовалъ, что не заснетъ во всю ночь.

Всталъ, надѣлъ шлафрокъ, пошелъ въ кабинетъ, отперъ ящикъ стола, гдѣ лежали бумаги о Тайномъ Обществѣ, взялъ отдѣльный, старый, пожелтѣвшій листокъ, положенный давеча сверху, и сталъ читать. То было письмо князя Яшвиля, одного изъ цареубійцъ 11-го марта. По-французски написано.

„Государь, съ той самой минуты, какъ злополучный отецъ вашъ вступилъ на престолъ, рѣшился я пожертвовать собою, если нужно будетъ для блага Россіи, которая со времени Петра I сдѣлалась игрушкой временщиковъ и, наконецъ, жертвой безумца. Отечество наше находится подъ властью самодержавной; участь милліоновъ зависитъ отъ великости ума или сердца одного... Богъ правды знаетъ, что руки наши обагрились кровью царя не изъ корысти: да будетъ же не бесполезна жертва! Поймите, государь, призваніе ваше, будьте на престолѣ человѣкъ и гражданинъ. Знайте, что для отчаянія есть всегда сред-

ства, и не доводите отечество до гибели. Человекъ, который жертвуетъ жизнью, въ правѣ вамъ это сказать. Я теперь болѣе великъ, чѣмъ вы, потому что ничего не желаю, и если бы нужно было для вашей славы, которая для меня такъ дорога, только потому, что она — слава Россіи, — я готовъ былъ бы умереть на плахѣ. Но это не нужно; вся вина падаетъ на насъ, — вы же чисты: и не такія преступленія покрываетъ царская порфира. Удаляясь въ свои помѣстья, потщусь воспользоваться кровавымъ урокомъ и пецись о благѣ подданныхъ. Царь царствующихъ проститъ или покараетъ меня въ мой смертный часъ; молю Его, дабы жертва моя была не бесполезна. Прощайте, государь. Передъ государемъ я — спаситель отечества; передъ сыномъ — отцеубійца. Прощайте. Да будетъ благословеніе Всевышняго на Россію и на васъ, ея земного кумира, — да не постыдится она его во-вѣки“.

„...Теперь мы увидимъ, кто Александръ, — похититель престола или сынъ отечества, готовый на великую жертву?..“ — вспомнилъ государь изъ другого письма — лифляндскаго дворянина фонъ-Бока, который за эти слова посаженъ былъ въ Шлиссельбургскую крѣпость и тамъ сошелъ съ ума.

Какъ самъ сходилъ съ ума, — тоже вспомнилъ. Въ Москвѣ, во время коронаціи, просиживалъ цѣлые дни, запершись въ комнатѣ, уставившись глазами въ одну точку, такъ же какъ и теперь часто сиживалъ, ни о чемъ не думая, только чувствуя приближающійся ужасъ безумія, трусливый, животный, отвратительный, отъ котораго холодѣютъ и переворачиваются внутренности. — Потомъ прошло; думалъ, навсегда. Но вотъ опять начинается.

Графъ Паленъ, глава заговорщиковъ, двадцать три

года живущій безвыѣздно на своей курляндской мнѣѣ Эйкау, въ полномъ душевномъ спокойствіи, когда рѣчь заходитъ объ 11-мъ марта, говорить: „за что другое, а за это я сумѣю дать отвѣтъ Богу!“ Такъ говорить, а самъ каждый годъ въ эту ночь напивается мертвецки пьянъ.

Съ него, что ли, взять примѣръ, чтобы какъ-нибудь провести эту ночь?

Вернулся въ спальню, досталъ пузырекъ съ опиумомъ, накапалъ въ рюмку съ водой, выпилъ и опять легъ.

Опять голоса, голоса и шаги бѣгущихъ людей по гулкимъ переходамъ и лѣстницамъ, приближающіеся: вотъ-вотъ войдутъ, какъ въ ту страшную ночь. И на лѣвомъ вискѣ желтенькаго, жаленькаго личика малое черное пятнышко растеть, растеть, ширится, углубляется чернотой бездонною, въ которую онъ, какъ въ яму, проваливается.

А въ это же время по темнымъ заламъ дворца пробиралась женщина въ сѣромъ платьѣ, въ сѣромъ платкѣ, на лицо опущенномъ, похожая на изваяніе древнихъ плакальщицъ или надгробный памятникъ. Въ ея движеніяхъ видно было то, что она сама о себѣ говорила: „я всю жизнь пробираюсь по стѣнкѣ“. Такъ и теперь пробиралась по стѣнкѣ, крадучись, какъ воровка, которая боится быть пойманной, или привидѣніе души нераскаянной.

У входа въ государевы покои два часовыхъ взяли ружья на-караулъ; молодой офицеръ, дремавшій въ креслѣ, едва успѣлъ вскочить, отдалъ ей честь обнаженною шпагою и, когда она прошла, опустивъ низко голову, закрывая лицо платкомъ, посмотрѣлъ ей вслѣдъ съ благоговѣйною жалостью: узналъ императрицу Елисавету Алексѣевну.

Государь, пока былъ боленъ, требовалъ, чтобы она не отходила отъ него; когда же выздоровѣлъ, она сдѣлалась ненужной. Такъ всегда: въ горѣ—съ нимъ, безъ горя—одна. Не смѣя зайти къ нему проститься на ночь, приходила тайкомъ и цѣловала соннаго: онъ былъ ей ближе такъ.

Вошла въ спальню, наклонилась, перекрестила и поцѣловала спящаго въ лобъ.

Амуру вздумалось Психею,
Рѣзвися, поимать,—

вспомнилась державинская ода новобрачнымъ, пятнадцатилѣтнему мальчику и четырнадцатилѣтней дѣвочкѣ. Теперь плѣшиваго Амура цѣловала старая Психея.

И опять по темнымъ заламъ пошла назадъ, все такъ же пробираясь по стѣнкѣ, крадучись, какъ воровка, — которая боится быть пойманной, или привидѣнiе души нераскаянной.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Быть или не быть Россіи, вотъ о чемъ дѣлается!

— Россія, какова сейчасъ, должна сгинуть вся!

— Ахъ, какъ все гадко у насъ, жителя скоро не будетъ!

— Давно девизъ всякаго русскаго есть: чѣмъ хуже, тѣмъ лучше!

— А вотъ уже революцію сдѣлаемъ—и все будетъ по-новому...

Это еще изъ передней, входя въ Рылѣеву, услышалъ князь Валерьянъ Михайловичъ Голицынъ.

Одинъ изъ директоровъ Тайнаго Общества, отставной подпоручикъ Кондратій Ѳедоровичъ Рылѣевъ, жилъ на Мойкѣ, у Синяго моста, въ домѣ Россійско-Американской компаніи, гдѣ служилъ правителемъ дѣлъ. По воскресеньямъ бывали у него „русскіе завтраки“. Убранство стола—скатерть камчатная, ложки деревянные, солонки пѣтушьими гребнями, блюда рѣзные, — такъ же, какъ напитки и кушанья—водка, квасъ, ржаной хлѣбъ, кислая капуста, кулебяка, — все было знаменіемъ древней руссійской вольности.

„Мы должны избѣгать чужестраннаго, дабы ни малѣйшее къ чужому пристрастіе не потемняло святого чувства любви къ отечеству: не римскій Брутъ, а Вадимъ новгородскій да будетъ намъ образцомъ гражданской доблести“,—говаривалъ Рыльевъ.

Окна—въ нижнемъ этажѣ съ высокими чугунными рѣшотками. Квартира маленькая, но уютная. Хозяйкинъ глазъ виденъ во всемъ: кисейныя на окнахъ занавѣски, бѣлыя, какъ снѣгъ; горшки съ бальзаминомъ, бархатцемъ и подъ стекляннымъ запотѣлымъ колпакомъ лимончикъ, выросшій изъ сѣмечка; клѣтка съ канарейками; полъ, свѣжею мастикою пахнущій; домашняго издѣлья половички опрятные; образа съ лампадками и пасхальными яйцами.

Солнце было прямо въ окна, кидая на полъ косые свѣтлые четырехугольники съ черною тѣнью толстыхъ, какъ будто тюремныхъ, рѣшотокъ. Канарейки заливались оглушительно. И казалось, что все это—не въ Петербургѣ, а въ захолустномъ городкѣ, въ деревянномъ домикѣ: такое простенькое, веселенькое, невинное, именинное или новобрачное.

Гостей много—все члены Тайнаго Общества. Сидѣли, стояли, ходили, бесѣдуя, закусывая, покуривая трубки. Чтобъ освѣжить воздухъ, открыли форточку: съ улицы доносилось весеннее дребезжаніе дрожекъ, дѣтски-болтливая капель и воскресный благовѣстъ.

Хотя уже съ мѣсяцъ, какъ Голицынъ принять былъ въ Общество, но на собраніяхъ почти не бывалъ. Софья послѣ разговора съ нимъ на концертѣ Вьельгорскаго тяжело заболѣла. Онъ цѣлые дни проводилъ у Нарышкиныхъ, въ тоскѣ и тревогѣ, считая себя виновникомъ ея болѣзни. Тѣмъ сильнѣе

была радость выздоровленья: наканунѣ докторъ сказалъ, что опасность миновала.

Голицынъ рѣшилъ пойти къ Рылѣеву, куда уже давно звалъ его Трубецкой.

— А что, Нева еще не тронулась? — сказалъ кто-то среди наступившаго молчанія, когда они вошли съ Трубецкимъ.

— Нѣтъ, а скоро, должно быть: ледъ потемнѣлъ, полыньи большія, мостки сняли, мосты развели.

Такое же весеннее, веселое почудилось Голицыну въ этихъ словахъ, какъ и въ тѣхъ, при входѣ услышанныхъ: „а вотъ уже революцію сдѣлаемъ — и все будетъ по-новому“.

Съ любопытствомъ вглядывался въ лица: не похожи на лица заговорщиковъ; все молодая, тоже весенняя, веселая. „Милые дѣти“, думалъ онъ. Или какъ пьяному кажется, что всѣ пьяны, такъ ему, счастливому, — что всѣ счастливы.

Трубецкой познакомилъ его съ Рылѣевымъ.

Лицо смуглое, худое, скуластое, мальчишеское; тонкія, насмѣшливо-дерзкія губы; большіе прекрасные глаза, спокойно-печальные, но въ минуту страсти загоравшіеся такимъ огнемъ, что становилось жутко. Одѣтъ щеголемъ, но чуть-чуть безвкусно: шюсовый фракъ, шитый, видимо, русскимъ иностранцемъ съ Гороховой; слишкомъ пестрый жилетъ со стеклянными пуговицами; кружевные рукавчики, слишкомъ узкіе. И въ немъ самомъ, такъ же, какъ въ квартирѣ, — что-то простенькое, веселенькое, невинное, именинное или новобрачное. Бѣленькій батистовый галстучекъ повязанъ тщательно, должно быть, жениными ручками, потрепавшими его при этомъ по щекамъ съ обычною ласкою: „ахъ ты, моя пыжечка,

пульпушечка!“ Волосы причесаны и напомажены гладко резедовой помадой, а одинъ вихоръ на затылкѣ торчитъ, неповорный: видно, мальчикъ—шалунъ, только притворился панинъкой.

— А я васъ помню, князь, по ложѣ Пламенѣющей Звѣзды, и еще раньше, въ четырнадцатомъ году, въ Парижѣ, — сказалъ Рылѣевъ Голицыну:—вы, кажется, служили въ Преображенскомъ, а я въ первой артиллерійской бригады конной ротѣ подпрапорщикомъ.

— Да, только вы очень измѣнились, я и не узналъ бы васъ,—сказалъ Голицынъ, который вовсе не помнилъ Рылѣева.

— Еще бы, за десять-то лѣтъ! Вѣдь совсѣмъ дѣти были...

„И теперь дѣти“, подумалъ Голицынъ.

— Русскія дѣти взяли Парижъ, освободили Европу, — дастъ Богъ, освободятъ и Россію! — восторженно улыбнулся Рылѣевъ и сдѣлался еще больше похожъ на маленькаго мальчика.

— А вы у насъ десятый князь въ Обществѣ, — прибавилъ съ тою же милою улыбкою, которая все больше нравилась Голицыну. — Вся революція наша будетъ возстаніе варяжской крови на нѣмецкую, Рюриковичей на Романовыхъ...

— Ну, какіе мы Рюриковичи! Голицыныхъ, какъ собакъ нерѣзанныхъ, — все равно, что Ивановыхъ...

— А все-таки — князь и камеръ-юнкеръ, — продолжалъ Рылѣевъ съ немного навязчивою откровенностью, какъ школьный товарищъ съ товарищемъ: — люди съ положеніемъ намъ весьма нужны.

— Да положеніе-то прескверное: Аракчеевъ на-медни сдѣлалъ выговоръ; хочу въ отставку подать...

— Ни за что не подавайте, князь! Какъ можно, помиуйте! У насъ такое правило: службу не покидать ни въ коемъ случаѣ, дабы всѣ мѣста значительныя, по гражданской и военной части, были въ нашихъ рукахъ. И что ко двору вхожи, — пренебрегать отнюдь не слѣдуетъ. Если тамъ услышите что, увѣдомить насъ можете. Вонъ Оеда Глиночка — мы Глинку такъ зовемъ — правителемъ канцеляріи у генералъ-губернатора, — такъ онъ сообщаетъ намъ всѣ донесенія тайной полиціи, этимъ только и спасаемся...

— Да я еще не знаю, принять ли въ Общество, — удивился Голицынъ тому простодушію, съ которымъ Рыгѣевъ дѣлалъ его своимъ шпиономъ. — Не нужно развѣ обѣщанія, клятвы какой, что ли?

— Ничего не нужно. Прежде клялись надъ Евангеліемъ и шпагою; пустая комедія, въ родѣ масонскихъ глупостей. А нынче просто. Вотъ хоть сейчасъ: даете слово, что будете вѣрнымъ членомъ Общества?

Голицынъ удивился еще больше, но неловко было отказывать, и онъ сказалъ:

— Даю.

— Ну, вотъ и дѣло съ концомъ! — крѣпко пожалъ ему руку Рыгѣевъ.

— А насчетъ княжества, не думайте, что я изъ тщеславія... Хоть я и дворянскій сынъ, а въ душѣ плебей. Не даромъ крещенъ отставнымъ солдатомъ — бродягой и нищимъ. Кондратомъ, мужичьимъ именемъ названъ, по крестному. Оттого, должно быть, и люблю простой народъ...

Прислушались къ общей бесѣдѣ.

— Въ нашъ вѣкъ поэтъ не можетъ не быть ро-

мантикомъ; романтизмъ есть революція въ словесности, — говорилъ драгунскій штабсъ-капитанъ, Александръ Бестужевъ, молодой человекъ съ тою обыкновенною пріятностью въ лицѣ, о которой отзываются товарищи: „добрый малый“, и барышни на Невскомъ: „ахъ, душа гвардеецъ!“ Тоже на мальчика похожъ: самодовольно пощупывалъ темный пушокъ надъ губою, какъ будто желая убѣдиться, растутъ ли усики. Говорилъ темно и восторженно.

— Неизмѣримый Байронъ — вотъ истинный романтикъ! Его поэзія подобна золотой арфѣ, на которой играетъ буря...

— Романтизмъ есть стремленіе безконечнаго духа человѣческаго выразиться въ конечныхъ формахъ! — воскликнулъ молодой человекъ въ штатскомъ платьѣ, коллежскій ассессоръ Вильгельмъ Карловичъ Кюхельбекеръ, или попросту Кюхля, русскій нѣмецъ, бѣлобрысый, пучеглазый, долговязый, какъ тотъ большой вялый комаръ, котораго зовутъ *караморой*; лицо странно перекошенное, слегка полоумное, но если взглянуть, плѣнительно-доброе.

— Прекрасное есть заря истиннаго, а истинное — лучъ Божества на землѣ, и самъ я вѣченъ! — вдохновенно махнулъ онъ рукою и опрокинулъ стаканъ: былъ близорукъ и разсѣянъ, на все натывался и все ронялъ.

Заспорили о Пушкинѣ. Какъ будто желая перекрычать спорившихъ, канарейки заливались оглушительно; должны были накрыть вѣтку платкомъ, чтобъ замолчали.

— Пушкинъ палъ, потому что не постигъ примѣненія своего таланта и употребилъ его не тамъ, гдѣ слѣдуетъ, — объявилъ Бестужевъ, самодовольно пощупывая усики.

— Предпочитаешь Булгарина?—усмѣхнулся князь Одоевскій, конно-гвардейскій корнетъ, хорошенькій мальчикъ, похожій на дѣвочку, веселый, смѣшливый, любившій дразнить Бестужева, какъ и всѣхъ говорунъ напыщенныхъ.

— А ты что думаешь?—возразилъ Бестужевъ:—Оаддей лицомъ въ грязь не ударить. Погоди-ка, Иванъ Выжигинъ будетъ литературы всесвѣтной памятникъ... А Пушкинъ вашъ—милая сирена, прелестный чародѣй, не болѣе. Аристократомъ, говорятъ, сдѣлался, шестисотлѣтнимъ дворянствомъ чванится,—маленькое подражаніе Байрону! Это меня разсмѣшило. Ума настоящаго нѣтъ—вотъ въ чемъ бѣда. „Поэзія, прости Господи, должна быть глуповата“, — о себѣ, видно, сказалъ... Зашелъ къ нему какъ-то пріятель: „Дома Пушкинъ?“—„Почиваютъ“.—„Вѣрно, всю ночь работалъ?“—„Какъ же, работалъ! Въ картишки игралъ“...

— Талантъ ничто, главное — величіе нравственное,—уныло согласился Кюхля, любившій Пушкина, своего лицейскаго товарища, съ нѣжностью.

— „Будь поэтъ и гражданинъ!“—добилъ Бестужевъ Пушкина рылѣевскимъ стихомъ.—Предметъ поэзіи—полезнымъ быть для свѣта и воспалать въ молодыхъ сердцахъ въ общественному благу ревность...

Одоевскій поморщился, какъ отъ дурного запаха, и уставился на своего противника со школьническимъ вызовомъ.

— А знаешь, Бестужевъ, что сказалъ Пушкинъ своему брату Лёвушкѣ?

— Блѣвушкѣ пьяницѣ?

— Ему самому. „Только для хамовъ—все политическое. Tout ce qui est politique n'est fait que pour la canaille“...

— Такъ, значить, я мы хамы, потому что занимаемся политикой?

— Хамы всѣ, кто унижаетъ высокое! — сверкнулъ на него глазами Одоевскій, и въ эту минуту былъ такъ хорошъ, что Голицыну хотѣлось его расцѣловать.

— Что выше блага общаго? — самоувѣренно пожалъ плечами Бестужевъ. — И чего ты на стѣну лѣзешь? Святой вашъ Пушкинъ, пророкъ, что ли?

— Не знаю, пророкъ ли, — вступился новый собесѣдникъ, все время молча слушавшій, — а только знаю, что всѣ нынѣшніе господа сочинители мизинца его не стоятъ...

Съ простымъ и тихимъ лицомъ, съ простою и тихою рѣчью, Иванъ Ивановичъ Пущинъ между этими пылкими юношами казался взрослымъ между дѣтьми. Тоже лицейскій товарищъ Пушкина, повинуль онъ блестящую службу въ гвардейскомъ полку для должности губернскаго надворнаго судьи, вѣруя, что малая дѣла не меньше великихъ, и что въ самомъ ничтожномъ званіи можно сохранить доблесть гражданскую. Голицынъ чувствовалъ въ тишинѣ и простотѣ его что-то иное, на остальныхъ непохожее, невосторженное и правдивое, пушкинское; какъ будто не случайно было созвучіе именъ: Пущинъ и Пушкинъ.

— Мы вотъ все говоримъ о дѣлѣ, а онъ сдѣлалъ, — сказалъ Иванъ Ивановичъ тихо, просто, но всѣ невольно прислушались.

— Да что же, что сдѣлалъ? — начиналъ сердиться Бестужевъ. — Заладили: Пушкинъ да Пушкинъ — только и свѣта въ окошкѣ. Ну, что онъ такое сдѣлалъ, скажите на милость?

— Что сдѣлалъ? — отвѣтилъ Пущинъ. — Научилъ насъ говорить правду...

— Какую правду?

— А вот какую.

Все такъ же просто, тихо прочелъ изъ только что начатой третьей главы „Онѣгина“ разговоръ Татьяны съ нянею.

Когда кончилъ, всѣ, точно канарейки подъ платкомъ, притихли.

— Какъ хорошо!—прошепталъ Одоевскій.

— Да, стихъ гладокъ и чувства много, но что же тутъ такого?—началъ-было Бестужевъ и не кончилъ: всѣ молча посмотрѣли на него такъ, что и онъ замолчалъ, только презрительно пощупалъ усики.

Рядомъ со столовой была гостиная, маленькая комната, отдѣленная отъ супружеской спальни перегородкою. Какъ во всѣхъ небогатыхъ гостиныхъ,—канapé съ шитыми подушками, круглый столъ съ вязаной скатертью, стѣнное овальное зеркало, плохонькія литографіи Неаполя съ изверженіемъ Везувія, хрустальные кенкеты съ восковыми свѣчами, коверъ на полу съ арапомъ и тигромъ. У окна пальцы съ начатой вышивкой: голубая бѣлка со спиной въ видѣ дѣсенки. Плющевой трельяжъ и клавесинъ съ открытыми нотами романса:

Мѣста тобою украшенны,
Гдѣ дни я радостями считалъ,
Гдѣ взоръ, тобой обвороженный,
Мои всѣ чувства услаждалъ...

Накурено смолкою, но капуста и жуковъ табакъ изъ столовой заглушаютъ смолку.

Наталя Михайловна, жена Рылѣева — совсѣмъ еще молоденькая, миловидная, слегка жеманная, не то институтка, не то поповна. И отъ нея, казалось, какъ отъ мужа, пахнетъ новобрачной или именинной

резедою. Платице — домашнее, но по модной выкройкѣ; бережевый шарфикъ *тру-тру*, должно быть, задешево купленный въ Суровской линіи. Прическа тоже модная, но не къ лицу — накладныя, длинныя, вдоль ушей висящія булки. Наталі вмѣсто Наташи. Но по рукамъ видно — хозяйка; по глазамъ — добрая мать.

Голицынъ, Пущинъ и Одоевскій перешли въ гостиную. Здѣсь Наталья Михайловна читала вслухъ, краснѣя отъ супружеской гордости, *Литературный Листокъ* Булгарина:

„Издатели имѣли счастье поднести по экземпляру Полярной Звѣзды ихъ императорскимъ величествамъ, государынямъ императрицамъ и удостоились высочайшаго вниманія: Кондратій Ѳедоровичъ Рылѣевъ получилъ два брилліантовыхъ перстня, а Александръ Александровичъ Бестужевъ — золотую, прекрасной работы табакерку“.

— Ну, чего еще желать? — усмѣхнулся Пущинъ: — бывало, Тредьяковскій, поднося оду императрицѣ, отъ дверей къ трону на колѣняхъ ползъ, а нынче сами императрицы подносятъ намъ подарочки.

Наташа не поняла; покраснѣла еще больше; не вытерпѣла, принесла показать футляръ съ перстнями; хвастала и жаловалась:

— Атя такой чудакъ, право! Ни за что не хочетъ носить, а какіе алмазы-то! — любовалась игрой камней на солнцѣ.

— Не въ лицу республиканцу, что ли? — продолжалъ усмѣхаться Пущинъ.

— Да почему же? Я и сама республиканка, а царскую фамилію боготворю. Особенно, императрицы — такія, право, добрыя, милыя...

— Республика съ царскою фамиліей?

— А что же? — подняла Наталі брови съ дѣтскимъ простодушіемъ. — Кондратій Ѳедоровичъ самъ говоритъ: республика съ царемъ вмѣсто президента, какъ въ Сѣверо-Американскихъ штатахъ...

— Наталі, не болтай вздора! — крикнулъ издали Рылѣевъ.

Въ столовой спорили о двухпалатной системѣ, о прямыхъ и косвенныхъ выборахъ въ будущій русскій парламентъ. Рылѣевъ что-то доказывалъ и кричалъ, стучалъ кулаками по столу.

— Ну вотъ, опять! Ахъ, несносный какой! — оглянувшись на него Наталі съ насмѣшливой нѣжностью. — Намедни также вотъ заспорилъ, закричалъ, застучалъ кулаками, не захотѣлъ ничего слушать да безъ шапки на дворъ по морозу и выбѣжалъ. Просто бѣда!

— О чемъ же? О республикѣ съ царскою фамиліей?

— Не помню, право. Все о пустякахъ: выѣденнаго яйца не стоитъ, а онъ горячится...

Улыбка Пущина сдѣлалась печальной и вроткой.

— А что, Настенька все еще кашляетъ?

— Нѣтъ, слава Богу, прошло. А ужъ боялась-то я какъ! Ковлюшъ, говорятъ, по городу ходить. Сегодня гулять вышла. Трофимъ обѣщалъ изъ деревни живого зайчика. Ждемъ не дождемся, — отвѣтила ужъ не пустенькая Наталі, а умная и добрая Наташа.

Въ укромномъ уголку за трельяжемъ бесѣдовала парочка: капитанъ Якубовичъ и дѣвица Теляшева, Глафира Никитична, чухломская барышня, пріѣхавшая въ Петербургъ погостить, поискать жениховъ, двоюродная сестра Наташина.

Якубовичъ, „храбрый кавказецъ“, раненъ былъ въ голову; рана давно зажила, но онъ продолжалъ носить на лбу черную повязку, щеголялъ ею, какъ орденскою лентою. Славился сердечными побѣдами и поединками; за одинъ изъ нихъ сосланъ на Кавказъ. Лицо блѣдное, роковое, уже съ печатью байронства, хотя никогда не читалъ Байрона и едва слышалъ о немъ.

Перелистывалъ Глашенъкинъ альбомъ съ обычными стишками и рисунками. Два голубка на могильной насыпи:

Двѣ горлицы укажутъ
Тебѣ мой кладный прахъ.

Амуръ, надъ букетомъ порхающій:

Пчела живетъ цвѣтами,
Амуръ живетъ слезами.

И рядомъ—блеклыми чернилами, стариннымъ почеркомъ: „О, природа! О, чувствительность!..“

— Вы, господа кавалеры, считаете насъ, женщинъ, дурами, — бойко лепетала барышня, — а мы умомъ тонѣе вашего: вѣку не станеть мужчинѣ узнать всѣ наши женскія хитрости. Мужчину въ мѣсяцъ можно узнать, а насъ никогда...

— Ваша правда, сударыня, — любезно говорилъ капитанъ, поводя черными усами, какъ жукъ: — вся натура женская есть тончайшій флёръ, изъ непримѣтныхъ филаментовъ сотканный. Легче найти философскій камень, нежели разобрать составъ вашего непостояннаго пола...

— Почему же непостояннаго? И мы умѣемъ вѣрно любить. Хотя нашъ полъ, разумѣется, не то, что вашъ: всякая женщина должна обвиваться вокругъ

кого-нибудь, вотъ какъ этотъ плющъ, а безъ опоры
вянетъ,—вздыхнула Глафира, указывая на трельяжъ
и томно играя узкими калмыцкими глазками съ пу-
шистыми рѣсницами, кидавшими тѣнь на розово-смуг-
лое личико. Ей двадцать восемь лѣтъ; еще годъ-
другой—и отцвѣтетъ; но пока плѣнительна тою обще-
доступною прелестью, на которую такъ падки мужчины.

— Ну, полно! Расскажите-ка лучше, капитанъ,
какъ вы на Кавказѣ сражались...

Якубовичъ не заставилъ себя просить: любилъ
поразсказать о своихъ подвигахъ. Слушая, можно
было подумать, что онъ одинъ завоевалъ Кавказъ.

— Да, поѣла-таки сабля моя живого мяса, благо-
родный паръ крови курился на ея лезвѣ! Когда отъ
пули моей падалъ въ прахъ какой-нибудь лихой на-
ѣздникъ, я съ восхищеніемъ вонзалъ пашку въ сердце
его и вытиралъ кровавую полосу о гриву коня...

— Ахъ, какой безжалостный!—мѣла Глашенъка.

— Почему же безжалостный? Вотъ если бы та-
кое беззащитное созданіе, какъ вы...

— И неужели не страшно?—перебила она, стыд-
ливо потупившись.

— Страхъ, сударыня, есть чувство русскимъ не-
знакомое. Что будетъ, то будетъ—вотъ наша вѣра.
Свистъ пуль сталъ для насъ, наконецъ, менѣе, чѣмъ
вѣтра свистъ. Шинель моя прострѣлена въ двухъ
мѣстахъ, ружье—сквозь обѣ стѣнки, пуля изломала
шомполъ...

— И всѣ такіе храбрые?

— Сказать о русскомъ: онъ храбръ,—все равно
что сказать: онъ ходитъ на двухъ ногахъ.

— Не родился тотъ на свѣтѣ,
кто бы русскихъ побѣдилъ!—

патріотическимъ стишкомъ подтвердила красавица.

Одоевскій, подойдя незамѣтно къ трельяжу, подслушивалъ и, едва удерживаясь отъ смѣха, подмигивалъ Голицыну. Они познакомились и сошлись очень быстро.

— И этотъ—членъ Общества?—спросилъ Голицынъ Одоевскаго, отходя въ сторону.

— Да еще какой! Вся надежда Рылѣева. Брутъ и Маратъ вмѣстѣ, нашъ главный тиранубійца. А что, хорошъ?

— Да, знаете, ежели много такихъ...

— Ну, *такихъ*, пожалуй, немного, а *такою* много во всѣхъ насъ. Чухломское байронство... И какимъ только вѣтромъ надуло, чортъ его знаетъ! За то что чиномъ обошли, крестика не дали,—

Готовъ царей низвергнуть съ троновъ
И Бога въ небѣ сокрушить, —

какъ говоритъ Рылѣевъ. Свверно то, что не одни дураки подражаютъ и завидуютъ Якубовичу: самъ Пушкинъ когда-то жалѣлъ, что не встрѣтилъ его, чтобы списать съ него Кавказскаго Пльнника...

Подшли къ Пуцину. Когда тотъ узналъ, о чемъ они говорятъ, — усмѣхнулся своею тихою усмѣшкою.

— Да, есть-таки въ насъ, во всѣхъ эта дрянъ. Болтуны, сочинители, Репетиловы: „шумимъ, братецъ, шумимъ!“ Или какъ въ цензурномъ вѣдомствѣ пишутъ о насъ: „упражняемся въ благоправной словесности“. А господа словесники, — сказалъ Альфіери, — болѣе склонны къ умозрѣнію, нежели къ дѣятельности. Надѣлала синица славы, а моря не зажгла...

И прибавилъ, взглянувъ на Голицына:

— Ну, да не всё же такіе, есть и лучше. Можетъ быть, это не дурная болѣзнь, а такъ только, сыпь, какъ на маленькихъ дѣтяхъ: само пройдетъ, когда вырастемъ...

Всѣ трое вернулись въ столовую. Тамъ князь Трубецкой, лейбъ-гвардіи полковникъ, рябой, рыжеватый, длинноносый, нѣсколько похожій на еврея, съ благороднымъ и милымъ лицомъ, читалъ свой проектъ конституціи:

„Предложеніе для начертанія устава положительнаго образованія, когда его императорскому величеству благоугодно будетъ“...

— Послѣ дождичка въ четвергъ! — крикнулъ кто-то.

— Слушайте! Слушайте!

— „... Благоугодно будетъ съ помощью Всевышняго учредить Славяно-Русскую имперію. Пунктъ первый: опытъ всѣхъ народовъ доказалъ, что власть неограниченная равно гибельна для правительства и для общества; что ни съ правилами святой вѣры нашей, ни съ началами здраваго разсудка несогласна она; русскій народъ, свободный и независимый, не можетъ быть принадлежностью никакого лица и никакого семейства“...

Съ первымъ пунктомъ согласны были всѣ; но по второму, объ ограниченіи монархіи, заспорили такъ, что Трубецкому уже не пришлось возобновлять чтенія. Всѣ говорили вмѣстѣ и никто никого не слушалъ: одни стояли за монархію, другіе—за республику.

— Русскій народъ, какъ бы сказать не соврать, не пойметъ республики, — началъ инженерный подполковникъ Гаврила Степановичъ Батенковъ.

Онъ еще не былъ членомъ Общества, собирался

вступить въ него и все откладывалъ. Но ему вѣрили и дорожили имъ за рѣдкую доблесть: въ походѣ 1814 года, въ сраженіи при Монмираля, такъ долго и храбро держался на опаснѣйшей позиціи, что окруженъ былъ непріятелемъ, получилъ десять штыковыхъ ранъ, оставленъ замертво на полѣ сраженія и взятъ въ плѣнъ. Въ штабномъ донесеніи сказано: „потеряны двѣ пушки съ прислугою отъ чрезвычайной храбрости командовавшаго ими офицера Батенкова“. Былъ домашнимъ человекомъ у Сперанскаго, который любилъ его за отличныя способности; служилъ у Аракчеева въ военныхъ поселеніяхъ, но хотѣлъ выйти въ отставку. Превосходный инженеръ, глубокой математикъ. „Нашъ министр“,—говорили о немъ въ Обществѣ.

Сутуль, костлявъ, тяжелъ, неповоротливъ, медлителенъ, въ тридцать лѣтъ старообразенъ, и подбѣо Пущину, въ этомъ собраніи, какъ взрослый между дѣтьми. Высокій лобъ, прямой носъ, выдающійся подбородокъ, сосредоточенный, какъ бы внутрь обращенный, взглядъ. Говорилъ съ трудомъ, точно тяжелые камни ворочалъ. Курилъ трубку съ длиннымъ бисернымъ чубукомъ и, усиленно затягиваясь, казалось, достающія слова изъ нея высасывалъ.

— Русскій народъ не пойметъ республики, а если пойметъ, то не иначе, какъ боярщину. Однѣ церковныя ектеньи не допустятъ насъ до республики... Да и не впору намъ никакія конституціи. Императрица Екатерина II правду сказала: не родился еще тотъ портной, который сумѣлъ бы сшить кафтанъ для Россіи...

— Говорите прямо: вы противъ республики? — крикнулъ Бестужевъ, который побаивался и недолюбливалъ Батенкова.

— Да, значитъ, того... какъ бы сказать не соврать,—опять заворачивалъ свои тяжелые камни Батенковъ:—по особливому образу мыслей моихъ, я не люблю республикъ, потому что угнетаются оныя сильнымъ деспотичествомъ законовъ. А также, по нѣкоторымъ странностямъ въ моихъ сужденіяхъ, я воображаю республики Завѣтомъ Ветхимъ, гдѣ проклятъ всякъ, кто не пребудетъ во всѣхъ дѣлахъ закона; монархіи же — подобіемъ Завѣта Новаго, гдѣ государь, помазанникъ Божій, благодать собою представляетъ и можетъ добро творить, по изволенію благодати. Самодержецъ великія дѣла беззаконно дѣлаетъ, какихъ нивогда ни въ какой республикѣ, по закону, не сдѣлать...

— Если вамъ самодержавіе такъ нравится, зачѣмъ же вы къ намъ въ Общество вступили?

— Не вступилъ, но, можетъ, и вступлю... А зачѣмъ? Затѣмъ, что самодержавіа нѣтъ въ Россіи, нѣтъ русскаго царя, а есть императоръ нѣмецкій... Русскій царь — отецъ, а нѣмецъ — врагъ народа... Вотъ уже два вѣка, какъ сидятъ у насъ нѣмцы на шеѣ... Сперва нѣмцы, а тамъ жида... Съ этимъ, значитъ, того, какъ бы сказать не соврать, прикончить пора...

— Вѣрно, вѣрно, Батенковъ! Нѣмцевъ долой! Къ чорту нѣмцевъ! — закричалъ Кюхельбекеръ восторженно.

— Да ты-то, Кюхля, съ чего, помилуй? Самъ же нѣмецъ...—удивился Одоевскій.

— Коли нѣмецъ, такъ и меня къ чорту!—яростно вскрикнулъ Кюхельбекеръ и едва не стащилъ со стола скатерть со всею посудой.—А только въ рожу я дамъ тому, кто скажетъ, что я не русскій!..

— Поймите же, государи мои, ходъ Европы—не нашъ ходъ, —выкатилъ на-силу Батенковъ свой самый тяжелый камень:—исторія наша требуетъ мысли иной; Россія никогда ничего не имѣла общаго съ Европою...

— Такъ-таки ничего?—улыбнулся Пущинъ.

— Ничего... то-есть, въ главномъ, значитъ, того, какъ бы сказать не соврать, въ самомъ главномъ... ну, въ пустякахъ,—о торговлѣ тамъ, о ремеслахъ, о промыслахъ рѣчи нѣтъ...

— И просвѣщеніе—пустяки?

— Да, и просвѣщеніе—передъ самымъ главнымъ.

— Все народное—ничто передъ человѣческимъ!—замѣтилъ Бестужевъ.

Батенковъ только повосился на него угрюмо, но не отвѣтилъ.

— Да главное-то, главное что, позвольте узнать?—накинулись на него со всѣхъ сторонъ.

— Что главное? А вотъ что, —затянулся онъ изъ трубы такъ, что чубукъ захрипѣлъ. —Русскій человѣкъ—самый вольный человѣкъ въ мірѣ...

— Вотъ тебѣ на! Такъ на кой намъ чортъ конституція? Изъ-за чего стараемся?

— Я говорю: вольный, а не свободный,—поправилъ Батенковъ: —самый рабскій и самый вольный; тѣла въ рабствѣ, а души вольныя.

— Дворянскія души, но не крѣпостныя же?

— И крѣпостныя, все едино...

— Вы разумѣете вольность первобытную, дикую, что ли?

— Иной нѣтъ; можетъ быть, и будетъ когда, но сейчасъ нѣтъ.

— А въ Европѣ?

— Въ Европѣ — законъ и власть. Тамъ любятъ власть и чтутъ законъ; умѣютъ приказывать и слушаться умѣютъ. А мы не умѣемъ; и хотѣли бы, да не умѣемъ. Не чтимъ закона, не любимъ власти — и шабашъ. „Да отвяжись только, окаянный, и сгинь съ глазъ моихъ долой!“ — такъ-то въ сердцѣ своемъ говоритъ всякій русскій всякому начальнику. Не знаю, какъ вамъ, государи мои, а мнѣ терпѣть власть, желать власти, всегда были чувства сіи отвратительны. Всякая власть надо мной — мнѣ страшилище. По этому только одному и знаю, что я русскій, — обвелъ онъ глазами слушателей такъ искренно, что всѣ вдругъ почувствовали правду въ этихъ непонятыхъ, и какъ будто нелѣпыхъ, словахъ. Но возмущались, возражали:

— Что вы, Батенковъ, помилуйте! Да развѣ у насъ не власть?..

— Ну, какая власть? Курамъ на смѣхъ. Пронзволь, безначаліе, беззаконіе. Оттого-то и любятъ русскіе царя, что нѣтъ у него власти человѣческой, а только власть Божья, помазанье Божье. Не законъ, а благодать. Этого не поймутъ нѣмцы, какъ намъ не понять ихняго. А это — главное, это — все! Россія, значить, того, какъ бы сказать не соврать, только притворилась государствомъ, а что она такое, никто еще не знаетъ... Не правительство править у насъ, а Никола Угодникъ...

— И Аракчеевъ?

— Аракчеевъ съ благодатью?

— Не оттого ли и служите въ военныхъ поселеніяхъ, что тамъ благодать?

Но Батенковъ не замѣчалъ насмѣшекъ, какъ будто не слышалъ; тяжело и неповоротливо слѣдовалъ только

за собственною мыслью; разгорался медленно, и казалось, что передъ этимъ тяжелымъ жаромъ легкій пылъ прочихъ собесѣдниковъ—какъ соломенный огонь передъ раскаленнымъ камнемъ.

Помолчалъ, задумался, затаился, набралъ дыму въ ротъ и выпустилъ вольцами.

— Все, что въ Россіи хорошо, — по благодати, а что по закону, — сверно, — заключилъ, какъ будто любуясь окончательною ясностью мысли: видно было — математикъ.

— Какая подлость, какая подлость! — послышался вдругъ негодующій окрикъ.

Тамъ, въ углу у печки, стоялъ молодой человекъ съ невзрачнымъ, голоднымъ и тощимъ лицомъ, обыкновеннымъ, сѣрымъ, точно пыльнымъ, лицомъ захолустнаго армейскаго поручика, съ надменно оттопыренной нижней губой и жалобными глазами, какъ у больного ребенка или собаки, потерявшей хозяина. Поношенный черный штатскій фракъ, ветхая шейная косынка, грязная холстинная сорочка, штаны обтрепанные, башмаки стоптанные. Не то театральныи разбойникъ, не то фортепiанныи настройщикъ. „Пролетарь“, — словечко это только что узнали въ Россіи.

Въ началѣ спора онъ вошелъ незамѣтно, почти ни съ кѣмъ не здороваясь; съ жадностью набросился на водку и кулебяку, съѣлъ три куска, запилъ пятью рюмками; отошелъ отъ стола и, какъ сталъ въ углу у печки, скрестивъ руки по-наполеоновски, такъ и простоялъ; не проронивъ ни слова, только свысока поглядывая на спорщиковъ и усмѣхаясь презрительно.

— Кто это? — спросилъ Голицынъ Одоевскаго.

— Отставной поручикъ Петръ Григорьевичъ Ка-

ховскій. Тоже тиранубійца. Якубовичъ—номеръ первый, а этотъ—второй...

Когда Каховскій крикнулъ: „какая подлость!“ — всѣ оглянулись, и наступила тишина. Думали, Батенковъ обидится. Но онъ проговорилъ спокойно и задумчиво, какъ будто продолжая слѣдовать за своею собственною мыслью:

— Правильно, сударь, замѣтить изволили: превеликою сіе можетъ быть подлостью; подлость одна и есть нынче въ Россіи. Но не всегда же было такъ. Для того и нужна революція, чтобы снова неподлымъ стало...

— Ну, чего, братъ, канитель-то тянуть? — возмутился, наконецъ, Рылѣевъ: — скажи-ка лучше попросту: за царя ты, что ли?

— За царя? Нѣтъ, то-есть, значить, того, какъ бы сказать не соврать, если и за царя, то не за такого, какъ нынѣшній. Истинный-то царь — все равно что святой; душу свою за народъ полагаетъ; страстотерпецъ и мученикъ; самъ отъ царства отрекается, Богу всю власть отдаетъ, народъ освобождаетъ... А этотъ что?

— Да вѣдь и этотъ, — возразилъ Рылѣевъ, — въ Священномъ-то Союзѣ, помнишь: „всѣ цари земные слагаютъ вѣнды свои у ногъ единого Царя Христа Небеснаго?..“

— Великая, великая мысль! Величайшая! Больше сей мысли и нѣтъ на землѣ и не будетъ во-вѣки. Только исподлили, изгадили мерзавцы такъ, что развѣ самому Меттерниху или чорту подъ хвостъ. За это ихъ убить мало! — потрясъ онъ кулакомъ съ внезапною яростью, и по лицу его въ эту минуту видно было, что онъ могъ потерять всю команду съ пушками отъ чрезмѣрной храбрости.

— А коли такъ, — засмѣялся Рылѣевъ, — намъ все равно: царь такъ царь. Кто ни попъ, тотъ и батѣа. Только бы революцію сдѣлать!

Батенковъ умолялъ и сердито выбилъ пепелъ изъ потухшей трубки, какъ будто самъ потухъ; увидѣвъ, что никто ничего не понимаетъ.

Одни смѣялись, другіе сердились.

— Темна вода во облацѣхъ!

— Министръ-то нашъ, кажется, того, сбрендилъ!

— Какія-то масонскія тайнства!

— Уши вянутъ!

— Ермалафія!

— За царя да безъ царя въ головѣ! Этакъ и вправду, пожалуй, революціи не сдѣлаешь...

— Шпіонъ, какъ же вы, господа, не видите? Просто аракчеевскій шпіонъ! — шепталъ сосѣдямъ на ухо Бестужевъ, самъ не вѣря и зная, что другіе не повѣрятъ.

А между тѣмъ всѣ продолжали чувствовать, что есть у Батенкова что-то, чего не побѣдишь смѣхомъ.

Одинъ только Голицынъ понялъ: парижскія бесѣды съ Чаадаевымъ о противоположномъ подобіи двухъ вѣчныхъ двойниковъ, русскаго царя и римскаго первосвященника, вспомнились ему — и вдругъ со дна души поднялось все тайное, страшное, что давно уже мучило его, какъ бредъ. Зналъ, что говорить не надо, — все равно никто ничего не пойметъ. Но что-то подступило къ горлу его, захватило неудержимымъ волненіемъ. Онъ всталъ, подошелъ къ Батенкову и проговорилъ слегка дрожащимъ голосомъ:

— Давеча Каховскій назвалъ это подлостью; но это хуже, чѣмъ подлость...

— Хуже, чѣмъ подлость? — посмотрѣлъ на него Батенковъ, опять безъ обиды, только съ недоумѣніемъ и любопытствомъ.

— Что можетъ быть хуже подлости? — спросилъ кто-то.

— Кошунство, — отвѣтилъ Голицынъ.

— Въ чемъ же тутъ, какъ бы сказать не соврать, полагаете вы кошунство? — продолжалъ любопытствовать Батенковъ.

— Царя Христомъ дѣлаете, человѣка — Богомъ. Можетъ быть, и великая, но чортова, чортова мысль! Кошунство вошунствъ, мерзость мерзостей!..

Вдругъ замолчалъ, оглянулся, опомнился. Губы скривились сбычною усмѣшкою, злою не къ другимъ, а къ себѣ; живой огонь глазъ покрыли очки мертвеннымъ поблескиваньемъ стеклышекъ; сдѣлался похожъ на Грибоѣдова въ самыя насмѣшливыя минуты его. „Съ чего это я?“ — подумалъ съ досадою. Было стыдно, какъ будто чужую тайну выдалъ.

А Батенковъ въ неменьшемъ волненіи, чѣмъ онъ, опять задвигался, зашевелился неуклюже-медлительно, какъ будто тяжелые камни ворочалъ.

— Можетъ быть, тутъ и правда есть, какъ бы сказать не соврать... Я и самъ думалъ... Ну, да мы еще съ вами потолкуемъ, если позволите.

Хотѣлъ что-то прибавить, но не успѣлъ: поднялся общій говоръ и смѣхъ.

— Неужели вы о чортѣ серьезно? — спросилъ Бестужевъ.

— Серьезно. А что?

— Въ чорта вѣрите?

— Вѣрю.

— Съ рогами и съ хвостомъ?

— Вотъ именно.

— Тутъ по-вашему онъ и сидитъ?

— Пожалуй, что такъ.

— Ну, поздравляю, чорта за хвостъ поймали!

— Договорились до чортиковъ!

Изъ гостиной вышелъ Явубовичъ, прислушался и вдругъ вспыхнулъ, неизвестно на кого и на что; должно быть, какъ всегда, обидѣлся умнымъ разговоромъ, въ которомъ не могъ принять участія.

— Намъ о дѣлѣ нужно, а мы чортъ знаетъ о чемъ...

— Слушайте! Слушайте!

— О какомъ же дѣлѣ?

— А вотъ о какомъ. Государь всему злу есть первая причина, а посему, ежели хотимъ быть свободными...

— Ну, полно, братъ, полно. Знаемъ, что ты молодецъ,—успокаивалъ его Рылѣевъ.

— Закройте хоть форточку, а то квартальный услышитъ!—смѣялся Одоевскій.

— Ничего,—подумаетъ, что мы переводимъ изъ Шиллера, упражняемся въ благонаправной словесности.

— Если хотимъ быть свободными,—продолжалъ Явубовичъ, не слушая и выкрикивая съ такимъ же неестественнымъ жаромъ, какъ давеча о своихъ кавказскихъ подвигахъ, — то прежде всего истребить надо...

— Папенька! Папенька! Ледъ пошелъ!—закричала, вбѣгая въ комнату съ радостнымъ визгомъ, Настенька, маленькая дочка Рылѣева, такая же смугленькая и востроглазая, какъ онъ.—На Невѣ-то какъ хорошо, папенька! Мосты развели, народу сколько, пушки палятъ, ледъ пошелъ! ледъ пошелъ!

Такъ и не досказалъ Якубовичъ, кого надо истребить. Всѣ занялись Настенькой. Батенковъ наклонился, разставилъ руки, поймалъ ее, обнялъ и защекоталъ

— Сорока-воровка кашку варила, на порогъ скакала, гостей созывала, этому дала, этому дала...

— А вотъ и не боюсь, не боюсь! — отбивалась отъ щекотки Настенька. — Батя, а Батя, спой-ка Совочку...

Батенковъ присѣлъ передъ ней на корточки, съежился, нахохлился, сдѣлалъ круглые глаза и заплѣлъ сначала тоненькимъ, а потомъ все болѣе густымъ, грубымъ голосомъ:

Сидитъ сова на печи,
Крылышками треплючи;
Оченьками лопъ-лопъ,
Ноженками топъ-топъ...

И хлопалъ себя руками по лажкамъ, точно крыльями, и притопывалъ ногами тяжело, неповоротливо, медлительно, такъ, что, въ самомъ дѣлѣ, похожъ былъ на большую птицу.

Настенька тоже прыгала, топала и хлопала въ ладоши, заливаясь пронзительно-звонкимъ смѣхомъ.

Когда кончилъ пѣсенку, схватилъ ее въ охапку, поднялъ высоко надъ головой — сова полетѣла — и опустилъ на полъ. Дѣвочка прижалась къ нему ласково.

— Дядя — бука! — указала вдругъ на Якубовича, который свирѣпо поправлялъ черную повязку на лбу, неестественно вращалъ глазами, дѣлалъ роковое лицо, и, дѣйствительно, былъ такъ похожъ на „буку“, что всѣ расхохотались.

Якубовичъ еще свирѣпѣе нахмурился, пожалъ плечами и, ни съ кѣмъ не прощаясь, вышелъ.

Рылѣевъ увелъ Голицына въ кабинетъ.

— Ну что, какъ? Нравится вамъ у насъ?

— Очень.

— А только молодозелено? Дѣтки шалютъ, дѣтотъ—розгою? Такъ, что ли?

— Я этого не говорю,—невольнo улыбнулся Голицынъ тому, что Рылѣевъ такъ вѣрно угадалъ.

— Ну, все равно, думаете, признайтесь-ка?.. Да вѣдь, что подѣлаешь? Русскій человѣкъ, какъ тридцать лѣтъ стукнетъ, ни къ чорту не годенъ. Только дѣти и могутъ сдѣлать у насъ революцію. А насчетъ розги... Вы гдѣ воспитывались?

— Въ пансіонѣ аббата Никола.

— Ну, такъ значитъ, березовой каши не отвѣдали. А насъ, грѣшныхъ, въ корпусѣ, какъ сидоровыхъ козъ, драли. Меня особенно: шалунъ былъ, сорванецъ-мальчишка. А ничего, обтерпѣлся. Лежишь, бывало, подъ розгами, не пикнешь,—только руки искусаешь до крови, а встанешь на ноги и опять нагрубишь вдвое. Убей—не боюсь. Вотъ это бунтъ такъ бунтъ! Такъ бы вотъ надо и съ русскимъ правительствомъ... Вся революція въ одномъ словѣ: дерзай!

— А у васъ лампы вездѣ, — сказалъ Голицынъ, замѣтивъ здѣсь, въ кабинетѣ, такъ же, какъ въ столовой и гостиной, затепленную лампадку передъ образомъ.

— Да, жена любитъ. А что?

Голицынъ ничего не отвѣтилъ, но Рылѣевъ опять угадалъ.

— Мнѣ все равно — лампы. Я въ Бога не вѣрую. А впрочемъ, не знаю. Мало думалъ. Что за гробомъ, то не наше. Но кажется, есть что-то такое... А вы?

— Я вѣрю.
— То-то вы о чортѣ давеча... А зачѣмъ?
— Что зачѣмъ?
— Да вотъ, вѣрить?
— Не знаю. Но, кажется, безъ этого нельзя ничего...

— И революцію нельзя?
— И революцію.
— Ну, а я хоть не вѣрю, а вотъ вамъ крестъ, — черезъ два года революцію сдѣлаемъ!

Жуткій огонь сверкнулъ въ глазахъ его, а упрямый на затылкѣ хохолъ торчалъ все такъ же дѣтски-безпомощно, какъ у сорванца-мальчишки въ корпусѣ.

— Зайчикъ! Зайчикъ! Зайчикъ! — слышался опять изъ столовой радостный Настенькинъ визгъ.

Староста Трофимычъ принесъ на кухню обѣщаннаго зайчика. Онъ вырвался у Настеньки, игравшей съ нимъ, и побѣжалъ по комнатамъ. Она ловила его и не могла поймать. Спрятался въ столовой подъ столъ. Поднялась суматоха. Кюхля ползалъ по полу длинноногой караморой, залѣзъ подъ скатерть, задѣлъ за ножку стола, едва не опрокинулъ, растянулся, а зайчикъ, перепрыгнувъ черезъ голову его, убѣжалъ въ гостиную и шмыгнулъ подъ Глашенъкинъ подолъ. Она подобрала ножки и завизжала пронзительно. Въ суматохѣ свалилась шаль съ клѣтки; канарейки опять затрещали неистово, какъ будто стараясь перекрычать и оглушить всѣхъ. Въ открытую форточку слышался воскресный благовѣстъ, какъ пѣснь о вѣчной свободѣ, — весенній, веселый звонъ разбитыхъ льдовъ.

„Милыя дѣти! — думалъ Голицынъ. — Кто знаетъ? Можетъ быть, такъ и надо? Вѣчная свобода — вѣчное дѣтство?..“

кала вдали серебромъ ослѣпительнымъ. Все—на-двое, и канарейки въ клѣткѣ чирикали на-двое: когда зима,—жалобно; когда весна,—весело.

— Никто ничего не дѣлаетъ,—говорилъ Рылѣевъ въ одномъ изъ тѣхъ припадковъ унынія, которые бывали у него часто и проходили такъ же внезапно, какъ наступали.—А вѣдь надо же что-нибудь дѣлать. Начинать пора...

— Да, пора начинать,—сказалъ Бестужевъ, потягиваясь и удерживая зѣвоту. Не выспался: сначала—карты въ клубѣ, потомъ—тройки въ Екатерингофѣ, и въ Желтомъ кабачкѣ—всю ночь съ цыганками. Не о дѣлахъ бы теперь, а выпить съ похмеля да поразсказать о ночныхъ похожденияхъ.

Бестужевъ былъ добрый малый: въ самомъ дѣлѣ, добрый товарищъ, храбрый офицеръ и остроумный писатель, сотрудникъ Полярной Звѣзды. Но въ заговоръ попалъ, какъ куръ во щи,—изъ мальчишескаго ухарства, байронства, подражанія Якубовичу; игралъ въ заговорщики, какъ дѣти играютъ въ разбойники. Но начиналъ понимать, что игра опасна; все чаще подумывалъ, какъ бы, не измѣняя слову, выйти изъ Общества; лѣтомъ женится въ Москвѣ и уѣдетъ за границу.

„Теперь еще куда ни шло, буди воля Божья, — мечталъ наединѣ, — но, если женюсь, ни за что не останусь въ Обществѣ, хоть разславъ меня по всему свѣту, чѣмъ хочешь!“

— Да, пора начинать! — повторилъ онъ съ особеннымъ жаромъ, подъ испытующимъ взоромъ Рылѣева, отвернувшись, поправилъ щипцами огонь въ камельбѣ и торопливо, дѣловито прибавилъ:

— А Пестель, говорятъ, уже здѣсь...

— Пестель? Быть не может! Чего же онъ прячется, глазъ не кажетъ?—удивился Рылѣевъ.

— Бойтся, что ли? — продолжалъ Бестужевъ. — Слѣдятъ за нимъ очень. У самого государя на примѣтѣ. Да и за нами, чай, слѣдятъ. Проходу нѣтъ отъ шпионовъ. Глиночка-то намедни, помнишь, говорилъ: „смотрите въ оба!“ А, вѣдь, вотъ и Пестель начинаетъ торопить: въ южной арміи дѣла, будто, въ такомъ положеніи, что едва можно удерживать: довольно одной ротѣ взбунтоваться, чтобы само началось. Предлагаетъ намъ соединиться съ Южными...

— Было бы кому соединяться! — горько усмѣхнулся Рылѣевъ.

— Да, людей мало, — подтвердилъ Бестужевъ и съ тѣмъ же преувеличеннымъ жаромъ прочелъ стихи Рылѣева:

Всюду встрѣчи безотрадныя;
Ищешь, суетный, людей, —
А встрѣчаешь трупы хладныя
Иль безсмысленныхъ дѣтей.

— Да, трупы хладныя! — вздохнулъ Рылѣевъ и опустилъ голову. — Ты что думаешь, Саша: другихъ обличаю, а самъ?.. Нѣтъ, братъ, знаю: и самъ — подлець! За жену, за дочку, за теплый уголь да за звучный стихъ отдамъ все, — всѣ свободы. А Якубовичъ, тотъ — за свою злобу, Каховскій — за свою славу, Пущинъ — за свою честность, Одоевскій — за свою шалость...

— А я?

— А ты — за картишки, за дѣвчонокъ, за аксельбанты флигель-адъютантскіе... Ну, да что говорить, всѣ хороши! Въ Писаніи-то, помнишь, сказано: никто же, возложя руку свою на рало и зря вспять,

управленъ есть въ царствіе Божіе. А мы всѣ зримъ вспять. Щелкоперы, свистуны, фанфаронишки; наговоримъ съ три короба, а только цыкни — и хвостъ подожжемъ... Эхъ, Саша, Саша, знаешь, братъ?.. все мнѣ кажется: осраимся, въ лужу сядемъ, ничего у насъ не выгорить, ни чорта лысаго! Не по силамъ беремъ, руки коротки. Надѣлала синица славы, а моря не зажгла—правду говоритъ Пущинъ...

Положилъ руку на плечо Бестужева и произнесъ торжественно, съ тѣмъ невольнымъ актерствомъ, въ которое всѣ они впадали, какъ бы ни были искренни:

— И на твоемъ челѣ, Александръ, я читаю противное благу Общества!

— Да ну же, полно, брось, говорятъ! Это, вѣдь, душа моя, изъ Разбойниковъ Шиллера. И что на меня-то валить, съ больной головы на здоровую? Вы всѣ—мечтатели, а я—солдаты: гожусь не разсуждать, а дѣйствовать. Начинать такъ начинать. По мнѣ хоть сейчасъ! — съ тѣмъ же актерствомъ отвѣтилъ и Бестужевъ.

И не хотѣлъ, и зналъ, что не надо говорить, да само говорилось. Но если лгалъ, то не совсѣмъ: какъ хорошему актеру, стоило ему вообразить, что онъ что-нибудь чувствуетъ, для того, чтобы дѣйствительно почувствовать; а иной разъ бывали чувства противоположныя, и онъ самъ тогда не зналъ, какое настоящее.

— Нѣтъ, сейчасъ нельзя, — началъ Рылѣевъ уже другимъ, повеселѣвшимъ голосомъ: какъ всегда, облегчивъ сердце въ жалобѣ, ободрился. — Сейчасъ нельзя. А вотъ будущей весной, на майскомъ парадѣ или на петергофскомъ праздникѣ, лѣтомъ, что ли?.. Якубовича бы можно хоть сейчасъ съ цѣпи спустить, — у

него рука не дрогнетъ. Да боюсь: бѣды надѣлаетъ, сразу вооружить всѣхъ противъ Общества...

— Берегись, Рылѣевъ: твой Каховскій хуже Якубовича. Намедни опять въ Царское ѣздилъ...

— Врешь!

— Спроси самого... Государь нынче, говорятъ, все одинъ, безъ караула, въ паркѣ гуляетъ. Вотъ онъ его и выслаживаетъ, охотится. Ну, долго ли до грѣха? Вѣдь, ни за что пропадемъ... Образумилъ бы его хоть ты, что ли?

— Образумишь, какъ же!—проговорилъ Рылѣевъ, пожимая плечами съ досадой. — Намедни влетѣлъ ко мнѣ, какъ полоумный, едва поздоровался, да съ перваго же слова—бацъ: „послушай, говоритъ, Рылѣевъ, я пришелъ тебѣ сказать, что рѣшилъ убить царя. Объяви Думѣ, пусть назначаютъ срокъ...“ Лежалъ я на софѣ, вскочилъ, какъ ошпаренный: „что ты, что ты, говорю, сумасшедшій! Вѣрно, хочешь погубить Общество...“ И такъ, и сякъ. Куда тебѣ! Уперся, ничего не слушаетъ. Вынь да положь. Только ужъ подъ конецъ, сталъ я передъ нимъ на колѣни, взмолился: „пожалѣй, говорю, хоть Наташу да Настеньку!“ Ну, тутъ какъ будто задумался, притихъ, а потомъ заплакалъ, обнялъ меня: „ну, говоритъ, ладно, подожду еще немного...“ Съ тѣмъ и ушелъ. Да надолго ли?

— Вотъ навязали себѣ чорта на шею!—проворчалъ Бестужевъ.—И кто онъ такой? Откуда взялся? Упалъ какъ снѣгъ на голову. Ужъ не шпионъ ли, право?..

— Ну, съ чего ты взялъ, какой шпионъ! Малый пречестный Старой польской шляхты дворянинъ. И образованный: къ нѣмцамъ ѣздилъ учиться, въ гвардіи служилъ, французскій походъ сдѣлалъ, да за ка-

кую-то дерзость переведенъ въ армію и подалъ въ отставку. Имѣянице въ Смоленской губерніи. Въ картишки продулъ, въ пухъ разорился. На греческое возстаніе собрался, въ Петербургъ пріѣхалъ, да тутъ и застрялъ. Все до нитки спустилъ, едва не умеръ съ голоду. Я ему кое-что одолжилъ и въ Общество принялъ...

Раздался звонокъ въ передней, голосъ Каховскаго и казачка Фильки:

— Дома баринъ?

— Дома, пожалуйста.

— Никакъ онъ?—прислушался Рылѣевъ.—Онъ и есть, легокъ на поминѣ...

Еще болѣе голодный, испитой, оборванный, чѣмъ въ день русскаго завтрака, вошелъ Каховскій и поздоровался, по обыкновенію, молча, свысока, двумя пальцами, какъ будто изъ милости. Присѣлъ къ огню; грѣлъ озябшія руки и сушилъ на каминной рѣшоткѣ свои рваные, облѣпленные грязью сапоги, рядомъ съ щегольскими, лакированными флигель-адъютантскими ботфортами Бестужева.

— Что, Петя, озябъ? Хочешь закусить?—прервалъ неловкое молчаніе Рылѣевъ.

Каховскій не отвѣтилъ, только сердито и болѣвненно, какъ отъ озноба, передернулъ плечами.

— Ъду завтра. Прощайте.

— Куда?

— Въ Смоленскъ.

— Съ чего ты вздумалъ?

— А что мнѣ тутъ съ вами? Какъ собака живу, голодаю, побираюсь, обносился весь, сапогъ вонъкупить не на что. А вы когда-то еще...

— Скоро, Петя, скоро. Только не отъ насъ вѣдь это зависитъ...

— Отъ кого же?

— Отъ Верховной Думы. Какъ она рѣшитъ...

— Невидимые Братья?

— Ну да, и они. Мы вѣдь съ тобою не болѣе, какъ рядовые въ Обществѣ, самъ знаешь.

— Ничего не знаю и знать не хочу! Наплевать мнѣ на Думу! Секреты какіе-то масонскіе. Невидимые Братья! Людей только морочите, за носъ водите... Да чѣмъ я хуже вашихъ невидимыхъ Братьевъ, чортъ ихъ дери! Что отставной армеецъ, голоштанникъ, нищій, пролетарь,—такъ и чести нѣтъ, что ли? Да, пролетарь!—ударяя себя въ грудь, повторилъ онъ это новое словечко съ особенной гордостью,—пролетарь, а честию моею дорожу не менѣе вашихъ сопливыхъ дворянчиковъ, гвардейскихъ шаромыжниковъ, князьковъ да камеръ-юнкеровъ, придворной сволочи!..

— Чего же ты ругаешься? Никто твоей чести не трогаетъ. А уходить вздумалъ, ну, и съ Богомъ, держать не будемъ, и безъ тебя много желающихъ. Ты вотъ все о чести, а найдутся люди, которые для блага общаго не только жизнью, но и честью жертвуютъ...

— Кто жъ это? Кто? — поблѣднѣлъ и вскочилъ Каховскій, какъ ужаленный.—Ужъ не Якубовичъ ли?

— А хотя бы и онъ...

— Шутъ гороховый!

— Ты такъ завистливъ, душа моя, что осуждаешь все, чего самъ не можешь.

— Не могу—низости...

— Какая же низость?

— Мщеніе оскорбленнаго безумца—низость, подлость! А подъ видомъ блага общаго—еще того подлѣе... Пойти убить царя не штука, — на это вся-

баго хватить. Но надо право имѣть, слышишь, право!

— Право на убійство?

— Не убійство тутъ, а другое... можетъ быть, и хуже убійства, да совсѣмъ, совсѣмъ другое... Только не понимаете вы... никто ничего не понимаетъ. О, Господи, Господи!..

Вдругъ опустился на стулъ, закрылъ глаза, и лицо его помертвѣло.

— Что съ тобою, Петя? Нездоровится?

— Нѣтъ, ничего, пройдетъ. Голова кружится. Дай воды или стаканъ вина...

Какъ всегда передъ завтракомъ, въ столовой Рылѣва, пахло чѣмъ-то веуснымъ, жаренымъ. Каховскаго тошнило отъ голода и отъ этого запаха.

Рылѣвъ догадался, сбѣгалъ на кухню, принесъ тарелку щей съ мясомъ и графинъ воды. Когда тотъ бончилъ ѣсть, — повелъ его въ кабинетъ.

— Послушай, Петя, ну, какъ тебѣ не стыдно: голодаешь, а денегъ не берешь, ну развѣ такъ друзья поступаютъ, а?

Отперъ конторку.

— Если не хочешь обидѣть меня... вотъ тутъ, кажется, двѣсти... — совалъ ему въ руку синенькую пачку ассигнацій.

— Куда мнѣ столько? — отвертывался Каховскій; оттопыренная нижняя губа еще дрожала. — Хозяинъ бы только, да въ лавочку, да вотъ еще портному Яухци. Пристаешь жидъ проклятый, каждый день шляется, въ яму посадить грозить...

Портному Яухци заказанъ былъ военный мундиръ: по настоянію Рылѣва, Каховскій согласился посту-

пять снова на службу и подалъ прошеніе въ Елецкій пѣхотный полкъ.

Наконецъ, взялъ деньги, не считая, и торопливо, неловко сунулъ пачку въ боковой карманъ брюкъ, точно висеть съ табакомъ.

— Мундиръ-то готовъ?—спросилъ Рылѣевъ.

— Готовъ.

— Ну, и ладно. Не къ лицу тебѣ фракъ: въ мундирѣ будешь виднѣе, и легче дѣйствовать... А насчетъ крестьянъ какъ же?—прибавилъ, подумавъ.—Продалъ бы ихъ, что ли? По пятисотъ нынче за душу. Тринадцать-то душъ—деньги тоже, на улицѣ не валяются. Я бы тебѣ живо устроилъ: у меня и въ палатѣ заручка...

— Да нѣтъ, гдѣ ужъ... Заложены, процентовъ давно не платилъ, ужъ, чай, и просрочены, — солгалъ Каховскій и покраснѣлъ мучительно: не заложилъ, а проигралъ эти послѣднія тринадцать душъ родового наслѣдія въ карты какому-то шулеру на Лебедянской ярмаркѣ.

— Ну, такъ, значить, миръ, Петя голубчикъ, а? Не сердишься?—сказалъ Рылѣевъ, пожимая ему руку и заглядывая въ лицо со своею милою, мальчишескою улыбкою.

Но тотъ все еще отвертывался, не смотрѣлъ ему въ глаза и думалъ: „гдѣ ужъ сердиться, коли деньги взялъ?“ Каждый разъ, когда бралъ ихъ, испытывалъ такое чувство, какъ будто собственную душу свою чорту проигрывалъ.

— Не сержусь, Атя, нѣтъ... За что же?... А только скверно, иной разъ такъ на душѣ скверно, что хоть пулю въ лобъ. Не могу я больше, не могу, мочи моей нѣтъ!..

— Ну, полно, полно, — видимо, о другомъ думая, утѣшалъ его Рылѣевъ: — вѣдь ужъ недолго теперь, потерпи какъ-нибудь... А въ Царское зачѣмъ ѣздить?

— Въ Царское? Самъ знаешь... Эхъ, братъ, вѣдь только 'прицѣлится. Въ десяти шагахъ. Одинъ оди-нѣшенекъ. Точно дразнить...

— Да вѣдь самъ говоришь: убить не штука, а надо, чтобы...

— Ну, да ужъ знаю, знаю. А только не могу больше... Господи! Господи! Когда же?

— Да говорю же — скоро. Ну вотъ, ей Богу, вотъ тебѣ крестъ! — перекрестился Рылѣевъ на образъ, точно такъ же, какъ намеренъ въ бесѣдѣ съ Голицынымъ. — Ты, ты одинъ и больше никого! Такъ и знай. И Думу о томъ извѣстимъ, и срокъ назначимъ. Ты достоинъ... я же знаю, Петя милый, ты одинъ достоинъ.

Въ глазахъ Каховскаго загорѣлось что-то, какъ блескъ отточенной стали. А Рылѣевъ смотрѣлъ на него, какъ точильщикъ, который пробуетъ ножъ: остеръ ли? — Да, остеръ.

Бестужевъ, при началѣ бесѣды, вышелъ въ гостиную, чтобы не мѣшать; потомъ, когда они ушли въ кабинетъ, вернулся въ столовую, присѣлъ къ огню, закурилъ-было трубку, но уронилъ ее на полъ и задремалъ. Видѣлъ во снѣ, будто мечетъ банкъ, загребаютъ кучи золота, а цыганка Малярка сидитъ у него на колѣняхъ, щекочетъ, смѣется, путаетъ игру. Проснулся съ досадою, не кончивъ пріятнаго сна, когда вышли изъ кабинета Каховскій съ Рылѣевымъ. Рылѣевъ посмотрѣлъ на часы: ему надо было зайти въ правленіе Россійско-Американской Компаніи, передъ завтракомъ. Собрался и

Бестужевъ, вспомнивъ о предстоящемъ визитѣ те-
тушкѣ-именинницѣ.

— Подвести васъ, Каховскій?

— Благодарю, я привыкъ пѣшкомъ. Да и не по
дорогѣ намъ.

Бестужевъ отвелъ его въ сторону, такъ чтобы
Рылѣевъ не слышалъ.

— Прошу васъ, поѣдьте; мнѣ нужно съ вами
поговорить о дѣлахъ Общества.

— Ну, что-жъ, поѣдемъ, — сказалъ Каховскій,
посмотрѣвъ на него съ удивленіемъ: они другъ друга
недолюбливали и о дѣлахъ никогда не говорили.

Вышли вмѣстѣ. Каховскій надѣлъ широкополую,
черную, карбонарскую шляпу и странный, легкій,
точно лѣтній, плащъ-альмавиву, сдѣлавшись въ этомъ
нарядѣ еще болѣе похожъ не то на театральнаго
разбойника, не то на фортепіаннаго настройщика.

У подъѣзда ждала флигель-адъютантская коляска
Бестужева, щегольская, англійская, на высокомъ
ходу; кучеръ лихой, въ шляпѣ съ павлиньими
перьями; пристяжная лебедкою. Двоимъ тѣсно; Бе-
стужевъ сѣлъ бокомъ, неловко: „гвардейскій шаро-
мыжникъ“ уступалъ мѣсто „пролетару“ съ почти-
тельной любезностью. Попросилъ позволенія завезти
корректуры Полярной Звѣзды въ типографію.

Выглянуло солнце, но подъ нимъ — еще пусты-
нѣе, однообразнѣе однообразная пустыньность улицъ,
широкихъ какъ площади, съ рядами сѣренскихъ, ни-
зенькихъ, точно къ землѣ приплюснутыхъ, домиковъ,
да пожарной каланчой, одиноко кое-гдѣ торчащею;
и блѣдно-желтая подъ блѣдно-зеленымъ небомъ, уны-
лая охра казенныхъ домовъ еще унылѣе.

Выѣхали на Невскій. Отъ Полицейскаго моста

до Аничкина насаженъ бульваръ изъ липовъ, по приказу императора Павла, въ тридцать дней, среди лютой зимы, такъ что приходилось рубить ямы топорами и разводить въ нихъ костры, чтобы оттаять мерзлую землю. Теперь, подъ ледоходнымъ вѣтромъ, эти чахлая липки, зябко дрожавшія голыми сучьями, похожи были на больныхъ дѣтей и, казалось, никогда не распустятся. Но уже весеннее гулянье началось на бульварѣ. Проходили военные въ треугольникахъ съ пѣтушьими перьями, чиновники во фризovýchъ шинеляхъ, купцы въ длиннополыхъ сибиркахъ, и у Гостинаго двора изъ каретъ ливрейные лакеи высаживали дамъ въ русскихъ мѣховыхъ салонахъ и парижскихъ ярихъ, какъ цвѣты, весеннихъ шляпкахъ. Проносились барскія шестерки цугомъ съ нескончаемымъ „и-и-и!“ — сокращеннымъ „поди!“, которое тянули тончайшимъ дискантомъ мальчишки-форейторы. На почтовой телѣжкѣ фельдъегерь скакалъ, сломя голову, и дребезжа, и подпрыгивая по булыжнымъ арбузамъ, плелись извозчичьи дрожки-гитары, на которыхъ сидѣли верхомъ, какъ на сѣдлахъ, держа кучера за поясъ, а на спинѣ у него болталась жестяная бляха съ номеромъ. Передъ взводомъ марширующихъ солдатъ играла военная музыка.

И въ однообразіи движущихся войскъ, въ однообразіи бѣлыхъ колоннъ на желтыхъ фасадахъ казенныхъ домовъ вѣялъ духъ того, кто сказалъ: „я люблю единообразіе во всемъ“. Казалось, весь этотъ городъ—большая казарма или плацъ-парадъ, гдѣ подъ бой барабана вытянулось все во фронтъ, затаило дыханіе и замерло.

Бестужевъ что-то говорилъ Каховскому, но тотъ

не слушалъ, глядѣлъ на толпу и думалъ: вотъ, никто въ этой толпѣ не знаетъ о немъ; но близокъ часъ, когда всѣ эти люди, вся Россія, весь міръ узнаетъ и содрогнется отъ ужаса, отъ величія того, что онъ совершитъ.

— Пришлю вамъ статейку, прочтите...

— Какую статейку?

— Да мою же: „Взглядъ на русскую словесность въ теченіе 1824 года“...

Бестужевъ говорилъ о своей статьѣ, о своей лошади, о своей тетулкѣ, о своей цыганкѣ съ такимъ веселымъ видомъ, какъ будто не могло быть сомнѣнія, что это для всѣхъ занимательно.

— Впрочемъ, литература — только ничтожная страничка жизни моей... Я, какъ Шенье у гильотины, могу сказать, ударяя себя по лбу: „тутъ что-то было!“ Мое нервное сложеніе — эолова арфа, на которой играетъ буря...

Это сказалъ онъ однажды о Байронѣ и потомъ сталъ повторять о себѣ.

Каховскій посмотрѣлъ на него угрюмо:

— Вы, кажется, хотѣли говорить со мной о дѣлахъ?

— Да, да, о дѣлахъ, какъ же! Но не совсѣмъ удобно, знаете, на улицѣ?... Кучеръ можетъ услышать. За нами очень слѣдятъ. Я не увѣренъ даже въ собственныхъ людяхъ, — прибавилъ онъ по-французски. — А вотъ если бы вы позволили къ вамъ на минутку?..

— Милости просимъ, — отвѣтилъ Каховскій сухо.

Заѣхавъ по дорогѣ въ Милютины ряды, Бестужевъ накупилъ закусокъ и шампанскаго. Каховскій не спрашивалъ, зачѣмъ: всю дорогу молчалъ, насупившись.

Жилъ въ Коломнѣ, въ домѣ Энгельгардта, въ отдѣльномъ ветхомъ, покосившемся, деревянномъ флигелѣ.

Крутая, темная, пахнущая кошками и помоями лѣстница. Бестужевъ долженъ былъ наклониться, снять киверъ съ бѣлымъ султаномъ, чтобы не запачкаться, проходя подъ сушившимся на веревкѣ, кухоннымъ тряпьемъ. Двѣ старухи, выскочивъ на лѣстницу, ругались изъ-за пропавшей селедки, и одна другой тыкала въ лицо ржавымъ селедочнымъ хвостикомъ. Тутъ же изъ-за двери выглядывала просто-волосая, наруганная, съ гитарою въ рукахъ, дѣвица, а вдали осипшій басъ пѣлъ излюбленную канцеляристами пѣсенку:

Безъ тебя, моя Глафира,
Безъ тебя, какъ безъ души,
Никакія царства міра
Для меня не хороши.

Комната Каховскаго, на самомъ верху, на антресоляхъ, напоминала чердакъ. Должно быть, гдѣ-то внизу была кузница, потому что оклеенныя голубенькой бумажкой, съ пятнами сырости, дощатые стѣнки содрогались иногда отъ оглушительныхъ ударовъ молота. На столѣ, между Плутархомъ и Титомъ Ливіемъ во французскомъ переводѣ XVIII вѣка, — стояла тарелка съ обглоданной костью и недоѣденнымъ соленымъ огурцомъ. вмѣсто кровати — походная койка, офицерская шинель — вмѣсто одѣяла, красная подушка безъ наволочки. На стѣнѣ — маленькое мѣдное распятіе и портретъ юнаго Занда, убійцы русскаго шпіона Коцебу; подъ стекломъ портрета — засохшій, вѣрно, могильный, цвѣтокъ, лоскутокъ, омоченный въ крови казненнаго, и надпись рукою

Каховскаго, четыре стиха изъ пушкинскаго Кинжала:

О, юный праведникъ, избранникъ роковой,
О Зандъ! твой вѣкъ угасъ на плахѣ;
Но добродѣтели святой
Остался слѣдъ въ казенномъ прахѣ.

Войдя въ комнату, онъ сдѣлался еще угрюмѣе, — должно быть, стыдился своей нищеты. Сѣлъ на койку и предложилъ гостю единственный стулъ. Оба молчали. Бестужевъ держалъ на колѣняхъ кулекъ съ виномъ и закусками, не зная, куда его дѣвать; наконецъ, положилъ подъ столъ.

— Послушайте, Каховскій, — началъ онъ вдругъ, торопясь и тоже, видимо, стѣсняясь, — вамъ Рылѣевъ ничего не говорилъ о Думѣ?

— Ничего.

— Не понимаю, право, что онъ таится? Такому человѣку, какъ вы, можно бы открыть все... Никакой, впрочемъ, Думы и нѣтъ, вся она — въ одномъ Рылѣевѣ...

— А какъ же Трубецкой, Пущинъ, Одоевскій? — спросилъ Каховскій, притворяясь равнодушнымъ, а на самомъ дѣлѣ, съ жаднымъ любопытствомъ ожидая отвѣта Бестужева.

— Пѣшки въ рукахъ Рылѣева; онъ беретъ все на себя и объявляетъ мнѣнія свои волею диктатора; обманываетъ всѣхъ и себя самого. Революція — точка его помѣшательства. Недурной человѣкъ, но весь въ воображеніи, въ мечтахъ, ну, словомъ, поэтъ, сочинитель, какъ и всѣ мы, грѣшные. Годится только для заварки кашъ, а расхлебывать приходится другимъ...

Помолчалъ и прибавилъ:

— Ну, такъ вотъ, я счелъ своимъ долгомъ васъ

предостеречь. Ни обманывать, ни въ западни ловить я никого не желаю. Пусть онъ,—а я не желаю. Надо, чтобы всякій зналъ, что дѣлаетъ и на что идетъ... Не говорилъ ли онъ вамъ, что царевубійство не должно быть связано съ Обществомъ?

— Говорилъ.

— Ну, такъ въ этомъ вся штука. Онъ готовится васъ быть ножомъ въ его рукахъ: нанесетъ ударъ и сломаетъ ножъ. Вы—лицо отверженное, низкое орудіе убійства, жертва обреченная... Впрочемъ, всѣ эти Невидимые Братья...

— Онъ изъ нихъ?

— Изъ нихъ. Ну, такъ эти господа, говорю я, всѣ таковы: чужими руками жаръ загребаютъ... Такъ же вотъ и съ вами: кровь падетъ на вашу голову, а они умоютъ руки и васъ же первые выдадутъ. Якубовича, того берегутъ для украшенія Общества: кавказскій герой. Ну, а вы... Рылѣевъ полагаетъ, что вы у него на жалованьи—деньги берете... наемный убійца...

— Я... я... Рылѣевъ... деньги... не можетъ быть!—пролепеталъ Каховскій, блѣднѣя.

— Да неужто вы сами не видите? А я-то, признаться, думалъ...—началъ Бестужевъ, но не кончилъ, взглянувъ на собесѣдника. Тотъ закрылъ лицо руками и долго сидѣлъ такъ, не двигаясь, молча. Снизу доносились удары кузнечнаго молота, и ему казалось, что это удары его собственнаго сердца.

Вдругъ вскочилъ, съ горящими глазами, съ переконнымъ отъ ярости лицомъ.

— Если я ножъ въ рукахъ его, то онъ же самъ объ этотъ ножъ уколется! Скажите это ему...

Схватился за голову и забѣгалъ по комнатѣ

— Я чести моей не продамъ такъ дешево! Никому не лягу ступенькой подъ ноги... Я имъ всѣмъ, всѣмъ... О, мерзавцы! мерзавцы! мерзавцы!..

Опять въ изнеможеніи опустился на койку.

— Что же это такое, Бестужевъ?.. А я-то вѣрилъ, дуракъ... не видѣлъ преступленія для блага общаго, думалъ—добро для добра, безъ возмездія... пока не остановится біеніе сердца моего,—отечество дороже мнѣ всѣхъ благъ земныхъ и самого неба...

Отчаянно взмахнулъ руками надъ головой, какъ утопающій.

— Отдалъ все—и жизнь, и счастье, и совѣсть, и честь... А они... Господи, Господи!.. Не за себя оскорбленъ я, Бестужевъ, пойми же, а за все чело-вѣчество... Какая низость, какая грязь—въ чело-вѣкѣ, сынѣ небесъ!..

Говорилъ напыщенно, книжно, какъ будто фальшиво, а на самомъ дѣлѣ, искренно.

Бестужевъ развязалъ кулекъ, вынулъ вино и закуски; вертя въ рукахъ бутылку, искалъ глазами штопора. Не нашелъ; отбилъ горлышко; налилъ въ пивной стаканъ и въ глиняную кружку съ умы-вальника.

— Ну, полно, мой милый, полно,—сказалъ, потрепавъ его по плечу уже съ развязностью.—Дастъ Богъ, перемелется—мука будетъ... А вотъ лучше подумаемъ вмѣстѣ, что дѣлать... Да выпьемъ-ка сначала, это прочищаетъ мысли.

Выпилъ, подумалъ и снова налилъ.

— А знаете что?—проговорилъ такъ, какъ будто это пришло ему въ голову только что:—уничтожить бы Общество, да начать все сызнова; вы будете главнымъ директоромъ, а я вамъ людей подберу. Хотите?

Не создать новое, а уничтожить старое, — такова была его тайная мысль; и такъ же, какъ Рылевъ, думалъ онъ сдѣлать Каховскаго своимъ орудіемъ. Но тотъ ничего не понималъ и почти не слушалъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ? Не надо, — сказалъ, махнувъ рукою. — Никого не надо. Я одинъ. Если нѣтъ никого, нѣтъ Общества, — я одинъ за всѣхъ. Пойду и совершу. Такъ надо... Все равно, будь что будетъ. Теперь уже никто не остановитъ меня. Такъ надо, надо... я знаю... я одинъ...

Говорилъ, какъ въ бреду; пилъ съ жадностью стаканъ за стаканомъ; съ непривычки быстро хмелѣлъ. Бестужевъ предложилъ ему выпить на ты. Выпили, поцѣловались; еще выпили, еще поцѣловались.

— Знаешь, Бестужевъ? — вдругъ началъ Каховскій, уже безъ гнѣва, съ неожиданно ясной и кроткой улыбкой. — Можетъ быть, и къ лучшему все? Я сирота въ этомъ мірѣ. Ни друзей, ни родныхъ. Всегда одинъ. Отъ самаго рожденія печать рока на мнѣ. Обреченный, отверженный... Ну, что-жъ? Видно, быть такъ. Одинъ, одинъ за всѣхъ! Не нужно мнѣ ничего — ни счастья, ни славы, ни даже свободы. Я и въ цѣпяхъ буду вѣчно свободенъ. Силенъ и свободенъ тотъ, кто позналъ въ себѣ силу человѣчества! Умереть на плахѣ или въ самую минуту блаженства — не все ли равно? О, если бы ты зналъ, Александръ, какая радость въ душѣ моей, какое спокойствіе, когда я это чувствую, какъ вотъ сейчасъ!

„Экъ его, Шиллера, куда занесло!“ думалъ Бестужевъ съ досадою. Понялъ, что дѣловаго разговора не будетъ: поплачетъ, подуется, а кончитъ все-

таки тѣмъ, что вернется къ Рылѣву: самъ чортъ, видно, связалъ ихъ веревочкой.

Долго еще бесѣдовали, но уже почти не слушали другъ друга и не замѣчали, что говорятъ о разномъ.

— Безъ женщинъ, mon cher, не стоило бы жить на свѣтѣ!—воскликнулъ Бестужевъ, послѣ второй бутылки, а послѣ третьей, выразилъ желаніе „потонуть въ пламени любви и землекрушенія“. Послѣ четвертой, Каховскій рассказывалъ, какъ рвалъ цвѣты и плакалъ на могилѣ Занда, а Бестужевъ восклицалъ, подражая Наполеону-Якубовичу: „моя душа изъ гранита,—ея не разрушить и молнія!“ И уже слегка заплетающимся языкомъ продолжалъ рассказывать о своихъ любовныхъ побѣдахъ:

— На постояхъ у польскихъ пановъ волочились мы за красавицами. Что за жизнь! Пьянствуемъ и отрезвляемся шампанскимъ. Vogue la galère! Цымбалы гремятъ, дѣвки пляшутъ. Чудо! Да, ты, Петька, монахъ, мизантропъ? Еще, пожалуй, осудишь?.. Но что же дѣлать, братъ? Натура меня одарила не кровью, а лавой огнедышащей. Бѣшеная страсть моя женщинъ палитъ, какъ соломѣ. Повѣришь ли, въ Черныхъ Грязяхъ дамы чуть не изнасиловали. Стоило свистнуть, чтобъ имѣть цѣлую дюжину... Я, впрочемъ, всегда презиралъ то, что называется свѣтомъ, потому что давно знаю, какъ легко его озадачить; я не созданъ для свѣта; сердце мое—океанъ, задавленный тяжелой мглой...

Бестужевъ говорилъ еще долго. Но Каховскій опять замолчалъ и нахохлился: чувствовалъ, что слишкомъ много выпито и сказано; мутило его не то отъ вина, не то отъ рѣчей новаго друга; казалось,

что это отъ нихъ, а не отъ лимбургскаго сыра такой скверный запахъ.

Бестужевъ вспомнилъ, наконецъ, о своей тетускѣ-имениницѣ.

— Еще, пожалуй, разсердится старая вѣдьма, если не приду поздравить, а сердить ее нельзя: къ моему старикашкѣ имѣетъ протекційку...

Старикашка былъ герцогъ Виртенбергскій, у котораго онъ служилъ во флигель-адъютантахъ.

— А старая вѣдьма съ протекційкой иной разъ лучше молоденькихъ?—усмѣхнулся Каховскій уже съ нескрываемой брезгливостью, но Бестужевъ не замѣтилъ.

— Протекціей, mon cher, ни въ какомъ случаѣ брезгать не слѣдуетъ: это и у насъ въ правилахъ Тайнаго Общества...

Полѣзъ цѣловаться на прощаніе.

„И какъ я могъ открыть сердце этому шалопаю?“ подумалъ Каховскій съ отвращеніемъ.

Когда гость ушелъ,—открылъ форточку и выбросилъ недоѣденный лимбургскій сыръ. Смотрѣлъ въ окно черезъ заборъ на знакомыя лавочныя вывѣски: „Продажа разныхъ мукъ“, „Портной Иванъ Доброхотовъ изъ иностранцевъ“. Со двора доносились унылые крики разносчиковъ:

— Халать! Халать!

— Точи, точи ножики!

А внизу, на лѣстницѣ—гитара:

Безъ тебя, моя Глафира,
Безъ тебя, какъ безъ души...

И опять:

— Точи, точи ножики!

— Халать! Халать!

Отошелъ отъ окна и повалился на койку; голова кружилась; кузнечные молоты стучали въ вискахъ; тошнота—тоска смертная. Вся жизнь—какъ скверно пахнущій лимбургскій сыръ.

Досталъ изъ-подъ койки ящикъ, вынулъ изъ него пару пистолетовъ, дорогихъ, англійскихъ, новѣйшей системы — единственную роскошь нищенскаго хозяйства — осмотрѣлъ ихъ, вытеръ замшевой тряпочкой. Зарядилъ, взвелъ курокъ и приложилъ дуло къ виску: чистый холодъ стали былъ отраденъ, какъ холодъ воды, смывающей съ тѣла знойную пыль.

Опять уложилъ пистолеты, надѣлъ плащъ-альмавиву, взялъ ящикъ, спустился по лѣстницѣ, вышелъ на дворъ; проходя мимо ребятишекъ, игравшихъ у дворницѣй въ свайку, кликнулъ одного изъ нихъ, своего тѣзку, Петьку. Тотъ побѣжалъ за нимъ охотно, будто зналъ, куда и зачѣмъ. Дворъ кончался дровянымъ складомъ; за нимъ—огороды, пустыри и заброшенный кирпичный сарай.

Вошли въ него и заперли дверь на ключъ. На полу стояли корзины съ пустыми бутылками. Каховскій положилъ доску двумя концами на двѣ сложенные изъ кирпичей горки, поставилъ на доску тринадцать бутылокъ въ рядъ, вынулъ пистолеты, прицѣлился, выстрѣлилъ и попалъ такъ мѣтко, что разбилъ въдребезги одну бутылку крайнюю, не задѣвъ сосѣдней въ ряду; потомъ вторую, третью, четвертую — и такъ всѣ тринадцать, по очереди. Пока онъ стрѣлялъ, Петька заряжалъ, и выстрѣлы слѣдовали одинъ за другимъ, почти безъ перерыва.

Прошепталъ послѣ первой бутылки.

— Александръ Павловичъ.

Послѣ второй:

— Константинъ Павловичъ.

Послѣ третьей:

— Михаилъ Павловичъ.

И такъ—всѣ имена по порядку.

Дойдя до императрицы Елисаветы Алексѣевны, прицѣлился, но не выстрѣлилъ, опустил пистолетъ—задумался.

Вспомнилъ, какъ однажды встрѣтилъ ее на улицѣ: коляска ѣхала шагомъ; онъ одинъ шелъ по пустынной Дворцовой набережной и увидѣлъ государыню почти лицомъ къ лицу; не ожидая поклона, первая, склонила она усталымъ и привычнымъ движеніемъ свою прекрасную голову съ блѣднымъ лицомъ подъ черною вуалью. Какъ это бываетъ иногда въ такихъ мимолетныхъ встрѣчахъ незнакомыхъ людей, быстрый взглядъ, которымъ они обмѣнялись, былъ ясновидящимъ. „Какіе жалкіе глаза!“—подумалъ онъ, и вдругъ почудилось ему, что почти то же, почти тѣми же словами и она подумала о немъ: какъ будто двѣ судьбы стремились отъ вѣчности, чтобы соприкоснуться въ одномъ этомъ взглядѣ мгновенномъ, какъ молнія, и потомъ разойтись опять въ вѣчности.

Не тронувъ „Елисаветы Алексѣевны“, онъ выстрѣлилъ въ слѣдующую, по очереди, бутылку.

Когда разстрѣлялъ всѣ тринадцать, кромѣ одной, поставилъ новыя. И опять:

— Александръ Павловичъ.

— Константинъ Павловичъ.

— Михаилъ Павловичъ...

Стекла сыпались на полъ съ пѣвучими звонами, веселыми, какъ дѣтскій смѣхъ. Въ бѣломъ дыму, освѣщаемомъ красными огнями выстрѣловъ, черный,

длинный, тощій, онъ былъ похожъ на привидѣніе.

И маленькому Петѣѣ весело было смотрѣть, какъ Петька большой мѣтко попадаетъ въ цѣль — ни разу не промахнется. На лицахъ обоихъ — одна и та же улыбка.

И долго еще длилась эта невинная забава — бутылочный разстрѣлъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Столько народу ходило къ Рылѣву, что, наконецъ, въ передней колокольчикъ оборвали. Пока мастеръ починить, расторопный казачокъ Филька кое-какъ связалъ веревочкой. „Не бѣда, если кто и не дозвонится: за пустяками лѣзутъ!“—ворчалъ хозяинъ, усталый отъ посѣщеній и больной: простудился, должно быть, на ледоходѣ.

Однажды, въ концѣ апрѣля, просидѣвъ за работой до вечера, въ правленіи Русско-Американской Компаніи, вспомнилъ, что забылъ дома нужныя бумаги. Правленіе помѣщалось на той же лѣстницѣ, гдѣ онъ жилъ, только спуститься два этажа. Сошелъ внизъ, отперъ, не звоня, входную дверь ключомъ, который всегда имѣлъ при себѣ. Филька спалъ на сундукѣ въ прихожей. Не запирая двери, хозяинъ прошелъ въ кабинетъ, отыскалъ синюю папку съ надписью: „Колонія Россъ въ Калифорніи“, и хотѣлъ вернуться въ правленіе. Но, проходя черезъ столовую, услышалъ голоса въ гостиной. Удивился; думалъ, что никого дома нѣтъ: жена давеча вышла; Глафира собиралась съ нею. Кто же это? Подошелъ къ не-

плотно запертой двери, прислушался: Якубовичъ съ Глафирою.

Давно уже Рылѣевъ замѣчалъ ихъ любовныя шапки. Проситъ жену спроводить гостью отъ грѣха домой, въ Чухломскую усадьбу къ тетенькамъ. Якубовичъ — не женихъ, а осрамить дѣвушку ему ни по чемъ. На то и роковой человекъ. Еще недавно была у Рылѣева дуэль изъ-за другой жениной родственницы, тоже обманутой дѣвушки. Неужто ему снова драться изъ-за дурищи Глафирки?

— Я — какъ обломокъ кораблеварушенія, выброшенный бурей на пустынный берегъ, — говорилъ Якубовичъ. — Ахъ, для чего убійственный свинецъ на горахъ кавказскихъ не пресѣкъ моего бытія... Что оно? Павшій листъ между осенними листьями, флагъ тонущаго корабля, который на минуту вѣтъ надъ бездною...

— Любящее сердце спасетъ васъ, — томно ворковала Глашенька.

— Нѣтъ, не спасетъ! — простоналъ Якубовичъ. — Душа моя — какъ океанъ, задавленный тяжелой мглой...

Рылѣевъ удивился: вспомнилось, что эти самыя слова объ океанѣ говорилъ и Бестужевъ. Кто же у кого заимствовалъ?

Слова замерли въ страстномъ шопотѣ; послышался дѣвственный крикъ:

— Ахъ, что вы, что вы, Александръ Ивановичъ! Оставьте, не надо, ради Бога...

Рылѣевъ отворилъ дверь и увидѣлъ Глашеньку въ объятіяхъ Якубовича: по тому, какъ онъ ее цѣловалъ, ясно было, что это уже не въ первый разъ.

Глафира взвизгнула, хотѣла упасть въ обморокъ, но такъ какъ не шутя боялась брата — такъ назы-

вала она Рылѣва,—предпочла убѣжать въ кухню и тамъ спрятаться въ чуланъ, какъ пойманная съ каде- томъ шестнадцатилѣтняя дѣвочка.

Рылѣвъ взялъ Якубовича за руку и повелъ въ столовую.

— Ну что-жъ, поздравляю. Честнымъ пирымъ да свадебку?

Якубовичъ молчалъ.

— Отвѣчайте же, сударь, извольте объяснить ваши намѣренія...

— Я, видишь ли, другъ мой, почелъ бы, разумѣется, за счастье. Но ты знаешь мои обстоятельства: не могу я жениться, не въ правѣ связать жизнь молодого существа...

— А въ правѣ обезчестить?

— Послушай, Рылѣвъ, кажется, Глафира Никитична не маленькая...

— Еще бы маленькая! Старая дѣвка. Но пока она въ моемъ домѣ, я никому не позволю...

— Да что ты горячишься, помилуй? У насъ вѣдь ничего и не было...

Если бы случилось это на Кавказѣ, Якубовичъ принялъ бы вызовъ: у него была храбрость тщеславія, и онъ стрѣлялъ превосходно, а Рылѣвъ плохо; но здѣсь, въ Петербургѣ, на виду государя, поединокъ грозилъ новою ссылкой, окончательнымъ разстройствомъ карьеры, а можетъ быть, и раскрытіемъ Тайнаго Общества и тогда неминуемой гибелью.

— Ты знаешь, душа моя, я не трусь и всегда готовъ обмѣняться пулями,—но на тебя рука не подыметъ. Да и не за что, право...

— А, такъ ты вотъ какъ, подлецъ!—закричалъ Рылѣвъ, и вихорь поднялся на затылкѣ его, угро-

жающій, какъ, бывало, въ корпусѣ, передъ дракою. — Такъ не будешь, не будешь драться?..

Еще въ началѣ разговора, слышался въ прихожей звонокъ; потомъ второй, третій, четвертый, — все время звонили; испорченный колокольчикъ дребезжалъ слабо и, наконецъ, въ послѣдній разъ глухо звякнувъ, совсѣмъ умолкъ: вѣрно, опять оборвался.

„Э, чортъ! Кого еще принесла нелегкая? А Филька, подлецъ, дрыхнетъ,“ — думалъ Рылѣевъ полусознательно, и это усиливало бѣшенство его.

— Такъ не будешь? не будешь?.. — наступалъ на противника, блѣднѣя и сжимая кулаки.

Росту былъ небольшого и довольно хилъ; Якубовичъ передъ нимъ — силачъ и великанъ. Но въ тонкихъ, сжатыхъ, поблѣднѣвшихъ губахъ Рылѣева, въ горящихъ глазахъ и даже въ мальчишескомъ вихрѣ на затылкѣ что-то было такое неистовое, — что Якубовичъ потихоньку пятился; и если бы въ эту минуту Рылѣевъ взглянулъ въ него, то, можетъ быть, понялъ бы, что „храбрый кавказецъ“ не такъ храбръ, какъ это кажется.

— Кондратій Ѳедоровичъ Рылѣевъ? — произнесъ чей-то голосъ.

Тотъ обернулся и увидѣлъ незнакомаго молодого человека въ армейскомъ, темно-зеленомъ мундирѣ съ высокимъ краснымъ воротникомъ и штабъ-офицерскими погонами.

— Прошу извинить, господа, — проговорилъ вошедшій, поглядывая съ недоумѣніемъ то на Рылѣева, то на Якубовича, — не дозвонился: должно быть, испорченъ звонокъ, дверь отперта...

— Что вамъ, сударь, угодно? — крикнулъ хозяинъ.

— Позвольте представиться, — продолжалъ гость

съ едва замѣтной усмѣшкой: — полковникъ Павелъ Ивановичъ Пестель.

— Пестель! Павелъ Ивановичъ! — бросился къ нему навстрѣчу Рыльевъ, и лицо его просвѣтлѣло, съ тѣмъ внезапнымъ переходомъ отъ одного чувства къ другому, который былъ ему свойственъ.

— Прошу васъ, господа, не стѣсняйтесь. Я въ другой разъ...—началь-было Пестель.

— Нѣтъ, что вы, что вы, Павелъ Ивановичъ! Милости просимъ,—засуетился Рыльевъ, пожимая ему руки и отнимая шляпу; о Якубовичѣ забылъ. Тотъ пропыхнулъ мимо нихъ въ прихожую, торопливо одѣлся и выбѣжалъ.

Хозяинъ повелъ гостя въ кабинетъ, продолжая суетиться съ преувеличенной любезностью.

— Не угодно ли трубочку?

— Спасибо, не курю.

— Ну, слава Богу, наконецъ-то залучили васъ!—опять засуетился Рыльевъ, сбиваясь и путаясь.— А я ужъ, признаться, думалъ, что такъ и уѣдете, не повидавшись.

— За мною слѣдять, надо было выждать,—заговорилъ Пестель чистымъ русскимъ говоромъ, но слишкомъ правильно, отчетливо, и въ этомъ виденъ былъ нѣмецъ. — Я пріѣхалъ съ генераломъ Киселевымъ, начальникомъ штаба. Государь обо мнѣ спрашивалъ. Надо быть весьма осторожнымъ... А это кто у васъ?

— Якубовичъ.

— А, знаю... Дверь, кажется, не заперли? Вашъ мальчикъ спитъ.

— Ахъ, въ самомъ дѣлѣ,—спохватился Рыльевъ.

Сбѣгалъ, заперъ, растолкалъ Фильку, приказалъ ждать барыню и вернулся въ кабинетъ.

— Ну, что какъ у васъ, въ Южномъ Обществѣ?—
видимо, затруднялся онъ, съ чего начать; вглядывался въ Пестеля.

Ему лѣтъ за тридцать. Какъ у людей, ведущихъ сидячую жизнь, нездоровая, блѣдно-желтая одутловатость въ лицѣ; черные, жидкіе, съ начинающейся лысиной, волосы; виски по-военному напередъ зачесаны; тщательно выбритъ; крутой, гладкій, точно изъ слоновой кости точеный, лобъ; взглядъ черныхъ, безъ блеска, широко разставленныхъ и глубоко сидящихъ глазъ такой тяжелый, пристальный, что, кажется, чуть-чуть косить; и во всемъ обликѣ что-то тяжелое, застывшее, недвижимое, какъ будто окаменѣлое. Говорили о сходствѣ его съ Наполеономъ; но, если и было сходство, то не въ чертахъ, а въ чемъ-то другомъ.

Росту ниже средняго; мѣшковатъ, сутулъ, одно плечо выше другого, какъ у людей много пишущихъ. Одѣтъ небрежно; длиннополый мундиръ сшитъ плохо, должно быть, какимъ-нибудь уѣзднымъ жидомъ; зеленое сукно на спинѣ выгорѣло; золото погоновъ потемнѣло. Ордена св. Владиміра съ бантомъ, св. Анны, Пурлемеритъ и золотая шпага за храбрость: герой Двѣнадцатаго года.

„А вѣдь и въ самомъ дѣлѣ, пожалуй, Наполеона изъ себя корчитъ!“—подумалъ Рылѣевъ, почему-то сразу насторожившись съ безотчетною враждебностью.

Пестель, не затрудняясь, приступилъ къ дѣлу.

— Я пріѣхалъ въ Петербургъ, дабы предложить вамъ соединеніе Сѣвернаго Общества съ Южнымъ,—началъ онъ, глядя на Рылѣева въ упоръ своимъ пристальнымъ, какъ будто косящимъ, взглядомъ.—А для сего намъ нужно бы знать съ точностью ваши на-

мѣренія, какъ всей Директоріи здѣшной, такъ и лично ваши, Кондратій Ѳедоровичъ: я хотѣлъ бы знать, какой именно образъ правленія полагаете вы для Россіи удобнѣйшимъ?

Бесѣда длилась больше двухъ часовъ. Пестель предлагалъ по очереди — Сѣверо-Американскую республику, Наполеоновскую имперію, революціонный терроръ, Англійскую, Французскую, Испанскую конституціи; выхвалялъ достоинства каждаго изъ этихъ правленій, а когда Рылѣевъ указывалъ на недостатки, торопливо соглашался и переходилъ къ слѣдующему. Похоже было не то на судебный допросъ, не то на школьный экзаменъ.

— У васъ методъ сократовскій, — замѣтилъ Рылѣевъ, давая понять неприличье вопроса.

— Да, я люблю древнихъ, — не понялъ или не пожелалъ понять Пестель и продолжалъ экзаменъ.

Рылѣевъ злился, и чѣмъ больше злился, тѣмъ больше себя выдавалъ; но въ то же время наслаждался бесѣдою, какъ умною внигою, отъ которой нельзя оторваться. „Умный человѣкъ въ полномъ смыслѣ этого слова“, — вспомнился ему отзывъ Пушкина о Пестелѣ. Чтò бы ни говорилъ онъ, пріятно было слушать: въ самомъ звукѣ голоса была чарующая увѣтливость, и логика плѣняла, какъ женская прелесть.

Время летѣло такъ быстро, что Рылѣевъ удивился, замѣтивъ, что уже темнѣетъ: казалось, прошло не два, а полчаса. И еще казалось, что, слушая Пестеля, впадаетъ онъ въ какой-то магнетическій сонъ, жуткое и сладкое оцѣпенѣніе, — какъ змѣя подъ музыкой. А можетъ быть, и лихорадка начиналась къ вечеру; иногда пробѣгалъ по тѣлу легкій ознобъ, какъ

бываетъ въ самомъ началѣ жара, похожій на чувство уютной сонности.

— Послушайте, Пестель, — попытался онъ стряхнуть чару, — у васъ все ясно и просто, какъ дважды два четыре; но политика не математика, люди не цифры и чувства не выкладки...

— О, разумѣется! — согласился Пестель: — политика — не умозрѣніе отвлеченное, а плоть и кровь, сама жизнь народовъ, сама исторія. Обратимся же къ исторіи...

„И начавъ отъ Немрода, — рассказывалъ въ послѣдствіи Рылѣевъ, — медленно переходилъ онъ черезъ всѣ измѣненія законодательства; коснулся Греціи, Рима, показывая, сколь мало понята была древними вольность, лишенная представительства народнаго; пронесся быстро мимо Среднихъ Вѣковъ, поглотившихъ гражданскую вольность и просвѣщеніе; приостановился на революціи французской, не упуская изъ виду, что и оной цѣль не достигнута; наконецъ, палъ на Россію и ввелъ меня въ свою республику“.

— Должно сознаться, что всѣ предшественники наши въ преобразованіи государствъ были ученики, да и сама наука въ младенчествѣ! — воскликнулъ Рылѣевъ съ восхищеніемъ.

Но Пестель, пропустивъ мимо ушей похвалу, продолжалъ экзаменъ.

— Итакъ, мы съ вами согласны?

— Да, во всемъ!

— Какое же ваше мнѣніе насчетъ мѣры къ приступленію къ дѣйствию? — проговорилъ Пестель медленно, упирая на каждое слово.

Рылѣевъ давно уже предчувствовалъ этотъ вопросъ; видѣлъ его сквозъ магическій сонъ, какъ змѣя

видитъ чарующій взоръ своего заклинателя. Понялъ, что Пестель—не то, что всѣ они,—романтики, словесники, мечтатели: для него понять значитъ рѣшить, сказать, значитъ сдѣлать. И впервые показалось Рылѣеву какъ легкое въ мечтахъ — на дѣлѣ грознымъ, тяжкимъ, отвѣтственнымъ.

— Не знаю,—невольнo потупился онъ, но и не видя, чувствовалъ на себѣ тяжелый взглядъ:—мы еще не готовы, не рѣшили многого...

— Не рѣшили? Не знаете? У васъ тутъ Никита Муравьевъ все пишетъ конституціи. А намъ не перьями дѣйствовать... Да, отъ размышленія до совершенія весьма далече... Такъ какъ же, Кондратій Федоровичъ?

— Что вы меня все спрашиваете, Павелъ Ивановичъ?—поднялъ Рылѣевъ глаза и вдругъ почувствовалъ, что вотъ-вотъ разовлится окончательно, наговорить ему дерзостей.—А вы-то сами какъ?

— Какъ мы?—отвѣтилъ Пестель тотчасъ же съ готовностью, тихо и какъ будто задумчиво:—мы полагаемъ,—всѣхъ...

— Что всѣхъ?

— Истребить всѣхъ, начать революцію покушеніемъ на жизнь всѣхъ членовъ царской фамиліи, *Les demimesures ne valent rien; nous voulons avoir maison nette...* Вы по-французски говорите?

— Нѣтъ, но понимаю.

— Полумѣры ничего не стоятъ; мы хотимъ—дотла, до чиста,—на всякій случай перевелъ онъ и прислушался къ шагамъ въ сосѣдней комнатѣ.

— Кто это?

— Жена моя.

— При ней можно?

— Можно, — невольно усмѣхнулся Рылѣевъ. — Впрочемъ, если вы безпокоитесь...

— Нѣтъ, помилуйте. Я, кажется... извините, Бога ради, я иногда бываю очень разсѣянъ: о другомъ думаю, — улыбнулся Пестель неожиданной, просто-душной улыбкой, отъ которой лицо его вдругъ измѣнилось, помолодѣло и похорошѣло.

„Чудакъ!“ — подумалъ Рылѣевъ, и ему показалось, что, какъ ни пристально глядитъ на него Пестель, а не видитъ лица его, смотритъ поверхъ или сквозь него, какъ сквозь стекло.

Шаги затихли.

— О чемъ, бишь, мы? — продолжалъ Пестель. — Да, — всѣхъ или не всѣхъ?... Такъ вы не рѣшили, не знаете?

— Знаю одно, — опять хотѣлъ возмутиться Рылѣевъ, — ежели — всѣхъ, то вся эта кровь на насъ же падетъ. Убійцы будутъ ненавистны народу, и мы съ ними. Подумайте только, какой ужасъ подобныя убійства произвести должны! Мы вооружимъ всю Россію...

— О, конечно, мы объ этомъ подумали и рѣшили принять мѣры. Избранные къ сему должны находиться внѣ Общества; когда сдѣлаютъ они свое дѣло, оно немедленно казнить ихъ смертию, какъ-бы отмщая за жизнь царской фамиліи, и тѣмъ отклонить отъ себя всякое подозрѣніе въ участіи. Намъ надобно быть чистыми отъ крови. Нанеся ударъ, сломаемъ кинжалъ.

Рылѣевъ вспомнилъ, что почти тѣми же словами думалъ онъ о Каховскомъ; но это была его самая тайная, страшная мысль, а Пестель говорилъ такъ просто.

— Сколько у васъ? — спросилъ онъ такъ же просто.

— Сколько чего?

— Людей, готовыхъ въ дѣйствию.

— Двое.

— Кто?

— Якубовичъ и Каховскій.

— Надежные?

— Да... впрочемъ, не знаю,—замаялся Рылѣевъ, вспомнивъ давешній свой разговоръ съ „храбрымъ кавказцемъ“.—Якубовичъ, тотъ, пожалуй, не совсѣмъ. Каховскій надежнѣе...

— Значить, одинъ—двое. Мало. У насъ десять. Съ вашими двѣнадцать или одиннадцать. И то мало...

— Сколько же вамъ?

— А вотъ, считайте.

Сжалъ пальцы на лѣвой рукѣ, готовясь отсчитывать правою.

— Ну-съ, по одному на cadaго. Сколько всѣхъ? Держа руки наготовѣ, ждалъ.

Ночь была свѣтлая, но отъ высокой стѣны передъ самыми окнами темно въ боннатѣ; и въ темнотѣ еще бѣлѣе бѣлая рука съ алмазнымъ кольцомъ, которое слабо поблескивало въ глаза Рылѣеву. Опять чарующій взоръ зачинателя, опять магическій сонъ.

— Ну, что-жъ, называйте, — какъ будто приказалъ Пестель.

И Рылѣевъ послушался, сталъ называть:

— Александръ Павловичъ.

— Одинъ,—отогнулся большой палецъ на лѣвой рукѣ.

— Константинъ Павловичъ.

— Два,—отогнулся указательный.

— Михаилъ Павловичъ.

— Три,—отогнулся средній.

— Николай Павловичъ.

— Четыре,—отогнулся безымянный.

— Александръ Николаевичъ.

— Пять,—отогнулся мизинецъ.

Темнѣло ли въ глазахъ у Рылѣева, темнѣло ли въ комнатѣ, но ему казалось, что Пестель куда-то исчезъ, и остались только эти бѣлыя руки, отдѣлившіяся отъ тѣла, висящія въ воздухѣ, призрачныя. И пальцы на нихъ шевелились, проворные, какъ бѣлыя кости на счетахъ. Онъ все называлъ, называлъ; пальцы считали, считали, и, казалось, этому конца не будетъ.

— Этакъ и конца не будетъ! — проговорилъ изъ темноты чей-то голосъ, тоже призрачный:—если убивать и въ чужихъ краяхъ, то конца не будетъ; у всѣхъ великихъ княгинь—дѣти... Не довольно ли объявить ихъ отрѣшенными? Да и кто захочетъ такого окровавленнаго престола. Какъ вы думаете?

Рылѣевъ хотѣлъ что-то сказать, но не было голоса: душная тяжесть навалилась на него, какъ въ бреду.

— А знаете, вѣдь, это ужасное дѣло, — заговорилъ опять изъ темноты тотъ же призрачный голосъ:—мы тутъ съ вами, какъ лавочники на счетахъ, а, вѣдь, это кровь...

Мысли у Рылѣева путались; не зналъ, кто это,—онъ ли самъ думаетъ, или тотъ говоритъ.

— Да, вѣдь, какъ же быть? Съ филантропией не только революціи не сдѣлаешь, но и шахматной партіи не выиграешь. Рѣдко основатели республикъ отличаются нѣжною чувствительностью... Не знаю, какъ вы, а я уже давно отрекся отъ всякихъ чувствъ, и у меня остались одни правила. И въ Писаніи ска-

зано: никто же возложь руку свою на рало и зря
вспясть, не управленъ есть въ царствіе Божіе...

Рылѣеву вспомнилось, какъ эти самыя слова го-
ворилъ онъ Бестужеву. Да кто же это? Пестель?
Какой Пестель? Откуда взялся? Вошелъ прямо съ
улицы. Можетъ быть, совсѣмъ и не Пестель, а чортъ
знаетъ кто?

Рылѣевъ съ усиленіемъ всталъ и пошелъ къ двери.

— Куда вы?

— За лампою. Темно.

Вернулся въ кабинетъ съ лампою. При свѣтѣ
Пестель оказался настоящимъ Пестелемъ. Опять заго-
ворилъ о чемъ-то. Но Рылѣевъ уже не отвѣчалъ и
почти не слушалъ; думалъ объ одномъ: поскорѣй бы
гость ушелъ. Голова кружилась; когда закрывалъ
глаза, то мелькали бѣлыя руки по красному
полю.

— Нездоровится вамъ?—наконецъ, замѣтилъ Пе-
стель.

— Да, немного, голова болитъ... Ничего, прой-
детъ. Говорите, пожалуйста, я слушаю.

— Нѣтъ, зачѣмъ же? Я васъ и такъ утомилъ.
Лучше зайду въ другой разъ, если позволите. Да мы,
кажется, переговорили уже обо всемъ.

Вышли въ столовую.

— Не знаете ли, Кондратій Ѳедоровичъ, — ска-
залъ Пестель, прощаясь, — гдѣ бы тутъ у васъ въ
Петербургѣ шаль купить?

— Какую шаль?

— Обыкновенную, турецкую или персидскую. Для
подарка.

— Не знаю. Надо жену спросить. Натали, иди
сюда, — крикнулъ онъ въ гостиную.

Вошла Наталья Михайловна. Рылѣевъ представилъ ей Пестеля.

— Вотъ Павелъ Ивановичъ спрашиваетъ, гдѣ бы турецкую шаль купить.

— А вамъ для кого, для пожилой или молоденькой?—спросила Наталья Михайловна.

— Для сестры. Ей семнадцать лѣтъ.

— Ну, тогда не турецкую, а кашемировую, легонькую. Я намеренъ у Айбулатова, въ Суконной линіи, видѣла прехорошенькія — *блѣ-де-мои*, со звѣздочками. Нынче самыя модныя...

Пестель спросилъ номеръ лавки и записалъ въ книжечку.

— Только смотрите, торговаться надо. Умѣете?

— Умѣю. Въ англійскомъ магазинѣ намеренъ эшарпъ *тру-тру* купить за двадцать пять и блондовыхъ кружевъ по девяти съ полтиной за аршинъ. Не дорого?

— Ну, и не дешево, — засмѣялась Наталья Михайловна: — мужчинамъ дамскихъ вещей покупать не слѣдуетъ.

Помолчала и прибавила съ любезностью:

— Сестрица съ вами живетъ?

— Нѣтъ, въ деревнѣ. У меня ихъ двѣ. Уѣздныя барышни. Петербургскихъ гостинцевъ ждутъ не дождутся. Каждой надо по вкусу, — вотъ по лавкамъ и бѣгаю...

— Избаловали сестрицъ?

— Что подѣлаешь? Онѣ у меня такія красавицы, умницы. Особенно, старшая. Мы съ нею друзья съ дѣтства. Меня вотъ все въ полку женить хотятъ. А по мнѣ, добрая сестра лучше жены...

— Ну, влюбитесь — жѣнитесь.

— Да я ужъ влюбленъ.

— Въ кого?

— Да въ нее же, въ сестру.

— Ну, что вы, Богъ съ вами! Развѣ можно?..

— Еще какъ!—улыбнулся Пестель, и опять лицо его помолодѣло, похорошѣло.

Но Рылѣву почудилось въ этой улыбкѣ что-то робкое, жалкое, какъ въ улыбкѣ тяжело-больного или безконечно-усталаго. Понять значить рѣшить, сказать значить сдѣлать, — полно, такъ ли? Счетъ убійствъ по пальцамъ и эшарпъ *тру-тру*; чувствъ не имѣть, а въ сестрицу влюбленъ. Не такой же ли и онъ мечтатель, какъ всѣ они, — только лжетъ искуснѣе? Не говоритъ ли больше, чѣмъ дѣлаетъ? „Наполеонъ безъ удачи...“ — усмѣхнулся Рылѣвъ и рѣшилъ окончательно: „онъ врагъ; или я, или онъ“.

Пестель ушелъ. Подали ужинъ. Рылѣвъ ничего не ѣлъ и легъ спать. Наталья Михайловна провѣрила счетъ по хозяйству, помолилась и тоже легла.

Какъ всегда передъ сномъ, говорила мужу о дѣлахъ: о продажѣ сѣна и овса въ подгородной деревушкѣ Батовѣ, Рождественѣ тожъ, о переводѣ мужиковъ съ оброка на барщину, о недоимкахъ, о мошенникѣ-старостѣ, о взносѣ семисотъ рублей процентовъ въ ломбардъ, о взяткѣ секретарю въ Сенатѣ по тяжбному дѣлу матушки. Наконецъ, замѣтила, что онъ ее не слушаетъ.

— Спишь, Атя?

— Нѣтъ, а что?

— Какъ что? Я говорю, а ты не слушаешь... Такъ вотъ всегда! Ни до чего тебѣ дѣла нѣтъ, кромѣ Общества. Но если тебѣ Общество дороже всего, такъ и скажи прямо. Вѣдь ты не одинъ. „Консти-

туція, революція, республика“, — а мы-то съ Настенькой чѣмъ виноваты?..

Говорила плачущимъ голосомъ; подождала, не отвѣтитъ ли. Но онъ молчалъ.

— Ну, подумай, Атя: вѣдь если что, не дай Богъ, случится съ тобой, я не вынесу! Такъ и знай, погубишь и меня, и Настеньку...

— Наташа, — сказалъ онъ, сердито переворачиваясь съ боку на бокъ, — сколько разъ просилъ я тебя не говорить пустяковъ. Ну, какое тамъ Общество! Одни разговоры... Можешь быть спокойна: ничего со мной не будетъ... Ну, полно же, полно, дружокъ, не мучай себя, не разстраивай, спи съ Богомъ.

— Ахъ, Атя, Атечка, родненькій!.. Ну, что тебѣ, что тебѣ это Общество? Вѣдь, сколько можно и такъ добра сдѣлать. Вѣдь, какой ты у меня умница, — какіе стихи пишешь, какъ начальство любить тебя! Ушелъ бы совсѣмъ отъ нихъ. Зажили бы тихо, смирно, счастливо. Ну, чего еще нужно, Господи!..

Онъ обнялъ ее молча, съ нѣжностью. Затихла, еще нѣсколько разъ тяжело вздохнула, какъ маленькія дѣти, когда засыпаютъ, наплакавшись, и скоро услышалъ онъ знакомый, смѣшной, тоненькій храпъ. Въ первые дни послѣ свадьбы, когда онъ восхвалялъ ее въ стихахъ:

Краса природы, совершенство,
Она моя! она моя!

— удивлялъ и огорчалъ его этотъ храпъ; а теперь сладко баюкалъ, какъ старая дѣтская пѣсенка.

Но сегодня и подъ эту пѣсенку долго не могъ уснуть. Было душно отъ натопленной печки, отъ пуховиковъ двуспальной постели, отъ собственного жара

и жаркаго тѣла Наташи, отъ этихъ милыхъ, слабыхъ, сонныхъ рукъ, которыя обвиняли его, сковали, какъ тяжкія цѣпи.

Мнѣ нѣтъ преграды, нѣтъ законовъ.
И чтобъ ее не уступить,
Готовъ царей низвергнуть съ троновъ
И Бога въ небѣ сокрушить!

—писалъ когда-то. А вотъ теперь наоборотъ: чтобъ ее низвергнуть, надо ее уступить.

Наконецъ, задремалъ, но тотчасъ же проснулся; видѣлъ во снѣ что-то страшное, не могъ вспомнить что и только повторялъ про себя, въ ужасѣ: „что это? что это?..“

Часы въ столовой тикали; зеленая лампадка теплилась; слышался тоненькій храпъ. Все, какъ всегда. Но во всемъ—новое, страшное—наяву, какъ во снѣ. Что это? Что это?

Вдругъ понялъ что. На одно мгновеніе съ ослѣпляющей ясностью, какая бываетъ только у внезапно проснувшихся ночью, въ совершенной тишинѣ, въ совершенномъ одиночествѣ,—понялъ, что не когда-то, гдѣ-то, а тутъ же, сейчасъ—вотъ она, смерть.

Готовъ ли онъ? Не права ли, Наташа? Не уйти ли, пока еще не поздно?

Но мгновенье прошло, смерть отступила, уже пересталъ онъ ее понимать и подумалъ съ обычною ложью, съ обычною легкостью:

„Нѣтъ; поздно... Ну, что-жъ, смерть такъ смерть!“

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Свадьба Софьи Нарышкиной съ графомъ Шуваловымъ назначена была лѣтомъ. Уже привезли изъ Парижа съ особымъ курьеромъ великолѣпное подвѣчное платье, но невѣста отказалась наотрѣзъ примѣривать его, какъ ни упрашивала мать; а потомъ уже не могла, потому что опять заболѣла. Улучшенье, которому такъ радовался князь Валерьянъ, оказалось обманчивымъ. Во время ледохода болѣзнь усилилась, и началось кровохарканье. Государю врачи объявить не рѣшались, но про себя знали, что дни больной сочтены.

Софья была слишкомъ слаба, чтобы везти ее за границу или на югъ Россіи. Врачи совѣтовали ей переѣхать за городъ.

Весна была ранняя, дружная; дни лучезарные. Въ тѣни лѣсныхъ овраговъ лежалъ еще снѣгъ, а на солнечныхъ дорогахъ уже пахло лѣтнею пылью. Небо цѣлыми днями—безоблачно-синее, какъ синее лампадное стекло съ огнемъ внутри; а если долго смотрѣть въ него, то казалось темнымъ, дневное — ночнымъ, какъ въ глубинѣ володца. И за всей этой чрезмѣрной ясностью—темнота, пустота зіяющая.

Дача Нарышкиныхъ по петергофской дорогѣ—настоящій маленькій дворецъ, съ бельведеромъ, откуда виденъ Финскій заливъ, Петербургъ и Кронштадтъ; съ плоскимъ зеленымъ куполомъ и бѣлыми столбами римскаго портика. Англійскій стриженный садъ со шпалерами, лабиринтами и усыпаннымъ желтымъ пескомъ дорожками; одна только высокая аллея старыхъ плакучихъ березъ.

Въ покояхъ — тяжелое великолѣпіе павловскихъ временъ: расписные потолки, штофные обои, золоченая мебель, тускляя зеркала, въ которыхъ лица живыхъ, какъ лица покойниковъ. Но нѣсколько комнатъ отдѣлала Марья Антоновна въ новомъ, веселенькомъ французскомъ вкусѣ, особенно, комнату больной во второмъ этажѣ, окнами на море. Обои, нарочно изъ Парижа выписанные — серебристо-бѣлый атласъ съ блѣдно-алыми гвоздичками; легкая дачная мебель лакированного свѣтлаго тополя; балконъ, установленный цвѣтущими померанцами въ оранжерейныхъ кадкахъ. „Настоящее гнѣздышко любви—*nid d'amour*—для моей бѣдненькой, бѣдненькой дѣвочки“,—говорила Марья Антоновна. Но на веселенькой мебели, какъ на тычкѣ, больной ни присѣсть, ни прилечь. „Охъ, болятъ мои старыя косточки!“—горестно шутила Софья. Бѣлый атласъ напоминалъ ей ненавистное подвѣсочное платье, которое теперь она какъ будто вѣчно примѣривала; алые гвоздички утомляли глаза, какъ мельканіе бреда.

Софья переносила болѣзнь мужественно; только что становилось легче, вставала, бродила по комнатѣ и увѣряла, что уже почти совсѣмъ здорова. Но Валерьяну Голицыну, который опять проводилъ съ ней цѣлые дни, казалось, что она рада болѣзни и не хо-

четь выздоровѣть. Лѣкарствъ не принимала, докторъ не слушалась.

Однажды утромъ, вскорѣ послѣ переѣзда на дачу, чувствуя или вообразивъ, что почувствуетъ себя бодрѣе, перешла съ постели на кресло, старое-престарое, съ рваною кожею и торчавшею кое-гдѣ изъ дыръ волосяной набивкою, родное среди этой чуждой мебели; изъ городского дома вытребовала его нарочно, потому что только на немъ и могла сидѣть.

Утро было ясное, какъ всѣ эти дни; небо лампадно-синее; тишина, какая бываетъ только раннею весною на пустынныхъ дачахъ: щебетъ птицъ, скрежетъ грабли, далекій-далекій топоръ, — должно быть, рыбакъ чинить лодку на взморьѣ, — тишина отъ этихъ звуковъ еще безпредѣльнѣе. Открыта дверь на балконъ; запахъ весенняго утра, березовыхъ почекъ смѣшивался съ душнымъ запахомъ лѣкарствъ.

Стоя передъ Софьей на колѣняхъ, Голицынъ кормилъ ее съ ложечки предписанной врачами молочной овсянкой. Софья только изъ его рукъ соглашалась глотать ее, какъ лѣкарство, по ложечкѣ. Старая няня, Василиса Прокофьевна, вдали у двери, пригрюнившись, глядѣла на „кормленіе звѣря“, какъ называла больная свой утренній завтракъ.

Отдыхая между двумя ложками, Софья наклонилась къ Голицыну и разглядывала лицо его съ внимательною улыбкою.

— А ну-ка, погодите, сдѣлайте лицо серьезное. Нѣтъ, еще, еще серьезнѣе... Да, ну же, ну! Больше не можете?

— Не могу.

— А морщинка осталась.

— Какая морщинка?

— Вотъ здѣсь, около губъ. Какъ будто всегда усмѣхаетесь. Помните мраморнаго дѣдушку Вольтера въ нашей библіотекѣ? Вотъ и у васъ, пожалуй, такая же усмѣшка будетъ къ старости... Надъ чѣмъ вы смѣетесь, ваше сіятельство?

— Не знаю, милая... Надъ собою развѣ?

— А очки вамъ не къ лицу. И не думайте, пожалуйста: вовсе не карбонарь, а просто нѣмецкій профессоръ въ отставкѣ. Ну, зачѣмъ вы ихъ носите? Изъ упрямства, что ли? Государь правъ, что терпѣть не можетъ очковъ... Ну, будетъ, не кочу больше, — оттолкнула она ложку. — Это которая?

— Восьмая, а вы обѣщали двѣнадцать.

— Нѣтъ, не могу... Няня, голубушка, позволю больше не ѣсть. Нельзя же человѣка какъ каплуна откармливать...

— Что это, право, сударыня, точно маленькая! — заворчала старушка. — Да хоть совсѣмъ не ѣшьте. Оттого и больны, что докторовъ не слушаете.

Прокофьевна отвернулась, чтобы не заплакать, но не уходила, какъ будто ждала чего-то.

— Такъ вотъ и будетъ стоять, пока не выгоню, — шепнула Софья по-французски Голицыну. — Какъ мучаетъ, если бы вы знали, какъ она меня мучаетъ, Господи! А все оттого, что любить... Злѣйшіе враги — любящіе. Развѣ не такъ?

— Такъ-то такъ, да ужъ очень зло... пожалуй, злѣе усмѣшки Вольтеровой.

— У меня теперь все такія злая мысли, острия. Больно отъ нихъ, какъ если иглу раскалить на огнѣ и воткнуть въ тѣло. Вотъ и въ васъ втыкаю, бѣдненькій, вижу, какъ отъ боли ворчитесь...

— Ничего, только бы вамъ полегче, — прогово-

рилъ онъ, цѣлуя прозрачно-блѣдную, съ голубыми жилками, руку ея, такую мертвую, такую дѣтскую.

— Ну, давайте овсянку кончать, а то ни за что не уйдетъ, — оглянулась Софья на Прокофьевну. — Однимъ духомъ. Девятая, десятая, одиннадцатая, двѣнадцатая... Уфъ! Уберите скорѣй эту гадость. Ну, няня, видишь, — кончила. Не сердись же, не плачь, глупенькая! Мнѣ лучше. Ну, право, совсѣмъ хорошо. Ступай съ Богомъ. Князь почитаетъ, а я отдохну...

Голицынь началъ читать *Свѣтлану* Жуковскаго.

— Нѣтъ, не надо, не надо, лучше другое! — остановила Софья. — Помнишь, въ Покровскомъ у пруда за теплицами?

Гдѣ невѣста, гдѣ твой милый?
Гдѣ вѣнчальный твой вѣнецъ?
Домъ твой — гробъ, женихъ — мертвецъ.

Помнишь, какъ я тогда испугалась, а ты меня утѣшалъ:

О, не знай сихъ страшныхъ сновъ
Ты, моя Свѣтлана!

А вотъ узнала-таки!.. О, какіе страшные, страшные сны, Валенька! Какъ давно, Господи! Какіе мы старые, древніе! Кажется, не семнадцать, а семьдесятъ лѣтъ... Душно здѣсь, лѣкарствами пахнетъ; пойдемъ на балконъ.

Онъ поднялъ ее на руки: каждый разъ, какъ подымалъ, — чувствовалъ, что все легче и легче легкая ноша, какъ будто она въ рукахъ его таяла. Перенесъ на балконъ и усадилъ въ кресло. Лучъ солнца скользнулъ по золотистой пряди волосъ и безсильно повисшей рукѣ; еще блѣднѣе блѣдная рука, еще голубѣе голубыя жилки на солнцѣ.

Софья прижалась лицомъ къ лицу его и бодрѣнно щурила глаза отъ свѣта.

— Какъ хорошо! Какое море! Какіе паруса! Куда они плывутъ? Можетъ быть, далеко-далеко. А когда доплывутъ...

„Когда доплывутъ, меня уже не будетъ“, — угадалъ онъ, какъ угадывалъ всѣ ея мысли.

— Душа бессмертна, говорятъ... ты вѣришь?

— Вѣрю.

— А я не знаю... Если только душа, — зачѣмъ?.. Я хочу, чтобы и тамъ все, все, какъ здѣсь... Чтобы такъ же какъ вотъ сейчасъ, разрытою землею отъ цвѣточныхъ грядокъ пахло и березовыми почвами. Вонъ комаръ жужжитъ. Пусть и комаръ тоже. Паучокъ, видишь, ползетъ, маленькій, красненькій. Пусть и онъ. И бородавку надъ губой у няни тоже хочу. Все, какъ здѣсь...

— И меня въ очкахъ?

— Нѣтъ, очковъ не надо. Вѣдь, я ихъ не люблю. И морщинки, которая смѣется, не надо. Да гдѣ она? Пропала? Нѣтъ, вотъ... Только другая стала, — бѣдная. Ну, такую ничего, пожалуй, — можно. Все, что люблю, пусть и тамъ, какъ здѣсь... А если только душа, то не надо, ничего не надо. Смерть такъ смерть. Одинъ конецъ... Ну, устала я что-то. Холодно, Пойдемъ.

Онъ перенесъ ее въ комнату и опять усадилъ въ кресло; укуталъ потеплѣе, потому что начинался ознобъ; обложилъ подушками; думалъ — задремлетъ, хотѣлъ отойти, но она подозвала его.

— А что у васъ? Какъ дѣла? Давно не рассказывалъ...

Онъ понялъ, что она спрашиваетъ о Тайномъ Обществѣ.

Знала о немъ; онъ долго не хотѣлъ рассказывать,—боялся, какъ бы не проговорила^{сь} государю, не выдала нечаянно; но, наконецъ, рассказалъ, только не называлъ никого по имени. Не могъ скрыть: она все о немъ знала, какъ и онъ о ней, въ общемъ знаніемъ. И потомъ, здѣсь, въ комнатѣ больной, можетъ быть, умирающей, Тайное Общество, революція, республика казались ему игрушками, которыми онъ тѣшилъ ее, какъ больное дитя. Но иногда чувствовалъ съ ужасомъ, что она понимаетъ больше, чѣмъ онъ говорить, и что игрушки эти опасныя: не одна ли изъ нихъ—тотъ острый ножъ, которымъ онъ ранилъ ее до смерти?

Такъ и теперь началъ рассказывать что-то, думая только объ одномъ,—какъ бы развлечь и не ранить—подальше спрятать ножъ.

— Затѣмъ не говоришь всего? — вдругъ остановила она и заглянула ему въ глаза пристально. — У тебя революція точно дѣтская сказочка: Сѣрый Волкъ—тиранъ, а свобода — Красная Шапочка. Но вѣдь это не такъ. Не такъ было — не такъ будетъ. Я же знаю...

О, стыдъ! О, ужасъ нашихъ дней!
Какъ звѣри, вторглись янычары;
Падутъ безславные удары,—
Погибъ увѣнчанный злодѣй!

Вотъ какъ, а не Красная Шапочка... Ты эти стихи знаешь?

— Знаю. А ты откуда? Кто тебѣ далъ?

— Дядя, Дмитрій Львовичъ. Добренькій онъ. Все, что хочу, съ нимъ дѣлаю. Вотъ и далъ, только велѣлъ никому не показывать, а то ему достанется...

Это объ убійствѣ императора Павла Перваго. И няня тоже рассказывала...

Помолчала и вдругъ шепнула ему на ухо:

— А какъ ты думаешь: онъ зналъ?

Опять заглянула ему въ лицо еще пристальнѣй.

Голицынъ понялъ: спрашивала, зналъ ли государь-наслѣдникъ Александръ Павловичъ о томъ, что заговорщики хотятъ убить отца его, императора Павла I.

— Что же ты молчишь? Говори...

— Не надо, Софья. Зачѣмъ? Кто можетъ судить, кромѣ Бога?

— Нѣтъ, надо. Я хочу знать все, что ты думаешь. Говори же, только не скрывай, не обманивай. Зналъ ли онъ?

— Я думаю, всего не зналъ, — отвѣтилъ онъ черезъ силу.

— А если бы зналъ, — продолжала она, — если бы зналъ, то все-таки?.. Вѣдь нельзя иначе? Вѣдь императоръ Павелъ злодѣемъ былъ, извергомъ?

— Какой извергъ! Просто больной, несчастный...

— Все равно, — сумасшедшій.

Ты—ужасъ міра, стыдъ природы,
Упрекъ ты Богу на землѣ.

Пятьдесятъ милліоновъ людей въ рукахъ сумасшедшаго, — развѣ можно это терпѣть? Надо было убить. Никто не виноватъ, никто не можетъ судить, кромѣ Бога. Самъ Богъ устроилъ такъ, что убивать надо. Умирать и убивать. Ужъ лучше бы не было Бога!.. И ты, и ты убилъ бы, если бы надо?.. Молчишь? Не хочешь сказать? Ну, все равно, я знаю, что ты думаешь...

И вдругъ опять зашептала ему на ухо:

— Намедни-то что́ мнѣ приснилось. Будто входимъ съ тобой въ эту самую комнату, а у меня на постели кто-то лежитъ, лица не видать, съ головой покрытъ, какъ мертвецъ саваномъ. А у тебя въ рукахъ будто ножъ, убить хочешь того на постели, крадешься. А я думаю: что, если мертвъ?—живыхъ убивать можно,—но какъ же мертвого? Крикнуть хочу, а голоса нѣтъ; только не пускаю тебя, держу за руку. А ты разсердился, оттолкнулъ меня, бросился, ударилъ ножомъ, саванъ упалъ... Тутъ мы и увидѣли, кто это... Знаешь кто? Знаешь кто?..—повторяла она задыхающимся шопотомъ, и онъ слышалъ, какъ зубы у нея стучать.—Охъ, Валенька, Валенька, знаешь кто? Онъ зналъ: ея отецъ.

— Не надо, Софья, не надо!—сказалъ онъ, закрывая лицо руками. — Вѣдь это только сонъ, дурной сонъ отъ болѣзни. Пройдетъ болѣзнь—и не будетъ страшныхъ сновъ...

— Опять лжешь? Опять скрываешь? Не говоришь всего? Я хочу знать все, слышишь, все! Я же понимаю, что отъ крови—Шапочка Красная. Знаешь, отъ чьей? Думалъ ты о крови, когда шелъ къ нимъ? Можно ли идти на кровь, во имя Господа?.. Что вы всѣ о крови думаете? Что? Говори...

— Не надо! Не надо! — повторялъ онъ одно только слово, ломая руки въ отчаяньи.

— Убивать надо, а говорить не надо?.. Нѣтъ, говори! Я больше не могу, не хочу! Говори же, не лги! Я знаю все, не обманешь! — проговорила она и отняла руки насильно отъ лица его, посмотрѣла на него въ упоръ, — въ этомъ взглядѣ былъ острый ножъ, ранящій до смерти.—Говори: его убить хотите?

— Что ты дѣлаешь, Софья...

— Что дѣлаю? Иглу раскаленную втыкаю въ тебя,—острый ножъ въ живого, а не въ мертвого. Что, больно? Ну, ничего,—потерпи, не мнѣ же одной отъ боли корчиться...

Злоба засверкала въ глазахъ ея, и отъ этой злобы стало ему еще жалче.

— Не со мною, а съ собою, что дѣлаешь, Господи! Ну, зачѣмъ?..

— Нѣтъ, не я, а ты, что ты со мной сдѣлалъ?.. Ничего я не знала, была глупая дѣвочка, ребенокъ; спокойна, счастлива. Ты пришелъ и разрушилъ все, возмутилъ, соблазнилъ... Помнишь, на концертѣ Вьельгорскаго? Отъ этого я и больна, умираю. Вѣдь, объ этомъ сказано: *лучше бы мельничный жерновъ на шею...* Я же тебѣ не спрашивала. Началъ,—такъ и кончай... И чего теперь испугался? Что донесу, что ли? А можетъ, и донесу... Знаю все, не обманешь, знаю, чего вы хотите... И за что? Что онъ вамъ сдѣлалъ? Какъ у васъ рука на него подыметъ? И у тебя, Валенька родненькій, любимый мой, единственный! На него, на отца моего! Ужъ лучше бы ты меня!..

Онъ всталъ съ мертвенно-блѣднымъ, но какъ будто спокойнымъ, лицомъ.

— Богъ тебѣ судья, Софья. Думай, какъ хочешь: злодѣи, убійцы, изверги... А можетъ быть, глупыя дѣти,—я вѣдь иногда и самъ думаю: ничего не сдѣлаютъ, никого не спасутъ, только себя погубятъ. А все-таки правда Божья у нихъ. И пусть недостойнъ я, пусть беру не по силамъ, не вынесу, а уйти отъ нихъ не могу, даже если тебя, Софья...

Голосъ его оборвался, лицо исказилось, и, закрывъ его руками, онъ только повторялъ сквозь рыданія:

— Не уйду, не уйду! И если тебя потеряю, отъ ~~мнѣ~~ не уйду!

— Да кто тебя держать? — усмѣхнулась она съ тою же злобою, какъ давеча. — Ступай въ нимъ! Ступай! Ступай!

Упала навзничь на подушки и вся затрепетала, забила, какъ раненая птица, сначала въ неистовыхъ рыданіяхъ, потомъ въ раздирающемъ кашлѣ. Ему казалось, что она задохнется, умретъ сейчасъ на его рукахъ.

Наконецъ, кашель затихъ; но долго еще лежала съ лицомъ блѣде блѣлыхъ подушекъ и съ закрытыми глазами, какъ мертвая. Онъ думалъ, не позвать ли на помощь. Но пошевелилась, открыла глаза.

— Ты здѣсь? Не ушелъ? Ничего, не бойся, прошло. Дай воды... Какъ руки у тебя дрожать! Не бойся же, мнѣ хорошо. Только не уходи, побудь со мною...

Вдругъ наклонилась и стала цѣловать руки его; плакала, но лицо было ясное, тихое; тихая, ясная улыбка.

— Прости меня, Валя, голубчикъ! Это въ послѣдній разъ, больше не будетъ. Только прости, не уходи, не покидай меня, я безъ тебя не могу...

Онъ упалъ передъ ней на колѣни; она обняла голову его, гладила и цѣловала ему волосы.

— Ничего, ничего, полно, не плачь, все хорошо будетъ. Я знаю, Господь намъ поможетъ. Мнѣ будетъ полегче. Вотъ уже теперь такъ легко, такъ хорошо съ тобою... Только обѣщай, что возьмешь меня въ себѣ. Я не могу здѣсь больше, не могу, не хочу! Я должна быть съ тобою. Гдѣ ты, тамъ и я. Если надо будетъ, убѣжимъ, да? Да-

леко, далеко отъ всѣхъ... А потомъ и онъ будетъ съ нами. Онъ, вѣдь, мнѣ обѣщалъ оставить все и жить со мною. Вотъ и будемъ втроемъ: онъ, ты да я... И тогда все ему скажемъ. Онъ пойметъ, сдѣлаетъ! Вѣдь, и онъ того же хочетъ, что вы? Ты самъ говорилъ, что и онъ хочетъ того же... И не будетъ крови. Не надо крови... А если надо, то онъ самъ отдастъ свою кровь, вмѣстѣ съ вами, за волю, за счастье Россіи! Такъ будетъ, Валя, будетъ, да? Скажи, что будетъ! — повторяла, какъ безумная.

— Будетъ! Будетъ! — повторялъ и онъ, чувствуя, что въ этомъ безуміи — пророчество: когда-то, гдѣ-то, можетъ быть, въ мірѣ нездѣшнемъ, — но такъ будетъ.

Вдругъ оба прислушались. На мосту у воротъ застучали копыта; песокъ садовой аллеи заскрипѣлъ подъ колесами. Голицынъ выбѣжалъ на балконъ.

— Онъ? — спросила Софья, когда Голицынъ вернулся въ комнату.

— Да, прощай...

— Нѣтъ, погоди. Слышишь: къ маменькѣ прошелъ. Успѣешь... Постой же, я хотѣла еще что-то сказать... Да, можетъ быть, и лучше, если умру? Помирю васъ, мертвая, скорѣе, чѣмъ живая... Но, живая или мертвая, всегда съ тобою! И гнать будешь, не уйду, — *оттуда* приходить буду. Помни же: куда ты, туда и я. И если Богъ тебя осудитъ, то пусть и мня... Но не осудитъ Богъ! Ну, дай, благословлю. Сохрани, помоги, помилуй васъ всѣхъ, Господи! Спаси, Матерь Пречистая!

Перекрестила и поцѣловала его съ тою же тихою, ясною улыбкою.

— Ну, ступай, ступай скорѣе!

Онъ выбѣжалъ изъ комнаты. Но было поздно:

шаги государя слышались на лѣстницѣ; Голицынъ встрѣтился съ нимъ; посторонился съ низкимъ поклономъ. Государь посмотрѣлъ на него, какъ будто хотѣлъ что-то сказать, но молча нахмурился, кивнулъ головой и прошелъ мимо.

Давно уже просилъ онъ Марью Антоновну не принимать Голицына. Софья, подъ предлогомъ болѣзни, не пускала къ себѣ на глаза жениха своего, графа Шувалова, а Голицынъ проводилъ съ нею цѣлые дни. Это казалось государю неприличнымъ; къ тому же замѣтилъ онъ, что бесѣды эти вредно вліяютъ на ея здоровье, волнуютъ ее, разстраиваютъ. Рѣшилъ ей самой это высказать.

Но когда увидѣлъ ее, забылъ о своемъ рѣшеніи: такая переменъ произошла въ ней за два дня, что онъ испугался, какъ будто теперь только понялъ, что она смертельно больна.

Обрадовалась, ласкалась къ нему, какъ всегда. Но оба чувствовали, что раздѣляетъ ихъ какая-то неодолимая преграда. Обнимала, цѣловала его; но въ лицѣ двусмысленное противорѣчіе между слишкомъ нѣжной улыбкою губъ и жестовой морщиною лба опять поразило ее, такъ же какъ нѣкогда въ Торвальдсеновомъ мраморѣ; вдругъ вспомнилось ей, какъ въ дѣтствѣ обнимала, цѣловала она этотъ мраморъ, и какъ теплѣлъ онъ подъ ея поцѣлуями, казался живымъ.

И стало страшно,—какъ бы теперь, когда цѣловала живого, не показалось, что цѣлуетъ мертваго.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Въ первыхъ числахъ мая назначено было у Рылѣва собраніе Тайнаго Общества, чтобы выслушать предложеніе Пестеля.

Въ маленькой квартирѣ все было перевернуто вверхъ дномъ. Ненужную мебель вынесли; открыли двери настежь въ кабинетъ и гостиную; Наташа съ Настенькой уѣхали ночевать къ знакомымъ.

Засѣданіе назначено въ восемь часовъ вечера, а сходиться начали къ семи. Это было рѣдкостью: обыкновенно опаздывали или не приходили вовсе. На лицахъ—тревога и торжественность. Многіе явились въ орденахъ и мундирахъ. Говорили вполголоса; курить выходили на кухню. Ожидали Пестеля; каждый разъ, какъ открывалась дверь, оборачивались: не онъ ли?

Никита Михайловичъ Муравьевъ, капитанъ гвардейскаго генеральнаго штаба, лѣтъ тридцати съ небольшимъ, — блѣдно-желтый геморроидальный цвѣтъ лица, блѣдно-желтые рѣдкіе волосы, блѣдно-желтые, точно полинялые, отъ свѣта прищуренные глаза, — настоящій петербургскій чиновникъ, — сидя за столомъ,

поодаль отъ всѣхъ, читалъ бумаги и дѣлалъ на поляхъ отмѣтки карандашомъ. Только что кончикъ тушился, — чинилъ торопливо и тщательно: могъ писать только самымъ острымъ кончикомъ, подобно Сперанскому, которому поклонялся и подражалъ во всемъ. Напишетъ два-три слова и чинить, каждый разъ привычнымъ движеніемъ подымая бумагу къ близорукимъ глазамъ и сдувая кучку графитовой пыли съ такимъ озабоченнымъ видомъ, какъ будто судьба предстоящаго собранія зависѣла отъ этого. Сочинитель Сѣверной конституціи, главный противникъ Пестеля за его республиканскія крайности, — готовился ему возражать; но волновался и не могъ сосредоточиться.

Друзья считали Муравьева единственнымъ въ Обществѣ умомъ государственнымъ: что Сперанскій для нынѣшней Россіи, то Муравьевъ для будущей. Кабинетный ученый, осторожный и умѣренный, онъ составлялъ законы Россійской конституціи, такъ же кропотливо, какъ часовщикъ собираетъ подъ лупою пружинки, колесики, винтики. Работалъ въ Тайномъ Обществѣ, какъ въ министерской канцеляріи. Написанное казалось ему сдѣланнымъ. Признавалъ необходимость революціи, но въ тайнѣ боялся ея, какъ всякой чрезмѣрности. Пестель шутилъ, что Муравьевъ похожъ на человѣка, который проситъ ваты заткнуть себѣ уши, чтобы не надуло, когда его ведутъ на смертную казнь. Дѣйствовать въ революціи мѣшала ему эта вѣчная вата въ ушахъ, и геморрой, и жена: чуть что, она увозила его въ деревню и тамъ держала подъ замкомъ, пока все успокоится.

Чиня карандаши, невольно прислушивался въ мѣшавшимъ ему разговорамъ.

Въ ожиданіи Пестеля, говорили о немъ. Рассказывали объ отцѣ его, бывшемъ сибирскомъ генералъ-губернаторѣ, — самодурѣ и взяточникѣ, отрѣшенномъ отъ должности и попавшемъ подъ судъ; рассказывали о самомъ Пестелѣ—яблочко отъ яблони недалеко падаетъ, — какъ угнеталъ онъ въ полку офицеровъ и приказывалъ бить палками солдатъ за малѣйшія оплошности по фронту.

— Бить-то ихъ бьетъ, а они его все-таки любятъ: лучшаго, говорятъ, командира не надо.

— „Годится на все: дай ему командовать арміей, или сдѣлай какимъ хочешь министромъ, вездѣ будетъ на мѣстѣ“, — приводили отзывъ графа Виттгенштейна, главнокомандующаго второю арміей.

— Государь на Тульчинскомъ смотрѣ былъ особенно доволенъ полкомъ Пестеля. „Превосходно, точно гвардія!“ — изволилъ сказать и три тысячи десятинъ земли ему пожаловалъ. А какъ узналъ, что Пестель — въ Тайномъ Обществѣ, испугался, говорятъ, не на шутку...

— Государь вообще боится насъ, — усмѣхнулся Бестужевъ, самодовольно поглаживая усики.

— „Умный человекъ во всемъ смыслѣ этого слова“, — напоминали отзывъ Пушкина о Пестелѣ.

— Умень, какъ бѣсъ, а сердца мало, — замѣтилъ Кюхля.

— Просто хитрый властолюбецъ: хочетъ насъ скрутить со всѣхъ сторонъ... Я понялъ эту птицу, — рѣшилъ Бестужевъ.

— Ничего не сдѣластъ, а только погубить насъ всѣхъ ни за денежку, — предостерегалъ Одоевскій.

— Онъ меня въ ужасъ привелъ, — сознался Рылѣевъ: — надобно ослабить его, иначе все заберетъ

въ руки и будетъ распоряжаться, какъ диктаторъ

— Знаемъ мы этихъ армейскихъ Наполеончекъ!— презрительно усмѣхался Якубовичъ, который успѣлъ въ общей ненависти къ Пестелю примириться съ Рылѣевымъ, послѣ отъѣзда Глафиры въ Чухломскую усадьбу.

— Наполеонъ и Робеспьеръ вмѣстѣ. Погодите-ка ужо, доберется до власти—покажетъ намъ Кузькину мать!—заклучилъ Батенковъ.

Слушая, какъ сквозь сонъ, князь Валерьянъ Михайловичъ Голицынъ смотрѣлъ въ окно на вечернюю звѣзду въ золотисто-зеленомъ небѣ и вспоминалъ глаза умирающей дѣвочки. Ея спасеніе или спасеніе Россіи—что ему дороже? Ну, пусть революція, а вѣдь все-таки—смерть. И почему судьба человѣка меньше, чѣмъ судьба человѣчества? Что пользы человѣку, если онъ пріобрѣтетъ весь міръ, а душѣ своей повредитъ? Или какой выкупъ дастъ человѣкъ за душу свою? Передъ смертью, передъ вѣчностью не правъ ли тотъ, кто сказалъ: „политика—только для черни“? И какъ непохоже то, что говорятъ эти люди, на вечернюю звѣзду въ золотисто-зеленомъ небѣ и на глаза умирающей дѣвочки.

Непохоже, *несоединено*. Въ послѣднее время все чаще повторялъ онъ это слово: *несоединено*. Три правды: первая, когда человѣкъ одинъ; вторая, когда двое; третья, когда трое или много людей. И эти три правды никогда не сойдутся, какъ все вообще въ жизни не сходится. „Несоединено“.

— Онъ! Онъ!—пронесся шопотъ, и всѣ взоры обратились на вошедшаго.

Однажды, на Лейпцигской ярмаркѣ, въ музеѣ во-

сковыхъ фигуръ, Голицынъ увидѣлъ куклу Наполеона, которая могла вставать и поворачивать голову. Угловатою рѣзвостью движеній Пестель напомнилъ ему эту куклу, а тяжелымъ, слишкомъ пристальнымъ, какъ будто косящимъ, взглядомъ—одного школьнаго товарища, который впоследствии заболѣлъ падучею.

Усѣлся на кожанна кресла съ высокими спинками, за длинный столъ, крытый зеленымъ сукномъ, съ малахитовой чернильницей, бронзовымъ предсѣдательскимъ колокольчикомъ и бронзовыми канделябрами—все взято на прокатъ изъ Русско-Американской Компаніи; зажгли свѣчи, безъ надобности,—было еще свѣтло,—а только для пышности. Хозяинъ оглянулъ все и остался доволенъ: настоящій парламентъ.

— Господа, объявляю засѣданіе открытымъ, — произнесъ предсѣдатель, князь Трубецкой, и позволилъ въ колокольчикъ, тоже безъ надобности, было тихо и такъ.—Слово принадлежитъ директору Южной Управы, полковнику Павлу Ивановичу Пестелю.

— Соединеніе Сѣвернаго Общества съ Южнымъ на условіяхъ таковыхъ предлагается нашею Управою,—началъ Пестель.—Первое: признать одного верховнаго правителя и диктатора обѣихъ управъ; второе: обязать совершеннымъ и непрекословнымъ повиновеніемъ оному; третье: оставя дальній путь просвѣщенія и медленнаго на общее мнѣніе дѣйствія, сдѣлать постановленія болѣе самовластныя, чѣмъ ничтожныя правила, въ нашихъ уставахъ изложенныя понеже сдѣланы были сіи только для робкихъ душъ, на первый разъ), и, принявъ конституцію Южнаго Общества, подтвердить клятвою, что иной въ Россіи не будетъ...

— Извините, господинъ полковникъ, — остановилъ

предсѣдатель изысканно-вѣжливо и мягко, какъ говорилъ всегда:—во избѣжаніе недоумѣній, позвольте узнать, конституція ваша—республика?

— Да.

— А кто же диктаторъ?—тихонько, какъ будто про себя, но такъ, что всѣ слышали, произнесъ Никита Муравьевъ, не глядя на Пестеля. Въ этомъ вопросѣ таился другой: „ужъ не вы ли?“

— Отъ господъ членовъ Общества онаго лица избраніе зависѣть должно, — отвѣтилъ Пестель Муравьеву, чуть-чуть нахмурившись, видимо, почувствовавъ жало вопроса.

— Не пожелаетъ ли, господа, кто-либо высказаться?—обвелъ предсѣдатель глазами собраніе.

Всѣ молчали.

— Прежде чѣмъ говорить о возможномъ соединеніи, нужно бы знать намѣренія Южнаго Общества,—продолжалъ Трубецкой.

— Единообразіе и порядокъ въ дѣйствіи...—началъ Пестель.

— Извините, Павелъ Ивановичъ, —опять остановилъ его Трубецкой такъ же мягко и вѣжливо:—намъ хотѣлось бы знать точно и опредѣлительно намѣренія ваши ближайшія, первые шаги для приступленія къ дѣйствію.

— Главное и первоначальное дѣйствіе—открытіе революціи посредствомъ возмущенія въ войскахъ и упраздненія престола,—отвѣтилъ Пестель, начиная, какъ всегда въ раздраженіи, выговаривать слова слишкомъ отчетливо: раздражало его то, что перебиваютъ и не даютъ говорить. — Должно заставить Синодъ и Сенатъ объявить временное правленіе съ властью неограниченною...

— Неограниченною, самодержавною?—опять всталъ тихонько Муравьевъ.

— Да, если угодно, самодержавною...

— А самодержецъ кто?

Пестель не отвѣтилъ, какъ будто не слышалъ.

— Предварительно же надо, чтобы царствующая фамилія не существовала,—кончилъ онъ.

— Вотъ именно, объ этомъ мы и спрашиваемъ,—подхватилъ Трубецкой: —каковы по сему намѣренія Южнаго Общества?

— Отвѣтъ ясенъ,—проговорилъ Пестель и еще больше нахмурился.

— Вы разумѣете?

— Разумѣю, если непременно нужно выговорить,—цареубійство.

— Государя императора?

— Не одного государя

.
.

Говорилъ такъ спокойно, какъ будто доказывалъ, что сумма угловъ въ треугольникѣ равна двумъ прямымъ; но въ этомъ спокойствіи, въ безкровныхъ словахъ о крови было что-то противоестественное.

Когда Пестель умолкъ, всѣ невольно потупились и затаили дыханіе. Наступила такая тишина, что слышно было, какъ нагорѣвшія свѣчи потрескиваютъ и сверчокъ за печкой поетъ уютную пѣсенку. Тихая, душная тяжесть навалилась на всѣхъ.

— Не говоря объ ужасѣ, каковой убійства сіи произвести должны и сколь будутъ убійцы гнусны народу,—началъ Трубецкой, какъ будто съ усиліемъ преодолевая молчаніе,—позволительно спросить, готова ли Россія къ новому вещей порядку?

— Чѣмъ болѣе продолжится порядковъ старый, тѣмъ менѣе готовы будемъ къ новому. Между зломъ и добромъ, рабствомъ и вольностью не можетъ быть середины. А если мы не рѣшили и этого, то о чемъ же говорить?—возразилъ Пестель, пожимая плечами.

Трубецкой хотѣлъ еще что-то сказать.

— Позвольте, господинъ предсѣдатель, изложить мысли мои по порядку,—перебилъ его Пестель.

— Просимъ васъ о томъ, господинъ полковникъ.

Такъ же какъ въ разговорѣ съ Рылѣевымъ, началъ онъ „съ Немврода“. Въ рѣчахъ его, всегда заранее обдуманыхъ, была геометрія — ходъ мыслей отъ общаго къ частному.

— Происшествія 1812, 13, 14 и 15 годовъ, равно какъ предшествовавшихъ и послѣдовавшихъ временъ, показали столько престоловъ низверженныхъ, столько царствъ уничтоженныхъ, столько переворотовъ совершонныхъ, что всѣ сіи происшествія ознакомили умы съ революціями, съ возможностями и удобствами совершать оныя. Къ тому же, имѣетъ каждый вѣкъ свой признакъ отличительный. Нынѣшній — ознаменованъ мыслями революціонными: отъ одного конца Европы до другого видно вездѣ одно и то же, отъ Португаліи до Россіи, не исключая Англіи и Турціи, сихъ двухъ противоположностей, духъ преобразованія заставляетъ всюду умы вложить...

Говорилъ книжно, иногда тяжелымъ канцелярскимъ слогомъ, съ неуклюжею замѣною иностранныхъ словъ русскими, собственнаго изобрѣтенія: революція — *преображеніе*, тиранство — *зловластіе*, республика — *народоправленіе*. „Я не люблю словъ чужестранныхъ“, — признавался онъ.

„Планищиком“ назвалъ Пушкинъ стихотворца Ры-
лѣева; Пестель въ политикѣ былъ тоже планикъ.
Но въ отвлеченныхъ планахъ горѣла воля, какъ въ
ледяныхъ кристаллахъ—лунный огонь. Говорилъ, какъ
власть имѣющій, и очарованіе логики подобно было
очарованію музыки или женской прелести.

Одни плѣнялись, другіе сердились; иные же плѣ-
нялись и сердились вмѣстѣ. Но чувствовали всѣ,
такъ же какъ намеренны Рылѣевъ, что бывшее далекою
мечтою становится близкимъ, тяжкимъ, грознымъ и
отвѣтственнымъ.

Перейдя къ разбору муравьевской конституціи, не
оставилъ въ ней камня на камень. Съ неотразимою
ясностью обнаружилъ сходство ея съ древнею удѣль-
ною системой, отъ которой едва не погибла Россія,—
„ужасное вельможество и аристокрацію богатствъ“.

— Сіи аристокраціи, главная препона благоден-
ствія общаго и главное утвержденіе зловластія, однимъ
только республиканскимъ образованіемъ правленія
устранены быть могутъ.

Муравьевъ хотѣлъ произнести свою рѣчь, когда
Пестель выскажетъ все до конца, но сидѣлъ какъ на
иголкахъ, и, наконецъ, не выдержалъ.

— Какая же аристокрація, помилуйте? Ни въ
одномъ государствѣ европейскомъ не бывало, ни въ
Англіи, ни даже въ Америкѣ, такой демовраціи, ка-
ковая черезъ выборы въ нижнюю палату Русскаго
Вѣча, по нашей конституціи, имѣетъ быть достиг-
нута...

— У меня, сударь, имя не русское,—заговорилъ
вдругъ Пестель съ едва замѣтною дрожью въ голосѣ,—
но въ предназначеніе Россіи я вѣрю больше вашего.
Русскою правдою назвалъ я мою конституцію, по-

неже уповаю, что правда русская нѣкогда будетъ всесвѣтною, и что примутъ ее всѣ народы европейскіе, доселѣ пребывающіе въ рабствѣ, хотя не столь явномъ какъ наше, но, быть можетъ, злѣйшемъ, ибо неравенство имуществъ есть рабство злѣйшее. Россія освободится, первая. Отъ совершеннаго рабства къ совершенной свободѣ—таковъ нашъ путь. Ничего не имѣя, мы должны пріобрѣсти все, а иначе игра не стоитъ свѣчь...

— Браво, браво, Пестель! Хорошо сказано! Или все, или ничего! Да здравствуетъ Русская Правда! Да здравствуетъ революція всесвѣтная!—послышались рукоплесканія и возгласы.

Если бы онъ остановился во-время, то увлекъ бы всѣхъ и побѣда была бы за нимъ. Но его самого влекла беспощадная логика, посылка за посылкой, выводъ за выводомъ,—и остановиться онъ уже не могъ. Въ ледяныхъ кристаллахъ разгорался лунный огонь,—совершенное равенство, тождество, единообразіе въ живыхъ громадахъ человѣческихъ.

— Равенство всѣхъ и каждаго, наибольшее благоденствіе наибольшаго числа людей—такова цѣль устройства гражданскаго. Истина сія столь же ясна, какъ всякая истина математическая, никакого доказательства не требующая и въ самой теоремѣ всю ясность свою сохраняющая. А поелику изъ онаго явствуетъ, что всѣ люди должны быть равны, то всякое постановленіе, равенству противное, есть нестерпимое зловластіе, уничтоженію подлежащее. Да не содержитъ въ себѣ новый порядокъ ниже тѣни стараго...

Математическое равенство, какъ бритва, брило до крови; какъ острый серпъ—колосья,—срѣзывало,

скашивало головы, чтобъ подвести всѣхъ подъ общій уровень.

— Всякое различіе состояній и званій прекращается; всѣ титулы и самое имя дворянина истребляется; купеческое и мѣщанское сословія упраздняются; всѣ народности отъ права отдѣльных племенъ отрекаются, и даже имена оныхъ, кромѣ единого, великороссійскаго, уничтожаются...

Все рѣзче и рѣзче рѣжущіе взмахи бритвы. „Уничтожается“, „упраздняется“ — въ словахъ этихъ слышался стукъ топора въ гильотинѣ. Но очарованіе логики, исполинскихъ ледяныхъ кристалловъ съ луннымъ огнемъ, подобно было очарованію музыки. Жутко и сладко, какъ въ волшебномъ снѣ—въ видѣніи міра нездѣшняго, Града грядущаго, изъ драгоцѣнныхъ камней построеннаго Великимъ Планищикомъ вѣчности.

— Когда же всѣ различія состояній, имущества и племенъ уничтожатся, то граждане по волостямъ распредѣлятся, дабы существованіе, образованіе и управленіе дать всему единообразное—и всѣ во всемъ равны да будутъ совершеннымъ равенствомъ,—заклучилъ онъ общій планъ и перешелъ къ подробностямъ.

Цензура печати строжайшая; тайная полиція со шпионами изъ людей непорочной добродѣтели; свобода совѣсти сомнительная: православная церковь объявлялась господствующей, а два милліона русскихъ и польскихъ евреевъ изгоняются изъ Россіи, дабы основать іудейское царство на берегахъ Малой Азіи.

Слушатели какъ будто просыпались отъ очарованнаго сна; сначала переглядывались молча; затѣмъ слышались насмѣшливые шопоты, и, наконецъ, негодующіе возгласы.

— Да это хуже Аракчеева!

— Военныя поселенія, а не республика!

— Мундиръ бы завести для всѣхъ россіянъ одинаковый, съ двумя параллельными шнурами въ знакъ равенства!

— Не русская правда, а нѣмецкая!

— Самодержавіе злѣйшее!

А Пестель, ничего не видя и не слыша, продолжалъ говорить, какъ будто наединѣ съ собою.

Голицынъ вглядывался въ него, и маленькій человекъ, со спокойнымъ лицомъ, въ треуголкѣ и сѣромъ плащѣ, вспоминался ему, на высотахъ Шевардинскаго редута, въ пороховомъ дыму и въ огнѣ, надъ грудями убитыхъ и раненыхъ, ходившій взадъ и впередъ шагами такими тяжелыми, что, казалось, не отъ пушечныхъ выстрѣловъ, а отъ этихъ шаговъ дрожить и стонетъ земля. Маленькій человекъ похожъ былъ на свою собственную куклу, автомата въ музеѣ восковыхъ фигуръ. Неземная тяжесть, роковая одержимость. Какъ будто не самъ онъ двигается, а кто-то двигаетъ, дергаетъ его, какъ петрушку за ниточку.

Пестель вынулъ изъ портфеля перечерченную военную карту Россійской имперіи, разложилъ ее на столѣ и началъ объяснять раздѣленіе областей будущей Россійской республики, съ новою столицею, соединяющей Европу съ Азіей, Нижнимъ-Новгородомъ, подъ названіемъ Владиміра, въ честь св. Владиміра. Карта приложена была къ Русской Правдѣ.

— Неубитаго медвѣдя шкуру дѣлимъ, — замѣтилъ кто-то.

— А Польша гдѣ?

— Здѣсь, — указалъ Пестель на карту.

— Какъ здѣсь? За рубежомъ?

— Да, отдѣлена отъ Россіи.

— Не знаю, какъ вы, господа,—вдругъ поблѣднѣлъ и вскочилъ Рылѣевъ,—а я никому не позволю разыгрывать въ кости судьбу моей родины!

Повскакали и другіе, закричали въ ярости:

— Не позволимъ! Не позволимъ!

— Вотъ они, Южаны, вотъ куда гнутъ!

— Кромсать Россію! Да чортъ васъ дери съ вашею республикой!

— Предатели!

— Враги отечества!

Неистовый Кюхля схватилъ карту и разорвалъ ее пополамъ.

Предсѣдатель изо всей силы звонилъ въ колокольчикъ, но долго еще шумъ не унимался.

— Я полагаю, господинъ полковникъ, что отторженіе столь коренныхъ областей, какъ Польша, отъ державы Россійской многимъ не понравится,—началь-было Трубецкой примирительно, когда стало потише.

— А я полагаю, господинъ предсѣдатель, что мы исповѣдуемъ либеральные взгляды не для того, чтобы нравиться людямъ, изъ коихъ большинство глупцы,—усмѣхнулся Пестель такъ высокомерно, что даже кротчайшаго Трубецкого передернуло.

— А главное, хамы всѣ: не отъ огня или потопа, а отъ хамства погибнетъ земля! — выпалилъ вдругъ доселѣ безмолвный Каховскій и опять замолчалъ на весь вечеръ.

— Съ однимъ не могу никакъ согласиться, — заключилъ Рылѣевъ:—въ республикѣ вашей смертная казнь уничтожается, а вамъ безъ нея не обойтись, гильотина понадобится, да еще какъ: намъ же первымъ головы срубите...

— Не гильотина, а пестелина!—крикнулъ Бестужевъ.

Одоевскій закорчился и закаплялся отъ смѣхатакъ, что долженъ былъ выйти въ другую козину.

Голицыну казалось, что всѣ, навалившись кучею, бьютъ спящаго или пьянаго.

Заранѣе предчувствуя побѣду, Муравьевъ попросилъ слова. Заговорилъ—и съ отрадою почувствовали всѣ, какъ вещи, сдвинутыя Пестелемъ, возвращаются на старыя мѣста; опять становится все нетяжкимъ, негрознымъ, неотвѣтственнымъ; рѣжущая бритва окутывалась ватою; ледяные кристаллы таяли и превращались въ теплую воду.

Муравьевъ добазывалъ необходимость медленнаго дѣйствія.

— Въ самой натурѣ постепенное теченіе времени даетъ жизнь, ростъ и зрѣлость всему; крупныя же и быстрыя событія производятъ вихри, бури, землетрясенія и разрушенія. Точно такъ же народу, пребывшему вѣка безъ сознанія вольности гражданской, дарованіе оной располагаемо должно быть съ постепенностью. Поставлять же внезапно и насильственно, на мѣсто правленія законнаго, самовластіе временныхъ диктаторовъ, людей, никому невѣдомыхъ, есть дѣло безразсудное. Увѣрены будучи въ томъ, — заключилъ ораторъ, — что Россія не можетъ быть иначе управляема, какъ монархомъ законнымъ и наследственнымъ, отвергаетъ Сѣверное Общество всякую мысль о республиканскомъ образѣ правленія и единственной цѣлью своей полагаетъ конституцію монархическую.

— Bravo, bravo, Муравьевъ! — закричали и хлопали ему тѣ же, кто давеча кричалъ и хлопалъ Пестелю.

— Не бывать республикѣ!

-- Да здравствуетъ монархія!

— Да здравствуетъ Конституція Сѣверная!

Голицынъ давно уже видѣлъ, какъ лицо Пестеля блѣднѣло, искажалось, и въ тускло-черныхъ глазахъ загорался тяжелый, припадочный блескъ. Вдругъ ударилъ онъ изо всей силы кулакомъ по столу:

— Такъ будетъ же республика!

Всѣ на минуту притихли. Но тотчасъ же опять поднялся неистовый крикъ:

— Долой диктаторовъ!

— Долой Пестеля!

— Второго Бонапарта!

— Второго самодержца!

— Павла Второго!

Пестель, какъ будто просыпаясь, обвелъ всѣхъ медленнымъ взоромъ.

— Господа, — заговорилъ онъ измѣнившимся голосомъ, съ тихимъ и грустнымъ недоумѣніемъ въ потухшихъ глазахъ, — я ни на какія личности отвѣчать не буду. Я пришелъ сюда не съ тѣмъ. Ежели обидѣлъ кого, прошу извинить... Но стыдно будетъ тому, кто подозрѣваетъ личные виды. Послѣдствіе покажетъ, что таковыхъ не было. Впрочемъ, если я одинъ мѣшаю всему, я готовъ удалиться изъ Общества.

Остановился, помолчалъ и вяло, разсѣянно, точно о другомъ думая, потеръ лобъ рукою:

— Я хотѣлъ еще что-то... ну, да все равно...

Въ лицѣ и въ голосѣ его что-то было такое простое, правдивое и печальное, что всѣ на мгновение опомнились и, такъ же какъ давеча, затаили дыханіе, потупились, не глядя другъ на друга. И тихая душная тяжесть опять навалилась на всѣхъ. Почув-

ствовали, что не надо было говорить того, что говорили, и что не въ немъ, а въ самихъ себѣ они что-то унизили.

Голицынъ всталъ и подошелъ къ Пестелю.

— Я хочу вамъ сказать при всѣхъ, Павелъ Ивановичъ. Со многимъ я несогласенъ, но главное вѣрно у васъ, и я того же мнѣнія до конца: низверженіе династїи, провозглашеніе республики. Что бы ни говорили, — это такъ и безъ этого ничего не будетъ, ничего не будетъ!

Пестель посмотрѣлъ на Голицына съ удивленіемъ, какъ будто все еще не понимая, но вдругъ улыбнулся простодушною улыбкою, тою же самою, съ которой спрашивалъ намеренїи Рылѣева о персидской шали для сестры и отъ которой лицо его сразу молодѣло, хорошѣло до неузнаваемости.

— Спасибо вамъ... я не знаю вашего имени.

— Князь Валерьянъ Михайловичъ Голицынъ.

— Ну, спасибо, спасибо вамъ, князь! — сказалъ, вѣрно, до боли пожимая ему руку.

Голицынъ заглянулъ въ глаза Пестеля и тоже улыбнулся, — почувствовалъ, что можетъ полюбить его, какъ брата. Но въ то же мгновеніе увидѣлъ глаза умирающей дѣвочки.

Пестель, собираясь уходить, складывалъ въ портфель бумаги, листы Русской Правды и половинки разорванной карты Россійской республики, — вѣрно, дома склеить тщательно. Никто его не удерживалъ.

Зеленое сукно, взятое на прокатъ изъ Русско-Американской Компанїи, сняли со стола, чтобы не запачкать, и покрыли столъ бѣлою скатертью. Потушили свѣчи, зажгли ананасовый пуншъ; сахарная голова запылала въ голубыхъ волнахъ спиртового.

пламени; захлопали пробки, полилось шампанское. Пиръ въ складчину: съ каждаго гостя по двадцати рублей ассигнаціями.

Отъ грозной и душевой Пестелевой тяжести съ наслажденіемъ возвращались къ обыденной легкости, какъ будто, проснувшись, потягивались, расправляли члены и торопились наверстать упущенное. Говорили о послѣднемъ парадѣ, о чинахъ и производствѣ, о танцовщицѣ Истоминой и закулисныхъ шалостяхъ гвардейцевъ, о Семеновой, которая провалилась на-медни въ Лобановской Федрѣ; спорили о цыганкахъ, Оешкѣ и Маляркѣ, кто лучше поетъ,—почти съ такимъ же увлеченіемъ, какъ только что о республикѣ и монархіи.

Чимбирякъ-чимбирякъ-чимбиряшечки!
Съ голубыми вы глазами, мои душечки!

—пѣлъ Бестужевъ, подражая Оешкѣ.

Затянули хоромъ:

Отечество наше страдаетъ
Подъ игомъ твоимъ, о, злодѣй!

.
.

Свобода! Свобода!
Ты царствуй надъ нами...

Кюхля пошелъ плясать казачка и растянулся при общемъ хохотѣ. Якубовичъ произнесъ рѣчь:

— Господа, я не хочу принадлежать ни къ какимъ тайнымъ обществамъ, чтобы не плясать по чужой дудкѣ. По моему мнѣнію, одинъ человѣкъ рѣшительный полезенъ всѣмъ обществѣ. Я жестоко оскорбленъ государемъ. Развѣ вы не знаете, зачѣмъ я проживаю въ Петербургѣ? Развѣ не написана на лбу моемъ кровавая причина?

Сорвалъ повязку съ головы и, вынувъ изъ бокового кармана полунистлѣвшій листокъ, штабный приказъ по гвардіи, съ чиномъ капитана вмѣсто полковника, помахалъ надъ головой:

— Вотъ пилюля, которую восемь лѣтъ ношу у ретивого; восемь лѣтъ жажду мщенія. Ему не ускользнуть отъ меня... Тогда пользуйтесь случаемъ, дѣлайте, что хотите, созывайте вашъ Великій Соборъ и дурачьтесь досыта!

Выслушали молча и заговорили тотчасъ о другомъ: гдѣ бы провести остатокъ ночи, въ Красный ли кабачокъ закатиться на тройкахъ, или по сосѣдству въ Фонарный, къ „дамочкамъ“. Но говорили уже вяло, со скукою; сразу устали, опьянѣли и отяжелѣли. Веселье потухало, какъ блѣдно-голубое пламя пунша въ блѣдно-зеленой тусклости утра.

Затянули еще разъ на прощанье, но тоже со скукою:

Отечество наше страдаетъ...

.

И опять:

Чимбирякъ-чимбирякъ-чимбиряшечки!

Съ голубыми вы глазами, мои душечки!

Одинъ въ кабинетѣ, забившись въ уголъ дивана и закрывъ лицо руками, сидѣлъ Одоевскій. Голицынъ подошелъ къ нему. Тотъ услышалъ и отнялъ руки отъ лица.

— А знаете, князь,—проговорилъ онъ, и Голицыну казалось, что слезы у него на глазахъ,—вѣдь Пестель-то правъ: стыдно, Боже мой, какъ стыдно и гадко все! Ничего не будетъ. Болтуны несчастные: надѣлала синица славы, а моря не зажгла...

Голицынъ молча простился и вышелъ на улицу.

Свѣтло, тихо, пусто. Внизу — опростовитое въ Мойкѣ бѣлое небо, и вверху — оно же, бѣлое, слѣпое, какъ остеклѣвшій глазъ покойника; сѣрая канача надъ сѣрою съѣзжею; у полосатой будки сонный будочникъ; грохочущія телѣги со сирадными бочками; ругань двухъ пьяныхъ гулякъ у трактира съ краснымъ фонарикомъ и гулъ барабана вдали — должно быть, на гауптвахтѣ бьютъ зорю.

На углу Вознесенской нагналъ его Рылѣевъ. Долго шли молча.

— Ну что, какъ? — началъ было Голицынъ, но тотъ замахалъ на него руками:

— Да ужъ не говорите. Скверно...

И опять молча пошли по свѣтлой, тихой и пустой, точно вымершей, улицѣ съ бѣлымъ небомъ вверху.

Вдругъ оба вздрогнули. Могучій звукъ прокатился одиноко въ мертвой тишинѣ, задрожалъ, какъ задѣтая у самага уха струна, и медленно замеръ. Первый, второй, третій — и весь воздухъ наполнился медленно-мѣрными мѣдными гулами. У Вознесенія благовѣстили въ заутренѣ.

Остановились, прислушались.

— Да, ничего не будетъ, ничего не сдѣлаемъ, — заговорилъ Рылѣевъ, какъ будто повторяя то, что говорилъ благовѣсть, — а все-таки надо начать! Раздастся гласъ свободы и разбудить спящихъ...

Говорилъ, какъ всегда, высокопарно, торжественно; не въ словахъ, а въ лицѣ и голосѣ его что-то было такое же простое, правдивое, какъ давеча у Пестеля.

Голицынъ положилъ ему руки на плечи и загля-

нуль въ лицо, блѣдное въ блѣдной тусклости утра, точно мертвое.

— Да, начать надо,—произнесъ и онъ, какъ бы отвѣчая на то, о чемъ спрашивалъ колоколъ.—Хотя вы и не вѣрите въ Бога, а помогите намъ Богъ!

Обнялись и поцѣловались молча.

Когда Рыжѣвъ ушелъ, Голицынъ долго еще слушалъ благовѣсть, потомъ снялъ шляпу и перекрестился съ молитвою, съ которой благословила его Софья:

„Сохрани, помоги, помилуй насъ всѣхъ, Господи! Спаси, Матерь Пречистая!“

На слѣдующій день у Полицейскаго моста на Невскомъ встрѣтилъ онъ Пестеля; лица не видѣлъ—шелъ сзади,—но узнать тотчасъ же. У Пестеля подъмышкою былъ свертокъ, должно быть, персидская шаль, подарокъ сестрѣ. Нагнавъ его, Голицынъ пошелъ рядомъ; но Пестель не замѣчалъ его и продолжалъ идти, не глядя по сторонамъ. Лицо безжизненное, взоръ невидящій, шагъ размѣренный: кажется, будь на дорогѣ яма,—не остановился бы, какъ пущенный въ ходъ автоматъ.

Солнце пекло уже по-лѣтнему; тощія липки бульвара, едва распускаявшіяся, видали слабую тѣнь. Пестель присѣлъ на скамейку, снялъ фуражку и вытеръ платкомъ потъ со лба; все еще не узнавалъ или не видѣлъ Голицына, присѣвшаго рядомъ.

— Здравствуйте, Павелъ Ивановичъ.

— Ахъ, Валерьянъ...—видимо, съ трудомъ вспомнилъ онъ имя: —Валерьянъ Михайловичъ, извините, я очень разсѣянъ, никого не узнаю...

Голицынъ заговорилъ о вчерашнемъ, но Пестель едва слушалъ и отвѣчалъ неохотно, какъ будто ду-

малъ о другомъ, не радъ былъ встрѣчѣ и о своей вчерашней благодарности забылъ.

— А нехорошо у васъ въ Петербургѣ,—вдругъ, среди разговора, оглянулся онъ и поморщился: — жара, пыль, вонь... Я, впрочемъ, весны не люблю. То ли дѣло осень, особенно въ деревнѣ, самая глухая осень въ самой глухой деревнѣ. Читали вы *Утѣхи меланхоліи*?

— Нѣтъ, что это?

— Книжечка такая, старинная. Мнѣ нравится. Давеча по Невскому шелъ, все вспоминалъ. Погодите, какъ это? „Счастливый уголокъ безмятежности, уединенное сельцо, мирное лоно твое въ шумѣ осеннихъ бурь гѣжить скорбный духъ мой; любезная пустынька питаетъ меланхолію...“ Не правда ли, чувствительно? Глупо, но чувствительно. Точно переводъ съ нѣмецкаго. Потому, должно быть, мнѣ и нравится...

— А къ памятнику Петра пройти какъ? — спросилъ онъ, вставая.

— Тутъ недалеко. Я проведу васъ, если позволите.

Пошли вмѣстѣ. По дорогѣ Пестель опять вычитывалъ ему изъ *Утѣхъ Меланхоліи*:

— „Среди октябрьскихъ непогодъ въ дико-густѣйшей мглѣ, при порывистыхъ вихряхъ, привѣтствуемый мерцаніемъ дружественной Цинѳіи“... Что такое Цинѳіа? Изъ мифологій, что ли? А дальше не помню...

— Какъ вы и это-то запомнили? — разсмѣялся Голицынъ.

— Съ матушкой читалъ, давно еще, мальчикомъ, а потомъ съ сестрой. Бывало, въ осеннія сумерки, все ходимъ по березовой аллеѣ надъ озеромъ,—у насъ

большое озеро въ паркѣ, оттуда видъ прекрасный, — желтые листья подъ ногами шуршать, и читаемъ Ламартина, Шатобріана или вотъ эту самую Меланхолю.

— Вы и стихи любите?

— Нѣтъ, стиховъ не люблю... впрочемъ, не знаю, мало читалъ, только вотъ съ сестрою. Одному некогда и скучно.

— А Пушкина?

— И Пушкина мало знаю.

— Вы, кажется, встрѣчались?

— Да, въ Кишиневѣ разъ, давно. Всю ночь говорили о политикѣ и о безсмертіи души.

— Ну, и что же?

— Ничего. Какъ всегда, каждый при своемъ остался. Онъ доказывалъ, что Бога и безсмертія нѣтъ, а я ему, что этого доказать нельзя; тутъ все на-двое: по сердцу — Бога нѣтъ, а по разуму — есть. *Mon cœur est materialiste, mais ma raison s'y refuse...*

— Наоборотъ, казалось бы? — удивился Голицынъ.

— Нѣтъ, у меня такъ, — немного нахмурился Пестель, и въ глазахъ его появилось выраженіе, которое и раньше замѣтилъ Голицынъ, какъ будто передъ носомъ любопытнаго гостя захлопнулась дверь во внутреннія комнаты хозяина; и тотчасъ заговорилъ о другомъ, рассказалъ, какъ Пушкинъ хотѣлъ къ нимъ въ Общество, да его нельзя — ненадеженъ.

По новому Адмиралтейскому бульвару вышли на Сенатскую площадь, къ памятнику Петра.

Пестель обшелъ его, разглядывая съ простодушнымъ любопытствомъ, потомъ остановился, приложилъ лицо къ рѣшеткѣ и, глядя въ лицо изваянія, какъ въ лицо живого человѣка, долго молчалъ словно

забылъ о собесѣдникѣ; наконецъ, сказалъ, по-французски, шопотомъ:

— А вѣдь тутъ пропасть: если конь опуститъ копыто, Всадникъ полетитъ къ чорту...

— Да, костей не соберетъ.

— И мы съ нимъ?

— Развѣ мы—съ нимъ?

— А гдѣ же?

— Вотъ змѣя подъ копытами лошади,—крамола, революція...

— Вы думаете? А Пушкинъ говоритъ, что съ мею-то,—кивнулъ Пестель на памятникъ,—съ мею и началась революція въ Россіи...

— И самодержавіе съ него же,—замѣтилъ Голицынъ.

— Да, крайности сходятся... Ну, такъ какъ же: мы-то съ нимъ или противъ него?—опять помолчавъ, спросилъ Пестель.

— Не знаю,—усмѣхнулся Голицынъ,—не знаю, какъ мы, Павелъ Ивановичъ, а вы, навѣрное, съ нимъ.

— Почему я?..—проговорилъ Пестель, но ужъ опять разсѣяннo, какъ будто о другомъ думая,—дверь во внутреннія комнаты захлопнулась,—и не дожидаясь отвѣта, внезапно простился, кивнулъ извозчику и уѣхалъ.

Голицынъ, оставшись одинъ, долго еще вглядывался съ тѣмъ же вопросомъ въ лицо Мѣднаго Всадника: противъ него или съ нимъ?

Отвѣта не было, и, наконецъ, рѣшилъ: „а все-таки надо начать—съ нимъ или противъ“.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

2

3

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Фотій въ гробу полеживалъ съ пріятностью.

Въ домѣ графини Анны Алексѣевны Орловой-Чесменской на Дворцовой набережной, гдѣ гостилъ по цѣлымъ мѣсяцамъ, онъ устроилъ себѣ подземную келью. Въ темный подвалъ, освѣщаемый только огнями неугасимыхъ лампадъ, вела узкая лѣстница; полъ мраморный, черными и бѣлыми пашками; иконостасъ, блистающій золотомъ и драгоценными камнями. Онъ любилъ ихъ: въ дѣтской простотѣ, не зная цѣны деньгамъ, принималъ въ подарокъ отъ Анны блюдо рубиновъ или яхонтовъ, какъ блюдо земляники. Посрединѣ кельи—гробъ. Фотій спалъ въ немъ ночью, а иногда и днемъ отдыхалъ.

Анна сперва ужасалась, а потомъ привыкла, и гробъ сталъ ей казаться диваномъ, тѣмъ болѣе, что надоѣвшую черную обивку замѣнилъ онъ свѣтлою, серебрянымъ глазетомъ снаружи и бѣлымъ атласомъ внутри, „дабы гробъ свѣтелъ былъ и пріятенъ“. Когда въ одѣяніи подобносхимническомъ, нарочно сшитомъ по его заказу, какъ святые на иконахъ пи-

шутся, лежалъ онъ въ этомъ веселомъ гробу, Анна любовалась на него съ умиленіемъ:

— Ахъ, отецъ, отецъ, какъ онъ милъ!

Весь день провелъ Фотій въ хлопотахъ и разъѣздахъ по дѣлу Голицына; усталъ, измучился; вернувшись домой, завалился въ гробъ отдыхать. Выпить бы горячаго укропника; укропникъ пилъ вмѣстѣ, велья бѣсовскаго. Но пить кромѣ Анны не умѣлъ варить, а ея дома не было, уѣхала съ визитами.

Фотій сердился, ругался. Держалъ ее въ строгости, помыкалъ, какъ послѣднею дворовою дѣвкой. А все-таки съ пріятностью полеживалъ въ гробу своемъ, благодумствовалъ, вспоминая послѣднее свиданіе митрополита съ Аракчеевымъ.

Аракчеевъ исполнилъ обѣщаніе, данное государю: поѣхалъ къ митрополиту и сдѣлалъ попытку помирить его съ княземъ Голицынымъ, но ничего не вышло. Снявъ съ головы бѣлый клобукъ, митрополитъ бросилъ его на столъ:

— Графъ, донеси царю, что видишь и слышишь. Вотъ ему клобукъ мой. Я болѣе митрополитомъ быть не хочу, съ княземъ Голицынымъ не могу служить, какъ явнымъ врагомъ церкви, престола и отечества!

„Аракчеевъ смотрѣлъ на сіе, какъ на вещь рѣдкую“,—вспоминалъ впоследствии Фотій. Воистину, рѣдкая вещь въ Россіи послѣ Петра I—бѣлый клобукъ, вѣнецъ православія, спорящій съ вѣнцомъ самодержавія.

Митрополита Серафима Фотій называлъ „мокрою курицею“. Однажды, готовясь произнести проповѣдь, въ присутствіи императора Павла, преосвященный такъ оробѣлъ, что не могъ произнести ни слова и

долженъ былъ удалиться въ алтарь. А намеря, соби-
раясь въ Зимній дворецъ, по дѣлу Голицына, трижды
входилъ и трижды выходилъ изъ кареты; наконецъ,
Фотій захлопнулъ дверцы и крикнулъ кучеру: „сту-
пай!“ А Магницкій поѣхалъ сзади на дрожкахъ и
когда замѣчалъ, что кучеръ, по приказанію владыки,
заворачиваетъ въ сторону, приказывалъ отъ себя ѣхать
прямо во дворецъ. Вернулся владыка домой, весь
мокрый отъ пота, „какъ бы изъ водопада былъ
облитъ,—по слову Фотія:—такой у него былъ потъ
отъ страха царева“.

Мокрой курицѣ не бывать орломъ, митрополиту
Серафиму — Никонѣ. „Отъ Фотія потрясется весь
градъ св. Петра“,—было пророчество. Не оно ли
исполняется? Не потрясется ли Россія, вселенная отъ
патріарха Фотія?

Прислушался въ стукъ подъѣзжавшей кареты. Не
раздѣваясь, въ салопѣ, шляпѣ и вуали, запыха-
вшаяся, испуганная, вбѣжала въ подземную келью гра-
финя Анна.

Лицо плоское, круглое, красное, веснучатое,
какъ у деревенской дѣвушки. Росту большого,—гре-
надеръ въ юбкѣ. Лѣтъ подъ сорокъ, а умомъ ребе-
нокъ. „Мозги птичьи“,—говаривалъ Фотій. Но въ гла-
захъ, чистыхъ, какъ вода ключевая, сквозь глупость
ума умъ сердца свѣтился. Готовилась въ тайному
постригу; носила власяницу подъ шелковымъ фрей-
линскимъ платьемъ; всю жизнь замаливала грѣхъ
отца, графа Алексѣя Орлова, злодѣяніе Ропшинское—
убійство Петра III.

Ходили слухи о блудномъ сожителствѣ Фотія съ
Анной, но это была клевета.

„Я, въ мірѣ пребывая, ни однажды не коснулся

плоти женской, не позналъ сласти, — говорилъ Фотій: — чадо мое о Господѣ есть дѣвица непорочная во всецѣлости. Самъ Господь мнѣ ее въ невѣсты нескверныя далъ“.

— Не моя вина, батюшка, — залепетала Анна безтолково и растерянно, вбѣгая въ келью: — княгиня Софья Сергѣевна безъ чая отпустить не хотѣла, о патерѣ Госнерѣ сказывала. Ахъ, отецъ, отецъ, если бы вы знали, какія новости!..

Княгиня Софья Мещерская, одна изъ духовныхъ дочерей Фотія — большая сплетница, а патеръ Госнеръ — заѣзжій „проповѣдникъ Антикрита, сатана-человѣкъ, — по мнѣнію Фотія, — публично изрыгавшій хулу на Богородицу“. При помощи Магницкаго и оберъ-полицеймейстера Гладкова, заговорщики выкрали изъ-подъ станка листы печатавшейся книги Госнера, и Фотій сочинялъ по нимъ доносъ, желая прицѣпиться это дѣло къ дѣлу Голицына. Въ другое время о новостяхъ разспросилъ бы съ жадностью, но теперь пропустилъ мимо ушей: очень сердился.

Долго лежалъ, не открывая глазъ, не двигаясь, точно покойникъ въ гробу; наконецъ, посмотрѣлъ на Анну въ упоръ и спросилъ:

— Гдѣ пропадала, подолъ трепала, чортова дѣвка? На гульбищѣ, небось?

— Да, — потупилась Анна, краснѣя; лгать не умѣла. — Одинъ только разокъ прошлась...

Весеннее гулянье въ Лѣтнемъ саду, куда изрѣдка ѣзжала Анна тайкомъ отъ Фотія, называлъ онъ сатанинскимъ гульбищемъ.

— Женишка не подцѣпила ли? Много ихъ нынче тамъ, по веснѣ-то, кобелей безстыжихъ, военныхъ да штатскихъ, за вашей сестрой, сувою, задравши хвосты, бѣгаетъ.

— Ну что вы, батюшка! У меня и въ мысляхъ нѣтъ, сами знаете...

— Знаю, что знаю. А ты бы хоть то разсудила, что уже не молода и красоты не имѣешь плотской; то богатства токмо ради женихи-то подманиваютъ, а денежки вытрясутъ и поминай, какъ звали.

Поднявъ ногу изъ гроба, и съ привычною ловкостью Анна стащила съ нея смазной, подбитый гвоздями, мужичій сапогъ.

— Охъ, мозоли, мозолюшки! Ноютъ что-то, вѣрно, къ дождю, — кряхтѣлъ онъ, подымая другую ногу.

На свѣтлыхъ перчаткахъ у Анны—второпяхъ не успѣла ихъ снять—отъ смазныхъ голенищъ остались пятна дегтя.

— Думаешь, не знаю, дѣвонька, что у тебя на умѣ?—усмѣхнулся вдругъ Фотій язвительно: — знаю, голубушка, все вижу насквозь; вотъ, молъ, какая особа, миллионщица, Орлова-Чесменскаго дочь, графиня—свѣтлѣйшая, ручки изволить марать о сапоги мужичьи поганые! А только мнѣ на графство твое наплевать и на миллионы тоже. Тридцать миллионовъ—тридцать сребрениковъ—цѣна крови. Знаешь, чья кровь? Грѣхъ отца знаешь? Ну, чего молчишь? Говори, знаешь?

— Знаю,—прошептала Анна, блѣднѣя и опуская голову.

— А коли знаешь—кайся, отца духовнаго слушай. Аль отца по плоти возлюбила больше, чѣмъ отца духовнаго? Послушаніе паче поста и молитвы. Вотъ скажу тебѣ: „Анна, скажу, обругай отца!“ Ты и обругать должна...

Она отвернулась и молча, горько заплакала. Го-

това была терпѣть все; но чтобы онъ надъ памятью отца ея ругался, не могла вынести.

— Ну, чего юни распустила, дура? Любя, говорю.

— Простите, батюшка!—сказала она, припадая къ рукѣ его и уже забывъ обиду.

— Богъ проститъ. Ступай, завари-ка укрошничку. Послышался стукъ въ дверь.

— Кто тамъ?

— Его сіятельство, князь Александръ Николаевичъ Голицынъ,—доложилъ келейникъ.

Анна заторопилась, хотѣла бѣжать навстрѣчу гостю.

— Стой, куда? — удержалъ ее Фотій: — ничего, подождетъ, не велика птица. Давай сапоги.

Надѣлъ ихъ опять съ помощью Анны, всталъ изъ гроба, подошелъ къ аналою, зажегъ свѣчу, положилъ Евангеліе, поставилъ чашу съ Дарами, взялъ въ руки крестъ, дѣлая все нарочно медленно; наконецъ, велѣлъ позвать Голицына. Анна побѣжала за нимъ.

„Входитъ князь и образомъ, яко звѣрь-рысь, является“,—разсказывалъ впослѣдствіи Фотій.

— Благословите, отче.

— Въ богохульной и нечестивой книжицѣ, *Тамство Креста* именуемой, подъ твоимъ надворомъ, княже, опубликовано: „духовенство есть звѣрь“. А понеже и азъ, грѣшный, изъ числа онаго есмь, то благословить тебя не хочу, да тебѣ и не надобно.

— Ну, что-жъ,—сразу вспыхнулъ Голицынъ,—пожалуй, и лучше такъ:—война—такъ война! Довольно хитростей, довольно лжи...

— Какая ложь? Какая война? О чемъ говоришь, князь, не разумѣю.

— Не разумѣете? Ну, такъ я вамъ скажу, извольте. Я знаю все, о. Фотій: знаю, какъ съ него-
днемъ Аракчеевымъ вступили вы въ союзъ; какъ го-
сударю на меня клевете; одной рукой обнимаете,
а другой точите ножъ; предаете лобзаніемъ іудинымъ;
говорите: „Христосъ посреди насъ“, — а посреди насъ
діаволъ, отецъ лжи. Листы печатные изъ-подъ станка
выкрали, — да вѣдь это мошенничество! Какъ вамъ
не стыдно, отецъ? Погодите, уже обо всемъ доложу
государю. Посмотримъ, кто кого!

Фотій молчалъ. Оба хитрые, хищные, стояли они
другъ противъ друга, два маленькихъ звѣрька, гото-
вые сдѣлаться въ смертномъ боѣ, — рысь и хорекъ.

— Убойся Бога, князь, — заговорилъ, наконецъ,
Фотій: — а что на меня злобствуешь? Отъ личности
твоей я чистъ, зла на тебя не имѣю, Господь съ
тобою...

— Не лгите, хоть теперь-то не лгите! Во вто-
рой разъ не обманете. Дуракъ я вамъ дался, что ли?
Говорите лучше прямо: что вамъ отъ-меня нужно?

— Покайся, останови книги богопротивныя, въ
конхъ сѣется развратъ и революція, — началъ-было
Фотій.

— Да сколько же разъ мнѣ вамъ повторять: не
могу я ничего остановить! Не меня обвиняйте, а го-
сударя.

— Ну, такъ поди къ царю, стань передъ нимъ
на колѣни и скажи, что самъ дѣлалъ худо и его...

— Какъ вы смѣете, — вдругъ закричалъ Голи-
цынъ и затопалъ ногами, — какъ вы смѣете говорить
такъ о государѣ императорѣ? Въ революціи другихъ
обвиняете, а сами же революціонистъ отъявленный...

— Азъ есмь рабъ Господа моего, Иисуса Христа,

посланъ тебя обличить, да покаешься!—закричалъ и Фотій: — горе тебѣ, княже! горе, нечестивче! горе, богохульниче! Предстану съ тобою на Страшномъ Судѣ, обличу, сокрушу, осужу въ геенну огненную!

Оба кричали. Анна слушала изъ-за дверей въ ужасѣ: „охъ, подерутся!“

— Ну, съ вами, отецъ, не сговоришь, — поня- тился Голицынъ въ лѣстницѣ, думая уже только о томъ, какъ бы уйти отъ грѣха. — Нога моя здѣсь больше не будетъ, такъ и доложу государю. Честь имѣю кланяться...

— Стой, погоди! Такъ не уйдешь, не отвертись! Се, азъ простираю руку мою...

— Пустите же, пустите!—кричалъ Голицынъ въ испугѣ, стараясь вырвать руку, но Фотій не пускалъ: одной рукой держалъ князя, другою поднималъ крестъ, и такъ страшно было лицо его, что вдругъ показало Голицыну, что онъ сейчасъ ударить его крестомъ, какъ ножомъ,—убьетъ.

— Се, азъ руку мою простираю къ небу, и судъ Божій изрекаю на тя и на всѣхъ! Много ли васъ? Тьмы ли темъ безчисленные? Выходите всѣ! Да поразить васъ всѣхъ Господь! Отлучаю! Извергаю! Проклинаю! Анаема!

Голицынъ поблѣднѣлъ. „Сумасшедшій!“ — промелькнуло въ головѣ его, точно такъ же какъ намереніе у государя. Последнимъ отчаяннымъ усиліемъ вырвалъ онъ руку и пустился бѣжать; вверхъ по лѣстницѣ и черезъ всѣ покои дома бѣжалъ такъ быстро, что на груди его орденская звѣзда прыгала и фракныя фалды развѣвались.

Фотій гнался за нимъ: лицо искаженное, глаза горящіе, волосы дыбомъ—хорекъ бѣшеный.

Келейникъ разинулъ ротъ и присѣлъ отъ ужаса. Синодскій чиновникъ Степановъ, похожій на стараго сома, (это онъ корректурные листы Госнеровой книги выкралъ) остоленѣлъ и глаза выпучилъ. А когда бѣжали они черезъ большую парадную залу съ портретами царскихъ особъ, то казалось, что и они всѣ,—отъ Петра I, который началъ, до Павла I, который завершилъ плѣнъ церкви властью мірской,—смотрѣли съ удивленіемъ на невиданное зрѣлище: какъ оберъ-прокуроръ Синода, око царево, отъ церкви отлучается.

— Анаеема!—гремѣлъ Фотій вслѣдъ убѣгавшему.— Будь ты проклятъ! Бога не узришь, снідешь во адъ! И всѣ съ тобою, всѣ прокляты! Анаеема! Анаеема! Анаеема всѣмъ!

Анна бѣжала за Фотиємъ и ловила его за полы:

— Отецъ! Отецъ!

Уже Голицынъ добѣжалъ до сѣней. Фотій не оставалъ: казалось, готовъ былъ выскочить на улицу. Но Анна успѣла его догнать, схватила руками, повисла у него на шеѣ.

Въ послѣдній разъ закричалъ, завизжалъ онъ осипшимъ голосомъ: „анаеема!“ и повалился на руки подскочившихъ слугъ, которые перенесли его въ залу и усадили въ кресло, бьющагося въ припадкѣ, рыдающаго и хохочущаго.

Совершилось пророчество; отъ Фотія потрясся весь градъ св. Петра: анаеема Голицыну, оберъ-прокурору Синода, тридцатилѣтнему другу цареву—анаеема самому царю.

Всѣ ожидали, что-то будетъ? Ходили слухи, что царь гнѣвенъ. Аннѣ казалось, что вотъ-вотъ схва-

тять Фотія и сошлють въ Сибирь. Заболѣла отъ страха.

— Небось, Аннушка! Что мнѣ оберъ-прокуроръ? Блоха, ее же убиваетъ песь трясеніемъ ушей. Съ нами Богъ! Господь силъ съ нами! Кто противъ насъ?—храбрился Фотій, но тоже робѣлъ.

Мая 15-го, въ день Вознесенія, сидѣлъ онъ у постели больной Анны и утѣшалъ ее, совѣтовалъ, не прибѣгая къ помощи медиковъ, нѣмцевъ поганныхъ, натереть съ молитвою все тѣло оподель-докомъ:

— Помни, въ зеленыхъ банкахъ худой, а самый лучший — въ бѣлыхъ. Натрешься — все какъ рукой сниметъ.

Говорилъ также, чтобы развлечь ее, о колоколѣ большомъ, въ 2.000 пудъ вѣсомъ, во имя Купины Неопалимой, который собирался отлить для Юрьевской обители изъ дешевой, краденной мѣди.

— Сколь пріятень будетъ звонъ и утѣшительнень!

Но Анна не слушала, думая все объ одномъ: какъ придутъ, схватятъ и увезутъ батюшку.

Постучался келейникъ у двери и подалъ письмо.

— Отъ кого?—спросила Анна.

— Отъ митрополита,—отвѣтилъ Фотій, распечатывая дрожащими пальцами.

У Анны сердце захолонуло: ужъ не о ссылке ли увязъ?

Вдругъ Фотій вскочилъ, захопалъ въ ладоши и запѣлъ по-церковному.

— Аллилуія! Аллилуія! Аллилуія! Слава Тебѣ, Христе Боже нашъ, слава Тебѣ! Адъ сокрушенъ, сатана побѣжденъ! Пало мірское владычество надъ церковью! Министръ нашъ единъ—Исусъ Христосъ! Слава Фотію! Слава Господу! Слава Аракчееву!

Анна смотрѣла и не вѣрила глазамъ своимъ: батюшка поднялъ рясу и притопывалъ, какъ будто собираясь плясать.

— Возстань, дщерь, — воскликнулъ онъ, схвативъ ее за руку: — ничего, небось, поясница пройдетъ и оподельдока не надобно, — вотъ оподельдокъ нашъ божественный! — махалъ письмомъ. — Возстань съ одра, пой, пляши, дѣвонька!

— Что вы, что вы, отецъ! Я же не одѣта...

— Богъ простить, не стыдись, пляши во славу Господа!

— Да что, что такое, батюшка миленькій, что съ вами? — говорила, блѣднѣя отъ ужаса, Анна: ей казалось, что онъ сошелъ съ ума.

— А вотъ что, — бросилъ ей Фотій письмо: — читай!

Митрополитъ извѣщалъ его о только что подписанномъ указѣ: оберъ-прокуроръ св. Синода, князь Голицынъ, отставленъ отъ должности; министерство духовныхъ дѣлъ уничтожено; Синоду быть попрежнему.

И опять все затаило дыханье, притихло, пришипилося. Отъ государя ни слуху, ни духу, какъ будто забылъ онъ о Фотіи.

Наконецъ, 13 іюня, поздно вечеромъ, пришло въ Лавру высочайшее повелѣніе явиться Фотію на слѣдующій день въ Зимній дворецъ.

Не зналъ онъ, что ожидаетъ его — въ архіереи ли посвятятъ, или въ Сибирь сошлютъ; на всякій случай исповѣдался и причастился.

Такъ же, какъ въ первый разъ, взошелъ Фотій съ камердинеромъ Мельниковымъ потайною Зубовскою лѣстницей, днемъ съ огнемъ, такъ же, идучи по ней.

крестился и крестилъ всѣ углы, переходы, двери и стѣны дворца, помышляя, что „тѣмъ здѣсь живутъ силъ вражьихъ“. А войдя въ кабинетъ государевъ, сначала медленно, истово перекрестился и потомъ уже взглянулъ на государя. Государь принялъ благословеніе и усадилъ Фотія за свой письменный столъ. Но тутъ уже пошло все по-иному. Взглянувъ на лицо государя, Фотій сразу понялъ, что дѣло плохо, и какъ началъ дрожать мелкою дрожью, такъ уже не переставалъ до конца свиданія. Рассказывалъ впоследствии, будто бы на тѣлѣ его, во время этой бесѣды, выступилъ кровавый потъ.

— Я пригласилъ васъ, отецъ, для того, чтобы узнать, правда ли, что вы князя Александра Николасевича Голицына предали анаемѣ?

— Ваше величество, не я, а самъ Господь съ небесе рече...

— Извольте отвѣчать, о чемъ спрашиваютъ! — прикрикнулъ на него государь, и въ голосъ его слышались тѣ же визгливые звуки, какъ у императора Павла, когда онъ гнѣвался. — Правда или неправда? Отвѣчайте!

— Правда.

— Какою же властью вы это сдѣлали?

Фотій молчалъ, дрожалъ, смотрѣлъ въ окно и крестился маленькими, частыми крестиками.

Лицо государя было гнѣвно; сперва хотѣлъ онъ только постращать его, но потомъ увлекся, — какъ актеръ, вошелъ въ свою роль и заговорилъ почти искренно.

— Какою властью вы это сдѣлали? — повторилъ, возвышая голосъ. — Кто васъ поставилъ судить между мной и церковью, между мной и Богомъ? И за что

вы всѣ напали на Голицына? Изъ-за чего бунтуете? Чего хотите? Свободы церкви отъ власти мірской? Да не вы ли сами поработились мірскому владычеству? Много мы, государи, всякой низости видимъ, но такой, какъ у васъ, господа духовные, Богомъ свидѣтельствуюсь, я нигдѣ не видывалъ. Когда главою церкви, вмѣсто Христа, объявили самодержца Россійскаго, человѣка сдѣлали Богомъ, — кощунство изъ кощунствъ, мерзость изъ мерзостей! — гдѣ вы были тогда, гдѣ была свобода ваша? Все предали, всему измѣнили, надругаться дали надъ святынею. Не всѣ ли вы, отъ перваго до послѣдняго, пастыри церкви Россійской, припадали къ ногамъ моимъ, кричали: „Осанна!“ какъ самому Христу Господню? Не я ли долженъ былъ повелѣвать указами, чтобы не было сего, чтобы съ Богомъ меня не ровняли, Благословеннымъ, Безсмертнымъ не называли? Вспомнить, выговорить стыдно и страшно, но у васъ, отцы, давно уже ни страха, ни стыда въ глазахъ... А туда же, бунтовать вздумали! О свободѣ церкви говорить смѣете... Ну, что-жъ, не захотѣли Голицына, — будетъ вамъ Аракчеевъ. А вы, отецъ Фотій, — я думалъ, что вы лучше другихъ, повѣрилъ вамъ, — и вотъ чѣмъ отплатили вы! Богъ вамъ судія. Но понимаете ли, понимаете ли, что вы сдѣлали?..

Всталъ и быстрыми шагами ходилъ по комнатѣ. Какъ всегда въ гнѣвѣ, не все лицо его, а только лобъ краснѣлъ; и онъ закрывалъ его платкомъ, какъ будто вытиралъ потъ.

А Фотій попрежнему глядѣлъ въ окно на небо, молчалъ, дрожалъ и крестился.

— Понимаете ли? — повторилъ государь, остановившись передъ нимъ, и, взглянувъ въ лицо его,

увидѣлъ, что онъ ничего не понимаетъ и никогда не пойметъ: все—какъ горохъ объ стѣну.

Государь опустился въ кресло и вдругъ почувствовалъ, что весь гнѣвъ его потухъ.

— Ну, что же вы молчите? Говорите, отвѣчайте же.

— Что мнѣ тебѣ сказать, государь?—робко взглянулъ на него Фотій.—Аще бы не токмо князь Голицынъ, но ангелъ, спедъ съ небесе, глаголаъ ученію церкви противное и о царѣ злое, я сказалъ бы: анаема!

— И мнѣ сказалъ бы?

Фотій молчалъ.

— Ну ничего, говорите, говорите, я слушаю,—усмѣхнулся государь едва уловимой, брезгливой усмѣшкой.

— Что дѣлать мнѣ дано было свыше, яко послалъ меня Богъ возвѣститъ правду царю моему, то я и сдѣлалъ, — уже смѣлѣе взглянулъ на него Фотій.—Видя, что вся святыня испровергается, една злоба возвѣщается, ужели я молчать долженъ, повѣривъ, что все сіе зло ты, царь, сотворилъ, чему вѣрить Голицынъ, да и меня хотѣлъ научить вѣровать? Св. Николай Чудотворецъ на вселенскомъ соборѣ заушилъ нечестиваго Арія...

Подавъ государю выданный изъ житія листокъ—разсказъ о томъ, какъ отцы Никейскаго собора за пощечину Арію присудили св. Николая архіерейскаго сана лишить.

— Вотъ видите, что со св. Николаемъ сдѣлали,—произнесъ государь, не дочитавъ листа.

— Неправильно сдѣлали.

— Какъ неправильно?

— Чти до конца: отцы осудили угодника Божьяго, Господь же, явившись Самъ, подалъ ему св. Евангеліе, а Матерь Божья—омофоръ, во знаменіе, что свыше сила небесная защититъ его имѣть .
всегда...

Долго еще говорилъ Фотій, постепенно возвышая голосъ, и, наконецъ, такъ же какъ въ первое свиданіе, закричалъ, завопилъ, занеистовствовалъ, началъ вытаскивать безчисленные листы изъ-за рукавовъ, изъ-за голенищъ, изъ-за пазухи—весь былъ обложенъ ими, какъ воинъ доспѣхами.

Государь слушалъ молча, со скукою.

Доставая одинъ изъ листовъ, Фотій распахнулъ рясу; хотѣлъ закрыть, но государь не далъ ему, наклонился, раздвинулъ складки и увидѣлъ подъ желѣзными веригами, на голой груди его, страшную, желѣзомъ натертую, до костей зіяющую рану.

— Что дивишься, царь? — воскликнулъ Фотій: — гляди, когда хочешь, и знай, что, себя не жалѣючи, никого не пожалѣю ради Господа!

Государь отвернулся; лицо его болѣзненно сморщилось. Жалко было Фотія, но и себя жалко; жалко и стыдно. Вспомнилъ, какъ въ первое свиданье поклонился ему въ ноги, готовъ былъ видѣть въ немъ своего избавителя, посланника Божьяго. Не то одержимый не то, помѣшанный, — вотъ за кого ухватился какъ утопающій. Быть смѣшнымъ боялся больше всего на свѣтѣ, а съ Фотіемъ былъ смѣшонъ; этого никому никогда не прощалъ, — не простилъ и ему.

А тотъ продолжалъ неистовствовать.

Государь всталъ, налилъ стаканъ воды и подалъ ему.

— Успокойтесь, отецъ, выпейте. Я зла противъ

васъ не имѣю: что сказалъ, то скавалъ, и больше ничего не будетъ. Я всегда радъ васъ видѣть, а теперь прошу меня извинить,—дѣла неотложныя.

И позвонилъ Мельникова.

То было послѣднее свиданіе государя съ Фотіемъ.

Торжество его, впрочемъ, какъ будто продолжалось. Патеръ Госнеръ, по высочайшему повелѣнію, высланъ былъ за границу, и книга его сожжена въ печахъ кирпичнаго завода Александро-Невской лавры; жгли три часа, въ двадцати печахъ, и при этомъ присутствовалъ Фотій, возглашая анаѹему. Аракчеевъ исходатайствовалъ ему панагію „за торжество православія“.

„Порадуйся, старче преподобный,—писалъ Фотій симоновскому архимандриту Герасиму:—нечестіе престѣкло, армія богохульная діавола паде, ересей и расколовъ языкъ опѣмѣлъ; общества всѣ богопротивныя, якоже адъ, сокрушились. Министръ нашъ одинъ—Господь Іисусъ Христосъ, во славу Бога Отца, аминь.—Молись объ Аракчеевѣ: онъ явился, рабъ Божій, за св. церковь и вѣру, яко Георгій Побѣдоносецъ“.

Но этимъ торжество и кончилось. Внезапно, точно сговорившись, всѣ отшатнулись отъ Фотія. Долго не понималъ онъ, за что; когда же понялъ, что милостіамъ царскимъ—конецъ, то палъ духомъ, заболѣлъ, едва не умеръ и, только что оправился, уѣхалъ изъ Петербурга, „бѣжалъ изъ града, яко изъ ада“, въ свой новгородскій Юрьевскій монастырь добровольнымъ изгнанникомъ, вмѣстѣ съ Анною.

Министромъ же духовныхъ дѣлъ оказался не Іисусъ Христосъ, а графъ Аракчеевъ. Всѣ доклады по дѣламъ св. Синода представлялись государю черезъ него. Сразу ввелъ онъ порядокъ военный въ духовномъ вѣ-

домствѣ: святые отцы при немъ пикнуть не смѣли, стали тише воды, ниже травы. И пожалѣли о Голыцынѣ.

Въ Андреевскомъ соборѣ села Грузина появился въ тѣ дни новый образъ — Спаситель, держащій на десницѣ Евангеліе; образъ покрытъ былъ литою серебряною ризою; ежели открыть стеклянную раму, то можно увидѣть, что одинъ изъ серебряныхъ листовъ Евангелія на едва замѣтномъ шарнирѣ отгибается, и подъ этимъ листомъ — другой образъ: Аравчеевъ — въ парадномъ генеральскомъ мундирѣ, со всѣми орденами, сидящій на облакахъ, какъ бы грядущій со славою судить живыхъ и мертвыхъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ

„Государь похожъ на того спартанскаго мальчика, который, спрятавъ подъ плащомъ лисицу, сидѣлъ въ школѣ и, когда звѣрь грызъ ему внутренности, терпѣлъ и молчалъ, пока не умеръ“.

Такъ думалъ князь Александръ Николаевичъ Голицынъ, когда въ бесѣдахъ съ нимъ государь бывалъ откровененъ и, казалось, вотъ-вотъ заговорить о главномъ, единственномъ, для чего, можетъ быть, и начиналъ разговоръ,—о лисицѣ, грызущей ему внутренности—о Тайномъ Обществѣ; но вдругъ умолкалъ, и собесѣдникъ чувствовалъ, что если бы онъ заговорилъ о томъ первый,—это ему никогда не простилось бы, и тридцатилѣтней дружбѣ наступилъ бы конецъ.

— Ты на меня не сердишься, Голицынъ?

— За что же, ваше величество? Сами знать изволите, я ужъ давно собирался въ отставку...

— Правда, не сердишься? Ни капельки, ни чуточки?—допытывался государь съ той милой улыбкой, за которую нѣкогда Сперанскій называлъ его „сущимъ прельстителемъ“.

— Ну, право же, ни чуточки!—невольно улыбнулся и Голицынъ.

Если въ тайнѣ сердца былъ обиженъ, то не отставкой, не анаемой Фотія и даже не тѣмъ, что предали его, тридцатилѣтняго друга, негодяю Аракчееву, а тѣмъ, что лукавятъ съ нимъ и не вѣрятъ ему.

— Богъ лучше нашего знаетъ, что для насъ нужно; предадимся же волѣ Его и будемъ надѣяться, что все къ лучшему,—произнесъ Голицынъ тѣмъ пустымъ голосомъ, которымъ подобныя изреченія всегда произносятся.

— Да, все къ лучшему, все къ лучшему,—согласился государь съ такою безнадежностью, что Голицынъ, уже забывъ обиду, взглянулъ на него, какъ добрая няня на больного ребенка.—Что ты на меня такъ смотришь? Что думаешь?

— Позвольте быть откровеннымъ, ваше величество?

— Прошу тебя.

— Думаю, какъ многіе, должно быть, глядя на ваше величество, думаютъ: не стоитъ ли онъ на высотѣ могущества? Спаситель Россіи, освободитель Европы, Агамемнонъ между царями,—

Александръ, о, ангелъ мира!
Щедрый даръ благихъ небесъ,
Щитъ царей—твоя порфира,
Мечъ—орудіе чудъ съ,—

какъ пѣли мы нѣкогда, встрѣчая Благословеннаго. Чего же ему еще надобно? Что съ нимъ? О чемъ онъ груститъ?..

Бесѣда эта происходила въ министерскомъ домѣ, на Фонтанкѣ, противъ Михайловскаго замка, въ ма-

ленькой комнатѣ, рядомъ съ домовою церковью Духа Св. Единственное окно закладено было наглухо, такъ что ни одинъ лучъ дневной не проникалъ сюда и ни одинъ звукъ, кромѣ церковнаго пѣнія; а когда службы не было, — тишина могильная. Надъ плащаницею, передъ большимъ деревяннымъ крестомъ, вмѣсто лампы, висѣло огромное сердце изъ темно-краснаго стекла съ огнемъ внутри, какъ бы птекающее кровью.

— Я и самъ не знаю, что это, — продолжалъ государь послѣ молчанія. — Когда астрономіи учили насъ Бабушка, то давала смотрѣть на солнце сквозь стекло закопченное. Такъ вотъ и теперь какъ сквозь темное стекло гляжу на все: *tout a une teinte lugubre autour de moi*, — точно затменіе. Знаешь молитву: не отверже мене отъ лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отъими отъ мене. Кажется, молитва моя не исполнилась: Онъ отвергъ меня...

— Не говорите такъ, ваше величество, не искушайте Господа!

Государь взглянулъ на Голицына: угодливая ласковость въ мягкихъ морщинахъ, какъ у доброй няни или старой сводни; не камень, на который можно опереться, а подушка, въ которую можно плакать, кричать отъ боли, — никто не услышитъ.

— Я не ропщу, Голицынъ, сохраня меня Боже! Мнѣ ли забыть о милостяхъ Его неизреченныхъ? „Ангеламъ своимъ заповѣсть о тебѣ“, — помнишь, какъ мы загадали и намъ открылся этотъ псаломъ, когда Наполеонъ переступалъ черезъ Нѣманъ? Исполнилось пророчество: ангелы понесли меня на рукахъ своихъ, и было мнѣ такъ спокойно среди страховъ

и ужасовъ, какъ младенцу на рукахъ матери. Господь шель впереди насъ; Онъ побѣждалъ враговъ, а не мы. И какія побѣды, отъ Москвы до Парижа! Какая слава,—не намъ, не намъ, а имени Твоему, Господи! Когда на площади Согласья служили мы молебень, очищая кровавое мѣсто, гдѣ казненъ Людовикъ XVI, и вмѣстѣ съ нами преклонила колѣни вся Европа,—я далъ обѣтъ довершить дѣло Божье: призвать всѣ народы къ повиновенію Евангелію; законъ божественный поставить выше всѣхъ законовъ человѣческихъ; сложить всѣ скиптры и вѣнцы къ ногамъ единого Царя царей и Господа господствующихъ,—вотъ чего я хотѣлъ, вотъ для чего заключилъ Священный Союзъ...

Говорилъ, спѣша и волнуясь; всталъ и ходилъ по комнатѣ. Несмотря на красный свѣтъ лампы, видно было, какъ лицо его блѣдно. Потомъ опять сѣлъ и, упершись локтями въ колѣни, опустилъ голову на руки.

— Въ чемъ же вина моя? Ищу, вспоминаю, думаю: что я сдѣлалъ? что я сдѣлалъ? за что меня покинулъ Богъ?..

Голицынъ хотѣлъ что-то сказать, но почувствовалъ, что говорить не надо, нельзя утѣшать; только тихонько, взявъ руку его, поцѣловалъ ее и заплакалъ.

Оба—грѣшники, оба—мытари; но правда Божья была въ томъ, что грѣшникъ надъ грѣшникомъ, мытарь надъ мытаремъ сжалился.

— Спасибо, Голицынъ. Я знаю, ты любишь меня, — проговорилъ государь сквозь слезы, цѣлуя склоненную лысую голову.

— Не я, не я одинъ, ваше величество: вся Рос-

сія, ~ пятьдесятъ милліоновъ вѣрнопоподанныхъ ва-
шихъ...

— Ну, вѣрнопоподанныхъ лучше оставимъ,—по-
морщился государь съ брезгливостью. — Чего стоятъ
ихъ любовь, я знаю. Въ Москвѣ, во время корона-
ціи, толпа меня стѣснила такъ, что лошади негдѣ
было ступить; люди кидались ей подъ ноги, цѣло-
вали платье мое, сапоги, лошадь; крестились на
меня, какъ на икону: „берегитесь,—кричу,—чтобъ
лошадь кого не зашибла!“ А они: „государь ба-
тюшка, красное солнышко, мы и тебя, и лошадь
твою на плечахъ понесемъ,—намъ подъ тобою легко!“
А въ двѣнадцатомъ году, въ Петербургѣ, въ день
коронаціи, когда пришла вѣсть о пожарѣ Москвы,—
съ минуты на минуту ждали бунта. Въ Казанскій
соборъ къ обѣднѣ надо было ѣхать; и вотъ, какъ
сейчасъ помню: всходили мы съ императрицами по
ступенямъ собора между двумя стѣнами толпы, и та-
кая тишина сдѣлалась, что слышенъ былъ только
звукъ нашихъ шаговъ. Я не трусь, Голицынъ, ты
знаешь,—но страшно было тогда. Какіе взоры! Ка-
кія лица! Никогда не забуду... А потомъ, при пер-
вой же удачѣ, опять: „государь батюшка, красное
солнышко!“ Но я уже зналъ, чего любовь ихъ стоитъ.
Люди подлы, и народы иногда бываютъ такъ же
подлы, какъ люди...

— Не будьте несправедливы, ваше величество:
слава ваша—слава Россіи. Не встала ли она, какъ
одинъ человекъ, въ годину бѣдствія?

— И медвѣдица на заднія лапы встаетъ! когда
выгоняютъ ее изъ берлоги,—сказалъ государь, пожи-
мая плечами опять съ тою же брезгливостью. — Ну, да
что объ этомъ? Имъ подо мною легко, да мнѣ-то надъ

ними тяжело—тяжело презирать свое отечество. Вѣришь ли, другъ, такія бываютъ минуты, что разбить бы голову объ стѣну!

Что-то промелькнуло въ глазахъ его, отъ чего опять показалось Голицыну, что вотъ-вотъ заговорить онъ о звѣрѣ, грызущемъ ему внутренности; но промелькнуло—пропало, и заговорилъ о другомъ.

— Помнишь, что я тебѣ сказалъ, когда подписывалъ актъ о престолонаслѣдіи?

— Помню, ваше величество.

— Ну, такъ понимаешь, къ чему веду?

Манифестъ объ отреченіи Константина Павловича отъ престола и о назначеніи Николая наслѣдникомъ подписанъ былъ осенью въ Царскомъ Селѣ. На запечатанномъ конвертѣ государь сдѣлалъ надпись: „хранить въ Успенскомъ соборѣ съ государственными актами до моего востребованія, а въ случаѣ моей кончины открыть прежде всякаго другого дѣйствія“. Знали о томъ только три человѣка въ Россіи: писавшій этотъ манифестъ, Голицынъ, Аракчеевъ и Филаретъ, архіепископъ московскій. Тогда же произнесъ государь нѣсколько загадочныхъ словъ о своемъ собственномъ возможномъ отреченіи отъ престола. Голицынъ удивился, испугался и понялъ, что слова на конвертѣ: „до моего востребованія“, означаютъ это именно возможное отреченіе самого императора Александра Павловича.

— Понимаешь, къ чему веду? — повторилъ государь.

— Боюсь понять, ваше величество...

— Чего же бояться? Солдату за двадцать пять лѣтъ отставку даютъ. Пора и мнѣ. О душѣ подумать надо...

Голицынъ смотрѣлъ на него съ тѣмъ же испугомъ, какъ тогда, въ Царскомъ Селѣ: отреченіе отъ престола казалось ему сумасшествіемъ.

— Давно уже хотѣлъ я тебѣ сказать объ этомъ, — продолжалъ государь: — ты такъ хорошо написалъ тогда; попробуй, можетъ, и теперь удастся?

— Увольте, — пролепеталъ Голицынъ въ смятеніи. — Могу ли я? Подымется ли у меня рука на это? И кто повѣритъ? Кто согласится? Да если только, Боже сохрани, народъ узнаетъ о томъ, подумайте, ваше величество, какія могутъ быть послѣдствія...

— А вѣдь и вправду, пожалуй, — усмѣхнулся государь такъ, что морозъ пробѣжалъ по спинѣ у Голицына: вспомнилась ему усмѣшка императора Павла, когда онъ сходилъ съ ума. — Не повѣрятъ, не согласятся, не отпустятъ живого... Какъ же быть, а? Мертвымъ притвориться, что ли? Или нищимъ странникомъ уйти, какъ тѣ, что по большимъ дорогамъ ходятъ, — сколько разъ я имъ завидовалъ? Или бѣжать, какъ юноша тотъ въ Геосиманскомъ саду, оставивъ покрывало воинамъ, бѣжалъ нагимъ? Такъ, что ли? Такъ, что ли, а?..

Говорилъ тихо, какъ будто про себя, забывъ о Голицынѣ; вдругъ взглянулъ на него и провелъ рукой по лицу.

— Ну что? Испугался, думаешь, съ ума сошелъ? Полно, небось, пошутилъ; мертвымъ не прикинусь, голымъ не убѣгу... А объ отреченіи подумай. Да не сейчасъ, не сейчасъ, не бойся, можетъ еще и не скоро. А все же подумай... И спасибо, что выслушалъ. Некому было сказать, а вотъ сказалъ, — и легче. Спасибо, другъ! Я тебѣ никогда не забуду.

Всталъ, обнялъ его и что-то шепнулъ ему на ухо.

Голицынъ отперъ потайной шкафчикъ въ подножьи креста, вынулъ золотой сосудецъ, наподобіе дароносицы, и платъ изъ алаго шелка, наподобіе антиминса. Разложилъ его на плащаницѣ и поставилъ на него дароносицу.

Поцѣловались трижды съ тѣми словами, которыя произносятъ въ алтарѣ священнослужители, приступая къ совершенію таинства.

— Христосъ среди насъ.

— И есть, и будетъ.

Опустились на колѣни, сотворили земные поклоны и стали читать молитвы церковныя, а также иныя, сокровенныя. Читали и пѣли голосами неумѣлыми, но привычными:

Ты путь мой, Господи, направишь,
Меня отъ гибели избавишь,
Спасешь созданіе свое,—

любимую молитву государя, стихи масонской пѣсни, начертанные на образкѣ, который носилъ онъ всегда на груди своей; пѣли странно-уныло и жалобно, точно старинный романсъ.

— Не отверже мене отъ лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отъими отъ мене! — воскликнулъ государь дрожащимъ голосомъ, и слезы потекли по лицу его, въ аломъ сіяньи лампы, точно кровавыя.— Не отъими! не отъими!—повторялъ, стуча лбомъ объ полъ съ глухимъ рыданіемъ, въ которомъ что-то слышалось, отъ чего вдругъ опять морозъ пробѣжалъ по спинѣ у Голицына.

Голицынъ всталъ и благословилъ чашу со словами, которыя возглашалъ іерей, во время литургіи, при освященіи Даровъ:

— Пріимите, ядите: сіе есть Тѣло Мое, за васъ ломимое...

И причастилъ государя; потомъ у него причастился.

Если бы въ эту минуту увидѣлъ ихъ Фотій, то понялъ бы, что не даромъ изрекъ имъ анаѣму.

Священникъ изъ города Балты, уроженецъ села Корытнаго, о. Ѳеодосій Левицкій, представилъ государю сочиненіе о близости царствія Божьяго. Государь пожелалъ видѣть о. Ѳеодоса. На фельдъ-егерской телѣжкѣ привезли его изъ Балты въ Петербургъ, прямо въ Зимній дворецъ. Онъ-то и научилъ государя этому сокровенному таинству внутренней церкви вселенской, обладающему бѣльшею силою, нежели евхаристія, во внѣшнихъ помѣстныхъ церквахъ совершаемая. И государь предпочиталъ, особенно теперь, послѣ анаѣмы Фотія, это сокровенное таинство—явному, церковному.

Причастившись, прочли молитву, которой научилъ ихъ тоже о. Ѳеодосъ, о спасеніи всего рода человѣческаго, о исполненіи царства Божьяго на землѣ, какъ на небѣ, о соединеніи всѣхъ церквей во единой церкви вселенской.

— Спаси, Господи, міръ погибающій! — заключалось каждое изъ этихъ прошеній.

Поцѣловавшись трижды поцѣлуемъ пасхальнымъ: „Христосъ воскрес!“ — „Воистину воскрес!“ — заперли въ шкапикъ дароносицу съ антиминсомъ и вышли въ кабинетъ.

Холодный свѣтъ дневной ослѣплялъ послѣ алаго теплаго сумрака, какъ будто перешли они изъ того міра въ этотъ. И лица измѣнились: вмѣсто таинственныхъ братьевъ церкви невидимой опять—царь и царедворецъ.

Заговорили о дѣлахъ житейскихъ.

— А кстати, Голицынъ, просилъ я намеренъ Марью Антоновну не принимать князя Валерьяна, племянника твоего. Не знаю, о чемъ они говорятъ съ Софьей, но бесѣды эти волнуютъ ее, а ей покой нуженъ. Скажи ему, извинись какъ-нибудь, чтобъ не обидѣлся.

— Помилуйте, ваше величество! Смѣетъ ли онъ?

— Нѣтъ, отчего же?.. Кажется, добрый малый и неглупый; а только съ этимъ нынѣшнимъ вольнымъ душкою, а?

— Охъ, ужъ не говорите, государь! Наградилъ меня Богъ племянничкомъ. Сущій карбонарь. Волосы дыбомъ встаютъ, какъ этихъ господъ послушаешь. Вы себѣ представить не можете, на что они способны. Въ Сибирь ихъ мало!

— Ну, полно, за что въ Сибирь? Жалѣть надо. Наши же дѣти, и съ насъ, отцовъ, за нихъ взыщется...

Опять промелькнуло что-то въ глазахъ его; опять показалось Голицыну, — вотъ-вотъ заговорить онъ о главномъ, единственномъ, для чего, можетъ быть, и весь разговоръ этотъ началъ.

Но промелькнуло — пропало, и Голицынъ понялъ, что никогда ничего не скажетъ онъ, хотя бы страшный звѣрь загрызъ его до смерти, — будетъ терпѣть и молчать.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Князь Александръ Николаевичъ Голицынъ передалъ племяннику своему, князю Валерьяну волю государя о томъ, чтобы онъ пересталъ бывать у Нарышкиныхъ. Но Марья Антоновна, узнавъ объ этомъ, объявила, что не хочетъ лишать свою больную, можетъ быть, умирающую дочь послѣдней радости, и просила князя бывать у нихъ попрежнему, обѣщая взять на себя передъ государемъ всю отвѣтственность. Съ женихомъ Софьи, графомъ Шуваловымъ, поссорилась и говорила, что если бы даже Софья выздоровѣла, то государь какъ себѣ хочетъ, а она ни за что не выдастъ дочь за этого „проходимца“: во враждѣ своей была столь же внезапна и неудержима, какъ въ любви.

Такъ рѣшила Марья Антоновна, такъ и сдѣлалось: князь Валерьянъ продолжалъ посѣщать Софью, стараясь только не встрѣчаться съ государемъ. Избѣгая этихъ встрѣчъ, уѣзжалъ въ Петербургъ, гдѣ проводилъ большую часть времени съ новымъ другомъ своимъ, княземъ Александромъ Ивановичемъ Одоев-

скимъ; пзъ членовъ Тайнаго Общества сошелся съ нимъ ближе всѣхъ.

Двадцатилѣтній корнетъ, красавецъ—розы на щекахъ, легкіе пепельные, точно сѣдые, кудри, голубые глаза, всегда немного прищуренные съ улыбкою,—„красная дѣвица“, говорили о немъ въ полку. Казалось бы, ему не заговорщикомъ быть, а въ пятнашки играть и бабочекъ ловить съ такими же дѣтьми, какъ онъ.

— Я отъ природы безпеченъ, вѣтренъ и лѣнивъ, — говорилъ самъ о себѣ:—никогда никакого не имѣлъ неудовольствія въ жизни; я слишкомъ счастливъ.

Сорвемъ цвѣты украдкой
Подъ лезвіемъ косы
И лѣнью—жизни краткой
Продлимъ, продлимъ часы,

—это о такихъ, какъ я, сказано.

Среди пламенныхъ споровъ о судьбахъ Россіи, о вольности, о „будущемъ усовершеніи человѣчества“, молчалъ, усмѣхался, потомъ вдругъ вскакивалъ, хваталъ свой киверъ съ бѣлымъ султаномъ.—„Куда ты!—На Невскій“. И гремѣлъ по тротуару саблею съ такимъ легкомысленнымъ видомъ, какъ будто, кромѣ гуляній да парадовъ, ничего для него не существуетъ. Или сладкими пирожками объѣдался въ кондитерской, какъ убѣжавшій съ урока школьникъ.

Но подъ этой дѣтскостью горѣлъ въ немъ тихій пламень чувства.

Мать любилъ такъ, что когда она умерла, едва выжилъ. „Матушка была для меня вторымъ Богомъ, — писалъ брату.—Я перенесъ все отъ слабости; я былъ слабъ, слабѣе, нежели самый слабый младенецъ“. Она спилась ему часто, какъ будто звала къ себѣ,

И онъ этотъ зовъ слышалъ: иногда вдругъ, въ самыя веселыя минуты, загрустить, и уже иная пѣсня вспоминается:

Какъ ландышъ подъ серпомъ убійственнымъ жнеца...

Послѣ матери больше всего на свѣтѣ любилъ музыку.

— Всѣ слова лгутъ, одна только музыка никогда не обманываетъ.

И рѣчи о вольности для него были музыкой. Всякая ложь въ нихъ оскорбляла его, какъ фальшивая нота, оставляла смутный слѣдъ на душѣ, какъ дыханье на зеркалѣ.

— Вы стремитесь къ высокому, я тоже: будемъ друзьями!—предложилъ онъ Голицыну чуть ли не на второй день знакомства.

Тотъ усмѣхнулся, но протянулъ ему руку. Съ тѣхъ поръ, когда находили на Голицына сомнѣнья въ себѣ, въ другихъ, въ общемъ дѣлѣ,—стоило вспомнить ему о миломъ Сашѣ, о тихомъ мальчикѣ,—и становилось легче, вѣрилось опять.

Друзья вели бесѣды безконечныя; начинали ихъ дома и продолжали на улицѣ или за городомъ, гдѣ-нибудь на Островахъ.

На Крестовскомъ, по аллеѣ, усыпанной желтымъ пескомъ, съ бѣлыми, новою краскою пахнущими тумбами, прохаживались чинно молоденькіе коллежскіе секретари съ тросточками и старые статскіе совѣтники съ женами и дочками въ соломенныхъ шляпкахъ и блондовыхъ чепчикахъ. Слушали роговую, церковному органу подобную, музыку съ великолѣпной дачи Монъ-Плезиръ на Аптекарскомъ Островѣ и наслаждались „бальзамическимъ воздухомъ“. Тутъ же

на травѣ, подѣ вечернее кваканье лягушекъ въ болотныхъ канавахъ и уныло-веселые звуки: „ахъ, мейнъ либеръ Аугустинъ, Аугустинъ“, нѣмецкіе мастеровые выплясывали гроссфатера. Пахло свѣжей травой, смолистыми елками изъ лѣсу и жареными сосисками, жженымъ цикоріемъ изъ Новой Ресторациі, гдѣ пиликали скрипки, визжали цыганки и гвардейскіе офицеры, подвыпивъ, буянили. На Крестовскомъ Островѣ царствовала вольность нравовъ, какъ въ золотомъ вѣкѣ Астреевомъ: даже курить можно было вездѣ, тогда какъ на петербургскихъ улицахъ забирала полиція курильщиковъ на съѣзжую. Гостинодворскіе купчики катались по Малой Невкѣ на яликахъ, заѣзжали на тони, варили уху, орали пѣсни и спорили объ игрѣ актера Яковлева въ Дмитріи Донскомъ. А старые купцы со своими купчиками, сидя на прибрежныхъ вочкахъ, поросшихъ мхомъ и брусникою, попивали чай съ блюдечекъ, за самоварами, такими же, какъ сами они, толстопузыми, мѣдно-красными на заходящемъ солнцѣ.

Въ сосновыхъ рощахъ сдавались внаемъ избы чухонцевъ и строились рѣдкія дачки, карточные домики, гдѣ любители сельской природы могли утѣшаться колокольчиками стада и берестовымъ рожкомъ пастуха на туманныхъ ворахъ: „совсѣмъ какъ въ Швейцаріи“.

Здѣсь, въ Новой Ресторациі, за шаткимъ столикомъ съ бутылкою пива или сантуринскаго, два друга вели бесѣды о такихъ предметахъ, что если бы кто и подслушалъ,—не понялъ бы. Голицынъ рассказывалъ Одоевскому о своихъ парижскихъ бесѣдахъ съ Чаадаевымъ и подѣ уныло-веселые звуки Аугустинъ шепталъ ему на ухо тѣ слова молитвы

Господней, которымъ суждено было, какъ вѣрилъ Чаадаевъ, сдѣлаться осанной грядущей свободной Россіи: *Adveniat regnum tuum*, — такъ не по-русски о русской вольности звучали эти слова для самого учителя.

Больше всего занимала Одоевскаго мысль Чаадаева о томъ, что безъ Бога нѣтъ свободы, безъ церкви вселенской нѣтъ для Россіи спасенія.

— Да, это главное, главное! — повторялъ тихій мальчикъ, весь волнуясь и краснѣя отъ стыдливой радости: — это главнѣе всего! А вѣдь никто не пойметъ...

— А ты понялъ? — вдругъ спросилъ Голицынъ, взглянувъ на него съ тою внезапною усмѣшкою, которой немного побаивался Одоевскій; сходство съ Грибоѣдовымъ, тоже другомъ его, именно въ этой, всегда внезапной и какъ будто недоброй, усмѣшкѣ, давно замѣтилъ онъ въ Голицынѣ, и оно не нравилось ему, по почему-то никогда не говорилъ онъ объ этомъ сходствѣ, только смутно чувствовалъ въ немъ что-то жуткое. — А ты понялъ?

— Не знаю, можетъ быть, и не понялъ, — покраснѣлъ Одоевскій и застыдился еще больше: — я насчетъ философіи плохъ, умомъ не понимаю многого, ну, да вѣдь не все же однимъ умомъ...

— Нѣтъ, Саша, тутъ и умомъ надо, тутъ одинъ волосокъ отдѣляетъ истину отъ лжи, вольность отъ рабства. Двѣ пропасти: сорвешься въ одну — не удержишься, до дна докатишься. Надо выбрать одно изъ двухъ. Ты выбралъ? Понялъ? А можетъ быть, и понялъ, да не такъ?

— Не такъ, какъ кто?

— Какъ я, какъ мы съ Чаадаевымъ.

— А можетъ быть, и вы не такъ?

— Ну, значить, мы самихъ себя не попяли...

— А ты что думаешь? Иногда и себя самого не поймешь.

Въ тотъ же день на Елагиномъ Островѣ съ государемъ встрѣтились.

Онъ ѣхалъ верхомъ одинъ — только дежурный флигель-адъютантъ слѣдовалъ издали — по лѣсной аллеѣ-просѣкѣ отъ новаго Елагинскаго дворца во взморью. Остановились. Камеръ-юнкеръ снялъ шляпу, офицеръ отдалъ честь. Государь поклонился имъ съ той милостивой улыбкой, съ которой онъ одинъ умѣлъ кланяться, — для всѣхъ одинаковой и для каждаго особенной, единственной.

— Что ты? — спросилъ Голицынъ Одоевскаго, который смотрѣлъ вслѣдъ государю, съ лицомъ сіяющимъ отъ радости.

— Ничего... такъ... — какъ будто опомнился тотъ и опять покраснѣлъ, застыдился. — Самъ не знаю, что со мною дѣлается, когда вижу его... Какъ посмотрѣлъ-то на насъ, улыбнулся!

— Такъ любишь его?

Одоевскій молчалъ, все больше краснѣя.

„Зачѣмъ же ты въ Тайномъ Обществѣ?“ — хотѣлъ было спросить Голицынъ, но тотъ самъ, безъ вопроса, отвѣтилъ:

— Если бы онъ только зналъ, чего мы хотимъ, то первый бы съ нами былъ...

— Какъ же съ нами? Противъ себя самого?

— Ну, да. Не пожалѣлъ бы и себя для блага отечества, отдалъ бы все за счастье, за вольность Россіи. Ежели царь — отецъ, то какъ можетъ онъ желать, чтобъ народъ, дѣти его были рабами. Помнишь въ Писаніи: сыны суть свободны...

сѣлъ на корточки, хлопнулъ себя руками по ляжкамъ и закричалъ: „вотъ тебѣ, Вася, и рѣпка!“ Когда Грибоѣдовъ объ этомъ рассказывалъ, то смѣялся, знаешь, какъ всегда онъ смѣется, точно сухія кости изъ мѣшка сыплются, а на самомъ лица нѣтъ. Тоска, говоритъ, на него нашла ужасная, мѣста себѣ не найдетъ: все передъ нимъ раненый по снѣгу мечется, и кровь на снѣгу...

Одоевскій умолкъ, какъ будто задумался. Потомъ вдругъ спросилъ, глядя на Голицына въ упоръ:

— А что, князь, подумалъ ты давеча, какъ о царѣ говорили, что подлецомъ могу я сдѣлаться, предателемъ?

— Нѣтъ, Саша, не за тебя я боюсь, а за насъ всѣхъ. Мечтатели мы, романтики...

— „Любители того, чѣмъ отъ самовара пахнетъ“, это онъ же, Грибоѣдовъ, сказалъ о романтикахъ,— разсмѣялся Одоевскій.—А вѣдь хорошо сказано?

— Да, хорошо. Отъ угара-то этого когда-нибудь насъ всѣхъ стошнитъ, вотъ чего я боюсь... Правда твоя, что много время лишняго, болтаемъ зря. Ну вотъ, поболтаемъ, помечтаемъ, а какъ до дѣла дойдемъ,—въ лужу и сядемъ. А можетъ, и то правда, что все еще любимъ царя, вѣримъ, что отъ Бога царь. „Благочестивѣйшаго, самодержавнѣйшаго“... съ этимъ и Крови Господней причащаемся, это и въ крови у насъ у всѣхъ. Куда уйдешь? Сами того не знаемъ, забыли, а какъ вспомнимъ, тутъ-то вотъ подлецами и окажемся, ослабѣемъ, перетрусимъ, какъ малыя дѣти, шони распустимъ: „государь батюшка, красное солнышко!“—и въ ножки бухъ. Отъ всего отречемся, во всемъ покаемся, все предадимъ. Унизимъ великую мысль. И никогда, никогда это намъ не

простится! Будемъ и мы по кровавому свѣту метаться, прокричить и надъ нами чортъ отходную: „вотъ тебѣ, Вася, и рѣпка!“

— Охъ, страшно, какъ страшно ты это сказалъ, Валерьянъ! Сохрани, Боже, Матерь Пречистая!—проговорилъ Одоевскій и перекрестился набожно.

И опять замолчалъ, какъ будто задумался. Обоимъ хотѣлось еще что-то сказать, но тишина заглушала слова; только подъ кормою струйки звенѣли, звенѣла въ ушахъ тишина. Лодка качалась, какъ люлька,—баюкала. Одоевскій легъ на дно и, закинувъ руки за голову, смотрѣлъ въ небо.

— А знаешь, какой мнѣ намедни сонъ приснился удивительный,—вдругъ улыбнулся дѣтски-радостно:—снжу, будто зимою, рано, когда еще темно на дворѣ, въ деревнѣ у брата Володи, а онъ у окна, при лампѣ, книгу какую-то нѣмецкую читаетъ, философа Шеллинга, что ли. „Ну, говорю, будетъ глаза слѣпить, а скажи-ка лучше, въ Бога Шеллингъ твой вѣруетъ?“—„Вѣруетъ“.—„И въ Матерь Божью?“—„И въ Нее, говоритъ, вѣруетъ“.—„А что же, говорю, такое по-вашему *Пречистой Матери Покровъ*?“ Перелисталъ книгу, отыскалъ страницу, строку и пальцемъ указывать: „читай“, говоритъ. Я и прочелъ: „Es herrscht eine allweise Güte über die Welt. Премудрая Благость надъ міромъ царствуетъ“.—„Это, говоритъ, по-нѣмецки, а по-русски: Пречистой Матери Покровъ. Понялъ?“—„Понялъ“. И свѣтло-свѣтло вдругъ сдѣлалось, будто отъ солнца,—отъ чашечекъ зеленыхъ съ ободками золотыми: дѣтьми, бывало, молоко изъ нихъ пили, въ деревнѣ, у матушки на антресоляхъ съ полукруглыми окнами прямо въ роуцѣ

березовую; всегда я эти чашечки въ счастливыхъ снахъ вижу: золотыя, зеленыя, какъ солнце сквозь листь березовый. И свѣтло-свѣтло отъ нихъ, какъ отъ солнца. И будто уже не Володя, а какая-то музыка или ма-тушкинъ голосъ шепчетъ мнѣ на ухо: „вѣрь, Саша, будетъ все, чего вы хотите,—и правда, и счастье, и вольность,—только вѣрь, что надъ вами, надо всѣми—Пречистой Матери Покровъ“. Тутъ я и проснулся...

Послѣднія струйки подъ кормой отзвенѣли; послѣднія тучки въ небѣ растаяли—и пусто-пусто въ немъ, бѣло-бѣло, какъ будто и неба вовсе нѣтъ, ни земли, ни воды, ни воздуха,—ничего нѣтъ—пустота, бѣлизна безпредѣльная. Только тамъ, гдѣ Петербургъ, свѣтлѣетъ игла Петропавловской крѣпости, да чернѣютъ какія-то точки, какъ щепочки, что на отмель водой нанесло, водой унесетъ. Пустота, бѣлизна остеклѣвшая, какъ незакрытый глазъ покойника. И тихо-тихо, душно-душно, какъ подъ смертнымъ саваномъ. Это ли Пречистой Матери Покровъ?

— Саша, а Саша! — позовалъ Голицынъ, только бы услышать чей-нибудь голосъ.

Но тотъ не отвѣтилъ, — уснулъ. Можетъ быть, опять снились ему золотыя, зеленыя чашечки и мама, и музыка.

А Голицыну страшно стало; хотѣлось крикнуть, какъ давеча, но голоса не было, а если-бъ и крикнулъ, то, кажется, не онъ самъ, а изъ него — ночной, пустой, бѣлый чортъ: „вотъ тебѣ, Вася, и рѣпка!“

Вернувшись въ городъ, нашель у себя на квартирѣ посланнаго съ письмомъ отъ Марьи Антоновны: она писала ему, что Софья худо, и просила его пріѣхать немедленно.

Онъ понялъ, что она умираетъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Что Софья умираетъ, государь зналъ; и что съ этою смертию порвется для него послѣдняя связь съ жизнью, тоже зналъ. Но, по обыкновенію, скрывалъ свое горе отъ всѣхъ. Никому не жаловался, не оставлялъ занятій, не измѣнялъ привычекъ. Жилъ, какъ всегда въ лѣтніе мѣсяцы, то на Каменномъ Островѣ, то въ Царскомъ и Красномъ, гдѣ готовились большіе маневры, на которыхъ онъ долженъ былъ присутствовать. Но гдѣ бы ни былъ, два-три раза въ день фельдъ-егери привозили ему извѣстія о больной, и самъ онъ ѣздилъ къ ней почти каждый день.

Большею частью, сидѣлъ у ея постели молча или читалъ, все равно что,—она почти не слушала, лежала безъ движенія, закинувъ голову, закрывъ глаза, вся вытянувшись и вытянувъ худыя руки, прозрачно-блѣдныя, съ голубыми жилками. Одѣяло сбрасывала (все казалось ей тяжелымъ, какъ это бываетъ передъ концомъ у чахоточныхъ) и лежала подъ одной простыней, такъ что отъ маленькихъ ножекъ до едва обозначенной дѣтски-дѣвичьей груди видно было все тѣло, облитое бѣлою тканью, какъ будто обнажен-

ное, изваянное, тонкое, острое, стройное, стремительно-недвижное — стрѣла на тетивѣ, слишкомъ натянутой.

Иногда открывала глаза и смотрѣла на него долго, все такъ же молча; и тогда казалось ему, что онъ въ чемъ-то виноватъ передъ нею и что надо сказать, сдѣлать что-то, чтобы искупить вину, пока не поздно; казалось также, что она уходитъ отъ него въ недосыгасмую даль, погружается въ глубину бездонную, — и вдругъ исчезала боль, — уже не страшно, не жалко, только завидно: хотѣлось туда же, за нею.

Въ срединѣ іюня дни стояли жаркіе, съ грозowymi бѣлыми тучами, съ темно-яркою, влажною, точно мышьяковою, зеленою травъ, съ душною, пахущею мѣхомъ, болотною сыростью, съ тихимъ, соннымъ ворчаніемъ грома и безсоннымъ трепетаньемъ зарницъ по ночамъ.

Однажды, въ послѣполуденный часъ, когда онъ читалъ ей вслухъ Евангеліе, она открыла глаза, и по лицу ея онъ понялъ, что она хочетъ что-то сказать. Наклонился, поставилъ правое, лучше слышавшее, ухо къ самымъ губамъ ея, и она прошептала чуть слышнымъ шопотомъ, подобнымъ шелесту сухихъ почныхъ былинпокъ:

— Сѣновось, папа?

— Да, какъ бы только не пропало сѣно — все дожди.

— Хорошо теперь въ полѣ, — шептала она: — лечь въ траву, съ головой укрыться, уснуть. Хорошо, свѣжо. А здѣсь жарко, душно, печѣмъ дышать... а по ночамъ Атька...

— Какая Атька?

— Обезьянка. Развѣ не помнишь?

— Ахъ, да, какъ же, помню...

Говорили, думая о другомъ, только бы сказать что-нибудь, прервать молчаніе, слишкомъ тяжелое.

— А маменька тоже больна?

Маменькою называла она императрицу Елисавету Алексѣевну; онъ къ этому привыкъ и самъ при ней называлъ ее такъ.

— Скажи ей, что снилось мнѣ намереніи, будто вмѣстѣ живемъ гдѣ-то далеко, у моря, въ Крыму, что ли...—сказала Софья.

Онъ часто говорилъ съ ней о томъ, какъ, отрекшись отъ престола, выйдя въ отставку, купить Ореанду, свое любимое мѣстечко на Южномъ Берегу, построить маленькій домикъ у самаго моря, въ лѣсу, и тамъ будетъ жить съ нею и съ маменькой.

— Въ Крыму? — удивился онъ: — а вѣдь и маменькѣ тоже снилось намереніи, будто вмѣстѣ живемъ въ Ореандѣ.

Но Софья не удивилась.

— Да, вмѣстѣ скоро...—проговорила такъ тихо, что онъ не слышалъ.

Продолжалъ читать Евангеліе:

„Кто бо отъ васъ, хотяй столпъ создати, не прежде ли сѣдъ разчтетъ имѣніе, аще имать, еже есть на совершеніе, да не когда положитъ основаніе и не возможетъ совершити, вси видящіе начнутъ ругатися ему, глаголюще: сей человекъ начать здати и не може совершити“.

Остаповился, посмотрѣлъ на нее: лежала, закрывъ глаза, какъ будто спала.

Задумался, вспомнилъ давешній разговоръ свой съ Голицынымъ объ отреченіи отъ престола. Не о такихъ ли, какъ онъ, это сказано? Не началъ ли онъ

строить башню, положилъ основаніе и не могъ совершить? Не вся ли жизнь его—развалина недостроеннаго зданія? Мечталъ о великихъ дѣлахъ — о Священномъ Союзѣ, о царствіи Божьемъ на землѣ, какъ на небѣ, а единственное малое, что могъ бы сдѣлать—дать счастье хоть одному человѣку, вотъ ей, Софьѣ,—не сдѣлалъ. Зачѣмъ ее родилъ? Далъ ненужную муку, непонятную жизнь, непонятную смерть? Чѣмъ искупить? Что сказать, что сдѣлать, пока еще не поздно? Или ужъ поздно?

Софья открыла глаза, посмотрѣла на него молча, пристально, какъ смотрѣла всѣ эти дни, и вдругъ показалось ему, что она о томъ же думаетъ, — все видитъ, все обличаетъ, — судить его, какъ равная равнаго.

— Не надо, папенька, милый, — опять зашептала, когда наклонился онъ къ ней:—не думай, не бойся. Все хорошо будетъ, все къ лучшему, ты же самъ всегда говоришь: все къ лучшему...

Въ недосыгаемо-далекой, чуждой улыбкѣ была ясность и мудрость, какъ будто насмѣшка надъ нимъ: если бы надъ грѣшными людьми смѣялись ангелы, у нихъ была бы такая улыбка.

Что-то еще шептали, шелестѣли сухія губы, сухія ночныя былинки,—но онъ уже не слышалъ, хотя слушалъ съ усиліемъ, нагнувъ свою лысую голову, вытянувъ шею, такъ что жилы вздулись на ней и выпучились блѣдно-голубые близорукіе глаза.

„Смѣшныя глазки, совсѣмъ, какъ у теленочка!“ — вдругъ вспомнилось ей, какъ смѣялась она маленькой дѣвочкой, ласкаясь, шая и цѣлуя эти блѣдно-голубые глаза съ бѣлокурыми рѣсницами; вспомнилась также подслушанная въ разговорѣ старшихъ

давнишняя шутка Сперанскаго, который однажды въ письмѣ къ пріятелю, перехваченномъ тайной полиціей, назвалъ государя „бѣлымъ телянкомъ“: „нашъ Вобанъ—нашъ Вобланъ“. Вобанъ—знаменитый французскій инженеръ, строитель крѣпостей (государь въ то время осматривалъ крѣпости); а Вобланъ, по-французски: veau blanc, бѣлый теленокъ. Государь за эту шутку такъ разгнѣвался, что въ первую минуту хотѣлъ разстрѣлять Сперанскаго. Софья не поняла тогда, за что: „ну, да, бѣлобрысенькій, лысенькій, розовенькій весь, прехорошенькій телянчикъ. Что же тутъ обиднаго?“ Ей казалось иногда, что отъ него и пахнетъ молочнымъ телянчикомъ. Видѣла разъ въ церкви Повровской, на падугѣ свода, херувима золотого, шестирылаго, съ лицомъ Тельца; онъ былъ похожъ на папеньку: такое же въ обоихъ — кроткое, тихое, тяжкое, подъяремное.

Все это промелькнуло теперь въ улыбкѣ ея, полной нездѣшной ясностью, нездѣшной мудростью, когда шептала она дѣтскую ласку предсмертнымъ шопотомъ:
— Телянчикъ бѣленькій!

Словъ не разслышалъ онъ, но понялъ, и сердце зануло отъ жалости; чтобъ не заплакать, вышелъ изъ комнаты.

На площадкѣ лѣстницы увидѣлъ Дмитрія Львовича Нарышкина. Часто стоялъ онъ такъ, въ темномъ углу, у двери, не смѣя войти, прислушиваясь, и тихонько плавалъ. Обманутый мужъ, надъ которымъ всѣ смѣялись, любилъ чужое дитя, какъ свое.

Увидѣвъ государя, сдѣлалъ лицо спокойное.

— Ну, что? Какъ?—спросилъ шопотомъ, но не выдержалъ, высунулъ языкъ и всхлипнулъ дѣтски-безпомощно.

Государь обнялъ его, и оба заплакали.

Два дня не прѣзжалъ онъ къ Софѣ: много было неотложныхъ дѣлъ. 18-го іюня назначены маневры. Наканунѣ весь день провелъ на дачѣ Нарышкиныхъ. Прѣхавъ, узналъ, что больная причащалась; испугался, подумалъ, что конецъ. Но нѣтъ, все попрежнему; только очень слаба; почти не говорила, не открывала глазъ, лежала въ забытіи. Когда наклонялся онъ къ ней, спрашивала:

— Ты здѣсь? Не уѣхалъ? Не уѣзжай, не про-
стившись. Если буду спать, разбуди...

Видно было, что ей страшно чего-то; и ему сдѣ-
лалось страшно. Каждый разъ, уходя, думалъ: что,
если прѣдетъ завтра и не застанетъ ея въ живыхъ?
Сегодня страшнѣе, чѣмъ когда-либо. Ужъ не остаться
ли? Не отложить ли маневровъ и всѣхъ прочихъ дѣлъ?
Остаться совсѣмъ, подождать конца, — вѣдь, ужъ не-
долго?

Но стыдъ, который столько разъ въ жизни дѣлалъ
его, любящаго, страдающаго, наружно безчувствен-
нымъ, — нашелъ на него и теперь: неодолимый стыдъ,
отвращеніе, нежеланіе выставять горе свое напо-
казъ людямъ; чувство почти животное, которое заста-
вляетъ больного звѣря уходить въ берлогу, чтобы никто
не видѣлъ, какъ онъ умираетъ. И чѣмъ сильнѣе боль,
тѣмъ стыдъ неодолимѣе.

Рѣшилъ уѣхать и вернуться завтра, тотчасъ послѣ
маневровъ; утѣшалъ себя тѣмъ, что такіе же припадки
слабости бывали у нея и раньше, по проходили: дастъ
Богъ, и этотъ пройдетъ.

Только что рѣшилъ, больная затревожилась, заше-
велилась, проснулась, подозвала его взглядомъ, спро-
сила:

— Который часъ?

— Девятый.

— Поздно. Поѣзжай скорѣе. Вставать рано, — устанешь... Нѣтъ, погоди. Что я хотѣла? Все забываю... Да, вотъ что.

Онъ приподнялъ голову ея и положилъ къ себѣ на плечо, чтобы ей легче было говорить ему на ухо.

— Вы князя Валерьяна очепь не любите? — заговорила по-французски, какъ всегда о важныхъ дѣлахъ.

— Нѣтъ, отчего-же? За что мнѣ его не любить?.. — началъ онъ и не кончилъ; по тому, какъ спрашивала, почувствовалъ, что нельзя лгать.

— Я его мало знаю, — прибавилъ, помолчавъ: — но, кажется, не я его, а онъ меня не любить...

— Неправда! Если меня, то и васъ любить, будетъ любить, — проговорила, глядя ему въ глаза тѣмъ взглядомъ, который, казалось ему, видѣлъ въ немъ все и все обличалъ.

— А ты что о немъ вспомнила?

— Хотѣла просить: позовите его, поговорите съ нимъ.

— Сейчасъ?

— Нѣтъ, потомъ...

Онъ понялъ, что „потомъ“ значитъ: „когда умру“.

— Сдѣлайте это для меня, обѣщайте, что сдѣлаете.

— О чемъ же намъ съ нимъ говорить?

— Спросите, узнайте все, что онъ думаетъ, чего хочетъ... чего они хотятъ для блага Россіи... Вѣдь и вы того же хотите?..

— Кто они?

— Ты знаешь, — кончила по-русски: — не спрашивай, а если не хочешь, не надо, прости...

Да, онъ знаетъ, кто *они*. Какая низость! Возста-
новлять дочь противъ отца, ребенка больного, уми-
рающаго дѣлать орудіемъ злодѣйскихъ замысловъ. Вотъ
каковы они всѣ! Ни стыда, ни совѣсти. Травятъ его,
какъ псы добычу, окружаютъ, настигаютъ даже здѣсь,
въ послѣдней любви, въ послѣднемъ убѣжищѣ.

А она все еще смотрѣла ему въ глаза тѣмъ же
свѣтлымъ, всевидящимъ взоромъ; и вдругъ почувство-
вала онъ, что наступила минута что-то сказать, сдѣ-
лать, чтобъ искупить вину свою, — теперь, сейчасъ
или уже никогда—поздно будетъ.

— Хорошо, — сказалъ онъ, блѣднѣя: — поговорю
съ нимъ и все, что могу, сдѣлаю.

Радость блеснула въ глазахъ ея, живая, земная,
здѣшняя, какъ будто изъ недосыгаемой дали, куда
уходила, она вернулась къ нему на одно мгновеніе.

— Обѣщаешь?

— Даю тебѣ слово.

— Спасибо! Ну, теперь все, кажется, все. Сту-
пай...

Въ изнеможеніи опустилась на подушки, вздохнула
чуть слышнымъ вздохомъ:

— Перекрести.

— Господь съ тобою, дружокъ, спи съ Богомъ! —
поцѣловалъ онъ ее въ закрытые глаза и почувство-
валъ, какъ подъ губами его рѣсницы ея слабо шеве-
лятся—два крыла засыпающей бабочки.

Подождалъ, посмотрѣлъ, — дышитъ ровно, спитъ, —
пошелъ къ двери, остановился на порогѣ, оглянулся:
почудилось, что она зоветъ. Но не звала, а только
смотрѣла ему вслѣдъ молча, широко раскрытыми гла-
зами, полными ужасомъ; и ужасомъ дрогнуло сердце
его. Не остаться ли?

Вернулся.

— Еще разъ... обними... вотъ такъ!—прильнула губами къ губамъ его, какъ будто хотѣла въ этомъ поцѣлуѣ отдать ему душу свою.

— Ну, ступай, ступай!—оторвалась, оттолкнула его. — Не надо, полно, не бойся... скоро вмѣстѣ, скоро...

Не договорила или не разслышалъ онъ, только часто потомъ вспоминалъ эти слова и угадывалъ ихъ недосказанный смыслъ.

Выйдя изъ комнаты, велѣлъ Дмитрію Львовичу, если что случится ночью, послать за нимъ фельдъегеря. Сѣлъ въ коляску, давно у крыльца ожидавшую, и уѣхалъ въ Красное.

На слѣдующее утро проснулся поздно. Посмотрѣлъ на часы: половина восьмого, а маневры въ девять. Позвонилъ камердинера, спросилъ, не было ли за ночь фельдъегеря. Не было. Успокоился. Напился чаю въ постели. Торопливо умылся, одѣлся, вышелъ въ уборную, гдѣ ожидали бывшій начальникъ главнаго штаба, многолѣтній другъ и спутникъ его во всѣхъ путешествіяхъ, князь Петръ Михайловичъ Волконскій, старшій лейбъ-медикъ, баронетъ Яковъ Васильевичъ Вилліе, родомъ шотландецъ, и лейбъ-хирургъ Дмитрій Клементьевичъ Тарасовъ, который приступилъ къ обычной перевязкѣ больной ноги государевой.

Вглядываясь украдкой въ лица, государь тотчасъ догадался, что отъ него скрываютъ что-то.

— *Quomodo vales?* — заговорилъ онъ съ Тарасовымъ по-латыни, шутливо, какъ всегда это дѣлалъ во время перевязки.

— *Bene valeo, autocrator,* — отвѣтилъ тотъ.

— А на дворѣ, кажется, вѣтрено?—продолжалъ

государь съ тою же притворною безпечностью, переводя взоръ съ лица на лицо, все тревожнѣе, все торопливѣе.

— Къ дождю, ваше величество.

— Дай Богъ. Посвѣжѣть—людямъ легче будетъ.

И быстро обернувшись къ Волконскому, который стоялъ у двери, опустивъ голову, потупивъ глаза, спросилъ его тѣмъ же спокойнымъ голосомъ:

— Какія новости, Петръ Михайловичъ?

Тотъ ничего не отвѣтилъ и еще ниже опустилъ голову.

Вилліе странно-внезапно и неуклюже засуетился, подошелъ къ государю, осмотрѣлъ ногу его и сказалъ по-англійски:

— Прекрасно, прекрасно! Скоро совсѣмъ здоровы будете, ваше величество.

— До свадьбы заживетъ?—усмѣхнулся государь, вдругъ поблѣднѣлъ и, все больше блѣднѣя, посмотрѣлъ на Вилліе въ упоръ.

— Что такое? Что такое? Да говорите же...

Но и Вилліе также не отвѣтилъ, какъ Волконскій. Въ это время Тарасовъ надѣвалъ осторожно ботфортъ на больную забинтованную ногу государя. Государь оттолкнулъ его, самъ натянулъ сапогъ, вскочилъ, схватилъ Вилліе за руку и тихо вскрикнулъ:

— Фельдъ-егерь?

— Точно такъ, ваше величество, только что прибылъ...

И съ рѣшительнымъ видомъ, съ какимъ во время операціи вонзалъ ножъ, подтвердилъ то, что уже прозвучало въ безмолвіи:

— Все кончено: ея не существуетъ.

Государь закрылъ лицо руками. Тарасовъ пере-

крестился. Волконскій, отвернувшись въ уголъ, всхлипывалъ.

— Ступайте, — проговорилъ государь, не открывая лица.

Всѣ вышли. Думали, маневры отмѣнить. Но черезъ четверть часа послышался звонокъ изъ уборной. Туда и назадъ и опять туда пробѣжалъ камердинеръ Мельниковъ, неся государеву шпагу, перчатки и высокую треугольную шляпу съ бѣлымъ султаномъ.

Минуту спустя, государь вышелъ въ пріемную, гдѣ ожидали всѣ штабные генералы, начальники дивизій, баталіонные командиры, чтобы сопровождать его на военное поле. Вступивъ съ ними въ бесѣду, онъ предлагалъ вопросы и пояснялъ отвѣты съ обыкновенною любезностью.

„Я наблюдалъ лицо его внимательно, — вспоминалъ впослѣдствіи Тарасовъ, — и, къ моему удивленію, не увидѣлъ въ немъ ни единой черты, — обличающей внутреннее положеніе растерзанной души его: онъ до того сохранялъ присутствіе духа, что, кромѣ насъ троихъ, бывшихъ въ уборной, никто ничего не замѣтилъ“.

Въ двѣнадцатомъ году въ Вильнѣ, когда государь танцевалъ на балу, уже зная, что Наполеонъ переступилъ черезъ Нѣманъ, было у него такое же лицо: совершенно спокойное, неподвижное, непроницаемое, напоминавшее маску или Торвальдсеновъ мраморъ, ту холодную бѣлую куклу, которую маленькая Софья когда-то согрѣвала поцѣлуями.

На часахъ было девять, когда онъ сошелъ съ крыльца и сѣлъ на лошадь.

Начались маневры. Обычнымъ бравымъ голосомъ, отъ котораго солдатамъ становилось весело, выкрикивалъ команду: „товсъ!“ („въ стрѣльбѣ изготовься!“);

съ обычнымъ вниманіемъ замѣчалъ всѣ фрунтовыя оплошности: качку въ тѣлѣ, шевеленье подъ ружьемъ, неравенство въ плечахъ, и версты за двѣ. въ подзорную трубку,—султаны не довольно прямые; у одного штабъ-офицера—уздечку недостающую, у другого—оголовіе на лошади неформенное. Но вообще остался доволенъ и милостиво всѣхъ благодарилъ.

Когда маневры кончились, вернулся во дворецъ, отказался отъ полдника, переодѣлся наскоро, сѣлъ въ коляску, запряженную четверней по-загородному, и поскакалъ на дачу Нарышкиныхъ.

Кучеръ Илья, все время понукаемый, гналъ такъ, что одна лошадь пала на серединѣ дороги, и въ концѣ, при выѣздѣ на Петергофское шоссе, — другая.

Что произошло на дачѣ Нарышкиныхъ, государь не могъ потомъ вспомнить съ ясностью.

Темный свѣтъ, какъ во снѣ, и незнакомо-знакомыя лица, какъ призраки. Онъ узнавалъ среди нихъ то Марью Антоновну, которая бросалась къ нему на шею съ театралью-неестественнымъ воплемъ: „Alexandre!“ и съ давнишнимъ запахомъ духовъ противно-приторныхъ; то Дмитрія Львовича, который хотѣлъ плакать и не могъ, только высовывалъ языкъ неистово; то старую няню Василису Прокофьевну, которая твердила все одинъ и тотъ же коротенькій рассказъ о кончинѣ Софьи: умерла такъ тихо, что никто не видѣлъ, не слышалъ; рано утромъ, чуть свѣтъ, подошла къ ней Прокофьевна, видитъ, — спитъ, и отойти хотѣла, да что-то жутко стало; наклонилась, позвала: „Софенька!“—за руку взяла, а рука, какъ ледъ; побѣжала, закричала: „дѣктора!“ Докторъ пришелъ, поглядѣлъ, пощупалъ: часа два, говорить, какъ скончалась.

Въ комнатѣ, обитой бѣлымъ атласомъ съ алыми гвоздичками, открыта дверь на балконъ. Пахнетъ послѣ дождя грозowymi цвѣтами, земляною сыростью и скошенными травами. Вдали, освѣщенные солнцемъ бѣлые, на черно-синей тучѣ, паруса. Отъ вѣтра колеблется красное пламя дневныхъ свѣчей, и легкая прядь волосъ, изъ-подъ вѣнчика вьющихся, на лбу покойницы шевелится. Въ подвѣснечномъ платьѣ, томъ самомъ, котораго не хотѣла примѣривать, лежала она въ гробу, вся тонкая, острая, стройная, стремительная, какъ стрѣла летящая.

Онъ прикоснулся губами къ холоднымъ губамъ, увидѣлъ на груди ея маленькій портретъ императрицы Елисаветы Алексѣевны, изъ золотого медальона вынутый, — нельзя класть золота въ гробъ, — и глаза его встрѣтились съ глазами князя Валерьяна Михайловича Голицына, стоявшаго у гроба съ другой стороны: Софья была между ними, какъ будто соединяла ихъ—любимаго съ возлюбленнымъ.

Но темный свѣтъ еще потемнѣлъ, дневные огни закружились зелено-красными пятнами, и захрапѣла, какъ на дорогѣ давеча, уткнувшаяся въ пыль лошадиная морда съ кровавою пѣною на удилахъ и съ глазами такими же кроткими, какъ у императрицы Елисаветы Алексѣевны.

— Ничего, ничего, маленькій отливъ крови, сейчасъ пройдетъ, — услышалъ государь голосъ лейбъ-медика Римана, одного изъ двухъ докторовъ, лѣчившихъ Софью; а другой—лейбъ-медикъ Миллеръ—подавалъ ему рюмку съ водою, мутною отъ капель.

Зубы стучали о стекло, и съ виноватою улыбкою старался онъ поймать губами воду.

И опять ѣдетъ. Туда или оттуда? Впередъ или

назадъ? И все, что было, не было ли сномъ? Опять равнина безконечная, ни холмика, ни кустика, только однообразныя кочки торфяныхъ болотъ, да на самомъ краю чеба, гдѣ тучи ровно, какъ ножницами, срѣзаны, — заря мѣдно-желтая. И кажется, онъ ѣдетъ такъ уже давно, давно и никогда нигуда не пріѣдетъ.

— Тиру, тиру! — кричалъ Илья, натягивая вожжи. Коляска накренилась, едва не опрокинулась. Одна изъ двухъ лошадей, загнанныхъ давеча, лежала на дорогѣ. Живыя испугались мертвой, взвились на дыбы, шарахались, пятились. Каркая, поднялась стая вороновъ съ падали и полетѣла, черная, къ желтой зарѣ.

Илья, соскочивъ съ козелъ, налаживалъ сбрую и вытаскивалъ колесо изъ рытвины. Заглянулъ въ коляску: но государя не видно, не слышно. Спать?

Нѣтъ, не спать: откинулся въ темный уголъ; лицо поблѣднѣло, исказилось отъ ужаса, и широко раскрытыми глазами смотреть на дорогу, гдѣ нѣтъ никого.

Вернулся не въ Красное, а въ Царское. Не велѣлъ о своемъ пріѣздѣ докладывать, хотя зналъ, что государыня ждетъ и тревожится, потому что онъ обѣщалъ пріѣхать.

Прошелъ къ себѣ въ спальню; вспомнивъ, что не ѣлъ съ утра, почувствовалъ тошноту отъ голода; велѣлъ подать чаю. Спать хотѣлось такъ, что едва стоялъ на ногахъ, но легъ не сразу, а написалъ два письма. Одно — къ императрицѣ (часто переписывался съ нею изъ комнаты въ комнату). Записочка въ одну строку, по-французски:

„Elle est morte. Je reçois le châtiment de tous mes

égarements. Она умерла. Я наказанъ за всѣ мои грѣхи.“

Другое письмо къ Аракчееву:

„Не безпокойся обо мнѣ, любезный другъ, Алексѣй Андреевичъ. Воля Божья, — и я умѣю покоряться ей. Съ терпѣніемъ переносу мое сокрушеніе и прошу Бога, чтобы Онъ подкрѣпилъ силы мои душевныя. Ожидаю удовольствія съ тобою видѣться завтра и надѣюсь, что поѣздка моя и предметы, коими въ оной заниматься буду, разсѣять нѣсколько печальныя мои мысли.“

„Навѣкъ тебя искренно любящій Александръ“.

Легъ. Уже засыпалъ — вдругъ, какъ отъ внезапнаго толчка, проснулся. Вспомнилъ о томъ, что видѣлъ на дорогѣ давеча, когда стоя вороновъ, каркая, летѣла, черная, къ желтой зарѣ.

Старичокъ, похожій на тѣхъ нищихъ странниковъ, что ходятъ по большимъ дорогамъ, собираютъ на построеніе церквей. Лысенькій, сѣденькій, съ голубыми глазами, — „бѣдененькіе глазки, совсѣмъ какъ у теленочка“, — какъ у него самого въ зеркалѣ. Онъ уже видѣлъ его разъ, вскорѣ послѣ смерти отца, когда казалось, что сходить съ ума; не узналъ тогда, теперь знаетъ: это онъ самъ, государь, отъ престола отрeksiйся и сдѣлавшійся нищимъ странникомъ.

Видѣть себя — къ смерти. „Ну, что-жъ, — подумалъ, — вѣдь смерть тоже отреченіе, и, можетъ быть, лучшее. Все къ лучшему!“ — усмѣхнулся съ неожиданной легкостью, повернулся на привычный, лѣвый бокъ, положилъ щеку на руку и тотчасъ же заснулъ.

На слѣдующій день отправился осматривать военныя поселенія вмѣстѣ съ Аракчеевымъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ

„Россійское воинство подвигами своими не только отечество, но и всю Европу спасло и удивило: да вкусить же сладкую награду“, — сказано было въ манифестѣ объ окончаніи войны двѣнадцатаго года; этою сладкою наградою и были военныя поселенія.

Мечты о грядущемъ Іерусалимѣ, о ееократическомъ правленіи, о царствѣ Божіемъ на землѣ какъ на небѣ, привели въ Священному Союзу въ Европѣ и въ военнымъ поселеніямъ въ Россіи.

„Государь иногда дѣлаетъ зло, но всегда желаетъ добра“, — сказалъ о немъ кто-то. И учреждая поселенія, желалъ онъ добра. Если ошибался, то не онъ одинъ. Сперанскій сочинилъ книгу: „О выгодахъ и пользахъ военныхъ поселеній“; Карамзинъ полагалъ, что „оныя суть одно изъ важнѣйшихъ учрежденій нынѣшняго славнаго для Россіи царствованія“; генералъ Чернышевъ писалъ Аракчееву: „всѣ торжественно говорятъ, что совершенства поселеній превосходятъ всякое воображеніе. Иностранцы не опомнятся отъ зрѣлища для нихъ столь невиданнаго“.

И государь этому вѣрилъ. Когда же доносился

до него плачь народа: „защити, государь, крещеный народъ отъ Аракчеева!“—недоумѣвалъ и рѣшалъ дѣлать до конца добро людямъ, не ожидая отъ нихъ благодарности. „Мы, государи, знаемъ,—говорилъ,—что такъ же рѣдка на свѣтѣ благодарность, какъ бѣлый воронъ“.

Выѣхавъ изъ Царскаго, провелъ девять дней въ осмотрѣ поселеній, расположенныхъ по берегамъ Волхова.

Но въ первые дни путешествія поглощенъ былъ горемъ и старался только оглушить себя быстрымъ движеніемъ: что оно успокоиваетъ, зналъ по давнему опыту.

Отрадна была ему также близость къ Аракчееву. Какъ всегда въ горѣ, искалъ у него помощи, жался къ нему, точно испуганное дитя къ матери.

Бдучи съ нимъ въ одной коляскѣ, управлялъ на немъ шинель; только что повѣтъ холодкомъ или сыростью, укутывалъ его, застегивалъ; отъ комаровъ и мошекъ обмахивалъ вѣткою.

На девятый день утромъ переѣхали на поромѣ черезъ Волховъ. Отсюда начиналась Грузинская вотчина. Мужики, крѣпостные Аракчеева, поднесли государю хлѣбъ-соль.

— Здравствуйте, мужички!

— Здравія желаемъ, ваше величество!—крикнули тѣ по-военному, становясь во фронтъ.

— Нигдѣ я не видывалъ такихъ здоровыхъ лицъ и такой военной выправки, — замѣтилъ государь по-французски спутникамъ. „Чудесныя красоты поселеній“ начинали на него оказывать свое обычное дѣйствіе.

— По всему видно, что поселяне блаженствуютъ,—

согласился генералъ Дибичъ, новый начальникъ главнаго штаба.

Дорога шла высокою дамбою, обсаженною березами; слѣва—плоская равнина, справа—мутный Волховъ. День пасмурный, тихій и теплый. Небо съ тѣсными рядами сѣреныхъ тучъ, какъ будто деревянное, изъ ветхихъ бревенъ сколоченное, подобно стѣнамъ новгородскихъ избъ. Вдали—бѣлыя башни Грузина. Шоссе великолѣпное: колеса по песку едва шуршали.

— А что, братъ, какова дорожка?

— Не дорога, а масло, ваше величество. Вездѣ бы такія дороги—и умирать не надо! — проговорилъ бучеръ Илья, оборачиваясь къ государю и лукаво усмѣхаясь въ бороду: зналъ, чѣмъ угодить; зналъ также, что по этой чудесной дорогѣ никто не смѣлъ ѣздить: чугунными воротами запиралась она, отъ которыхъ ключи хранились у сторожа въ Грузинѣ; а рядомъ—боковая, общая, съ ухабами и грязью невылазной.

Продолжали осмотръ поселеній Грузинской вотчины второй и третьей дивизіи гренадерскаго корпуса. Тутъ порядокъ еще совершеннѣе; такая правильность, тождественность, „единообразіе“ во всемъ, что трудно отличить одно селеніе отъ другого.

Одинаковые розовые домики вытянулись ровно, какъ солдаты въ строю, на двѣ, на три версты, такъ что улица казалась безконечною; одинаковыя аллеи тощихъ березокъ, по мѣркѣ стриженныхъ; одинаковыя крылечки красныя, мостики зеленые, тумбочки бѣлыя. Все чисто, гладко, глянцевиито, точно лакировано.

Правила точнѣйшія на все: о метелкахъ, коими

подметаются улицы; о стеблахъ оконныхъ—„битыхъ отнюдь бы не было, понеже безобразіе дѣлають, а съ трещинкой дозволяется“; о свиньяхъ: „свиной не держать, потому что животныя сіи роютъ землю и, слѣдовательно, безпорядокъ дѣлають; если же кто просить будетъ позволенія держать свиней съ тѣмъ правиломъ, что оныя никогда не будутъ ходить по улицѣ, а будутъ всегда содержаться во дворѣ, таковымъ выдавать билеты; а если у такого крестьянина свинья выйдетъ на улицу, то брать оную въ гошпиталь и записать виновнаго въ штрафную книгу“.

Всѣ работы земледѣльческія—тоже по правиламъ: мужики по ротамъ расписаны, острижены, обриты, одѣты въ мундиры; и въ мундирахъ, подъ звукъ барабана, выходятъ пахать; подъ команду капрала идутъ за сохою, вытянувшись, какъ будто маршируютъ; маршируютъ и на гумнахъ, гдѣ происходятъ каждый день военныя ученія.

„Обмундированіе дѣтей съ шестилѣтняго возраста, — доносилъ Аракчеевъ государю, — по распоряженію моему, началось въ одинъ день, въ шесть часовъ утра, при ротныхъ командирахъ, въ четырехъ мѣстахъ вдругъ; и продолжалось такимъ образомъ къ центру, изъ одной деревни въ другую, при чемъ ни малѣйшихъ непріятностей не было, кромѣ нѣкоторыхъ старухъ, которыя плакали. Касательно же обмундированныхъ дѣтей, то я на нихъ любовался: они стараются поскорѣе окончить работы, а возвратясь домой, умывшись, вычистивъ и подтянувъ мундиры, немедленно гуляютъ кучами, изъ одной деревни въ другую, а когда съ кѣмъ повстрѣчаются, то становятся сами во фронтъ“.

Такъ и теперь, завидѣвъ государя, маленькіе солдатики вытягивались во фронтъ и тоненькими голосами выкрикивали:

— Здравія желаемъ, ваше величество!

— Ангелочки!—умилялся Дибичъ.

На улицахъ тишина мертвая: кабаки закрыты, пѣсни запрещены; дозволялось пѣть лишь канты духовныя.

Внутри домовъ—такое же единообразіе во всемъ: одинаковое расположеніе комнатъ, одинаковыя мебели, крашенныя въ дикую краску; на окошкѣ за померомъ четвертымъ — занавѣска бѣлая коленкоровая, задерживаемая на то время, пока дѣти женскаго пола одѣваются.

Здѣсь тоже правила на все: въ какіе часы открывать и закрывать форточки, мести комнаты, топить печки и готовить кушанье; какъ растить, кормить и обмывать младенца—36 параграфовъ. Параграфъ 25-й: „когда мать разсердится, то отнюдь не должна давать грудей младенцу“; 36-й: „старшина во время хожденія по избамъ осматриваетъ колыбельки и рожки. Правила сіи должны быть хранимы у образной кіоты, дабы всегда ихъ можно было видѣть.“

Для совершенія браковъ выстраивались двѣ шеренги, одна — жениховъ, другая — невѣстъ; опускались въ одну шапку билетки съ именами жениховъ, въ другую—невѣстъ и вынимались по жребію, пара за парю. А если кто заупрямится, то резолюція: „согласить“.

— У меня всякая баба должна каждый годъ рожать,—говорилъ Аракчеевъ:—если родится дочь, а не сынъ,—штрафъ, и если баба выкинетъ, тоже штрафъ,

а въ какой годъ не родить, представъ 10 аршинъ холста.

Государь и спутники его восхищались всѣмъ.

— Ахъ, ваше сіятельство, избалуете вы мужичковъ!—всплеснулъ руками Дибичъ, увидѣвъ на печныхъ заслонкахъ чугунныхъ амуровъ, вѣнчавшихъ себя розами и пускавшихъ мыльные пузыри.

Къ обѣду во всѣхъ домахъ подали такія жирныя щи и кашу такую румяную, что генералъ-майоръ Угрюмовъ, отвѣдавъ, объявилъ торжественно:

— Нектаръ и амброзія!

Когда же появился поросенокъ жареный, то всѣ убѣдились окончательно, что поселяне блаженствуютъ.

— Чего имъ еще надобно?

— Не житье, а масляница!

— Вѣкъ золотой!

— Царствіе Божіе!

Слезы навернулись на глазахъ у генерала Шкурина, а деревянное лицо Клейнмихеля такъ преобразилось, какъ будто созерцалъ онъ не деревню Собачьи-Горбы, а Іерусалимъ Небесный.

Осмотрѣли военный госпиталь. Здѣсь прекраснѣйшаго устройства ватерклозеты изумили лейбъ-хирурга Тарасова.

— Отхожія мѣста истинно царскія! — доложилъ онъ государю не совсѣмъ ловко.

— Иначе здѣсь и быть не можетъ, — замѣтилъ тотъ не безъ гордости и объяснилъ, что англійское изобрѣтеніе сіе введено въ Россіи впервые именно здѣсь, въ поселеніяхъ.

Аракчеевъ на минуту вышелъ. Въ это время одинъ изъ больныхъ потихоньбу всталъ съ койки, подошелъ къ государю и указалъ ему въ ноги.

Это былъ молодой человѣкъ съ полоумными глазами и застывшимъ испугомъ въ лицѣ, какъ у маленькихъ дѣтей въ родимчикѣ; опущенныя вѣки и раздвоенный подбородокъ съ ямочкой придавали ему сходство съ Аракчеевымъ.

— Встань, — приказалъ государь, не терпѣвшій, чтобъ кланялись ему въ ноги. — Кто ты? О чемъ просишь?

— Капитонъ Алилуевъ, графа Аракчеева дворový человѣкъ, живописецъ. Защити, спаси, помилуй, государь батюшка! — завопилъ онъ отчаяннымъ голосомъ; потомъ затихъ, боязливо оглянувшись на дверь, въ которую вышелъ Аракчеевъ, и зашепталъ что-то непонятное, подобное бреду, объ иконѣ Божьей Матери, въ подобіи великой блудницы, прескверной дѣвки, Настьки Минкиной, и о другой иконѣ самого графа Аракчеева; о бѣсахъ, которые ходятъ за нимъ, Капитономъ, мучаютъ его и не далѣе какъ въ эту ночь, задержатъ его до смерти; о тайныхъ злодѣйствахъ Аракчеева, „сатаны въ образѣ человѣческомъ“, котораго, однако, называлъ онъ почему-то „папашенькой“.

Государь замѣтилъ, что отъ него пахнетъ водкою; какъ достаютъ водку въ больницахъ, не любопытствовалъ, только поморщился. И всѣ немногіе сконфузились, какъ будто пробѣжала тѣнь по золотому вѣку Собачьихъ-Горбовъ.

Вошелъ Аракчеевъ и, увидѣвъ Капитона Алилуева, тоже какъ будто сконфузился; но сдѣлавъ знакъ, и больного схватили, потащили въ другую палату. Отбиваясь, кричалъ онъ дикимъ голосомъ:

— Черти! Черти! Черти васъ всѣхъ задержатъ! И тебя, папашенька!

Государю объяснили, что это пьяница въ бѣлой горячкѣ. Онъ велѣлъ Тарасову осмотрѣть больного и оказать ему врачебную помощь.

Самъ изъ простаго званія, сынъ бѣднаго сельскаго священника, Дмитрій Клементычъ Тарасовъ зналъ и любилъ простыхъ людей. Они тоже вѣрили ему, чувствовали, что онъ—свой человѣкъ, и охотно отвѣчали на его разспросы.

Оставшись въ больницѣ по отъѣздѣ государя, узналъ онъ вещи удивительныя.

Капитонъ Алилуевъ, пріемышъ и воспитанникъ грузинскаго протоіерея, о. Ѳедора Малиновскаго, по слухамъ, незаконный сынъ Аракчеева, взятъ былъ въ графскую дворню, обучался мастерству живописному, а также снимкѣ плановъ и черченію картъ у военнаго инженера Батенкова. Писалъ одновременно, по заказу Аракчеева, святые иконы въ соборѣ и непристойныя картины въ одномъ изъ павильоновъ грузинскаго парка. Былъ набоженъ, съ дѣтства собирался въ монахи. Кошунственные образа считалъ грѣхомъ смертнымъ. Совѣсть его замучила; началъ пить и допился до бѣлой горячки. Хотѣлъ утопиться; вытащили, высѣкли. Пуще запилъ и однажды въ изступленіи бросился на икону Божьей Матери, написанную имъ, Капитономъ, съ лицомъ Настасьи Минкиной, чтобы изрѣзать ее ножомъ; а когда схватили его, объявилъ, что и живую Настю зарѣжетъ. „Высѣчь хорошенько и показать“,—велѣлъ Аракчеевъ. Это значило: показать спину, хорошо ли высѣченъ. Палачи сжалились, облили ему спину кровью зарѣзанной курицы, какъ это иногда дѣлали въ подобныхъ случаяхъ, и этимъ спасли его отъ смерти. Но все же полумертваго послѣ экзекуціи, отправили въ госпиталь.

Узналъ Тарасовъ кое-что и о военныхъ поселеніяхъ.

Больницы прекрасныя, а всюду въ деревняхъ—горячки повальныя, цынга, кровавый поносъ, и люди мрутъ, какъ мухи; полы паркетныя, но больные не смѣютъ по нимъ ходить, чтобъ не запачкать, и прыгають съ постелей прямо въ окна; ученныя бабки, родильныя ванны, а беременную женщину высѣкли такъ, что она выкинула и скончалась подъ розгами; тридцать шесть правилъ для воспитанія дѣтей, а мать убила дитя свое: если, говорила, отнимають дитя у матери, то пусть лучше вовсе не будетъ его на свѣтѣ.

Чистота въ домахъ изумительная, но чтобы приучить къ ней, истребляются воза шпигрутеновъ. Мужики метутъ аллеи, а въ полѣ рожь сыплется; стригутъ деревца по мѣрѣ, а сѣно гниетъ. Печныя заслонки съ амурами, а топить нечѣмъ. Къ обѣду поросенокъ жареный, а ѣсть нечего; одинъ шалунъ изъ флигель-адъютантовъ государевыхъ отрѣзалъ однажды поросенку ухо въ первой избѣ и приставилъ на то же мѣсто въ пятой: пока государь переходилъ изъ дома въ домъ по улицѣ, жаркое переносилось по задворкамъ. Кабаки закрыты, а посуду съ виномъ провозятъ въ хвостахъ лошадиныхъ. Всѣ пьютъ мертвую, а кто не пьетъ,—мѣшается въ умѣ или руки на себя накладываетъ. Цѣлыя семейства уходятъ въ болота, *во мхи*, чтобы тамъ заморить себя голодомъ.

„Спаси, государь, крещеный народъ отъ Арабчеева!“—готовъ былъ воскликнуть Тарасовъ, слушая эти рассказы. Любилъ царя, зналъ доброе сердце его и не понималъ, какъ можетъ онъ обманываться такъ.

Или правъ Капитонъ, что тутъ наводненіе бѣсовское?

А государь въѣхалъ въ Грузино съ тѣмъ чувствомъ, которое всегда испытывалъ въ этихъ мѣстахъ: какъ будто усталый путникъ возвращался на родину; вотъ гдѣ все позабыть, отъ всего отдохнуть, успокоиться. „Я у тебя, какъ у Христа за пазухой!“—говаривалъ хозяину.

Было и другое чувство, еще болѣе сладостное: вспоминая „рай земной“ военныхъ поселеній, вкушалъ отраду единственную, которая оставалась ему въ жизни: будучи самому несчастнымъ, дѣлать другихъ счастливыми.

Съ этой отрадой въ душѣ уснулъ такъ спокойно въ ту ночь, какъ уже давно не спалъ.

У Аракчеева бывали бессонницы: ляжетъ, потушитъ свѣчу, закроетъ глаза, но, вмѣсто того, чтобы заснуть, начнетъ думать о смерти и почувствуетъ тоску, сердцебіеніе, разстройство нервовъ и совершенную бессонницу.

Такой припадокъ случился съ нимъ и въ эту ночь. Долго съ боку на бокъ ворочался; принялъ миндально-анисовыхъ капель съ пырейнымъ экстрактомъ,—не помогло. Всталъ, надѣлъ сѣрый длинно-полый сюртукъ, въ родѣ шлафрока, который всегда носилъ въ Грузинѣ—щегольства не любилъ—и пошелъ бродить по комнатамъ.

Искалъ, чѣмъ бы заняться, чтобъ разсѣять скуку. Провѣрялъ висѣвшіе на стѣнахъ инвентари вещей въ каждой комнатѣ, съ предостерегающей надписью: „глазами гляди, а рукамъ воли не давай“. Осматривалъ, все ли въ порядкѣ, разставлены ли вещи, какъ слѣдуетъ, не пропало ли что, нѣтъ ли гдѣ

изъяна — паутины, грязи, пыли; мочилъ слюною платокъ, ложился на полъ, подлѣзалъ подъ мебель и пробовалъ, чисто ли выметенъ полъ, не потемнѣетъ ли платокъ отъ пыли. Но пыли не было. Кряхтя и охая, подымался опять на ноги и начиналъ бродить.

Уставалъ, присаживался, перебиралъ лежавшіе на столахъ презенты и сувениры; нашелъ стихи поэта Олина къ портрету графа Аракчеева:

Какъ русскій Цинциннатъ, въ душѣ своей спокоенъ,
Вѣнокъ гражданскій свой повѣсилъ онъ на плугъ.

Другъ Александра, правды другъ,
Нелестный патріотъ, онъ вѣчныхъ бронзъ достоенъ.

Стихи не утѣшили. Просматривалъ счетныя книги, въ которыя мельчайшимъ почеркомъ заносились домашніе расходы: когда сахарная голова куплена и на куски изрублена; сколько вышло бутылокъ вина, ложекъ постнаго масла въ третью рѣдъку людямъ на ужинъ, миткалю дворовымъ дѣвкамъ на косынки, пестряди кучерамъ на рубахи. Расходы непомерны: этакъ и разориться недолго! Лучше не думать, а то еще больше разстроишься.

Принялся читать *винныя книжки*, въ которыхъ вины и штрафы записаны: кому за какую вину сколько розогъ. Вспомнилъ у дежурнаго мальчика ~~незавитые~~ волосы; записалъ и началъ воображаемый выговоръ воображаемому дворецкому: „предписываю тебѣ строгое за онымъ смотрѣніе имѣть, а то спина твоя долго заживать не будетъ...“

Начавъ говорить, не могъ остановиться: ровнымъ, гнусавымъ и тягучимъ голосомъ выматывалъ душу незримому слушателю:

— Люди должны дѣлать все, что нужно, а если

дурно будутъ дѣлать, то на оное розги есть. Мнѣ очень мудрено кажется, будто людей нельзя содержать такъ, чтобы все аккуратно дѣлали...

То хныкалъ жалобно:

— Огорчилъ ты меня, старика, а всякое огорченіе меня убиваетъ и приближаетъ къ концу дней моихъ, къ чему и готовлюсь. Знаешь мой мнительный характеръ, что со мною нужно обходиться ласково...

То гнѣвно покрикивалъ:

— Въ Сибирь не сошлю, а лучше самъ забью!

И повторялъ много разъ тихимъ, замирающимъ, какъ будто ласковымъ, шопотомъ:

— Высѣчь хорошенечко! Высѣчь хорошенечко!

Опомнился, оглянулся, увидѣлъ, что никого нѣтъ, махнулъ рукою безнадежно и опять пошелъ бродить; не находилъ себѣ мѣста: такая скука, что хотъ плачь; стоналъ и охалъ отъ скуки, какъ отъ боли. Не зайти ли къ Настенькѣ? Нѣтъ, не хочется. Кваску бы—въ горлѣ что-то смякло? Нѣтъ, и кваску не хочется. Ничего не хочется. Скука смертная, пустота зіяющая, которой ничѣмъ не наполнить. Съ ума сойти можно. Испугался, опять принялъ капель, опять не помогло.

Самъ не помнилъ, какъ очутился внизу, въ библіотекѣ; тутъ же арсеналъ и застѣнокъ; кадки съ разсоломъ, въ которомъ мокнуть свѣжія розги. Попробовалъ на языкѣ одну, солона ли, какъ слѣдуетъ.

Взглянулъ на корешки любимыхъ книгъ, на особую полку отставленныхъ, единственныхъ, которыя читалъ: „Молодой дикій или опасное стремленіе первыхъ страстей“. — „Дикій человекъ, смѣющійся учености и нравомъ нынѣшняго свѣта“. — „Нѣжныя объятія въ бракѣ и потѣхи съ любовницами“.

„Великопостный конфетъ“. — „Путь въ безсмертному сожитію ангеловъ“. — „Египетскій оракулъ, или полный и новѣйшій гадательный способъ“. — „Опытъ употребленія времени и самого себя“.

Попробовалъ читать „Опытъ“. Нѣтъ, скучно, да и темно. Заглянулъ въ рисунки шлагбаумовъ и будокъ; на минуту заняло; но сдѣлалось душно, запахло отъ книгъ мышами и сыростью, отъ моченыхъ розогъ — баннымъ вѣникомъ. Захотѣлось на свѣжій воздухъ: не полегчаетъ ли хоть тамъ?

Надѣлъ вязаный шарфъ и кожаные калоши; носилъ ихъ даже въ сухую погоду: неровень часъ, дождикъ пойдетъ, ноги промочишь, простудишься, горячку схватишь — много ли человѣку надо?

Проходя въ передней мимо зеркала, увидѣлъ нечаянно лицо свое, — испугался еще больше: худъ, блѣденъ, зеленъ — „шкелеть шкелетомъ“. Отвернулся и плюнулъ съ досадою.

Вышелъ въ садъ. Бѣлая, жаркая, душная ночь. Тишина — только комары жужжать да лягушки квакаютъ. Сѣрая, въ сѣромъ свѣтѣ, зеленъ, какъ пепель. Туманъ, какъ банный паръ. Березовымъ вѣникомъ пахнетъ и здѣсь, какъ моченою розгою. Дышать нечѣмъ. И пельзя понять, есть ли тучи на небѣ, — такое оно ровное, бѣлое, пустое: кажется, и тамъ, въ небѣ, какъ въ немъ, пустота віющая, скука бездонная.

Осматривалъ дорожки, чисто ли выметены. Чистоты въ саду требовалъ такой же, какъ въ комнатахъ: кто бы ни прошелъ по аллеѣ, — дежурный садовникъ заметалъ слѣдъ метлою.

Множество памятниковъ, надгробныхъ плитъ: „Милой Діанкѣ“, „Вѣрному Жучку“, „Сынъ въ па-

мать родителям". Похоже на владбище, и самъ онъ, какъ могильный выходецъ: можетъ быть, умеръ давно, встаетъ изъ гроба, ходитъ по владбищу и будетъ ходить такъ до скончанія вѣка.

Вернулся къ дому. На крыльцѣ у бокового флигеля кто-то сидѣлъ. Мѣсто глухое; тутъ и днемъ рѣдко ходятъ: слѣва — дремучіе кусты акаціи, справа — стѣна нежилого флигеля. Кто это? Сѣрый, страшный, похожій на призракъ. Капитонъ Алилуевъ, сумасшедшій. Въ сѣромъ больничномъ халатѣ и бѣломъ колпакѣ, сидитъ на завалинкѣ, высматриваетъ, какъ будто ждетъ кого-то. Ужъ не его ли? „Зарѣжетъ!“ — подумалъ Аракчеевъ и хотѣлъ шмыгнуть въ кусты, но было поздно: тотъ увидѣлъ его и закивалъ головою, поманилъ пальцемъ. Безъ голоса, только по движенію губъ, видно было, шепчетъ:

— Папашенька! Папашенька!

И тихо смѣется.

За угломъ флигеля — парадное крыльцо; тамъ часовые подъ окнами спальни государевой. Закричать бы, да голоса нѣтъ; побѣжать бы, да ноги не слушаютъ. А тотъ все манить да манить, какъ будто знаетъ, что онъ отъ него не уйдетъ. И вдругъ потянуло къ нему Аракчеева. Подошелъ, опустился рядомъ на завалинку. Капитонъ молча глядѣлъ на него, смѣялся, кивалъ головою, на бѣломъ колпакѣ качалась кисточка.

— Что ты, что ты здѣсь, Капитоша, дѣлаешь, а? — произнесъ Аракчеевъ осторожно, хитро и ласково.

— Государя жду, — подмигнувъ ему сумасшедшій съ такимъ лукавствомъ, что видно было, перехитрить его не такъ-то легко.

— А зачѣмъ тебѣ государь?

— Доносъ имѣю.

— На кого?

— На васъ, папашенька.

— А какъ ты сюда изъ больницы пришелъ?

— Черти принесли; все черти носятъ, а скоро и совсѣмъ унесутъ, задерутъ до смерти.

— Охъ, Капитоша, миленькій, не говори лучше о нихъ на ночь, не накливай!

— Чего накливать? И такъ всегда съ вами. Вишь, ихъ сколько! Бѣсъ Колотунъ на плечѣ, сѣсъ Щекотунъ на пупѣ, бѣсъ Болтунъ на языкѣ, — три большихъ, а десять маленькихъ, Свѣрбѣй Свѣрбѣичей, на каждомъ пальчикѣ...

Аракчеевъ хотѣлъ перекреститься, но руба не поднялась.

— А за что же они тебя задерутъ, Капитошенька?

— За иконы бѣсовскія, дѣвки поганой Настьки во образѣ Владычицы да Аракчеева изверга во образѣ Спасителя. Только вы не думайте, папашенька: не меня одного, — и васъ. Вмѣстѣ на судъ предстанемъ!

Опять помолчали, глядя другъ на друга такъ, что казалось, уже не одинъ, а два сумасшедшихъ.

— За что же ты на меня государю жаловаться хочешь?

— Будто не знаете? За кровь неповинную! За утопленныхъ, удушенныхъ, разстрѣлянныхъ, запоротыхъ, за дѣтей, за женъ, за стариковъ, за весь народъ православный, за всю Россію! И за самого государя! И за мою, за мою кровь!..

Послышался стукъ барабана, бившаго зорю вдали, на гауптвахтѣ, и вблизи, по дорогѣ, шаги часовыхъ.

— Караулъ! — хотѣлъ крикнуть Аракчеевъ, но крикъ его былъ слабымъ шопотомъ.

Въ послѣдній разъ погрозилъ ему сумасшедшій кулакомъ и вдругъ пустился бѣжать, — замелькали только полы сѣраго халата въ сѣромъ сумракѣ.

— Караулъ!—закричалъ Аракчеевъ уже во весь голосъ.—Лови! Лови! Лови!

Прибѣжали часовые; долго не могли понять, что случилось. Наконецъ, растолковалъ онъ кое-какъ. Начали искать; обыскали, обшарили все и никого не нашли. Алилуевъ исчезъ; какъ будто сквозь землю провалился или, въ самомъ дѣлѣ, черти его унесли.

Вернувшись домой, Аракчеевъ вошелъ въ спальню, легъ не раздѣваясь и погрузился не то въ сонъ, не то въ обморокъ.

Всталъ поутру больной, разбитый; но никому не говорилъ о томъ, что было ночью,—должно быть, стыдился.

Послѣ утренняго чая, повелъ государя въ садъ показывать новыя затѣи—цвѣтники, дорожки, бесѣдки.

Увидѣвъ кошку, подозвалъ дежурнаго мальчика-садовника: велѣно кошекъ въ саду ловить и вѣшать, чтобъ соловьевъ не пугали; Аракчеевъ былъ такъ чувствителенъ къ соловьиному пѣнію, что иногда, слушая, плакалъ. Въ другое время высѣкъ бы мальчика, но при гостяхъ совѣстно; только взялъ его за ухо, ущипнулъ и спросилъ:

— Кошечка?

— Виновать, ваше сіятельство.

— А знаешь, какая разница между трутомъ и мальчикомъ?

— Не знаю.

— Ну такъ я тебѣ скажу, дусенька: труть прежде высѣкутъ, а потомъ положить, а мальчика сперва положить, а потомъ высѣкутъ. Помни!

Спустились къ пруду, сѣли въ лодку и переправились на островокъ съ бесѣдкою-храмомъ, посвященнымъ памяти генералъ-отъ-артиллеріи Мелессино, у котораго графъ началъ свою карьеру. Въ бесѣдкѣ находились непристойныя картины, писанныя Капитономъ Алилуевымъ, скрытыя подъ зеркалами, которыя открывались на потайныхъ пружинахъ.

Хозяинъ, первый, вошелъ посмотрѣть, все ли въ порядкѣ.

— Онъ! Онъ! Онъ! Не входите! Зарѣжетъ!— закричалъ онъ, выбѣгая, въ ужасѣ и повалился на руки государю, почти безъ памяти.

Гости бросились въ бесѣдку. Въ ней было темно отъ высокихъ деревьевъ, заслонявшихъ окна. Въ самомъ темномъ углу, между двухъ зеркалъ, стоялъ кто-то; не видно было, что онъ тамъ дѣлаетъ.

Дибичъ подошелъ, увидѣлъ посинѣвшее лицо, выпученные глаза и высунутый языкъ; протянулъ руку, дотронулся и тотчасъ отдернулъ ее: стоявшій качнулся, какъ будто хотѣлъ на него упасть.

— Удавился кто-то,—сказалъ Дибичъ.

— Выньте же изъ петли скорѣе!—велѣлъ государь, входя въ бесѣдку. — Осмотри-ка, Тарасовъ, нельзя ли въ чувство привести.

Самоубійцу сняли съ петли, — онъ висѣлъ такъ низко, что согнутыя ноги почти касались пола, — и положили на полъ. Государь наклонился и узналъ Капитона Алилуева.

— Умеръ?

— Точно такъ, ваше величество,—отвѣтилъ Тарасовъ:—должно быть, еще въ ночь повѣсился.

— Что это? — указалъ государь на бумагу, которую сжималъ мертвецъ въ окоченѣвшей рукѣ такъ

вѣрно, что Тарасовъ едва могъ вынуть ее, не разорвавъ. Запечатанный конвертъ съ надписью: „его императорскому величеству, секретно“.

Тарасовъ подалъ письмо государю. Тотъ хотѣлъ передать Клейнмихелю, но подумалъ и сунулъ замышлягъ рукава.

Аракчеевъ не входилъ въ бесѣдку; сидя на крыльцѣ, стоналъ, охалъ и пилъ воду изъ ковшика, который подавали ему солдаты-гребцы. Почти на рукахъ снесли его въ лодку и отвели домой подъ руки. Отъ испуга сдѣлалось у него сильнѣйшее разстройство желудка. Государь встревожился, но Тарасовъ успокоивалъ его, что болѣзнь пустячная, велѣлъ пить ромашку и поставить промывательное. Государь весь день не отходилъ отъ больного, ухаживалъ за нимъ, заваривалъ ромашку и собственными руками готовъ былъ ставить клистирь.

Ночью, оставшись одинъ, распечаталъ письмо Алилуева; но, увидѣвъ доносъ на Аракчеева, не сталъ читать, только заглянулъ въ начало и конецъ.

„Ваше императорское величество, государь всемилостивѣйшій! Единая мысль о военныхъ поселеніяхъ наполняетъ всякую благомыслящую душу терзаніемъ и ужасомъ“...

А въ концѣ:

„Военныя поселенія суть самая жесточайшая несправедливость, какую только разъяренное зловластие выдумать могло“...

„Нѣтъ, это не онъ писалъ, куда ему, пьяницѣ,—подумалъ государь:—кто-нибудь сочинилъ для него. Ужъ не изъ нихъ ли кто?“

Они всегда и вездѣ были члены Тайнаго Общества.

Взялъ свѣчу, зажегъ бумагу и бросилъ въ каминъ.

Спалъ такъ же спокойно, какъ въ прошлую ночь.

На слѣдующій день назначенъ былъ отъѣздъ государя. Аракчееву сразу полѣгчило, когда доложили ему, что мертвое тѣло Алилуева, зашитое въ мѣшокъ съ камнемъ, брошено въ Волховъ. Перекрестился и началъ играть съ Клейнмихелемъ въ бостонъ по грошу: значить, выздоровѣлъ.

Въ центрѣ Грузинской вотчины, въ деревнѣ Любуни, на пригорѣхъ, стояла башня, наподобіе каланчи пожарной. Отсюда видно было все, какъ на ладони. На верхушкѣ башни — золотое яблоко, сверкавшее, какъ огонь маяка, и Золова арфа съ натянутыми струнами, издававшими подъ вѣтромъ жалобный звукъ. Поселяне, проходя мимо подъ вечеръ, шептали въ страхъ:

— Съ нами сила крестная!

На башню эту пригласилъ хозяинъ гостей своихъ въ день отъѣзда, чтобы въ послѣдній разъ полюбоваться Грузинымъ.

Поднялись на вышку, установили подзорную трубку и начали обозрѣвать съ высоты птичьяго полета селенья: Хотитово, Модню, Мотылье, Катовицу, Выю, Графскую слободку. Не сельскій видъ, а геометрическій чертежъ: правильно, какъ по линейкѣ и циркулю, расположенные поля, луга, сѣнокосы, пашни, — каждый участокъ за номеромъ; прямая шоссе, прямая канавы, прямая просѣки и уходящія въ даль безконечными прямыми линіями сажени дровъ — каждая сажень тоже за номеромъ. Тамъ, гдѣ росли когда-то сосны мачтовые, теперь и трава не растетъ, все вырублено, выравнено, вычищено, какъ будто надо всѣмъ пронесся вихрь опустошающій. На лицѣ земли — не-земная скука, такая же какъ на лицѣ Аракчеева.

Вспомнился Тарасову слышанный въ больницѣ разсказъ о томъ, какъ производится военная нивелировка мѣстности: солдаты сносятъ цѣлыя селенія, разрушаютъ церкви, срываютъ кладбища и воюющихъ старухъ стаскиваютъ съ могилъ замертво, а старики шепчутъ другъ другу на ухо: „свѣтопреставленіе, Антихристъ пришелъ!“

Но, кромѣ Тарасова, всѣ восхищались, а государь больше всѣхъ. Онъ готовъ былъ вѣрить въ давнюю мечту свою—распространить на всю Россію военныя поселенія: одинаковыя повсюду деревни-казармы, одинаковыя розовыя домики, бѣлыя тумбочки, зеленые мостики; прямыя аллеи, прямыя канавы, прямыя просѣки; и вездѣ мужики въ мундирахъ, за сохой марширующие; вездѣ къ обѣду поросенокъ жареный; на заслонкахъ амуръ чугунныя, ватерклозеты истинно-царскіе. Никакихъ революцій, никакихъ Тайныхъ Обществъ. Рай земной, Царствіе Божіе, Грядущій Сіонъ. По Писанію: всякій долъ да наполнится, всякая гора и холмъ да понизятся; кривизны выпрямятся и неровныя пути сдѣлаются гладкими.

— Любезный другъ, Алексѣй Андреевичъ, — сказалъ государь, обнимая Аракчеева, — благодарю тебя за всѣ твои труды.

— Радъ стараться, ваше величество! Все для васъ, все для васъ, батюшка, — всхлипнулъ Аракчеевъ и упалъ на грудь государя. — Повелѣть извольте — и всю Россію военнымъ поселеніемъ сдѣлаемъ...

А на Эоловой арфѣ струны гудѣли жалобно и, казалось, плачетъ въ нихъ душа Капитона Алилуева вмѣстѣ съ душами всѣхъ замученныхъ:

— Антихристъ пришелъ!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ЗАПИСКИ КНЯЗЯ ВАЛЕРЬЯНА МИХАЙЛОВИЧА ГОЛИЦЫНА.

1824 года, января 1. „Государи Россійскіе суть главою церкви“. Изреченіе сіе находится въ актѣ о престолонаслѣдіи, читанномъ въ Москвѣ, въ Успенскомъ соборѣ, при восшествіи на престолъ императора Павла Перваго. Разговоръ о томъ съ Чаадаевымъ весьма примѣчательный. Поставленіе царя земного главою церкви на мѣсто Христа, Царя Небеснаго, не только есть кощунство крайнее, но и совершенное отъ Христа отпаденіе, пріобщеніе же къ иному, о коемъ сказано: „иной прійдетъ во имя свое; его примете“.

1824 года, іюля 2. Болѣе года, какъ записки сіи въ Парижѣ начаты и оставлены. Тотъ разговоръ съ Чаадаевымъ послѣдній. Пріѣхавши въ Россію, не до записокъ было.

Теперь опять пишу на досугѣ: болѣзнь досужимъ дѣласть. Боленъ, а чѣмъ—не знаю. Полковой штабъ-лѣкаръ Коссовичъ, старичокъ добренькій, сущая божья коровка, который пользуется меня, говоритъ на-двое:

то ли меланхолія отъ разстройства печени, то ли скрытая горячка нервическая.

— Вамъ,—говорить,—надобно пѣвки поставить.

— Ну что-жъ,—говорю,—ставьте, будутъ пѣвки на пѣвку...

Испугался онъ, думаетъ, брежу.

— Какъ это,—говорить,—пѣвки на пѣвку?

— Да вы же, докторъ, сами говорили давеча, что люди, одно худое во всемъ видящіе, цирюльничьимъ пѣвкамъ подобны, сосущимъ кровь негодную. Въ этомъ и болѣзнь моя. Помогите, если можете...

— Нѣтъ,—говорить,—лѣкарства наши отъ этого не пользуютъ: тутъ иное потребно лѣченіе, духовное.

— Философія, что ли?

— Зачѣмъ философія? Свѣтильникъ оной въ бурѣ бѣдствій человѣческихъ озаряетъ менѣе, чѣмъ одна малая лампада передъ образомъ Дѣвы Святой...

— Благодарю покорно, съ меня и дядюшкиныхъ лампадокъ довольно: нынче постное масло дешево. Лучше ужъ пѣвки!

Разсмѣялся я; преглуный и прегадкій смѣхъ, а не могу удержаться: иной разъ плакать хочу, а смѣюсь.

А старичокъ мой разсердился и сдѣлался похожъ на сердитую божью коровку. Тоже вѣдь — мистикъ, тоже членъ Тайнаго Общества (не мы одни на свѣтѣ), Филадельфійской церкви госпожи статской совѣтницы Татариновой.

Июль 3. Третья недѣля съ кончины Софьи. Если бы я плакать могъ,—и пѣвокъ не надо бы, да вотъ не могу.

Софьиная няня, Василиса Прокофьевна, на пани-

хидяхъ все чашку съ водою на подоконникъ ставила: „чтобъ душенькѣ омыться было въ чемъ“,—говорила съ такою увѣренностью, какъ бы живой умыться давала. А для насъ, дряхлаго дѣдушки Вольтера дряхлыхъ внуковъ, „мнѣнія о безсмертіи души—не безъ нѣкотораго мрака“, какъ родной мой дѣдушка, вольтерьянинъ сказывалъ. „Увидимся, если не спалимъ“,—онъ же говаривалъ: спалить, значитъ умереть. А мы, дѣдушкины внуки, и спалить не умѣемъ, какъ слѣдуетъ.

Недаромъ, видно, Софья остерегала, что оный поганый смѣшокъ и у меня къ старости будетъ. А, чай, и теперь уже есть?

Не въ Премудрую Благость, которая надъ міромъ царствуетъ, по Шеллингу, а въ Обезьяну, по Гольбаховой системѣ, вѣруемъ. „Представь себѣ судьбу въ видѣ огромной обезьяны. Кто ее посадить на цѣпь? Ни ты, ни я. Значить, дѣлать нечего и говорить нечего“,—писалъ Пушкинъ Вяземскому, когда у того ребенокъ умеръ. Дѣлать нечего и плакать нечего. А смѣяться можно; видѣть во всемъ дурное, смѣшное и наливаться, какъ ньявка, черною кровью.

Сумасшедшіе сами съ собой разговариваютъ: кажется, записки сін—такой разговоръ сумасшедшаго.

Июль 4. Письмо отъ тетюшки; въ деревню зоветъ. Нѣтъ, не поѣду. Мнѣ и здѣсь хорошо, въ пустой квартирѣ, въ старомъ Бауеровомъ домѣ, у Прачешнаго моста. Окна мѣломъ замазаны; зеркала и мѣбли въ чехлахъ; пустыя комнаты, по которымъ ходить можно взадъ и впередъ, а когда устанешь—о Кульмской битвѣ реляціи читать на пожелтѣвшемъ листкѣ Сенатскихъ Вѣдомостей, —ваза въ нихъ, на столикѣ въ углу,

завернута; или, на диванѣ лежа, уткнуться носомъ въ заплатку стараго чехла: столько, глядячи на нее, передумано, что заплатка сія будетъ мнѣ памятна. А если жарко, — окно открыть; тогда изъ Фонтанки тухлою рыбою пахнетъ, дегтемъ съ торцовой мостовой, которую чинятъ, и сосновыми дровами, что барочки возятъ въ тачкахъ по узенькимъ доскамъ на набережной. А иногда вдругъ изъ Лѣтняго сада повѣетъ медовою свѣжестью липъ — и старыя липы покровскія вспомнятся, у пруда, за теплицами, гдѣ читали мы съ Софьей *Людмилу Жуковскаго*

Конченъ, конченъ путь, Людмила!
Намъ постель—темна могила,
Завѣсъ—саванъ гробовой.
Сладко спать въ землѣ сырой...

Сладко спать—если бы только не страшные сны. Все Атька мартышка снится, въ видѣ той Обезьяны, о которой писалъ Пушкинъ Вяземскому; на лицо мнѣ мохнатою шерстью навалится, душить; а тутъ же гдѣ-то, точно комарикъ, жужжитъ мнѣ на ухо мой милый Саша, мой тихій мальчикъ: „Премудрая Благость надъ міромъ царствуетъ“.

И я смѣюсь, я и во снѣ смѣюсь; кажется, и умирать буду съ этимъ поганымъ смѣхомъ.

Юля 8. Сочинитель Грибоѣдовъ живетъ у Одоевскаго. Они — друзья. А я не люблю Грибоѣдова. Иные — ножомъ, иные—пулей, иные—петлей, а онъ смѣхомъ себя убиваетъ.

Я, говорятъ, на него похожъ. Не дай Богъ. Неужели и у меня такой же смѣхъ,—точно мертвыя восты изъ мѣшка сыплются?

Намедни читалъ онъ *Горе отъ ума* въ большомъ

обществѣ. Сѣлъ за столъ, положилъ рукопись. А Василий Михайловичъ Оедоровъ, старичокъ простенькій, плохой сочинитель плохой драмы *Лиза или слѣдствіе обольщенія и юродости*, подошелъ, взялъ рукопись и взвѣсилъ ее на рукѣ.

— Ого, — говоритъ, — тяжеленька: стоитъ моею *Лизы*!

Грибоѣдовъ поглядѣлъ на него изъ-подъ очковъ и процѣдилъ сквозь зубы:

— Я не пишу пошлостей.

Оедоровъ сконфузился.

— Никто въ этомъ не сомнѣвается, Александръ Сергѣевичъ. Я не только не хотѣлъ васъ обидѣть сравненіемъ со мной, но, право, готовъ первый смѣяться...

— Вы надъ собой смѣяться можете, а я никому не позволю.

— Ну, право же, я вовсе не думалъ...

— О, я увѣренъ, что вы сказали не подумавши!

Хозяинъ видѣлъ, что дѣло плохо; подошелъ къ Оедорову и взялъ его за плечи.

— А вотъ мы въ наказаніе Василія Михайловича въ задній рядъ креселъ посадимъ.

— Сажайте, куда угодно, но я при немъ читать не буду, — объявилъ Грибоѣдовъ, всталъ и началъ ходить по комнатѣ, кура сигарку.

Оедоровъ краснѣлъ, блѣднѣлъ, чуть не плакалъ, бѣдненькій; наконецъ, взялъ шляпу.

— Очень жалѣю, Александръ Сергѣевичъ, что невинная шутка моя была причиной такой непріятности, но чтобы не лишать хозяина и гостей удовольствія слышать вашу комедію, я ухожу.

Одоевскій говоритъ: „узнать Грибоѣдова, значитъ полюбить“. Можетъ быть, я не люблю его, потому

что себя не люблю, боюсь его, какъ двойника своего.

Июля 9. У Одоевскаго завтракалъ. Голова разболѣлась. Хозяинъ уложилъ меня въ свой кабинетъ, опустилъ шторы и обвязалъ мнѣ голову полотенцемъ съ уксусомъ. Задремалъ я. Проснулся отъ разговора въ сосѣдней комнатѣ.

— Сочинитель Фамусова и Скалозуба, слѣдовательно, веселый человѣкъ. Тѣфу, злодѣйство! Да мнѣ вовсе не весело, скучно, несносно, отвратительно. Завиваюсь чужимъ вихремъ, живу не въ себѣ. А время летитъ; въ душѣ горитъ пламя, въ головѣ рождаются мысли. Отчего же я нѣмъ, нѣмъ, какъ гробъ? Гожусь ли я на что-нибудь, умѣю ли писать,—право, для меня все еще загадка. Душа черствѣетъ, разсудокъ затмевается; впереди темно, тоска неизвѣстная... Воля твоя, если это еще долго меня промучитъ, я никакъ не намѣренъ вооружиться терпѣніемъ,—пусть оно останется добродѣтелью тяглаго скота... Саша, Саша, голубчикъ, ну, помоги, ради Христа скажи, что мнѣ дѣлать, чѣмъ избавить себя отъ сумасшествія или пистолета, а я чувствую, что то или другое у меня впереди...

„Вотъ тебѣ, Вася, и рѣйка!“—вспомнилось мнѣ словцо секунданта Каверина надъ убитымъ Шереметевымъ.

Жутко стало, какъ будто подслушалъ я двойника своего, который мнѣ же обо мнѣ рассказывалъ.

Одоевскій утѣшалъ Грибоѣдова, но тотъ, уже не слушая, сѣлъ за клавесинъ и началъ играть. Игралъ долго. Такъ цѣлыми часами можетъ импровизировать забывъ обо всемъ. Кажется иногда, что настоящее призваніе его не литература, а музыка.

Я опять задремалъ и не слышалъ, какъ собрались наши. Говорили, должно быть, о дѣлахъ Тайнаго Общества. Проснулся отъ того, что музыка умолкла и мертвыя кости изъ мѣшка посыпались: Грибоѣдовъ смѣялся.

— Ну, полно, господа, вздоръ молоть!

— Почему вздоръ?

— Сто человѣкъ прапорщиковъ хотятъ въ Россіи сдѣлать революцію!

— Не сто человѣкъ, а весь народъ...

— Ну, народъ лучше оставьте.

Я вошелъ въ комнату. Грибоѣдовъ сжалъ свои тонкія губы, посмотрѣлъ изъ-подъ очковъ и прибавилъ уже безъ смѣха, съ неизъяснимою горечью:

— Народу до насъ дѣла нѣтъ. Онъ разрозненъ съ нами навѣки. Господа и крестьяне въ Россіи—двухъ разныхъ племенъ. И какимъ чернымъ волшебствомъ это сдѣлалось, что мы чужіе между своими? Изверги, шуты гороховые, хуже, чѣмъ нѣмцы, Петрушкины дѣти...

— Какой Петрушка?

— Да онъ же, любимчикъ вашъ, Петръ Великій, чтобъ ему!..

Выругался, засмѣялся опять и забренчалъ однимъ пальцемъ по клавишамъ рылѣевскую пѣсенку:

Ахъ, гдѣ тѣ острова,
Гдѣ растетъ тринѣ-трава,
Братцы?

— Ну, право же, господа, поѣдѣте-ка лучше въ Шустеръ-клубъ. Сколько тамъ портеру и какъ дешево! Зададимъ тринкену и къ чорту политику!

Идучи домой съ Иваномъ Ивановичемъ Пущи-

нымъ, напомнилъ я ему, какъ намеренъ Грибоѣдовъ звалъ насъ въ церковь: „въ храмахъ Божьихъ,—говорить,—собираются русскіе люди, думаютъ и молятся по-русски. Мы—русскіе только въ церкви“.

Пушинъ задумался.

— Что-жъ,—говорить,—а, вѣдь, это, пожалуй, и правда?

— Какая правда? Вы-то сами,—говорю,—въ церковь ходите?

— Хожу.

— И за царя молитесь?

— Нѣтъ; да, вѣдь, это не главное.

— Какъ же не главное, когда царь — глава церкви?

— Не царь, а Христосъ.

— У кого Христосъ, а у насъ царь.

— Почему у насъ?

— А потому, что *юсудари російскіе суть главою церкви.*

— Вы это откуда?

Я сказалъ, откуда. Удивился онъ.

— Чудно. Какъ же этого никто не знаетъ?

— Да,—говорю,—самодержавіе свергаемъ, а на чемъ оно стоитъ, не знаемъ.

Помолчали.

— Такъ-то,—говорю,—Иванъ Ивановичъ. Ужъ лучше въ Шустеръ-клубъ, чѣмъ въ церковь. А то, вѣдь, кощунство: что для народа — святыня, то для насъ—трынь-трава, по рылѣвской пѣсенкѣ...

— Или сухая курица,—усмѣхнулся Пушинъ.

— Какъ это,—говорю,—сухая курица?

— А въ Москвѣ,—объясняетъ,—такой человѣкъ былъ: нарочно ѣздилъ въ Кіевъ, чтобы отвѣдать мощи,

и на вопросъ, какого онъ вкуса, отвѣчалъ: „точно сухая курица,—ни сока, ни вкуса“...

Я не понималъ было, а потомъ разсмѣялся такъ, что задохся, а Пущинъ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ.

— Вотъ именно, святая мощи, какъ сухую курицу, жуемъ!

Июля 11. Булгаринъ и Гречъ — издатели подлѣвшихъ „Литературныхъ Листковъ“. Объ этой парочкѣ въ „Сумасшедшемъ домѣ“ Воейкова:

Тутъ кто? Гречева собака
Забѣжала вмѣстѣ съ нимъ:
То Булгаринъ забіяка
Съ рыломъ мосичьимъ своимъ.

Собаки — оба, Гречъ и Булгаринъ: гадятъ при всѣхъ и глядятъ на всѣхъ невинными глазами.

— Правда, что Гречъ служить въ тайной полиціи?—спросилъ намеренн Рылѣевъ.

— Вздоръ! Онъ предлагалъ себя, да его не взяли,—отвѣтилъ Булгаринъ.

А подвыпивъ, началъ обнимать и цѣловать Греча.

— Гречикъ мой, Гречишечка моя, я, вѣдь, понимаю, что ты, какъ вѣрноподанный, обязанъ доносить обо всемъ; но мнѣ, старому другу, признайся, чтобы я могъ принять свои мѣры...

— Когда будетъ революція, мы тебѣ, Булгаринъ, на твоихъ „Литературныхъ Листкахъ“ отрубимъ голову!—пугаетъ его Рылѣевъ.

— Помилуйте, господа, за что же? Вѣдь, я либераль, не хуже васъ. Отецъ мой—республиканецъ, по прозванію, Шальной, сосланъ въ Сибирь за поль-

ское возстаніе, а я Ѡаддеемъ названъ въ честь Ко-
стюшки...

— И все-то ты врешь, Ѡаддей!

— Клянусь же сѣдинами матери!

— А вчера говорилъ, что мать твоя умерла?

— Ну, все равно, тѣнью матери!

Грибоѣдовъ называетъ Булгарина своимъ Кали-
баномъ и ласкаетъ его съ нѣжностью.

— Я, вѣдь, знаю, душа моя, что ты каналья,
но люблю тебя за то, что ты умница.

Помираетъ со смѣху, когда „великій сочинитель“
разсказываетъ, какъ онъ спасъ Наполеона, при пере-
правѣ черезъ Березину.

Намедни у Булгарина за ужиномъ, нагрузившись
блико подъ звѣздочкой, пѣли мы сначала похабныя,
а потомъ революціонныя пѣсни. Квартира въ нижнемъ
этажѣ, на Офицерской, недалеко отъ сѣзжей. Бул-
гаринъ, то и дѣло, выбѣгалъ въ сосѣднюю комнату
посмотрѣть, не взобрался ли на балконъ кварта-
льный подслушивать.

— Я не трусь, коханые, я доказалъ это подъ
Лейпцигомъ, гдѣ раненъ былъ...

— Куда?

— Въ грудь.

— А не въ задъ?

— Нѣтъ, въ грудь, клянусь сѣдинами матери!
Я не трусь, а только двухъ вещей на свѣтѣ боюсь:
синей куртки жандармской да тантиной красной
юбки...

„Танта“, не то теща, не то женина тетка, ста-
рая сводня, бьетъ его такъ, что синія очки прихо-
дятся ему частенько носить на подбитыхъ глазахъ.

Съ этими двумя негодяями у насъ такая дружба,

что водой не разольешь. Одного не хватает, чтобы и они вступили въ Тайное Общество.

И какъ только втерлись въ намъ? И за что мы ихъ полюбили? Пущинъ говорить, что это особое русское свойство—любовь къ свинству.

Когда одинъ пріятель мой сходилъ съ ума, то все казалось ему, что дурно пахнетъ; такъ и мнѣ кажется все, что пахнетъ Булгаринымъ.

Сорокъ тысячъ Булгаринныхъ не разубѣдятъ меня въ томъ, что есть у насъ правда; но мы унижаемъ ее, себя унижая.

Грибоѣдовъ, въ дни юности, служа въ гусарахъ въ Брестъ-Литовскомъ, забрался однажды въ іезуитскій костелъ на хоры. Собрались монахи, началась обѣдня. Онъ сѣлъ въ органу,—ноты были раскрыты,—заигралъ; игралъ чудесно. Вдругъ смолкли священныя звуки и съ хоровъ зазвучала камаринская.

Какъ бы и намъ, начавъ обѣдней, не кончить камаринской?

Шли на кровь, а попали въ грязь.

Юля 12. А изъ грязи—опять въ кровь.

Вчера собраніе у Пущина. Рыжѣвъ представлялъ намъ кронштадтскихъ моряковъ, молоденькихъ лейтенантовъ и мичмановъ. У нихъ образовалось, будто бы, свое Тайное Общество независимо отъ нашего.

Сущіе ребята, птенцы желторотые; всѣ на одно лицо—Васенька, Коленъка, Петенька, Митенька.

— Какъ легко, — говоритъ Митенька, — произвести въ Россіи революцію: стоитъ только разослать печатные указы изъ Сената...

— Ежели, — говоритъ Коленъка, — взять большую книгу съ золотою печатью, написать на ней круп-

ными буквами: Законъ, да пронести по полкамъ, то сдѣлать можно все, что угодно...

— Не надо и книги, — говоритъ Петенька, — а съ барабаннымъ боемъ пройти отъ полка къ полку — и все полетитъ къ чорту!

По изложеніи государя предлагали объявить наслѣдникомъ малолѣтняго великаго князя Александра Николаевича съ учрежденіемъ регенціи; или поднести корону императрицѣ Елисаветѣ Алексѣевнѣ, — она-де, по извѣстной добротѣ своей, согласится на республику; или же, наконецъ, основать на Кавказѣ отдѣльное государство съ новой династіей Ермоловыхъ, а потомъ завоевать Россію. Но главное, не теряя времени, завести тайную типографію въ лѣсахъ и фабрику фальшивыхъ ассигнацій.

Я уже хотѣлъ уйти, вспомнивъ изреченіе графа Потоцкаго, когда предлагали ему удить рыбу: „предпочитаю скучать по-иному“. Но Рылѣевъ оживилъ собраніе, произнесъ рѣчь о цареубійствѣ.

— Стыдно, — говоритъ, — чтобы пятьдесятъ милліоновъ страдали отъ одного человѣка и несли ярмо его...

— Вѣрно! Вѣрно! — закричали въ одинъ голосъ Коленъка, Петенька, Васенька, Митенька. — Мы всѣ такъ думаемъ, всѣ пылаемъ рвеніемъ! Надобно истребить зло и быть свободными!

— Купить свободу кровью!

— Послѣднюю каплю крови съ веселымъ духомъ пролить за отечество!

— Какъ Курцій, броситься въ пропасть, какъ Фабій, обречь себя на смерть!

— Господа, я за себя отвѣчаю, — выскочилъ вдругъ самый молоденькій мальчикъ; голубые глазки, какъ васильки, румяныя щечки съ пушкомъ, какъ

два спѣлые персика, одѣтъ съ иголки, — видно, маменькинъ сынокъ.—Я готовъ быть *режисидомъ*, но хладнокровнымъ убійцею быть не могу, потому что имѣю доброе сердце: возьму два пистолета, изъ одного выстрѣлю въ него, а изъ другого—въ себя: это будетъ не убійство, а поединокъ на смерть обоихъ...

А другой, постарше, точно веселую игру объяснялъ съ такой улыбкой, которой, сто лѣтъ проживу, не забуду:

— Нѣтъ,—говорить,—ничего легче, какъ убить государя во дворцѣ на выходѣ: сдѣлать въ рукояткѣ шпаги пистолетикъ маленькій и, нагнувъ шпагу, выстрѣлить.

Взялъ карандашикъ, бумажку и нарисовалъ рукоятку шпаги съ отверстіемъ, въ которое вкладывается пистолетикъ игрушечный, наподобіе тѣхъ, что дѣтямъ на ёлку дарятъ.

— Пулька тоже маленькая, но можно хорошенько прицѣлиться, прямо въ глазъ, либо въ високъ; а то сильнымъ ядомъ отравить пульку,—тогда и царапины довольно, чтобы ранить на смерть.

И опять заговорили всѣ вмѣстѣ: убить одного государя мало,—надо всѣхъ.

— Всѣхъ изгубить, не щадя ни пола, ни возраста!

— Уничтожить всѣхъ безъ остатка!

— И самый прахъ развѣять по вѣтру!

— Славные ребята!—началъ хвастать Рылѣевъ, когда они ушли.—Вотъ бы изъ кого составить *обременную когорту*...

— Здравѣ рубашонки, розгой бы ихъ, какъ слѣдуетъ! — проворчалъ Каховскій: — молоко на губахъ не обсохло, а уже о крови мечтаютъ...

— А вы что думаете, князь? — спросилъ меня Рылѣевъ.

— Знаете, — говорю, — какъ называется то, что мы дѣлаемъ?

— Какъ?

— Растлѣніе дѣтей.

Онъ, кажется, не понялъ; по уходѣ моемъ, спрашивалъ всѣхъ, за что я на него сердить.

Да, растлѣніе дѣтей. Убивать гнусно, а говорить объ убійствѣ, зная, что не убьешь, еще гнуснѣе.

Убить государя ничего не стоитъ: въ Царскомъ Селѣ, на разводахъ, на выходахъ, на улицѣ — всегда одинъ, безъ караула; пожалуй, и вправду, изъ игрушечнаго пистолетика убить можно, а вотъ не убьемъ: „рука не подыметъ, сердце откажетъ“.

Труссы, что ли? Нѣтъ, не трусы. Въ полку у насъ былъ храбрый капитанъ: подъ картечью и ядрами — какъ за шахматной партіей, а въ спальнѣ полотенце убиралъ на ночь, чтобы мертвеца не увидѣть. Такъ вотъ и мы съ царемъ: не знаемъ, полотенце или привидѣніе?

И Софьянъ страшный сонъ вспоминается мнѣ, какъ бросился я съ ножомъ убить мертваго. И лицою, надъ гробомъ ея, — живое, но мертвѣе мертваго.

Выйти изъ Общества — подло, а оставаться въ немъ съ такими мыслями — еще подлѣе. Я не хочу святыхъ мощи, какъ сухую курицу, жевать; не хочу растлѣвать дѣтей; не хочу обѣдню съ камаринской, кровь съ грязью смѣшивать.

Июля 13. Объявилъ Рылѣеву, что выхожу изъ Общества. Онъ хотѣлъ все обратить въ шутку, а когда увидѣлъ, что я шутить не намѣренъ, — вспыхнулъ, объясненія потребовалъ, наговорилъ дерзостей. Я уже, было, надѣялся, что кончится вызовомъ, но вмѣшался.

Пушинъ и уладилъ все. Да и самъ Рыгѣевъ какъ-то вдругъ затихъ, присмирѣлъ, замолчалъ и отошелъ отъ меня, опечаленный, точно пришибленный.

Мнѣ жаль его: видѣть, что дѣла идутъ скверно, а все бодрится, бѣдняжка. „Ежели и всѣ оставятъ Общество,—объявилъ намереніи,—я не перестану полагать оное существующимъ во мнѣ одномъ“.

Можетъ быть, онъ и правъ: блаженъ, кто вѣруетъ.

Юля 14. Коссовичъ рассказывалъ мнѣ о духовномъ Союзѣ Татариновой.

— Я, — говорить, — буду хранить въ сердцѣ моемъ ясное свидѣтельство, что пророческое слово Еватерины Филипповны есть даръ Св. Духа Утѣшителя. Господь далъ ей надо мною власть: немощи мои несеть, питаетъ и животворить меня. Истинно, мать моя, Богомъ данная. Чувствую, что въ отеческій домъ пришелъ, какъ дитя къ матери.

Катеринѣ Филипповнѣ былъ вѣщій сонъ обо мнѣ, грѣшномъ; велѣла передать свое благословеніе.

Онъ зоветъ меня къ ней; „одно-де маменькино словцо исцѣлитъ васъ лучше всѣхъ лѣкарствъ“.

Можетъ быть, пойду. Не все ли равно куда, въ Англійскій клубъ, на ужинъ къ Булгарину или въ Филадельфійское Общество?

Юля 15. Ъздили съ Коссовичемъ къ Татариновой.

На краю города, за Московской заставой, у сосноваго бора, три деревянныя дачи; ворота на запорѣ; собаки на цѣпяхъ, высокій тынъ съ острыми бревнами; не то острогъ, не то скитъ. Внутри—темные переходы и лѣсенки. Комнаты имѣютъ видъ мо-

ленныхъ: иконы, хоругви, паникадила, ставцы со свѣчами. Въ большой залѣ—изображеніе Духа Св., въ видѣ голубя, на потолокъ, и Тайная вечеря, во всю стѣну, картина академика Боровиковскаго.

Госпожа Татаринова приняла насъ въ спальнѣ, тѣсной келійкѣ, гдѣ пахло лѣкарствами, ладаномъ и мускусомъ. Несмотря на іюль мѣсяцъ, натоплено и народу множество. Кого тутъ только не было: тайный совѣтникъ, директоръ департамента въ бывшемъ дялюшкиномъ министерствѣ, Василій Михайловичъ Поповъ; статскій совѣтникъ, директоръ Человѣколюбиваго Общества, Мартынъ Степановичъ Пилецкій; штабсъ-капитанъ Гагинъ; отставной поручикъ, племянникъ генераль-губернатора, мой бывший соперникъ по танцовщицѣ Истоминой, Алеша Милорадовичъ; командиръ лейбъ-гвардіи егерскаго полка, генераль-майоръ, Головинъ; и какой-то старенькій приказный, Лохвицкій, въ сюртукѣ мухояровомъ, такъ называемое кувшинное рыло; и дѣвица Пиперь, госпожи Загряжской ключница; и прачка Лукерья; и Прасковья Убогая, должно быть, нищенка съ церковной паперти.

Но любопытнѣе всѣхъ — Никитушка. Солдатъ, бывшій музыкантъ Перваго кадетскаго корпуса, а нынѣ титулярный совѣтникъ (въ сей чинъ возведенъ за пророчества), Никита Ивановичъ Ѳедоровъ—послѣ маменьки первый у нихъ наставникъ и пророкъ; старичокъ плюгавый, въ засаленномъ фракѣ, со Станиславомъ въ петлицѣ и мѣдною серьгою въ ухѣ; похожъ на стараго будочника; малограмотенъ, буквы съ нуждою ставитъ, а музыкантъ отмѣнный: слагаетъ священные гимны на голосъ русскихъ пѣсенъ.

Никитушка сидѣлъ у маменькиныхъ ногъ на ни-

венькой скамеечкѣ и перебиралъ тихонько струны на гуслицахъ.

Госпожа Татаринова полулежала, больная, въ спальныхъ кожаныхъ креслахъ. Лицо изможденное, сухое, смуглое; на верхней губѣ усики; похожа не то на старую цыганку, не то на Божью Матерь Оди-гитрію, чей образъ тутъ же висѣлъ, въ головахъ надъ постелью. Глаза—прозрачно-желтые, — должно быть, въ темнотѣ, какъ у вошекъ, свѣтятся. Никогда я не видывалъ у женщины такихъ мужскихъ глазъ; и это мужское въ женскомъ весьма привлекательно.

Обращеніе свѣтское: урожденная баронесса Букс-гевденъ, воспитанница Смольнаго; говорить по-фран-цузски лучше, чѣмъ по-русски.

— Если вамъ не понравится въ нашемъ Филадельфійскомъ Обществѣ,—сказала мнѣ съ достоинствомъ,—покорнѣйше просимъ только не рассказывать: міръ имѣетъ и безъ того довольно предметовъ для осужденія.

И потомъ—на ухо, съ такимъ ласковымъ видомъ, какъ будто мы съ нею старые друзья:

— Я знаю, у васъ большое горе; но имѣйте надежду на Господа...

Я боялся, что заговорить о Софьѣ; кажется, тотчасъ же всталъ бы и ушелъ. Но, должно быть, поняла, что нельзя объ этомъ говорить, замолчала и потомъ прибавила:

— Сердце человѣческое подобно тѣмъ древамъ, кои не прежде испускаютъ цѣлебный бальзамъ свой, пока желѣзо имъ самимъ не нанесетъ язвы...

Наконецъ, спросила прямо, просто, почти грубо,—но и грубость сія мнѣ понравилась: вѣрю ли въ Бога? И когда я сказалъ, что вѣрю:

— Не знаю,—говорить, — какъ вы, князь, а я давно замѣтила, что никто не отвергаетъ Бога, кромѣ тѣхъ, кому не нужно, чтобы существовалъ Онъ.

— Или, быть можетъ,—добавилъ я,—кому нужно, чтобы не существовалъ Онъ.

— Вотъ именно, — сказала, наклонивъ голову, какъ бы въ знакъ совершеннаго согласія нашего.

Замѣтивъ, что я удивляюсь, какъ Никитушка съ генераломъ Головинымъ обходится вольно, а тотъ съ нимъ—почтительно, сказала по-французски, не безъ тонкой усмѣшки:

— Не надобно удивляться тому, что дѣйствія духовныя открываются въ наше время преимущественно среди низшаго класса, ибо сословія высшія, окованныя прелестью европейскаго просвѣщенія, то-есть, утонченнаго служенія міру и похотямъ его, не имѣютъ времени предаваться размышленіямъ душеспасительнымъ; наконецъ, при самомъ началѣ христіанства, на комъ явились первые знаки дѣйствія Духа Божьяго? Не на малозначащихъ ли людяхъ, въ народѣ презрѣнномъ и поработѣнномъ, минуя старѣйшинъ, учителей и первосвященниковъ?

И заключила по-русски, положивъ руку на голову Никитушки съ материнскою нѣжностью:

— Непостижимый Отецъ Свѣтовъ избралъ нѣкогда рыбарей и простыхъ людей; такъ и нынѣ изволить Онъ обитать съ ними. Ты что думаешь, Никитушка?

— Точно такъ, маменька; ручку позвольте, ване превосходительство! Немудрое избралъ Богъ, дабы постыдить мудрыхъ вѣва сего. Какъ и въ пѣсенкѣ нашей поется:

Дураки вы, дураки,
Деревенски мужики,

Ровно съ медомъ бураки!
Какъ и въ этихъ дуракахъ
Самъ Господь Богъ пребываетъ,—

запѣлъ вдругъ голоскомъ тонкимъ, перебирая струны на гуслицахъ. И прачка Луверья, и Прасковья Убогая, и дѣвица Пиперь, и приказный, кувшинное рыло, и статскій совѣтникъ Пилецкій, и тайный совѣтникъ Поповъ, и генераль-майоръ Головинъ—всѣ подпѣвали Никитушкѣ.

Вспомнились мнѣ слова Грибоѣдова о томъ, что простой народъ разрозненъ съ нами навѣки; а вѣдь вотъ не разрозненъ же тутъ? Полно, ужъ не это ли путь къ спасенію, къ соединенію несоединеннаго?

— Ну что, какъ? — спросилъ меня Коссовичъ, выходя отъ маменьки.

— Умна,—говорю,—чрезвычайно умна!

Старичокъ покачалъ головой.

— Вы,—говоритъ,—князь, приписываете уму то, что проистекаетъ изъ Премудрости Божественной...

Отъ Бога ли, не знаю, а только, и впрямь, вѣщающая баба.

Юля 19. Поводился я къ маменькѣ. Думалъ, будетъ смѣшно,—нѣтъ, жутко. И все еще не знаю, что это, мудрость или безуміе, святыня или бѣсовщина? А можетъ быть, то и другое вмѣстѣ! Какъ въ Никитушкиныхъ пѣсенкахъ,—слова святые, а музыка такая, что плясать бы вѣдьмамъ на шабашѣ. А вѣдь и маменькины дѣтки пляшутъ, *радуютъ* подъ эту музыку.

— Радѣніе есть радованіе, — говоритъ Коссовичъ: — какъ бы духовный балъ, въ коемъ сердце предвкушаетъ тотъ брачный пиръ, гдѣ ликуютъ дѣв-

ственные души. Самъ царь Давидъ предъ Кивотомъ Завѣта плясалъ. Пляшемъ и мы, яво младенцы благодатные, пивомъ новымъ упоенные, попирая ногами всю мудрость людскую съ ея приличіями. И вотъ что скажу вамъ, князь, какъ медикъ: святое плясанье, движеніе сіе, какъ бы въ нѣкоемъ духовномъ вальсѣ, укрѣпляетъ нарочито здравіе тѣлесное, ибо производитъ въ насъ такую транспирацію, послѣ коей чувствуемъ себя, какъ дѣтки малыя, рѣзвыми и легкими...

Такъ-то все такъ,—а жутко.

Престранную заплѣлъ намедни Никитушка пѣсенку:

На седьмомъ на небеси
Самъ Спаситель закаталъ!
Ахъ, души, души, души!
У Христа-то башмачки
Сафіяненскіе,
Мелкостроченые!

Въ словахъ сихъ, почти безсмысленныхъ, нѣкій священный восторгъ сочетался съ кабацкою удалю. А у тайнаго совѣтника Василя Михайловича Попова, вижу, и руки, и ноги вдругъ зашевелились, задергались,—кажется, вотъ-вотъ пойдетъ плясать, какъ на Лысой горѣ.

И смѣхъ, и ужасъ напалъ на меня,—хладъ мраза тонка, какъ говорятъ мистики.

Июля 20. Тайный совѣтникъ Поповъ намедни при всѣхъ объявилъ:

— Я, маменька, имѣю намѣреніе сапоги чистить, что принимаю за совершенную волю Божью,—только стыжусь...

— Чего же ты стыдишься, дружокъ?

— А Проща что скажетъ?

— А ты, Вася, смирись,—посоветовалъ Никитишка.

— Были мы въ субботу въ банькѣ съ Мартыномъ Степанычемъ,—продолжалъ Поповъ:—окатились холодною водою трижды, во имя Отца, и Сына, и Св. Духа. А Мартынъ Степанычъ и говорить: „дай, говорить, Вася, я тебя еще разъ окачу“. Взялъ пайку и во имя Св. Дѣвы Маріи вылилъ на меня воду, и тотчасъ же какъ бы разверзлась нѣкая хлябь изъ внутренняго неба моего и чистѣйшею рѣкою всего меня потопила. И ощутилъ я, что Матерь Господа премѣняетъ звѣздное тѣло души моей на лунное свое тѣло и въ ночи Сатурна открываетъ свѣтъ премудрости...

И Мартынъ Степановичъ Пилецкій все это подтвердилъ въ точности.

А съ приказнымъ, вувшиннымъ рыломъ, тоже на-дняхъ было чудо.

— Сижу я,—говорить,—у именинника, головы вупеческаго, Галактіона Ивановича, и вижу, штаны у меня худы, въ дырахъ; устыдился, хотѣлъ закрыть, а внутренній гласъ говорить: „не закрывай, се слава твоя!“ И внезапно пріятнымъ ужасомъ духовнымъ исполнился я, такъ что все бытіе мое трепетало...

Потомъ о новоявленныхъ мощахъ преподобнаго Θεодосія Тотемскаго заговорили.

— Вотъ,—говорить штабсъ-капитанъ Гагинъ,—премудрый Невтонъ, соединившій математику съ физикой, умеръ и сгнилъ, а нашъ русскій простячокъ, двѣсти лѣтъ въ землѣ лежа, не сгнилъ...

Тутъ всѣ глумиться начали надъ суетнымъ разумомъ человѣческимъ, коего свѣтъ подобенъ-де свѣту гнилушки.

А Поповъ покосился въ мою сторону. Лицо у него безкровно-блѣдное, блѣдно-голубые глаза „издыхающаго теленка“ (какъ сказала одна дама о Сперанскомъ), а огоньки вѣдмины въ нихъ такъ и прыгають.

— Многіе, — говорить, — нынче стали смердѣть ученостью и самымъ смердѣніемъ симъ похваляться. Пяточки бы имъ поджарить, предать плоть во изможденіе, да спасется духъ...

Ужъ не заболѣлъ ли я и вправду бѣлой горячкой? Маменька — умная женщина. Какъ же терпитъ она? Или ей на-руву?

Дураки вы, дураки,
Ровно съ медомъ бураки...

Должно, однако, согласиться, что есть въ меду семь ложка дегтю.

Июля 21. Алеша Милорадовичъ изъяснялъ мнѣ таинственное ученіе о безстрастномъ лобзаніи.

— Человѣкъ сообщаетъ въ ономъ магическую тинктуру для зачатія потомства, какъ нѣкогда Адамъ въ раю, и хотя уже нынѣ тинктура сія сообщается черезъ грубый каналъ, но въ небесной любви состояніе сверхнатуральное вновь достигается, въ коемъ дѣторожденіе происходитъ не по уставу естества, отъ плотскаго смѣшенія, а отъ лобзанія безстрастнаго...

Бѣдный Алеша! Сверхнатуральное состояніе довело его до злой чахотки.

Денщикомъ своимъ, рядовымъ Оеудомъ Петровымъ, обращенъ былъ въ скопчество, влюбился въ ихнюю Богородицу, дѣвку распутнаго поведенія, лебе-

дьянскую мѣщанку Катасанову, и самъ едва не оскотился.

Когда узнали о томъ при дворѣ, — взбѣленились наши кумушки: лейбъ-гвардіи поручикъ, генералъ-губернатора племянникъ, красавецъ Алеша — скопецъ! Дѣло дошло до государя, и Кондратія Селиванова, учителя скопцовъ, изъ Петербурга выслали.

Филадельфійская церковь многое отъ нихъ заимствуетъ: сама, говорятъ, маменька была у нихъ на выучѣ. „Господи, если бы не скопчество, то за такимъ человѣкомъ пошли бы полки за полками!“ — говоритъ Поповъ о Селивановѣ.

Когда кончилъ Алеша о безстрастномъ лобзаніи:

— И вы, — говорю, — во все это вѣрите?

— Вѣрю. А что? Развѣ мало и въ христіанскихъ таинствахъ уму непостижнаго?

— Да, конечно... А помните, Алеша, Истому? Помните балы у Вяземскихъ? Какъ чудесно танцевали вы мазурку!

— Что, — говоритъ, — вспоминать безумства?

Потушился, а потомъ вдругъ поднялъ глаза, улыбнулся прежней улыбкой, и на блѣдныхъ щекахъ зардѣли два алыя пятнышка.

— Нѣтъ, — говоритъ, — я не жалѣю о прошломъ. Вотъ, князь, вы говорите: балы, а знаете, радѣнья лучше всѣхъ баловъ...

Бѣдный Алеша!

Юля 22. Не влюблены ли и мы въ маменьку, какъ Алеша въ свою богородицу?

— Маменька! Голубица моя! Возьми меня къ себѣ! — стонетъ, какъ томная горлица, краснорожій, толстобрюхій штабсъ-капитанъ Гагинъ.

— Мамочка моя, — утѣшаетъ маменька, — жалью и люблю тебя, какъ только мать можетъ любить свое дитяtko. Да будетъ изъ нашихъ сердець едино сердце Іисуса Христа!

А генераль-майоръ Головинъ, водившій нѣкогда фанаторцевъ въ убійственный огонь Багратионовыхъ флешей, теперь у маменькиныхъ ногъ, — левъ, укрощенный голубкою.

Старая, больная, изнуренная, болѣе на мертвеца, чѣмъ на живого человѣка, похожая, — а я понимаю, что въ нее влюбиться можно. Страшно и сладостно сіе утонченное кровосмѣшеніе духовное: дѣтки, влюбленные въ маменьку.

Только дай себѣ волю, — и затоскуешь о желтенькихъ глазкахъ, какъ пьяница о рюмочкѣ.

Іюль 23. Хорошо сказалъ о мистикахъ мистикъ Лабзинъ: „господа сіи заходятъ къ Богу съ задняго врыльца“. И еще: „отъ ихней премудрости божественной — *человѣчиною* пахнетъ“.

Іюль 24. Никитушкѣ было пророчество:

Что же дѣлать? Какъ же быть?
Надо кровью Русь омыть.

И Прасковья Убогой тоже:

Я великаго царя
Въ сыру землю уложу...

Должно быть, замѣтилъ Коссовичъ, когда мнѣ сказывалъ о томъ, какъ я поблѣднѣлъ.

Какой царь? Какая кровь?

А что, если пророчество исполнится? Соединеніе двухъ Тайныхъ Обществъ?

Июля 25. Говоря о гоненіяхъ, на Филадельфійскую церковь воздвигнутыхъ, генералъ-майоръ Головинъ объявилъ:

— Самъ дьяволъ поселился нынѣ въ сердцахъ всѣхъ лицъ высшаго правительства!

А у меня и ушки на макушкѣ: не даромъ, думаю, мечтали нѣкогда издатели *Сіонскаго Вѣстника* о конституціи Христовымъ именемъ.

Заговорилъ я о политикѣ. Но не тутъ-то было, — маменька остановила меня:

— Мы, — говоритъ, — надежды наши простираемъ за предѣлы сего ничтожнаго міра, гдѣ бѣдствія полезнѣе радостей, а посему и не входимъ ни въ какія сужденія о дѣлахъ политическихъ...

Изъ одного Тайнаго Общества — въ другое: въ одномъ — люди безъ Бога, въ другомъ — Богъ безъ людей; а я между сихъ двухъ безумствъ, какъ между двухъ огней.

Опять — не соединено.

Июля 26. Жара, пыль, вонь. Скверно въ Петербургѣ лѣтомъ. Изъ лавочекъ кислою капустой несетъ, изъ строящихся домовъ — сыростью и нужникомъ: каменщики, гдѣ строятъ, тамъ и гадятъ. Ломовые везутъ желѣзныя полосы съ оглушающимъ грохотомъ. Съ лѣсовъ бѣлая известка сыплется. А голубое небо — какъ раскаленная мѣдь.

Брожу по улицамъ, точно во снѣ; иногда очнусь и не знаю, гдѣ я, что я, куда и откуда иду; голова кружится, ноги подкашиваются — вотъ-вотъ свалюсь.

Намедни въ Цестилавочной, вижу, пьяный маляръ виситъ въ люлкѣ на веревкахъ, краситъ стѣну, поетъ что-то веселое, а когда опускаютъ люльку, —

качается, вертится въ ней, точно пляшетъ; гляжу на него и смѣюсь такъ, что прохожіе смотрять; вспомнился тайный совѣтникъ Поповъ, подъ Никитушкину пѣсенку пляшущій:

Ай, душкѣ, душкѣ, душкѣ!
У Христа-то башмачки
Сафіяненъкіе,
Мелкостроченные!

Смѣюсь, смѣюсь, а, пожалуй, и вправду досмѣюсь до бѣлой горячки.

Юля 27. Художникъ Боровиковскій — старый добрый хохоль, кажется, горькій пьяница. Затащилъ меня намеренно въ ресторацію „пить съ ромомъ“, то-есть, чай съ ромомъ.

Подвыпивъ, доказывалъ, что „Божество есть высшая красота“, и что онъ въ художествѣ красотѣ этой служить, да никто его не понимаетъ. На Филадельфійскихъ братьевъ жаловался.

— Ни одного нѣтъ искренняго ко мнѣ и любящаго, а гдѣ нѣтъ любви, тамъ все ничто. Да вотъ хоть Мартына Степановича взять: сей господинъ Пилецкій, какъ пилой, пилитъ сердце мое, отъ чего прихожу въ крайнее уныніе и безнадежность. А тайный совѣтникъ Поповъ...

Тутъ рассказалъ онъ такое, что не знаю, вѣрить ли; а вспомню желтенькіе глазки, что въ темнотѣ, какъ у кошки, свѣтятся,—и, пожалуй, вѣрить готовъ.

Дочь Попова, Любенька, пятнадцатилѣтняя дѣвочка, чувствуетъ омерзѣніе къ Филадельфійскимъ таинствамъ и маменьку въ глаза ругаетъ — старою вѣдьмою; а кроткій изувѣръ Поповъ, полагая, что дочь его одержима бѣсами, для изгнанія оныхъ,

истязуетъ ее, запираетъ въ чуланъ, морить голодомъ и сѣчетъ розгами такъ, что стѣны чулана обрызганы кровью, — того и гляди, засѣчетъ до смерти. И все это, будто бы, по приказанію маменьки, полученному отъ Бога.

Безъ Бога—цареубійство, съ Богомъ—дѣтоубійство; отъ крови ушелъ я и въ крови пришелъ. Несоединеннаго соединеніе, двухъ Тайныхъ Обществъ основанье единое—кровь.

Нѣтъ, тутъ ужъ не *человѣчиной* пахнетъ.

Бѣлая горячка! Бѣлая горячка!

Полно, будетъ съ меня. Пока не поздно—бѣжать.

Юля 28. Нельзя бѣжать, надо испить чашу до дна, понять чужое безуміе, хотя бы самому разсудка лишиться.

Алеша Милорадовичъ повѣдалъ мнѣ ученіе своихъ о Царѣ-Христѣ.

Кондратій Селивановъ есть государь императоръ Петръ Третій; онъ же второй Христосъ, Царь надъ всѣми царями и Богъ надъ всѣми богами; вскорѣ воцарится на російскомъ престолѣ, и весь міръ признаетъ его Сыномъ Божьимъ.

Такъ вотъ что значитъ „государи російскіе суть главою церкви“! Вотъ кого хотѣли мы убить изъ игрушечнаго пистолетика! Это уже не полотенце, которое привидѣніемъ кажется, а оно само.

Что въ парижскихъ бесѣдахъ съ Чаадаевымъ видѣли мы смутно, какъ въ вѣщемъ снѣ, то наяву исполнилось; завершено незавершенное, досказано недосказанное, замкнуть незамкнутый кругъ.

Бѣжать отъ этого—бѣжать отъ истины.

Я попросилъ Алешу сводить меня къ своимъ.

Июля 31. Былъ у скопцовъ. Спасибо дядюшкѣ, Александру Николаевичу Голицыну: они считаютъ его своимъ благодѣтелемъ, и меня, какъ родного, приняли.

— Ну, князенька, да ты никакъ *приведень*?— сказалъ мнѣ уставщикъ ихній, Гробовъ.

„Приведень“ значитъ обращень въ скопчество.

Когда же я отъ сей чести отказался, онъ усмѣхнулся лукаво.

— Я сквозь тебя вижу, ваше сіятельство: вамъ не скрыть, не стоять, за спиной не схоронить: вы, благодѣтели наши, того же хотите...

— Чего мы хотимъ?

— А чтобъ Господь на землѣ самодержавно царствовалъ.

Августа 1. На Васильевскомъ Островѣ, на углу 13-й линіи и Малаго — трактиръ вупца Ананьева; въ нижнемъ этажѣ заведеніе или, попросту, кабакъ, а въ верхнемъ — горницы „чистыя“, хотя тоже довольно грязныя. Въ одной изъ нихъ происходятъ бесѣды наши.

Солнце бьетъ въ окна, мухи жужжать. На столѣ — самоварище; паръ такой, что запотѣло зеркало. Скопцы любятъ чай: за одну бесѣду выпиваютъ самоваровъ полдюжины; а когда распарятся, пахнетъ отъ нихъ потомъ, — запахъ, напоминающій выхухоль. Лица — желтыя, сморщенные, точно водяной раздутыя. Жутво мнѣ было сначала, а потомъ ничего, привыкъ. Люди какъ люди; безъ бородъ, безъ усовъ и безъ прочаго, но не безъ ума. Природные философы.

Еще бѣдльшая здѣсь демокрація, чѣмъ у ма-

меньки. Самъ хозяинъ трактира, купецъ Ананьевъ, Мплютинъ, Ненастьевъ, Солодовниковъ—все миллионщики,—и тутъ же саечный разносчикъ, явщанинъ Курилкинъ; бѣглый солдатъ артиллерійскаго гарнизона, фейерверкеръ Иванъ Будылинъ; рядовой Оеdulъ Петровъ, тотъ самый, что обратилъ Алешу въ скопчество; и канцеляристъ Душечкинъ, во фракѣ, съ медалью 12-го года; а самая важная особа—придворный лакей Кобелевъ. Сосланъ въ Соловецкій монастырь, бѣжалъ оттуда и проживаетъ въ столицѣ по фальшивому паспорту. Старичокъ слѣпенькій, глухенькій; шамкаетъ невразумительно. Въ Ропшѣ былъ въ 1762 году и „своими глазами видѣлъ все“. Свидѣтельствуетъ, что Кондратій Селивановъ есть государь императоръ Петръ Третій.

Мы съ Алешей сидимъ на диванѣ, скопцы на стульяхъ, по стѣнѣ, а посерединѣ комнаты уставщикъ Гробовъ читаетъ наизусть, какъ дьячокъ, *Страданій свѣта истиннаго государя батюшки омашеніе* — повѣсть о томъ, какъ російскій самодержецъ „пошелъ волей на страды“.

Сынъ Пренепорочной Дѣвы, императрицы Елисаветы Петровны, воспитанъ и оскопленъ въ Голштиніи. Супруга его, императрица Екатерина Вторая, предавшись *тѣлостн*—похоти, задумала убить мужа, когда узнала, что онъ неспособенъ къ сожителству брачному. Но тотъ бѣжалъ изъ Ропшинскаго дворца въ платѣ убитого за него часового. Въ Москвѣ схваченъ оберъ-полицеймейстеромъ Архаровымъ, битъ внутомъ и сосланъ въ Сибирь на каторгу, гдѣ скованъ бандалами поножно съ разбойникомъ Иваномъ Блохою, первымъ исповѣдникомъ Сына Божьяго. Опять бѣжалъ; укрывался въ падежной ямѣ, во ржи,

въ подпольѣ, въ свиномъ корытѣ: „такъ было мнѣ, Богу Всевышнему, небо—свиное корыто“,—говоритъ Испытатель; и опять схваченъ: шейку желѣзомъ окоевали, ротикъ рвали, били плетми, окровянили рубашечку, изъ тюрьмы въ тюрьму волочили. „Я—говоритъ,—сто тюремъ обошелъ и васъ, дѣтушекъ, нашелъ“.

— Такъ страдалъ Творецъ отъ твари!—заключаетъ Гробовъ, и слушатели всѣ вздыхаютъ:

— Столько-то нашъ государь батюшка изволилъ страдать, а мы за него не хотимъ!

Отъ умиленія плачутъ и еще больше потѣютъ,—такая въ воздухѣ выхухоль, что мнѣ почти дурно.

А изъ кабака снизу пьяныя пѣсни доносятся. „У меня-де, Отца, много дѣтушекъ еще за кабаками валяется, а мнѣ и пьяницъ-то жаль!“—говоритъ Испытатель.

Уставщикъ продолжаетъ читать Оглашеніе и открываетъ послѣднюю тайну Царя-Христа. Бѣлый Царь—значитъ *ублennyй*, оскотенный:

Какъ Христова пелена,
Наша плоть ублена.

„Нынѣ-де порфира царская—отъ крови алая, но кровью Агнца ублится паче снѣга,—тогда и будетъ Бѣлый Царь. Бѣлымъ станетъ красное солнышко,—и весь міръ ублится“.

„И тогда,—говоритъ Испытатель,—соберу я всѣхъ дѣтушекъ подъ единый кровъ. И вся земля мнѣ поклонится; всѣ цари земные повергнутъ скиптры и вѣнцы въ стопы мои, и будетъ царствіе мое на землѣ, какъ на небѣ“.

Безумство, бредъ,—а что-то знакомое слышится: не мечта ли императора Александра Благословен-

наго—еоевратія, царство Божье, монаршею волей объявленное,—Священный Союзъ?

И еще иная мечта (объ этомъ никто не знаетъ, а я слышалъ отъ Софьи)—отреченіе государя отъ престола—не тѣ же ли *Страды*? Не мечта ли всей Россіи—страдающій царь, страдающій Богъ?

Августа 2. „Въ русскомъ царѣ—самъ Богъ Саваоѣ и съ ручками, и съ ножками“,—говорятъ скопцы и смотрятъ невинно, какъ дѣти. Тоже растлѣніе дѣтей.

Кто это сдѣлалъ? Кто виноватъ?

Не всей ли Россіи вина—на малыхъ сихъ, и не дастъ ли отвѣтъ за нихъ Богу вся Россія?

Августа 3. Намедни бѣглый солдатъ Иванъ Будылинъ показывалъ старинный серебряный рубль и полтину:

— Знаете,—говоритъ,—дѣтушки, чьи портреты?

— Знаемъ: Батюшкинъ и Матушкинъ.

И крестясь, цѣловали на рублѣ изображеніе Петра Третьяго, а на полтинѣ—Елисаветы Петровны,—Христа и Божьей Матери.

Августа 4. Оскопляютъ себя, лишаютъ естества мужского, дабы пламенѣть любовью женственной въ Царю, Жениху единому.

Августа 5. Не все у нихъ бредъ, не все сказка, есть и быль.

Въ 1805 году, осенью, передъ Аустерлицкимъ походомъ, императоръ Александръ I посѣтилъ Кондратія Селиванова, долго бесѣдовалъ съ нимъ на-

единѣ, и тотъ, будто бы, предсказалъ ему неудачу похода.

О свиданіи томъ въ ихнихъ пѣсняхъ поется:

Какъ во Питерѣ, во градѣ,
Чудеса тутъ претворились:
Не два солнца соватились,—
Пришелъ явный государь
Ко небесному въ алтарь.

„Я всего отрекся и все Алексашѣ отдалъ“,—говоритъ Испупитель.

У дядюшки моего, министра, видѣлъ я секретную записку Магницкаго, поданную государю въ прошломъ, 1823 году: *Планъ воспитанія народнаго*. „Въ Россіи въ основное начало народнаго воспитанія должно положить двѣ религіи — перваго и второго величества“. Слова сіи тогда же, у дядюшки, я выписалъ. И далѣе: „вѣрный сынъ церкви православной истиннымъ помазанникомъ, Христомъ Божіимъ не можетъ признать никого, кромѣ Помазаннаго на царство церковью православною“.

Такъ вотъ что значитъ *религія двухъ величествъ*: одно величество — Христосъ, Царь Небесный; другое — Христосъ, царь земной, самодержецъ російскій:

Пришелъ явный государь
Ко небесному въ алтарь.

Завершено незавершенное, досказано недосказанное, замкнутъ незамкнутый кругъ.

Августа 6. Алеша Милорадовичъ досталъ у придворнаго лакея Кобелева проектъ скопца-вамергера, статскаго совѣтника, Алексѣя Михайловича Еленскаго объ учрежденіи въ Россіи ееократическаго

образа правленія. Въ 1804 году, незадолго до свиданія „двухъ величествъ“, прожектъ поданъ государю черезъ товарища министра юстиціи, Николая Николаевича Новосильцева.

Для успѣшной борьбы съ Наполеономъ камергеръ Еленскій предлагалъ учредить *Божественную Канцелярію* изъ православныхъ іеромонаховъ и скопцовъ-пророковъ. Іеромонахи должны быть учеными, а пророки— „простячками“, потому что „вся благодать въ простячкахъ“. По одному іеромонаху съ пророкомъ на каждый военный корабль и въ каждую дивизію дѣйствующей арміи, дабы секретно пророческимъ гласомъ совѣтъ предлагать. Самъ камергеръ Еленскій съ двѣнадцатью пророками обязанъ всегда находиться при главномъ военномъ штабѣ: „а нашъ Настоятель Богодухновенный Сосудъ (Кондратій Селивановъ)—при лицѣ самого государя императора“. Когда все это будетъ исполнено, то „и безъ великихъ силъ военныхъ побѣдитъ Господь всѣхъ враговъ и защититъ возлюбленную Россію Свою, да познаетъ весь міръ, яко съ нами Богъ“.

Камергеръ Еленскій заточенъ въ Суздальскую крѣпость, а черезъ десять лѣтъ прожектъ исполненъ, учреждена, подъ видомъ Священнаго Союза, Божественная Канцелярія.

Августа 7. Видѣлъ Рылѣева издали на улицѣ.

Какъ давно, какъ далеко, точно въ мірѣ иномъ!

Я перешелъ на другую сторону, какъ будто испугался, застыдился. Чего же? Развѣ я въ чемъ виновать передъ ними и развѣ не совсѣмъ ушелъ отъ нихъ?

А какъ бы имъ надо знать то, что я теперь знаю. Если бы поняли! Да нѣтъ, не поймутъ.

Августа 8. На радѣньи у скопцовъ — съ шести часовъ вечера до шести утра. Шатаюсь, какъ пьяный; горячка, должно быть, начинается. Ну что-жъ; слава Богу! Надо же, чтобъ все это чѣмъ-нибудь кончилось.

Горній Сіонъ — домъ купца Солодовникова, въ Хлѣбномъ переулкѣ, Литейной части, у Лиговки, одноэтажный, деревянный, окруженный садомъ, съ горенкой вверху, гдѣ жилъ Искушитель. Надъ дверями горенки золотыми буквами: *Святой Храмъ*. Стѣны выкрашены небесно-голубою краскою; потолокъ расписанъ херувимами; на полу коверъ съ вытканными ангелами и архангелами. Высокое ложе съ кисейнымъ пологомъ и золотыми кистями. Здѣсь, на пуховикахъ, какъ на облакахъ небесныхъ, возлежалъ нѣкогда Царь-Батюшка, самъ Богъ Саваоѣ. Тутъ же на стѣнѣ — портретъ его: древній старикъ, похожій на бабу; на головѣ и бородѣ волосы тонкіе, рѣдкіе; сѣдина съ желтизной; остриженъ по-крестьянски. Одѣтъ въ богатый левантиновый шлафрокъ. На колѣняхъ бѣлый, съ голубыми и красными цвѣточками, платокъ — „Божій покровъ“. Скопцы прикладываются къ портрету, какъ къ образу, крестясь и приговаривая: „здравствуй, государь батюшка, красное солнышко!“ Многіе чувствуютъ при семъ теплоту, какъ отъ живого тѣла, и благоуханіе.

Радѣнье происходило внизу, въ двухъ большихъ горницахъ съ гладкимъ липовымъ поломъ; одна — для мужчинъ, другая — для женщинъ. Комнаты раздѣлены узкимъ проходомъ съ двумя широкими и низкими, почти вровень съ поломъ, окнами-дверьми, одно противъ другого — въ мужскую половину и въ женскую. Здѣсь ставилось высокое ложе царское, съ коего батюшка благословлялъ радѣющихъ.

Мужчины въ длинныхъ бѣлыхъ рубахахъ-саванахъ; женщины въ бѣлыхъ сарафанахъ сидѣли на лавкахъ чинно; въ лѣвой рукѣ—бѣлый платокъ, а въ правой—зажженная восковая свѣча; ноги босы.*

Среди женщинъ—та самая лебедянская мѣщанка, дѣвица Катасанова, матушка Акулина Ивановна, богородица, въ которую влюбленъ Алеша. Красавица, а по лицу видно, что могла сдѣлать то, что о ней говорятъ: дѣвкѣ Оекѣ изъ ревности выжгла сосцы раскаленнымъ желѣзомъ, „до косточки“.

Запѣли голосами протяжными, глухими, какъ бы далекими:

Царство, ты царство, духовное царство,—
пѣсню, коей всегда начинается радѣнье.

Въ мужской половинѣ, на середину комнаты вышелъ старичокъ благообразный, на скопца непохожій, отставной солдатъ инвалидной команды, Иванъ Плохой, вѣстникъ отъ заточеннаго въ Суздаль государя-батюшки. Всѣ встали, крестясь обѣими руками (птица не летаетъ обѣ однимъ крылѣ, а молитва есть полетъ *благю юмубя*); поклонились ему трижды. Онъ отвѣтилъ земнымъ поклономъ и началъ раздавать изъ кулька батюшкины гостинцы: отъ царскаго стола корочки, сухарики, жамочки, финифтяные образки и „части живыхъ мощей“ — ладонки съ волосами и обрѣзками ногтей, пузырьки съ водою, въ которой батюшка мылъ ноги, и лоскутки его, государевыхъ, подштаниковъ. По тому, какъ принимаются дары сіи, видно, что онъ для нихъ воистину Богъ, „и съ ручками, и съ ножками“.

Потомъ громкимъ голосомъ, такъ что слышно было въ обѣихъ горницахъ, вѣстникъ проговорилъ слова, которыя велѣлъ сказать батюшка:

— „Я,—говорить отецъ,—весель и только тѣ-
ломъ въ неволѣ, а духомъ всегда съ вами, дѣтушки.
Не оставляю васъ; вы мои послѣдніе сироты!“

Дальше старичокъ отъ умиленія говорить не могъ—
заплакалъ, и всѣ начали плавать. Плачь перешелъ
въ вопль, въ рыданіе и въ пѣсню, пронзительно-
унылую, подобную тѣмъ, которыми причитають бабы въ
деревняхъ, надъ покойникомъ:

Ахъ, ты, свѣтъ, наше красно солнышко,
Государь ты нашъ, родимый батюшка!
Укатило наше красно солнышко,
Ты во дальнюю сторонушку!

Разстройство ли нервовъ, дѣйствіе ли звуковъ
сихъ, хватающихъ за сердце, но я едва удерживался
отъ слезъ. Какъ бы истина во лжи мнѣ слышалась:
все та же молитва—*adveniat regnum tuum*—изъ пре-
исподней возглашенная.

Наконецъ, рыданіе стихло, и зашептали всѣ
другъ другу на ухо тайную вѣсть:

— Батюшка родимый отъ насъ недалече, изъ
темницы выведенъ и скоро явится...

— Явится! Явится!—пронесся радостный шопотъ
въ толпѣ, какъ въ лѣсу весенній шумъ.

Лица просвѣтлѣли, и вдругъ плясовая, веселая
пѣсня грянула:

Какъ у насъ на Дону,
Самъ Спаситель во дому!

Пѣли и хлопали въ ладоши, ударяли себя по ко-
лѣнямъ, по ляжкамъ; топали ногами въ ладъ и тя-
жело, отрывисто дышали, всѣ въ разъ, какъ одинъ
человѣкъ.

Какъ у насъ на Дону,
Самъ Спаситель во дому,

И со ангелами,
Со архангелами.

Вдругъ смолкли, и въ тишинѣ зазвенѣлъ одинъ женскій голосъ, чудесный—сама Каталани позавидовала бы; то пѣла Катасанова:

Мой сладимый виноградъ—
Паче всѣхъ земныхъ отрадъ.
Соколъ съ неба сокатися,
Духъ Небесный вострепенися!

Морозъ пробѣжалъ у меня по спинѣ; раскаленное желѣзо, коимъ сосцы у дѣвки Оеклы выжжены, слышалось мнѣ въ этомъ голосѣ.

И опять всѣ голоса слились торжественно, дико и грозно, какъ голоса налетающей бури:

Претворилися такія чудеса,
Растворилися седьмыя небеса,
Сокатилися златныя колеса,
Золотныя, еще огненныя...

И вдругъ что-то покатилося, закружилось, бѣлое. Трудно было повѣрить, что это человѣкъ: ни лица, ни рукъ, ни ногъ—только бѣлый вертящійся столбъ, какъ столбъ снѣга въ метели, а тамъ и другой, и еще, и еще, и еще—вся комната наполнилась бѣлыми вихрями. Рубахи-саваны, вздувшись отъ воздуха, образовали эти столбы. Вертятся, вертятся, вертятся—и вѣтра вой, свистъ, визгъ, какъ отъ снѣжной бури въ степи.

Я глядѣлъ, и голова у меня кружилась; иногда вабывался, какъ будто терялъ сознаніе, и казалось мнѣ, что вмѣстѣ со всѣми лечу и я; иногда опоминался и видѣлъ, какъ плясуны, изнеможенные, остановившись, выжимали мокрѣя отъ пота рубахи, вытирали полотенцами лужи пота на полу, и знакомый

острый запах душилъ меня, какъ выхухоль; но тотчасъ же опять забывался я.

Испытывалъ чувство неизъяснимое: сѣвозъ ужасъ—восторгъ; подобный тому, который я испыталъ уже разъ, много лѣтъ назадъ, когда на Лейпцигскомъ полѣ, передъ сраженіемъ, мимо нашей дивизіи проскакалъ на конѣ государь императоръ, и съ пятидесятитысячною громадою войскъ кричалъ я „ура!“ и готовъ былъ, умирая, сказать царю моему, Богу моему: „здравствуй, государь-батюшка, красное солнышко!“

Тогда—красное, а нынѣ—бѣлое. И съ бѣлой метелью въ бѣлому солнцу лечу...

Сентября 9. Возобновляю записки сіи черезъ мѣсяцъ, въ Царскомъ Селѣ, въ Китайскомъ домикѣ, куда перевезъ меня дядюшка.

Я былъ боленъ, дней десять лежалъ безъ памяти, едва живъ остался. Поправляюсь медленно, но все еще слабъ.

Дни тихіе, теплые, точно весенніе. Желтые листья кружатся, какъ золотыя бабочки; паутинки летаютъ осеннія въ хрустально-чистомъ воздухѣ; томно блѣднѣютъ астры, ярко темнѣютъ георгины печальныя. А изъ голубого неба журавлей невидимыхъ крики доносятся, какъ будто зовутъ они въ страну, откуда путникъ не возвращается.

Сентября 10. Царское Село опустѣло. Государь уѣхалъ 16-го августа въ восточныя губерніи. Императрица Елисавета Алексѣевна живетъ во дворцѣ одна, ея почти не видно и не слышно.

Государь передъ отъѣздомъ обо мнѣ спрашивалъ

дядюшку, желалъ видѣть меня и, когда узналъ, что я боленъ, послалъ ко мнѣ лейбъ-медика Штофрегена, который, говорятъ, спасъ мнѣ жизнь: Коссовичъ залѣчилъ бы до смерти. Такъ вотъ отчего былъ такъ заботливъ дядюшка: не ему, а государю обязанъ я спасеніемъ жизни.

Штофрегенъ говоритъ: „скоро молодцомъ будете“. Да, тѣло здорово, живъ,—а жить нечѣмъ.

Сентября 12. Николай Михайловичъ Карамзинъ—мой сосѣдъ по Китайскому домику. Мы съ нимъ знакомцы давніе: встрѣчались у Олениныхъ и Вяземскихъ. Дядюшка поручилъ меня заботамъ Катерины Андреевны Карамзиной; она ко мнѣ добра; Николай Михайловичъ тоже: знаетъ, конечно, и онъ о государственной милости; намекаетъ на камергерство мое въ скоромъ будущемъ.

Милый старикъ—весь тихій, тишайшій, осенній, вечерній. Высокаго роста; полусѣдые волосы наверхъ плѣшивой головы зачесаны; лицо продолговатое, тонкое, блѣдное; около рта двѣ морщины глубокия: въ нихъ—*Бѣдная Лиза*—меланхолія и чувствительность. Смѣяться не умѣетъ: какъ маленькія дѣти, странно и жалобно всхлипываетъ; зато улыбка всегдашняя,—скромная, старинно-любезная, — такъ теперь уже никто не улыбается. Орденская звѣзда на длиннополой бекешѣ, тоже старинной; и пахнетъ отъ него по-старинному, табачкомъ нюхательнымъ да цвѣтомъ чайнаго деревца. Тихій голосъ, какъ шелестъ осеннихъ листовъ.

Гуляемъ въ паркѣ; Штофрегенъ позволилъ мнѣ прогулки недолгія. Шагами тихими и ровными ходимъ, оба опираясь на палочки, какъ старики-ровесники.

Царскосельскія кущи въ багрецѣ и золотѣ осени; блѣдныя мраморы статуй, какъ блѣдныя призраки, желтыя листья, подъ ногами шуршащія; лебединыя вливы съ туманныхъ озеръ въ наступающихъ сумеркахъ — все наводитъ ту меланхолію сладкую, коей нѣкогда былъ Карамзинъ пѣвцомъ столь плѣнительнымъ.

А когда вижу императрицу издали, въ вечерней тѣни, какъ тѣнь, проходящую, то кажется, — всѣ мы трое — тѣни, отошедшія въ царство тѣней, въ безмолвный Элизіумъ.

Сентября 18. Жизнь Карамзина единообразна, какъ маятника ходъ въ старинныхъ часахъ англинскихъ. Утромъ работа надъ XII-мъ томомъ Исторіи Государства Россійскаго. „Въ хорошіе часы мои, — говоритъ, — описываю ужасы Іоанна Грознаго“. Потомъ — прогулка пѣшкомъ или верхомъ, даже въ самую дурную погоду: „послѣ такой прогулки, — говоритъ, — лучше чувствуешь пріятность теплой комнаты“. Обѣдъ непременно съ любимымъ рисовымъ блюдомъ. Трубка табаку, не больше одной въ день. Нюхательный французскій — всегда у Дазера покупается, а чай съ Макарьевской ярмарки выписывается, каждый годъ по цыбику. На ужинъ — два печеныхъ яблока и стараго портвейна рюмочка.

Катерина Андреевна еще не старая женщина: прекрасна, холодна и бѣла, какъ снѣжная статуя, настоящая муза важнаго исторіографа. Когда благонравныя дѣтки собираются вокругъ маменьки вечеромъ, за круглымъ чайнымъ столомъ, подъ уютною лампою, и она креститъ ихъ передъ сномъ: „bonne nuit, рара! bonne nuit, маман!“ — залюбоваться можно,

какъ на картинку Грёзову. Потомъ жена или старшая дочь читаетъ вслухъ усыпительные романы госпожи Сюза. Николай Михайловичъ садится спиной къ лампѣ, сберегая зрѣніе, и въ чувствительныхъ мѣстахъ плачетъ. А ровно въ десять, съ послѣднимъ ударомъ часовъ, всѣ отходятъ ко сну.

— Лѣта и характеръ, — говоритъ, — склоняютъ меня къ тихой жизни семейственной: день за день, нынче какъ вчера. Усердно благодарю Бога за всякій спокойный день.

— Ваше превосходительство, — говорю, — вы мастеръ жить!

А онъ улыбается тихой улыбкой.

— Счастье, — говоритъ, — есть отсутствіе воли, а мудрость житейская — наслаждаться всякій день, чѣмъ Богъ послалъ. Въ тихихъ удовольствіяхъ жизни успокоенной, единообразной хотѣлъ бы я сказать солнцу: остановись! Теперь главное мое желаніе — не желать ничего, ничего. Творца молю, чтобъ Онъ безъ всякихъ прибавленій оставилъ все, какъ есть...

Можетъ быть, онъ и правъ, а только все мнѣ кажется, что мы съ нимъ давно уже умерли и въ царствѣ мертвыхъ о жизни бесѣдуемъ.

Сентября 19. Золотая осень кончилась. Дождь, слякоть, холодъ. Осенній Борей шумитъ въ оголенныхъ вѣтвяхъ, срываетъ и гонитъ послѣдній желтый листъ.

У Катерины Андреевны флюсъ; у Андрюши горло подвязано; у маленькой кашель — не дай Богъ, коклюшъ. Николай Михайловичъ на рюматизмы жалуется, брюзжитъ:

— Повара хорошаго купить нельзя, продаютъ

однихъ несносныхъ пьяницъ и воровъ. Отослалъ на-медни Тимошку въ полицію для наказанія розгами и велѣлъ отдать въ рекруты.

Я молчу. Онъ знаетъ, что я рѣшилъ отпустить на волю крестьянъ, и не одобряетъ, хочетъ наста-вить меня на путь истины.

— Не знаю, — говоритъ, — дойдутъ ли люди до свободы гражданской, но знаю, что путь дальній и дорога не гладкая.

Я все молчу, а онъ смотритъ на меня исподлобья, нюхаетъ табакъ и тяжело вздыхаетъ.

— Богъ видитъ, люблю ли человѣчество и народъ русскій, но для истиннаго благополучія крестьянъ желаю единственно того, чтобы имѣли они добрыхъ господъ и средства къ просвѣщенію.

Всталъ, подошелъ къ столу, отыскалъ письмо къ своимъ крестьянамъ въ нижегородское имѣніе Бортное и, какъ будто для совѣта съ Катериной Андреевной, а на⁽¹⁾ самомъ дѣлѣ для моего наставленія, прочелъ:

— „Я—вашъ отецъ и судья; я васъ всѣхъ люблю, какъ дѣтей своихъ, и отвѣчаю за васъ Богу. Мое дѣло знать, что справедливо и полезно. Пустыми просьбами не докучайте мнѣ, живите смирно, слушайтесь бурмистра, платите оброки, а если будете буянствовать, то буду просить содѣйствія военнаго генералъ-губернатора, дабы строгими мѣрами прину-дить васъ къ платежу исправному“.

И въ заключеніе приказъ: „буяновъ, если не уймутся, высѣчь розгами“.

А вечеромъ надъ романомъ госпожи Сюзѣ опять будетъ плакать.

Сентября 20. Хвалить Аракчеева:

— Человѣкъ государственный, — замѣнить его другимъ не легко. Больше лицъ, нежели головъ, а душъ еще меньше.

Бранить Пушкина:

— Талантъ, дѣйствительно, прекрасный; жаль, что нѣтъ мира въ душѣ, а въ головѣ ни малѣйшаго благоразумія. Ежели не исправится, — будетъ чортомъ еще до отбытія своего въ адъ.

Октября 10. Опротивѣлъ мнѣ Китайскій домикъ. Иногда хочется бѣжать куда глаза глядятъ отъ этого милаго старика, отъ любезной улыбки его и прилианныхъ височковъ, отъ бѣлоснѣжной Катерины Андреевны и благонравныхъ дѣтокъ, отъ черешневой трубки (не больше одной трубки въ день) и макарьевскихъ цыбиковъ чая, отъ слезливыхъ романовъ госпожи Сюзѣ и писемъ бурмистру о розгахъ, и двѣнадцати томовъ Исторіи, въ коихъ онъ —

Доказываетъ намъ безъ всякаго пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

Николай Михайловичъ, кажется, знаетъ, что я — членъ Тайнаго Общества, и душу у меня выматываетъ разговорами о политикѣ.

— Основаніе гражданскихъ обществъ неизмѣнно: можете низъ поставить наверху, но будетъ всегда низъ и верхъ, воля и неволя, богатство и бѣдность, удовольствіе и страданіе. Не такъ ли?

Я соглашаюсь, а онъ продолжаетъ:

— Я хвалю самодержавіе, а не либеральныя идеи, то-есть, хвалю печи зимою въ сѣверномъ климатѣ. Свободу намъ даетъ не государь, не парламентъ, а

каждый изъ насъ самому себѣ съ помощью Божьей. Я презираю либералистовъ нынѣшнихъ и люблю только ту свободу, которую никакой тиранъ у меня не можетъ отнять...

Я опять соглашаюсь, а онъ опять продолжаетъ:

— Пусть молодежь ярится; мы, старики, улыбаемся: будетъ чему быть—и все къ лучшему, когда есть Богъ. Моя политика — религія. Не зная для чего, знаю, что все должно быть, какъ есть...

А я молчу, молчу — мнѣ все равно, только бы отпустилъ душу на покаяніе.

Но иногда кажется, что этотъ старикъ, милый, умный, добрый, честный, опаснѣе самыхъ отъявленныхъ злодѣевъ и разбойниковъ. Если погибнетъ Россія, то не отъ глада, труса и мора, а отъ этой тихайшей мудрости: все должно быть, какъ есть.

Октября 13. Николай Михайловичъ любить жить на дачѣ до перваго снѣга. Вотъ и дождались: сегодня зарѣяли бѣлыя мухи, а къ вечеру повалилъ снѣгъ хлопьями и на черную землю опустился бѣлымъ саваномъ. Всѣ звуки заглохли, какъ подъ мягкой подушкою; только откуда-то далекій-далекій, точно похоронный, доносится колоколъ.

Сажу у камелька, гляжу на пепелъ гаснущій и вспоминаю о томъ, что было въ жизни, — какъ, должно быть, вспоминаютъ мертвые.

Я зналъ когда-то, что *все не должно быть, какъ есть*; я и теперь знаю, что тѣ, отъ кого я ушелъ, члены Тайнаго Общества, правы правотою вѣчною передъ людьми и передъ Богомъ. Бѣлой горячкой, которой больна вся Россія, мнѣ надо было самому переболѣть, чтобы это узнать; зато знаю теперь, какъ

никогда еще не зналъ, что правы они. И пусть все, что дѣлають,—безумство, ничтожество, кровь и грязь: но все, чего хотятъ,—истина, и сейчасъ для Россіи иной истины нѣтъ, нѣтъ иного спасенія отъ буйнаго бреда бѣлой горячки и отъ оной тишайшей мудрости: все должно быть, какъ есть. И пусть ихъ подвиговъ не свершеніе, а только возвѣщеніе, пророчество, но если не будетъ оно услышано, — погибнетъ Россія.

Да, все это знаю, какъ знаютъ мертвые. Я измѣнилъ, ушелъ отъ крови и грязи. Вотъ и чистъ,—чистъ и мертвъ.

Черная земля подъ бѣлымъ саваномъ, тишина могильная, похоронный колоколъ. Конецъ всему: „не зная для чего, знаю, что все должно быть, какъ есть“.

Октября 14.

Не узнавай, куда я путь склонила,
Въ какой предѣлъ изъ міра перешла.
О, другъ, я все земное совершила:
Я на землѣ любила и жила.
Нашла ли ихъ, сбылись ли ожиданья?
Безъ страха вѣрь: обмана сердцу нѣтъ;
Сбылося все: я въ сторонѣ свиданья,
И знаю здѣсь, сколь вашъ прекрасенъ свѣтъ.
Другъ! на землѣ великое не тщетно!
Будь твердъ, а здѣсь тебѣ не измѣнять.
О, милый, здѣсь не будетъ безотвѣтно
Ничто, ничто: ни мысль, ни вздохъ, ни взглядъ.

Стихи Жуковского. Зачѣмъ я ихъ выписалъ?

Я думалъ, Софья хочетъ, чтобъ я ушелъ изъ Тайнаго Общества, и когда уйду, она вернется ко мнѣ. Но вотъ не вернулась. И мнѣ теперь кажется, что, уходя отъ нихъ, я отъ нея ушелъ.

Октября 15. Что это было? Сонъ, призракъ, видѣнье—не знаю. Знаю только, что было. Исполнила она свое обѣщаніе предсмертное: „всегда съ тобою, и оттуда приходить буду“.

Проснувшись, я плакалъ отъ радости. Отчего эта радость, не помню; помню только, что Софья велѣла мнѣ вернуться къ нимъ, мои же слова мнѣ напомнила: „ничего не сдѣлаютъ, никого не спасутъ, только себя погубятъ, а все-таки правда Божья у нихъ. И пусть недостойнъ я, пусть беру не по силамъ, а отъ нихъ не уйду...“

Только теперь понялъ я, что эти слова значатъ. И пусть будетъ опять страхъ, смѣхъ, унынье, отчаянье, кровь и грязь, но того, что понялъ, я уже никогда не забуду.

Другъ! на землѣ великое не тщетно!
Будь твердъ, а здѣсь тебѣ не измѣнять.
О, милый, здѣсь не будетъ безотвѣтно
Ничто, ничто: ни мысль, ни вздохъ, ни взглядъ.

Опять могу плакать, могу молиться, какъ сегодня я съ нею молился:

„Сохрани, помоги, помилуй насъ всѣхъ, Господи!
Спаси, Матерь Пречистая!“

Октября 16. Переѣхалъ въ Петербургъ къ Одоевскому. Сказалъ Пущину, что хочу вернуться въ Тайное Общество: примутъ ли? не считаютъ ли измѣнникомъ? Онъ молча обнялъ меня и поцѣловалъ, какъ братъ.

Октября 17. Видѣлъ всѣхъ. Обрадовались мнѣ. Рылѣевъ кинулся на шею и заплакалъ. Кюхля замахалъ руками такъ, что опрокинулъ бутылку и раз-

билъ стаканъ. Батенковъ возобновилъ разговоръ о монархическомъ и республиканскомъ правленіи, за шесть мѣсяцевъ начатый, какъ будто ничего не случилось. А Каховскій все такъ же стоялъ у печки, скрестивъ руки на груди по-наполеоновски, и усмѣхался презрительно.

Милые, родные. Полюби насъ черненькими, а бѣленькими насъ всякій полюбитъ. Хороши или плохи, они у меня единственные, и другихъ не будетъ.

Октября 24. Предлагаютъ мнѣ для переговоровъ съ Южными ѣхать въ Васильковъ къ Сергѣю Муравьеву и въ Тульчинъ къ Пестелю. Я готовъ, хоть сейчасъ.

Октября 26. Нѣтъ, сейчасъ не поѣду. Вчера вернулся государь, и дядюшка говорить, что обо мнѣ спрашивалъ. Подожду свиданія съ государемъ: такъ Софья хочетъ.

Ноября 5. Пущинъ показывалъ *Православный Катехизисъ* для возмущенія войскъ и простого народа, Сергѣемъ Муравьевымъ составленный. Въ Катехизисѣ сказано:

— „Для чего русскій народъ и русское воинство несчастны?

— „Для того, что похитили..... у него свободу.

— „Что же святой законъ нашъ повелѣваетъ дѣлать русскому народу и воинству?

— „Раскаяться въ долгомъ раболѣпствіи и, ополчась противъ тиранства и нечестія, поклясться, да будетъ всѣмъ единый Царь на небеси и на земли—Иисусъ Христосъ“.

Точнѣе, прямѣе нельзя сказать—и доколѣ этого не скажутъ всѣ, въ Россіи свободы не будетъ.

Я думалъ, что я одинъ знаю; но вотъ уже не одинъ.

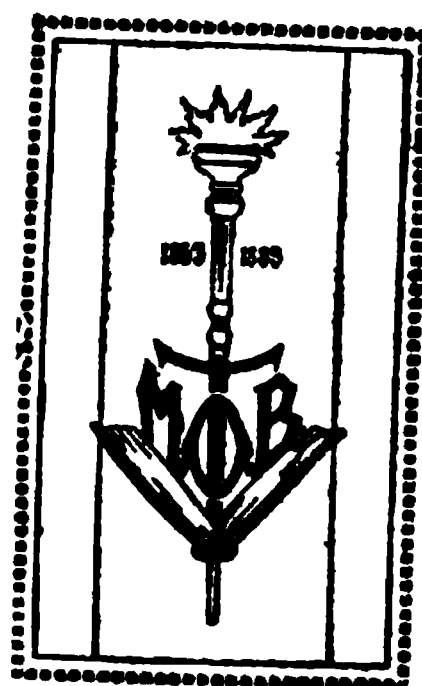
И пусть мы только знаемъ, только скажемъ другимъ, а сами ничего не сдѣлаемъ,—когда другіе сдѣлаютъ, то вспомнить и о насъ.

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО ТОМА.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	СТР
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.	
Глава первая	3
„ вторая	12
„ третья	36
„ четвертая	50
„ пятая	63
„ шестая	79
„ седьмая	90
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.	
Глава первая	109
„ вторая	187
„ третья	160
„ четвертая	177
„ пятая	190
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.	
Глава первая	215
„ вторая	232
„ третья	242
„ четвертая	253
„ пятая	268
„ шестая.—Записки князя Валерьяна Михайловича Голлицина	288





Д. МЕРЕЖКОВСКИЙ

АЛЕКСАНДРЪ

ПЕРВЫЙ



ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ



ИЗДАНИЕ
Т-ВА М. О. ВОЛЬФЪ и Т-ВА И. Д. СЫТИНА
С.-ПЕТЕРБУРГЪ и МОСКВА
1913

1913
1914
1915

1916

1917

1918

1919

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Императрица Елисавета Алексѣевна, стоя передъ зеркаломъ, надѣвала головной уборъ съ райскою птичкою, мужнинъ подарокъ. Такіе уборы были въ модѣ лѣтъ десять назадъ; но то, что ему, государю, нравилось, было для нея вѣчною модою.

Наряжалась, какъ влюбленная дѣвочка; подумала объ этомъ—и покраснѣла, глядя въ зеркало.

„Ну развѣ такая можетъ нравиться? Старая, злая нѣмка. Вонъ и кончикъ носа красный, какъ у всѣхъ старыхъ плаксъ. Это оттого, что, когда плачу, слишкомъ часто сморкаюсь. И губы поджаты съ видомъ жертвы, какъ это по-русски? Да, *поджима...*“

Отвернувшись съ досадою отъ зеркала и перешла въ свой кабинетъ. Здѣсь, у камина, въ уютномъ уголкѣ изъ мягкой мебели, столиковъ и ширмочекъ, приготовленъ былъ чайный приборъ: ждала государя къ вечернему чаю. Осмотрѣла, все ли въ порядкѣ: заваренъ ли чай, какъ слѣдуетъ; есть ли крендельки съ анисомъ, варенье, — все, что онъ любитъ; а на другомъ столикѣ — шашки, бирюльки, карты: иногда въ экарте или въ мушку игрывалъ. Перебѣнила на

лампѣ розовый щитокъ на зеленый — его любимый цвѣтъ.

Присѣла къ камину, задумалась.

Теперь, когда не смотрѣлась въ зеркало, лицо ея было прекрасно. Психеей называли ее въ юности. Тогда у нея были дѣтски удивленные глаза, дѣтски падающія плечи и, подѣ слишкомъ тяжелымъ золотомъ волосъ, шея дѣтски-тонкая, какъ стебель, гнущійся подѣ бременемъ цвѣтка. Та юная прелесть увяла. Но теперь — иная, неувядаемая: если тогда была музыка, то теперь — тишина послѣ музыки.

Думала, зачѣмъ въ послѣднее время государь такъ часто съ нею видится. Знала по опыту, что, когда ему хорошо, она ненужна, и привыкла къ этому такъ, что, каждый разъ какъ онъ приближался къ ней, спрашивала себя: „зачѣмъ? что съ нимъ?“ и всегда угадывала. Но теперь не могла угадать: только чувствовала, что есть что-то страшное для нихъ обоихъ. Вспомнилась кроткая, какъ будто стыдливая, улыбка его во время послѣдней болѣзни, когда онъ говорилъ:

— Не знаю, оттого ли, что я очень боленъ, или уже годы не тѣ, но я не имѣю силы бороться съ болѣзью.

Вспомнилось и то, что сказалъ онъ князю Васильчикову, когда выздоравливалъ:

— Я дешево отдѣлался, но въ сущности былъ бы не прочь сбросить это бремя короны, страшно тяготящей меня.

Радъ былъ сбросить ее вмѣстѣ съ жизнью.

Чѣмъ больше думала объ этомъ, тѣмъ больше боялась; знала, что онъ самъ никогда не заговоритъ, а спросить, — какъ бы хуже не было.

Услыхавъ шаги его, покраснѣла . опять, какъ влюбленная дѣвочка. Онъ вошелъ и поцѣловалъ руку ея, а она его—въ голову.

— Уфъ, едва вырвался! Семейный обѣдъ въ Аничковомъ, — заговорилъ онъ по-французски, какъ всегда съ ней говорилъ:—сегодня маменька весь день за мной по пятамъ. Въ послѣднюю минуту послалъ имъ сказать, что не буду, а то не отпустили бы... Ну, а вы какъ?

— Ничего, лихорадки днемъ, кажется, не было, и меньше кашляю.

— Слава Богу! Только берегитесь, не выѣзжайте, погода ужасная; слякоть, вѣтеръ съ моря. Вода поднялась; пожалуй, наводненіе будетъ...

Пили чай, играли въ шашки; говорили о маленькихъ придворныхъ событіяхъ и сплетняхъ. Она старалась казаться веселою.

Зашла рѣчь о послѣдней семейной сварѣ изъ-за фрейлины Протасовой, полоумной старухи, которую императрица-мать взяла подъ свое покровительство, въ пику государынѣ.

— Ахъ, если бы вы знали, мой другъ, какъ я устала отъ этихъ дразгъ! Маменька, Никсъ, Мишель, Александринъ — всѣ противъ меня. Настоящій заговоръ...

— Полно, Лізе, оставьте, не думайте. Ну, что вамъ до нихъ? Вы же знаете, чѣмъ они хуже къ вамъ, тѣмъ лучше я...

— Этого-то и не могутъ мнѣ простить! Готовы на все, чтобы повредить мнѣ въ вашихъ глазахъ. Особенно, маменька. И чтò я имъ сдѣлала? За что такая ненависть?..

Говорили о родныхъ, какъ о чужихъ, почти о

врагахъ. Враги человеку домашніе ея,—оба понимали, что это значить.

— Неужели вы думаете, Lise, что все это можетъ имѣть на меня какое-нибудь вліяніе?—произнесъ онъ ласково и взялъ ее за руку.

Она молчала, потупившись.

— Не вѣрите?—повторилъ онъ еще ласковѣе.

— Вѣрю, но если мнѣ трудно, не моя вина...

— А чья? Говорите, говорите же все, Lise, ради Бога!

— Я узнаю иногда отъ другихъ то, что должна бы знать отъ васъ,—сказала она и, поднявъ глаза, посмотрѣла на него рѣшительно.

— Что же именно?

— Отреченіе отъ престола.

— Сколько разъ я говорилъ вамъ. Забыли?

— Говорили въ шутку.

— Ну, не совсѣмъ...

— Да, не совсѣмъ: Константинъ уже отрекся, и Николай—наслѣдникъ.

— Откуда вы знаете? Ничего не рѣшено. Можетъ быть, послѣ моей смерти...

— Нѣтъ, при жизни. Вы такъ и сказали имъ. Маменька спрашивала меня: „не показывалъ ли онъ вамъ чего-нибудь?“ Значить, есть что-то...

Наклонившись надъ вучкой бирюлекъ, онъ старался выудить боченочекъ.

— Скучныя дѣла, мой другъ. Вы знаете, я никогда не говорю съ вами о политикѣ...

— Тутъ не политика, а ваша судьба и моя. Какъ могли вы рѣшить, не сказавъ мнѣ? Имъ говорите, а отъ меня скрываете...

— Ну, вотъ вы теперь знаете, Lise. И развѣ не

рады? Быть свободными, жить вмѣстѣ, — помните, какъ мы мечтали дѣтьми...

Она покачала головой.

— Нѣтъ, не то. Вы не хотите сказать, а я знаю. Тутъ другое...

— Что другое? Что вы знаете? — спросилъ онъ тихо и посмотрѣлъ на нее, молча, долго; разрушилъ вучку бирюлекъ, отвернулся и сталъ мѣшать угли въ каминѣ.

— Тайное Общество, — сказала она такъ же тихо, не отводя отъ него глазъ.

Онъ быстро обернулся. Лицо исказилось, какъ отъ внезапной боли, и что-то промелькнуло въ немъ такое жалкое, трусливое, какъ у человѣка, который сходить съ ума, знаетъ это и боится, чтобъ другіе не узнали.

— Глупыя сплетни! — сказалъ уже спокойно, овладѣвъ собою; всталъ, прошелся по комнатѣ, взялъ со стола книгу, прочелъ заглавіе: „Бахчисарайскій фонтанъ“ Пушкина, — перелисталъ и бросилъ.

— Прошу васъ, Lise, никогда не говорить со мной объ этомъ. Ни со мной и ни съ кѣмъ. Слышите?

— Не я говорю, а мнѣ говорить, — отвѣтила она, блѣднѣя.

Старая обида заняла въ душѣ, какъ старая рана. Что ему доставляются тайной полиціей письма ея и что онъ вскрываетъ ихъ, такъ же какъ письма всѣхъ членовъ царской фамиліи, — давно уже знала; но никогда не говорила съ нимъ объ этомъ — стыдилась; гнуснымъ казался ей этотъ обычай, сохранившійся отъ временъ Павловыхъ. Теперь вспомнила о немъ и подумала, что онъ смотритъ на нее такими же гла-

вами, какіе у него, должно быть, во время чтенія вскрытыхъ писемъ. Въ тысячный разъ обманулась, повѣривъ близости его, и въ тысячный разъ все такъ же больно, какъ въ первый; за тридцать лѣтъ не привыкла и никогда не привыкнетъ.

— Кто? Кто вамъ сказалъ?—повторялъ онъ все настойчивѣй, все подозрительнѣй.—Мнѣ нужно знать, Lise. Ну, будьте же разсудительны. Прошу васъ, если вы меня любите...

И вдругъ опять промелькнуло въ лицѣ его что-то трусливое, жалкое, подлое: „да, подлое!“—подумала она съ возмущеніемъ. Развѣ не подлость — выпытывать, допрашивать такъ, смотрѣть на нее глазами сыщика?

Отвернувшись, стала наливать чай; но руки такъ тряслись, что уронила чашку; заплакала.

— Что вы, Lise? О чемъ? Вы меня не такъ поняли. Я самъ давно уже собирался сказать вамъ объ этомъ. Но вы больны: я не хотѣлъ...

— Да развѣ лучше такъ?—воскликнула она горестно.—Хуже, хуже всего, не можетъ быть хуже! Оттого и больна. Вы молчите, а я... Какъ же вы не видите, что я не могу, не могу больше, силъ моихъ нѣтъ!

Онъ подошелъ къ ней и опустился на колѣни.

— Ну, полно, Lise, ради Бога, не надо...—цѣловалъ ей руки.—Неужели я не сказалъ бы, если-бъ что-нибудь было? Но ничего нѣтъ; по крайней мѣрѣ, я не знаю. Можетъ быть, вы больше моего знаете? Мнѣ иногда самому приходитъ въ голову, нѣтъ ли тутъ поважнѣе лицъ?—прибавилъ съ хитростью.

Она вдругъ перестала плакать; забывъ о себѣ, думала только о немъ, о грозящей ему опасности.

— Мнѣ говорилъ Карамзинъ и мой секретарь Лонгиновъ. Но, кажется, объ этомъ знаютъ всѣ...

И рассказала все, что слышала. Когда кончила, онъ посмотрѣлъ на нее съ улыбкою.

— Охота же вамъ изъ-за такихъ пустяковъ мучиться!

Утѣшалъ ее, успокаивалъ: все это ему уже давно извѣстно; въ рукахъ его всѣ нити заговора; онъ даже знаетъ по именамъ заговорщиковъ; истребить ихъ ничего не стоитъ; если же медлить, то потому, что жалѣеть несчастныхъ, „заблужденія коихъ суть заблужденія нашего вѣка“; ждетъ, чтобы сами одумались; впрочемъ, всѣ мѣры приняты, и нѣтъ никакой опасности.

Говорилъ такъ искренно, что она почти вѣрила; умомъ вѣрила, а сердцемъ знала, что онъ лжетъ; въ глазахъ его видѣла ту ясность, которой всегда боялась, — бездонно-прозрачную и непроницаемую, какъ у женщинъ, когда онѣ лгутъ. Но не имѣла силы бороться съ ложью; готова была на все, только бы не увидѣть опять того трусливаго, подлаго, что промелькнуло въ лицѣ его давеча. Изнемогла, поворилась.

Можетъ быть, и правъ онъ, — думала, — что на помощь ея не надѣется: гдѣ ужъ ей помогать, другихъ поддерживать, когда сама отъ слабости падаетъ?

Ничего не сказала, только посмотрѣла на него такъ, что вспомнились ему кроткіе глаза загнанной лошади, которая издыхала на большой Петергофской дорогѣ, уткнувъ морду въ пыль, съ кровавою пѣною на удилахъ.

— А знаете, Lise, что больше всего меня му-

часть? То, что отъ меня несчастны всѣ, кого я люблю,—заговорилъ онъ, и сразу почувствовала она, что онъ теперь не лжетъ.

— Несчастны отъ васъ?

— Да. Софьяна смерть, ваша болѣзнь—все отъ меня. Вотъ, чего я себѣ никогда не прощу. Знать, что могъ бы любить и не любить, — больше этой муки нѣтъ на свѣтѣ... О, какъ страшно, Lise, какъ страшно думать, что нельзя вернуть, искупить нельзя ничѣмъ... А все-таки въ послѣднюю минуту я къ вамъ же приду, и вѣдь вы меня?..

Не дала ему кончить, охватила руками голову его и прижала къ себѣ, безъ словъ, безъ слезъ, только чувствуя, что одинъ этотъ мигъ вознаграждаетъ ее за все, что было, и за все, что будетъ.

Кто-то тихонько постучался въ дверь, но они не слышали. Дверь пріотворилась.

— Ваше величество...

Оба вскочили, какъ застигнутые врасплохъ любовники.

— Кто тамъ?—окликнула она.—Я же велѣла... Господи, ну, что такое? Войдите.

— Ваше величество, ихъ императорское величество, государыня императрица Марія Ѳеодоровна, — доложила фрейлина Валуева.

Государыня взглянула на мужа съ отчаяніемъ; тотъ поморщился. Валуева смотрѣла на нихъ съ любопытствомъ, какъ будто дѣлала стойку и нюхала воздухъ.

— Ну, чего вы стоите? Не знаете вашихъ обязанностей?—прикрикнула на нее государыня. — Ступайте же, просите ея величество.

— Не бойтесь, Lise, я какъ-нибудь сироважу ее

поскорѣе; скажу, что вы больны, и дѣло съ концомъ.

Государыня вышла въ уборную.

— Вотъ вы гдѣ, Alexandre! А мы васъ ищемъ, ищемъ, думаемъ: куда пропалъ?—заговорила, входя, императрица Марія Теодоровна.

Въ шестьдесятъ пять лѣтъ — свѣжая, вѣрная, гладкая, сдобная, румяная, какъ хорошо пропеченная булка изъ нѣмецкой булочной; несмотря на полноту, затянута, зашнурована такъ, что, казалось, платье на круглой спинѣ лопнетъ по швамъ; все лицо въ ямочкахъ-улыбочкахъ, которыя хотятъ быть любезными, но иногда вдругъ сладкимъ ядомъ наливаются. Всегда въ суетѣ, впопыхахъ, „точно на пожаръ торопится“, какъ покойный супругъ ея, императоръ Павелъ говаривалъ.

— А вѣдь я не одна, Alexandre: мы всѣ вмѣстѣ къ вамъ, по-семейному, — и Никсъ, и Мишель, и Александринъ, и Эленъ, и Мари. Они сейчасъ будутъ. Ужъ вы меня, дорогой, извините: я имъ позволила; сами не смѣютъ, да и я сюда безъ доклада не смѣю. А мы всѣ по васъ такъ соскучились!—болтала, трещала безумолку на свверномъ французскомъ языкѣ съ нѣмецкимъ выговоромъ. — Да гдѣ же она? Гдѣ Lise?..

И всѣ ямочки-улыбочки налились вдругъ сладкимъ ядомъ.

— Я, кажется, невстати? Если мѣшаю, вы скажите, мой другъ, не стѣсняйте, пожалуйста...

— Что вы, маменька, помилуйте! Lise всегда вамъ рада. Только на минутку вышла въ уборную. Да вотъ и она.

Вошла государыня. Императрица-мать поцѣло-

вала ее долгимъ поцѣлуемъ, родственнымъ, съ присасываньемъ и причмокиваньемъ.

— Ну, что? Какъ? Молодцомъ, а? А мы къ вамъ всѣ вмѣстѣ, вечерокъ провести по-семейному... Ахъ, душенька, нельзя такъ близко къ огню! Сколько разъ я вамъ говорила: тутъ окно, тутъ каминъ, а вы на самомъ сквознякѣ,—оттого и простужаетесь.

— Ничего, маменька, я привыкла.

— Иѣтъ, нѣтъ, пересядьте! Вотъ такъ. А шаль тдѣ? Беречься надо. Какъ говорится по-русски: берегаемого и Богъ берегаетъ... Ахъ, да что это, право, милая, — вы какъ будто еще похудѣли? Все огорчаетесь, разстраиваете себя, много думаете, мало кушаете. Сколько разъ я вамъ говорила: надо кушать яйца всмятку. Много, много яицъ: три яйца къ завтраку, три яйца къ обѣду, три яйца къ ужину. И тогда молодцомъ, молодцомъ, вотъ какъ я...

У государыни отъ этой болтовни въ глазахъ темнѣло, лѣвый високъ нылъ привычною болью, и въ головѣ какъ будто стучала, молала кофейная мельница. Но ничего нельзя было сдѣлать: надо застыть, замереть и терпѣть, пока не кончится.

Послышались шаги и голоса въ сосѣдней комнатѣ.

— А вотъ и они! Сюда, сюда, дѣти мои!—закричала маменька.

Великіе князья Николай Павловичъ и Михаилъ Павловичъ, великія княгини Александра Θεодоровна, Елена Павловна, Марія Павловна—вошли всѣ вмѣстѣ, гурьбою; перецѣловались, разсѣлись; молчали; только императрица-мать болтала, трещала безумолку. И тщетно государь, думая, какъ бы спроводить гостей, пробовалъ ее остановить.

Всѣмъ было томно, тошно, скучно до о́дурн. Великія княгини сидѣли, какъ въ воду опущенныя; великіе князья—чинные, важные, съ вытянутыми лицами. Николай Павловичъ, Никсъ—прямой, сухой, какъ сосна, съ необыкновенно правильными чертами лица, но съ такимъ выраженіемъ, какъ будто вѣчно на кого-то дуетъ: „Аполлонъ, страдающій зубною болью“,—сказалъ о немъ кто-то. Михаилъ Павловичъ, Мишель,—добродушный, босолапый увалень, настоящій Мишка-медвѣдь, умѣющій только плясать подъ бой барабана.

— Никсъ, Мишель, гдѣ же вы?—оглянулась на нихъ маменька.—Ахъ, какіе несносные! Вотъ такъ всегда: забьются въ уголъ и сидятъ буками. Это они васъ боятся, Lise. А у меня, въ Павловскѣ, расшались, — не уймешь... Ну, ступайте же, ступайте сюда, кавалеры, занимайте дамъ. Alexandrine, Elène, бѣдненькія, какіе у васъ мужья нелюбезные!

Оба сразу, какъ по командѣ, встали и вытянулись. Въ присутствіи старшихъ держали себя, какъ два кадета, отпущенные домой изъ корпуса.

— Ну, что мнѣ съ ними дѣлать? Просто бѣда. Совсѣмъ отъ рукъ отбились,—продолжала маменька:—манежъ да разводъ, ничего больше знать не хотятъ. А вѣдь вамъ, дѣти мои, не въ казармѣ жить: надо привыкать къ обществу... Хоть бы вы, Alexandre, поучили ихъ, что ли? Вы, славу Богу, не такъ воспитаны: въ свое время были кавалеръ очаровательный, да и теперь хоть куда. Не правда ли, въ него еще влюбиться можно, Lise? Ну, что вы на меня такъ смотрите? Развѣ я дурное сказала? Ужъ вы меня простите, дружокъ: я всегда говорю, что думаю. Послѣ тридцати лѣтъ супружества, жена, влю-

бленная въ мужа — это въ наши дни рѣдкость. И пусть другіе смѣются, а я счастлива. Когда я смотрю на счастье дѣтей моихъ, я сама счастлива. Вѣдь мой дорогой Alexandre — все, все для меня! — закатила глаза отъ умиленія.

А государыня уже ничего не слышала; лѣвый високъ нылъ нестерпимо, въ головѣ молела кофейная мельница, и лицо ея такъ поблѣднѣло, что государь боялся, какъ бы ей дурно не сдѣлалось.

— Маменька, Lise, кажется, устала. Доктора велѣли ей пораньше ложиться, — сказалъ и всталъ рѣшительно; понялъ, что безъ него не уйдутъ.

— Ахъ, Боже мой, Lise, правда, мы васъ утомили?

— Нисколько, маменька. Куда же вы? Посидите еще.

— Нельзя: мужъ не велитъ, надо мужа слушаться. А я думала, проведемъ вечерокъ вмѣстѣ, поболтаемъ, поиграемъ въ птижѣ. Шараду бы въ лицахъ Никсъ намъ представилъ, ту, что намени въ Павловскѣ, — мы такъ смѣялись! Онъ вѣдь только притворяется букою, а если захочетъ, — умѣетъ быть душою общества. Какъ это, Никсъ? Мое первое — *cor*...

— Точно такъ, маменька: *cor* — охотничій рогъ.

— Да, да, заигралъ на губахъ, какъ въ рожокъ... Мое второе — *rie*...

— *Rie* — воняетъ, маменька, — подсказалъ Никсъ.

— Да, да, зажалъ носъ и сморщился, какъ отъ дурного запаха... А мое третье — *lance* — копьё: замахнулся билліарднымъ кіемъ на старушку Нелидову, такъ что ~~она~~ закричала отъ страха. А мое цѣлое — *cor-ri-lance* — тучность: обвязался подушками и сталъ

ходить съ трудомъ, едва ногами двигая. Не правда-ли, мило?

Государынѣ казалось, что еще минута, и она упадетъ въ обморокъ.

— Ну, пойдите же, дѣти мои. Надоѣли мы вамъ, Lise, а? Какъ говорится по-русски: незванный гость хуже... хуже чего, Никсъ?

— Хуже татарина, маменька.

— Да, хуже татарина.

И опять на лицѣ всѣ ямочки-улыбочки налѣлись вдругъ сладкимъ ядомъ.

— Прощайте, душенька, — присосалась долгимъ поцѣлуемъ, родственнымъ. — Поправляйтесь же скорѣе, будьте умницей. Молодцомъ, молодцомъ, вотъ какъ я! Помните, яйца всмятку. Много, много яицъ: три яйца къ завтраку, три яйца къ обѣду, три яйца къ ужину...

Наконецъ, ушли; и государь—съ ними, чтобъ не обидѣлись.

Оставшись одна, государыня упала на диванъ и долго лежала, закрывъ глаза, не двигаясь, какъ въ обморокъ. Потомъ позвонила камермедхенъ, велѣла снять головной уборъ съ райскою птичкою и подать душистаго уксуса. Мочила виски, нюхала. Всѣ тѣло ныло, какъ избитое палками, и въ головѣ молола кофейная мельница.

Когда легла въ постель и потушила свѣчу,—вспомнивъ разговоръ съ государемъ, ужаснулась: какъ могла повѣрить или сдѣлать видъ, что вѣрить?

Вдругъ поняла такъ ясно, какъ никогда, что онъ гибнетъ, и что она спасти его не можетъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Въ ту ночь она плохо спала. Голова болѣла, мучилъ жаръ, и въ полуснѣ чудилось ей, что выколачиваютъ исполнскіе ковры исполнскими палками: то были пушечные выстрѣлы съ Петропавловской крѣпости, возвѣщавшіе прибыль воды.

Когда поутру затопили каминъ, пошелъ дымъ.

— Говорила я вамъ, что печи испорчены, — сказала она съ досадою дежурной фрейлинѣ Валуевой.

— Никакъ нѣтъ, ваше величество: печи исправны, а это отъ вѣтра...

— Отъ вѣтра... отъ вѣтра въ вашей головѣ, сударыня! Я вамъ еще третьяго дня велѣла истопнику сказать.

— Не мнѣ, а мадемуазель Саблуковой.

— Все равно, кому. Вы всегда отговорки находите!

— Чѣмъ же я виновата, помилуйте, ваше величество? Кто что ни сдѣлаетъ, все на мою голову! — приготовилась плакать Валуева, и некрасивое, неумное, птичье лицо ея сдѣлалось еще некрасивѣе. — Мадамъ Питтъ, княжна Волконская, мадемуазель Са-

блукѣва—всѣ въ милости. Только я одна, несчастная... Все на меня, все на меня! Я вѣдь знаю, ваше величество меня не изволите жаловать...

Такія сцены повторялись каждый день: фрейлины всѣ перессорились, ревновали императрицу и мучали. Давно уже рѣшила она, что этому надо положить конецъ.

Теперь, при видѣ плачущей Валуевой, хотѣлось ей вскочить, закричать, затопать ногами и выгнать ее вонъ.

Но удержалась и проговорила съ холодною злобою: — Послушайте, Валуева, я знаю, что глаза у васъ на мокромъ мѣстѣ и что вы плакать умѣете, но я этого больше терпѣть не намѣрена, слышите! Если мой характеръ вамъ не нравится, уходите пожалуйста,—никто васъ не держитъ. Хороша или дурна,—я не перемѣнюсь для васъ. Находятъ же другіе, что со мной жить можно... Ну, ступайте, истопника позовите.

Валуева вышла, заливаясь слезами.

Пришелъ истопникъ и, осмотрѣвъ каминъ, подтвердилъ, что все исправно, а топить нельзя отъ вѣтра: такая буря, что трубы на крышѣ ломаетъ.

Государыня перешла въ кабинетъ; здѣсь было на-топлено съ вечера. Дрожа и кутаясь, но привычнымъ усиліемъ воли перемогая ознобъ, напилась чаю и за-палась дѣлами Патріотическаго Общества. Разбирала бумаги; однѣ подписывала, другія откладывала, чтобы обсудить ихъ съ Лонгиновымъ, секретаремъ своимъ.

Вспоминая сцену съ Валуевой, стыдилась: за что обидѣла бѣдную дѣвушку? Чѣмъ виновата она, что глупа? И развѣ другія лучше? Не права ли императрица-мать, когда жалуется на ея, государыни, сквер-

ный характеръ? Вѣчно не въ духѣ—„злая пѣмка“—оттого и больна.

Думала, какъ бы позвать Валугу, помириться съ ней. Но та сама вбѣжала.

— Ваше величество, посмотрите, что это?

Государыня взглянула въ окно и глазамъ не повѣрила: вода въ Невѣ поднялась такъ, что почти сравнялась со стѣнкою набережной. Волны вздымались, огромныя, сѣро-свинцовыя, черно-чугунныя, какъ злыя чудовища, которыхъ гладятъ противъ шерсти—и они щетинятся. По тому, какъ тучи брызгъ неслись, подобныя пару надъ кипящей водой, можно было судить о силѣ вѣтра.

Люди толпились на набережной. Дѣти смѣялись и прыгали, любуясь, какъ вода сквозъ рѣшетки подземныхъ трубъ бьетъ фонтанами и заливаєтъ мостовую лужами.

Вдругъ всѣ побѣжали; въ одну минуту опустѣла набережная. То тамъ, то здѣсь перехлестывали, переливались волны черезъ гранитную стѣнку, какъ черезъ край водоѣма, слишкомъ полного. Еще минута—и скрылась подъ водою улица, и волны забили въ стѣны дворца.

— Наводненье! Наводненье! — кричала Валуга съ такимъ испугомъ, какъ будто вода сейчасъ вольтетъ въ комнату.

А государыня радовалась тою радостью, которая овладѣваетъ людьми при видѣ ночного пожара, заливающего темное небо краснымъ заревомъ. Хотѣлось, чтобы вода подымалась выше и выше—все затопила, все разрушила,—и наступилъ конецъ всему.

Вошелъ секретарь Лонгиновъ и разсказалъ свои приключенія: едва не утонулъ; карету залило; онъ

долженъ былъ сидѣть на корточкахъ; промочилъ ноги; только что переобулся; показывалъ, смѣясь, чужіе башмаки, не впору. И дамы смѣялись.

— Ужасное бѣдствіе! Подъ водой уже двѣ трети города,—заклучилъ Лонгиновъ.—Я всегда говорилъ: нельзя жить людямъ тамъ, гдѣ могутъ быть такіа бѣдствія. Когда-нибудь участь Атлантиды постигнетъ Петербургъ...

Ужасались, ахали, охали:

— Бѣдные люди! Сколько несчастій! Сколько жертвъ!

А государынѣ казалось, что имъ всѣмъ весело. Весело смотрѣть, какъ фельдъегерь въ почтовой телѣжкѣ (колеса роютъ воду, точно маленькая водяная мельница) остановился, потому что вода вотъ-вотъ подыметъ телѣжку, какъ лодку; сѣдокъ съ кучеромъ вылѣзли, выпрягли и, держа лошадей за уши, поскакали—поплыли. Весело смотрѣть, какъ мужикъ лѣзетъ на фонарный столбъ; распатанный напоромъ вѣтра и волнъ, деревянный столбъ качается; мужикъ, сорвавшись, падаетъ; нырнулъ, вынырнулъ; бѣжитъ, плыветъ,—должно быть, утонетъ. А вонъ собака на крышѣ будки, поднявъ морду, воетъ. За двойными рамами оконъ звуковъ не слышно—ни рева бури, ни шума волнъ, ни криковъ о помощи, какъ будто мертвое молчанье—надъ мертвою пустыней водъ. Отъ Зимняго дворца до крѣпости—одинъ кипящій, вло-кочущій, бушующій омутъ, гдѣ несутся барки, лодки, галіоты, плоты, заборы, крыши, гауптвахты, рыбные садки, бревна, доски, бочки, тюки товаровъ, группы животныхъ и кресты съ могилъ размытаго кладбища.

Шесть градусовъ выше нуля, а барометръ опустился, какъ во время грозы.

Свѣтъ—темный, какъ у человѣка передъ обморокомъ, когда въ глазахъ темнѣетъ; похоже на свѣтопреставленіе; иногда выглянетъ солнце сквозь тучи, какъ лицо покойника сквозь кисею гробовую,—и тогда еще больше похоже на кончину міра.

У государыни лихорадка прошла. Она чувствовала себя бодрою, сильною, легкою, какъ въ дѣтствѣ, во время самыхъ буйныхъ игръ. А иногда казалось ей, что вода опустится, войдетъ въ берега, и будетъ все опять, какъ было—та же скука, пошлость и уродство жизни, тѣ же глупыя сцены съ Валуевой, разговоры съ императрицей-матерью, дѣла Патріотическаго Общества. И становилось жалко чего-то; ознобъ пробѣгалъ по тѣлу, ноги бессильно подкашивались, и вся она опять—больная, слабая, старая.

— Ну, Николай Михайлычъ, у насъ много дѣла,—говорила секретарю.

Онъ читалъ ей докладъ, и она слушала, стараясь не думать о наводненіи.

Но Валуева кричала:

— Смотрите, смотрите, ваше величество! Вонъ уже гдѣ!..

И опять—ужасъ и радость конца.

— Пойдемте въ угольную, тамъ лучше видно,—предложила государыня.

Проходя коридоромъ, слышали крикъ:

— Утонули! Утонули! Свѣтики, родимые!..

Степанида Петровна Голяшкіна, камеръ-лакейская вдова, старуха лѣтъ восьмидесяти, плакала въ толпѣ дворцовыхъ служителей.

— Ваше величество, государыня-матушка, смилуйтесь! Приказать извольте лодку!.. — закричала, увидѣвъ императрицу и повалившись ей въ ноги.

Не могла говорить. За нее объяснили другіе, что Голяшкиной дочь за аудиторскимъ чиновникомъ замужемъ, въ Чекушахъ живетъ, на Васильевскомъ Островѣ, въ маленькомъ домикѣ, на самомъ берегу Невы; тамъ теперь все уже залило, потому что мѣсто низкое; поутру отецъ уходитъ въ должность, мать—на рынокъ; люди—бѣдные, не могутъ держать прислуги; уходя, запираютъ двухъ дѣтей своихъ, мальчика и дѣвочку, однихъ въ домѣ. Вотъ и боится бабушка, чтобъ внуки не утонули.

— Нельзя ли лодку?—сказала государыня Лонгинову.

— Не извольте беспокоиться, ваше величество,—заговорилъ сѣдой, степенный камеръ-лакей.—Сама не знаетъ, что говорить. Ума лишившись отъ горя. Какія тутъ лодки! Кто повезетъ? Да и всѣ ужъ, чай, разосланы... Ну, полно, Петровна, можетъ, еще и живы. Молиться надо. Пойдемъ-ка, бабушка, не докучай государынѣ...

Старуху увели подъ руки; но долго еще слышался крикъ ея, и, какъ будто въ одномъ этомъ крикѣ соединились всѣ безчисленные вопли погибающихъ,—государыня вдругъ поняла, что происходитъ.

— Ступайте, Николай Михайлычъ, узнайте, гдѣ государь.

Лонгиновъ хотѣлъ-было что-то сказать, но она закричала:

— Ступайте же, ступайте, дѣлайте, что вамъ велятъ!

Вошла въ угольную и стала смотрѣть въ окно.

На Невѣ, противъ Адмиралтейской набережной, тонула плоскодонная барка, флашкоть Исаакіевскаго моста. Водой подняло мостъ, какъ гору, и разорвало

на части; онѣ понеслись въ разныя стороны; на тонущемъ флашкотѣ люди, какъ муравьи, сновали, копошились, бѣгали. Государыня узнала плывшій къ нимъ на помощь дежурный восемнадцативесельный катеръ гвардейскаго экипажа, стоявшій всегда у дворца на Невѣ. Въ бѣлесовато-мутной мглѣ урагана волны играли лодкою, какъ орѣховой скорлупкою,—вотъ-вотъ опрокинется и пойдетъ ко дну. Что если тамъ государь?

А Лонгиновъ пропалъ. Не послать ли Валугеву? Да, нѣтъ, глупа,—ничего не сумѣетъ.

Молоденькій офицеръ пробѣгалъ черезъ комнату. Вымокъ весь, — должно быть, только что былъ по поясъ въ водѣ. Простое, милое, какъ у деревенскихъ мальчиковъ, лицо его посинѣло отъ холода, а въ глазахъ былъ тотъ радостный ужасъ, который испытывала давеча сама государыня. Увидѣвъ ее, остановился и отдалъ честь.

— Не знаете ли, гдѣ государь?

— Не могу знать, ваше величество, — отвѣтилъ онъ, стуча зубами и стараясь удержать улыбку. — Кто говоритъ,—здѣсь, во дворцѣ, а кто,—съ генераль-адъютантомъ Бенкендорфомъ на катерѣ.

— Ну, хорошо, ступайте.

Онъ побѣжалъ, оставляя на паркетѣ лужицы.

Наконецъ, вернулся Лонгиновъ.

— Никто ничего не знаетъ. Просто бѣда! Толку не добьешься. Всѣ потеряли голову, мечутся, какъ угорѣлые...

— Ахъ, Николай Михайловичъ, нельзя же такъ! — воскликнула она со слезами въ голосѣ. — Боже мой, Боже мой!.. Ну, такъ я сама, если вы ничего не умѣете...

— Ваше величество...

— Ступайте за мной!

И всѣ трое побѣжали, — государыня, Валюева, Лонгиновъ.

Встрѣтили камердинера Мельникова. Онъ тоже не зналъ, гдѣ государь.

— Сами ищемъ. Ея величество, государыня императрица Марія Ѳеодоровна очень беспокоится изволятъ. Никакъ найти не можемъ, — говорилъ Мельниковъ, хлопая себя по ляжкамъ съ такимъ видомъ, какъ будто пропала иголка.

— Дуракъ! — воскликнула государыня по-французски и побѣжала дальше.

Генераль-адъютантъ князь Меншиковъ немного успокоилъ ее, сообщивъ, что государя видѣли внизу, на Комендантской лѣстницѣ. Чтобы попасть туда, надо было пробѣжать множество комнатъ.

Дворецъ напоминалъ разрытую кочку муравейника: люди бѣгали, кишѣли, суетились, метались, сталкивались, ссорились, ругались, кричали и не понимали другъ друга.

Государынѣ казалось, что все это уже было когда-то во снѣ: такъ же лазила она по нескончаемымъ лѣстницамъ, искала государя, не находила — и никогда не найдетъ.

Солдаты носили по лѣстницѣ изъ залитыхъ комнатъ золоченую штофную мебель, картины, вазы, люстры, зеркала и кухонную посуду, домашнюю рухлядь дворцовой челяди. Великанъ съ добродушнымъ лицомъ, нагнувшись, какъ Атласъ, подъ тяжестью, тащилъ на спинѣ огромный кованый сундукъ, на немъ кровать съ подмоченной периною, а въ зубахъ держалъ вѣтку съ чижикомъ.

По одному изъ коридоровъ нельзя было пройти. Слышался топотъ копытъ и ржанье. Лонгиновъ ступилъ въ навозъ: коридоръ превращенъ былъ въ конюшню. Лошадей великой княгини Маріи Павловны, стоявшихъ на Дворцовой площади, выпрягли и втащили сюда, въ первый этажъ, чтобъ спасти отъ воды.

На крутой и темной лѣстницѣ кто-то крикнулъ снизу грубымъ голосомъ, не узнавъ государыни:

— Куда лѣзете? Ходу нѣтъ: вода.

И почудилось ей, что невидимыя струйки въ темнотѣ лепечуть, плещуть, какъ будто сговариваясь о чемъ-то грозномъ,—тоже какъ во снѣ.

Какіе-то люди приносили что-то завернутое въ бѣлое.

— Что это?—спросила государыня.

— Утопленница,—отвѣтили носильщики.

Валуева взвизгнула, готовая упасть въ обморокъ: боялась покойниковъ.

Когда прибѣжали на Комендантскую лѣстницу, то узнали, что государь здѣсь давеча былъ, но ушелъ въ Эрмитажъ, гдѣ съ Миліонной большое судно прибило. Надо было бѣжать навверхъ по тѣмъ же лѣстницамъ, а по дорогѣ опять кто-то крикнулъ, что государя нѣтъ во дворцѣ—только что уѣхалъ на катерѣ.

Пробѣгая черезъ собственные покои, государыня увидѣла столъ, накрытый къ завтраку, и удивилась, что можно ѣсть. Но Лонгиновъ успѣлъ захватить хлѣбецъ съ ломтикомъ сыру и на бѣгу закусывалъ.

Въ большихъ парадныхъ залахъ все еще было спокойно. За окномъ—кончина міра, а у окна два старичка камергера уютно бесѣдуютъ о новомъ балетѣ *Зефиръ и Флора*.

Увидѣвъ государыню, склонили почтительно лысыя головы.

Эти спокойныя лица ее утѣшили-было; но тотчасъ подумала: „такія лица у такихъ людей будутъ и при кончинѣ міра“.

Въ голубой гостиной великая княгиня Александра Ѳеодоровна и фрейлина Плюскова стояли на диванѣ, подобравъ юбки.

— Ай! Ай! — визжала фрейлина. — Я сама видѣла, ваше высочество: тутъ ихъ множество! По стѣнкѣ ползутъ...

— Что такое?

— Крысы, ваше величество. Да какія злющія! Едва меня не укусили за ногу.

Валуева тоже взвизгнула и вскочила на диванъ: боялась крысъ не меньше покойниковъ.

— Снизу бѣгутъ, изъ подваловъ да погребовъ, — памвалъ старичокъ, сгорбленный, сморщенный, облѣзлый весь и какъ будто заплѣсневѣлый, похожій на мокрицу, отставной камеръ-фурьеръ Изотовъ.

— Въ бывшее 777-го лѣта наводненіе тоже крысъ да мышей по всему дворцу столько размножилось, что блаженной памяти покойная государыня императрица Екатерина Алексѣевна мышеловки сами ставить изволили...

— Вы то наводненіе помните? — сказала государыня, которая хотѣла и не могла вспомнить что-то.

— Точно такъ, ваше величество. И лѣта 755-го, ноября 18-го, и 762-го, августа 25-го, и 764-го, ноября 20-го, — всѣ наводненія помню. Самъ тонулъ, и батюшка, и дѣдушка. Оттого воды и боюсь: отъ огня убѣжишь, а отъ воды куда дѣнешься?

Помолчалъ и опять зашамкалъ про себя, точно забредилъ:

— Старики сказываютъ,—на Петербургской Сторонѣ, у Троицы, ольха росла высокая, и такая тутъ вода была, лѣтъ за десять до построения города, что ольху съ верхушкою залило, и было тогда прорицаніе: какъ вторая-де вода такая же будетъ, то Санктъ-Петербургу конецъ, и мѣсту сему быть пусту. А государь императоръ Петръ Алексѣевичъ, какъ свѣдали о томъ, ольху срубить велѣли, а людей прорицающихъ казнить безъ милости. Но только слово то истинно, по Писанію: не увидѣша, дондеже прииде вода и взять вся...

Съ вѣщимъ ужасомъ слушали всѣ, и казалось возможнымъ пророчество: тамъ, гдѣ былъ Петербургъ,—водная гладь съ двумя торчащими, какъ мачты кораблей затопленныхъ, шпицами, Адмиралтейскимъ и Петропавловскимъ.

Вдругъ вспомнила государыня и то другое, забытое пророчество: 1777-ой годъ—годъ рожденія государева; тогда наводненіе было великое, и такое же будетъ въ годъ смерти его.

Въ комнату вбѣжала императрица-мать.

— Lise! Lise! Гдѣ онъ? Гдѣ государь?

— Не знаю, маменька, сама ищу...

— Негг Jesu! Что жъ это такое?... А Никсъ, бѣдняжка, тамъ, въ Аничковомъ, и не знаетъ, гдѣ мы, что съ нами. Можетъ быть, утонули,—думаетъ. И послать некого. Никто ничего не слушаетъ, всѣ насъ покинули... И что вы тутъ стоите? Бѣжимте же, бѣжимте скорѣй къ государю!

Всѣ побѣжали. Одинъ старичокъ Изотовъ остался и шамкалъ, точно бредилъ:

— Мѣсту сему быть пусту, быть пусту...

Когда бѣжали по заламъ, выходившимъ на Дворцовую площадь, слышался трескъ, какъ отъ разбитого стекла; двери захлопали, и завылъ, засвистѣлъ, загудѣлъ сквознякъ неистовый. Такова была сила бури, что желѣзные листы, сорванные съ крышъ и свернутые въ трубку, какъ бумага, носились по воздуху; одинъ изъ нихъ ударился въ оконное стекло и разбилъ его въ дребезги.

Императрица-мать остановилась, вскрикнула и побѣжала назадъ. Всѣ—за нею, кромѣ государыни; никто не замѣтилъ, что она осталась одна. Вздвигаемая вѣтромъ занавѣсъ въ дверяхъ, окутавъ ее, едва не сбила съ ногъ. Когда она вбѣжала въ сосѣднюю комнату, то увидѣла разбитое стекло; осколки еще сыпались; пахнуцій водою вѣтеръ врывался въ окно. И въ шумъ близкихъ волнъ, и въ воѣ урагана чудился вопль утопающихъ.

Оглянувшись, увидѣла, что всѣ ее покинули; почти безъ памяти упала въ кресло и закрыла глаза.

Когда очнулась, графъ Милорадовичъ, петербургскій генералъ-губернаторъ, говорилъ ей что-то, но она не слышала.

— Гдѣ государь?—спросила уже безъ надежды, только по привычкѣ повторять эти слова.

— Здѣсь, рядомъ, въ Бѣлой залѣ, ваше величество. Проводить прикажете?

— Прошу васъ, графъ, воды.

Онъ засуетился, отыскивая воду, не нашелъ и побѣжалъ-было въ сосѣднюю комнату.

— Нѣтъ, не надо,—остановила она.—Пойдемте.

— Воды слишкомъ много, а нѣтъ воды! — пошутилъ онъ съ любезностью и, молодежато изги-

баясь, расшаркиваясь, позвякивая шпорами, какъ на балу, подалъ ей руку.

У него была походка танцующая и одно изъ тѣхъ лицъ, которыя какъ будто вѣчно смотрятся въ зеркало, радуясь: „какой молодецъ!“

И какъ это иногда бываетъ въ минуту смятенія, пришелъ государынѣ на память глупый анекдотъ: любитель мазурки, графъ учился танцовать у себя одинъ въ кабинетѣ; выдѣлывая па передъ зеркаломъ, разбилъ его ударомъ головы и порѣзался такъ, что долженъ былъ носить повязку.

Идучи съ ней, говорилъ о потопѣ, какъ о забавномъ приключеніи, въ родѣ дождика во время увеселительной прогулки съ дамами.

— Всѣ кричатъ: ужасъ! ужасъ! А я говорю: помиуйте, господа, намъ ли, старымъ солдатамъ, тонувшимъ въ крови, бояться воды?

Вошли въ Бѣлую залу.

За столомъ, у стеклянной двери, выходившей на Неву, сидѣлъ государь, согнувшись, сгорбившись, опустивъ голову и полузакрывъ глаза, какъ человѣкъ очень усталый, которому хочется спать.

Въ началѣ наводненія, хлопоталъ, какъ всѣ, бѣгалъ, суетился, приказывалъ. Когда никто не рѣшался ѣхать на катерѣ,—хотѣлъ самъ; но Бенкендорфъ не допустилъ до этого, тутъ же, на глазахъ его, снялъ мундиръ,—по шею въ водѣ, добрался до катера и уѣхалъ. За нимъ—другіе, и никто не возвращался. Всѣ сообщенія были прерваны. Дворецъ—какъ утесъ или корабль среди пустыннаго моря. И государь понялъ, что ничего нельзя сдѣлать.

Не замѣтилъ, какъ вошла государыня. Она не смѣла подойти къ нему и смотрѣла на него издали.

Въ обморочно-темномъ свѣтѣ дня лицо его казалось мертвенно-блѣднымъ. Теперь, больше чѣмъ когда-либо, въ немъ было то, что замѣтила Софья, — кроткое, тихое, тяжкое, подъяремное: „теленочекъ бѣленькій“, агнецъ безгласный, жертва, которую ведутъ на закланіе; и еще что-то другое, — то самое, что промелькнуло въ немъ вчера, когда государыня говорила съ нимъ о Тайномъ Обществѣ: лицо человѣка, который сходитъ съ ума, знаетъ это и боится, чтобъ другіе не узнали.

Глупымъ казался ей давешній страхъ: здѣсь, въ безопасной комнатѣ, страшнѣе за него, чѣмъ въ волнахъ бушующихъ. Теперь уже не сомнѣвалась, что онъ вчера не сказалъ ей всего, утаилъ самое главное.

Оберъ-полицеймейстеръ Гладковъ доносилъ государю о томъ, что происходитъ въ городѣ.

На Петербургской Сторонѣ, на Выборгской и въ Коломнѣ, гдѣ почти всѣ дома деревянные, — снесены цѣлыя улицы. Въ Галерной гавани вода поднялась до 16-ти футовъ, и тамъ почти все разрушено.

Государь слушалъ, но какъ будто не слышалъ.

Черезъ каждыя пять минутъ подходили къ нему, одинъ за другимъ, флигель-адъютанты, донося о прибыли воды.

Одиннадцать футовъ два дюйма съ половиною. Шесть дюймовъ. Восемь. Девять. Десять съ половиною.

Теперь уже на 2 фута 4 дюйма — выше, чѣмъ въ 1777-мъ году. Такой воды никогда еще не было съ основанія города.

Быль третій часъ пополудни.

— Если вѣтеръ продолжится еще два часа, то городъ погибъ, — сказалъ кто-то.

Государь услышалъ, поднялъ голову, перекрестился, и всѣ — за нимъ. Наступила тишина, какъ въ комнатѣ умирающаго. Въ стоявшей поодаль толпѣ дворцовыхъ служителей кто-то всхлипнулъ:

— Покаралъ насъ Господь за наши грѣхи!

— Не за ваши, а за мои, — сказалъ государь тихо, какъ будто про себя, и опустилъ еще ниже голову.

— Lise, вы здѣсь, а я и не зналъ, — увидѣлъ, наконецъ, государыню и подошелъ къ ней. — Что съ вами?

— Ничего, устала немного, бѣгала, искала васъ...

— Ну, зачѣмъ? Какая неосторожность! Вездѣ сквозняки, а вы и такъ простужены.

Бережно поправилъ на ней плащъ, гдѣ-то на бѣгу накиннутый. И отъ мысли, что онъ можетъ о ней безпокоиться въ такую минуту, она покраснѣла, какъ влюбленная дѣвочка.

— Вотъ какое несчастье, Lise, — проговорилъ онъ съ той жалобной, какъ будто виноватой, улыбкой, которая бывала у него часто во время послѣдней болѣзни. — Помните въ Писаніи: *страшно впасть въ руки Бога живаго...*

Хотѣлъ сказать еще что-то, но почувствовалъ, что все равно не скажетъ самаго главнаго, — только повторилъ шопотомъ:

— Страшно впасть въ руки Бога живаго.

Кто-то указалъ на Неву. Всѣ бросились къ окнамъ. Тамъ несся плотъ, а за нимъ — огромный сельдяной буянъ, сорванный бурей, — вотъ-вотъ настигнетъ и разобьетъ. Люди на плоту, одни стояли на козлахъ, — должно быть, молились; другіе, протягивая руки къ берегу, звали на помощь.

Государь велѣлъ открыть дверь на балконъ и вышелъ. Можетъ быть, погибавшіе увидѣли его. Ему показалось, что сквозь вой урагана онъ слышитъ ихъ вопль. Но буйнъ столкнулся съ плотомъ, и люди исчезли въ волнахъ. Государь закрылъ лицо руками.

Вернулся въ комнату, опять сѣлъ, какъ давеча, согнувшись, сгорбившись, опустивъ голову. Слезы текли по лицу его, но онъ ихъ не чувствовалъ.

Въ началѣ наводненія флигель-адъютантъ, полковникъ Германъ, отправленъ былъ изъ дворца въ Коломну, въ казармы гвардейскаго экипажа для рассылки лодокъ. Онъ провелъ весь день въ спасаньи утопающихъ. Проѣзжая по Торговой улицѣ, усталый, продрогшій и вымокшій, вспомнилъ, что здѣсь живетъ его пріятель, князь Одоевскій, и заѣхалъ къ нему напиться чаю. Отдохнувъ, предложилъ хозяину и гостю, князю Валерьяну Михайловичу Голицыну, поѣхать съ нимъ на лодкѣ.

Наступали раннія сумерки; фонарей нельзя было зажечь, и скоро затонувшій городъ погрузился въ ночную тьму; казалось, что это послѣдняя ночь, отъ которой не будетъ разсвѣта.

По Офицерской, Крюкову каналу и Галерной выѣхали на Сенатскую площадь.

Здѣсь еще сильнѣе выла буря, а надъ бѣлѣющей во мракѣ пѣною возвышался памятникъ: на бронзовомъ конѣ гигантъ съ протянутой рукой. И нельзя было понять, что значитъ это мановеніе: укрощаетъ или подымаетъ бурю?

Въ это же время, съ другой стороны подѣхалъ катеръ генерала Бенкендорфа съ пылающимъ факеломъ.

ломъ. Красные блески, черныя тѣни упали на Мѣднаго Всадника, и какъ будто ожилъ онъ, — задвигался. Гранитное подножье залило водою; черная вода, освѣщенная краснымъ огнемъ, стала, какъ кровь. И казалось, онъ скачетъ по кровавымъ волнамъ.

Голицынъ смотрѣлъ въ лицо его, и вдругъ почувдился ему въ шумъ волнъ и въ воѣ бури клики возстанія народнаго.

Вспомнилось, какъ стоялъ онъ здѣсь, полгода назадъ, съ Пестелемъ, и, думая о Тайномъ Обществѣ, спрашивалъ:

— Съ нимъ или противъ него?

И теперь, какъ тогда, отвѣта не было.

Но вѣщій ужасъ охватилъ его, какъ будто все это уже было когда-то, — было и будетъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Послѣ наводненія сразу начались морозы. Дома, уцѣлѣвшіе отъ воды, сдѣлались необитаемы отъ холода; промокшія стѣны обледенѣли, покрылись инеемъ, а топить нельзя, печи водою разрушены, и воду нельзя откачивать, — замерзла. Люди погибали безъ одсжды, безъ крова, безъ пищи. А въ Невѣ каждый день подымалась вода, угрожая новымъ бѣдствіемъ. Казалось, самымъ Богомъ обреченъ на гибель злополучный городъ.

Государь посѣтилъ наиболѣе пострадавшія мѣстности—Коломну, Васильевскій Островъ, Гавань, Чугунный заводъ.

— Я бывалъ въ кровопролитныхъ сраженіяхъ, но это ни съ чѣмъ сравниться не можетъ, — говорилъ онъ спутникамъ.

Зашелъ однажды въ церковь на Смоленскомъ кладбищѣ. Во всю ширину ея стояли гробы съ тѣлами утопленниковъ. Онъ заплакалъ, и весь народъ—съ нимъ.

Учредили комитетъ для пособія пострадавшимъ отъ наводненія. Рассказывали чувствительные анек-

доты: о бѣдной старушкѣ, отказавшейся отъ шубы при раздачѣ теплаго платья: „я свою шубенку спасла, а мнѣ чулочки пожалуйста“; о добродѣтельномъ чиновникѣ Ивановѣ, хоронившемъ бѣдныхъ на свой счетъ; о младенцѣ, приплывшемъ въ сахарномъ ящикѣ въ старому холостяку, который взялъ дитя на воспитаніе.

А также — анекдоты веселые: въ одномъ домѣ оботившаяся кошка перенесла котятъ на ту именно ступеньку лѣстницы, гдѣ остановилась вода; въ подвалѣ Публичной библіотеки заплылъ сигъ, а библіотекарь Иванъ Андреевичъ Крыловъ поймалъ его, за жарилъ и съѣлъ; пріѣзжій баринъ думалъ, что сошелъ съ ума, когда, вставъ поутру, увидѣлъ полицеймейстера Чихачева, плывущаго въ лодкѣ по двору; а графиня Толстая такъ разсердилась за наводненіе на Петра I, что, проѣзжая мимо памятника его, высунула языкъ.

Цензурой запрещено было печатать о наводненіи что бы то ни было, и въ Москвѣ увѣряли, что вода поднялась выше Адмиралтейскаго шпица. Въ простомъ народѣ шли толки, что Божій гнѣвъ постигъ столицу за военные поселенія и звѣрства помѣщиковъ.

О. Θεодосій Левицкій проповѣдывалъ, что наводненіе — „не простое и слѣпое дѣйствіе натуры, но собственно, ударъ праведнаго суда Божія, воздающаго намъ по дѣламъ нашимъ, поелику не видно со стороны правительства ни малаго движенія къ покаянію“. Два фельдъегеря явились ночью къ о. Θεодосу, усадили его въ телѣжку и увезли, неизвѣстно куда: оказалось потомъ — зѣ Коневецъ на Ладожскомъ озерѣ.

Наконецъ, Нева стала. Тамъ, гдѣ бушевали

волны потопа, о́влѣло теперь снѣжное поле, скрипѣли возы, на конькахъ бѣгали дѣти, плясалъ на морозѣ, ударя валенкой о валенку, веселый сбитенщикъ, и чухны съ кудластыми клячами везли съ прорубей колотый ледъ, сверкавшій на солнцѣ прозрачно-зелеными глыбами.

Намело сугробы по улицамъ; дребезжаніе дрожекъ смѣнилось беззвучнымъ бѣгомъ саней, и все вдругъ затихло, заглохло, замерло, только снѣгъ хрустѣлъ подъ ногами прохожихъ, и голоса раздавались на улицѣ, какъ въ комнатѣ.

Петербургъ сталъ похожъ на глухую деревню, занесенную вьюгами. Уснулъ, какъ дитя въ колыбели подъ бѣлымъ пологомъ; какъ мертвецъ въ могилѣ подъ бѣлымъ саваномъ. И тишина колыбельно-могильная сладостно-жутко баюкала.

Государыня была больна: какъ простудилась во время наводненья, такъ и не могла поправиться. Доктора опасались чахотки. „Та же болѣзнь, что у Софьи,—думалъ государь:—двѣ загнанныхъ лошади; одна пала, и другая падетъ“.

Онъ проводилъ съ нею цѣлые дни. Доктора запретили ей говорить: отъ разговора кашляла. Говорилъ онъ, а она писала отвѣты.

Разговоръ о Тайномъ Обществѣ, въ тотъ вечеръ наканунѣ наводненья прерванный, не возобновлялся у нихъ. Но когда она смотрѣла на него глазами загнанной лошади, онъ зналъ, о чемъ она думаетъ. И оба молчали. Тихо въ комнатѣ, тихо на улицѣ—тишина колыбельно-могильная.

Онъ оставилъ всѣ дѣла: они казались ему ничтожными, какъ будто, во время наводненья, понялъ онъ бессилье власти. Той страшной смертной лѣни,

съ которой прежде боролся, предался теперь окончательно; похожъ былъ на пловца изнеможеннаго, уносимаго теченьемъ къ омуту.

Новому министру народнаго просвѣщенія, Александру Семеновичу Шишкову — за восемьдесятъ. Сѣдъ, какъ лунь, лицо мертвенно-блѣдное, глаза впалые; голова трясется; жуегъ губами, шамкаетъ. Однажды, явившись къ государю съ докладомъ, не могъ отпереть портфель, — такъ дрожали руки отъ слабости. Государь помогъ ему, вынулъ бумаги и прочелъ ихъ самъ.

Шишковъ былъ изувѣръ въ политикѣ. Сочиненный имъ цензурный уставъ называли „чугуннымъ“, его самого — „гасильникомъ“, а министерство просвѣщенія — „министерствомъ затменія“.

Доклады его были сплошными доносами.

— Такъ называемый духъ времени есть духъ безбожья, духъ революціи, духъ, истребленьемъ и убійствами дышащій, отъ коего гибнетъ власть, умолкаетъ законъ, потрясаются престолы и кровавое буйство свирѣпствуетъ. Опасность сія ужаснѣе пожара и потопа...

Шамкаетъ, шамкаетъ, пока не замѣтитъ, что государь не слушаетъ, тогда опуститъ голову, помолчитъ, пожуетъ и вдругъ захнычетъ жалобно:

— Государь всемилостивѣйшій! трудно мнѣ, старику, нести на плечахъ столь тяжкое бремя; чувствую, что упаду подъ нимъ. Духъ времени взялъ силу: вездѣ — въ сенатѣ, въ совѣтѣ, въ публикѣ и при самомъ дворѣ — сей духъ находитъ защиту. Что дѣлать? Головой стѣну не прошибешь... Богъ доселѣ хранилъ Россію, но, кажется, нынѣ рука Его тяготѣетъ на насъ. Быть худу, быть худу...

Каркаетъ, каркаетъ, и отъ этого карканья еще темнѣе темные зимніе дни, и тишина колыбельно-могильная еще усыпительнѣй.

Военный министръ Татищевъ, министръ юстиціи Лобановъ, министръ внутреннихъ дѣлъ Ланской — всѣ такіе же старые, дряхлые, похожіе на призраки.

И вотъ кому отданы судьбы Россіи,—думалъ государь:—какою молодостью началъ, какою старостью кончаетъ!

А въ народѣ не прекращались слухи о зловѣщихъ знаменіяхъ: то колокола на церквахъ сами звонили похороннымъ звономъ; то неизвѣстная птица прилетала ночью на крышу дворца и выла жалобно; то рождались уроды: младенецъ съ рыбьимъ хвостомъ, теленокъ съ головой человѣчьею.

Въ концѣ февраля сдѣлалась оттепель; потемнѣлъ тлѣющій снѣгъ, закапало съ крышъ, ледъ загрохоталъ изъ водосточныхъ трубъ, пугая прохожихъ; зашлепали лошади въ зловонной слякоти. Люди стали умирать, какъ мухи, отъ гнилыхъ горячекъ. Поползли туманы черно-желтые, и все что-то мрежило, мрежило, пока не вышло изъ тумановъ смѣшное страшилище—попъ съ рогами.

Сначала у Троицы, во время обѣдни, выставилъ онъ морду изъ царскихъ вратъ и заблеялъ по-возлиному; потомъ видѣли его у Николы Морского и, наконецъ, въ Казанскомъ соборѣ. Толпа собралась на площади. Полицеймейстеръ Чихачевъ убѣждалъ разойтись, но толпа не расходилась и напирала на двери собора; увѣренность, что тамъ прячутъ попа съ рогами, усиливалась тѣмъ, что двери были заперты и охранялись полиціей, а духовенство не вы-

ходило; говорили, будто бы самъ митрополитъ служить молебствіе, дабы Господь помиловалъ попа. и роги у него отпали.

Въ черно-желтомъ туманѣ, въ темномъ свѣтѣ ночного дня все было такъ призрачно. что и этотъ призракъ казался дѣйствительнымъ. И неизвѣстно, чѣмъ бы это кончилось, если бы кто-то не пустилъ слухъ, что попа увезли подземнымъ ходомъ.

А на слѣдующій день собралось еще больше народа у Невской лавры. Попа уже многіе видѣли; одни увѣряли, будто онъ похожъ на Аракчеева, другіе—на Фотія. Монахи заперли ворота, а толпа шумѣла, чтобъ отперли.

— Да что, братцы, смотрѣть? Сами отворимъ, тащи лѣстницу!—крикнулъ кто-то.

Но появилась рота солдатъ, и всѣ разбѣжались. А вечеромъ стало извѣстно, что во многихъ сосѣднихъ домахъ обворовано, пока прислуга бѣгала смотрѣть попа.

Изъ Петербурга попъ исчезъ, зато началъ являться въ другихъ городахъ Россійской имперіи.

Когда доложили о томъ государю, сначала Шишковъ, а затѣмъ оберъ-полицеймейстеръ Гладковъ, съ такимъ видомъ, какъ будто начиналась революція, государь вышелъ изъ себя, обругалъ Гладкова старою бабою и велѣлъ изслѣдовать дѣло Аракчееву.

Оказалось, что попъ съ рогами—не пустая выдумка. Въ глухомъ украинскомъ селеніи одинъ священникъ убилъ козла и надѣлъ шкуру съ рогами, чтобъ нарядиться чортомъ „для содѣланія нѣкоего неистовства“. Клейкая шкура присохла къ тѣлу, и, думая, что она приросла, попъ взвылъ отъ ужаса. Сбѣжался народъ; слухъ дошелъ до начальства;

произведено слѣдствіе, дѣло поступило въ Сиподъ, а оттуда молва разнеслась по городу.

Только-что попъ исчезъ, появилось новое чудо: каждый день игла Петропавловской крѣпости начала свѣтиться краснымъ свѣтомъ; думали, заря; но и въ облачные дни былъ свѣтъ. Государь собственными глазами видѣлъ: игла свѣтилась, какъ будто лезвіе тонкаго ножа висѣло на темномъ небѣ, кровавое. Причина свѣта такъ и осталась неизвѣстной; только много времени спустя узнали, что на пустырь, близъ крѣпости, обжигали известь, и свѣтъ изъ устья печи, заслоняемый домами и заборами, падалъ прямо на шпигъ.

А начальникъ тайной полиціи фонъ-Фокъ заваливалъ государя доносами.

Среди бѣлаго дня на Невскомъ проспектѣ кто-то кому-то сказалъ: „скоро будетъ революція!“ — сыщикъ бросился ловить злоумышленника, но тотъ исчезъ въ толпѣ. По другому доносу, предлагалось ставить на ночь караулы у всѣхъ колоколенъ, „дабы нельзя было ударить въ набатъ, подавая тѣмъ сигналъ къ революціи“. А въ грамматическихъ таблицахъ сочинителя Греча для взаимнаго обученія нижнихъ чиновъ найдены возмутительныя изреченія: „Императрица — перепелица. Гдѣ сила, тамъ законъ ничто. Сила соломѣ ломить. Воды и царь не уйметъ“. Таблицы запрещены, и Гречъ отданъ подъ надзоръ полиціи.

Когда же государь узналъ, что и самъ Аракчеевъ состоитъ подъ тѣмъ же надзоромъ, то подумалъ, что фонъ-Фокъ помѣшался, хотѣлъ-было разсердиться, но махнулъ рукою: „дѣлайте, что знаете“.

Никто не смѣлъ говорить съ нимъ о Тайномъ

Обществѣ, а ему казалось, что всѣ о немъ знаютъ и, думая, что онъ отъ страха ничего не дѣлаетъ, смѣются надъ нимъ.

„Подозрительность его доходила до умонизступленья, — рассказывала впоследствии Марья Антоновна Нарышкина: — достаточно ему было услышать смѣхъ на улицѣ или увидѣть улыбку на лицѣ одного изъ придворныхъ, чтобы вообразить, что надъ нимъ смѣются“.

Однажды вечеромъ, когда у Марьи Антоновны сидѣла кухня ея, прѣзжая молоденькая полька, и подали чай, государь налилъ одну чашку хозяйкѣ, другую — гостѣ. А Марья Антоновна шепнула ей на ухо:

— Когда вы вернетесь домой, то будете, конечно, гордиться тѣмъ, кто наливаетъ вамъ чай?

— О, да, еще бы! — отвѣтила та.

Государь, по глухотѣ, не слышалъ, но видѣлъ, что онѣ улыбаются, и тотчасъ нахмурился, а оставшись наединѣ съ Нарышкиной, сказалъ:

— Видите, я всюду дѣлаюсь смѣшнымъ... И вы, и вы, мой старый другъ, которому я вѣрилъ всегда, не можете удержаться отъ смѣха! Скажите же мнѣ, ради Бога, скажите, что во мнѣ смѣшного?

Генералъ-адъютанты Киселевъ, Орловъ и Кутузовъ, стоя у окна, во дворцѣ и рассказывая анекдоты, смѣялись. Вдругъ вошелъ государь; они перестали, но на лицахъ еще виденъ былъ смѣхъ. Государь взглянулъ на нихъ и прошелъ, не останавливаясь, а черезъ нѣсколько минутъ послалъ за Киселевымъ. Тотъ, войдя въ кабинетъ, увидѣлъ, что государь стоитъ передъ зеркаломъ и вертится, оглядывая себя то съ одной, то съ другой стороны.

— Надъ чѣмъ вы смѣялись? Что во мнѣ смѣшного?

Киселевъ остоленѣлъ и едва могъ пролепетать, что не понимаетъ, о чемъ государь изволить спрашивать.

— Ну, полно, Павелъ Дмитриевичъ,—продолжалъ тотъ ласково:—я же видѣлъ, что вы надо мною смѣялись. Скажи правду, будь добрымъ: нѣтъ ли сзади моего мундира чего-нибудь смѣшного?

Иногда снился ему гадкій сонъ: будто гдѣ-то на балу или на дворцовомъ выходѣ онъ — въ полномъ мундирѣ, съ Андреевской лентой черезъ плечо, но безъ штановъ; всѣ на него смотрятъ, и онъ чувствуетъ, что осрамился навѣки: такое же чувство было у него теперь наяву.

Не только въ лицахъ человѣческихъ, но и во всѣхъ предметахъ что-то подсмѣивалось: изъ вечернихъ тумановъ, на небѣ клубившихся, глядѣло смѣшное страшилище—попъ съ рогами; въ Лѣтнемъ саду вороны каркали, какъ въ ту страшную ночь, 11-го марта, когда спугнули ихъ батальоны семеновцевъ; и на темно-багровой зимней зарѣ красныя стѣны Михайловскаго замка, отраженные въ черной водѣ канала, напоминали кровь.

Отъ петербургскихъ тумановъ и призраковъ спасся онъ въ Царское.

Здѣсь, въ уединеніи, было легче. Онъ жилъ зимой въ трехъ маленькихъ комнаткахъ церковнаго флигеля—кабинетѣ, спальнѣ, столовой—очень простыхъ, почти бѣдныхъ. Ему казалось, что онъ уже отрекся отъ престола и живетъ въ отставкѣ.

Однажды, послѣ обѣда, онъ сидѣлъ одинъ въ кабинетѣ у камелька. День былъ сѣренькій, но иногда

изъ-за тучъ выглядывало солнце; пламя въ камелькѣ блѣднѣло, водянисто-прозрачное, и на замерзшихъ окнахъ алмазный папоротникъ искрился. А за окнами, на грифельно-темномъ небѣ, бѣлѣли деревья, одѣтыя инеемъ; тамъ, въ снѣжномъ паркѣ—свѣтло, бѣло и тихо, какъ за тысячи верстъ отъ города: тишина колыбельно-могильная.

Онъ думалъ о предстоящемъ свиданіи съ княземъ Валерьяномъ Голицынымъ.

Помнилъ обѣщанье, данное Софьѣ; помнилъ также лицо князя Валерьяна въ тотъ вѣчный мигъ надъ гробомъ Софьи, когда вдругъ почувствовалъ, что любовь къ умершей соединяетъ ихъ, и что этотъ врагъ его — единственно нужный, близкій ему человекъ. Тогда ничего не стоило подойти къ нему и заговорить, но потомъ, чѣмъ больше думалъ объ этомъ свиданьи, тѣмъ труднѣе казалось оно. Проходили мѣсяцы. Онъ все откладывалъ. Голицынъ ждалъ и пересталъ ждать; хотѣлъ уѣхать, просилъ отпуска. Государь не пускалъ его, но теперь былъ увѣренъ, что свиданье будетъ для обоихъ тягостно, лживо, унижительно и, главное, смѣшно тѣмъ страшнымъ смѣхомъ, который всюду преслѣдовалъ его.

А все-таки думалъ объ этомъ свиданьи упорно, жадно и мучительно, какъ будто растравлялъ съ наслажденіемъ рану свою. Воображалъ себѣ весь разговоръ въ мельчайшихъ подробностяхъ, готовилъ свои вопросы и его отвѣты, говорилъ за обоихъ, иногда, увлекаясь, вслухъ,—какъ актеръ учитъ роль свою передъ зеркаломъ.

Сначала—о Софьѣ:

— Я исполняю, — скажетъ, — ея предсмертную волю, говоря съ вами, князь. Она говорила мнѣ, и

я знаю, что это такъ: если вы любили ее, то не можете быть мнѣ врагомъ. Именемъ ея прошу васъ, говорите со мной. не какъ съ государемъ подданный, а какъ человекъ съ человекомъ, какъ сынъ съ отцомъ. Я вѣрю, и мнѣ хотѣлось бы, чтобы и вы повѣрили, что она слышитъ насъ...

Помолчать и посмотреть ему прямо въ глаза, а тотъ не выдержать, — потупится.

— Мнѣ извѣстно, Голицынъ, — заговорить опять, — что вы принадлежите къ Тайному Обществу, и цѣли онаго также извѣстны мнѣ: ограниченъе власти самодержавной, дарованъе конституціи. Но развѣ вы не знаете, что это и моя цѣль?

Тутъ усмѣхнется вротко.

— Вы хотите быть моими врагами, но вы друзья мои, дѣти, исчадье, плоть и кровь моя. Безъ меня и васъ бы не было. Я всегда думалъ и думаю, что свобода есть лучший даръ Божій. Что же раздѣляетъ насъ? Почему мы враги?

— Угодно знать правду вашему величеству?

— Правду, Голицынъ, одну правду.

— Государь, вы сами знать изволите, что Тайное Общество возникло только тогда, когда всякая надежда на дарованіе Россіи свободы верховною властью была потеряна...

Если бы кто-нибудь заглянулъ въ комнату, то подумалъ бы, что государь лишился разсудка. Противъ него стояло пустое кресло, и онъ обращался къ нему, какъ будто тамъ сидѣлъ кто-то невидимый; ему казалось, что онъ говоритъ шопотомъ, но говорилъ такъ громко, что слышно было въ сосѣдней комнатѣ; дѣлалъ знаки руками, кивалъ головой, измѣнялъ голосъ; то улыбался, то хмурился — настоящій актеръ передъ зеркаломъ.

— Да неужели же, Голицынъ, неужели вся вина па мнѣ одномъ? Такихъ, какъ я, какъ вы, — десятки, ну, сотни въ Россіи, а остальныхъ милліоны. Когда мы со Сперанскимъ только начинали преобразованія, то его объявили измѣнникомъ, и я принужденъ былъ пожертвовать имъ...

„Ну, не совсѣмъ такъ, но все равно, почти такъ, — подумалъ. — О Сперанскомъ непременно что-нибудь надо сказать“.

— И знаете, Голицынъ, что писалъ мнѣ тогда Карамзинъ? Я до сихъ поръ наизусть помню: „одна изъ главнѣйшихъ причинъ неудовольствія Россіянъ на нынѣшнее правленіе есть излишняя любовь его къ преобразованіямъ, потрясающимъ имперію, благотворность коихъ остается сомнительной“. Ужъ если Карамзинъ, человѣкъ просвѣщеннѣйшій, думалъ такъ, то что же другіе? Зрѣлище единственное въ мірѣ — государь, дающій вольность народу, и народъ, ея не принимающій! Нельзя сдѣлать людей изъ-подъ палки свободными. Одинъ въ полѣ не воинъ. А я — одинъ, помощниковъ нѣтъ. Кѣмъ я возьмусь? Кругомъ видишь обманъ. Можемъ ли мы, государи, знать все, что у насъ дѣлается? Когда объ этомъ подумаешь, волосы дыбомъ встаютъ! Военная, гражданская, церковная часть — все не такъ. Но что же дѣлать? Человѣкъ не можетъ всего. Надо войти и въ мое положеніе. Войдите же въ него, подумайте, что вы дѣлаете, раскайтесь въ преступныхъ замыслахъ, и я приму раскаянне ваше съ любовью отеческой. А главное, поймите же, поймите, наконецъ, что я хочу того же, чего и вы. Будемъ вмѣстѣ, соединимъ усилія наши для блага отечества...

Что скажетъ еще, хорошенько не зналъ, но чув-

ствовавъ, что будетъ умилительно. И тотъ не устоитъ— заплачетъ, упадетъ къ ногамъ его. Сначала—онъ, а потомъ и другіе. Всѣ придутъ съ повинной головой. И онъ проститъ ихъ, какъ отецъ прощаетъ блудныхъ сыновъ своихъ. А если и казнить кого, то, среди ликованія общаго, никто не замѣтитъ.

Ну, а что если не повѣрятъ, подумаютъ, что онъ просто бонтса, лукавитъ, играетъ двойную игру, заманиваетъ ихъ въ ловушку, чтобы вѣрнѣе уничтожить заговоръ? Что если вспомнить слова Наполеона: „Александръ тонокъ, какъ булавка, остеръ, какъ бритва, фальшивъ, какъ пѣна морская; если бы надѣть на него женское платье, то вышла бы прехитрая женщина“. Или слова бабушки: „господинъ Александръ, по природѣ своей, актеръ, великій мастеръ красивыхъ тѣлодвиженій“. Красивымъ тѣлодвиженіямъ и теперь передъ зеркаломъ учиться. Но поздно: разбито зеркало. Никого не обманетъ. Только новый срамъ, новый смѣхъ. „Нѣтъ ли у меня сзади чего-нибудь смѣшного?“

Онъ—жертва, а они—убійцы; или жертвы—они, а онъ—палачъ: этого никакими словами не скроешь. Не слова нужны, а дѣла. Казнить злодѣевъ,—вотъ что надо. „Надо и нельзя, нельзя и надо“,—опять, какъ тогда, 11-го марта. Ничего не рѣшить, ничего не сдѣлаетъ, пальцемъ не двинетъ. Какъ въ летаргіи—все слышитъ, все знаетъ, чувствуетъ и не можетъ дать знакъ, чтобъ его не хоронили заживо.

— А они смѣются! А они смѣются!..

Камердинеръ Анисимовъ давно уже слышалъ изъ сосѣдней комнаты, что государь говоритъ съ кѣмъ-то. Не вошелъ ли кто съ другого хода? Подойдя къ двери, приложилъ ухо къ замочной скважинѣ. Когда госу-

дарь произнесъ: „А они смѣются! А они смѣются!“ — „Анисимовъ! Анисимовъ!“ — слышалось ему. Онъ открылъ дверь и вошелъ.

— Чего тебѣ?

— Звать изволили, ваше величество?

— Вонъ! — закричалъ государь, вскочилъ и затопалъ ногами въ ярости.

Черезъ нѣсколько минутъ, въ шинели и фуражкѣ, сошелъ внизъ по лѣстницѣ.

У крыльца стоялъ часовой. „И этотъ смѣется?“ — подумалъ государь, остановился и, глядя на него въ упоръ, спросилъ:

— Ты что?

— Здравія желаю, ваше императорское величество! — гаркнулъ тотъ, выпучивъ глаза, съ такимъ усердіемъ, что у государя отлегло отъ сердца.

— Какъ звать?

— Иванъ Охрамѣенко, ваше величество.

— Ну, Иванъ, скажи ротному, что я тебя унтеръ-офицеромъ жалую.

„Совсѣмъ, какъ батюшка, — подумалъ онъ: — яблочко отъ яблони недалеко падаетъ“.

Вошелъ въ паркъ.

Для прогулокъ его расчищались дороги отъ снѣга и усыпались желтымъ пескомъ на нѣсколько верстъ. Густой аллеей дремучихъ елей подъ бѣлымъ саваномъ, по берегу Большого озера, шелъ къ Баболовской просѣкѣ.

Падалъ снѣгъ, сначала рѣдкими звѣздами, а потомъ — хлопьями, еще не мокрый, но уже мягкій, липкій, предвѣщающій оттепель, какъ будто и самъ теплый, удушливый.

Дойдя до просѣки, завернулъ по узенькой тро-

пикѣ въ чашу лѣса и вышелъ на площадку, окруженную высокими деревьями. Сѣлъ на скамью и долго смотрѣлъ, какъ падаетъ снѣгъ—въ темнѣющемъ воздухѣ бѣлая сѣтка, бѣлая мгла, однообразно снующая, ослѣпляющая, головокружительная.

„Головокруженіе...—подумалъ онъ.—Что такое? Что я хотѣлъ?... Да...

...Cet esprit de vertige et d'erreur,
De la chute des rois funeste avant-coureur.

Головокруженіе, которое предвѣщаетъ паденіе царей...“

То были стихи изъ французской трагедіи, слышанной имъ съ Наполеономъ въ Эрфуртѣ.

— У меня голова закружилась бы на такой высотѣ!—смѣялся однажды надъ маленькой бронзовой куколкой, кумиромъ кесаря, на побѣдномъ столпѣ Вандомской площади; а когда, послѣ взятія Парижа, побѣжденные въ честь побѣдителя стаскивали веревками ту куколку, подъ буйные клики толпы: „долой Наполеона! вивать Александръ!“—закружилась-таки голова у него самого, побѣдителя. Но свой чередъ каждому: сперва Наполеона, а теперь и его, Александра, спускаютъ, при общемъ смѣхѣ, — маленькую, дѣтскую, на ниточкѣ вертящуюся куколку.

А еще что? Да, послѣ аустерлицкаго разгрома, всѣми повинутый, лежалъ ночью, въ пустой избѣ, на соломѣ съ такою животною болью, что лейбъ-медикъ Вилліе боялся за жизнь его и отпаивалъ краснымъ виномъ, за которымъ ѣздилъ въ австрійскій лагерь и тамъ на колѣняхъ полбутылки вымолилъ. А ему, государю, казалось, что эта животная боль—отъ страха—медвѣжья болѣзнь. Вотъ, когда начался

тотъ страшный смѣхъ, отъ котораго онъ теперь сходитъ съ ума.

И еще, еще что? Самое смѣшное, самое страшное? Не 11-е марта, не Тайное Общество, — это только струпья проказы, — а сама она гдѣ, гдѣ корень всего? Знаетъ, гдѣ; знаетъ, что. Не хочетъ знать, а знаетъ. Не то ли, о чемъ онъ говорилъ тогда, когда тащили его на кровавый престолъ, какъ тащить мясники теленка на бойню, а онъ упирался, не шелъ, „теленочекъ бѣдненькій“? — „Тутъ мѣсто проклятое, — говорилъ тогда: — станешь на него и провалишься; проваливались всѣ до меня, и я проваляюсь“. Тогда это зналъ, потомъ забылъ и вотъ опять вспомнилъ. Но поздно: голова подъ топоромъ, веревка на шеѣ у бѣднаго теленочка. Сталъ на мѣсто проклятое и провалился. Надо было тогда же уйти, бѣжать безъ оглядки, а теперь поздно: сложить корону — сложить голову. И всѣ мечты о томъ — только красивыя тѣлодвиженія, актерское ломаніе передъ зеркаломъ — ложь, срамъ, смѣхъ.

Закрывъ лицо руками, хотѣлъ плакать, — не могъ.

Всталъ, скинулъ фуражку, сбросилъ шинель, опустился на колѣни, сложилъ руки и поднялъ глаза, хотѣлъ молиться, — не могъ. О чемъ? Кому? „Чтобы самодержавно царствовать, надо быть Богомъ“, — это онъ самъ говорилъ, это всѣ ему говорили, — говорили и дѣлали, — его, человека, дѣлали Богомъ.

Опять закрылъ лицо руками, повалился на снѣгъ и долго лежалъ такъ, недвижный, бездыханный, какъ мертвый.

А снѣгъ все падалъ да падалъ въ темнѣющемъ воздухѣ и покрывалъ мертваго саваномъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Дневникъ императрицы Елисаветы Алексѣевны хранился въ особой шкатулкѣ, всегда запертой. Она вела его тридцать лѣтъ, никому не показывая, кромѣ стараго друга своего, Карамзина.

Весною, готовясь къ отъѣзду изъ Петербурга въ Царское, а оттуда — въ Таганрогъ, тяжело-больная и, какъ ей казалось, умирающая, она приводила въ порядокъ свои бумаги: „чтобы ко всему быть готовой, даже къ смерти“, — писала въ тотъ же день матери.

Поздно ночью, оставшись одна въ спальнѣ, отперла шкатулку, вынула дневникъ и стала читать. Онъ былъ на французскомъ языкѣ, съ отдѣльными русскими и нѣмецкими фразами. Читала не сплошь, а лишь тѣ страницы, которыя были ей особенно памяты. Въ прошлые годы почти не заглядывала, а только въ два послѣдніе, 1824—5.

Читала:

„Отъ цвѣтка—запахъ, отъ жизни грусть; къ вечеру запахъ цвѣтовъ сильнѣе, и къ старости жизнь грустнѣе.“

Карамзинъ, узнавъ, что я родилась почти мертвая, сказалъ:

— Вы сомнѣвались, принять ли жизнь.

Кажется, я до сихъ поръ сомнѣваюсь; никогда не умѣла принять жизнь, войти въ нее, какъ слѣдуетъ.

Страданія человѣческія—темныя, но точныя зеркала; надо въ нихъ смотрѣться, чтобы увидѣть себя и узнать. Я вижу себя въ своемъ темномъ зеркалѣ не ея величествомъ, императрицей всероссійской, а маленькой дѣвочкой, которая не хотѣла рождаться, или старой старушкой, которая не можетъ умереть.

11-е марта. Каждый годъ въ этотъ день мы ѣздимъ съ государемъ въ Петропавловскій соборъ, на панихиду по императорѣ Павлѣ. Государь вспоминаетъ прошлые годы и, вотъ уже много лѣтъ, говоритъ мнѣ все съ большею грустью:

— Гдѣ-то мы будемъ черезъ годъ и будемъ ли вмѣстѣ?

Годы проходятъ. Двадцать три года—двадцать три мига. Чѣмъ дальше, тѣмъ ближе. Все, какъ вчера.

Мы не говоримъ, но объ одномъ и томъ же думаемъ; вспоминаемъ тотъ разговоръ наканунѣ страшной ночи 11-го марта:

— А если кровь? — спросилъ онъ. — Что же ты молчишь? Или думаешь, что мы должны — черезъ кровь?..

— Не знаю, — начала я, но онъ остановилъ меня.

— Нѣтъ, нѣтъ, молчи, не смѣй! Если скажешь, Богъ не проститъ...

Но я все-таки кончила:

— Не знаю, простить ли Богъ, но мы должны.

Тогда я знала, что должны; теперь не знаю; или, какъ онъ тогда говорилъ: „должны и не должны, надо и нельзя, нельзя и надо“.

А потомъ въ Москвѣ, во время коронаціи, онъ сидѣлъ цѣлыми часами, не двигаясь, въ оцѣпенѣніи, уставившись глазами въ одну точку безсмысленно. Боялись за его рассудокъ; никто не смѣлъ къ нему войти; только князь Чарторыжскій иногда входилъ и старался утѣшить, ободрить его.

— Нѣтъ, этому нельзя помочь, — отвѣчалъ государь. — Я долженъ страдать. Какъ вы хотите, чтобы я не страдалъ? Это всегда, всегда будетъ...

Да, всегда было; отступало на время, а потомъ возвращалось. Вотъ и теперь возвращается. Двадцать три года — двадцать три мига; чѣмъ дальше, тѣмъ ближе; все, какъ вчера.

Мечъ прошелъ душу его. Не этотъ ли мечъ раздѣлилъ насъ? Хотимъ сойтись, и не можемъ. Такіе близкіе, такіе чуждые. Не эта ли кровь легла между нами чертой непереступною?

Если бы я тогда не сказала: „мы должны“, то, можетъ быть, ничего бы не было. Не онъ, а я виновата во всемъ, — я одна. Пусть же Богъ не его, а меня казнить!

Вспоминаю болѣзнь его. Теперь, когда опасность миновала, отъ меня уже не скрываютъ, что онъ былъ на волосокъ отъ смерти: рожистое воспаленіе ноги могло перейти въ антоновъ огонь. Я никогда не ви-

дала его такимъ кроткимъ въ страданіи; это пугало меня больше всего.

Теперь онъ почти здоровъ. Когда выѣхалъ въ первый разъ, 22-го февраля, прохожіе на улицахъ, увидѣвъ его, становились на колѣни, крестились и плавали отъ радости.

Я тоже радуюсь, а все-таки жалѣю—чего? Неужели того времени, когда онъ былъ боленъ, страдалъ, и я вмѣстѣ съ нимъ? Да, мы были вмѣстѣ, такъ близко, какъ уже давно не бывали. Помню, онъ сказалъ мнѣ однажды съ тою улыбкой больного ребенка, которой у него никогда раньше не было, — я такъ боюсь ея и такъ люблю:

— Вотъ увидите, Lise, если я поправлюсь, то буду этимъ обязанъ вамъ одной.

Какъ я была счастлива! Даже стыдно, что могла быть такъ счастлива, когда онъ страдалъ.

То было послѣ первой ночи, которую провелъ онъ сповойно, благодаря особой подушкѣ моего изобрѣтенія. Онъ долженъ былъ спать сидя, потому что дѣлались приливы крови къ головѣ, только что ложился; подушка моя избавила его отъ этихъ приливовъ. Я придумала также для больной ноги его скамеечку, которая позволяла ему сидѣть за столомъ въ креслѣ.

Проводила съ нимъ дни и ночи; не боялась ему какъ всегда помѣшать. Онъ былъ весь мой, и мы были одни, какъ будто за тысячи верстъ отъ всѣхъ, кто надоѣдаетъ ему и мучаетъ его, когда онъ здоровъ. Никто не смѣлъ къ намъ войти; хорошо, уютно, тихо.

— Какъ хорошо, Lise, всегда бы такъ! — говорилъ онъ.

Ухаживалъ за мной, любезничалъ. Мнѣ казалось, что я не жена, а любовница.

Теперь всему конецъ. Опять одна, опять—ничто: ни жена, ни любовница. Сидѣлка, которая получила плату и можетъ уйти. Опять боюсь ему помѣшать, стараюсь на глаза не попадаться; пробираюсь по стѣнкамъ, такъ, чтобы никто не замѣтилъ; прихожу ночью украдкой и цѣлую соннаго: во снѣ онъ все еще мой.

Ну, что-жъ, пусть такъ! Я вѣдь привыкла. Наяву — розно, во снѣ — вмѣстѣ, можетъ быть, и въ послѣднемъ смертномъ снѣ. Все въ жизни раздѣляетъ насъ, а когда выходимъ изъ жизни, — соединяемся. Нашъ союзъ не отъ міра сего. Мужъ и жена—навѣки разлученные любовники.

Говорятъ, ночная кукушка дневную перекукуетъ. Я всегда была для него ночью, но не умѣла перекуковать дневныхъ. Я — зловѣщая птица: если я близко, — значитъ, худо ему; ему худо, а мнѣ хорошо; чѣмъ хуже ему, тѣмъ лучше мнѣ. Надо, чтобы онъ былъ въ болѣзни, въ несчастіи, въ опасности, чтобы я была съ нимъ. Такъ было 11-го марта; такъ было въ 12-мъ году. Такъ и теперь. Неужели такъ всегда?

О, я понимаю, что онъ меня не любитъ, боится любить!

Дни проходятъ и приносятъ мнѣ все больше горечи, но я не жалуясь: это въ порядкѣ вещей. Все по-старому; все, какъ должно быть. Стараюсь приучить себя къ страданію такъ, чтобы оно казалось мнѣ естественнымъ. Но это не всегда удается. Софѣ Строганова права, когда упрекаетъ меня за недоста-

токъ христiанскихъ чувствъ. Я хочу вѣрить, что Господь воспитываетъ душу мою для вѣчной жизни скорбями здѣшней; хочу отдаться Ему со связанными руками и ногами. Я говорю: все, что Онъ захочетъ; все, какъ Онъ захочетъ, — только бы я знала: что мнѣ дѣлать? что мнѣ дѣлать? Потому что я иногда не знаю, не понимаю многого. „Но если нельзя понять, значитъ, и не надо“, — говоритъ Софiя.

Должно быть, есть люди, которымъ не то что не дано, а не позволено быть счастливыми. Когда я счастлива, мнѣ кажется, что я взяла чужое, украдла; стыдно и страшно: знаю, что буду наказана.

Не надѣяться здѣсь, на землѣ, ни на что, отъ всего отказаться, всему повориться, страдать молча, — мнѣ много нѣтъ спасенiя.

Я не должна быть счастлива, — вотъ тайна жизни моей, — я должна страдать. Господь знаетъ, зачѣмъ это нужно, но Онъ не хочетъ, чтобы я это знала.

Да будетъ воля Его, да приметъ Онъ меня последней изъ послѣднихъ, только бы не отвергъ!

Годовщина Лизанькиной смерти. Ей теперь исполнилось бы 18 лѣтъ.

Я была на кладбищѣ Александро-Невской лавры, гдѣ похоронена Лизанька вмѣстѣ съ Машенькой — Мышкой моей (Mäuschen). Тутъ же, рядомъ, Алеша. На его гробницѣ надпись: „Кавалергардскаго полку штабъ-ротмистръ, Алексѣй Яковлевичъ Охотниковъ, умеръ 30 января 1807 года, на 26-мъ году отъ рожденiя“.

Никто никогда не узнаетъ, что скрыто для меня подъ этою надписью.

Когда я въ послѣдній разъ пришла къ нему передъ смертью, онъ сказалъ мнѣ:

— Я умираю, счастливый, но дайте мнѣ что-нибудь на память.

Я отрѣзала и дала ему прядь волосъ. Онъ велѣлъ положить ее въ гробъ. Она и теперь тамъ. Пусть Богъ меня накажетъ, — я не раскаиваюсь и не отниму того, что дала.

Долго ходила по кладбищу. Въ тѣни еще былъ снѣгъ, а на солнцѣ—трава зеленая и желтые цвѣты весенніе. Я сорвала три пучка: одинъ положила на могилу Лизаньки, другой—Мышки, третій—Алеши.

Не всѣ, кого я люблю, но всѣ, кто любилъ меня,—здѣсь. Всѣ трое вмѣстѣ—на кладбищѣ, такъ же какъ въ сердцѣ моемъ.

Говорятъ, къ непогодѣ старыя раны болятъ. Болятъ мои старыя раны—передъ какою бурей?

Вспоминаю смерть Мышки, смерть Лизаньки, — и опять времени нѣтъ; чѣмъ дальше, тѣмъ ближе; все, какъ вчера.

Мышѣ было очень плохо, а я все еще надѣялась. Въ послѣднюю ночь, послѣ ужасной рвоты и судорогъ, она передъ утромъ затихла, какъ будто уснула. Я прилегла рядомъ, на диванѣ, и тоже заснула, потому что не спала много ночей. А когда проснулась, — увидѣла, что она умираетъ. Можетъ быть, звала меня, а я не слышала? Уже бездыханная, лежала на рукахъ моихъ, а я все еще не вѣрила. „Что это? Что это?“—повторяла бессмысленно.

Казалось тогда, что нельзя больше страдать. Но я и въ половину не страдала такъ, какъ потомъ отъ

Лизанькиной смерти. Да, вотъ что страшно: никогда не знаешь, какъ еще будешь страдать, какъ еще можно страдать, и есть ли конецъ страданію? Кажется, нѣтъ конца. Если бы я не вѣрила въ Бога, я тогда убила бы себя.

Всѣ эти дни брожу по дворцу, какъ душа нераскаянная. Зашла напередъ въ Лизанькину комнату и вспомнила все. Ходила по комнатѣ, какъ безумная, повторяла всѣ ея словечки и старалась имъ подражать. „Нѣ, нѣ“, вмѣсто „нѣтъ“, и по-англійски: „ur, ur?“—когда хотѣла быть поднятой на руки. И еще говорила „такъ“, когда я спрашивала ее на ухо: „ты моя маленькая Лизанька?“—„Такъ! Такъ!“—отвѣчала съ такимъ хитрымъ видомъ, какъ будто понимала, въ чемъ дѣло. А когда причащали ее, отвертывалась и кричала тоже по-англійски: „No! No!“ Къ государю не могла привыкнуть, боялась его и плакала.

Послѣднія слова ея передъ смертью: „танцуй! танцуй! Dance! Dance!“ потому что любила во время болѣзни, когда не спала, чтобъ ее сажали на подушку, носили по комнатѣ и пѣли веселую пѣсенку. Сколько разъ я пѣла ей, глотая слезы!

Вотъ вспомнила это, и черезъ столько лѣтъ боль—все такая же. Не первыя минуты горя самыя страшныя,—ихъ горечь опьяняетъ и заглушаетъ боль,—а потомъ, когда опьянѣніе проходитъ, все возвращается къ обычному порядку, какъ будто забываешь—и вдругъ вспомнишь.

Лизанька умерла въ десять дней отъ зубовъ. Доктора все успокаивали и только въ послѣднюю минуту испугались, потеряли голову. Дали ей мускусу. О, этотъ запахъ мускуса въ полутемной комнатѣ съ

опущенными шторами! Началась рвота и судороги, точно такія же, какъ у Мышки. Потомъ окоченѣла, какъ будто задохлась. Подняли шторы, поднесли ее къ окну. Чтобы узнать, жива ли,—я позвала: „Лизанька!“ и она, уже вся посинѣвшая, вдругъ подняла ручку, прикоснулась къ щекѣ моей. И въ лицѣ ея было что-то такое жалкое, недѣтское, что у меня до сихъ поръ душа разрывается.

А когда лежала въ гробу, любимыя птицы ея заплѣли въ сосѣдней комнатѣ.

За что дѣти страдаютъ? Ну, мы, взрослые, искупаемъ грѣхи свои. А дѣти за что? Первородный грѣхъ, что ли? Нѣтъ, ничего, ничего не понимаю.

Какъ Іовъ, могла бы я отвѣтить утѣшителямъ: „слышала я много такого; жалкіе утѣшители — всѣ вы, бесполезные врачи!“

Да, во мнѣ сейчасъ меньше покорности, чѣмъ въ первыя минуты горя. Боже мой, Боже мой, какое нужно терпѣніе, чтобъ не спросить у Бога: зачѣмъ? за что? Вотъ я твержу себѣ: мы здѣсь, на землѣ, не для счастья, а для страданій, и Богъ лучше нашего знаетъ, зачѣмъ это нужно. „Все къ лучшему, все къ лучшему!“ — какъ говорить государь. Но не помогаетъ это.

Софѣ права: во мнѣ мало христіанскихъ чувствъ. И я не хочу лицебрить, не хочу казаться лучше, чѣмъ я есть. Если бы я покорилась, то, можетъ быть, меньше страдала бы; но мнѣ казалось бы тогда, что я измѣняю тѣмъ, кого люблю.

Не хочу страдать меньше, не хочу покоряться. Хочу спорить съ Богомъ, какъ Іовъ:

„О, если бы человѣкъ могъ имѣть состязаніе съ Богомъ, какъ сынъ человѣческій съ ближнимъ своимъ.

Вотъ я кричу: обида! — и никто не слушаетъ; во-
пю,—и нѣтъ суда“.

Зачѣмъ я всю жизнь люблю человѣка, который
не любить меня? Зачѣмъ полюбила Алешу? Зачѣмъ
онъ убитъ? Зачѣмъ умерла Мышка? Зачѣмъ умерла
Лизанька? Зачѣмъ? Зачѣмъ?

А иногда кажется, знаю, зачѣмъ; знаю, за что.
Я слишкомъ люблю, люблю людей больше, чѣмъ
Бога, и за это Онъ меня наказываетъ. Стоитъ мнѣ
полюбить кого-нибудь, какъ Богъ отнимаетъ его у
меня. Ужъ лучше бы никого не любила. Боюсь
любить.

Копаться въ душѣ своей, растравлять свои раны—
дурная привычка.

— Вы слишкомъ за собой слѣдите, — говорила
мнѣ покойная императрица австрійская.

Лейбъ-медикъ Вилліе совѣтуетъ, вмѣсто всѣхъ лѣ-
карствъ, „глупо жить“.

„Желаю вамъ покоя и равнодушія здороваго, го-
воря языкомъ философическихъ медиковъ“, — пишетъ
мнѣ Карамзинъ. А мой пріятель, башкирецъ, кото-
рый въ Царскомъ Селѣ готовилъ мнѣ кумысъ, гово-
рилъ, бывало, поглядывая на меня съ сожалѣніемъ:

— Ты, матка, больна, потому что слишкомъ
умна, много думаешь; а лѣкарства даютъ, — еще хуже
дѣлаютъ.

Ну, что же, постараюсь „глупо жить“. Фигаро,
кажется, правъ, что „всѣ умные люди — дураки“.

Зачѣмъ себѣ портить жизнь? Надо брать ее, какъ

она есть, — тогда самого горькаго не чувствуешь. Не надо *принюживаться* въ жизни, какъ въ воздуху въ комнатѣ покойника.

Патріотическое Общество, Сиротское Училище, Эмеритальная Касса, Домъ Трудолюбія, лѣпка, живопись, карты, шашки, бирюльки, — вонъ сколько дѣлъ!

А лѣтомъ — купаться, ѣздить верхомъ. Когда ныряю и, открывая глаза подъ водой, вижу полусвѣтъ таинственный, или скачу верхомъ и вѣтеръ мнѣ въ уши свиститъ, — я забываю всѣ горести жизни.

Однажды, въ Ораніенбаумѣ, съ великою княгиней Анною, бывшей супругой Константина, мы голыми ногами въ водѣ по взморью бѣгали, смѣялись и шалили такъ, что статсъ-дама императрицѣ-матери пожаловалась. Это четверть вѣка назадъ, но есть во мнѣ и теперь та же веселая дѣвочка.

Право, я еще многое въ жизни люблю: люблю въ Петергофѣ сидѣть на камнѣ у моря вечеромъ и слѣдить, ни о чемъ не думая, за парусами и чайками; люблю гулять раннимъ утромъ на Каменномъ Островѣ, когда ставни закрыты, всѣ еще спятъ, — по той пустынной дорожкѣ, гдѣ мы такъ часто гуляли съ Алешею; люблю соловьиное пѣніе въ бѣлыя ночи, такое странное; люблю запахъ весеннихъ березъ подъ маленькимъ дождемъ, теплымъ и тихимъ, какъ слезы счастья.

Всѣ эти радости Софія называетъ „цвѣтами у подножья креста“. Зачѣмъ такъ пышно?

Давеча нашла я у себя въ шкатулкѣ вязальныя спицы и долго не могла припомнить, откуда онѣ; наконецъ, вспомнила, что въ 12-мъ году мы вязали шерстяные чулки для солдатъ.

Петля за петлей, день за днемъ, буду вязать мою жизнь, какъ старая добрая нѣвка шерстяной чулокъ.

Еще одна смерть — Софьи Нарышкиной. Бѣдная дѣвочка! Она была мнѣ, какъ родная дочь.

Государь опять несчастенъ и опять со мной. Надолго ли?

Поздно ночью вернулся съ дачи Нарышкиныхъ, гдѣ простился съ умершею. Не зашелъ ко мнѣ, только прислалъ записку: „Она умерла. Я наказанъ за всѣ мои грѣхи“.

А я такъ боюсь сдѣлать ему непріятное, что не посмѣла утромъ послать спросить, какъ онъ себя чувствуетъ. Говорятъ, на больной ногѣ его опять открылась ранка.

Завтра уѣзжаетъ въ военныя поселенія съ Аракчеевымъ. Все равно, вернется ко мнѣ: теперь ему дѣваться некуда.

Нѣтъ, есть куда: въ госпожѣ Нарышкиной. Смерть Софьи сблизила ихъ. Мы теперь обѣ нужны ему: я — сидѣлка, любовница; она — супруга, мать. Этого еще никогда не бывало, чтобы она была съ нимъ въ горѣ: всегда было такъ, что или она — въ счастіѣ, или я — въ горѣ. Но вотъ мы вмѣстѣ.

Слѣжу за нимъ, узнаю стороной, когда онъ бываетъ у нея. Мнѣ, впрочемъ, не надо узнавать отъ другихъ, — сама знаю: у меня на это нюхъ собачій. Кажется, слышу отъ него запахъ ея, запахъ мускуса, напоминающій полутемную комнату съ опущенными шторами.

Неужели все еще ревную къ этой твари? Именно: *тварь*; это—не бранное, а точное слово. Развѣ можно въ лотерею разыгрывать женщину, какъ онъ разыгралъ ее съ Платономъ Зубовымъ? Развѣ можно любить съ презрѣньемъ? Онъ-то, впрочемъ, думаетъ, что иначе нельзя.

— Чтобы любить, надо немного презирать женщину, — сказалъ мнѣ однажды, давно-давно, когда еще мы съ нимъ о любви говорили.

Это комплиментъ: онъ слишкомъ уважаетъ меня, чтобы любить. Всегда, будто бы, казалось ему, что мы — братъ и сестра, близнецы духовные, и между нами плотская любовь—кровосмѣшеніе...

Но кто кого изъ нихъ больше презираетъ, — я не знаю.

Разъ, на придворномъ балу (лѣтъ двадцать назадъ, а какъ сейчасъ помню), я спросила Нарышкину: — Какъ ваше здоровье?

— Не совсѣмъ хорошо, — отвѣтила она, глядя мнѣ прямо въ глаза, — я, кажется, беременна.

Знала, что я знаю, отъ кого.

А вѣдь презрѣнье ко мнѣ—и къ нему презрѣнье.

— Я давно уже отказался отъ любви, даже платонической. Пора въ отставку, — говорилъ государь намеренно одной дамѣ, за которой когда-то ухаживалъ.

Любить мнѣ рассказывать о своихъ сердечныхъ дѣлахъ и всегда увѣренъ въ моемъ участіи.

Если бы онъ кого-нибудь любилъ по-настоящему, мнѣ было бы легче. Но ни одной любви, а сколько любей! Купчихи, актрисы, жены адъютантовъ, жены станціонныхъ смотрителей, бѣлобрысыя нѣмки-мено-

нитки, и королева Луиза Прусская, и королева Гортензія. Со многими доходило только до поцѣлуевъ.

— Мужчины, — говоритъ, — не умѣютъ останавливаться во-время. Любовь — не геометрія: тутъ иногда часть больше цѣлаго.

Можетъ быть, не любить женщинъ, потому что самъ слишкомъ женщина. „Кокетка“, какъ называла его королева Гортензія. Неисправимый щеголь, въ глазахъ женщинъ, какъ въ зеркалахъ, только самимъ собой любитъ.

Въ Вѣнѣ, во время конгресса, явившись на балъ въ черномъ фракѣ, чулкахъ и башмакахъ, старался, чтобы дамы забыли въ немъ государя.

— Хотя я сѣверный варваръ, но умѣю быть любезнымъ съ дамами.

Любовь замѣняетъ любезностью, какъ старинные кавалеры Людовика XIV.

Вотъ голубоглазая нѣмочка Эмилія играетъ на клавесинѣ, а онъ рядомъ стоитъ, правую ногу отставилъ впередъ съ жеманною граціей, держитъ шляпу такъ, чтобы пуговица отъ галуна коварды приходилась между двумя пальцами, смотритъ въ лорнетъ и перевертываетъ ноты.

— Ни за что не повѣрю, что вы меня боитесь, — шепчетъ ей на ухо.

— Боюсь не угодить вашему величеству...

— О, ради Бога, забудьте мое величество! Позвольте мнѣ быть просто человѣкомъ, — я такъ счастливъ тогда.

А вотъ другая нѣмочка (ему на нихъ везетъ), Амальхенъ, передъ разлукой поетъ ему: „Es war ein König in Thule“, и роняетъ слезинку на вязаный голубой кошелекъ, прощальный подарокъ.

Однажды все лѣто ѣздилъ верхомъ на ночныя свиданія въ Парголово, для сокращенія пути, прямо по засѣянному полю. Крестьяне окопали ихъ канавами. Но онъ и черезъ нихъ перескакивалъ. Тогда, не зная, кто этотъ всадникъ, они подали жалобу за потраву полей. Онъ велѣлъ заплатить и очень былъ доволенъ. Любитъ смѣшивать Боккачіо съ Вертеромъ, игривое съ чувствительнымъ.

Въ 12-мъ году, въ Вильнѣ, гдѣ въ госпиталяхъ подъ кучами сваленныхъ мертвыхъ тѣлъ иногда шевелились и стонали живые, раненые,—хорошенькая панни Доротея щипала корпю, а онъ, цѣлуя ей ручки, сказалъ:

— Чтобы воспользоваться этой корпией, хочется быть раненымъ.

— Это не можетъ имѣть никакихъ послѣдствій (ça ne tire pas à conséquence),—утѣшалъ его Наполеонъ въ Эрфуртѣ, когда онъ каялся ему въ своихъ любовныхъ шалостяхъ.—Но все же, мой милый, вамъ слѣдуетъ подумать о наслѣдникѣ...

И спрашивалъ о моемъ физическомъ сложеніи, давалъ совѣты врачебные, должно быть, съ такимъ же благосклоннымъ видомъ, съ какимъ адъютантовъ своихъ драгъ за ухо.

„На свѣтѣ нѣтъ вѣчнаго, и самая любовь не можетъ быть навсегда“,—говорила намъ, новобрачнымъ, старая сводня, графиня Шувалова; онъ это запомнилъ и всю жизнь этому слѣдовалъ; игра въ любовь—игра въ бирюльки.

Что же теперь случилось?

„Она умерла. Я наказанъ за всѣ мои грѣхи“.

Или понялъ, что это можетъ имѣть послѣдствія?

Всѣ эти дни душа моя, какъ сырое мясо.

Онъ все еще не рѣшилъ, кто ему сейчасъ нужнѣе, я или Нарышкина. Отъ меня—къ ней, отъ нея—ко мнѣ. Сегодня мнѣ говорятъ: „вы мой ангелъ хранитель, главный по Богѣ!“ — а завтра даютъ понять, что въ любви моей не нуждаются. Вѣчные подъемы и паденья,—вотъ отъ чего душа моя устала до смерти.

Я терпѣла, терплю и буду терпѣть. Но не бываетъ ли иногда терпѣнье подлостью?

Я—какъ собака, во время вивисекціи, которая подъ ножомъ, издыхая, лижетъ руку хозяину.

Сегодня ночью, проходя по дворцу, я услышала музыку; остановилась и заглянула въ открытыя окна сосѣдней залы; вспомнила, что у императрицы-матери—балъ.

За мной былъ Георгіевскій залъ съ царскимъ трономъ въ глубинѣ, а передо мной въ освѣщенныхъ окнахъ танцующія пары мелькали, какъ тѣни, одна за другой. Бѣлая ночь; свѣтло, какъ днемъ. И ночные огни казались погребальными, а веселыя полки унылыми, какъ пѣсни больныхъ дѣтей.

Если бы могли приходить къ людямъ выходцы съ того свѣта, они должны бы чувствовать то же, что я. Бѣдные люди! Бѣдные дѣти! Можетъ быть, тамъ мы будемъ смѣяться, надъ чѣмъ плакали здѣсь, и годы печали, годы разлуки покажутся мигами.

Алеша, Мышка, Лизанька были со мной; мы смотрѣли всѣ вмѣстѣ *оттуда сюда*. И свѣтла была ночь, какъ улыбка на лицѣ умершаго—отблескъ дня не вечерняго.

„Враги человѣку—домашніе его“,—это я на себѣ испытала.

Карамзинъ говоритъ:

—Вы — между людьми, какъ фарфоровая ваза между горшками чугунными.

Ну, положимъ, не фарфоровая ваза, а глиняный горшокъ несчастный. Зато тѣ—какіе счастливые, какіе чугунные! И самая счастливая, самая чугунная—императрица-мать.

Съ нѣкоторыхъ поръ ея не узнать: всегда была чопорной, на этикетѣ помѣшанной, а тутъ вдругъ, на старости лѣтъ, окружила себя фрейлинами-дѣвчонками, офицерами-мальчишками и рѣзвится съ ними, какъ будто ей не шестьдесятъ, а шестнадцать лѣтъ: балы, пикники, маскарады, ужины, концерты, фейерверки, иллюминаціи. Сама скачетъ въ всѣхъ за нею, высуня языкъ, изъ Петербурга въ Павловскъ, изъ Павловска въ Гатчину, изъ Гатчины въ Царское. У меня голова кругомъ идетъ, а ей—нипочемъ.

Выдумала недавно наряжаться для верховой ѣзды въ мужское платье: лиловый, шитый золотомъ кафтанъ, на головѣ шапочка съ перомъ, на ногахъ бѣлое трико въ обтяжку. Такъ какъ, при ея полнотѣ, это не очень пристойно, то публику въ паркъ не пускаютъ; дежурный камеръ-пажъ бѣжитъ впереди, вертя чугунной трещоткой.

Да, не очень пристойно, но зато какъ вкусно живетъ! Вкусно пьетъ свой крѣпкій кофе и раскладываетъ гранъ-пасьянсъ; вкусно дышитъ прохладою, открывая форточки и простужая всѣхъ; вкусно хозяйничаетъ въ Павловскомъ молочномъ домикѣ, такая румяная, бѣлая, свѣжая, что, кажется, отъ нея самой, какъ отъ бабы-коровницы, пахнетъ парнымъ

молокомъ; вкусно говорить: „мой милый коровки, телятки! мой милый Павловскъ со всѣми добрыми моими дѣтьми!“ А всего вкуснѣе спасаетъ душу свою филантропіей: „я, — говоритъ, — въ жизни своей не скоро могла бы имѣть такъ много удовольствій, когда бы не было бѣдныхъ!“

Ужъ не завидую ли я, потому что сама такъ невкусно живу? Иногда думаю: вотъ, какой надо быть; вотъ, кто вошелъ въ жизнь, какъ слѣдуетъ; не сомнѣвался, принять ее или нѣтъ — родиться ли? Безъ сомнѣнія родилась, безъ сомнѣнія рожала. „Право, сударыня, вы мастерица дѣтей на свѣтъ производить!“ — говорила ей бабушка. И вотъ, можетъ быть, истинная религія: такъ разсчитывать на милость Божію, чтобы не портить себѣ крови ничѣмъ.

А я — какая дура!

Павловскъ — рай, но меня тошнитъ отъ этого рая. Чистильщики прудовъ вытаскиваютъ иногда изъ тины у Острова Любвидохлую кошку или газетный листокъ. Въ вѣчныхъ туманахъ — сладкая гарь торфяного пожара съ камфарною гнилью болотъ. Пахнутъ розами и пахнутъ лягушками. Тутъ царство лягушекъ. Императрица ихъ любитъ, и придворный поэтъ ея, Жуковскій, умѣетъ готовить мясо лягушечьихъ филейчиковъ въ серебряной кастрюлкѣ подъ кисленькимъ соусомъ. Всѣ облизываются, а меня тошнитъ.

Въ Розовомъ Павильонѣ, за чаемъ — разговоръ о вѣрнопостномъ состояніи крестьянъ.

Жуковскій, Карамзинъ, Крыловъ, Нелединскій, новый министръ Шишковъ и еще какіе-то старые старички, сенаторы, изъ которыхъ песокъ сыплется. Всѣ были согласны, что не нужно вольности. Я имѣла глупость возражать; сказала то, что всегда думала:

— Уничтожить рабство крестьянъ — есть первая цѣль всего въ Россіи.

Они вдругъ замолчали и сконфузились, какъ будто я сказала что-то неприличное; потомъ Карамзинъ началъ потихоньку исправлять мою глупость, доказывая, что „народъ нашъ, удаленъ бывши отъ того, чтобы почитать себя въ рабствѣ, привязанъ душой къ образу своего существованія и находить въ немъ счастье“; когда же императрица-мать мнѣніе сіе одобрила, всѣ вдругъ на меня накинулись.

Въ саду—концертъ молоденькихъ лягушекъ, а въ Розовомъ Павильонѣ—концертъ старыхъ жабъ.

— Помилуйте, да русскіе мужики живутъ, какъ у Христа за пазухой! — воскликнулъ Жуковскій. — То неоспоримо, что лучше судьбы нашихъ крестьянъ у добраго помѣщика нѣтъ во всей вселенной.

— Для мужиковъ, однимъ видомъ отъ скота отличающихся, вольность есть тунеядство и необузданность, — подхватилъ Нелединскій.

— Господа помѣщики въ государствѣ, какъ пальцы у рукъ: высвободи вожди изъ пальцевъ, то лошади куда занесутъ! — прошамкалъ одинъ старичокъ.

— Не можно себѣ представить, какая каша будетъ изъ вольности, — прошамкалъ другой.

Шишковъ поблѣднѣлъ и затрясся.

— Неужели всѣ ужасы Европы не научили насъ,

что вольность, сей идолъ чужеземныхъ слѣпцовъ, ведетъ къ буйству, разврату и ниспроверженію властей? Десница Вышняго хранить насъ; чего намъ лучше желать?

А самая толстая жаба, Крыловъ молчалъ, но по лицу его видно было, что онъ о вольности думаетъ.

Я чувствовала, что не выдержу, наговорю еще большихъ глупостей,—встала и ушла.

Жуковский догналъ меня. Онъ знаетъ, что я его не очень люблю, и это беспокоитъ его: какая ни на есть, а все же императрица.

Началъ извиняться за несогласное мнѣніе о вольности и спросилъ, не сержусь ли я на него.

— Полноте, Василий Андреевичъ... Посмотрите-ка лучше, какая луна!

Мы шли пустынной аллеей, по берегу озера.

— Охъ, ужъ эта мнѣ луна!—поморщился онъ:—того и гляди, *Отчетъ* заставить писать...

О павловскихъ лунныхъ ночахъ пишетъ для императрицы отчеты въ стихахъ.

Заглядѣлся однако, замечтался и зафилософствовалъ:

— Смерть, въ ея истинномъ смыслѣ, лучше жизни. Нетлѣннаго нѣтъ на землѣ: оно насъ ждетъ за дверью гроба. А на землѣ всего вѣрнѣй—мечтать...

Я слушала и думала: за что я его не люблю? Онъ добръ и уменъ; его стихи очаровательны. Но вотъ не люблю.

Толстеный, кругленький, лысенький, какъ тотъ фарфоровый китаецъ въ окнѣ чайной лавки, который киваетъ головой, какъ будто говоритъ: „все къ лучшему!“ На лицѣ его превосходительства напи-

сано: „слава царю земному и небесному, — а я всѣмъ доволенъ, и жалованьемъ, и наградами“.

Только отъ застарѣлой романтической грусти у него завалы въ печени, и онъ, по совѣту медиковъ, на деревянной лошади для моціона качается.

Гёте, когда его спросили, что онъ о Жуковскомъ думаетъ, сказалъ: „далеко пойдётъ! Кажется, уже дѣйствительный статскій совѣтникъ?“ О немъ же словечко Вяземскаго: „хотя Жуковскій живъ и здравствуетъ, а хочется сказать: славный былъ покойникъ, царствіе ему небесное!“

Придворный поэтъ, почившій на павловскихъ розахъ, придворный поваръ Овсянаго Киселя и лягушечьихъ филейчиковъ. Намедни, защищая смертную казнь, онъ доказывалъ, что изъ нея надо бы сдѣлать „христіанское таинство“.

— Иной философіи быть не можетъ, какъ философія христіанства: отъ Бога къ Богу, — говорилъ онъ теперь, глядя на луну. — Желать чего-нибудь страстно — значитъ мѣшаться въ дѣло Провидѣнія. Середина есть то, что всякій человѣкъ избирать долженъ...

— Серединка-на-половинкѣ? — не выдержала я, наконецъ, — разсмѣялась. — А помните, ваше превосходительство:

Дѣти, овсяный кисель на столѣ, читайте молитву...

— Грѣшенъ, ваше величество, люблю Овсяный Кисель, и вы когда-нибудь полюбите!

Я заглянула въ его китайскіе глаза и ничего не отвѣтила. Но онъ, кажется, понялъ, что меня тошнитъ.

Путешествіе государя по восточнымъ губерніямъ назначено осенью. Уѣдетъ въ августѣ, вернется въ ноябрѣ. Я останусь одна въ Царскомъ и думаю объ этомъ съ ужасомъ. Съ какой бы радостью я поѣхала съ нимъ! Но онъ и слышать не хочетъ.

Эти вѣчные отъѣзды—бѣдствіе жизни моей. Если не проѣхалъ онъ за годъ тысячъ двѣнадцать верстъ—ему не по себѣ. А за всю свою жизнь сдѣлалъ не меньше 200,000. Это настоящая болѣзнь. „Лучше всего,—говорить,—чувствую себя въ коляскѣ: тамъ только я спокоенъ“.

Какъ будто не находить себѣ мѣста, отъ невидимой погони бѣгаетъ, скачетъ, сломя голову, такъ что лошадей загоняетъ. На малѣйшее промедленіе сердится: „я уже и такъ,—говорить,—полчаса по маршруту промѣшкалъ!“

Вѣчно торопится, боится опоздать куда-то; увѣряетъ, будто ему надо что-то осматривать; но это предлогъ: путешествуетъ безъ всякой цѣли. Самъ надъ собою смѣется:

— Я—Вѣчный Жидъ. Ни на что ужъ не годенъ, какъ только скитаться по бѣлу свѣту, словно на мнѣ отяготѣло пророчество: *и будетъ ти всякое мѣсто въ передвиженіе.*

Онъ уѣхалъ. Я одна. Живу въ Царскомъ. Здѣсь хорошо осенью—пустынно, тихо. Въ ясныя ночи въ окна смотреть луна, моя единственная собесѣдница. А я, въ сорокъ лѣтъ, какъ глупая дѣвочка, грущу при лунѣ о возлюбленномъ.

Карамзинъ тоже здѣсь. Мы съ нимъ часто встречаемся. Я ему читаю дневникъ. Иныя мѣста не хва-

таетъ духу прочесть; тогда передаю ему, и онъ прочитываетъ молча. Иногда вижу слезы на глазахъ его, но не стыжусь: онъ меня любитъ.

— Умѣю,—говорить,—издали смотрѣть на васъ съ тѣмъ чувствомъ, которое возьму съ собой и на тотъ свѣтъ: для истинной любви здѣшняя жизнь коротка.

Бродимъ вдвоемъ по пустыннымъ аллеямъ, гдѣ желтые листья падаютъ.

„Моя вечерняя жизнь“... — сказалъ онъ однажды. Какъ хорошо сказано: вечерняя жизнь. Оба—старые, усталые, вечерніе. Жалуемся другъ другу, кряхтимъ да охаемъ.

— Я, ваше величество, приобрѣлъ въ рюматизмахъ новую опытность. Несмотря на благопріятное дѣйствіе атмосферическаго воздуха, чувствую въ моихъ ежедневныхъ прогулкахъ почти болѣзненную томность, — говоритъ онъ, опираясь на палочку и прихрамывая.

И, какъ два старика, поддерживаемъ другъ друга подъ руку, а желтые листья падаютъ.

Здѣсь, въ Царскомъ, позднею осенью, какъ никогда и нигдѣ, вспоминается мнѣ моя молодость. Вотъ на этомъ лугу, — онъ тогда назывался Розовымъ Полемъ, потому что весь былъ обсаженъ розами, — сиживала императрица-бабушка; ее, уже больную, катали въ креслахъ на колесикахъ, а мы передъ нею бѣгали взапуски, играли въ горѣлки, въ пятнашки, въ веревочку. Мой женихъ—шестнадцатилѣтній мальчикъ, а я невѣста—четырнадцатилѣтняя дѣвочка.

Бабушка, недовольная тѣмъ, что по ночамъ вкрали розы, поставила здѣсь часового. Прошли годы, розы одичали, а часовой на томъ же мѣстѣ, какъ

полвѣка назадъ, сторожить несуществующія розы—
розы воспоминаній. И кажется мнѣ, что все еще
бѣгаетъ здѣсь шестнадцатилѣтній мальчикъ съ че-
тырнадцатилѣтней дѣвочкой.

Амуру вздумалось Психею,
Рѣзвися, поимать...

Но пусто кругомъ — послѣднія розы увяли, и
лепестки на нихъ осыпались, обнажая черныя сердца.

— Все кажется сномъ, а сердцу больно, какъ
наяву, — говоритъ Карамзинъ голосомъ тихимъ, какъ
шелестъ осеннихъ листовъ. — Мнѣ и отъ радости бы-
ваетъ грустно. Свѣтъ гаснетъ для меня, или я для
него гасну, — но такъ и быть: надо поvincу свѣтъ,
прежде чѣмъ онъ насъ покинетъ. Да здравствуетъ
Провидѣніе! Почти хотѣлось бы сказать: да здрав-
ствуетъ смерть!..

Намедни прочелъ посланіе къ Элизѣ — ко мнѣ:

Здѣсь — все мечта и сонъ, но будетъ пробужденіе!
Тебя узналъ я здѣсь въ прелестномъ сновидѣніи, —
Узнаю наяву.

Заплакалъ и поцѣловалъ мнѣ руку, а я его — въ
лысую голову.

И глядя, какъ свѣтлыя паутинки осени соеди-
няютъ черныя сердца увядшихъ розъ, я повторяла:

— Все кажется сномъ, а сердцу больно, какъ
наяву...

Съ Карамзинымъ въ Китайскомъ Домикѣ живетъ
камеръ-юнкеръ, князь Валерьянъ Голицынъ, племян-
никъ бывшаго министра. Онъ былъ боленъ, почти при
смерти; теперь поправляется. Иногда я вижу его издали.

Карамзинъ мнѣ сказалъ, что Голицынъ — членъ Тайнаго Общества.

— Какое Тайное Общество?

— Развѣ вы не знаете?

— Не знаю.

Онъ сперва замялся, не хотѣлъ говорить, но я упросила его, и онъ разсказалъ мнѣ все.

Существуетъ заговоръ, здѣсь, въ Петербургѣ, и въ Южной арміи, для введенія въ Россіи конституціи. Злодѣи намѣрены произвести возмущеніе въ войскахъ и, въ случаѣ надобности, посягнуть на жизнь государя.

Государь давно уже знаетъ объ этомъ. Какъ же мнѣ не сказать?

Теперь вспоминаю, что у меня было предчувствіе. Я все старалась понять, что у него на душѣ, чѣмъ онъ мучается, о чемъ думаетъ. Такъ вотъ о чемъ...

Еще новость: великій князь Николай — наследникъ престола. Я узнала объ этомъ изъ случайнаго разговора Ніхе и Alexandrine съ императрицей-матерью, въ моемъ присутствіи, — вообще мною не стѣсняются. Императрица спросила меня:

— Развѣ вамъ государь ничего не говорилъ?

Она видѣла, какъ мнѣ стыдно и больно: можетъ быть, для того и начала разговоръ.

Опять Карамзинъ разсказалъ мнѣ все, подѣ большимъ секретомъ: боится, что государь узнаетъ и будетъ сердиться.

Николай — наследникъ, это дѣло рѣшеное; Константинъ уже отрекся отъ престола, и государь, можетъ быть, еще при жизни своей, отречется въ пользу Николая. Манифестъ, завѣщаніе или что-то въ этомъ родѣ спрятано гдѣ-то, и пока никому ничего неизвѣстно.

. По тайному завѣщанію, передаютъ изъ рукъ въ руки Россію, какъ частную собственность. Судьба народа считается дѣломъ домашнимъ: послѣ смерти хозяина раскроютъ завѣщаніе и узнаютъ, чья Россія

Не могу привыкнуть къ этой новости. Николай, Никсъ—самодержецъ Россійскій!

Какъ сейчасъ помню драки маленькаго Никса съ Мишелемъ. Никсъ былъ бѣдовый мальчишка: въ припадкѣ злости рубилъ топорикомъ игрушки, билъ палкой и чѣмъ ни попало бѣднаго Мишеньку. Однажды, ласкаясь къ учителю, укусилъ его за ухо; былъ, однако, трусишкою: отъ грозы подъ кровать прятался, а когда ему надо было вырвать кривой зубъ, такъ боялся, что нѣсколько дней плакалъ, не спалъ и не ѣлъ. Зато, еще мальчикомъ, дѣлалъ ружейные приемы, какъ лучшій ефрейторъ. Я и впослѣдствіи никогда не видывала книги въ его рукахъ: единственное занятіе—фронтъ и солдаты.

— Я не думалъ вступать на престолъ, — говоритъ самъ, — меня воспитывали, какъ будущаго бригаднаго.

Уже молодымъ человѣкомъ, въ Твери, въ саду великой княгини Екатерины Павловны, статую Аполлона взорвалъ порохомъ, *въ видѣ забавы*. Онъ и самъ хорошъ, какъ Аполлонъ, только все что-то не въ духѣ: Аполлонъ, страдающій зубною болью.

Недавно, на ученьѣ, передъ фронтомъ, обозвалъ офицеровъ „свиньями“ и грозилъ всѣхъ „философовъ“ вогнать въ чахотку.

. Кто-то сказалъ о немъ: „il y a beaucoup de prapochique en lui et un peu de Pierre le Grand“.

Какъ-то будетъ онъ царствовать?

Не знаю, впрочемъ, кто лучше, — Николай или Константинъ?

У того отвращеніе въ престолу врожденное:

— Меня, — говоритъ, — непременно задушатъ, какъ задушили отца.

Когда я смотрю на это курносое лицо съ мутно-голубыми глазами на выкатѣ, съ свѣтлыми насупленными бровями и свѣтлыми волосиками на кончикѣ носа, которые щетинятся въ минуты гнѣва, — мнѣ всегда чудится привидѣніе императора Павла.

— Не понимаю, — говаривала бабушка, — откуда вселился въ Константинѣ такой подлый *санкюлотизмъ*!

Однажды сказалъ онъ о беременной матери:

— Въ жизнь мою такого живота не видывалъ: тутъ мѣсто для четверыхъ!

Я собственными глазами читала письмо его къ Лагарпу съ подписью: Это, впрочемъ, можетъ быть, искреннее смиреніе „санкюлота“, потому что онъ искрененъ и добродушенъ по-своему.

Но, когда я думаю о немъ, передо мною встаетъ тѣнь госпожи Араужо
.
и тѣнь Алеши, убитого изъ-за угла наемнымъ кинжаломъ злодѣя.

А все-таки — лучше Константинъ, чѣмъ Николай.

Теперь понимаю, откуда у нихъ у всѣхъ эта

надменность: царствованіе императора Александра кончилось, царствованіе императора Николая началось.

Мнѣ иногда кажется, что государь ими преданъ и проданъ.

Что-то будетъ съ Россіей?

Все думаю о Тайномъ Обществѣ.

У этихъ злодѣевъ есть правда, — вотъ что всего ужаснѣе. И почему „злѣдѣи“? Не мы ли показали имъ примѣръ 11-го марта? Не я ли когда-то проповѣдывала революціи, какъ безумная? Не говорила ли: „мы должны—черезъ кровь“?.. Тогда—мы, теперь—они: кровь за кровь.

Можетъ быть, я ничего не понимаю въ политикѣ. Но, кажется, въ Россіи все идетъ не такъ, какъ слѣдуетъ.

Вспоминаю мой разговоръ съ генераломъ Киселевымъ, начальникомъ штаба Южной арміи, гдѣ главное гнѣздо заговорщиковъ. Говорятъ, будто бы и онъ — съ ними, но я этому не вѣрю: онъ государю преданъ.

— Въ теченіе 24 лѣтъ, само правительство питало насъ либеральными идеями, — говорилъ Киселевъ: — преслѣдовать теперь за свободомысліе не то же ли значить, что бить слѣпного, у котораго сняты катаракты, за то, что онъ видитъ свѣтъ? Въ 12-мъ году свободу проповѣдывали намъ воззванія, манифесты и приказы. Манили народъ, и онъ добрымъ сердцемъ повѣрилъ, не щадилъ ни крови своей, ни имущества. Наполеонъ низринуть, Европа освобождена, государь возвратился, увѣнчанный славою. Но

народъ, давшій возможность въ славѣ, получилъ ли какую льготу? Нѣтъ. Ратники, возвратясь въ дома свои, первые разнесли ропотъ: „мы проливали кровь, а насъ заставляютъ потѣть на барщинѣ; мы избавили родину отъ тирана, а насъ тиранятъ господа“. Всѣ, отъ солдата до генерала, только и говорили: „какъ хорошо въ чужихъ земляхъ, и почему не такъ у насъ?“

— Вотъ начало свободомыслія въ Россіи,—завключилъ Киселевъ: —чтобы истребить корень его, надо истребить цѣлое поколѣніе людей, кои родились и образовались въ нынѣшнее царствованіе...

И вотъ, говорю отъ себя, основаніе Тайнаго Общества.

Да, есть у нихъ правда. Государь это знаетъ,—оттого такъ и мучается.

Но какъ же опять не сказалъ мнѣ? Что онъ со мною дѣлаетъ?

Я должна говорить съ нимъ, будь что будетъ...

...Всю зиму была больна; простудилась во время наводненія.

Теперь лучше, — говорятъ, что лучше. А я не знаю. Мнѣ все равно. Хожу, двигаюсь, но какъ будто это не я, а кто-то другой. Такая слабость, такой упадокъ силъ, что, кажется, если бы я могла выпить немного жизни съ ложки, какъ пьютъ лѣкарство, это бы мнѣ помогло.

Опять — балы, маскарады, концерты, ужины и визиты, визиты и родственники, родственники, сорокъ

тысячъ родственниковъ: Виртенбергскіе, Оранскіе, Веймарскіе, Россійскіе — всѣ на меня насѣдаютъ. Я должна быть любезна со всѣми, но только что уйдутъ, падаю, какъ загнанная лошадь.

Вчера съ головою болью одѣвалась на балъ; стояла передъ зеркаломъ; только что эту бѣдную голову убрали цвѣтами и брилліантами, меня начало рвать; вырвало, сдѣлалось легче, и отправилась на балъ; просидѣла до ужина, только отъ запаха блюдъ убѣжала. А когда осталась одна и взглянула на себя въ зеркало, то испугалась: враще въ гробъ владутъ.

Сегодня ждала на сквознякѣ, въ холодной пріемной у Alexandrine, потомъ попала некстати съ визитомъ въ императрицѣ, а ночью маскарадъ. И при этомъ говорятъ: „поправляйтесь!“

Отъ государя записка: „если вамъ нужна помощь моя, я готовъ прекратить всѣ эти визиты; но умоляю васъ, положите конецъ вашей пыткѣ“.

Лейбъ-медикъ Штофрегенъ сказалъ ему прямо, что меня убиваютъ.

Когда я всхожу по лѣстницѣ Зимняго дворца— 73 ступени,—у меня такое чувство, что я когда-нибудь тутъ же упаду бездыханною.

Я—какъ солдатъ на часахъ, который не смѣетъ сойти съ мѣста. Не люблю даромъ ѣсть хлѣбъ, а главное, терпѣть не могу, чтобы меня жалѣли. Сажу иногда съ опущенною вуалью даже въ собственной

вомнатѣ, чтобы не чувствовать на себѣ сострадательныхъ взоровъ; „ахъ, бѣдная женщина! Какая больная, несчастная!“

Это похоже на пытку, когда голаго, обмазаннаго медомъ, выставляютъ на сѣденье насѣкомымъ.

Доктора думаютъ, что у меня чахотка. Я имъ не вѣрю. Вотъ уже много лѣтъ чувствую бѣненіе жилы подѣ сердцемъ; что-то бьется во мнѣ, какъ подстрѣленная птица.

Не помню, кто сказалъ: „въ жизни каждаго человека наступаетъ время, когда сердце должно окаменѣть или разбиться“.

Сердце мое не окаменѣло и должно разбиться. Бѣдный глиняный горшокъ между чугунами!

Доктора думаютъ, что я больна, а мнѣ кажется, что я умираю. Тѣло мое — какъ изношенное платье: всякая малость дѣлаетъ новую дыру, а починить нельзя, потому что живого мѣста нѣтъ, — еще хуже разлѣзается, какъ Тришкинъ кафтанъ.

Кажется, повезутъ меня въ Таганрогъ осенью. Мнѣ все равно. Только бы не въ Италію: зрѣлище больной императрицы, которую возятъ изъ города въ городъ, очень противно.

Я не могла бы нигдѣ жить, кромѣ Россіи, даже если бы меня весь міръ забылъ. И умереть хочу въ Россіи.

Государь отвезетъ меня въ Таганрогъ и на зиму

вернется въ Петербургъ. А я останусь одна, опять одна.

Я хотѣла бы пустыннаго, зеленаго уголка у моря, а главное—съ нимъ. Но это слишкомъ хорошо для меня. Всякій говоритъ: „я ѣду туда и туда“; мой конюхъ говоритъ: „я ѣду на морскія купанья“. А я не могу.

Я уже давно была бы здорова, если бы мнѣ дали путешествовать, когда мнѣ этого еще хотѣлось. Но государь ни за что не соглашался, не знаю почему. А теперь поздно.

Я всегда просила Бога, чтобы Онъ помогъ мнѣ сломить себя, уничтожить въ себѣ всякое желаніе. Я жертвовала государю всѣмъ, какъ въ маломъ, такъ и въ большомъ. Сначала трудно было, но стоило ему сказать: „вы такая разсудительная“, — и я дѣлала все, что онъ хотѣлъ. Я смѣшивала покорность ему съ покорностью Богу, и это была моя религія. Я говорила себѣ: „онъ этого хочетъ“, — и трудное дѣлалось легкимъ, горькое—сладкимъ; все легче и легче, все слаще и слаще.

Ну, вотъ и сломила себя. Во мнѣ больше нѣтъ желаній, нѣтъ воли, нѣтъ ничего, какъ будто меня самой нѣтъ.

Почему же вдругъ стало страшно? Почему я не знаю, права ли я? правъ ли онъ?

— У тебя ложный стыдъ,—часто говорила мнѣ маменька: — когда тебя отгѣсняютъ, ты сейчасъ же сама прячешься, начинаешь стыдиться и по стѣнкѣ пробираешься, чтобы тебя не замѣтили. Надо быть самоувѣреннѣй. Это необходимо въ твоёмъ положеніи.

Да, всю жизнь пробираюсь по стѣнкѣ; дѣлаю видъ, что меня нѣтъ; стараюсь не быть. По Писанію: *жены да безмолвствуютъ.*

Я только женщина, я слишкомъ женщина.

Правда ли я, что сломила, убила себя для него? Можетъ быть, надо было возмутиться? Можетъ быть, я была правѣе, когда возмущалась?

Но теперь поздно. Теперь я нужна ему; нужнѣе, чѣмъ когда-либо, воля моя, сила, помощь,—но вотъ ничего не могу ему дать, потому что во мнѣ самой нѣтъ ничего. Мертвая рядомъ съ живымъ. Иногда онъ подходитъ ко мнѣ, какъ будто все еще надѣется, хочетъ что-то сказать и ждетъ, чтобы я заговорила; но у меня нѣтъ словъ, и мы оба молчимъ, а если говоримъ, то это какъ бесѣда глухонѣмыхъ.

Я не знаю, чтò съ нимъ, вижу только, что трудно ему, такъ трудно, какъ еще никогда. И не могу помочь, ничего не могу сдѣлать. Должна смотрѣть, какъ онъ гибнетъ—и ничего, ничего не могу сдѣлать.

Мы—какъ два утопающихъ: другъ за друга цѣпляемся и тащимъ другъ друга ко дну.

Если я одна виновата, прости меня, Господи! Ты самъ меня создалъ такою. Я ничего не могу, ничего не хочу, ничего не знаю—я только люблю.

А если оба мы виноваты,—казни меня, а не его, возьми душу мою за него...“

Кончивъ читать, закрыла дневникъ съ такимъ чувствомъ, что конецъ его—ея конецъ.

Красныя капли сургуча на бѣлую бумагу, какъ капли крови, закапали; старинною печатью съ дѣвичьимъ Баденскимъ гербомъ запечатала; сдѣлала надпись: „послѣ моей смерти сжечь“.

Спрятала дневникъ въ шкатулку и заперла на ключъ.

Закрыла лицо руками. Молилась все о томъ же,—чтобы Господь казнилъ ее одну, а его помиловалъ.

Была и другая молитва въ душѣ ея, но она сама почти не знала о ней, а если бы узнала, то удивилась бы, испугалась: молитва о томъ, чтобы Богъ простилъ ее, такъ же какъ она прощаетъ Бога.

ГЛАВА ПЯТАЯ

„Батюшка, ваше величество! Всеподданнѣйше доношу вашему императорскому величеству, что посланный фельдъ-егерскій офицеръ Лангъ привезъ сего числа отъ графа Витта 3-го Украинскаго полка унтеръ-офицера Шервуда, который объявилъ мнѣ, что онъ имѣетъ донести вашему величеству касающееся до арміи, а не до поселенныхъ войскъ,—состоящее, будто бы, въ какомъ-то заговорѣ, которое онъ не намѣренъ никому болѣе открыть, какъ лично вашему величеству. Я его болѣе не спрашивалъ, потому что онъ не желаетъ онаго мнѣ открыть, да и дѣло не касается военныхъ поселеній, а потому и отправилъ его въ Санктъ-Петербургъ къ начальнику штаба, генералъ-маіору Клейнмихелю, съ тѣмъ чтобы онъ содержалъ его у себя въ домѣ и нигуда не выпускалъ, пока ваше величество изволите приказать, куда его представить. Приказалъ я Лангу на заставѣ унтеръ-офицера Шервуда не записывать. Обо всемъ ономъ всеподданнѣйше вашему императорскому величеству доношу.

Вашего императорскаго величества вѣрноподанный
Графъ Аракчеевъ“.

Это письмо изъ Грузина государь получилъ на Каменномъ Островѣ, въ срединѣ іюля. Еще раньше писалъ ему Шервудъ, помимо Аракчеева, черезъ лейбъ-медика Вилліе, прося, чтобы отвезли его въ Петербургъ, по важному, касающемуся лично до государя императора дѣлу.

Государь зналъ, что Шервудъ — агентъ тайной полиціи генерала Витта, главнаго начальника южныхъ военныхъ поселеній, которому, еще лѣтъ пять назадъ, поручено было слѣдить за Южной арміей, употребляя сыщиковъ, и доносить обо всемъ.

О генералѣ Виттѣ ходили темные слухи.

— Виттъ есть каналья, какихъ свѣтъ не производилъ, и то, что по-французски называется висѣльная дичь (*gibier de potence*), — говорилъ великій князь Константинъ Павловичъ.

Проворовался, будто бы, — не можетъ дать отчета въ нѣсколькихъ милліонахъ казенныхъ денегъ и готовъ душу чорту продать, чтобы выпутаться изъ этого дѣла. Съ Тайнымъ Обществомъ играетъ двойную игру: доносить, а самъ поступилъ въ члены, замышляя предательство на ту или другую сторону, заговорщикамъ или правительству, — смотря по тому, чья возьметъ.

Государю казалось иногда, что доносчики опаснѣе заговорщиковъ.

— Вы знаете, ваше величество, я врагъ всякихъ доносовъ, понеже самая ракалья можетъ очернить и сдѣлать вредъ честнымъ людямъ, — вспоминалъ онъ слова Константина Павловича.

Всегда былъ брезгливъ: „чистюлькой“ называла его бабушка; похожъ на горностая, который предпочитаетъ отдаться въ руки ловцовъ, нежели запятнать бѣлизну свою — одежду царей.

Одинъ изъ доносовъ—капитана Майбороды—на-медни бросилъ въ печку, сказавъ:

— Мерзавецъ, выслужиться хочетъ!

А все-таки рѣшилъ принять Шервуда: сильнѣе отвращенія было любопытство ужаса.

Свиданіе назначено 17-го іюля, въ пять часовъ дня, въ Каменноостровскомъ дворцѣ.

Дворецъ напоминалъ обыкновенную петербургскую дачу. Съ балкона нѣсколько ступенекъ, уставленныхъ тепличными растеніями, вели въ садъ. Весною дачники, катавшіеся на яликахъ по Малой Невкѣ, могли видѣть, какъ государь гуляетъ въ саду, навѣвая на себя благоуханіе цвѣтущей сирени бѣлымъ платочкомъ. Кромѣ часового въ будкѣ у воротъ — нигдѣ никакой стражи. Садъ проходной: люди всякаго званія, даже простые мужики, проходили подъ самыми окнами.

День былъ душный; парило; шелъ дождь, пересталъ, но воздухъ насыщенъ былъ сыростью. Туманъ лежалъ бѣлою ватою. Крыши лоснились, съ деревьевъ капало, и казалось, что потѣетъ все, какъ больной въ жару подъ пуховой периной. Гдѣ-то, должно быть, на той сторонѣ Малой Невки, на Аптекарскомъ Островѣ (звукъ по водѣ доносился издали), кто-то игралъ унылыя гаммы. И одинокая птица пѣла все одно и то же: „тилитили-ти“, — какъ будто плакала; помолчить и опять: „тили-тили-ти“. Та грусть была во всемъ, которая бываетъ только на петербургскихъ дачахъ, въ концѣ лѣта, когда уже въ усталой, томной, темной, почти черной, зелени чувствуется близость осени.

Ровно въ пять часовъ доложили государю о Клейнмихелѣ съ Шервудомъ. Государь обѣдалъ; велѣлъ подождать и досидѣлъ до конца обѣда съ такимъ спокойнымъ видомъ, что никто ничего не замѣтилъ; по-

томъ всталъ, вышелъ въ пріемную, поздоровался съ Клейнмихелемъ и, едва взглянувъ на Шервуда, велѣлъ ему пройти въ кабинетъ. Клейнмихель остался въ пріемной, — сосѣдной комнатѣ.

Войдя въ кабинетъ, государь заперъ дверь и закрылъ окно, выходившее въ садъ; тамъ все еще слышались гаммы, и птица плакала. Сѣлъ за письменный столъ, взялъ карандашъ, бумагу и, наклонившись низко, не глядя на Шервуда, началъ выводить узоръ — палочки, крестики, петельки. Шервудъ стоялъ противъ него, вытянувшись, руки по швамъ.

— Не того ли ты Шервуда сынъ, котораго я знаю, — въ Москвѣ на Александровской фабрикѣ служить?

— Того самаго, ваше величество.

— Не русскій?

— Никакъ нѣтъ, англичанинъ.

— Гдѣ родился?

— Въ Кентѣ, близъ Лондона.

— Какихъ лѣтъ въ Россію пріѣхалъ?

— Двухъ лѣтъ, вмѣстѣ съ родителемъ. Въ 1800 году отецъ мой выписанъ блаженной памяти покойнымъ государемъ императоромъ Павломъ Петровичемъ и первый основалъ въ Россіи суконныя фабрики.

— Говорите по-англійски?

— Точно такъ, ваше величество.

Вопросъ и отвѣтъ сдѣланы были по-англійски. „Кажется, не вретъ“, — подумалъ государь.

— Что же ты хотѣлъ мнѣ сказать?

— Я полагаю, государь, что противъ спокойствія Россіи и вашего императорскаго величества существуетъ заговоръ.

— Почему ты такъ полагаешь?

Въ первый разъ, поднявъ глаза отъ бумаги, взглянулъ на Шервуда.

Ничего особеннаго: лицо какъ лицо; неопредѣленное, незначительное, безъ особыхъ примѣтъ, чистое, какъ говорится въ паспортахъ.

Шервудъ началъ рассказывать бесѣду двухъ членовъ Южнаго Тайнаго Общества, поручика графа Булгари и прапорщика Вадковскаго, подслушанную у двери, въ чужой квартирѣ, въ городѣ Ахтыркѣ Полтавской губерніи. Вадковскій предлагалъ конституцію. Булгари смѣялся: „Для русскихъ медвѣдей конституція? Да ты съ ума сошелъ! Вѣрно, забылъ, какая у насъ династія, — ну, куда ихъ дѣвать?“ А Вадковскій: „какъ, говорить, куда дѣвать?..“

Шервудъ остановился.

— Простите, ваше величество... страшно вымолвить...

— Ничего, говори, — сказалъ государь, еще разъ взглянувъ на него: лицо блѣдное, мокрое отъ пота, безжизненно, какъ тѣ гипсовыя маски, что снимаютъ съ покойниковъ; только лѣвый глазъ щурится, — должно быть, въ немъ судорога, — какъ будто подмигиваетъ. И это очень противно. „Экій хамъ! — вдругъ подумалъ государь и самъ удивился своему отвращенію: — это потому что я знаю, что доносчикъ“.

Опустивъ глаза, опять принялся за крестики, палочки, петельки.

— „Какъ, говорить, куда дѣвать? — подмигнулъ Шервудъ: — перерѣзать!“

Государь пожалъ плечами.

— Ну, что же дальше?

Онъ почему-то былъ увѣренъ, что слово „перерѣзать“ не было сказано.

— Когда остались мы одни, Вадковскій подошелъ ко мнѣ и, немного измѣнившись въ лицѣ, говоритъ: „господинъ Шервудъ, будьте мнѣ другомъ. Я вамъ вѣрю важную тайну“. — „Что касается до тайнъ, говорю, прошу не спѣшить: я не люблю ничего тайнаго“. — „Нѣтъ, говоритъ, Общество наше безъ васъ быть не должно“. — „Здѣсь, говорю, не время и не мѣсто, а даю вамъ честное слово, что приѣду къ вамъ, гдѣ вы стоите съ полкомъ“.

А на Богодуховской почтовой станціи, ночью, съ проѣзжею дамою, должно быть, его, Шервуда, любовницей, былъ такой разговоръ: „дайте мнѣ клятву, — сказала дама, — что никто въ мірѣ не узнаетъ, что я вамъ сейчасъ открою“. Онъ поклялся, а она: „я, говоритъ, ѣду къ брату; боюсь я за него: Богъ ихъ знаетъ, затѣяли какой-то заговоръ противъ императора, а я его очень люблю; у насъ никогда такого императора не было...“

— Кто эта дама? — спросилъ государь.

— Ваше величество, я всегда шелъ прямою дорогою, исполняя долгъ присяги, и готовъ жизнью пожертвовать, чтобы открыть зло; но умоляю ваше величество не спрашивать имени: я далъ клятву...

„Тоже — рыцарь!“ — подумалъ государь, дѣлая усиліе, чтобы не поморщиться, какъ отъ дурного запаха.

— Это все, что ты знаешь? — сказалъ онъ и, переставъ чертить узоръ, началъ писать по-французски много разъ подъ рядъ: „каналья, каналья, каналья, вискѣльная дичь...“

— Точно такъ, ваше величество, — все, что знаю

достовернаго; слуховъ же и догадокъ сообщать не осмѣливаюсь...

— Говори все, — произнесъ государь и началъ ломать карандашъ подъ столомъ, кидая на полъ куски; чувствовалъ, что съ каждымъ вопросомъ будетъ залѣзать все дальше въ грязь, — но уже не могъ остановиться: какъ въ дурномъ снѣ, дѣлалъ то, чего не хотѣлъ.

— Какъ ты думаешь, великъ этотъ заговоръ?

— Судя по духу и разговорамъ вообще, а, въ особенности, офицеровъ 2-ой арміи, заговоръ долженъ быть распространенъ до чрезвычайности. Въ войскахъ очень ихъ слушаютъ.

— Чего же они хотятъ? Развѣ имъ такъ худо?

— Съ жиру собаки бѣсятся, ваше величество.

„Онъ просто глупъ“, — подумалъ государь съ внезапнымъ облегченіемъ. А все-таки спрашивалъ:

— Какъ полагаешь, нѣтъ ли тутъ поважнѣе лицъ?

Шервудъ помолчалъ и покосился на дверь: должно быть, боялся возвышать голосъ, а что государь плохо слышитъ, — замѣтилъ.

— Подойди, сядь здѣсь, — указалъ ему тотъ на стулъ рядомъ съ собою: сдѣлалъ опять то, чего не хотѣлъ.

Шервудъ сѣлъ и зашепталъ. Государь слушалъ, подставивъ правое ухо и стараясь не дышать носомъ: ему казалось, что отъ Шервуда пахнетъ потомъ ножнымъ, — запахъ, отъ котораго государю дѣлалось дурно. „И чего онъ такъ потѣетъ? отъ страха, что ли?“ — подумалъ съ отвращеніемъ.

Шервудъ говорилъ о двусмысленномъ поведеніи генерала Витта, который, будто бы, *всего* не доносить, — и генерала Киселева, у котораго главный заговорщикъ

Пестель днюетъ и ночуетъ; о неблагонадежности почти всѣхъ министровъ и едва ли не самого Аракчеева.

— Въ военныхъ поселеньяхъ людямъ даютъ въ руки ружья, а ѣсть не даютъ: при нынѣшнихъ обстоятельствахъ такое положеніе дѣлъ очень опасно...

„Нѣтъ, не глупъ; многое знаетъ и меньше говорить, чѣмъ знаетъ“, — подумалъ государь.

— Полагаю, — заключилъ Шервудъ, — что Общество сіе есть продолженіе европейскаго общества карбонаровъ. Важнѣйшія лица участвуютъ въ заговорахъ; все войско — тоже. Не только жизнь вашего императорскаго величества, но и всей царской фамиліи, находится въ опасности, и опасность близка. Произойдетъ кровопролитіе, какового еще не бывало въ исторіи. Вѣдь, они хотятъ — всѣхъ...

„Всѣхъ перерѣзать“, — понялъ государь.

— У нихъ — черныя кольца съ надписью: 71.

— Что это значитъ?

— Извольте счесть, ваше величество: января — 31 день, февраля — 29, марта 11, итого — 71. 1801 года 11-го марта и 1826 года 11-го марта — двадцать пять лѣтъ съ кончины блаженной памяти вашего родителя, государя императора Павла I, — подмигнулъ Шервудъ. — Покушеніе на жизнь вашего императорскаго величества въ этотъ самый день назначено...

„11-е марта за 11-е марта, кровь за кровь“, — опять понялъ государь. Поблѣднѣлъ, хотѣлъ вскочить, закричать: „вонъ, негодяй!“ — но не было, силъ, только чувствовалъ, что холодѣютъ и переворачиваются внутренности отъ подлаго страха, какъ тогда, послѣ аустерлицкаго сраженія, въ пустой избѣ, на соломѣ, когда у него болѣлъ животъ.

А глаза Шервуда блестя радостью: „клянуло! клянуло!“

Перестал пугать и какъ будто жалѣлъ, утѣшалъ:

— Зараза умовъ, возникшая отъ ничтожной части подданныхъ вашего императорскаго величества, не есть чувство народа, непоколебимаго въ вѣрности. Хотя и много времени унущено, но ежели взять мѣры скорныя, то еще можно спастись; только надобно, какъ баснописецъ Крыловъ говоритъ:

Съ волками иначе не дѣлать мировой,
Какъ снявши шкуру съ нихъ долой,—

заклучилъ почти съ развязностью, и что-то было въ лицѣ его такое гнусное, что государю вдругъ почудилось, что это—не человѣкъ, а призракъ: не его ли собственный дьяволъ-двойникъ — воплощеніе того смѣшного-страшнаго, чтò въ немъ самомъ?

— Хорошо, ступай, жди приказаній отъ Клейн-михеля. Ступай же!—проговорилъ онъ черезъ силу, всталъ и протянулъ руку, какъ будто желая оттолкнуть Шервуда; но тотъ быстро наклонился и поцѣловалъ руку.

Оставшись одинъ, государь открылъ настежь окно и дверь на балконъ: ему казалось, что въ комнатѣ дурно пахнетъ. Вышелъ въ садъ, но и здѣсь въ тепломъ туманѣ былъ тотъ же запахъ какъ бы ножного пота, и съ мокрыхъ, точно потныхъ, листьевъ вапало. На пустынной аллеѣ долго стоялъ онъ, прислонившись головой къ дереву; чувствовалъ тошноту смертную; казалось, что отъ него самого дурно пахнетъ.

На слѣдующій день перешелъ изъ кабинета въ другую комнату, въ верхнемъ этажѣ, подъ предло-

томъ, что сыро внизу, а на самомъ дѣлѣ, потому, что непріятно было слышать близкіе шаги прохожихъ.

Въ тотъ же день увидѣлъ часовыхъ тамъ, гдѣ ихъ раньше не было, и новую бѣлую рѣшетку въ саду, которой запирался ходъ мимо дворца; должно быть, распорядился Дибичъ: государь никому ничего не приказывалъ.

Вспомнилъ анекдотъ объ уединенныхъ прогулкахъ своихъ по улицамъ Дрездена: старушка-крестьянка, увидѣвъ его, сказала: „вонъ, русскій царь идетъ одинъ и никого не боится, — видно, у него чистая совѣсть!“ А теперь—бѣлая рѣшетка...

Однажды ночью, вбѣжалъ къ нему дежурный офицеръ съ испуганнымъ видомъ:

— Бѣда, ваше величество!

— Что такое?

— Не моя вина, государь, видитъ Богъ не моя...

— Да что, что такое? Говори же!

— Апельсинъ... апельсинъ... — лепеталъ офицеръ, задыхаясь.

— Какой апельсинъ? Что съ тобою?

— Апельсинъ, ваше величество, отданный въ сдачу, свалился...

У дворца, на Набережной стояли апельсиновые деревья въ кадкахъ; на нихъ зрѣли плоды, и часовой охранялъ ихъ отъ кражи. Одинъ упалъ отъ зрѣлости. Часовой объявилъ о томъ ефрейтору, ефрейторъ — караульному, караульный — дежурному, а тотъ — государю.

— Пошелъ вонъ, дуракъ! — закричалъ онъ въ ярости; потомъ вернулъ его, спросилъ, какъ имя.

— Скарятинъ.

Скарятинъ былъ въ числѣ убійцъ 11-го марта. Ко-

нечно, не тотъ. Но государь все-таки велѣлъ никогда не назначать его въ дежурные.

Переѣхалъ въ Царское. Не потому ли, что тамъ безопаснѣе? Объ этомъ старался не думать. Попржнему, гулялъ въ паркѣ одинъ, даже ночью, какъ будто доказывалъ себѣ, что ничего не боится.

Въ серединѣ августа, ненастнымъ вечеромъ, шелъ отъ Каскадовъ къ Пирамидѣ, гдѣ погребены любимыя собачки императрицы-бабушки: Томъ Андерсонъ, Земира и Дюшессъ.

Наступали раннія сумерки. По небу неслись низкія тучи; въ воздухѣ пахло дождемъ, и тихо было тишиной предгрозною; только иногда верхушки деревьевъ отъ внезапнаго вѣтра качались, шумѣли уныло и глухо, уже по-осеннему, а потомъ умолкали сразу, какъ будто кончивъ разговоръ таинственный. Англійская сучка государева, Пэдди бѣжала впереди; вдругъ остановилась и зарычала. У подножія пирамиды кто-то лежалъ ничкомъ въ травѣ; лица не видать, какъ будто прятался. Государь тоже остановился и вдругъ почувствовалъ, что сердце его тяжело заколотилось, въ вискахъ закололо, и по тѣлу мурашки забѣгали: ему казалось, что тотъ, въ травѣ, тихонько шевелится, приподымается и что-то держитъ въ рукѣ. Пэдди залаяла. Лежавшій вскочилъ. Государь бросился къ нему.

— Что ты дѣлаешь?—крикнулъ голосомъ, который ему самому показался гадкимъ, подлымъ отъ страха, и протянулъ руку, чтобы схватить убійцу.

— Виноватъ, ваше величество, — слышался знакомый голосъ.

— Это ты, Дмитрій Клементычъ? Какъ ты..

Не кончилъ, — хотѣлъ сказать: „какъ ты меня напугалъ!“

— Какъ ты тутъ очутился? Что ты тутъ дѣлаешь?

— Земиры собачки эпитафію списываю, — отвѣтилъ лейбъ-хирургъ Дмитрій Клементьевичъ Тарасовъ.

Не ножъ убійцы, а перочинный ножикъ, которымъ чинилъ карандашъ, держалъ онъ въ рукѣ и съ могильной плиты собачки Земиры списывалъ французскіе стихи графа Сегюра:

„Здѣсь лежитъ Земира, и опечаленныя Граціи должны набросать цвѣтовъ на ея могильный памятникъ. Да наградятъ ее боги безсмертіемъ за вѣрную службу“.

— А знаешь, Тарасовъ, мнѣ показалось, что это кто-нибудь изъ офицеровъ подгулявшихъ расположился отдохнуть, — усмѣхнулся государь и почувствовалъ, что краснѣетъ. — Ну, пиши съ Богомъ. Только не темно ли?

— Ничего, ваше величество, у меня глаза хорошіе.

Государь, свиснувъ Пэдди, пошелъ. А Тарасовъ долго смотрѣлъ ему вслѣдъ съ удивленіемъ.

И государь удивлялся. Никогда не былъ трусомъ. Въ битвѣ подъ Лейпцигомъ, когда пролетѣло ядро надъ головой его, сказалъ съ улыбкою: „смотрите, сейчасъ пролетитъ другое!“ Въ той же битвѣ, когда всѣ считали дѣло проиграннымъ и Наполеонъ говорилъ: „міръ снова вертится для насъ!“ — онъ, Александръ, „Агамемнонъ сей великой брани“, не потерялъ присутствія духа.

Что же съ нимъ теперь? „Съ ума я схожу, что ли?“ — думалъ съ тихимъ ужасомъ.

Въ Павловскомъ дворцѣ, рядомъ со спальнею императрицы-матери, была запертая комната. Никто никогда не входилъ въ нее, кромѣ самой императрицы да камеръ-фурьера Сергѣя Ивановича Крылова. Крыловъ былъ старичокъ дряхлый, — изъ ума выжившій, въ красномъ мальтійскомъ мундирѣ временъ Павловыхъ, съ такими неподвижными глазами, что казалось, — если заглянуть въ зрачки, можно увидѣть то, что отразилось въ нихъ, какъ въ зрачкахъ мертвеца въ минуту предсмертную. Встрѣчая государя, онъ кланялся издали и тотчасъ уходилъ, какъ будто убѣгалъ.

Маленькій Саша, сынъ великаго князя Николая Павловича, семилѣтній мальчикъ, съ немного блѣднымъ хорошенькимъ личикомъ, проходилъ всегда съ любопытствомъ мимо запертой двери: она казалась ему такой же таинственной, какъ та страшная дверь въ замкѣ Синей Бороды, о которой онъ читалъ въ сказкахъ. Заглянуть бы хотѣ въ щелку, увидѣть, что тамъ такое. Однажды приснилось ему, что онъ вошелъ туда и увидѣлъ что-то ужасное; проснулся съ крикомъ, но не могъ вспомнить, что это было.

Въ концѣ августа, за нѣсколько дней до отъѣзда въ Таганрогъ, государь пріѣхалъ въ Павловскъ къ императрицѣ-матери и, не заставъ ея, прошелъ въ кабинетъ, гдѣ никого не было, кромѣ Саши и старушки статсъ-дамы, княгини Ливенъ. У окна, за круглымъ столомъ, играли они въ солдатики. Государь присѣлъ и тоже началъ играть; такъ мѣтко стрѣлялъ горохомъ изъ пушечекъ, что Саша кричалъ и хлопалъ въ ладоши отъ радости.

Въ открытую дверь виднѣлась анфилада комнатъ. Вдругъ, въ послѣдней изъ нихъ, въ спальнѣ импе-

ратрицы, мелькнулъ красный мальтійскій мундиръ. Камеръ-фурьеръ Сергѣй Ивановичъ Крыловъ стоялъ у запертой двери. Государь увидѣлъ его и быстро пошелъ къ нему.

Въ сосѣдней комнатѣ слышался голосъ императрицы-матери. Княгиня Ливенъ пошла къ ней навстрѣчу. Сапа, оставшись одинъ, поднялъ глаза и, забывъ о солдатахъ, съ жаднымъ любопытствомъ слѣдилъ за тѣмъ, что происходитъ у запертой двери.

Крыловъ, увидѣвъ государя, поклонился ему издали и хотѣлъ, какъ всегда, убѣжать. Но тотъ окликнулъ его и, подойдя, сказалъ:

— Дай ключъ.

Старикъ уставился на него, какъ будто не слышалъ, и забормotalъ что-то; можно было только понять:

— Ея величество... приказать изволили...

— Ну, давай же, давай скорѣе, тебѣ говорятъ! — прикрикнулъ на него государь и положилъ ему руку на плечо.

Старикъ затрясся, и зрачки его расширились, какъ зрачки мертвеца, видящіе то, чего уже никто не видитъ; хотѣлъ подать ключъ, но руки такъ тряслись, что уронилъ. Государь поднялъ, отперъ и вошелъ.

Пахнуло спертымъ воздухомъ, запахомъ старыхъ вещей: вещи покойнаго императора Павла I изъ его кабинета-спальни хранились въ этой комнатѣ. Государь увидѣлъ знакомые стулья, кресла, канапе красного дерева, съ бронзовыми львиными головками; знакомыя картины — архангела Гавріила и Богоматерь Гвидо Рени, висѣвшія надъ изголовьемъ постели; бюро, секретеры, письменный столъ съ чернильни-

цей, перьями, какъ будто только что писавшими, съ бумагами и письмами,—узналъ почеркъ отца; ночной столикъ съ нагорѣвшею, какъ будто только что потушенною, свѣчкою; стѣнные часы со стрѣлкой; остановленной на половинѣ перваго, и полинялыя шелковыя, съ китайскими фигурками, спальныя ширмочки.

Долго стоялъ, какъ будто въ нерѣшимости; потомъ сдѣлалъ слабый, падающій шагъ впередъ и взглянулъ за ширмочки: тамъ узкая походная кровать. Государь поблѣднѣлъ, и зрачки его расширились, какъ зрачки мертвеца, видящіе то, чего уже никто не видитъ; вдругъ наклонился и какъ будто съ шаловливой улыбкой поднялъ одѣяло. На простынѣ темныя пятна—старыя пятна крови.

Услышалъ шорохъ: рядомъ стоялъ Саша и тоже смотрѣлъ на пятна; потомъ взглянулъ на государя и, должно быть, увидѣлъ въ лицѣ его то, что тогда, въ своемъ страшномъ снѣ,—завричалъ пронзительно и бросился вонъ изъ комнаты.

Надъ обоими, надъ сыномъ и внукомъ Павловымъ, пронесся ужасъ, соединившій прошлое съ будущимъ.

Отъѣздъ государя въ Таганрогъ назначенъ былъ 1-го сентября, а государыни—3-го.

Наканунѣ вернулся онъ въ Петербургъ изъ Павловска, гдѣ простился съ императрицей-матерью, и въ назначенный день выѣхалъ изъ Каменноостровскаго дворца, въ пятомъ часу утра, когда еще горѣли фонари на темныхъ улицахъ. Одинъ, безъ свиты, заѣхалъ въ Невскую лавру и отслужилъ молебенъ.

Когда миновалъ заставу, взошло солнце. Велѣлъ

кучеру остановиться, привсталъ въ коляскѣ и долго смотрѣлъ на городъ, какъ будто прощался съ нимъ. Въ утреннемъ туманѣ дома, башни, колокольни, купола церквей казались призрачно-легкими, готовыми разсѣяться, какъ сновидѣнiе. Потомъ усѣлся и сказалъ:

— Ну, съ Богомъ!

Колокольчикъ зазвенѣлъ, и тройка понеслась.

Въ Царскомъ присоединились къ нему пять колясокъ: вагенъ-мейстера полковника Соломки, метрдотеля Миллера, лейбъ-медика Виллие, генералъ-адъютанта Дибича и одна запасная.

У государя была маленькая маршрутная книжка съ названiями станцiй и числомъ верстъ. Всего отъ Петербурга до Таганрога 85 станцiй, 1,894³/₄ версты. Онъ долженъ былъ сдѣлать путешествiе въ 12 дней, а государыня—въ 20.

Маршрутъ, по Бѣлорусскому тракту, а съ границы Псковской губернии — по Тульскому, нарочно миновалъ Москву: нигдѣ никакихъ церемонiй, ни парадовъ, ни встрѣчъ.

Проѣхали Гатчину, Выру, Ящеру, Долговку, Лугу, Городецъ. Государь заботливо осматривалъ приготовленные для императрицы ночлеги, но самъ ѣхалъ, не останавливаясь, и спалъ ночью въ коляскѣ.

Стояли лучезарные дни осени. Каждый день солнце ясно всходило, ясно катилось по небу и ясно закатывалось, предвѣщая на завтра такой же безоблачный день. Въ воздухѣ—гарь, дымокъ изъ овиновъ, и нѣжность, и свѣжесть, какъ будто весеннiя. На гумнахъ — говоръ людской и стукъ цѣповъ, а на пустынныхъ поляхъ — тишина, какъ въ домѣ передъ праздникомъ; только журавлей въ поднебесьи курьканье, туда же несущихся, куда и онъ.

Чѣмъ дальше онъ ѣхалъ, тѣмъ легче ему становилось, какъ будто спадала съ души тяжесть, которая давила его всѣ эти годы, и онъ просыпался отъ страшнаго сна. Казалось, что уже отрекся отъ престола, покинулъ столицу и никогда не вернется въ нее императоромъ; а тамъ, куда ѣдетъ,—разрѣшеніе, освобожденіе послѣднее. Не потому ли въ кликахъ журавлиныхъ — зовъ таинственный, надежда безконечная?

Въ одну изъ первыхъ ночей, проведенныхъ въ пути, приснился ему сонъ: маленькій уѣздный городокъ, маленькіе желтенькіе, съ черными оконцами, домики, точно игрушечные, плохо нарисованные. Небо—темно-лиловое, какъ бываетъ зимнимъ вечеромъ; но не зима и не вечеръ, а осень весенняя, утро вечернее; солнца не видно, но оно—во всемъ,—какъ будто изнутри свѣтится; и все—такое счастливое, милое, дѣтское, райское. А вотъ и Софья, и князь Валерьянъ Голицынъ; что-то говорятъ ему, онъ хорошенько не понимаетъ что, но чувствуетъ радость, какой никогда не испытывалъ. „Такъ вотъ оно какъ, а я и не зналъ!“—смѣется и плачетъ отъ радости; молиться хочетъ, но молиться не о чемъ: все уже есть,—всегда было, есть и будетъ.

Проснулся. „Такъ вотъ оно какъ, а я и не зналъ!“—думалъ наяву, какъ во снѣ, и плакалъ отъ радости.

Оглянулся: темно еще, но по тому, какъ звѣзды дрожать, видно, что утро близко. Не узнавалъ мѣстности: луговые скаты, а за ними—полукругъ холмовъ лѣсистыхъ въ звѣздномъ сумракѣ. Слышится далекій колоколъ,—должно быть, изъ Теофиловской пустыни: значитъ, близко Боровичи.

Коляска въѣзжала на холмъ. Вдругъ, на краю неба, тамъ, куда уходила дорога, увидѣлъ онъ звѣзду незнакомую, огромную, необычайно яркую; за нею тянулся по небу свѣтящійся слѣдъ, а сама она какъ будто стремительно падала внизъ. И въ этомъ паденіи былъ зовъ таинственный, надежда безконечная.

Вспомнилась ему комета 1812-го года. Какъ та казалась—гибели, а была спасенія вѣстницей,—такъ, можетъ быть, и эта?

Когда коляска поднялась на вершину холма, онъ велѣлъ кучеру остановиться; такъ же какъ намереніи, на петербургской заставѣ, прощаясь съ городомъ, всталъ, снялъ фуражку и перекрестился.

— „Небеса проповѣдаютъ славу Господню, и одѣлахъ рукъ Его вѣщаетъ твердь“, — прошепталъ благоговѣйнымъ шопотомъ и, радуясь, чувствовалъ, что радость эта у него уже никогда не отнимется. Ни о чемъ не молился, только благодарилъ Бога за все, что было, и за все, что будетъ.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Князь Валерьянъ Михайловичъ Голицынъ, прїѣхавъ ночью въ уѣздный городокъ Васильковъ, въ тридцати верстахъ отъ Кіева, остановился въ скверной жидовской корчмѣ, а поутру нанялъ хату у казака Омельки Барабаша.

— Вотъ моя хата, пане добродію, — говорилъ хозяинъ съ ласковой важностью, приглашая гостя войти. — Вотъ у меня и куры ходятъ, вотъ и теля, вотъ и пасѣка, вотъ и жито растеть передъ хатою, — выйди, да и жни: вся благодать Божья! А жинка моя варить борщъ такой, что хотъ бы самому городничему: у пановъ жила и понаучилась всякимъ панскимъ роскошамъ.

Когда Голицынъ оглянулъ бѣлую хатку подъ нахлобученною соломенною крышею съ гнѣздомъ аиста и занесенными вѣтромъ пучками полевыхъ цвѣтовъ, — въ уютной тѣни вишневаго сада съ рядами бѣлыхъ ульевъ, — то согласился съ хозяиномъ, что тутъ вся благодать Божья.

А внутри еще лучше: выбѣленные мѣломъ стѣны, глиняный полъ, расписная печка — подъ ней воркуютъ

голуби, на ней мурлычетъ котъ; образница съ Межигорской Божьей Матерью, украшенная сухими цвѣтами—алымъ королевскимъ цвѣтомъ, желтымъ чернобривцемъ и зеленымъ барвинкомъ.

Когда смуглолицая Катруся принесла ему студеной воды изъ криницы, а древняя бабуса Дундучиха, Омелькина мать, вытерла скамью подоломъ плахты, приглашая гостя сѣсть, и, глядя на него изъ-подъ морщинистой ладони подслѣповатыми глазами, спросила:

— А ты хибѣ не тутешній? — то гость почувствовалъ себя уже совсѣмъ дома.

Въ тотъ же день, вечеромъ, узнавъ о пріѣздѣ Голицына, — о чемъ весь городокъ уже зналъ, — явился къ нему молоденькій, лѣтъ 22-хъ, полтавскаго пѣхотнаго полка подпоручикъ, Михаилъ Павловичъ Бестужевъ-Рюминъ, и пригласилъ его къ директору васьковской управы Южнаго Тайнаго Общества, подполковнику Сергѣю Ивановичу Муравьеву-Апостолу. У Муравьева, по словамъ Бестужева, два члена новаго, никому изъ Южныхъ неизвѣстнаго, Тайнаго Общества, такъ называемыхъ Славянъ, ведутъ сейчасъ переговоры о соединеніи съ Южными; Голицынъ былъ бы очень кстати на этихъ переговорахъ, какъ представитель Сѣверныхъ.

Муравьевъ жилъ на Соборной площади въ деревянномъ ветхомъ сѣромъ домикѣ съ облупившимися бѣлыми колонками. Хозяинъ съ двумя гостями, артиллерійскими подпоручиками, Иваномъ Ивановичемъ Горбачевскимъ и Петромъ Ивановичемъ Борисовымъ, пили чай на крылечѣ, выходившемъ въ садъ. Въ саду была заросшая тиною сажалка, а за нею бахча и пасѣка; душистой вечерней свѣжестью вѣяло

оттуда — укропомъ, мятой, медомъ и зрѣющей дынею.

— Нашъ планъ таковъ,—говорилъ Бестужевъ:— въ слѣдующемъ 1826-мъ году, на высочайшемъ смотрѣ, во время лагернаго сбора 3-го корпуса, члены Общества, переодѣтые въ солдатскіе мундиры, чочью, при смѣнѣ караула, вторгшись въ спальню государя, лишаютъ его жизни. Одновременно, Сѣверные начинаютъ возстаніе въ Петербургѣ увозомъ царской фамиліи въ чужіе края и объявляютъ временное правленіе двумя манифестами—къ войскамъ и къ народу. Пестель, директоръ тульчинской управы, возмутивъ 2-ю армію, овладѣваетъ Кіевомъ и устраиваетъ первый лагерь; я начальствую третьимъ корпусомъ и, увлекая встрѣчныя войска, иду на Москву, гдѣ лагерь второй; а Сергѣй Ивановичъ ѣдетъ въ Петербургъ, Общество ввѣряетъ ему гвардію, и здѣсь лагерь третій. Петербургъ, Москва, Кіевъ — три укрѣпленныхъ лагеря—и вся Россія въ нашихъ рукахъ...

Маленькій, худенькій, рыженькій, веснущатый, то, что называется замухрышка, онъ, когда говорилъ, какъ будто выросталъ; лицо умнѣло, хорошѣло, глаза горѣли, рыжій хохолъ на головѣ вспыхивалъ языкомъ огненнымъ. Вѣрилъ въ мечту свою, какъ въ дѣйствительность; самъ вѣрилъ и другихъ заставлялъ вѣрить.

— Конная артиллерія вся готова, и вся гусарская дивизія; и Пензенскій полкъ, и Черниговскій — хоть сейчасъ въ походъ. Да и всѣ командиры всѣхъ полковъ на все согласны... Вождь Ріего прошелъ Испанію и возстановилъ вольность въ отечествѣ съ тремясками человѣкъ, а мы чтобъ съ цѣлыми пол-

нами ничего не сдѣлали! Да начини мы хоть завтра же—и 60,000 человѣкъ у насъ подъ оружіемъ...

— Ну, полно, Миша, какія шестьдесятъ тысячъ? Дай Богъ и одну, — остановилъ его Муравьевъ. — Иванъ Ивановичъ, у васъ чай простылъ, хотите горячаго?

Эти простые слова вернули всѣхъ къ дѣйствительности.

— Такъ вотъ-съ, господа, какъ: у васъ все готово, ну, а у насъ еще нѣтъ, — проговорилъ Горбачевскій съ недовѣрчивой усмѣшкой на своемъ широкомъ, скуластомъ, упрямомъ и умномъ лицѣ. — Мы потихоньку да полегоньку. Объяснить солдатамъ выгоды переворота—дѣло трудное.

— Да развѣ вы имъ объясняете?

— А то какъ же-съ? Мы полагаемъ, что не надобно отъ нихъ скрывать ничего.

— Нашъ способъ иной, — возразилъ Бестужевъ; — солдаты должны быть орудіями и произвести переворотъ, но не должны знать ничего. Можно ли съ ними говорить о политикѣ? Вы сами знаете, что за люди русскіе солдаты...

— Знаемъ, что люди какъ люди, всѣ отъ ребра Адамова, — пересталъ вдругъ усмѣхаться Горбачевскій. — Мы вѣдь и сами не бѣлая восточка, въ большіе господа не лѣземъ. У насъ демокрація не на словахъ, а на дѣлѣ. Равенство, такъ равенство. Съ народомъ все можно, безъ народа ничего нельзя — вотъ наше правило, — заключилъ онъ съ вызовомъ.

Сынъ бѣднаго сельскаго священника, внукъ казака-запорожца, онъ имѣлъ право, казалось ему, говорить такъ.

Когда кончилъ, наступило молчаніе, и вдругъ

почувствовали всѣ черту, раздѣляющую два Тайныхъ Общества: въ одномъ—люди знатные, чиновные, богатые, большею частью гвардейцы, генералы и командиры полковъ; въ другомъ—бѣдняки безъ роду, безъ племени, армейскіе поручики и прапорщики; тамъ—бѣлая, здѣсь—черная кость.

Петръ Ивановичъ Борисовъ все время молчалъ, сидя въ уголку, потупившись и покуривая трубочку. Весь былъ свѣреный, какъ бы полинялый, стертый, выцвѣтшій, такой незамѣтный, что надо было вглядѣться, чтобы увидѣть худенькое личико, все въ мелкихъ морщинкахъ не по возрасту, большіе голубые, немного на-выкатѣ, глаза, не то что грустные, а тихіе, бѣлокурые жидкіе волосы, узкія плечи, впалую грудь. Онъ часто покашливалъ сухимъ чахоточнымъ кашлемъ и закрывалъ при этомъ ротъ ладонью застѣнчиво.

Когда наступило молчаніе,—вдругъ поднялъ глаза, улыбнулся, хотѣлъ что-то сказать, но покраснѣлъ, поперхнулся, закашлялся и ничего не сказалъ.

— Вы, господа, кажется, другъ друга не понимаете,—вступился Муравьевъ.

Голицыну, какъ это часто бываетъ, когда слишкомъ много ждуть отъ человѣка, лицо Муравьева показалось менѣе значительнымъ, чѣмъ онъ ожидалъ. Лѣтъ тридцати, но по виду моложе. Черты женственно-тонкія и неправильныя: глаза слишкомъ широко разставлены; длинный, заостренный, какъ будто книзу оттянутый, носъ; до смѣшного маленькій, какъ будто дѣтскій, ротъ; слишкомъ полныя, пухлыя, тоже словно дѣтскія, щеки; густые, пушистые, темно-русые волосы, по военной модѣ зачесанные съ затылка на виски, какъ послѣ бани взъерошенные. Все лицо здоровое,

гладкое, бѣлое, круглое, какъ яичко—ни одной морщинки, ни одной черты страданья. Только вглядываясь пристальнѣй, замѣтилъ Голицынъ что-то болѣзненное въ противорѣчїи между улыбкою губъ и скорбнымъ взоромъ никогда не улыбающихся глазъ; а также въ верхней губѣ, немного выдающейся надъ нижнею, — что-то жалкое, какъ у маленькихъ дѣтей, готовыхъ расплакаться.

Странное подобіе пришло ему въ голову: если бы можно было увидѣть на снѣгу, въ лютый морозъ, вѣтку съ весенними листьями, то въ ней было бы то беззащитное и обреченное, что въ этомъ лицѣ.

Впослѣдствїи, думая о немъ, онъ вспоминалъ стихи Муравьева:

Je passerai sur cette terre,
Toujours rêveur et solitaire,
Sans que personne m'aie connu;
Ce n'est qu'au bout de ma carrière.
Que par un grand coup de lumière
On verra ce qu'on a perdu.

„Я пройду по землѣ, всегда одинокій, задумчивый, и никто меня не узнаетъ; только въ концѣ моей жизни блеснетъ надъ нею свѣтъ великій, и тогда люди увидятъ, что они потеряли“.

— Вы, господа, вѣжется, не понимаете другъ друга,—заговорилъ-было Муравьевъ по-французски, но тотчасъ же спохватился и продолжалъ по-русски: Горбачевскій объявилъ въ началѣ бесѣды, что плохо говорить по-французски и просить изъясняться на русскомъ языкѣ.—Что безъ народа нельзя, мы тоже знаемъ. Но вы полагаете, что надо начинать съ политики; мы же думаемъ, что разсужденїй политиче-

скихъ солдаты сейчасъ не поймутъ. А есть иной способъ дѣйствія.

— Какой же?

— Вѣра.

— Вѣра въ Бога?

— Да, въ Бога.

Горбачевскій покачалъ головою сомнительно.

— Не знаю, какъ вы, господа, но мы, Славяне, думаемъ, что вѣра противна свободѣ...

— Вотъ, вотъ,—подхватилъ Муравьевъ радостно, — какъ вы это хорошо сказали: вѣра противна свободѣ. Вотъ именно такъ и надо спрашивать прямо и точно: противна ли вѣра свободѣ?

— Я не спрашиваю, а говорю утвердительно. И, кажется, всѣ...

— Всѣ, всѣ, — опять подхватилъ Муравьевъ, — такъ всѣ говорятъ, всѣ такъ думаютъ. Это и есть ложь, коей все въ христіанствѣ ниспровергнуто. Но ложь все-таки ложь, а не истина...

— Помилуйте, какъ же не истина, когда въ Священномъ Писаніи прямо сказано, что избраніе царей отъ Бога?

— Ошибаетесь, въ Писаніи совсѣмъ другое сказано.

— Что же?

— А вотъ что. Миша, принеси-ка...

Но прежде чѣмъ онъ договорилъ, Бестужевъ побѣжалъ въ комнату и вернулся со шкатулкою. Муравьевъ отперъ ее, порылся въ бумагахъ, вынулъ листокъ, мелко исписанный, и подалъ Горбачевскому.

— Вотъ, читайте.

— Я по-латыни не знаю. Да и дѣло не въ томъ...

— Нѣтъ, нѣтъ, я переведу, слушайте. 1-ая Книга.

Царствъ, глава 8-ая: „собрались мужи Израильскіе, и пришли къ Самуилу, и сказали ему: нынѣ поставь намъ царя, да судитъ насъ. И было слово сіе лукаво предъ очами Самуила, и помолился Самуилъ Господу, и сказалъ Господь Самуилу: послушай нынѣ голоса людей, что говорятъ тебѣ, ибо не тебя уничижили они, а Меня уничижили, дабы не царствовать Мнѣ надъ ними; но возвѣсти имъ правду цареву.—И сказалъ Самуилу: вотъ слова Господни къ людямъ, просящимъ у Него царя.—И сказалъ имъ: сіе будетъ правда царева: сыновей вашихъ возьметъ, дочерей вашихъ возьметъ и земли ваши обложитъ даними, и будете рабами ему, и возопіете въ тотъ день отъ лица царя вашего, коего избрали себѣ, и не услышитъ васъ Господь, потому что вы сами избрали себѣ царя“.

— Ну что-жъ, ясно, — кажется, ясно, яснѣе нельзя. И неужели этого народъ не пойметъ?

— Да то въ Ветхомъ Завѣтѣ, а въ Новомъ другое,—возразилъ Горбачевскій,—тамъ прямо сказано: царямъ повинуйтесь, какъ Богу. Я сейчасъ не припомню, только много такого...

— Какъ можетъ это быть? Подумайте, какъ можетъ быть противорѣчіе между откровеньями единой истины Божеской? А если намъ и кажется, то, значитъ, мы не понимаемъ чего-то...

— Гдѣ ужъ понять! Это-то попамъ и на руку, что ничего понять нельзя: въ мутной водѣ рыбу ловятъ,—подмигнулъ Горбачевскій съ тѣмъ вольнодумнымъ ухарствомъ, которое свойственно молодымъ поповчамъ.

— Нѣтъ, можно, можно понять! — воскликнулъ

Муравьевъ еще радостнѣе, не замѣчая усмѣшки противника.—Надо только не буквы держаться, а духа... Вотъ вы этимъ шутите, а народъ не шутить. Не пустое же это слово: *Мнѣ дана всякая власть на небѣхъ и на землѣ.*—Слышите: не только на небѣхъ, но и на землѣ. А ежели Онъ — Царь единый истинный на землѣ, какъ на небѣхъ, то возстаніе народовъ и сверженіе царей, похитителей власти, какъ можетъ быть Ему противнымъ?

— Сверженіе царей во имя Христа! — покачалъ головой Горбачевскій еще сомнительнѣй. — А знаете что, Муравьевъ: я хоть самъ въ Бога не вѣрую, но полагаю, что кто проникнуть чувствомъ религіи, тотъ не станетъ употреблять столь священный предметъ орудіемъ политики...

— Нѣтъ, вы меня совсѣмъ, совсѣмъ не поняли! — всплеснулъ Муравьевъ руками горестно, и въ этомъ движеніи что-то было такое дѣтское, милое, что всѣ улыбнулись невольно, и черта раздѣляющая на мгновеніе сгладилась.—Ну кто же дѣлаетъ религію орудіемъ политики? Да не я ли вамъ сейчасъ говорилъ, что намъ думать надо больше всего о религіи, а политика сама приложится? Именно у насъ, въ Россіи, болѣе, чѣмъ гдѣ-либо, въ случаѣ возстанія, въ смутныя времена переворота, привязанность къ вѣрѣ должна быть надеждой и опорой нашей твердѣйшею, — вотъ все, что я говорю. Вольность и вѣра вмѣстѣ въ Россіи погублены и возстановлены могутъ быть только вмѣстѣ...

— Нѣтъ, господа, — объявилъ Горбачевскій рѣшительно, — никто изъ Славянъ не согласится такимъ образомъ дѣйствовать. Что же меня касается, то я первый отвергаю сей способъ и не прикоснусь до

этого листа, — указавъ онъ на выписку изъ Библіи: — можетъ быть, для нѣмцевъ оно и годится, но не для насъ: кто русскій народъ знаетъ, тотъ подтвердитъ, что способъ сей несообразенъ съ духомъ онаго. Я хоть и самъ поповичъ, а поповъ не люблю. И народъ ихъ не любить. Взять хоть нашихъ солдатъ: между ними, полагаю, вольнодумцевъ болѣе, нежели фанатиковъ... Да и кто захочетъ вступать съ ними въ споры теологическіе? Кто рѣшится быть новымъ Магометомъ-пророкомъ въ нашъ вѣкъ, когда всякая религія пала совершенно и навѣки?

— Ну, это еще доказать надо, — замѣтилъ Голицынъ.

— Что доказать?

— А вотъ, что религія пала навѣки.

— Полно, господа, нужно ли доказывать, въ чемъ всѣ просвѣщенные люди согласны? — что гибельная цѣпь заблужденій, человѣческій родъ изнуряющихъ, идетъ отъ алтаря, опоры трона царскаго; что надежда на воздаяніе загробное угнетенію способствуетъ и мѣшаетъ людямъ видѣть, что счастье и на землѣ обитать можетъ; что разумъ — свѣточъ единственный, коимъ должны мы руководствоваться въ жизни сей, а посему первый нашъ долгъ — внушить людямъ почтеніе къ разуму, да будетъ человѣкъ разсудителенъ и добродѣтеленъ въ юдоли сей и да оставить навсегда младенческіе вымыслы религіи...

Говорилъ, какъ по книгѣ читалъ, все чужія слова, чужія мысли — Вольтера, Гольбаха, Гельвеція и другихъ вольнодумныхъ философовъ.

— Одного я въ толкъ не возьму, — посмотрѣлъ на него изъ-подъ очковъ Голицынъ со своей тонкой усмѣшкой: — вѣру вы у нихъ отнимите, а чѣмъ ее замѣните?

Когда Горбачевскій принялся доказывать, что просвѣщеніе замѣнить вѣру, и философія — Бога, то Муравьевъ и Голицынъ обмѣнялись невольной улыбкой. Тотъ замѣтилъ ее, замолчалъ и обидѣлся.

Чтобы скрыть улыбку, Муравьевъ отвернулся и сталъ наливать стаканъ чаю, а когда подалъ его Горбачевскому, ихъ руки на мгновеніе сблизились: одна — большая, красная, жесткая, съ рыжими волосами и веснушками, съ плоскими ногтями и короткими пальцами; другая — бѣлая, тонкая, длинная, полная женственной прелестью.

„Нѣтъ, никогда не поймутъ они другъ друга!“ — подумалъ Голицынъ.

Опять, какъ давеча, наступило молчаніе, и почувствовали всѣ черту раздѣляющую; опять Борисовъ хотѣлъ что-то сказать и не сказалъ.

Заговорилъ Бестужевъ. Еще раньше Голицынъ замѣтилъ, что онъ подражаетъ Муравьеву нечаянно, въ словахъ, въ движеніяхъ, въ выраженіяхъ лица и въ звукѣ голоса, какъ это бываетъ съ людьми, долго жившими вмѣстѣ. Казалось, можно было видѣть и слышать одного сквозь другого; одинъ — звукъ, другой — эхо, и эхо искажало звукъ.

— Философъ Платонъ утверждаетъ, — говорилъ Бестужевъ, — что легче построить городъ на воздухѣ, нежели основать гражданство безъ религіи. Богъ даровалъ человѣку свободу; Христосъ передалъ намъ начало понятій законно-свободныхъ. Кто обезоружилъ длань деспотовъ? Кто оградилъ насъ конституціями? Это съ одной стороны, а съ другой...

Горбачевскій всталъ рѣшительно, прицѣпилъ саблю и надѣлъ сюртукъ (было такъ жарко, что сняли мундиры).

— А столкнуться-то намъ будетъ трудненько, господа, — сказалъ онъ и, наклонивъ немного голову на бокъ, сдѣлался похожъ на упрямаго бычка, который хочетъ боднуть. — Мы люди простые, ѣдимъ пряники неписанные. Вы вотъ все о Богѣ, а мы полагаемъ, что не изъ-за Бога, а изъ-за брюха — всѣ возстанія народныя...

— Неужели только изъ-за брюха? — воскликнулъ Муравьевъ.

— Знаю, знаю: не единымъ хлѣбомъ... А вы-то сами, господинъ подполковникъ, голодать изволили?

— Случалось, въ походѣ.

— Ну, это что! Нѣтъ, а вотъ, какъ послѣдніе штаны въ закладѣ, а жрать нечего... Эхъ, да что говорить! Сытый голоднаго не разумѣетъ... Петръ Ивановичъ, пойдемъ, что ли?

— Куда же вы, господа? Вѣдь мы еще ни о чемъ, какъ слѣдуетъ... — всполошился Бестужевъ.

— А вотъ ужъ въ лагеряхъ поговоримъ, тамъ и наши всѣ будутъ, а мы за нихъ рѣшать не можемъ, — сказалъ Горбачевскій сухо.

Муравьевъ подошелъ къ нему и подаль руку:

— Иванъ Ивановичъ, вы на меня не сердитесь? Если я что не такъ, простите ради Бога...

И опять промелькнуло въ улыбкѣ его что-то такое милое, что Горбачевскій не выдержалъ, улыбнулся тоже и вѣжливо пожалъ ему руку:

— Ну, что вы, Муравьевъ, полноте, какъ вамъ не совѣстно? Развѣ могутъ быть между нами чичности?... Петръ Ивановичъ, а Петръ Ивановичъ, да будетъ вамъ копать!

Борисовъ тщательно выбивалъ золу изъ трубочки, укладывалъ табакъ въ мѣшочекъ и завязывалъ на немъ

тесемочки; вдругъ обернулся и, къ удивленію всѣхъ, — никто еще не слышалъ голоса его, — заговорилъ тихо, невнятно, косноязычно, заикаясь, путаясь и прибавляя чуть не къ каждому слову нелѣпую поговорку: „десятое дѣло, пожалуйста“.

— А я вотъ что, десятое дѣло, пожалуйста... не надо о Богѣ. Хорошо, если Богъ, но можно и такъ, безъ Бога быть добродѣтельнымъ. Я, впрочемъ, не атей. А только лучше не надо... Вотъ какъ жида. Умницы: назвать Бога нельзя; говори о чемъ знаешь, десятое дѣло, пожалуйста, а о Богѣ молчокъ. И всякъ сверчокъ знай свой шестокъ...

— Молодецъ, Иванычъ! Въ рѣмъ заговорилъ, — смѣясь, похлопалъ его по плечу Горбачевскій. — Ну, пойдемъ, стихотворецъ, лучше не скажешь!

Гости ушли. Бестужевъ отправился ихъ провожать.

Муравьевъ, оставшись наединѣ съ Голицынымъ, распранивалъ его о петербургскихъ дѣлахъ. Зашла рѣчь о „Православномъ Катехизисѣ“. Муравьевъ принесъ рукопись и показалъ ее Голицыну.

Катехизисъ начинался такъ:

„Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.“

„Вопросъ. Для чего Богъ создалъ человѣка?“

„Ответъ. Для того, чтобы онъ въ Него вѣровалъ, былъ свободенъ и счастливъ.“

„Вопросъ. Что это значитъ быть свободнымъ и счастливымъ?“

„Ответъ. Безъ свободы нѣтъ счастья. Святой апостолъ Павелъ говоритъ: цѣною крови куплены есте, не будете рабы человѣкомъ.“

„Вопросъ. Для чего же русскій народъ и русское войство несчастны?“

„Отвѣтъ.“ Отъ того, что..... похитили у нихъ свободу.

„Вопросъ.“ Что же святой законъ намъ повелѣваетъ дѣлать?

„Отвѣтъ.“ Раскаяться въ долгомъ рабѣнствѣ и, ополчась противъ тиранства и нечестія, поклясться: да будетъ всѣмъ единъ Царь на небеси и на земли—Иисусъ Христосъ“.

Голицынъ читалъ Катехизисъ еще въ Петербургѣ, но теперь, послѣ давешней бесѣды, все получило новый смыслъ.

— Скажите правду, Голицынъ, какъ вы думаете, поймутъ?—спросилъ Муравьевъ.

— Не знаю, можетъ быть, и не поймутъ сейчасъ, — отвѣтилъ Голицынъ. — Но все равно, — потомъ. Хорошо, что это написано. Знаете: написано перомъ, не вырубишь топоромъ...

И какъ будто подтверждая то, что прочелъ, разсказалъ онъ о Бѣломъ Царѣ, государѣ императорѣ Петрѣ III, въ которомъ пребываетъ „самъ Богъ Саваоѣ съ ручками и съ ножками“.

— Но, вотъ, вотъ! — вскричалъ Муравьевъ и всплеснулъ руками радостно. — Вѣдь вотъ есть же это у нихъ! Не такіе мы дураки, какъ Горбачевскій думаетъ... Ахъ, Голицынъ, какъ хорошо вы сдѣлали, что пріѣхали! Наконецъ-то, будетъ съ кѣмъ душу отвести, а то все одинъ да одинъ...

Когда на прощанье Голицынъ подалъ ему руку, тотъ взялъ ее и долго держалъ въ своей. Молча стояли они другъ противъ друга.

— Ну, значить вмѣстѣ? Да?—сказалъ, наконецъ, Муравьевъ, чуть-чуть краснѣя.

— Да, вмѣстѣ, — отвѣчалъ Голицынъ, тоже краснѣя.

Муравьевъ отпустилъ руку его, съ минуту смотрѣлъ ему въ глаза нерѣшительно, вдругъ покраснѣлъ еще больше, улыбнулся, обнялъ его и поцѣловалъ.

Голицынъ почувствовалъ, что ему хочется плакать, какъ тогда, во снѣ, когда съ нимъ была Софья. Онъ зналъ, что она и теперь съ нимъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Наступили счастливые дни. Голицынъ почти ничего не дѣлалъ, не читалъ, не писалъ, даже не думалъ, только наслаждался глубокою нѣгою позднего украинскаго лѣта. Не бывалъ въ этихъ мѣстахъ, но все казалось ему знакомымъ, какъ будто, послѣ долгихъ скитаній, вернулся на родину, или вспоминалъ забытый дѣтскій сонъ.

Васильковъ—запустѣвшій уѣздный городокъ-слободка, разбросанный по холмамъ и долинамъ. Сѣрые деревянные домики, бѣлыя глиняныя мазанки; иногда крутая улица кончалась обрывомъ, какъ будто уходила прямо въ небо. Внизу—рѣчка Стугна, обмѣлѣвшая и заросшая тиною. Вдали синѣющія горы; за ними—Днѣпръ; но онъ далеко, не видно. Бѣлыя хатки—въ темной зелени вишневыхъ садиковъ; хатка надъ хаткою, садикъ надъ садикомъ, и между ними плетни, увитые тыквами.

Въ домикахъ жили хуторяне, мелкомѣстные панки да подпанки, ѣли, пили, спали, играли въ преферансъ по маленькой, спорили о томъ, какой нюхательный табакъ лучше—шпанскій, виолетный, берга-

мотный, рульный или полурульный, и дѣйствительно ли умеръ Бонапартъ, или только прикинулся мертвымъ, чтобы снова напасть на Россію; ходили въ церковь, гоняли водку на вишневыхъ косточкахъ, да борова сажали въ сажъ къ розговѣнамъ. Барышни читали новые романы Жанлисъ и Радклиффъ, но старинный „Мальчикъ у ручья“ господина Коцебу имъ больше нравился.

— Я люблю читать страшное и чувствительное, — признавалась одна изъ нихъ Голицыну.

У полкового командира Густава Ивановича Гебеля устраивались вечеринки съ танцами; дамы сидѣли за бостономъ, а дѣвицы съ офицерами плясали подъ клавиворды. Бестужевъ на этихъ балахъ былъ веселымъ кавалеромъ и дамскимъ любезникомъ. Когда, падая на стулъ и обмахиваясь вѣеромъ, одна, плотнаго сложенія, дама воскликнула:

— Уфъ, какъ устала! Больше танцовать не могу.

— Не вѣрю, сильфиды не устаютъ! — возразилъ Бестужевъ.

Въ такія минуты трудно было узнать въ немъ заговорщика.

Время текло однообразно — въ ученьяхъ, караулахъ и разводахъ. Господа офицеры скучали, пили нѣжинскій шато-марго, за удивительную крѣпость получившій прозвище *шатай-морай*; стрѣляли въ жиновъ солью, таскали ихъ за пейсивки; или, сидя подъ окномъ, съ гитарою въ рукахъ, напѣвали:

Кто могъ любить такъ страстно,
Какъ я любилъ тебя?

А ночью въ еврейской корчмѣ метали банкъ, стараясь обыграть заѣзжаго поляка-шулера, который

какъ-то разъ въ полночь вылетѣлъ изъ окна съ во-
нлемъ:

— Панове, протестую!

Каждое утро входила къ Голицыну, неслышно, босыми ногами, свѣжая и стройная какъ тополь, Катруся, приносила студеной воды изъ криницы, такой же чистой, какъ ея улыбка, и украшала свѣжими цвѣтами образа.

Бабуся Дундучиха обкармливала его малороссійскими блюдами. Каждую ночь у него болѣлъ немного животъ. „Надо ѣсть меньше“,—думалъ онъ, а на слѣдующій день опять объѣдался. За одинъ мѣсяць такъ пополнѣлъ, что дорожный англійскій каррикъ, въ Петербургѣ слишкомъ широкій, теперь сдѣлался узкимъ. Такъ облѣнился, что цѣлыми часами могъ сидѣть у окна, глядя, какъ старый дѣдъ-пасѣчникъ ходитъ по баштану, прикрываетъ лопухомъ арбузы отъ зноя; рыжій поповичъ тащить козу, а коза упирается; бабуся Дундучиха, съ прялкой за поясомъ, гонитъ съ горы телку и, медленно идучи за нею, прядетъ шерсть. Тишина невозмутимая; только рядомъ, въ хозяйской свѣтлицѣ, ткацкій станъ шумитъ, веретено жужжитъ и прыгаетъ, да вѣтеръ за окномъ шелеститъ въ вершинѣ тополя.

Или, стоя на базарной площади, наблюдалъ онъ, какъ два жида спорять о чемъ-то, дѣлая другъ у друга подъ носомъ такія быстрыя движенія пальцами, какъ будто сейчасъ подерутся, а на ослѣпительно-бѣлой стѣнѣ ихъ черныя тѣни еще быстрѣе движутся, какъ будто уже подрались. Тутъ же, на площади, передъ единственнымъ каменнымъ домомъ присутственныхъ мѣстъ, — привалъ чумаковъ; круторогій волъ, лежа на соломѣ, жуетъ жвачку, и съ глянцевито-

черной морды слюна стекаетъ свѣтлою струйкою. А пьяный чумакъ, сидя на мазницѣ у воза, подперевъ щеку рукою и тихонько раскачиваясь, поетъ жалобно:

Ой, заливъ чумакъ, заливъ,
Сидя на рыночку;
Той пропивъ чумакъ, пропивъ
Усю худобочку.

И надо всѣмъ городкомъ—зной, лѣнь, сонъ, тишина невозмутимая. Собаки не лаютъ—спятъ; куры не бродятъ—въ мягкую пыль зарылись и тоже спятъ. Шестерня воловъ подъ плугомъ остановилась на улицѣ; хозяинъ уснулъ, волы спятъ, и все недвижно. Прохожій солдатикъ раскачалъ хохла; тотъ зѣвнулъ, почесался, выругался:

— Ну тебя къ нечистой матери!

Махнулъ прутомъ: „цобъ-цобе!“—и волы двинулись, но, кажется, опять станутъ—уснуть.

Только иногда въ тишинѣ бездыханнаго полдня надвинется туча, послышится гулъ. Ужъ не громъ ли? Нѣтъ, телѣга стучитъ. А туча уходитъ,—и зной, и сонъ, и лѣнь, и тишина еще невозмутимѣе.

— Дѣйствія скоро начнутся: нами принято непоколебимое рѣшеніе начать революцію въ 1826 году,—говорилъ Бестужевъ.

Голицынъ слушалъ и не зналъ, что это — громъ или стукъ телѣги?

Но Муравьевъ однажды сказалъ:

— Бездѣйственность всѣхъ прочихъ членовъ, особенно Сѣверныхъ, столь многими угрожаетъ намъ опасностями, что я, можетъ быть, воспользуюсь первымъ сборомъ войскъ, чтобы начать...

И Голицынъ сразу повѣрилъ, что такъ и будетъ.

какъ онъ говоритъ. „Да, адѣсь начнутъ“, — подумалъ то, чего никогда въ Петербургѣ не думалъ. Чѣмъ тишина бездыханнѣе, тѣмъ грознѣе туча надвигается, и онъ уже зналъ, что дальній гулъ — не стукъ телегъ, а громъ.

Бестужевъ рассказывалъ ему о Славянахъ.

— Помните, у Радищева: „я взглянулъ окрестъ меня, и душа моя страданьями человѣчества уязвлена стала“. Ну, вотъ, съ этого все и началось у нихъ. Братья Борисовы жили съ отцомъ на хуторѣ и видѣли, какъ паны бѣдныхъ людей до крови мучаютъ. А потомъ на военной службѣ — палки, плети, шниц-рутенны; когда забили при нихъ одного солдата до смерти, они поклялись умереть, чтобы этого больше не было... Ну, и книги тоже. Жизнеописанія великихъ мужей Плутарха, греки да римляне поселили въ нихъ съ дѣтства любовь къ вольности и народодержавію. Будучи въ корпусѣ, вздумали составить таинственную секту, коей цѣль была спокойная и уединенная жизнь, изученіе природы и усовершеніе себя въ добродѣтеляхъ, подобно древнимъ пифагорейцамъ. Девизомъ сдѣлали двѣ руки, соединенныя надъ пылающимъ жертвенникомъ съ надписью: *gloire, amour, amitié*, и называли ту секту Обществомъ Перваго Согласія. Сочиняли іероглифы, обряды, священнослуженія. Разъ, на вакаціяхъ, лѣтомъ, въ селѣ Рѣшетловкѣ Полтавской губерніи, устроили пифагорейское шествіе въ бѣлыхъ одеждахъ, съ пѣніемъ и музыкой, въ честь восходящаго солнца. А послѣ производства въ офицеры, основали въ Одессѣ масонскую ложу Друзья Природы, присоединивъ къ прежней цѣли — очищеніе религіи отъ предрасудковъ и основаніе извѣстной республики Платона. Вотъ изъ этихъ-то двухъ обществъ и вышли Славяне...

— Какая же ихъ цѣль?—спросилъ Голицынъ.

— Соединеніе всѣхъ славянскихъ племенъ въ единую республику.

— Только-то!

— Не смѣйтесь, Голицынъ. Если бы вы знали, что это за люди! Настоящіе греки и римляне. Кажется, мы нашли въ нихъ то, чего искалъ Пестель, обреченный отрядъ, людей, готовыхъ на всякую жертву для блага отечества...

Когда Голицынъ узналъ, что эти бѣдные армейскіе поручики и прапорщики постановили жертвовать десятую часть жалованья на выкупъ крѣпостныхъ людей и на учрежденіе сельскихъ школъ и что сами Борисовы съ хлѣба на квасъ перебиваются, а вносятъ положенныя деньги въ кассу Общества, то пересталъ смѣяться.

Ему хотѣлось поговорить съ Борисовымъ, но, каждый разъ, какъ заговаривалъ съ нимъ, тотъ улыбался застѣнчиво, краснѣлъ, отвѣчалъ невнятно и косноязычно, со своимъ всегдашнимъ присловьемъ: „десятое дѣло, пожалуйста“, и, видимо, такъ тяготился бесѣдою, что у Голицына не хватало духа продолжать ее.

— Чудакъ! Что онъ, со всѣми такой?—спрашивалъ онъ Бестужева.

— Да, такой скрытный, что никакого толку не добьешься. А братъ его, Андрей Ивановичъ, тотъ еще хуже: страдаетъ меланхоліей, что ли? Сидитъ, запершись, у себя въ комнатѣ и нигуда ни ногой; только въ полѣ цвѣты собираетъ да бабочекъ ловить...

Горбачевскій, отложивъ переговоры съ Южнымъ Обществомъ до осеннихъ лагерей, собирался въ Нов-

градъ-Волынскъ, гдѣ стояла 8-я артиллерійская бригада, въ которой онъ служилъ вмѣстѣ съ Борисовымъ. Борисовъ долженъ былъ ѣхать съ нимъ, но все не могъ собраться. Бестужевъ подозрѣвалъ, что ему не на что выѣхать.

Однажды Голицынъ увидѣлъ на перекресткѣ двухъ дорогъ стараго слѣпца-лирника; онъ игралъ на бандурѣ и пѣлъ о Богданѣ Хмельницкомъ, о Запорожской Сѣчи, о древней казацкой вольности.

Голицынъ почти не понималъ словъ, но благоговѣйное вниманіе слушателей, все простыхъ казаковъ и казачекъ, вдохновенное лицо старика съ высоко поднятыми бровями надъ слѣпыми, впалыми глазами и дрожащій голосъ его, и тихое рокотанье бандурныхъ струнъ, и заунывные, хватающіе за душу звуки пѣсни говорили больше словъ.

„Теперь бурьяномъ заросла Сѣчь, и вольныя степи прокляты Богомъ: травы сохнутъ, воды входятъ въ землю, и не стало древней вольности.

Было, да поплыло,—
Его не вертати!“

—заклучилъ пѣвецъ.

Кто-то всхлипнулъ; кто-то вытеръ слезы рукавомъ свитки; старый, сѣдоусый казакъ, опиравшійся обѣими руками о палку, низко опустилъ голову и такъ тяжело вздохнулъ, какъ будто услышалъ вѣсть о смерти любимаго.

А голосъ пѣвца зазвучалъ торжественно:

Полягла казацка голова,
Якъ отъ вітра на степу трава;
Слава не вмере, не поляже,—
Рыцарство казацке всякому расскаже.

И пѣсня оборвалась. Послѣднія слова Голицынь понялъ, и опять родное, милое, какъ дѣтскій сонъ, нахлынуло въ душу его. Древняя вольность, за которую умирали эти простые люди, не та же ли, что и новая, за которую умрутъ они, заговорщики?

Подожелъ къ пѣвцу и вмѣстѣ съ мѣдными грошами положилъ въ руку его нѣсколько серебряныхъ монетъ. Тотъ, нащупавъ ихъ, обернулся къ нему:

— Панночку, лебѣдочку! Нехай тебя такъ Господь призрѣть, какъ ты меня призрѣлъ!

— Давно ты слѣпъ, старикъ? — спросилъ Голицынь.

— Давно, родимый. Ужъ и не помню, сколько годовъ по Божьему свѣту брожу, а свѣта не вижу...

И, уставившись прямо на солнце слѣпыми глазами, прибавилъ тѣмъ же заунывнымъ голосомъ, которымъ только что пѣлъ, — казалось, что эти слова продолженіе пѣсни:

— Охъ, свѣтъ, мой свѣтъ! Хоть и не видишь тебя, а помирать не хочется.

— Ну, что, князь, какъ вамъ понравилось? — выходя изъ толпы, вдругъ услышалъ Голицынь голосъ Петра Ивановича Борисова.

— Удивительно!

— А я думалъ, вамъ не понравится.

— Почему же?

— Да вы въ Петербургѣ-то, чай, итальянскихъ оперъ наслушались, такъ нашимъ пѣвцамъ гдѣ ужъ до нихъ, десятое дѣло, пожалуйста...

— Ну что вы, развѣ можно сравнивать? Я не промѣняю это ни на какую оперу.

— Будто? А вы бы нашего Явтуха Шаповаленко послушали, — вотъ такъ поетъ! — началъ Борисовъ и:

не кончилъ, какъ будто испугался чего-то, съежился, пробормоталъ поспѣшно:

— Ну, мое почтенье, князь. Намъ не по дорогѣ...

И подавъ ему руку, какъ-то странно, бочкомъ, точно надѣялся, что тотъ ея не увидитъ и не возьметъ.

— А васъ проводить нельзя, Петръ Ивановичъ?

— Да ужъ, не знаю, право, десятое дѣло, пожалуйста. Я вѣдь къ жидамъ; нехорошо у нихъ, вамъ тошно будетъ...

— Чудакъ вы, Борисовъ! Барышня я, что ли?

— Нѣтъ, я не къ тому, десятое дѣло, пожалуйста, — окончательно сконфузился Борисовъ. — Ну, да все равно, если угодно, пойдемте.

Всю дорогу былъ молчаливъ, какъ будто раскаивался въ своей давешней болтливости. Но Голицынъ рѣшилъ не отставать отъ него. Борисовъ повелъ его въ жидовское подворье.

Такъ же, какъ во всѣхъ украинскихъ мѣстечкахъ, евреи жили по всему городку, но ютились преимущественно въ своемъ особомъ кварталѣ. Тутъ были ветхія деревянные клѣтушки, едва обмазанныя глиною, съ острыми черепичными кровлями. Улицы — узкія, еще болѣе стѣсненные выставными деревянными лавочками и выступами домовъ на гнилыхъ, покосившихся столбикахъ. Всюду висящее изъ оконъ тряпье, копошащіеся на вучахъ отбросовъ, вмѣстѣ съ собаками, полунагіе жиденята, и грязь, и вонь.

Борисовъ съ Голицынымъ вошли въ домикъ, гдѣ беременная жидовка съ чахоточнымъ румянцемъ на впалыхъ щекахъ, съ полосатымъ тюрбаномъ на бритой головѣ, хлопотала, примазывая глиной деревянную заслонку къ жерлу раскаленной печи, куда за-

двинула шабашевыя блюда (была пятница, день шабаша), такъ какъ въ день субботній прикосновеніе къ огню считается смертнымъ грѣхомъ.

— Ну, что, какъ Барухъ?—спросилъ Петръ Ивановичъ.

— Ай-вай, панночку ясенькій, плохо, совсѣмъ плохо...

— Ничего, Рива, дастъ Богъ, вылѣчимъ,—сказалъ Борисовъ и сунулъ ей что-то въ руку.

— Спасибо, спасибо, панночку добренькій! Не-хай васъ Богъ милуетъ!—утерла она концомъ тюрбана глаза и наклонилась, должно быть, хотѣла поцѣловать руку его, но онъ отдернулъ ее и поскорѣе ушелъ.

По сколькимъ ступенямъ спустились въ темный подвалъ. На полу валялись кучи тряпья, стояли лохани и кадушки съ помоями; отъ нихъ шель такой смрадъ, что дыханіе спиралось. Въ красномъ углу, на востокъ,—завѣшанный полинялою парчою кивотъ, съ пергаментными свитками Торы; на крюкѣ — мѣшокъ изъ телячьей кожи съ молитвенными принадлежностями; на гвоздикѣ — плетеная свѣча зеленого воску для зажиганія послѣ шабаша. На сундукѣ съ тряпьемъ, замѣнявшемъ постель, лежалъ старикъ съ длинной бѣлой бородой, какъ Іовъ на гноищѣ.

Барухъ Эпельбаумъ, великій ревнитель закона, былъ богатымъ купцомъ, но когда любимая дочка его сбѣжала съ русскимъ приказчикомъ, онъ заскучалъ, забросилъ дѣла, разорился и, не имѣя, гдѣ преклонить голову, больной, почти умирающій, пріѣхалъ въ Васильковъ къ дальнимъ родственникамъ. Барухъ какъ-то выручилъ Борисова изъ большой бѣды, давъ ему денегъ взаймы, и теперь, когда всѣ старика по-

кинули, тотъ утѣшалъ его и ухаживалъ за нимъ, какъ самая нѣжная сидѣлка.

— Десница Божья отяготѣла на мнѣ! Нѣтъ цѣлаго мѣста въ плоти моей, нѣтъ мира въ костяхъ моихъ! Смердятъ, гноятся раны мои отъ безумья моего!—восклицалъ Барухъ по-еврейски, заунывно и торжественно, съ такимъ видомъ, что нельзя было понять, молится онъ или богохульствуетъ.

— Ну-ка, братецъ, снимай свитку, мазаться будемъ,—сказалъ Борисовъ, подходя къ старику.

— Охъ-охъ-охъ, панночку миленькій! — простоналъ Барухъ жалобно.—Оставь ты меня, какъ всѣ меня оставили! Не треба мнѣ мази твоей. Нехай помру, якъ песъ... Проклятъ день рожденія моего и ночь, когда сказали: зачался человекъ! — прибавилъ онъ опять по-еврейски, заунывно и торжественно.

— Ну, братъ, полно кобениться! Вотъ намажу, легче будетъ.

Борисовъ помогъ ему снять грязную, въ лохмотьяхъ, свитку. Голицынъ увидѣлъ мертвенно-блѣдное тѣло съ красными пятнами отвратительной сыпи и отвернулся невольно. „Барышня я, что ли?“ — вспомнилось ему.

А Борисовъ дѣлалъ свое дѣло, какъ хорошій лѣкарь: досталъ баночку съ мазью, засучилъ рукава и принялся тереть. Жидъ стоналъ, корчился отъ боли, потому что мазь была ѣдкая.

Когда Борисовъ кончилъ, больной долго лежалъ, не шевелясь и закрывъ глаза, какъ мертвый; потомъ открылъ ихъ, посмотрѣлъ на Борисова и сказалъ, какъ будто продолжая разговоръ, только что прерванный:

— Вотъ вы говорили намереди, ваше благо-

родьнице: Іешу Ганоцри добро людямъ сдѣлалъ, а я говорю: зло. Ай-вай, такова зло никто людямъ не дѣлалъ, какъ Іешу Ганоцри...

— Пустое ты мелешь, Барухъ. Какое же зло?

— А вотъ слушайте, ваше благородіе, я вамъ скажу. Я—песь поганый, жидъ пархатый, а я лучше вашего знаю все, — усмѣхнулся онъ тонкой усмѣшкой завятаго спорщика; мѣшалъ русскій языкъ съ украинскимъ, польскимъ и еврейскимъ, но такая сила убѣжденія была въ лицѣ его, въ движеніяхъ и въ голосѣ, что Голицынъ почти все понималъ. — Вотъ гляжу я въ окошечко: вотъ идетъ Лейба изъ Бердичева, вотъ идетъ Шмулька изъ Нѣжина, а вотъ идетъ Іешу Ганоцри. Лейба—жидокъ, Шмулька — жидокъ, всѣ жидки одинокіе, а Іешу кто?

— Іешу Ганоцри — Іисусъ Назарей, — шепнулъ Борисовъ на ухо Голицыну.

— Слушайте, слушайте, я вамъ все скажу, — продолжалъ старикъ, обращаясь уже къ обоимъ вмѣстѣ, видимо, польщенный вниманіемъ Голицына. — Вы, христіане, не знаете, а мы, жидки, знаемъ, кто такой Іешу Ганоцри. Мы всю его фамилію знаемъ, и матку, и батьку, и сестричекъ, и братиковъ! — лукаво прищурился онъ и залился вдругъ тоненькимъ смѣхомъ. — Въ Варшавѣ паночекъ одинъ, такой же вотъ, какъ ваши милости, добренькій да умненькій, далъ мнѣ Евангеліумъ. „Читай, — говоритъ, — Барухъ, можетъ, твоей душенькѣ польза будетъ“. Сталъ я читать, да нѣтъ, не могу. „Ну, и что же такое? — говоритъ, — отчего не можешь читать?“

Вдругъ смѣхъ исчезъ. Онъ сжалъ кулаки и потрясъ ими въ воздухѣ. Лицо исказилось, какъ у бѣсноватаго.

окна и что-то рисовавшій, съ милымъ, грустнымъ и больнымъ лицомъ и съ глазами, такими же тихими, какъ у Борисова, вскочилъ въ испугъ и, не здороваясь, убѣжалъ въ сосѣднюю каморку, гдѣ заперся на ключъ. Это былъ Андрей Ивановичъ, братъ Борисова.

Хозяинъ показалъ гостю коллекціи бабочекъ и другихъ насѣкомыхъ, а также рисунки животныхъ, птицъ, полевыхъ цвѣтовъ и растений.

— Это все—Андрей Ивановичъ. Не правда ли, мастеръ?—сказалъ онъ съ гордостью.

Въ самомъ дѣлѣ, рисунки были прекрасные.

— Жарко здѣсь, и мухи. Пойдемте-ка въ садъ,—предложилъ Петръ Ивановичъ.

Голицынъ понялъ, что онъ не хочетъ беспокоить больного брата.

У хатки не было сада, она стояла на пустырь. Перелѣзли черезъ плетень въ чужую дычковскую пасѣку, забрались подъ густую тѣнь черешень и усѣлись въ высокой травѣ на сваленныя колоды ульевъ. За плетнемъ, надъ бѣлой дорогой, воздухъ дрожалъ и мерцалъ отъ зноя ослѣпительно; а здѣсь, въ тѣни, было свѣжо; струйка воды журчала по мшистому жолобу, и тихое жужжаніе пчелъ напоминало дальній колоколъ.

— Ну, говорите: чего же вы не поняли? — началъ Борисовъ.

— Цѣль вашего Общества — соединеніе славянскихъ племенъ въ единую республику? — спросилъ Голицынъ.

— Да. Федеративный союзъ, подобный древне-греческому, но гораздо его совершеннѣе.

— Какія же у васъ средства въ тому?

— Средства? Да тѣ же, что и у васъ, десятое дѣло, пожалуйста. Ну, тамъ возмущенье, сверженье династїи... ну, и прочее. Вы же знаете...

Говорилъ, видимо, чужое, заученое и для него самого неважное; помолчалъ и прибавилъ уже иначе, съ усмѣшкой печальной и ласковой:

— Мы вѣдь сначала о средствахъ почти и не думали; мечтали сдѣлать переворотъ съ такою же легкостью, какъ парижане мѣняютъ старыя моды на новыя. Ни о чемъ не заботились, какъ въ раю жили, ждали чудесъ, вѣрили, скажемъ горѣ: „сдвинься!“ — и сдвинется. Только въ послѣдствїи увидѣли, какъ трудно все... Да, многое придется оставить, ежели соединимся съ Южными. А жаль. Хорошо было; такъ уже больше не будетъ.

Было, да поплыло,
Его не вертати...

Онъ подаль ему тоненькую, въ синей обложкѣ, какъ будто ученическую, тетрадку; захватилъ ее съ собою давеча изъ дому.

— Вотъ наши правила. Читайте сами. Можетъ быть, лучше поймете.

Голицынъ прочелъ:

„Ты еси Славянинъ, и на землѣ твоей при берегахъ морей, ее окружающихъ, построишь четыре гавани, а въ серединѣ городъ и въ немъ богиню Просвѣщенїя на тронѣ посадишь, и оттуда будешь получать себѣ правосудіе, и ему повиноваться обязанъ, ибо оное съ путей, тобою начертанныхъ, совращаться не будетъ.“

„Желаешь имѣть сіе,—съ братьями твоими соединишь, отъ коихъ невѣжество предковъ отдалило тебя“.

Между строкъ нарисованъ былъ восьмиугольный знакъ съ поясненіемъ:

„8 сторонъ означаютъ 8 славянскихъ народовъ: россіяне, поляки, чехи, сербы, кроаты, далматы, трансильванцы, моравцы; 4 явора — гавани: Балтійскую, Черную, Бѣлую, Средиземную; единица въ серединѣ — единство сихъ народовъ“.

А въ примѣчаніи сказано:

„Можно сей знакъ употреблять на печатяхъ“.

Потомъ отдѣльныя изреченія:

„Духъ рабства показывается напыщеннымъ, а духъ вольности простымъ“.

„Будешь человѣкомъ, когда познаешь въ другомъ человѣка, и гордость тирановъ падетъ предъ тобою на воля“.

„Ни на кого не надѣйся, кромѣ твоихъ друзей и твоего оружія; друзья тебѣ помогутъ, оружіе тебя защититъ“.

„Свобода покупается не слезами, не золотомъ, а кровью“.

„Обнаживши мечъ противъ тирана, должно отбросить ножны какъ можно далѣе“.

И, наконецъ, клятва:

„Съ мечомъ въ рукахъ достигну цѣли, нами назначенной. Пройдя тысячи смертей, тысячи препятствій, посвящу послѣдній вздохъ свободѣ. Клянусь до послѣдней капли крови вспомоществовать вамъ, друзья мои, отъ этой святой для меня минуты. Если же нарушу клятву, то остріе меча сего, надъ коимъ клянусь, да обратится въ сердце мое“.

Голицынъ испытывалъ странное чувство: что такіе люди, какъ Борисовъ, за каждое слово, каждую букву этой бѣдной тетрадки пойдутъ на смерть, —

не сомнѣвался и, вмѣстѣ съ тѣмъ, понималъ, что эта славянская республика — такое же ребячество, какъ пифагорейское шествіе въ селѣ Рѣшетниковѣ.

„А можетъ быть, такъ и надо? Если не обратитесь и не станете какъ дѣти“, — подумалъ Голицынъ опять, какъ тогда въ Петербургѣ, на сходѣ у Рылѣева.

Борисовъ молчалъ, потупившись, и, взявъ у него тетрадку, тщательно разглаживалъ согнувшіеся уголки листовъ. Голицынъ тоже молчалъ, и молчаніе становилось тягостнымъ.

— А знаете, Борисовъ, вѣдь это совсѣмъ не политика, — проговорилъ онъ, наконецъ.

— А что же? — спросилъ тотъ и, быстро взглянувъ на него, опять потупился.

— Можетъ быть, религія, — возразилъ Голицынъ.

— Какая же религія безъ Бога?

— А вы въ Бога не вѣрите?

— Нѣтъ, я... не знаю, я не могу. Я же говорилъ у Муравьева, помните? Я, какъ жиды, не могу назвать Его по имени, не могу сказать. Скажешь, — и все пропадетъ. Вотъ и теперь; сказалъ вамъ о нашемъ и все пропало...

Лицо его поблѣднѣло, губы искривились болѣзненно, пальцы, все еще расправлявшіе уголки листовъ, задрожали.

И Голицыну вдругъ стало жалко его нестерпимою жалостью, и больно, и страшно, какъ будто, въ самомъ дѣлѣ, все пропало.

— Нѣтъ, не пропало, — началъ онъ, думая, что обманываетъ его отъ жалости; но въ то же мгновеніе, какъ человѣкъ тонущій, прикоснувшись ко дну, чувствуетъ, что какая-то сила поднимаетъ его, такъ

онъ почувствовалъ, что не жалѣеть, не обманываетъ.—Да, ничего не пропало,—повторилъ онъ,—все есть...

— Что же есть?—спросилъ Борисовъ.

— Есть главное, вотъ то, что у васъ въ клятвѣ сказано: послѣдній вздохъ отдать свободѣ. А если вы назвать Его, сказать о Немъ не можете, то сдѣлайте,—другіе скажутъ.

Борисовъ поднялъ на него глаза со своей стыливой улыбкой, но ничего не сказалъ, и Голицынъ тоже; какъ будто заразился отъ него,—почувствовалъ, что говорить не надо: „скажешь—и все пропадетъ“.

Была тишина полдневная, —ни вѣтерка, ни шеста, —и такая же въ ней тайна, близость ужаса, какъ въ самую глухую ночь.

Вдругъ почудилось Голицыну, что за нимъ стоитъ Кто-то и сейчасъ подойдетъ, позоветъ ихъ, скажетъ имя Свое тому, кто не знаетъ имени. Дуновение ужаса пронеслось надъ нимъ.

Онъ всталъ и оглянулся,—никого, только въ темной чащѣ пасѣки бѣлѣла, освѣщенная солнцемъ, колода улья, и тихое жужжаніе пчелъ напоминало дальній колоколъ.

И вспомнился Голицыну дальній колоколъ на пустынной петербургской улицѣ, когда Рылѣевъ сказалъ ему:

— А все-таки надо начать!

Тогда еще сомнѣвался онъ, а теперь уже зналъ, что начать.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Второй батальонъ Черниговскаго пѣхотнаго полка, которымъ командовалъ Муравьевъ, считался образцовымъ во всемъ 3-мъ корпусѣ. Генералъ Ротъ два раза представлялъ Муравьева въ полковые командиры, но государь не утверждалъ, потому что имя его находилось въ спискѣ заговорщиковъ.

„Предавшись попеченію о своемъ батальонѣ, я жилъ съ солдатами, какъ со своими дѣтьми“, — рассказывалъ впоследствии самъ Муравьевъ о своемъ Васильковскомъ житѣ. Тѣлесныя наказанія — палки, розги, шпирутены — были уничтожены, а дисциплина не нарушалась, и страхъ замѣнялся любовью. „Командиръ — нашъ отецъ: онъ насъ *просвѣщаетъ*“, — говорили солдаты.

Въ Черниговскомъ полку служило много бывшихъ семеновцевъ, разжалованныхъ и сосланныхъ по армейскимъ полкамъ, послѣ бунта 1819 года. Случайный бунтъ, вызванный жестокостью полкового командира, Меттернихъ представилъ государю, какъ послѣдствіе всемірнаго заговора карбонаровъ — начало русской революціи.

Государь не прощалъ бунта семеновцамъ, не забывалъ и того, что они были главными участниками въ царевубійствѣ 11-го марта. Офицеровъ и солдатъ жестоко наказывали за малѣйшій проступокъ.

— Лучше умереть, нежели вести такую жизнь, — роптали солдаты.

На нихъ-то и надѣялись больше всего заговорщики.

До перевода въ армію Муравьевъ служилъ въ Семеновскомъ полку.

— Что, ребята, помните ли свой старый полкъ, помните ли меня? — спрашивалъ онъ солдатъ.

— Точно такъ, ваше высокородіе, — отвѣчали тѣ: — рады стараться съ вашимъ высокородіемъ до послѣдней капли крови, рады умереть!

Наблюдая за ними, Голицынъ убѣждался воочію, что возстаніе не только возможно, но и неизбежно.

— Вотъ, какой семеновцы имѣютъ духъ, что рядовой Апойченко поклялся привести весь Саратовскій полкъ безъ офицеровъ и, при первомъ смотрѣ, застрѣлить изъ ружья государя. Да и въ прочихъ полкахъ солдаты къ солдатамъ пристанутъ, и достаточно одной роты, чтобы увлечь весь полкъ, — увѣрялъ Бестужевъ.

— Русскій солдатъ есть животное въ самой тяжелой долѣ, — объяснялъ онъ Голицыну: — мы положили дѣйствовать надъ нимъ, умножить его неудовольствіе къ службѣ и вышнему начальству, а главное — извлечь солдатъ изъ унынія и удалить отъ нихъ безнадежность, что жребій ихъ перемениться не можетъ.

И на примѣрѣ показывалъ, какъ это надо дѣлать. Когда говорилъ имъ о сокращеніи службы съ 25 лѣтъ

на 15 или о томъ, что наказаніе палками „противно естеству человѣческому“, солдаты хорошо понимали его; хуже понимали, но слушали, когда онъ толковалъ имъ:

— Вотъ, ребята, скоро будетъ походъ въ Москву, гдѣ соберется вся армія, чтобы требовать отъ государя новаго положенія и облегченія для войскъ, ибо служба теперь чрезмѣрно тяжела: васъ тиранятъ, бьютъ палками, занимаютъ безпрестанными ученьями и пригонкой амуниціи, а все это выдумывается вышнимъ начальствомъ, которое большею частію изъ нѣмцевъ. Но о васъ, такъ же какъ вообще о нижнемъ сословіи людей, заботятся многія значительныя особы и стараются о томъ, дабы облегчить вамъ жребій. Есть люди, кои сами готовы принести жизнь свою въ жертву для освобожденія себя, а болѣе васъ, отъ рабства. Если у васъ духу станетъ, то участь ваша скоро переменится. Вамъ не должно унывать, но быть твердыми и, въ случаѣ нужды, рѣшиться умереть за свои права...

Когда же онъ доказывалъ имъ, что „не всякая власть отъ Бога“, они совсѣмъ ничего не понимали.

— Точно такъ, ваше благородіе, — соглашались неожиданно: — одинъ Богъ на небѣ, одинъ царь на землѣ. Противъ царя да Бога не пойдешь!

И тутъ уже всѣ слова какъ объ стѣну горохъ. А когда опять спрашивалъ ихъ:

— Пойдете, ребята, за мной, куда ни захочу?

— Куда угодно, ваше благородье! — отвѣчали въ одинъ голосъ, воображая, будто командиры задумали походъ за рубежъ, въ Австрію; чтобы тамъ собраться всѣмъ бывшимъ семеновцамъ, просить у царя милости, и царь непременно ихъ помилуетъ, возвратитъ въ гвардію.

Доказывая, что „природа создала всѣхъ одинаковыми“, Бестужевъ нюхалъ табакъ съ фейерверкеромъ Зюнинымъ, цѣловался съ вахмистромъ Швачкою, а тотъ конфузился и утирался рукавомъ стыдливо, какъ бы христосуясь.

Рядового Цыбуленко училъ грамотѣ и долго бился съ нимъ, пока не началъ онъ корявыми пальцами выводить въ прописи большими кривыми буквами: „Брутъ. Кассій. Мирабо. Лафайетъ. Конституція“.

Иногда Голицынъ присутствовалъ на этихъ урокахъ.

— Что такое свобода?—спрашивалъ Бестужевъ.

— Свобода есть даръ Божій, — отвѣчалъ Цыбуленко.

— Всѣ ли люди свободны?

— Точно такъ, ваше благородіе.

— Нѣтъ, малое число людей поработило большее. Свободна ли Россія?

— Никакъ нѣтъ, ваше благородіе.

— Отчего же!

.

Цыбуленко молчалъ, краснѣлъ, потѣлъ и выпучивалъ глаза.

— Болванъ! Экій ты, братецъ, болванъ!—выходилъ изъ себя Бестужевъ.—Ну, что мнѣ съ тобою дѣлать?

— Виновать, ваше благородье!—вытягивался Цыбуленко во фронтъ и моргалъ глазами такъ, какъ будто хотѣлъ сказать: „отпустите душу на покаяніе!“

— Ну, ступай. Видно, отъ тебя сегодня толку не добьешься. Приходи завтра.

И, чтобы утѣшить его, давалъ ему гривну мѣди на баню.

— И ребятамъ скажи, чтобъ всегда приходили ко мнѣ, если имѣютъ какую нужду.

— Что за комедія! — смѣялся Горбачевскій. — Знаете, Бестужевъ, послѣ французскаго похода одинъ гвардейскій генералъ, подъѣзжая къ полку, бывало, здоровался: „bonjour, люди!“ Такъ вотъ и вы; только не поймутъ они вашего бонжура.

— Нѣтъ, поймутъ, все поймутъ! — не унывалъ Бестужевъ.

О томъ, чтобы поняли, старался полковой командиръ Гебель, выученикъ знаменитаго „палочника“, генерала Рота.

Густавъ Ивановичъ Гебель былъ родомъ полякъ и ненавидѣлъ русскихъ, какъ будто мстилъ имъ за то, что самъ измѣнилъ родинѣ.

На Васильковской площади, гдѣ пролежала почтовая дорога изъ Бердичева въ Кіевъ, проѣзжіе польскіе паны могли видѣть, какъ соотечественникъ ихъ бьетъ русскихъ солдатъ. Билъ самъ командиръ; били урядники, и фельдфебели, и эфрейторы; били такъ, что концы палокъ отъ побоевъ измочаливались.

Гебель ложился на землю, наблюдая, хорошо ли носки вытянуты; щупалъ у солдатъ подъ носомъ, „регулярно ли усы, за неимѣніемъ натуральныхъ, углемъ нарисованы“, стягивалъ ремнями талии для выправки, а когда людямъ дѣлалось дурно, билъ ихъ; билъ ихъ и за то, что „примѣтно дышать или кашляютъ“. Приказывалъ имъ плевать другъ другу въ лицо. Старыхъ ветерановъ, чьи ноги исходили десятки тысячъ верстъ, и тѣло покрыто было ранами, училъ наравнѣ съ мальчишками-рекрутами.

Мы — отечеству защита,
А спина всегда избита.

Кто солдата больше бьетъ,
И чины тотъ достаетъ,—

пѣли они жалобно и сказывали сказку о томъ, какъ солдатъ душу чорту продалъ, чтобы тотъ за него срокъ отслужилъ; началъ было чортъ служить, но скоро такъ замучался, что отъ души отказался.

Въ послѣдніе дни Муравьевъ былъ самъ не свой. Замѣтивъ это, Голицынъ спросилъ Бестужева, что съ нимъ, и тотъ разсказалъ.

Фланговой перваго батальона, старый солдатъ, испытанной храбрости, бывшій во многихъ походахъ и сраженіяхъ, Михаилъ Антифѣевъ, началъ совершать побѣгъ за побѣгомъ; а когда ротный командиръ, послѣ вынесеннаго имъ, Антифѣевымъ, за новый побѣгъ жестокаго истязанія, убѣждалъ старика, вспоминая прежнюю службу его, не подвергать себя мученіямъ,—тотъ отвѣтилъ, что, пока не накажутъ его кнутомъ и не сошлютъ въ Сибирь, онъ не прекратитъ побѣговъ. Случалось, что солдаты убивали перваго встрѣчнаго, даже дѣтей, чтобы избавиться отъ службы. Антифѣевъ добился своего: за то что отлучился отъ полка, напился пьянъ и отнялъ у мужика два рубля серебромъ,—приговоренъ былъ къ кнуту и каторгѣ.

Муравьевъ хлопоталъ за него черезъ генераль-маіора, князя Сергѣя Волконскаго, члена Тайнаго Общества, имѣвшаго большія связи, и просилъ полкового командира отложить наказаніе. Но командиръ написалъ доносъ въ корпусной штабъ и получилъ распоряженіе исполнить приговоръ немедленно, а Муравьеву сдѣлать строжайшій выговоръ.

Казнь должна была происходить на военномъ полѣ, у Богуславской заставы, передъ выстроеннымъ полкомъ. Наканунѣ Бестужевъ послалъ тайно, черезъ

одного унтеръ-офицера, 25 рублей палачу, чтобы „легче былъ“.

Поутру, въ день казни, Голицынъ занимался въ кабинетѣ Муравьева, какъ часто дѣлывалъ по приглашенію хозяина; у Муравьева была хорошая бібліотека. Сидя у окна, Голицынъ читалъ рукопись его на французскомъ языкѣ, философское изслѣдованіе о пространствѣ и времени.

Голицынъ погруженъ былъ въ глубины метафизики, когда подъѣхала къ дому линейка съ Муравьевымъ, Бестужевымъ и еще нѣсколькими офицерами Черниговскаго полка. На Муравьевѣ лица не было. Ему помогли сойти съ линейки и ввели въ домъ подъ руки. Голицынъ сначала думалъ, что онъ упалъ съ лошади, расшибся или какъ-нибудь иначе раненъ, и только впоследствии узналъ все отъ Бестужева.

Подъ кнутомъ палача Антифѣевъ, пока былъ въ сознаніи, молчалъ, пересиливая боль, но потомъ, въ забытіи, началъ стонать и охать. Муравьевъ, все время казавшійся спокойнымъ, вдругъ поблѣднѣлъ и упалъ безъ чувствъ. Произошло смятеніе. Несмотря на команды и угрозы Гебеля, стоявшіе вблизи офицеры и солдаты, забывъ дисциплину, бросились на помощь къ любимому начальнику. Послышался ропотъ. Казалось, еще минута — и вспыхнетъ бунтъ. Но Муравьевъ очнулся; его усадили въ линейку и увезли. Кое-какъ порядокъ былъ восстановленъ, и казнь продолжалась. Антифѣевъ получилъ все, что ему слѣдовало.

Муравьевъ былъ боленъ. У него сдѣлался сердечный припадокъ; онъ вообще страдалъ сердцемъ. Бестужевъ хотѣлъ послать за лѣкаремъ, но больной не позволялъ.

— Ничего, пустяки, все прошло, — повторялъ онъ со стыдливой, какъ будто виноватой, улыбкой.

Къ вечеру стало ему легче. Онъ позвалъ къ себѣ Голицына и Бестужева. Лежалъ на диванѣ. Должно быть, былъ маленькій жаръ; лицо было блѣдно, глаза горѣли. Вспомнилось Голицыну то странное подобіе, которое пришло ему въ голову при первомъ свиданіи съ нимъ: въ лютый морозъ, на снѣжномъ полѣ, зеленая вѣтка съ весенними листьями.

— Что вы сегодня читали, Голицынъ? — спросилъ Муравьевъ и началъ разговоръ отвлеченнѣйшій о пространствѣ и времени по Кантовой „Критикѣ чистаго разума“; могъ говорить о такихъ метафизическихъ предметахъ цѣлыми часами, забывая все на свѣтѣ; но, когда Бестужевъ вышелъ изъ комнаты, — посмотрѣлъ на Голицына пристально и сказалъ:

— Какъ глупо, Боже мой, какъ глупо! И срамъ-то какой! Хороши заговорщики: какъ барышни, въ обморокъ падаемъ!

— Со всякимъ можетъ случиться, — возразилъ Голицынъ: — кажется, и я бы не вынесъ.

— Да вѣдь мы же съ вами бывали въ сраженіяхъ, а тамъ хуже.

— Нѣтъ, Муравьевъ, тамъ лучше.

— Да, пожалуй. А знаете что, Голицынъ? Это вѣдь у меня сдѣлалось не отъ вида страданій, не отъ вопля истязуемаго, а отъ чего-то другого. Когда тотъ, подъ кнутомъ, началъ стонать, я взглянулъ на Гебеля... Случалось вамъ видѣть во снѣ чорта?

— Случалось.

— То-есть, не то что видишь, — продолжалъ Муравьевъ, — а вдругъ такая страшная, страшная тяжесть, и по этой тяжести знаешь, что это онъ. Ну,

такъ вотъ и со мной давеча: когда тотъ началъ стонать, я взглянулъ на Гебеля и вдругъ почувствовалъ... Мы вотъ все говоримъ объ убійствѣ, а ничего не знаемъ о немъ, какъ о пространствѣ и времени, то-есть, по-настоящему не знаемъ, что это такое. А вѣдь, это тоже *категорія*, какъ говоритъ Кантъ. „Не убій“—одна категорія, а „убій“—другая. И можно перейти изъ одной въ другую. Ну, вотъ я и перешелъ. Понялъ вдругъ, что можно убить. Все думалъ, что нельзя, а тутъ понялъ, что можно. И не то что когда-нибудь потомъ, а вотъ сейчасъ, брошусь и тутъ же на мѣстѣ...

Онъ привсталъ на постели, и лицо его исказилось ужасно; что-то въ немъ напомнило Голицыну жида Баруха, бѣсповатаго.

— И вотъ еще что, Голицынъ,—прошепталъ онъ задыхающимся шопотомъ:—я, вѣдь, непременно когда-нибудь убью его, убью, какъ собаку!

— Серёжа, голубчикъ, не надо, ради Бога, не надо!—бросился къ нему Бестужевъ, вбѣгая въ комнату.

Начался новый припадокъ, но скоро прошелъ. Ночью онъ уснулъ спокойно и въ утру былъ почти здоровъ; только по просьбѣ Бестужева, дня два не выходилъ изъ комнаты и соглашался иногда прилечь на постель.

Солдаты посѣщали его, особенно тѣ, которыхъ „просвѣтилъ“ Бестужевъ. Горбачевскій, по обыкновению, смѣялся надъ ними.

— Ну что, братъ, въ банѣ былъ?—спрашивалъ онъ Цыбуленку.

— Никакъ нѣтъ, ваше благородіе.

— Куда же ты гривну дѣвалъ, что получилъ на-

медни отъ господина подпоручика? Опять шинкаркъ снесъ?

Тотъ молчалъ, потѣлъ, краснѣлъ, выпучивалъ глаза и переминался съ ноги на ногу.

— Онъ, ваше благородье, свѣчку поставилъ Владычицѣ и о. Данилѣ на часточку подалъ за здравіе ихъ высокоблагородья, — отвѣтилъ за него Григорій Крайниковъ, бойкій молодой солдатъ, съ веселымъ и умнымъ лицомъ.

— Правда, Цыбуленко?—спросилъ Муравьевъ.

— Такъ точно, ваше высокоблагородье.

— Ну, спасибо, голубчикъ. Поди же сюда.

Цыбуленко подошелъ, и Муравьевъ подалъ ему руку. Онъ еще больше застыдился, но вдругъ лицо его просвѣтлѣло, какъ будто онъ понялъ что-то; неувлужей, загорѣлой, заскорузлой мужичьей рукой взялъ женственно-тонкую блѣдную руку и крѣпко пожалъ. Отвернулся, сморщился, утеръ глаза рукавомъ.

И всѣ поняли. Не надо было говорить,—по лицамъ видно было, что „рады стараться до послѣдней капли крови, рады умереть“.

„Это пожатье двухъ рукъ — навѣки вѣковъ: не сейчасъ, такъ потомъ опять соединятся онѣ и тогда, что надо сдѣлать, сдѣлаютъ“, — подумалъ Голицынъ.

Только теперь, во время болѣзни Муравьева, понималъ онъ Бестужева.

— „Кто не азартусъ, тотъ не профитуетъ“, — какъ сказала мнѣ одна полька, съ которой мы играли въ *цвигъ*, — любилъ повторять Бестужевъ: — намъ, заговорщикамъ, слѣдуетъ помнить это правило...

И самъ онъ помнилъ его: много ли, мало ли, но все, что имѣлъ, ставилъ на карту.

Когда старуха-мать заболѣла и, уже при смерти, звала его къ себѣ, онъ мучился, потому что любилъ ее съ нѣжностью, но, удержанный дѣлами Общества, такъ и не поѣхалъ къ ней, и она умерла, не повидавшись съ нимъ.

— Для пріобрѣтенія свободы не нужно никакихъ сектъ, никакихъ правилъ, никакого принужденія, — нуженъ одинъ восторгъ: восторгъ пигмея дѣлаетъ гигантомъ; онъ разрушаетъ все старое и создаетъ новое! — воскликнулъ онъ однажды, и Голицынъ почувствовалъ, что Бестужевъ весь — въ этихъ словахъ.

Маленькій, худенькій, рыженькій, огненный, напоминалъ онъ гербъ Франциска I — Саламандру въ пламени съ надписью: *iorio и не сгораю*.

Понималъ Голицынъ и то, откуда этотъ огонь.

— Муравьевъ и Бестужевъ — близнецы неразлучные, одна душа въ двухъ тѣлахъ, — говорили товарищи.

Бестужевъ, „пустой малый“, сойдясь съ Муравьевымъ, вдругъ поумнѣлъ, расцвѣлъ, преобразился, — откуда что взялось, какъ у влюбленной дѣвушки.

Въ эти дни пріѣхалъ въ Васильковъ братъ Сергѣя Муравьева, Матвѣй Ивановичъ. Матвѣй участвовалъ въ Тайномъ Обществѣ и долго былъ ревностнымъ членомъ, но потомъ потерялъ вѣру въ него и такъ мучился этимъ, что хотѣлъ покончить съ собою.

Братья были похожи обратнымъ сходствомъ, какъ лѣвая и правая рука, которыя никогда не могутъ сойтись на одной плоскости. Бестужеву, который боялся и ненавидѣлъ Матвѣя Ивановича, казалось, что онъ — карикатура на брата, дьявольскій двойникъ его, отраженіе въ выпукломъ зеркалѣ, нелѣпо-

искаженное, раздавленное, расплющенное: что у того ввысь, то у этого вширь; одинъ — весь легкій, тонкій, стройный, стремительный; другой — тяжелый, широкій, ширококостый, приземистый.

Голицынъ слышалъ отъ Катруси сказку о Віѣ, подземномъ чудовищѣ съ желѣзнымъ лицомъ и длинными, до земли опущенными вѣками. „Матвѣй Ивановичъ—Вій, Сержинъ бѣсъ, бѣсъ тяжести, — вотъ чего боится Бестужевъ“, — казалось иногда Голицыну.

— Я не могу ихъ видѣть вмѣстѣ: онъ изъ него, какъ паукъ изъ мухи, кровь высасываетъ, — говорилъ Бестужевъ.

Что Матвѣй во многомъ правъ, онъ понималъ; но чѣмъ правѣе, тѣмъ ненавистнѣе.

Когда Сергѣй поникалъ, изнемогалъ подъ навалившейся Віевой тяжестью брата, а тотъ, казалось, весь оживлялся, веселился, шевелился, какъ паукъ, — Бестужевъ убилъ бы его тутъ же на мѣстѣ.

Матвѣй Ивановичъ пробылъ въ Васильковѣ съ недѣлю, и все это время Сергѣй былъ боленъ.

Наконецъ, Бестужевъ не выдержалъ и однажды, при Голицынѣ, спросилъ Матвѣя Ивановича въ упоръ:

— Долго вы еще здѣсь пробудете?

— Не знаю. Какъ проживется, — отвѣтилъ тотъ и, приподнимая свои сонно-тяжелыя, Віевы вѣки, посмотрѣлъ на Бестужева пристально-злобно. Можетъ быть, и ему казалось, что Бестужевъ — Сержинъ бѣсъ, бѣсъ легкости.

— А что? — прибавилъ онъ съ вызовомъ.

— А то что ваше присутствіе здѣсь мнѣ кажется вреднымъ.

— Кому? Не вамъ ли?

— Нѣтъ, не мнѣ, а вашему брату.

— Да вы что, нянька его, что ли?—усмѣхнулся Матвѣй Ивановичъ, пожалъ плечами и чуть-чуть поблѣднѣлъ. — По какому праву, сударь, становитесь вы между мной и братомъ?

— Не будете ссориться, Матвѣй Ивановичъ,—возразилъ Бестужевъ. — Позвольте только дать вамъ совѣтъ: уѣзжайте поскорѣе...

— Позвольте вашъ совѣтъ не принять. Я уѣду, когда мнѣ будетъ угодно.

— Не уѣдете?

— Убирайтесь къ чорту!—закричалъ Муравьевъ и не то что затрясся, а какъ-то зашевелился весь своимъ тяжелымъ и подлымъ, на взглядъ Бестужева,—„паучьимъ“ шевеленьемъ.

— Не горячитесь, Муравьевъ,—произнесъ Бестужевъ, тоже блѣднѣя. — Уѣзжайте, когда вамъ угодно, а только вѣдь, все равно, одинъ конецъ. Помните, въ Писаніи: что дѣлаешь, дѣлай скорѣе?

Матвѣй Ивановичъ помнилъ, что это сказано объ Іудѣ Предателѣ. Онъ вдругъ вскочилъ и схватилъ Бестужева за руку. Голицыну казалось, что они сейчасъ подерутся, и онъ уже всталъ, чтобы ихъ разнять. Но вошелъ Сергѣй. Лицо у него было такое больное, жалкое, что оба взглянули на него и опомнились. Закрывъ лицо руками, Бестужевъ выбѣжалъ изъ комнаты.

На слѣдующій день Матвѣй объявилъ, что завтра уѣзжаетъ. Въ ночь передъ отъѣздомъ у него былъ съ братомъ послѣдній разговоръ, нечаянно подслушанный Голицынымъ.

Голицынъ сидѣлъ, такъ же, какъ напередни, одинъ въ кабинетѣ Сергѣя. Матвѣй съ братомъ ходили, разговаривая, взадъ и впередъ, все по одной и той же дорожкѣ сада, отъ крыльца къ сажалкѣ.

Ночь была тихая. Луна такъ ярко свѣтила, что бѣлыя стѣны хатъ сіяли почти ослѣпительно, больно для глазъ; и все затихло, замерло, какъ будто ожидая чего-то; только звѣзды дрожали, да верхушки тополей шелестѣли чуть слышнымъ шелестомъ. И чѣмъ выше луна, тѣмъ ярче и ярче, тише и тише. И во всемъ — ожиданіе, напряженіе, томленіе почти нестерпимое.

Сидя у окна, открытаго въ садъ, Голицынъ то слышалъ, то не слышалъ разговоръ въ саду, смотря по тому, приближались или удалялись голоса.

— Да, Сережа, дѣло наше сверхъ силъ, и времени, и всякаго вѣроятія, — говорилъ Матвѣй Ивановичъ: — если бы увѣряли меня сорокъ тысячъ Пестелей, что произойдетъ именно то, чего имъ хочется, я не повѣрилъ бы, потому что знаю, что эти вещи дѣлаются въ мірѣ, не какъ люди хотятъ, а какъ Богъ велитъ...

Дальше Голицынъ не слышалъ, а потомъ опять:

— Ничего мы не сдѣлаемъ, потому что и дѣлать нечего... Да имѣемъ ли мы право, наконецъ, ничтожная часть великаго цѣлаго, налагать свой образъ мыслей почти насильно на тѣхъ, кто, можетъ быть, довольствуется настоящимъ и не ищетъ лучшаго?

Присѣли у крыльца на завалинкѣ, и теперь Голицыну не только слышно, но и видно было все. Сергѣй слушалъ молча, опустивъ голову на руки въ изнеможеніи, а Матвѣй Ивановичъ весь оживлялся, шевелился, „какъ паукъ, сосущій кровь изъ мухи“.

— И что мы можемъ обѣщать? — продолжалъ онъ. — Метафизическія разсужденія о политикѣ двадцатилѣтнихъ прапорщиковъ, которые ведутъ разго-

воры вольные не для чего иного, какъ выказки ума? И это будущіе правители, рѣшители судебъ народныхъ! Если бы я не зналъ, что одиночество способствуетъ восторженности чувствъ, я счелъ бы васъ всѣхъ сумасшедшими. Никакая цѣль не оправдываетъ средствъ: кто дерзаетъ на вѣрное зло для невѣрнаго блага, тотъ злодѣй. Ничего изъ этого выйти не можетъ, кромѣ гибели. И даже въ случаѣ успѣха, мы предали бы Россію бѣдствіямъ, о коихъ нельзя себѣ составить и понятія...

Сначала гдѣ-то вдали, а потомъ все ближе и ближе слышалась грустная пѣсня:

Моя матинька, моя голубонька,
Якъ мени жити, якъ доживати?

Голицынъ узналъ Катрусинъ голосъ. Омелькина пасѣка была по сосѣдству. Катруся часто заходила въ садъ къ Сергѣю Ивановичу; онъ былъ съ нею ласковъ; можетъ быть, нравился ей, и она заигрывала съ нимъ, невинно, нечаянно. Вотъ и теперь зашевелились темные кусты черемухи, замелькала въ нихъ бѣлая плахта, и на перелазѣ черезъ плетень появилась высокая, стройная, какъ тополь, дѣвушка въ вѣнкѣ изъ маковъ и барвинка. Въ лунномъ свѣтѣ виденъ былъ узоръ шитья на плахтѣ и каждый лепестокъ въ вѣнкѣ. Плетень скрипнулъ. Сергѣй Ивановичъ оглянулся, увидалъ Катрусю, кивнулъ ей головой съ улыбкой, и она тоже, улыбаясь ему, крикнула, загадала загадку русалочью:

— Полянъ или петрушка?

— Петрушка! Петрушка! — отвѣтилъ онъ радостно.

— Ты моя душка! — засмѣялась она, соскочила

съ плетя и нырнула изъ свѣта въ тѣнь, какъ въ черную воду русалка.

— Сережа, ты меня не слушаешь? — произнесъ голосъ Матвѣя Ивановича.

— Нѣтъ, слушаю, мой другъ. Все, что ты говоришь, правда, почти правда. Я иногда и самъ такъ думаю...

Онъ хотѣлъ еще что-то сказать, но братъ не далъ ему, опять заговорилъ уныло, упорно, мучительно, повторяя все одно и то же: „погибнемъ, погибнемъ! Ничего не будетъ! Ничего не сдѣлаемъ!“

— Мы жестоко ошиблись, — заключилъ онъ: — сунулись въ воду, не спросясь броду: думали, что народъ съ нами; но не съ нами народъ, — я знаю, Сережа, не спорь, я знаю, что это такъ! Вотъ, говорятъ, во время послѣдняго проѣзда государева, народъ отовсюду сбѣгался къ нему, становился на колѣни, бросался подъ колеса коляски его, такъ что приходилось останавливаться, чтобъ не раздавить людей, — это республиканцевъ-то нашихъ будущихъ! Да посмѣй мы только тронуть царя, — народъ насъ всѣхъ растерзаетъ, какъ изверговъ, потому что любить его, вѣрить въ него, какъ въ Помазанника Божьяго, какъ въ самого Бога!

Онъ замолчалъ, потомъ одной рукой обнялъ брата за шею, наклонился къ нему, заглянулъ въ лицо его и заговорилъ уже другимъ, дѣтски-ласковымъ, вкрадчивымъ голосомъ:

— Помнишь, Сережа, какъ въ ту ночь, на Бородинскомъ полѣ, лежали мы подъ одною шинелью, и молились, и плакали, и клялись умереть за отечество? Помнишь, потомъ, когда мы полюбили вмѣстѣ Аннетъ, ты сказалъ мнѣ однажды: „я люблю ее, но

тебя еще больше: ты другъ души моей отъ колыбели“ .
Развѣ я уже не другъ тебѣ? Развѣ все, что было,—
не было? Сережа, голубчикъ, ради Христа, ради по-
койной маменьки, послушай меня: не губи себя, не
губи другихъ. Хоть меня пожалѣй... не могу я больше...
Гнусно, тошно, страшно,—не человѣческаго, Божьяго
суда страшно. Уйдемъ отъ нихъ, уйдемъ, пока еще
не поздно...

Сергѣй долго молчалъ, опустивъ попрежнему го-
лову на руки, въ изнеможеніи.

— Что тебѣ сказать?—заговорилъ, наконецъ, и
голосъ его звучалъ сперва глухо, какъ изъ-подъ
страшной тяжести, но потомъ все громче и громче,
все тверже и тверже. — Пусть такъ, какъ ты гово-
ришь. Но если бы надо было все начинать сызнова,—
я началъ бы. Вотъ ты говоришь: народъ любить
царя, вѣрить въ него, какъ въ Бога.
Но вѣдь это гибель.

Не то, что народъ темень, бѣдень, голодень, рабъ,
а то, что онъ сдѣлалъ человѣка Богомъ,—гибель
Россіи, гибель вѣчная!

— Чѣмъ же царь виноватъ? Ты самъ говоришь:
народъ...—началь-было Матвѣй Ивановичъ, но те-
перь уже Сергѣй не далъ ему говорить.

— Нѣтъ! Народъ не зналъ, что дѣлаетъ, а онъ
зналъ. „Царство Божіе на землѣ, какъ на небѣ“,—
это онъ сказалъ, а сдѣлалъ что? Благословенный,
Спаситель Россіи, Освободитель Европы, — что онъ
сдѣлалъ съ Россіей, что онъ сдѣлалъ съ Европой?
Не имъ ли раздуть въ сердцахъ нашихъ свѣточъ сво-
боды и не имъ ли потомъ она такъ жестоко уда-
влена?

Самое великое стало смѣшнымъ, самое святое кощунственнымъ.

Этого нельзя простить. Пусть прощаетъ, кто можетъ, — я не могу

Да, да, молчи, знаю самъ: „не убій“. А вотъ убилъ бы, убилъ бы тутъ же на мѣстѣ.

Голицынъ не видѣлъ лица его, но по голосу угадывалъ, что оно ужасно, такъ же, какъ намереніи, когда онъ говорилъ съ нимъ о Гебелѣ; и всего ужаснѣе то, что, милое, доброе, дѣтское, оно могло быть такимъ.

— Сережа, Сережа, что ты? Во Христа вѣруешь, а можешь такъ!—воскликнулъ Матвѣй Ивановичъ.

Сергѣй, закрывъ лицо руками, опустился на лавку въ изнеможеніи, какъ будто опять раздавленный тою же, какъ давеча, страшною тяжестью.

Оба замолчали и потомъ заговорили шопотомъ. Матвѣй Ивановичъ плакалъ, а Сергѣй обнималъ его, утѣшалъ, успокаивалъ съ такою нѣжностью, что трудно было повѣрить, что это тотъ самый человѣкъ, который за минуту говорилъ объ убійствѣ.

Была полночь; луна—въ зенитѣ; свѣтъ еще ярче, тишина еще тише, и ожиданіе, напряженіе, томленіе еще нестерпимѣе.

И вдали опять, какъ давеча, слышалось:

Моя матинька, моя голубонька,
Якъ мени жити, якъ доживати?

Но печальная пѣснь оборвалась, и вдругъ зазвенѣла—веселая, буйная, звонкая, какъ русалочій смѣхъ:

Та внадився журавель
До бабинныхъ конопель...

И все на землѣ и на небѣ, какъ будто этого только ждало, — вдругъ тоже заплѣло, зазвенѣло, отвѣтило смѣхомъ на смѣхъ, — весь яркій свѣтъ былъ звонкій смѣхъ.

— Ничего не будетъ! Ничего не сдѣлаемъ! — плакалъ плачущій. „Будетъ! Будетъ! Сдѣлаемъ!“ — смѣялось все надъ плачущимъ.

И съ такою радостью, какъ еще никогда, повторилъ Голицынъ:

— Будетъ! Будетъ! Сдѣлаемъ!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Предстоящее свиданье съ государемъ не давало покоя Голицыну. Получивъ, наконецъ, такъ долго жданный отпускъ и уѣзжая изъ Петербурга, онъ былъ почти увѣренъ, что свиданія не будетъ. Но тотчасъ же по пріѣздѣ Голицына въ Кіевъ, генераль Виттъ, начальникъ южныхъ поселеній, вызвалъ его въ корпусную квартиру, въ Елисаветградъ, и объявилъ высочайшее повелѣніе не отлучаться изъ Кіевской губерніи, не испросивъ на то разрѣшенія губернатора, такъ какъ государь во всякую минуту можетъ потребовать его къ себѣ: по всей вѣроятности, — прибавилъ Виттъ уже отъ себя, — свиданіе назначено будетъ во время осенней поѣздки императора на югъ.

Если бы кто-нибудь сказалъ ему: „для покушенія на жизнь государя ваше свиданіе съ нимъ случай единственный“, — то онъ не зналъ бы, что отвѣтить: „пусть не я, а другой“, это не только сказать, но и подумать было стыдно, а между тѣмъ, онъ чувствовалъ, что на государя рука у него не подыметься: никогда не забудетъ онъ того взора, которымъ обмѣнялись они надъ гробомъ Софьи; чув-

ствовалъ, что тутъ неладно что-то, не рѣшено окончательно, и какъ въ послѣднюю минуту рѣшится, еще неизвѣстно.

Вскорѣ послѣ ночной бесѣды Сергѣя Муравьева съ братомъ, получена была въ Васильковѣ вѣсть о доносѣ Шервуда и объ открытіи заговора. Муравьевъ и Бестужевъ просили Голицына съѣздить въ Тульчинъ, мѣстечко Подольской губерніи, гдѣ находилась главная квартира 2-й арміи, чтобы предупредить двухъ директоровъ тамошней управы, Юшневскаго и Пестеля.

Голицынъ поѣхалъ въ Тульчинъ. Пестеля тамъ не засталъ, а Юшневскій, узнавъ о доносѣ, сказалъ:

— Это все отъ генерала Витта идетъ. Вы его знаете?

— Знаю.

— Ну, что онъ, какъ?

— Претонкая бестія!

— Вотъ именно. Вы вѣдь съ нимъ тоже пріятели: все лѣзетъ къ намъ въ Общество; въ удостовѣреніе своей искренности назвалъ уже нѣсколькихъ шпіоновъ, въ томъ числѣ капитана Майбороду, который служить у Пестеля.

— Ради Бога, Юшневскій, скажите ему, чтобы не сближался съ Виттомъ: вѣдь, это гибель!

— Да ужъ сколько разъ говорилъ. Поѣзжайте сами къ нему, Голицынъ, расскажите все; можетъ быть, вамъ больше повѣритъ...

Голицынъ хотѣлъ ѣхать тотчасъ въ мѣстечко Линцы, гдѣ стоялъ Пестель, но Юшневскій сообщилъ ему, что тотъ уѣхалъ въ Бердичевъ, — обѣщалъ написать, чтобы скорѣй возвращался, и просилъ Голицына подождать въ Тульчинѣ.

Юшневскій понравился Голицыну: въ тонкомъ, съ тонкими чертами, лицѣ—невозмутимое спокойствіе, тихая ровность, тихая ласковость. Добродѣтельнымъ республиканцемъ, древнимъ стойкомъ называли его товарищи. „Вотъ на кого положиться можно: за нимъ, какъ за каменною стѣною“,—думалось Голицыну. Почти всѣ остальные члены Общества казались ему дѣтьми; Юшневскій—взрослымъ; и никогда еще не чувствовалъ онъ такъ зрѣлости, зрѣлости самого дѣла.

Юшневскій былъ любимъ всѣми. Въ 30 лѣтъ—генераль-интендантъ 2-й арміи; начальникъ штаба, генераль Киселевъ, былъ ему пріятелемъ; главнокомандующій, графъ Витгенштейнъ, отличалъ его за дѣловитость и честность. Ему предстояла блестящая карьера.

Голицынъ остановился въ домѣ Юшневскаго. Домъ окруженъ былъ садомъ; передъ окнами—свѣжіе тополи, какъ занавѣски зеленые; въ самые знойные дни свѣжо, уютно, успокоительно, и, кажется, вся эта свѣжесть—отъ свѣжей, какъ ландышъ, хозяйки, Маріи Казиміровны.

Все, что нужно для счастья, было у Юшневскаго,—любовь, дружба, довольство, почести,—и онъ покидалъ все это вольно и радостно.

— А знаете, Голицынъ,—сказалъ однажды послѣ игры на скрипкѣ (былъ хорошій музыкантъ) съ еще не сошедшимъ съ лица очарованіемъ музыки, — я этому доносу радъ: теперь уже, навѣрное, начнемъ, нельзя откладывать. Вѣдь все равно умирать,—такъ лучше умереть съ оружіемъ въ рукахъ, чѣмъ изнывать въ желѣзахъ...

— А вы въ успѣхъ вѣрите? — спросилъ Голицынъ.

— По разуму, успѣха быть не можетъ,—возразилъ Юшневскій:—но не все въ жизни по разуму дѣлается. Говорятъ, на свѣтѣ чудесъ не бываетъ, а 12-й годъ развѣ не чудо? Тѣ была не война, а возстаніе народное. Мы продолжаемъ то, что тогда началось; не нами началось, не нами и кончится, а продолжать все-таки надо...

„А все-таки надо начать“,—вспомнились опять Голицыну слова Рылѣева, и опять подумалъ онъ: „да, здѣсь начать“.

Въ первый же день по пріѣздѣ его, Юшневскій сообщилъ ему, что одинъ изъ старѣйшихъ членовъ Общества, Михаилъ Сергѣевичъ Лунинъ, желаетъ повидаться съ нимъ по какому-то важному дѣлу.

Лѣтъ восемь назадъ, когда Голицынъ служилъ въ Преображенскомъ полку, встрѣчался онъ съ блестящимъ кавалергардскимъ ротмистромъ Лунинымъ. Много ходило слуховъ о безумной отвагѣ его, кутежахъ, поединкахъ и молодецкихъ шалостяхъ: то ночью съ пьяной компаніей перемѣнялъ на Невскомъ вывѣски надъ лавками; то бился объ закладъ, что проскачетъ верхомъ, голый, по петербургскимъ улицамъ и, увѣряли, будто бы, выигралъ; то прыгалъ съ балкона третьяго этажа, по приказанію какой-то прекрасной дамы. Но больше всего надѣлалъ шуму поединокъ его съ Алексѣемъ Орловымъ. Однажды за столомъ замѣтилъ кто-то шутя, что Орловъ ни съ кѣмъ еще не дрался. Лунинъ предложилъ ему испытать это новое ощущеніе. Отъ вызова, хотя бы шуточнаго, нельзя было отказать, по правиламъ чести. Когда противники сошлись, Лунинъ, стоя у барьера и сохраняя свою обычную веселость, училъ Орлова, какъ лучше стрѣлять. Тотъ бѣсился и далъ промахъ.

Лунинъ, выстрѣливъ на воздухъ, предложилъ ему попытаться еще разъ и хладнокровно совѣтовалъ цѣлиться то выше, то ниже. Вторая пуля прострѣлила Лунину шляпу; онъ опять выстрѣлилъ на воздухъ и, продолжая смѣяться, ручался за успѣхъ третьяго выстрѣла. Но тутъ секунданты вступились и розняли ихъ.

Въ удалствѣ Лунина было много ребяческаго, но близко знавшіе его увѣряли, что онъ безстрашіемъ не хвастаетъ. Въ походѣ 12-го года слѣзая съ лошади, бралъ солдатское ружье и становился въ цѣпь застрѣльщиковъ, нарочно подъ самый огонь, для того, чтобы испытать наслажденіе опасностью. А въ мирное время, когда долго не было случая къ тому, скучалъ, пилъ, злился, буянилъ и, наконецъ, уѣзжалъ въ деревню, гдѣ ходилъ на волковъ съ кинжаломъ или на медвѣдя съ рогатиной. Ходилъ и на звѣря, болѣе страшнаго.

Однажды великій князь Константинъ Павловичъ отозвался такъ обидно объ офицерахъ кавалергардскаго полка, въ которомъ служилъ тогда Лунинъ, что всѣ они подали въ отставку. Государь былъ недоволенъ, и великій князь, въ присутствіи всего полка, извинился и выразилъ сожалѣніе, что слова его показались обидными, прибавивъ, что если этого недостаточно, то онъ готовъ „дать сатисфакцію“. Лунинъ, прищоривъ лошадь, подскочилъ къ нему, ударилъ по эфесу палаша и воскликнулъ:

— *Trop d'honneur, votre altesse, pour refuser!* (Слишкомъ много чести, чтобъ отказаться, ваше высочество!).

Въ 12-мъ году служилъ онъ въ ординарцахъ у государя и сначала пользовался благоволеніемъ его,

но потомъ впалъ въ немилость за вольнодумныя сужденія о Бурбонской монархіи. По возвращеніи гвардіи въ Петербургъ, будучи старшимъ ротмистромъ, ожидалъ производства въ полковники; но производства въ полку не было вовсе. Узнавъ, что это изъ-за него, сѣлъ на корабль въ Кронштадтъ и уѣхалъ во Францію.

Поселился въ Парижѣ и провелъ здѣсь нѣсколько лѣтъ въ нуждѣ. Отецъ его былъ очень богатъ, но скупъ и не въ ладахъ съ сыномъ. По смерти отца онъ получилъ наследство, съ доходомъ въ 200,000 рублей. Въ Парижѣ сошелся съ карбонарами и съ іезуитами, которые не могли простить русскому правительству своего изгнанія изъ Россіи.

— Такіе люди, какъ вы, намъ нужны, — говорили они Лунину: — вы должны быть мстителемъ за Римъ.

Вернулся въ Россію такъ же внезапно и безъ спроса, какъ уѣхалъ. Государь перевелъ его тѣмъ же чиномъ изъ гвардіи въ армію и отправилъ въ Варшаву къ цесаревичу.

Здѣсь Лунинъ отлично служилъ и приобрѣлъ такое расположеніе великаго князя, что сдѣлался самымъ близкимъ ему человѣкомъ.

— Я бы не рѣшился спать съ нимъ въ одной комнатѣ: зарѣжетъ, но на слово его можно положиться; человѣкъ благородный: я такихъ люблю, — говорилъ Константинъ Павловичъ.

А наединѣ происходили между ними бесѣды удивительныя.

— Вы вполне принадлежите къ вашей фамилиі. Vous êtes bien de votre famille: tous les Romanoff sont révolutionnaires et niveleurs, — говорилъ ему Лунинъ.

— Спасибо, мой милый, такъ ты меня въ якобинцы жалуешь? Voilà une réputation qui me manquait!

Вскорѣ по возвращеніи въ Россію Лунинъ поступилъ въ члены Тайнаго Общества и предложилъ выслать на царскосельскую дорогу „обреченный отрядъ“ (cohorte perdue),—нѣсколько человѣкъ въ маскахъ, чтобы убить государя. Пестель одобрилъ этотъ планъ, и онъ казался возможнымъ всѣмъ, кто зналъ отвагу Лунина.

— Какое же у него дѣло ко мнѣ? — спросилъ Голицынъ Юшневскаго.

— Не знаю, не говорите. Объ одномъ прошу васъ, Голицынъ: не обращайтесь вниманія на странности его. Знаете, что онъ отвѣтилъ государю, когда тотъ сказалъ ему: „говорятъ, вы не совсѣмъ въ своемъ умѣ, Лунинъ?“ — „Ваше величество, о Колумбѣ говорили то же самое“. Это шутка, но, кромѣ шутокъ, Лунинъ — человѣкъ ума огромнаго и силы духа безпредѣльной: что захочетъ, то и сможетъ. Такіе люди намъ нужны,—повторилъ Юшневскій нечаянно слова святыхъ отцовъ, іезуитовъ. — Въ послѣднее время охладѣлъ онъ къ Обществу; другимъ былъ занятъ: говорятъ, влюбленъ въ какую-то польскую графиню, замужнюю женщину; духовники уговорили ее уйти въ монастырь, а его — вернуться въ Общество. И знаете, Голицынъ, вы сдѣлали бы доброе дѣло, если бы помогли ему въ этомъ.

Юшневскій предложилъ пойти тотчасъ же къ Лунину, и Голицынъ согласился.

Лунинъ жилъ въ тульчинскомъ предмѣстьѣ, Нестерваркѣ. Тульчинъ — маленькое мѣстечко, принадлежавшее графамъ Потоцкимъ,—расположенъ былъ въ котловинѣ, у большого пруда-озера, образуемаго

медленными водами рѣчки Сильницы, между степными холмами, послѣдними отрогами Карпатъ, тянущимися отъ Днѣстра къ Бугу. Кромѣ военныхъ да чиновниковъ, въ городѣ почти не было русскихъ: все поляки, евреи, молдаване, армяне, греки и множество монаховъ католическихъ. Видъ военнаго лагеря въ чужой странѣ: бѣленькія хатки, въ зелени тополей, превращены въ казармы; всюду артиллерійскіе обозы, палатки, ружья въ козлахъ, коновязи и марширующія роты солдатъ; блескъ штыковъ и тихій свѣтъ лампы передъ Мадонною въ каменной нишѣ; бой барабана и звонъ колоколовъ на старинныхъ костелахъ и кляшторахъ.

Улицы немощенные; весною и осенью такая грязь, что люди и лошади тонутъ; а теперь, послѣ долгой засухи, тучи пыли, взметаемаыя вѣтромъ, носились надъ городомъ, и солнце висѣло въ нихъ, какъ мѣдный шаръ, безъ лучей, тускло-красное. Люди, истомленные зноемъ, ходили, какъ сонныя мухи; собаки бѣгали съ высунутыми языками, и прохожіе поглядывали на нихъ съ опаскою: бѣшенныя собаки были казнью города.

Мимо базара, синагоги, костела, дома главнокомандующаго и великолѣпнаго, съ мраморной колоннадой, дворца графовъ Потоцкихъ вышли на плотину пруда, съ тѣнистой аллеей вѣковыхъ осокорей; на концѣ ея шумѣла водяная мельница. За прудомъ начиналось предмѣстье Нестерваркъ. Тутъ проходилъ почтовый шляхъ изъ Брацлава и Немирова. У самой дороги стоялъ деревянный домикъ, жидовская корчма Сруля Мошви, подъ вывѣской: Трактиръ Зеленый. На грязномъ дворѣ, съ чумацкими возами, еврейскими балагулами и польскими бричками, молоде-

ватый гусарь-денщикъ Гродненскаго полка чистилъ новыи щегольской англійскій дормезъ.

— Полковникъ дома? — спросилъ его Юшневскій.

— Точно такъ, ваше превосходительство. Доложить прикажете?

— Нѣтъ, не надо.

Поднимаясь по темной и вонючей лѣстницѣ, встрѣтились они съ католическимъ патеромъ.

— Ксѣндзъ Тибурцій Павловскій, духовникъ Лунина, — шеннулъ Юшневскій Голицыну.

Такой же темной и вонючей галлерейкой подошли къ неплотно запертой двери и постучались въ нее. Отвѣта не было. Приотворили дверь и заглянули въ большую, почти пустую, въ родѣ сарая, комнату. Остановились въ недоумѣніи: въ сосѣдней маленькой комнатѣ, въ родѣ чулана, стоялъ на коленяхъ передъ аналоемъ съ католическимъ распятіемъ высокій человѣкъ, въ длинномъ черномъ плафрокѣ, напоминавшемъ сутану, и громко читалъ молитвы по римскому требнику:

— Ave Maria, ave Maria, gracie plena, ora pro nobis...

Половица скрипнула, молящійся обернулся и крикнулъ:

— Входите же!

— Не помѣшаемъ? — проговорилъ Юшневскій.

— Съ чего вы это взяли? Я такъ надоѣлъ Господу Богу своими молитвами, что Онъ будетъ радъ отдохнуть минутку, — отвѣтилъ тотъ, усмѣхаясь.

— Князь Валерьянъ Михайловичъ Голицынъ, Михаилъ Сергѣевичъ Лунинъ, — представилъ Юшневскій.

— Наконецъ-то, князь! Мы васъ ждемъ не до-

ждемся, — проговорилъ Лунинъ, пожимая ему руку обѣими руками, ласково, и съ усмѣшкою (усмѣшка не сходила съ лица его) указывая на стулъ, продекламировалъ забавно-торжественнымъ голосомъ, въ подражаніе знаменитой трагической актрисѣ Рокуръ:

— *Assayez vous, Néron, et prenez votre place...*

Нѣтъ, нѣтъ, на другой: у этого ножка сломана.

— Охота вамъ, Лунинъ, жить въ этой дырѣ, — сказалъ Юшневскій, оглядываясь.

— Не дыра, мой милый, а Трактиръ Зелепый. Да и чѣмъ плоха комната? Она напоминаетъ мнѣ мою молодость — мансарду въ Парижѣ, на улицѣ Дю-Бакъ, у *m-me Eugénie*, гдѣ жили мы, шесть бѣдняковъ, голодныхъ и счастливыхъ, напѣвая пѣсенку:

И хижинка убога
Съ тобой мнѣ будетъ рай.

Я, впрочемъ, имѣю здѣсь все, что нужно: уединеніе, спокойствіе, черный хлѣбъ, рѣдьку и тюрю жидовскую, — рекомендую кстати, блюдо превкусное...

— Плоть умерщвляетъ?

— Вотъ именно. Поцусь. Только постомъ достигается свобода духа, въ этомъ господа отшельники правы.

— А гдѣ же вы спите? Тутъ и постели нѣтъ.

— Постель — предразсудокъ, мой милый. Сначала на диванѣ спалъ, но тамъ клопы заѣли, а теперь лежу вотъ на этомъ столѣ, какъ покойникъ: напоминаетъ о смерти и для души полезно. Да, все хорошо, только вотъ пауковъ множество: *araignée du matin — chagrin*.

— Вы суевѣрны?

— Очень. Я давно убѣдился, что въ невѣріи

меньше логики и больше нелѣпости, чѣмъ въ самой нелѣпой вѣрѣ...

Что-то промелькнуло сквозь шутку не шуточное, но тотчасъ же скрылось.

— Господа, не угодно ли трубочки? Табакъ превосходный, прямо изъ Константинополя.

Благоуханное облако наполнило комнату.

— Жидовская тюръ, а табакъ драгоцѣнный — такъ-то вы плоть умерщвляете! — разсмѣялся Юшневскій.

— Грѣшенъ: не могу безъ трубочки! — разсмѣялся и Лунинъ простымъ, добрымъ смѣхомъ, удивившимъ Голицына: ему почему-то казалось, что Лунинъ не можетъ смѣяться просто; онъ вообще не нравился ему, а, между тѣмъ, Голицынъ вглядывался въ него съ такимъ чувствомъ, что, разъ увидѣвъ, уже никогда не забудетъ.

Лѣтъ за сорокъ, но на видъ почти юноша. Высокъ, тонокъ, строенъ, худъ тою худобою жилистой, которая свойственна очень сильнымъ и ловкимъ людямъ, некомнатнымъ. Голосъ рѣзкій, пронзительный, тоже некомнатный. Небольшіе каріе глаза, немного исподлобья глядящіе, зоркіе, какъ у хорошихъ стрѣлковъ и охотниковъ. Отъ всегдашней усмѣшки — двѣ морщинки около губъ, какъ будто веселыя; а между бровями, чуть-чуть неровными, — лѣвая выше правой, — двѣ другія морщинки, на тѣхъ, около губъ, непохожія, суровыя, печальныя. И странная въ лицѣ измѣнчивость: то оживленіе внезапное, то неподвижность, какъ бы мертвенность, такая же внезапная; а въ слишкомъ упорномъ взорѣ — что-то тяжелое и вмѣстѣ съ тѣмъ ласковое, притягивающее. Голицынъ все время чувствовалъ на себѣ этотъ взоръ и не могъ

отъ него отдѣлаться: ему казалось, что если бы Лунинъ глядѣлъ на него даже сзади, онъ тотчасъ обернулся бы.

Прохаживаясь по комнатѣ и покуривая трубочку, Лунинъ шутилъ, смѣялся, болталъ безумолку, или напѣвалъ хриплымъ голосомъ:

Plaisir d'amour ne dure qu'un moment.

По поводу книжки французскихъ стиховъ: *Часы досуговъ Тульчинскихъ*, только что изданной въ Москвѣ и поднесенной Лунину авторомъ, штабъ-ротмистромъ княземъ Барятинскимъ, зашла рѣчь о стихахъ.

— Не люблю я стиховъ, — говорилъ Лунинъ: — плѣняють и лгутъ, мошенники. Мысли движутся въ нихъ, какъ солдаты на парадѣ, а въ войнѣ не годятся: воюеть и побѣждаетъ только проза; Наполеонъ писалъ и побѣждалъ ею. А у насъ, русскихъ, какъ у всѣхъ народовъ младенческихъ, слишкомъ много поэзіи и мало прозы; мы всѣ — поэты, и самовластис наше — дурного вкуса поэзія.

— А сами вы, Лунинъ, никогда стиховъ не писали? — спросилъ Юшневскій.

— Нѣтъ, Богъ миловалъ, а прозой когда-то грѣшилъ: въ Парижѣ началъ повѣсть о самозванцѣ Лжедмитріи.

— По-русски?

— Ну, что вы? Мы и сны-то видимъ по-французски.

Говорилъ умно, тонко, чуть-чуть старомодно-изысканно: такіа бесѣды людямъ прошлаго вѣка нравились.

— Вотъ старичковъ моихъ, Корнея да Мольера, люблю: стихи у нихъ дѣльные, трезвые, почти та же проза. А романтиковъ нынѣшнихъ, воля ваша, не

понимаю. Можетъ быть, изъ ума выжилъ отъ старости, что ли?

— Ну, какой же вы старикъ, полноте кокетничать!

— Да я и въ двадцать лѣтъ старикомъ себя чувствовалъ. Помните словцо Наполеона о русскихъ: „не созрѣли и уже сгнили“. Въ насъ, во всѣхъ эта гниль „восемнадесятаго вѣка“, какъ говоритъ Карамзинъ...

„Ломается, юродствуетъ. Знаемъ мы этихъ свѣтскихъ чудаковъ подъ лорда Байрона“, — думалъ Голицынъ съ досадою.

Послышался вечерній звонъ на башнѣ сосѣдняго кляштора. Лунинъ отошелъ къ окну и забормоталъ молитвы.

Гости встали; хозяинъ ихъ удерживалъ.

— Нѣтъ, пора. Князь, должно быть, съ дороги усталъ, — возразилъ Юшневскій. — А вотъ что, Лунинъ, приходите-ка завтра ужинать, отдохните отъ вашего поста жидовскаго.

— Охъ, не соблазняйте! У меня и то отъ Мошкиной рѣдъки да кваса въ животѣ революція. Ну, ладно, приду. На вашей душѣ грѣхъ, искусьте!

И уже серьезно, пожимая на прощанье Голицыну руку опять обѣими руками ласково, проговорилъ съ тою, какъ-будто сердечною, любезностью, по которой узнаются люди высшаго свѣта:

— А у меня къ вамъ дѣло, князь. Я столько слышалъ о васъ и такъ васъ ждалъ, не изъ пустого любопытства, повѣрьте. Если бы вы могли мнѣ удѣлить часокъ-другой...

— Когда прикажете?

— Ну, хоть завтра, въ семь часовъ вечера.

„Что ему отъ меня нужно?“ — вернувшись домой, и ночью ложась, и утромъ вставая, и потомъ весь день думалъ Голицынъ, какъ будто продолжая чувствовать на себѣ его упорный, тяжелый и ласковый взглядъ.

Къ ужину собрались гости: штабъ-ротмистръ князь Барятинскій, авторъ Тульчинскихъ Досуговъ, майоръ Лореръ, поручикъ Бобрищевъ-Пушкинъ, поручикъ Басаргинъ и другіе члены Тульчинской Управы.

Пришелъ и Лунинъ. Опять, какъ вчера, смѣялся, шутилъ, болталъ безумолку, и опять не понравился Голицыну: его утомлялъ и раздражалъ этотъ вѣчный смѣхъ, трескучій огонь мелкихъ искръ, похожихъ на тѣ, что отъ сухихъ волосъ подъ гребнемъ сыплются. Когда говорилъ даже серьезно, казалось, что смѣется надъ собесѣдникомъ, надъ самимъ собою и надъ тѣмъ, что говорить.

— Вы ничего не пьете, Барятинскій, — замѣтилъ хозяинъ.

— А еще сочинитель, — подхватилъ Лунинъ: — развѣ не знаете, что атаманъ Платовъ сказалъ, когда ему Карамзина представили? „Очень радъ, — говорить, — познакомиться, я всегда любилъ сочинителей: они всѣ пьяницы“.

— Доктора пить не велятъ, — извинился Барятинскій: — вотъ развѣ воды съ виномъ.

— „Кому воды, а мнѣ водки!“ — какъ на пожарѣ нѣкто кричалъ, должно быть, тоже сочинитель, — подхватилъ опять Лунинъ.

Заговорили о политикѣ.

— Общее благосостояніе Россіи... — началъ кто-то по-французски на одномъ концѣ стола.

— А знаете, господа, — крикнулъ Лунинъ съ дру-

гого конца, — какъ одинъ умный человѣкъ переводилъ:
le bien être général en Russie?

— Ну, какъ?

— „Хорошо быть генераломъ въ Россіи“

Шутилъ, а между шутками, съ видомъ серьезнѣйшимъ доказывалъ Бартинскому, отъявленному безбожнику, истину католической вѣры; тотъ сердился, а Лунинъ донималъ его съ невозмутимой кротостью:

— Но, мой милый, вы слишкомъ упрямы. Четверти часа достаточно, чтобы убѣдиться во всемъ...

И тутъ же — анекдотъ о вольтерьянцѣ-помѣщикѣ, думавшемъ, что Троица есть Богъ Отецъ, Богъ Сынъ и Матерь Божія; о ямщикѣ, который, вольтерьянцевъ наслушавшись, на лошадей покрикивалъ: „ой вы, вольтеры мои!“ — о графѣ Безбородкѣ, глядѣвшемъ въ лорнетъ на купальщицъ и влюбившемся въ одну изъ нихъ, хотя лица ея не видалъ (она стояла къ нему спиною), но коса была чудесная, и что жъ оказалось? о. протодіаконъ Воздвиженскій.

Послѣ трехъ бутылокъ лафита и двухъ калко, Лунинъ признался, что, хотя и пилъ „съ воздержаніемъ“, такъ, чтобы на ногахъ держаться, какъ поэтъ Ермилъ Костровъ совѣтуетъ, но, должно быть, на Мошкиномъ квасѣ отвыкъ отъ вина; и, принимаясь за третью бутылку шампанскаго, затынулъ-было пьянымъ голосомъ:

Мы недавно отъ печали,
Лиза, я, да Купидонъ,
По бокалу осушали
И просили мудрость вонъ.

Вдругъ остановился, такъ же какъ вчера, прислушался къ звону вечернихъ колоколовъ, всталъ изъ-за стола, пошатываясь, вышелъ въ сосѣдную

комнату, вынулъ изъ кармана требникъ и зашепталъ молитвы.

— Обращаете насъ въ католичество, а сами вотъ что дѣлаете,—подразнилъ его Юшневскій.

— А что?

— Нашли когда и гдѣ молиться!

Голицынъ тоже подошелъ и прислушался.

— Э, мой милый, тутъ-то я и смиряюсь передъ Богомъ, пьяненькій, слабенькій!—разсмѣялся Лунинъ опять, какъ намеренно, простымъ добрымъ смѣхомъ; и, помолчавъ, прибавилъ уже серьезно:

— Повѣрьте мнѣ, люди только тогда и сносны, когда они въ безсильи: человѣкъ все можетъ вынести, кромѣ силы. Богъ творить изъ ничего: пока мы хотимъ и думаемъ быть чѣмъ-нибудь, Онъ въ насъ не начиналъ Своего дѣла. Гордыню разума сломить безуміемъ вѣры, вотъ главное...

— Какъ же при такомъ смиреніи вы бунтуете?

— Бунтъ есть долгъ человѣка священнѣйшій; смиреніе передъ Богомъ—бунтъ противъ людей,—возразилъ Лунинъ все такъ же серьезно, вернулся къ столу, и тутъ опять начались смѣшки да шуточки.

„Что значитъ этотъ вѣчный смѣхъ?“—думалъ Голицынъ. „Лунинъ глубоко таитъ въ себѣ горечь своей смѣшной жизни“,—сказалъ о немъ какъ-то Юшневскій. Это значитъ: смѣется, чтобы не быть смѣшнымъ? А можетъ быть, и отъ страха — чтобы успокоить, ободрить себя, какъ маленькія дѣти смѣются въ темной комнатѣ. Чего-жъ ему страшно? Отвѣта не было; была загадка и въ загадкѣ—очарованіе.

На слѣдующій день, утромъ, Лунинъ заходилъ опять къ Юшневскому. На этотъ разъ не болталъ, не шутилъ, не смѣялся; сказалъ два-три вѣжливыхъ

слова хозяйки, сѣлъ за рояль и началъ играть сонату Бетховена; игралъ такъ, что всѣ заслушались; лицо его было тихо и торжественно. Кончивъ играть, молча всталъ, попрощался и вышелъ.

Вечеромъ Голицынъ отправился въ Трактиръ Зеленый. Лунинъ сидѣлъ на дворѣ, окруженный кучей жиденятъ, ребятишекъ хозяйскихъ; показывалъ имъ книжку съ картинками и угощалъ пряникомъ. Ребятишки приставали къ нему, называли тятенькой, терблили за серебряныя тесмы гусарскаго долмана, лѣзли на колѣни, вѣшались на шею, особенно, одна маленькая замарашка, кудластая рыжая, съ хорошенькимъ личикомъ, должно быть, его любимица.

Увидѣвъ гостя, Лунинъ всталъ, страхнулъ съ себя жиденятъ и пошелъ къ нему навстрѣчу.

— Извините, князь, что не могу васъ принять, какъ слѣдуетъ: у моего почтеннаго Сруля Мошки, по случаю какого-то праздника, щука огромная, цѣлый Левиафанъ, жарится, и такого чада напустили мнѣ въ комнату, что войти нельзя. Можетъ быть, прогуляемся?

Вышли на дорогу, спустились къ пруду, миновали плотину, дворецъ Потоцкихъ и вошли въ садъ.

Садъ былъ огромный, похожій на лѣсъ. Въ городѣ—пыль и зной, а здѣсь, въ тѣни столѣтнихъ грабовъ, буковъ и ясеней,—прохлада вѣчная; аллеи, какъ просѣки; тихія лужайки, дремучія заводи съ болотными травами и пугливыми взлетами утиныхъ выводковъ.

Лунинъ спрашивалъ спутника о дѣлахъ Тайнаго Общества, о Васильевской Управѣ, о Сергѣѣ Муравьевѣ и о его *Катехизисѣ*, но о своемъ собственномъ дѣлѣ не заговаривалъ; казалось, хотѣлъ сказать

что-то и не рѣшался. Больше всѣхъ прочихъ неожиданностей удивила Голицына эта застѣнчивость.

— Вотъ, видите, какъ я отсталъ отъ Общества, почти вышелъ изъ него,—заговорилъ онъ, наконецъ, не глядя на Голицына.—А хотѣлось бы вернуться. Помогите мнѣ...

— Буду радъ, Лунинъ. Но чѣмъ я могу?

— А вотъ чѣмъ. Только пусть это между нами останется.

Помолчалъ, какъ будто собираясь съ духомъ, и началъ, все такъ же не глядя на Голицына:

— Какъ вы полагаете, будетъ ли принято Обществомъ содѣйствіе...

Посмотрѣвъ на него въ упоръ и кончилъ рѣшительно:

— Содѣйствіе святыхъ отцовъ Иисусова ордена?

— Іезуитовъ?

— Да, іезуитовъ. А что? Удивляетесь, что умный человѣкъ говоритъ глупости? Погодите, не рѣшайте сразу. Вашъ отвѣтъ важенъ для меня,—важнѣе, чѣмъ вы, можете быть, думаете. Скажите-ка сначала вотъ что: почему мы всѣ говоримъ и не дѣлаемъ?

— Не дѣлаемъ чего?

— Главнаго, чѣмъ только и можете начаться возстаніе.

— Вамъ лучше знать, Лунинъ. Вы одинъ могли бы...

— Почему одинъ? Почему не всѣ? Не хотятъ? Или хотятъ и не могутъ? Не знаете? Ну, такъ я вамъ скажу. На человѣка можно руку поднять, а на Бога нельзя. Вольнодумцы, безбожники, а какъ до дѣла дойдетъ,—вѣрятъ всѣ, какъ отцы ихъ вѣрили,—всѣ православные. А православіе—*схизма*, отъ Хри-

ста отпаденіе, отъ церкви вселенской, католической. Отъ Христа отпала Россія, отъ Царя Небеснаго, и земному царю поклонилась, земному богу—кесарю...

— Россія отпала, а Римъ вѣренъ, что ли?—спросилъ Голицынъ.

— Вѣренъ, ежели слово Господа вѣрно: „ты еси Петръ—камень“. Римъ—свобода міра, на всѣхъ земныхъ царей возстаніе вѣчное. Тамъ, гдѣ Кесарь Брутомъ убитъ, тираноубійство во имя Господне оправдано, знаете кѣмъ? Великимъ учителемъ Рима, Томою Аквинскимъ. И въ *Dictatus papae* Григорія VII сказано: „первосвященникъ римскій низлагаетъ тирановъ и освобождаетъ отъ присяги подданныхъ“. Вотъ камень въ пращѣ Давидовой, который сразитъ Голиафа; имя же камня—Петръ...

— Неужели вы думаете, Лунинъ?..

— Погодите, погодите, не соглашаться успѣете, дайте сказать до конца. Ну, такъ вотъ: за судьбы міра борются сейчасъ двѣ силы великія: грядущее возстаніе народное, еще небывалое,—всемирное войско рабочихъ, le socialisme... не знаю, какъ сказать по-русски. О Сень-Симонѣ слышали?

— Кое-что слышалъ.

— Мы съ нимъ въ Парижѣ видѣлись,—продолжалъ Лунинъ,—говорили о Россіи, о Тайномъ Обществѣ, онъ тоже готовъ намъ помочь и ждетъ нашей помощи. Это—сила человѣческая, а другая—божеская: непостижимая мысль, соединившая царство и священство въ одномъ человѣкѣ: „да будетъ единый Царь на небеси и на земли—Иисусъ Христосъ“, какъ въ вашемъ же *Катехизисѣ* сказано. А, вѣдь, это и наша мысль, Голицынъ,—мысль Рима..

— Нѣтъ, Луинъ, мысль Рима не наша: нашъ царь Христосъ, а не папа.

— Не все ли равно? Папа—церковь, а церковь—Христосъ... Ну, потомъ, потомъ... Слушайте же: обѣ эти силы къ намъ идутъ, хотятъ соединиться въ насъ. И неужели не захотимъ? Неужели откажемся?..

Говорилъ еще долго, объясняя свой планъ: соединеніе церквей, и папа — вождь возстанія русскаго, возстанія всемірнаго, глава освобожденнаго человечества на пути къ царствію Божьему.

Голицынъ былъ такъ удивленъ, что уже не пытался возражать, слушалъ молча и только иногда заглядывалъ въ лицо его: ужъ не смѣется ли? Нѣтъ, лицо серьезно, торжественно, какъ давеча, когда игралъ сонату Бетховена; глаза горятъ, какъ будто ледяная кора спадаетъ съ нихъ, и ядро обнажается огненное.

Вышли изъ сада и стали подыматься на одинъ изъ холмовъ, обступавшихъ городъ съ запада. Дорога шла по дну размытой дождями балки. Красная глина оползней, въ лучахъ заката, напоминала кровь; и раскиданныя по небу красныя тучки казались тоже кровавыми, какъ будто на небѣ совершилась какая-то казнь; а высокій черный латинскій крестъ *кальварія*, посреди дороги, напоминалъ о томъ, что совершилась и на землѣ та же казнь.

За плетнемъ овчарки лаяли, загоняя на ночь овецъ въ степныя вошары. Пахло овечьимъ поместомъ, дымомъ кизяка и мятно-полынною свѣжестью травъ.

Старый чабанъ-пастухъ окликнулъ путниковъ, нагнулся черезъ плетень и забормоталъ что-то невнятно, смѣшивая слова русскія, польскія, молдавскія и турецкія: всѣ эти племена проходили когда-то по его

роднымъ холмамъ и оставили слѣды своихъ нарѣчій въ здѣшнемъ говорѣ. Кривымъ пастушьимъ посохомъ онъ указывалъ то на злую овчарку, заливавшуюся яростнымъ лаемъ, то на дорогу, въ ту сторону, куда они шли, какъ будто предостерегалъ ихъ о какой-то опасности.

— Что онъ говоритъ? Не понимаете, Голицынъ?

— Не понимаю.

— Я тоже. Какимъ-то звѣремъ пугаетъ насъ, что ли? Ну его къ чорту! Просто, подлецъ, на водку хочетъ.

Бросили ему нѣсколько монетъ и пошли дальше. Но старикъ продолжалъ кричать имъ вслѣдъ, и въ лицѣ его, и въ голосѣ была такая убѣдительность, что Голицыну вдругъ стало страшно: въ этомъ глухомъ оврагѣ, въ пустынной дорогѣ, и въ красной глинѣ, и въ красномъ небѣ, и въ черномъ крестѣ почудилось ему недоброе. „Не вернуться ли?“—подумалъ, но устыдился страха своего передъ безстрашнымъ Лунинымъ.

— Извините, Голицынъ, я такъ заговорился, что забылъ всякую вѣжливость. Вы не устали?

— Нѣтъ, нисколько.

— Ну, такъ пройдемте еще немного. Я покажу вамъ мѣсто, откуда видъ чудесный.

Поднялись на вершину холма, гдѣ возвышалась развалина сторожевой турецкой башни: турки когда-то владѣли Подоліей. По крутымъ ступенямъ полуразрушенной лѣстницы взошли на башню. Съ высоты открылась даль безконечная: покатые, волнообразные степные холмы, уходившіе до самаго края неба, а тамъ на западѣ, въ огненныхъ тучахъ, видѣніе исполнскаго города, какъ бы Сіона Грядущаго.

Лунинъ молча глядѣлъ на закатъ.

— Не знаю, какъ вы, Голицынъ, а я люблю конецъ дня больше начала, Западъ больше Востока,— заговорилъ онъ опять.— „Свѣте тихій, святая славы... Придя на западъ солнца, увидя свѣтъ вечерній“...— какъ это поется на всенощной? Когда-то съ Востока былъ свѣтъ; нынѣ же послѣдній свѣтъ вечерній— только съ Запада. Кажется, моя Европа...

— Какъ вы это сказали, Лунинъ: моя Европа...

— А что?

— Развѣ не Россія—ваша?

— Да, и Россія... Ну, такъ вотъ: у меня предчувствіе, что Европа—наканунѣ благовѣстья новаго, коимъ завершатся судьбы человѣчества, и что Россія, моя Россія, первая изъ всѣхъ народовъ, приметъ это благовѣстье, первая скажетъ: да придетъ царствіе Твое...

„Adveniat regnum tuum“,—вспомнилась Голицыну молитва Чаадаева. „Чаадаевъ и Лунинъ, какіе разные, какіе схожіе!—думалось ему. — Оба измѣнили Россіи, но и въ этой измѣнѣ что-то навѣки родное, единственно русское“.

— Я вѣрю, — говорилъ Лунинъ, и въ лицѣ его свѣтилась, какъ отблескъ угасающаго запада, не то безконечная грусть, не то надежда безконечная,—не знаю, откуда во мнѣ эта вѣра, но вѣрю, что Богъ спасетъ Россію, а если и погибнетъ она, то гибель ея будетъ спасеньемъ Европы, и зарево пожара, который испепелитъ Россію,—зарей освобожденія всемірнаго...

Закатъ потухъ, померкла степь и разлилась по ней уже иная алость тусклая, какъ въ темной комнатѣ свѣтъ свозъ красный занавѣсъ: то всходила въ знойной дымѣ луна.

— Ну, что же, Голицынъ, поняли?

— Понялъ.

— И не согласны?

— Нѣтъ. Вы на царя возстали, Лунинъ, а вѣдь, вашъ папа—тотъ же царь; изъ царства въ папство—изъ огня да въ полымя. Когда Наполеонъ съ Пиемъ VII изъ-за власти надъ церковью спорили, знаете, что сказалъ царь: „я и самъ папа!“. Такъ не все ли равно, папа—царь или царь—папа?

— Это какъ у Скаррона, что ли:

Don Pascal Zapata,
Ou Zapata Pascal: il n'importe guère,
Que Pascal soit devant ou qu'il soit derrière?

—вдругъ засмѣялся Лунинъ своимъ произвольнымъ хохотомъ.

— Вотъ именно,—согласился Голицынъ: —царь и папа—обратно-подобны, какъ двѣ руки...

Лунинъ пересталъ смѣяться такъ же внезапно, какъ началъ.

— Чьи же это руки?

— Не того ли,—отвѣтилъ Голицынъ, — о комъ апостолу Петру сказано: *другой* препояшетъ тебя и поведетъ, куда не хочешь?

— Такъ ужъ не руки, а лапы?

— Да, можетъ быть, и лапы, лапы Звѣря...

— Лапа, папа, — въ риѹму выходить! — опять засмѣялся Лунинъ тѣмъ же страннымъ смѣхомъ и, помолчавъ, прибавилъ: — а если нѣтъ церкви ни у васъ, ни у насъ, то гдѣ же она? Или совсѣмъ нѣтъ?

— Можетъ быть, *еще* нѣтъ,—отвѣтилъ Голицынъ.

— Еще нѣтъ, а будетъ? — спросилъ опять Лунинъ.

Голицынъ молчалъ: говорить не хотѣлось; чувствовалъ, что онъ все равно не пойметъ.

— Ну, а сейчасъ, сейчасъ-то какъ? — продолжалъ допытываться Лунинъ:—въ пустотѣ, безъ точки опоры, на чемъ же строить, на землетрясеньѣ, что ли? И вамъ не страшно, Голицынъ?

„Человѣкъ безпредѣльной силы духа“, — вспомнились Голицыну слова Юшневскаго и слова самого Лунина: „человѣкъ все можетъ вынести, кромѣ силы“. Такъ вотъ, чего ему страшно; вотъ, почему отъ страха смѣется: чтобы успокоить, ободрить себя, какъ маленькія дѣти въ темной комнатѣ.

Возвращались по той же дорогѣ. Спустились до половины холма, гдѣ возвышался кальварій, и дорога шла по дну оврага. Луна, уже не красная, а желтая, освѣщала степь.

Вдругъ за плетнемъ послышался лай, крикъ, топотъ бѣгущихъ людей; сверкнулъ огонь, и грянулъ выстрѣлъ. Съ высоты холма, по дорогѣ несло прямо на нихъ что-то маленькое, черное, круглое, быстрое-быстрое, какъ ядро, изъ пушки летящее и постепенно растущее. Раздался еще одинъ выстрѣлъ. Стрѣляли, должно быть, въ то черное, но не попадали.

— Что это? — спросилъ Голицынъ, вглядываясь въ лунный сумракъ.

— А пастухъ-то правду сказалъ, — проговорилъ Лунинъ.—На васъ оружія нѣтъ, Голицынъ?

— Нѣтъ.

— На мнѣ тоже. Вотъ что значить не по формѣ ходить... А ну-ка, лазать умѣете? Давайте руку.

Схватилъ его за руку и потащилъ на обрывъ къ плетню. Голицынъ полѣзъ-было, но рыхлая глина

осыпалась; онъ оборвался и свалился назадъ на дорогу; очки его упали и разбились.

Лунинъ стоялъ уже наверху, у плетня, и могъ бы перескочить, но, увидѣвъ Голицына одного на дорогѣ, спрыгнулъ къ нему, оттолкнулъ его ко кресту калваріа и сталъ передъ нимъ; обмоталъ лѣвую руку плащомъ, выставилъ ее впередъ, а правою поднялъ длинный, острый колъ, — изъ плетня его выдернулъ. Всѣ его движенія были точны, быстры, мгновенны и спокойны; только что-то играло въ немъ пьяное, какъ намереніе, послѣ третьей бутылки шампанскаго, или какъ, должно быть, тогда, когда онъ принялъ вызовъ цесаревича: „слишкомъ много чести, чтобы отказать, ваше высочество!“

Теперь уже безъ очковъ видѣлъ Голицынъ то, что несло на нихъ: стоявшую дыбомъ шерсть, поджатый хвостъ, высунутый языкъ и тупую паучью морду съ клубящейся пѣною.

Зажмурилъ глаза, чтобы не видѣть, и прижался спиной ко кресту; что произошло потомъ, — не помнилъ; только слышалъ вой, визгъ, ревъ и, казалось, чувствовалъ на лицѣ своемъ смрадное дыханіе звѣря.

Когда открылъ глаза, люди толпились вокругъ огромной издохшей собаки, съ торчащимъ въ горѣ коломъ. Пастухи восхищались отвагою Лунина.

— А славно вы, молодцы, стрѣляете! — усмѣхнулся тотъ.

— Стрѣляемъ, пане добродію, не хуже другихъ, да всѣмъ крещенымъ людямъ извѣстно, что бѣшеннаго звѣря надо бить пулей заговореною; а кто настоящій заговоръ знаетъ, — и палкою убьетъ, какъ ваша милость.

Лунинъ попросилъ воды умыться. Пастухи повели ихъ къ перелазу черезъ плетень и къ степному вагону-кашарѣ, гдѣ испуганныя овцы толпились кучею, при свѣтѣ костра, и вода журчала, стекая въ водоопойную колоду по жолобу.

Лунинъ снялъ съ руки плащъ, прокушенный нашивозъ клыками звѣря; снялъ также мундиръ, засучилъ рукавъ и осмотрѣлъ тщательно руку. У Голицына волосы на головѣ зашевелились отъ ужаса, а лицо Лунина было спокойно попрежнему. На рукѣ укусовъ не было. Бросилъ плащъ въ огонь, умылся, одѣлся, далъ пастухамъ на водку, взялъ Голицына подъ руку и вышелъ съ нимъ на дорогу.

— Испугались, князь?

— Испугался.

— Ну, еще бы. Кажется, и я не меньше вашего.

— Этого не видно.

— Мало ли что не видно! Не вѣрьте, мой милый, когда вамъ говорятъ, что есть на свѣтѣ люди безстрашные: страшно всѣмъ, только одни умѣютъ побѣждать страхъ, а другіе не умѣютъ. Побѣда надъ страхомъ и есть наслажденіе опасностью, и, кажется, нѣтъ ему равнаго: тутъ человѣкъ становится подобнымъ Богу; подобіе ложное,—но ничего не подѣлаешь: человѣкъ созданъ такъ, что всегда и во всемъ хочетъ быть Богомъ.

Голицынъ посмотрѣлъ на него внимательно: не хвастаетъ ли? Нѣтъ, простъ и спокоенъ; убивая и другого, болѣе страшнаго Звѣря, кажется, былъ бы такъ же простъ и спокоенъ.

— На ловца и звѣрь бѣжитъ,—усмѣхнулся Лунинъ, какъ будто угадывая мысли его:—мы только что о Звѣрѣ, а онъ и тутъ какъ тутъ. Ну, какъ же

не быть суевѣрнымъ? И замѣтите, мы побѣдили Звѣря подѣ знаменіемъ креста латинскаго. На Звѣря — Крестъ, не это ли нашъ элюзоръ?

Когда вернулись въ корчму, Голицынъ хотѣлъ проститься, но Лунинъ попросилъ его зайти къ нему. При тускломъ свѣтѣ сальной свѣчи огромная комната казалась еще болѣе мрачною. На столѣ была постлана постель, и Голицынъ представилъ себѣ, какъ Лунинъ лежитъ на ней покойникомъ. Чемоданы уложены: онъ уѣзжалъ на разсвѣтѣ.

Усадивъ гостя, хозяинъ закурилъ трубку и началъ, такъ же какъ намеренъ, ходить по комнатѣ, взадъ и впередъ, напѣвая хриплымъ голосомъ:

Plaisir d'amour ne dure qu'un moment.

— А, знаете, Голицынъ, мнѣ все не вѣрится, что сговориться нельзя. Мы, вѣдь, все-таки въ главномъ согласны?

— Согласны, но...

— Но двѣ параллельныя линіи никогда не сойдутся, такъ, что ли?

— Или сойдутся въ вѣчности, — возразилъ Голицынъ.

— Э, мой милый, далеко до вѣчности; лучше синица въ рукахъ, чѣмъ журавль въ небѣ! — засмѣялся Лунинъ.

Помолчалъ, остановился передъ нимъ и заглянулъ ему въ глаза пристально:

— Послушайте, Голицынъ, это моя послѣдняя попытка вернуться въ Общество. Я знаю, что могу быть полезенъ: у меня — то, чего у васъ нѣтъ, — точка опоры для рычага Архимедова, которымъ можно міръ перевернуть. Если есть малѣйшая надежда

сговориться, — я вашъ, и что сказалъ, то сдѣлаю: на Звѣря — Крестъ. Рѣшайте же. Только сейчасъ, сейчасъ, а не въ вѣчности! Да или нѣтъ?

Почти мольба была въ голосъ его; та слабость сильныхъ людей, которая иногда сильнѣе силы ихъ.

— Нѣтъ, Лунинъ. Если бы я и пошелъ съ вами, никто не пойдетъ...

— Ну, что-жъ, на нѣтъ и суда нѣтъ. Не можемъ спастись вмѣстѣ, — будемъ погибать розно... Прощайте, Голицынъ. Я ѣду далеко.

— Въ Варшаву?

— Можетъ быть, и дальше. Поищу на землѣ себѣ мѣста, а не найду, то и подъ землей люди живутъ.

— Какъ подъ землей?

— Ну да, монахи Трапистскаго ордена, l'ordre de la Trappe, знаете?

— Вы къ нимъ?

— Къ нимъ, если дѣваться будетъ некуда.

— Не успѣете, Лунинъ.

— Почему?

— У насъ раньше начнется. А, вѣдь, если начнется, вы къ намъ пристанете?

— Пристану. Въ Россіи жить нельзя, но умирать можно... Значитъ, не прощайте, а до свиданія... Погодите, вотъ еще послѣдній вопросъ, только ужъ очень, пожалуй, нескромный. Ну, все равно, не захотите—не отвѣтите. Или лучше такъ: я первый отвѣчу, а вы потомъ. Для меня главное въ жизни — любовь, любовь къ *Ней*...

Обмѣнялись быстрымъ взглядомъ, какъ сообщники, и Голицынъ понялъ, о комъ онъ говоритъ.

— А для васъ, Голицынъ, что?

— И для меня то же.

— И въ вольности любовь—через *Нее*?—спросилъ Лунинъ.

— Да, через *Нее*.

Лунинъ молча стоялъ передъ нимъ, какъ будто ждалъ чего-то.

И нелѣпая мысль промелькнула у Голицына: что, если опять, какъ давеча, онъ разсѣвется вдругъ своимъ страннымъ, жуткимъ смѣхомъ? Гусарскій подполковникъ и рыцарь Прекрасной Дамы, заговорщикъ и адъютантъ цесаревича, другъ вольности и другъ іезуитовъ,—да, тутъ поневолѣ будешь смѣяться, чтобы не быть смѣшнымъ.

— Какъ же вы не понимаете, Голицынъ, почему я ушелъ къ нимъ? — заговорилъ опять Лунинъ все такъ же серьезно и торжественно. — Ave Maria, gracie plena эта молитва къ *Ней* — только у нихъ. Чужбина стала мнѣ родиной, потому что гдѣ любовь, тамъ и родина. Я оставилъ вѣру отцовъ моихъ, я полюбилъ чужую больше родной, невѣсту — больше матери, какъ сказано: оставить человѣкъ отца своего и мать свою... Не понимаете? А если понимаете, если мы оба служимъ Одной, любимъ Одну, то почему же мы разны?..

.. Онъ смотрѣлъ на него своимъ тяжелымъ, ласковымъ взоромъ, и никогда еще Голицынъ не чувствовалъ такъ очарованіе этого взора.

— Почему же не хотите вмѣстѣ? Не *Она* ли сейчасъ зоветъ васъ, говоритъ вамъ черезъ меня? А вы не хотите?..

— Не могу,—отвѣтилъ Голицынъ, съ безконечнымъ усиліемъ побѣждая очарованіе.—И не надо объ этомъ, Лунинъ, не надо: вѣдь, этого не скажешь,

*а скажешь,—и все пропадетъ,—*вспомнились ему слова Борисова.

Наступило опять молчаніе. И стало страшно. Такъ же, какъ тогда, въ первое свиданіе съ Муравьевымъ, чувствовалъ Голицынъ, что *она*, Софья,—съ нимъ; но почему же тогда было легко и радостно, а теперь тяжело и страшно?

Оба молчали.

— Можетъ быть, вы и правы, — проговорилъ, наконецъ, Лунинъ.—Ну, до свиданія, до свиданія въ вѣчности, мой другъ. *Другъ*, вѣдь, такъ?

— Такъ, Лунинъ.

Голицынъ подалъ ему руку. Тотъ крѣпко пожалъ ее и долго не отпускалъ, долго смотрѣлъ на него, какъ будто все еще надѣясь.

Подъ этимъ взглядомъ и вышелъ отъ него Голицынъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ

„Извини, дорогой Юшневскій, что не написалъ тебѣ изъ Бердичева. Знаешь, какъ я писать лѣнивъ, и оказіи не было, а по почтѣ ненадежно. Скажи Голицыну, что я радъ видѣть его, но о дѣлахъ говорить не радъ, потому что заранѣе знаю, что въ разговорахъ толку мало.

„Ты спрашиваешь, что я подѣлываю. Войсковые рапорты отписываю да занимаюсь шагистивой. Отупѣлъ отъ безлюдья, ибо кромѣ фрунтовиновъ да писцовъ никого и ничего не знаю. Устроилъ себѣ комнату, изъ которой почти не выхожу. Жизнь моя не забавна, она имѣетъ сухость тяжкую. И здоровье не очень изрядно. Попроси доктора Вольфа хины прислать.

„Спасибо Барятинскому за *Досуги Тумчинскіе*. Я наизусть затвердилъ посвященіе:

Sans doute il te souvient des tranquilles soirées,
Où, par l'épanchement, nos âmes resserrées
Trouvaient dans l'amitié tant de charmes nouveaux.

„А насчетъ моихъ „великихъ мыслей“, — кажется, — лестъ дружеская. Великія мысли рождаютъ и дѣла великія. А наши гдѣ?

„Будь счастливъ, поцѣлуй отъ меня ручки нашей: милой разлучницѣ, Маріи Казиміровнѣ, и не забудь твоего Пестеля.

Линцы, 5 сентября 1824 года.

„Р. S. Разсуди хорошенько, стоитъ ли пріѣзжать Голицыну. Дѣла не дѣлать, а о дѣлѣ говорить — воду въ ступѣ толочь. Впрочемъ, какъ знаешь“.

Послѣ этого письма Голицынъ колебался, ѣхать ли. Но Юшневскій настоялъ, и онъ въ тотъ же день отправился.

Мѣстечко Линцы, стоянка Вятскаго полка, которымъ командовалъ Пестель, находилось верстахъ въ шестидесяти отъ Тульчина, въ Липовецкомъ уѣздѣ, Кіевской губерніи, почти на границѣ Подольской. Почтовая дорога шла на Брацлавъ, по долинѣ Буга — на нижнюю Крапивну и на Жорнище, а отсюда — глухая проселочная — по дремучему, на десятки верстъ тянущемуся, дубовому и сосновому лѣсу, недавнему пріюту гайдамакъ и разбойниковъ. Лѣсъ доходилъ до самыхъ Линцовъ, а дальше была голая степь съ ковылемъ да курганами.

Линцы — не то маленькій городокъ, не то большое селеніе; на берегу многоводной, свѣтлой и свѣжей Соби — хутора въ уютной зелени, низенькія хатки подъ высокими очеретовыми крышами, ветхая церковь, синагога, костель, гостинный дворъ съ жиновскими лавчонками, штабъ Вятскаго полка, полосатая гауптвахта, плагбаумъ, а за нимъ голая степь: казалось, тутъ и свѣту конецъ. Съ полудня степь, съ полуночи лѣсъ какъ будто нарочно заступили всѣ дороги въ это захолустье, людьми и Богомъ забытое.

Былъ ненастный вечеръ. Должно быть, прошла гдѣ-то далеко гроза, и, какъ будто сразу кончилось

лѣто, посвѣжѣло въ воздухѣ, запахло осенью. Дождя не было, но порывистый, влажный вѣтеръ гналъ по небу темныя, быстрыя тучи, такія низкія, что, казалось, концы ихъ за верхушки лѣса цѣпляются.

Наступали сумерки, когда ямщикъ подвезъ Голицына къ одноэтажному старому каменному дому — дворцу князей Сангушко, владѣльцевъ мѣстечка. Домъ стоялъ необитаемый: окна заколочены, дворъ поросъ лопухомъ и крапивой. За домомъ — садъ съ большими деревьями. Ихъ вершины угрюмо шумѣли, и черная воронья стая носилась надъ ними въ ненастномъ небѣ со зловѣщимъ карканьемъ.

Пестель жилъ въ одномъ изъ флигелей дома, уступленномъ ему княжескимъ управителемъ.

— Пожалуйте, пожалуйста, ваше сіятельство, — встрѣтилъ Голицына, какъ стараго знакомаго, денщикъ Пестеля, Савенко, хохолъ съ добродушно-плутоватымъ лицомъ, и пошелъ докладывать.

Кабинетъ — большая, мрачная комната съ двумя высокими окнами въ садъ; во всю стѣну, отъ потолка до полу — полки съ книгами; письменный столъ, заваленный бумагами; огромный каминъ-очагъ съ кирпичнымъ навѣсомъ, какіе бывають въ старо-польскихъ усадьбахъ. Князя Сангушко, дѣды и прадѣды, съ почернѣлыхъ полотенъ слѣдили зловѣще и пристально, какъ будто врачьи свои тихонько поворачивали за тѣмъ, кто смотрѣлъ на нихъ. Пахло мышами и сыростью. Въ долгіе вечера осенніе, когда вѣтеръ воетъ въ трубѣ, дождь стучитъ въ окна и старыя деревья сада шумятъ, — какая здѣсь, должно быть, тоска, какое одиночество. „Жизнь моя не забавна, она имѣетъ сухость тяжкую“, — вспомнилось Голицыну.

— Какъ доѣхали, князь? Не угодно ли умыться, искупаться? Вотъ ваша комната.

Хозяинъ провелъ гостя въ маленькую, за кабинетомъ, комнатку, спальню свою.

— Вы вѣдь у меня ночуете?

— Не знаю, право, Павелъ Ивановичъ. Тороплюсь, хотѣлъ бы къ ночи выѣхать.

— Ну, что вы, помилуйте! Не отпущу ни за что. Хотите ужинать?

— Благодарю, я на послѣдней станціи ужиналъ.

— Ну, такъ чай. Самоваръ, Савенко!

Старался быть любезнымъ, но Голицынъ чувствовалъ, что пріѣхалъ некстати.

Когда онъ вернулся въ кабинетъ, почти стемнѣло. Пестель сидѣлъ, забившись въ уголъ дивана, кутаясь въ старую шинель, вмѣсто плаща, скрестивъ руки, опустилъ голову и закрылъ глаза, съ такимъ неподвижнымъ лицомъ, какъ будто спалъ. „А вѣдь на Наполеона похожъ: Наполеонъ подъ Ватерлоо, какъ говоритъ Бестужевъ“, — подумалось Голицыну. Но если и было сходство, то не въ чертахъ, а въ этой каменной тяжести, сонности, неподвижности лица.

Денщикъ принесъ лампу. Пестель взглянулъ на Голицына, какъ будто очнувшись. Только теперь, при свѣтѣ, увидѣлъ тотъ, какъ онъ измѣнился, похудѣлъ и осунулся.

— Вамъ нездоровится, Пестель?

— Да, все что-то знобитъ. Лихорадка, должно быть.

— А я вамъ хины привезъ, докторъ Вольфъ прислалъ.

— Ну вотъ, спасибо. Давайте-ка, приму.

Налилъ воды въ стаканъ, насыпалъ порошокъ.

и, прежде чѣмъ выпить, улыбнулся дѣтски-безпомощно.

— Сразу?

— Да, сразу.

Выпилъ и поморщился.

— Экая гадость! Ну, а теперь другую гадость. тоже сразу. Что новенькаго, князь?

Голицынъ разсказалъ ему о доносѣ Шервуда, о вѣроятномъ открытіи заговора, о подозрѣніяхъ на капитана Майбороду и генерала Витта.

Пестель слушалъ молча, уставившись на него исподлобья пристальнымъ взглядомъ, съ тою же окаменѣлою недвижностью въ лицѣ. И казалось Голицыну, какъ нѣкогда Рылѣеву, что собесѣдникъ не видитъ его, смотритъ на лицо его, какъ на пустое мѣсто.

— Ну, что-жъ, все въ порядкѣ вещей, — проговорилъ Пестель, когда Голицынъ кончилъ: — ждали, ждали и дождались. Вступая въ заговоръ, думать, что не будетъ доносчиковъ, — ребячество. „Во всякомъ заговорѣ на двѣнадцать человѣкъ двѣнадцатый измѣнникъ“, — говорилъ мнѣ старикъ Паленъ, убійца императора Павла, а онъ въ этихъ дѣлахъ мастеръ.

— Что же вы намѣрены дѣлать, Павелъ Ивановичъ?

Пестель пожалъ плечами.

— Что дѣлать? Кому быть повѣшеннымъ, тотъ не утонетъ. Вотъ уже полгода я всякую минуту жду, что меня придутъ хватать — и ничего, привыкъ. Можно ко всему привыкнуть. А вамъ не скучно, Голицынъ?

— Что скучно?

— Да вотъ обо всемъ этомъ думать — о доносахъ, арестахъ, шпионахъ — „шпигонахъ“, какъ говоритъ мой Савенко.

— Скучно, но какъ же быть? Отъ этого зави-
сѣтъ все наше дѣло...

— А вы въ наше дѣло вѣрите?

— Что вы хотите сказать, Пестель?

— Ничего, пошутилъ, извините... Ну, будемте
говорить серьезно. Насчетъ Майбороды вы, господа,
ошибаетесь. Неужели вы думаете, что я его принялъ
бы въ Общество, если бы не былъ увѣренъ...

— А вы его приняли?

— Почти принялъ.

— Ради Бога, Павелъ Ивановичъ, будьте осто-
рожны...

— Не беспокойтесь, я людей знаю.

— Людей знаете и не видите, что это—негодяй
отъявленный?

— Да, негодяй, — что-жъ изъ того? Негодяи-то
намъ, можетъ быть, нужнѣе честныхъ людей. Вѣдь
это только на Страшномъ судѣ — овцы одесную, а
козлища ошую; въ сей же юдоли земной всѣ въ
вучѣ,—не разберешь; тотъ же человѣкъ сегодня не-
годяй, а завтра честный, или наоборотъ. Негодяи-то
ужъ тѣмъ хороши, что знаешь, чего отъ нихъ ждать,
а отъ честныхъ, подите-ка, узнайте. „Кто изъ чест-
ныхъ людей не достоинъ пощечины?“—у Шекспира
это, что ли? Я плохой христіанинъ, но помню, что
болѣе радости на небесахъ объ одномъ кающемся
грѣшникѣ, нежели о девяти праведникахъ.
Вотъ и генералъ Виттъ тоже грѣшникъ и тоже
кается; мы ему не вѣримъ... ну, а если ошибаемся?
40.000 войска подъ командою, шутка сказать!

— Что вы говорите, Павелъ Ивановичъ!

— А что? Не благородно? Ну, еще бы! Только о
благородствѣ и думаемъ. Отъ благородства погибаемъ.

Какая ужъ тутъ политика! Въ политикѣ нѣтъ благороднаго и подлаго, а есть умное и глупое. И мы выбрали глупое: царя убить, революцію сдѣлать въ бѣлыхъ перчаткахъ. Убить надо, но никто не хочетъ самъ: перчатки мѣшаютъ,—и всѣ другъ за друга хоронятся, ждутъ. А пока государь можетъ быть снѣгоенъ,—дастъ Богъ, насъ всѣхъ переживетъ. Такъ-то, Голицынъ: слово и дѣло не одно и то же; отъ сужденій до совершеній весьма далече. Люди говорятъ легко, а дѣйствуютъ, по мѣрѣ опасности, если не для жизни, то для чести, для совѣсти. Мы — люди храбрые, жизнью готовы жертвовать; да жизнью-то легко, а вотъ честью, совѣстью какъ? Кто хочетъ спасти душу свою, тотъ погубитъ ее,—не о такихъ ли, какъ мы, это сказано?..

Онъ потупился, а когда опять поднялъ глаза, они засверкали злобнымъ огнемъ.

— Вы вотъ все предателей ищете, а главный-то предатель, знаете, кто? Я по ночамъ не сплю, думаю, думаю и вотъ до чего додумался: намъ другого нѣтъ спасенья, какъ принести государю повинную. Онъ благородный, почти благородный человекъ, мы тоже почти благородные—отчего бы и не сговориться? Открыть ему все и убѣдить, что лучший способъ уничтожить революцію—дать Россіи то, чего мы добиваемся. Вотъ поѣду въ Петербургъ и донесу... Ну, что скажете, Голицынъ? Подлость, а?

— Не подлость, а сумасшествіе,—возразилъ Голицынъ.

— А у васъ никогда этого сумасшествія не было?—спросилъ Пестель.

— Если и было, то прошло.

— Совсѣмъ прошло?

— Совсѣмъ.

— Жаль. А я думалъ — вмѣстѣ. Вмѣстѣ бы легче. На міру и смерть красна...

— Думали, что я считаю это подлостью и буду вмѣстѣ съ вами?

— Да, вотъ и поймали. Заврался, запутался, — усмѣхнулся Пестель и посмотрѣлъ на него съ нескрываемымъ вызовомъ.

— Такъ о чемъ же вы-то съ нами говорить будете?

— Съ кѣмъ?

— Съ государемъ. Вѣдь у васъ свиданье?

— Кто вамъ сказалъ?

— Слухомъ земля полнится. А вамъ не хотѣлось, чтобы я зналъ?

„Подозрѣваетъ меня, испытываетъ, что ли?“ — подумалъ Голицынъ съ негодованіемъ.

— Можетъ быть, я и вправду съ ума схожу, — продолжалъ Пестель, и усмѣшка его дѣлалась все болѣе язвительной: — но у сумасшедшихъ есть вѣдь тоже логика. Ну, такъ вотъ, по моей сумасшедшей логикѣ, одно изъ двухъ: или уничтожить заговоръ, или уничтожить царя. Не хотите одного, значитъ, хотите другого? О другомъ-то мы съ вами, кажется, были согласны, помните у Рылѣева?

— Помню.

— И теперь согласны!

Голицынъ молчалъ; сквозь негодованіе онъ чувствовалъ, что Пестель правъ.

— Такъ какъ же, Голицынъ? Ваше свиданіе съ государемъ въ такую минуту, когда дѣло почти проиграно, вы сами понимаете?.. Или не хотите отвѣтить?

— Не хочу. Это дѣло моей совѣсти, Павелъ Ивановичъ. Позвольте же мнѣ одному быть въ немъ судьей,—началь Голицынъ, блѣднѣя, и не кончилъ.

Пестель смотрѣлъ на него молча, въ упоръ. „Кто изъ честныхъ людей не достоинъ пощечины?“—вспомнилось Голицыну, и вся кровь прилила къ лицу его, какъ отъ пощечины. Пестель опять былъ правъ, и въ этой правотѣ—то неразрѣшимое, темное, страшное, о чемъ Голицынъ старался не думать всѣ эти мѣсяцы: „убить надо, но пусть не я, а другой“.

У крыльца послышался колокольчикъ тройки. Голицынъ предчувствовалъ, что не придется ему ночевать у Пестеля, и заказалъ лошадей на станціи.

— Лошади поданы, ваше сіятельство,—доложилъ Савенко.

Голицынъ всталъ и покраснѣлъ: чувствовалъ, что отъѣздъ его похожъ на бѣгство.

— До свиданья, Пестель.

— Куда вы?

— Ъду.

Пестель тоже всталъ.

— Прошу васъ, Голицынъ, останьтесь,—проговорилъ онъ вдругъ измѣнившимся голосомъ, съ тихой, странной улыбкой.

— Нѣтъ, Пестель, нашъ разговоръ бесполезенъ и тягостенъ. Вы были правы, что мнѣ пріѣзжать не слѣдовало...

— Прошу васъ, Голицынъ, останьтесь,—повторилъ Пестель все тѣмъ же голосомъ, съ тою же улыбкою. Голицынъ взглянулъ въ нее и вдругъ понялъ: что-то было въ ней такое жалкое, что у него сердце упало.

— Если я обидѣлъ васъ, простите, Голицынъ,

ради Бога, не сердитесь на меня. Развѣ вы не видите, что я въ такомъ положеніи, что на меня сердиться нельзя?..

Что-то задрожало, задвигалось въ недвижномъ лицѣ, какъ маска, готовая упасть.

— Лежачаго не бьютъ,—прибавилъ онъ съ усиліемъ, опустился на диванъ и закрылъ лицо руками.

Голицынъ съ минуту подумалъ, вышелъ въ переднюю, позвалъ денщика, велѣлъ сказать, чтобъ лошадей откладывали, вернулся къ Пестелю, сѣлъ рядомъ и положилъ ему руку на плечо.

— Я отвѣчу на вашъ вопросъ, Павелъ Ивановичъ: я знаю, что надо дѣлать, но не могу, и что это подлость, тоже знаю. Какъ видите, мое положеніе не лучше вашего...

Пестель посмотрѣлъ на него, какъ будто только теперь увидѣлъ лицо его.

— Прошу васъ, Пестель, — продолжалъ Голицынъ, — отвѣтьте и вы на мой вопросъ. Зачѣмъ вы сказали мнѣ давеча о вашемъ предательствѣ? Вы знали, что я не повѣрю. Зачѣмъ же? Или подозрѣвали меня, испытывали?

— Нѣтъ, не васъ, а себя испытывалъ...

— Ну, и что же?

— Вы правы: я этого не сдѣлаю. А какъ я дошелъ до этого, хотите знать?

— Лучше не надо, Пестель. Потомъ когда-нибудь, а сейчасъ вамъ трудно.

— Думаете, стыдно? Нѣтъ, ничего. Послѣ того, что вы обо мнѣ знаете, — мнѣ ужъ стыдиться нечего...

Помогчалъ, подумалъ и началъ:

— Помните, Гамлетъ говоритъ: „совѣсть всѣмъ насъ дѣлаетъ трусами“. Я имѣю золотую шпагу за храбрость, но я трусъ, не передъ смертью, а передъ мыслью, передъ совѣстью трусъ. Чтобы что-нибудь сдѣлать, не надо слишкомъ много думать. — „Блѣднѣетъ румянецъ воли, когда мы начинаемъ размышлять“, это тоже Гамлетъ сказалъ, — я теперь все Гамлета читаю. А я не могу не размышлять; люблю мысль безъ корысти, безъ пользы, безъ цѣли, мысль для мысли, чистую мысль. Я только въ мысли и живу, а въ жизни мертвъ. Я не злодѣй и не герой, а обыкновенный человѣкъ, добрый, честный нѣмецъ. Вотъ книжки читать люблю. Почитываю, пописываю; 12 лѣтъ писалъ Русскую Правду и могъ бы писать еще 12 лѣтъ. Какъ Архимедъ, дѣлаю математическія выкладки въ осажденномъ городѣ: пропадай все, только бы сошлись мои выкладки. Говорю, не думая: надо царя убить. И какъ будто чувствую, что это такъ; какъ будто ненавижу его; а подумаю: за что ненавиждѣть? за что убивать? Обыкновенный человѣкъ, такой же какъ всѣ мы; средній человѣкъ въ крайности. И ненависти нѣтъ, и воли нѣтъ. И такъ всегда со всѣми чувствами. Никакихъ чувствъ, одинъ умъ; умъ полонъ, а сердце—какъ пустой орѣхъ...

— Вы на себя клевете, Пестель: одно великое чувство есть у васъ.

— Какое? Любовь къ отечеству? Я и самъ думалъ, что люблю. Но нѣтъ, не люблю. Да и что такое любовь? Полюбить—выйти изъ себя, войти въ другого? Сдѣлать такъ, чтобы я былъ не я? Фокусъ, что ли? Или вѣра? Чудо? По логикѣ, нельзя вѣрить, нельзя любить: логика—дважды два четыре, а любовь—чудо дважды два пять. Въ Евангеліи: „лю-

бите, любите"... Ну, а что же дѣлать, если нѣтъ любви? Это какъ совѣтъ утопающему вытащить себя за волосы. Злая шутка. Хоть убей, не люблю. И чѣмъ больше стараюсь, тѣмъ меньше люблю... Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, Голицынъ, что же дѣлать, что дѣлать, если нѣтъ любви? Молиться, что ли? Вы въ Бога вѣруете?

— Вѣрую.

— Въ какого? Что такое Богъ? Говорятъ, Богъ есть любовь. А у насъ тутъ, въ Линцахъ, намедни свинья двухлѣтней дѣвочкѣ голову отъѣла. Дѣвочка невинна, и свинья тоже, а все-таки Богъ есть любовь? Мой другъ Барятинскій—плохой поэтъ, но онъ хорошо сказалъ, лучше Вольтера:

*En voyant tant de mal couvrir le monde entier,
Si Dieu même existait, il faudrait le nier.*

Помните, я вамъ въ Петербургѣ говорилъ, что умомъ знаю о Богѣ, а сердцемъ Его не хочу? И безъ Бога довольно мученій. Я вѣдѣлъ подъ Лейпцигомъ предсмертныя мученія раненныхъ: морозъ и сейчасъ подираетъ по кожѣ, какъ вспомню. И вѣдь каждый-то изъ нихъ зналъ, что волосъ съ головы его не упадетъ безъ воли Отца Небеснаго... А по взятіи Лейпцига, нашелъ я въ одной аптекѣ ядъ, купилъ его и съ тѣхъ поръ всегда ношу при себѣ.

Отперъ ящикъ въ столѣ, вынулъ пузырекъ и показалъ Голицыну.

— Вотъ свобода, кажется, бѣлая, чѣмъ во всѣхъ республикахъ,—отъ всего, отъ всего, а главное — отъ себя свобода... Я говорилъ давеча: одно изъ двухъ, — уничтожить заговоръ или уничтожить царя; но, можетъ быть, есть и третье: уничтожить

себя. Цицеронъ полагалъ въ самоубійствѣ величіе духа. И въ Меропѣ у Вольтера, помните:

Quand on a tout perdu, quand il n'y a plus d'espoir,
La vie est une honte et la mort un devoir.

Да, умереть съ достоинствомъ — послѣдній долгъ...
А вы и въ безсмертіе души, Голицынъ, вѣрите?
— Вѣрю.

— Я понимаю, что можно вѣрить, но какъ желать безсмертія, не понимаю, — продолжалъ Пестель: — такъ устаешь отъ жизни, что, кажется, мало вѣчности, чтобъ отдохнуть. Это, какъ ночлегъ, о которомъ думаешь, когда трясешься на почтовой телегѣ въ знойный день: на простыни свѣжія лечь, протянуться, вздохнуть и уснуть...

Полузакрывъ глаза, облокотился на столъ, опустилъ голову и сжалъ ее обѣими руками.

— Что я хотѣлъ? Погодите-ка, что-то важное, да вотъ забылъ, все забываю. Должно быть, отъ жара мысли мѣшаются... Я двадцать лѣтъ молчалъ и вдругъ заговорилъ. Я съ вами говорю, Голицынъ, потому, что вы слушать умѣете. Слушать трудно, труднѣе, чѣмъ говорить, а вы умѣете. Когда вы такъ въ очки смотрите, то похожи на доктора или на добраго лютеранскаго пастора. Я, вѣдь, лютеранинъ. У меня былъ одинъ учитель въ Дрезденѣ, господинъ фонъ-Зейдель, добрый старый нѣмецъ, гернгутеръ, большой мистикъ. Тоже въ очкахъ, немного на васъ похожъ. Читалъ Апокалипсисъ и говорилъ, что понимаетъ все до точности. И Лютеровъ псаломъ пѣлъ: *Eine feste Burg ist unser Gott*. Такъ хорошо пѣлъ, что нельзя было слушать безъ слезъ... А знаете, Голицынъ, когда жаръ, и сидишь долго одинъ, уставившись глазами въ темный уголъ, то все кажется, что тамъ

кто-то. Видишь, что нѣтъ никого, а кажется... Вотъ и теперь. Думаете, брежу? Нѣтъ... только не надо въ уголъ смотрѣть... А вонъ тамъ у меня, на столѣ, портретъ: это Софѣ, сестра моя. Красавица, не правда ли?.. Я вамъ говорилъ, что никого не люблю. А ее люблю. Но вѣдь это не та любовь. Христосъ говоритъ: „кто мать Моя, кто братья Мои?“ А кстати, Голицынъ, или не кстати, ну, да все равно, вы вѣдь въ Тульчинѣ съ Лунинымъ видѣлись?

— Видѣлся.

— Разсказывалъ онъ вамъ, какъ умирающій отецъ его явился къ нему въ самую минуту смерти? Какой-то магнетизмъ, что ли? А можетъ быть, и шарлатанство. Лунинъ вѣрить насильно, сломалъ себя, чтобы вѣрить, а все-таки не очень вѣрить... Больные въ жару видятъ то, чего нѣтъ. А по Канту, и здоровые: весь міръ — то, чего нѣтъ, привидѣніе... А хотѣлъ бы я увидѣть хоть маленькое привидѣніе. Если очень, очень желать, то, можетъ быть, и увидишь... Э, чортъ, все не о томъ... А не знаете ли, Голицынъ, что раньше написано: *Политика* или *Метафизика* Аристотеля? Кажется, надо бы раньше *Метафизику*. Eine feste Burg ist unser Gott. У св. Августина политика — Градъ Божій. А у меня — Градъ безъ Бога. По *Русской Правдѣ*, попы тѣ же чиновники. А вѣдь этого, пожалуй, мало?.. Я хоть и нѣмецъ и лютеранинъ, а люблю православную службу, и ладанъ, и пѣніе. Когда по Кіевской лаврѣ хожу, все монахамъ завидую. О, beata solitudo, о, sola beatitudo! Послѣ революціи въ лавру уйду и сдѣлаюсь ехимникомъ. Кромѣ шутокъ, этимъ кончу... Только все не о томъ, все не о томъ...

Остановился, потеръ лобъ рукою, улыбнулся, по-

морщился дѣтски-беспомощно, такъ же какъ давеча, когда глоталъ хину.

— Вамъ бы лечь, Пестель, вы больны, — сказалъ Голицынъ.

— Ничего, маленькій жаръ. Отъ этого мысли яснѣе, хотя и мѣшаются. Хотите чаю?.. Ахъ, да, наконецъ-то, вспомнилъ! Вы *Катехизисъ* Муравьева знаете?

— Знаю.

— Странно. Муравьевъ думаетъ, что мы противъ царя со Христомъ, а царь думаетъ, что онъ противъ насъ со Христомъ. Съ кѣмъ же Христосъ? Или ни съ кѣмъ? „Царство Мое не отъ міра сего?“ А какъ же Градъ Божій? Тутъ что-то неладно. Ужъ не лучше ли просто по-моему: попы—чиновники, политика—Градъ человѣческій, — и дѣло съ концомъ? Муравьевъ, кажется, хочетъ свой *Катехизисъ* въ народъ пускать, все о народѣ хлопочетъ, о малыхъ сихъ. А народъ ничего не пойметъ. Да и что такое народъ? Я полагаю, что онъ всегда будетъ тѣмъ, что хотятъ личности. Вы скажете: плохая демокрація? Да, объ этомъ говорить вслухъ не надо... А что вы думаете, Голицынъ, Муравьевъ можетъ убить?

— Думаю, можетъ.

— Удивительно! Любить всѣхъ, любить враговъ своихъ; кажется, мухи не обидитъ, а вотъ можетъ убить. Убьетъ, любя. Наполеонъ говорилъ: „такому чловѣку, какъ я, плевать на жизнь милліона людей“. Это понятно и просто, слишкомъ просто, почти глупо. Говорятъ, что я въ Наполеоны лѣзу. Но я бы такъ не сказалъ, а если-бъ и сказалъ, не гордился бы этимъ. Но это понятно. А убивать, любя? Погубить душу свою, чтобы спасти ее, — такъ что ли?.. Вы по-нѣмецки читаете?

— Читайте. Но, Пестель, зачѣмъ вы?..

— Нѣтъ, нѣтъ, слушайте.

Онъ открылъ лежавшую на столѣ, большую, въ кожаномъ переплетѣ съ мѣдными застежками, ветхую Лютерову Библію.

— Я теперь все Библію читаю, Шекспира да Библію. Говорятъ, кто Библію прочтетъ, съ ума сойдетъ. Можетъ быть, я отъ того и схожу съ ума. Слушайте: „можешь ли удою вытащить Левіаѳана? Вдѣнешь ли кольцо въ ноздри его? Проволешь ли иглою челюсти его? Крѣпкіе щиты его—великолѣпіе; на шеѣ его обитаетъ сила, и передъ нимъ бѣжитъ ужасъ. Желѣзо онъ считаетъ за соломѣ, мѣдъ за гнилое дерево. Нѣтъ на землѣ подобнаго ему. Онъ царь надъ всѣми сынами гордости“.—Левіаѳанъ былъ въ Наполеонѣ, когда онъ говорилъ: „мнѣ плевать на жизнь милліона людей“. И въ свиньѣ, которая отѣла дѣвочкѣ голову. И это верхъ путей Божьихъ? Да, можно съ ума сойти! Англійскій философъ Гоббсъ называлъ государство свое Левіаѳаномъ, а св. Августины—Градомъ Божіимъ. А мой учитель господинъ фонъ-Зейдель полагалъ, что Левіаѳанъ есть Звѣрь Апокалипсиса. Не разберешь, гдѣ Богъ, гдѣ Звѣрь. Все спутано, все смѣшано... Это и значитъ, убивать съ Богомъ, убивать, любя, такъ, что ли?..

— Нѣтъ, Пестель, не такъ. Зачѣмъ вы смѣетесь? Ну, зачѣмъ, зачѣмъ вы мучаете себя?

— Я не смѣюсь, Голицынъ, я только мучаюсь, или кто-то мучаетъ меня, убиваетъ, любя... Должно быть, я не понимаю тутъ чего-то главнаго. Муравьевъ однажды сказалъ обо мнѣ: „есть вещи, которыя можно понять лишь сердцемъ, но кои остаются вѣчною загадкою для самаго проницательнаго ума“.

Я ничего не понимаю сердцемъ, я сердцемъ глухъ. А вотъ у Муравьева сердце умное. Я могъ бы его полюбить. Скажите ему это, когда увидите его. А вѣдь онъ не любитъ меня?..

— Не любить, потому что не знаетъ, — возражалъ Голицынъ.

— А вы знаете?

— Знаю. Теперь знаю.

Голицынъ улыбнулся, Пестель тоже, и отъ этой улыбки лицо его вдругъ помолодѣло, похорошѣло, какъ будто мертвая маска упала съ живого лица, и онъ сдѣлался похожъ на портретъ шестнадцатилѣтней дѣвочки, который стоялъ на столѣ.

— Вы сами себя не знаете, Пестель, — продолжалъ Голицынъ: — вы съ Муравьевымъ очень непохожи и очень похожи.

— И я могъ бы убить, любя?

— Нѣтъ, не могли бы. Вы не другого, а себя убиваете. Но это все равно. Вы тоже губите, уже почти погубили душу свою, чтобы спасти ес... Слушайте.

Голицынъ взялъ Библію, открылъ Евангеліе отъ Іоанна и прочелъ:

— „Женщина, когда рождаетъ, терпитъ скорбь, потому что пришелъ часъ ея; но когда родитъ младенца, уже не помнитъ скорби отъ радости, потому что родился человекъ въ міръ. Такъ и вы теперь имѣете печаль. Но возрадуется сердце ваше“...

Пестель молчалъ и улыбался, но лицо его поблѣднѣло такъ, что Голицынъ боялся, что ему сдѣлается дурно.

— Ну, а теперь давайте спать, Павелъ Ивановичъ. Мнѣ завтра ѣхать рано.

Голицынъ позвалъ денщика и велѣлъ подавать лошадей на разсвѣтъ.

— Куда вы ѣдете?—спросилъ Пестель.

— Въ Лещинскій лагерь подъ Житомиромъ. Тамъ сборъ Васильвовской Управы и Общества Соединенныхъ Славянъ.

— Зачѣмъ сборъ?

— Рѣшать, когда начинать.

— И вы думаете, начать?

— Думаю.

— Какъ дважды два пять?—усмѣхнулся Пестель.

— Не знаю,—возразилъ Голицынъ:—вы же сами говорите, что не надо слишкомъ много думать, чтобы сдѣлать.

— А если начать, хотите быть вмѣстѣ?—спросилъ Пестель.

— Хочу,—отвѣтилъ Голицынъ.

— Скажите же имъ: пусть только начать, а мы отъ нихъ не отстанемъ,—сказалъ Пестель.—А изъ Лещинскаго лагеря пріѣзжайте ко мнѣ; мнѣ хотѣлось бы еще увидѣться съ вами.

— Постараюсь.

— Нѣтъ, общайтесь.

— Хорошо, Пестель, даю вамъ слово.

— Ну, спасибо, за все спасибо! Доброй ночи, Голицынъ.

Хозяинъ легъ на диванъ въ кабинетѣ, а гостю уступилъ свою постель. Какъ ни спорилъ тотъ, ни доказывалъ, что Пестелю, больному, нужнѣе покой, онъ настоялъ на своемъ.

Въ спальнѣ на стѣнѣ висѣла золотая шпага, полученная имъ за храбрость подъ Бородинымъ. Тутъ же стоялъ кованый сундукъ съ большимъ замкомъ.

Голицыну казалось, что въ этомъ сундукѣ—*Русская Правда*. Надъ изголовьемъ постели—распятіе и другой маленькій портретъ Софїи; здѣсь она была моложе, лѣтъ 12-ти; дѣтское личико съ пухлыми, какъ будто надутыми, губками, съ большими черными, немного на выкатѣ, какъ у Пестеля, глазами и съ недѣтски тяжелымъ взоромъ. Подъ портретомъ—подпись по-французски, ученическимъ почеркомъ: „Моему дорогому Павлу. — Село Васильевское, 13 іюля 1819 года“. На ночномъ столикѣ—славянское Евангеліе, тоже съ надписью, подарокъ отца. Между страницами—сухіе цвѣты, а на пожелтѣвшемъ отъ времени предзаглавномъ листѣ написано рукою Пестеля: „сегодня, въ день моего рожденія, 2 мая 1824 года, Софїа подарила мнѣ крестикъ, а матушка—кольцо на память. Я съ этими вещами никогда не разстанусь, и онѣ будутъ со мною до послѣдняго дыханья моего, какъ самое драгоценное, что я имѣю“.

Изъ спальни была одна только дверь въ кабинетъ. Въ пять часовъ утра денщикъ Савенко вошелъ къ Голицыну босыми ногами, на цыпочкахъ, принесъ ему стаканъ чаю, разбудилъ, тихонько тронувъ за плечо, доложилъ шопотомъ, что лошади поданы, и, пока Голицынъ одѣвался, сообщилъ, что „ихъ благородіе, г. подполковникъ, разбудить себя велѣли, чтобы проститься съ княземъ, да жаль: первую ночь изволятъ почивать хорошо“; сообщилъ также свои опасенія о шпионахъ—„шпигонахъ“ и о капитанѣ Майбородѣ. Видно было, что онъ любитъ, жалѣетъ барина.

Денщикъ вышелъ, чтобы уложить вещи въ коляску. Голицынъ вошелъ въ кабинетъ, стараясь дви-

гаться такъ же беззвучно, какъ Савенко. Пестель спалъ на диванѣ. Проходя мимо, Голицынъ остановился и взглянулъ на лицо его. Въ темномъ свѣтѣ утра оно казалось блѣднымъ мертвенной блѣдностью; тонкія брови иногда сжимались, точно хмурились, какъ будто и во снѣ думалъ онъ упорно, мучительно.

Голицынъ наклонился и поцѣловалъ его тихонько въ лобъ. Вѣки спящаго дрогнули. Голицынъ боялся, что онъ проснется; но нѣтъ, только улыбнулся, не открывая глазъ, и отъ этой улыбки во снѣ,—такъ же какъ наяву, лицо его помолодѣло, похорошѣло удивительно. Можетъ быть, снилось ему, что Софья съ нимъ.

И Голицынъ чувствовалъ, что его Софья тоже съ нимъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Лещинскій лагерь находился въ 15 верстахъ отъ большой почтовой дороги изъ Житомира въ Бердичевъ, а 8-я артиллерійская бригада стояла въ деревнѣ Млинищахъ, въ 3 верстахъ отъ Лещина. Квартыры были тѣсныя: всѣ крестьянскія хаты биткомъ набиты, такъ что большинство офицеровъ ютилось въ палаткахъ и балаганахъ, легкихъ лагерныхъ строеніяхъ, замѣнявшихъ палатки.

Въ одномъ изъ такихъ балагановъ лежали на койкахъ два молоденькихъ артиллерійскихъ подпоручика 8-й бригады, Саша Фроловъ, мальчикъ лѣтъ 19, и Миша Черноглазовъ, немного постарше. Лежа на спинѣ, высоко закинувъ ногу на ногу и покуривая трубку-султанку, Миша напѣвалъ неестественно-хриплымъ голосомъ:

Я люблю кровавый бой,
Я рожденъ для службы царской.

Балаганъ, построенный на живую нитку изъ прутника, обмазаннаго глиною, имѣлъ видъ чердака; на земляномъ полу тѣспились койки; оконъ не было,

свѣтъ проникалъ сквозь дверцу. Теперь она была закрыта, и въ балаганѣ — темно; одинъ только солнечный лучъ падалъ сквозь щель въ крышѣ, надъ Сашиной койкой, и рисовалъ на стѣнѣ маленькую живую картинку, опрокинутую, какъ въ камеръ-обскурѣ: внизу — голубое небо съ круглыми бѣлыми облаками, а вверху — желтое жнивье, зеленныя деревья, вѣтряныя мельницы, бѣлыя палатки и марширующіе вверхъ ногами солдатики; иногда картинка мутнѣла, расплывалась, а потомъ опять становилась яркою, и въ темнотѣ распространялся отъ нея полусвѣтъ радужный. Саша любовался ею. „Хорошо бы, — думалъ онъ, — если бы и вправду все было такъ, вверхъ ногами. Страшно и весело“...

— Пойдемъ-ка къ Славянамъ, Саша, — сказалъ Черноглазовъ.

Если-бъ онъ сказалъ: „пойдемъ къ цыганамъ“, или: „къ мадамкамъ“, — Саша понялъ бы; но что такое *Славяне*, не зналъ, а показать не хотѣлъ: стыдился не знать того, что знаютъ всѣ и что нужно знать, чтобъ быть молодцомъ.

— Нѣтъ, Миша, сегодня у капитана Пыхачева банкъ; отыгаться надо: намедни, послѣ второй талии, поставилъ я мирандоломъ, сыгралъ на рутѣ и все продулъ, — отвѣтилъ онъ съ напускною небрежностью и началъ напѣвать, закинувъ ногу на ногу, точно такъ же какъ Черноглазовъ, — подражалъ ему во всемъ:

Напьюсь свинья свиньею,
Пропью погони съ кошелькомъ.

— Пыхачева дома не будетъ: онъ у Славянъ.

— Ну, такъ въ Жытоміръ, въ театръ, тамъ одна въ хорѣ есть недурненькая...

Сашѣ вспомнились афишки, которыя разбрасывали по городу разрумяненные цирковыя наѣздницы: „въ семь часовъ вечера будутъ пантомимы, игры гимнастическія и балансеры“. Театръ или циркъ—длинный дощатый сарай, освѣщаемый вонючими площадками, съ деревянными скамьями вмѣсто креселъ, и четырьмя жидами, игравшими на скрипкахъ и цимбалахъ, вмѣсто оркестра. Но господа офицеры охотно посѣщали театръ, потому что тамъ можно было встрѣтить смазливыхъ уѣздныхъ панночекъ.

— Ну его къ чорту! Пойдемъ лучше къ Славянамъ,—возразилъ Черноглазовъ.

— Какіе Славяне?—спросилъ, наконецъ, Саша, не выдержавъ.

— Развѣ не знаешь? Объ этомъ знаютъ всѣ. Только это большой секретъ...

— Какъ же такъ? Секретъ, а знаютъ всѣ?..

— Ну, да отъ начальства секретъ, а товарищи знаютъ. Славяне—это заговорщики...

Саша приподнялся на одномъ локтѣ, и отъ любопытства глаза его сдѣлались круглыми.

— Заговорщики? Фармазоны, что ли?

— Не фармазоны, а Тайное Общество благонамѣренныхъ людей, поклявшихся улучшить жребій своего отечества,—произнесъ Миша, какъ по-писанному, и умолкъ таинственно.

— Да ну? Врешь?

— Зачѣмъ врать? Пойдемъ, увидишь самъ.

— Развѣ можно такъ? Меня никто не знаетъ.

— Ничего, представлю. Всѣ наши тамъ. Ужъ давно бы нужно и тебѣ по товариществу. Или боишься? Да, братъ, за это можетъ влетѣть. Мама-

хень-напахень что скажутъ?.. Ну, если боишься, не надо, Богъ съ тобою.

Саша покраснѣлъ, и слезы обиды заблестѣли на глазахъ его.

— Что ты, Миша, какъ тебѣ не стыдно? Развѣ я когда-нибудь отказывался отъ товарищества? Пойдемъ, разумѣется, пойдемъ!

Собраніе Славянъ и Южнаго Общества назначено было въ 7 часовъ вечера на квартирѣ артиллерійскаго подпоручика Андреевича 2-го. Мѣсто уединенное: хата на самомъ краю села, на высокомъ обрывѣ, надъ рѣчкою Гуйвою, въ сосновомъ лѣсу. Тутъ было заброшенное уніатское кладбище съ ветхою каплицею. Хозяинъ, дьячокъ, отдавъ хату въ наемъ, самъ перешелъ жить въ баню на огородѣ, такъ что никого посторонняго не было въ хатѣ; даже денщика своего Андреевичъ услалъ въ Житомиръ. Пріѣзжавшіе верхомъ изъ Лещинскаго лагеря заговорщики оставляли лошадей на селѣ и шли по лѣсу пѣшкомъ, въ одиночку, чтобы не внушить подозрѣній.

Все приняло новый заговорщицкій видъ, когда Саша съ Мишей подходили къ хатѣ Андреевича. Въ темнотѣ душнаго вечера, въ предгрозномъ молчаніи неба и земли, проносилось иногда дуновеніе, слабое, какъ вздохъ, и верхушки сосенъ шептались таинственно, а потомъ все вдругъ опять затихало еще таинственнѣй.

Когда они вошли въ хату, знакомыя лица товарищей показались Сашѣ незнакомыми. „Такъ вотъ какіе бываютъ заговорщики“, — подумалъ онъ. И тусклыя сальныя свѣчи на длинномъ столѣ мерцали зловѣщимъ свѣтомъ, и бѣлыя стѣны какъ будто говорили: будьте осторожны, и у стѣнъ есть уши; и въ

темныхъ окнахъ зарницы мигали, подмигивали, какъ будто заговорщики небесные дѣлали знаки земнымъ.

Засѣданіе еще не началось. Черноглазовъ представилъ Сашу Петру Ивановичу Борисову, Горбачевскому и майору пензенскаго пѣхотнаго полка. Спиридову, только что избранному посреднику Славянъ и Южныхъ.

— Милости просимъ, — сказалъ Горбачевскій. — Въ какое же Общество угодно вамъ поступить, къ намъ или въ Южное?

Саша не зналъ, что отвѣтить.

— Въ Южное, — рѣшилъ за него Черноглазовъ.

— Вотъ прочтите, ознакомьтесь съ цѣлями Общества, — подалъ ему Горбачевскій тоненькую тетрадку въ синей обложкѣ, мелко исписанную четкимъ писарскимъ почеркомъ: *Государственный Заветъ*, краткое извлеченіе изъ Пестелевой *Русской Правды* для вновь поступающихъ въ Общество.

Саша сѣлъ за столъ и сталъ читать, но плохо понималъ, и было скучно. Никогда не думалъ о политикѣ; не зналъ хорошенько, что значитъ конституція, революція, республика. Но понялъ, когда прочелъ: „цѣль Общества — введеніе въ Россіи республиканскаго образа правленія посредствомъ военной революціи съ истребленіемъ особъ царствующаго дома“. — „Да, за это можетъ влетѣть“, — подумалъ, и стало вдругъ весело — страшно и весело.

Притворяясь, что читаетъ, — прислушивался, приглядывался. Много начальства: ротные, бригадные, батальонные, полковые командиры. Отъ одного взгляда ихъ во фронтѣ зависѣла Сашина участь; каждый изъ нихъ могъ на него накричать, оборвать, распечь, отдать подъ судъ; могъ тамъ, а здѣсь не могъ: здѣсь

всѣ равны, какъ будто уже наступила республика; здѣсь все по-другому: старшіе сдѣлались младшими, младшіе—старшими; все по-другому, по-новому, — въ обратномъ видѣ, какъ въ той маленькой живой картинкѣ, которую солнечный лучъ рисовалъ на стѣнѣ балагана: земля вверху, небо внизу. Голова кружится, но какъ хорошо, какъ страшно и весело! Не жаль, что отказался отъ картъ и пантомимъ съ балансерами.

— Ну, пойдемъ водку пить, — позовалъ его Черноглазовъ.

Подожли къ столу съ закусками.

— Всѣ благородно мыслящіе люди рѣшили свергнуть съ себя это самовластіе. Довольно уже страдали, стыдно терпѣть униженіе, — говорилъ начальнически-жирнымъ басомъ полковникъ Ахтырскаго гусарскаго полка, Артамонъ Захаровичъ Муравьевъ, апоплектического вида толстякъ, заѣдая рюмку водки селедкой. Называлъ всѣхъ главныхъ сановниковъ, прибавляя черезъ каждыя два-три имени:

— Протоканальи!

И жирный басъ хрипѣлъ, жирный кадыкъ трясся, толстая шея наливалась кровью, точно такъ же какъ передъ фронтомъ, когда онъ, бывало, на гусаръ своихъ покрикивалъ: „седьмой взводъ, протоканальи! Спячка на васъ напала? Ну, смотри, какъ бы я васъ не разбудилъ!“

Бранилъ всѣхъ, а пуще всѣхъ государя. Вдругъ сказалъ о немъ такое, что у Саши духъ захватило, и вспомнилось ему, какъ тотъ же Артамонъ Захаровичъ намеренъ, на балу у пана Поляновскаго, хвастая любовью русскихъ къ царю и отечеству, повторилъ слова свои, сказанныя, будто

бы, передъ Бородинскимъ боемъ: „когда меня убьютъ, велите вскрыть мою грудь и увидите на сердцѣ отпечатокъ двуглаваго орла съ шифромъ: А. П.“ (Александръ Павловичъ). А теперь вотъ что! Это, впрочемъ, Сашу не удивило, какъ не удивляло то, что въ обратномъ ландшафтѣ люди ходятъ вверхъ ногами.

— Веденяпочка, моя лапочка, налей-ка мнѣ перцовочки, — попросилъ Артамонъ Захаровичъ подпоручика Веденяшина, съ которымъ только что познакомился и уже былъ на „ты“.

Выпилъ, врякнулъ, закусилъ соленымъ рыжикомъ и перешелъ нечувствительно отъ политики къ женщинамъ.

— Намедни панна Ядвига Сигизмундовна сказывала: въ Парижѣ, говоритъ, изобрѣли какія-то прозрачныя сорочки: какъ надѣнешь на себя да осмотришься, такъ все насквозь и виднехонько...

И, рассказавъ непристойный анекдотъ по этому поводу, засмѣялся такъ, что, казалось, тяжелая телега загрохотала по булыжнику.

Черноглазовъ представилъ Сашу Артамону Захаровичу, и тотъ черезъ пять минутъ былъ съ нимъ тоже на „ты“, похлопывалъ по плечу и угощалъ водкою.

— Какой ты молоденькій, а жизни своей не жалѣешь за благо отечества! Эхъ, молодежь, молодежь, люблю, право! Выпьемъ, Сашенька...

И полѣзъ цѣловаться. Отъ него пахло водкою, селедкою и оделавандомъ, которымъ онъ обильно душился; а на рукахъ — грязные ногти и перстни съ камнями, какъ будто фальшивыми; и во всей его наружности что-то фальшивое. Но Сашѣ казалось, что такимъ и слѣдуетъ быть заговорщику.

— Ужасно мнѣ эта жирная скотина не нравится, — произнесъ чей-то голосъ такъ громко, что Саша обернулся, а Артамонъ Захаровичъ не слышалъ или сдѣлалъ видъ, что не слышитъ.

Поручикъ Черниговскаго полка, членъ Южнаго Общества, Кузьминъ, Анастасій Дмитріевичъ, или, по-солдатски, Настасѣй Митричъ, или еще проще „Настасьюшка“, весь былъ жесткій, шершавый, щетинистый, взъерошенный; жесткіе черные волосы копною, усы торчкомъ, баки растрепаны, какъ будто сильный вѣтеръ поддуваетъ сзади; черные глаза раскосые, какъ будто свирѣпые, — настоящій „разбойничекъ муромскій“, какъ тоже называли его товарищи, а улыбка добрая, и въ этой улыбкѣ — „Настасьюшка“.

Рядомъ съ Кузьминымъ стоялъ молодой человѣкъ, стройный, тонкій, съ блѣднымъ красивымъ лицомъ, напоминавшимъ лорда Байрона, подпоручикъ того же полка, Мазалевскій.

Когда Артамонъ Захаровичъ сдѣлалъ видъ, что не слышитъ, и опять заговорилъ о политикѣ, Кузьминъ покосился на него свирѣпо и произнесъ еще громче:

— Фанфаронишка!

— Ну, полно, Настасѣй Митричъ, — унималъ его Мазалевскій и гладилъ по головѣ, какъ сердитаго пса. — Экій ты у меня дикобразъ какой! Ну, чего ты на людей кидаешься, разбойничекъ муромскій?

— Отстань, Мазилка! Терпѣть не могу фанфаронишекъ...

— А знаете, господа, Настасьюшка-то наша человѣка едва не убила, — началъ Мазалевскій рассказывать, видимо, нарочно, чтобы отвлечь вниманіе и предупредить ссору.

Дѣло было такъ. Вообразивъ, что не сегодня-завтра — возстаніе, Кузьминъ собралъ свою роту и открылъ ей цѣль заговора. Солдаты, преданные ему, поклялись идти за нимъ, куда угодно; тогда, явившись на собраніе Общества, онъ объявилъ, что рота его готова и ожидаетъ только приказанія идти. „Когда же назначено возстаніе?“ — спрашивалъ онъ. — „Этого никто не знаетъ, ты напрасно слѣдишь“, — отвѣчали ему. — „Жаль, а я думалъ скорѣе начать: пустые толки ни къ чему не ведутъ. Впрочемъ, мои ребята молчать умѣютъ, а вотъ юнкеръ Богуславскій какъ бы не выдалъ: я послалъ его въ Житомиръ предупредить нашихъ о революціи“. — „Что ты надѣлалъ! — закричали всѣ. — Богуславскій дуракъ и болтунъ: все пересказываетъ дядѣ своему, начальнику артиллеріи 3-го корпуса. Мы погибли!“ — „Ну что-жъ, развѣ поправить нельзя? Завтра же вы найдете его мертвымъ въ постели!“ — объявилъ Кузьминъ, взялъ шляпу и выбѣжалъ изъ комнаты. Всѣ — за нимъ; догнали, схватили и кое-какъ уломали не лишать жизни глупца, котораго легко увѣрить, что все это шутка.

— И убью! Пивни онъ только, убью! — проворчалъ Кузьминъ, когда Мазалевскій кончилъ рассказъ.

— Никого ты не убьешь, Настасьюшка, вѣдь ты у меня добрая...

— Ну васъ къ чорту! — продолжалъ Кузьминъ въ ярости: — если не рѣшатъ и сегодня, когда возстаніе, возьму свою роту и пойду одинъ...

— Куда ты пойдешь?

— Въ Петербургъ, въ Москву, къ чортовой матѣ, а больше я ждать не могу!

Саша слушалъ, глядѣлъ, и сердце замирало въ немъ такъ, какъ въ дѣтствѣ, когда онъ катился

стремглавъ на салазкахъ съ ледяной горы, или когда снилось ему, что можно шалить, ломать вещи, бить стекла и ничего не бояться — все безнаказанно, все позволено.

— А откуда, господа, мы денегъ возьмемъ, чтобы войска продовольствовать? — спрашивалъ полковникъ Василій Карловичъ Тизенгаузенъ, щеголеватый, бѣлобрысый нѣмецъ, съ такою вѣчною безгливостью въ лицѣ, какъ отъ дурного запаха.

— Можно взять изъ полкового казначейства. — предложилъ кто-то.

— А погреба графини Браницкой на что? — крикнулъ Артамонъ Захаровичъ. — Вотъ гдѣ поживиться: 50 милліоновъ золотомъ, шутка сказать!

— Благородный совѣтъ, — поморщился Тизенгаузенъ съ безгливостью: — начать грабежомъ и разбоемъ, хорошъ будетъ конецъ. Нѣтъ, господа, это не мое дѣло: я до чужихъ денегъ не прикоснусь...

— Да ужъ знаемъ, небось: нѣмцы — честный народъ, — проворчалъ опять Кузьминъ.

— Да, честью клянусь, — продолжалъ Василій Карловичъ, — лучше послѣднюю рубашку съ тѣла сниму, женины юбки продамъ...

— Люди жизнью жертвуютъ, а онъ жениной юбкой!

Тизенгаузенъ услышалъ и обидѣлся.

— Позвольте вамъ замѣтить, господинъ поручикъ, что ваше замѣчаніе неприлично...

— Что же дѣлать, господинъ подполковникъ, мы здѣсь не во фронтѣ, и мнѣ на ваши цирлихъ-манирлихъ плевать! А если вамъ угодно сатисфакцію...

— Да ну же, полно, Митричъ...

Ихъ обступили и кое-какъ розняли. Но тотчасъ

началась новая ссора. Рѣчь зашла о томъ, какъ готовить нижнихъ чиновъ къ возстанію.

— Этихъ дураковъ недолго готовить, — возразилъ капитанъ Пыхачевъ, командиръ 5-й конной роты: — выкачу бочку вина, вызову пѣсенниковъ впередъ и крикну: „ребята, за мной!“

— А я прикажу дать имъ сала въ кашницу, и пойдутъ куда угодно. Я русскаго солдата знаю, — усмѣхнулся Тизенгаузенъ съ безгливостью.

— Да я бы свой полкъ, если бы онъ за мной не пошелъ, погналъ палками! — загрохоталъ Артамонъ Захарычъ, какъ тяжелая телѣга по булыжнику.

— Освобождать народъ палкой — хороша демокрація, — воскликнулъ Горбачевскій. — Срамъ, господа, срамъ!

— Барчуки! Аристократишки! — прошипѣлъ, блѣднѣя отъ злобы, поручикъ Сухиновъ, съ такимъ выраженіемъ въ болѣзненно-желчномъ лицѣ, какъ будто ему на мозоль наступили. — Вотъ мы съ вѣмъ соединяемся, — теперь, господа, видите...

И опять, какъ нѣкогда въ Васильевѣ, почувствовали всѣ неодолимую черту, раздѣляющую два Общества, въ самомъ сліяніи несліянныхъ, какъ масло и вода.

— Чего же мы ждемъ? — спросилъ Сухиновъ. — Назначено въ восемь, а теперь уже десятый.

— Сергѣй Муравьевъ и Бестужевъ должны пріѣхать, — отвѣтилъ Спиридовъ.

— Семеро одного не ждутъ, — возразилъ Сухиновъ.

— Что же дѣлать? Нельзя безъ нихъ.

— Ну, такъ разойдемся, и конецъ!

— Какъ же разойтись, ничего не рѣшивъ? И стоитъ ли изъ-за такой малости?

— Честь, сударь, немалость! Кому угодно лакейскую роль играть, пусть играет, а я не желаю, слышите...

— Идутъ, идутъ! — объявилъ Горбачевскій, взглянувъ въ окно.

На крыльцѣ слышались шаги, голоса, дверь отворилась, и въ хату вошли Сергѣй Муравьевъ, Бестужевъ, князь Голицынъ и другіе члены Южнаго Общества, пріѣхавшіе изъ Лещинскаго лагеря.

Муравьевъ извинился: опоздалъ, потому что вызвали въ штабъ.

Усѣлись, одни—за столъ посреди горницы, другіе—по лавкамъ у стѣнъ; многимъ не хватило мѣста и пришлось стоять. Предсѣдателемъ выбрали майора Пензенскаго полка, Спиридова. У него было пріятное, спокойное и умное лицо съ двумя выраженіями: когда онъ говорилъ, казалось, что ни въ чемъ не сомнѣвается, а когда молчалъ, въ глазахъ была лѣнь, слабость и нерѣшительность.

Въ краткихъ словахъ объяснивъ цѣль собранія—окончательное рѣшеніе вопроса о сліяніи двухъ Обществъ,—онъ предоставилъ слово Бестужеву.

Бестужевъ говорилъ неясно, спутанно, сбивчиво и растянuto. Но въ томъ, какъ дрожалъ и звенѣлъ голосъ его, какъ онъ руками взмахивалъ, какъ блѣднѣло лицо, блестѣли глаза и подымался рыжій хохолъ на головѣ языкомъ огненнымъ, была сила убѣжденія неодолимая. Великій народный трибунъ, соблазнитель и очарователь толпы, — маленькій, слабенькій, легонькій, онъ уносился въ вихрь словъ, не зная самъ, куда унесется, на какую высоту подыметъ, какъ перекаати-поле въ степной грозѣ. „Восторгъ пигмея дѣлаетъ гигантомъ“, — вспомнилось Голицыну.

Нельзя было повторить сказаннаго Бестужевыхъ, какъ нельзя передать словами музыку, но смыслъ былъ таковъ:

„Силы Южнаго Общества огромны. Уже Москва и Петербургъ готовы къ возстанію, а также 2-я армія и многіе полки 3-го и 4-го корпуса. Стоитъ лишь схватить минуту—и все готово встать. Управы Общества находятся въ Тульчинѣ, Васильковѣ, Каменкѣ, Кіевѣ, Вильнѣ, Варшавѣ, Москвѣ, Петербургѣ и во многихъ другихъ городахъ имперіи. Многочисленное Польское Общество, всего члены разсѣяны не только въ Царствѣ Польскомъ, но и въ Галиціи и въ воеводствѣ Познанскомъ, готовы раздѣлить съ русскими опасность переворота и содѣйствовать оному всѣми своими силами. Русское Тайное Общество находится также въ сношеніяхъ съ прочими политическими обществами Европы. Еще въ 1816 году наша конституція была возима княземъ Трубецкимъ въ чужіе края, показывана тамъ первѣйшимъ ученымъ и совершенно ими одобрена. Графу Полиньяку поручено увѣдомить французскихъ либераловъ, что преобразование Россіи скоро сбудется. Князь Волконскій, генералъ Раевскій, генералъ Орловъ, генералъ Киселевъ, Юшневскій, Пестель, Давыдовъ и многіе другіе начальники корпусовъ, дивизій и полковъ состоятъ членами Общества. Всѣ сін благородные люди повлялись умереть за отечество“, — заключилъ ораторъ.

Голицынъ зналъ, что никто никогда не возилъ конституцію въ чужіе края, что ни генералъ Киселевъ, ни генералъ Раевскій не участвуютъ въ Обществѣ, а Полиньяку до него такое же дѣло, какъ до проплогодняго снѣга, и что почти все остальное, что

говорилъ Бестужевъ, о силѣ заговора—ложь. „Какъ можетъ онъ лгать такъ безсовѣстно?“—удивлялся Голицынъ.

— Слово принадлежитъ Горбачевскому, — объявилъ предсѣдатель.

— Мы, Соединенные Славяне, давъ клятву посвятить всю свою жизнь освобожденію Славянскихъ племенъ, не можемъ нарушить сей клятвы, — началъ Горбачевскій. — А подчинивъ себя Южному Обществу, будемъ ли мы въ силахъ исполнить ее? Не почтетъ ли оно нашу цѣль маловажною и, для настоящаго блага жертвуя будущимъ, не запретитъ ли намъ имѣть сношенія съ прочими племенами Славянскими? И таковы ли силы Южнаго Общества, какъ вы утверждаете?..

Все, что онъ говорилъ, было умно, честно, правдиво; но правда его послѣ лжи Бестужева рѣзала ухо, какъ скрежетъ гвоздя по стеклу послѣ музыки.

— Нѣтъ, Горбачевскій, вы ошибаетесь. Преобразование Россіи всѣмъ Славянскимъ народамъ открываетъ путь къ вольности: Россія, освобожденная отъ тиранства, освободитъ Польшу, Богемію, Моравію, Сербію, Трансильванію и прочія земли Славянскія; учредитъ въ оныхъ республики и соединитъ ихъ федеральнымъ союзомъ, — заговорилъ Бестужевъ, и опять зазвучала музыка. — Да, цѣль у насъ одна, и силы наши вамъ принадлежатъ, подъ условіемъ сдинственнымъ — подчиняться во всемъ Державной Думѣ Южнаго Общества, — прибавилъ онъ какъ бы вскользь.

— Какая Дума? Гдѣ она? Изъ чего состоитъ? — спрашивалъ Сухиновъ.

— Этого я не могу вамъ открыть, по правиламъ Общества, — возразилъ Бестужевъ. — Но вотъ, взглянуть не угодно ли?

Взялъ карандашъ и листъ бумаги, начертилъ кругъ, внутри его написалъ: *Державная Дума*, провелъ отъ него радіусы и на концахъ поставилъ кружки.

— Большой средній кругъ или центръ есть Державная Дума; линіи, отъ онаго проведенныя, суть посредники, а малые кружки—округи, которые сносятся съ Думою не прямо отъ себя, а черезъ посредниковъ...

Всѣ столпились, слушали и глядѣли на чертежъ съ благоговѣніемъ, какъ на магическое знаменіе. Саша вытянулъ шею и широко раскрылъ глаза.

— Понимаете?—спросилъ Бестужевъ.

— Ничего не понимаю, — заговорилъ Сухиновъ опять съ такимъ выраженіемъ лица, какъ будто ему на моволь наступили. — Къ чорту ваши іероглифы! Извольте же, наконецъ, объясниться, сударь, какъ слѣдуетъ! Намъ нужны доказательства...

— Не нужно, не нужно! Вѣримъ и такъ! — закричали всѣ.

— Вѣримъ! Вѣримъ! — крикнулъ Саша громче всѣхъ. — Зачѣмъ такое любопытство? Должно поставить себѣ счастьемъ въ столь общепольномъ дѣлѣ участвовать...

На него оглянулись, и онъ покраснѣлъ.

— А вотъ о военной революціи, десятое дѣло, пожалуйста, — началъ Борисовъ неожиданно; онъ все время молчалъ, сидѣлъ, потупившись, точно ничего не видѣлъ и не слышалъ, покуривалъ трубочку да иногда ловилъ ночныхъ мотыльковъ, летѣвшихъ на пламя свѣчи, и осторожно, такъ, чтобы не помять имъ крылышекъ, выпускалъ ихъ въ окно. — Вы о военной революціи говорили намеренно, Бестужевъ. А что значитъ военная революція, десятое дѣло, пожалуйста?

— Военная революція—значить возмущеніе начать отъ войскъ,—отвѣтилъ Бестужевъ,—а когда войска готовы, то уже ничего не стоитъ свергнуть какое угодно правительство. Мы имѣемъ въ виду двѣ революціи: одну—французскую, которая произведена была чернью со всѣми ужасами безначалія, а другую—испанскую, начатую обдуманно, силою военною, но оставившую власть короля. У насъ же все это будетъ лучше, потому что начнется съ того, что государь уничтожится...

— Когда одинъ государь уничтожится, будетъ другой,—замѣтилъ Горбачевскій.

— Другого не будетъ.

— Но по закону наслѣдія...

— Никакого наслѣдія: все сіе уничтожится,—махнулъ Бестужевъ рукою по столу

— Должно избѣгать одной капли пролитія чело-вѣческой крови,—замѣтилъ полковникъ Тизенгаузенъ.

— Кровопролитія почти не будетъ,—успокоилъ Бестужевъ.

— Ну, зачѣмъ глупости, десятое дѣло, пожалуйста? Нѣтъ, будетъ кровь, кровь будетъ!—сказалъ Борисовъ и, поймавъ бабочку, выпустилъ ее въ окно такъ бережно, что не страхнулъ пылинки съ крылышекъ.

— По вашимъ словамъ, Бестужевъ, — началъ опять Горбачевскій,—революція имѣетъ быть военная, и народъ устраненъ вовсе отъ участія въ оной. Какія же огражденія представите вы въ томъ, что одинъ изъ членовъ вашего правленія, избранный воинствомъ и поддержанный штыками, не похититъ самовластія?

— Какъ не стыдно вамъ?—воскликнулъ Бесту-

жевъ. — Чтобы тѣ, кто для полученія свободы рѣшился умертвить своего государя, потерпѣли власть похитителей!..

— Господа, не угодно ли вернуться къ вопросу главному? Время позднее, а мы еще не рѣшили: принято ли соединеніе Обществъ? — напомнилъ Спиридовъ. — Голосовать прикажете?

— Не надо! Не надо! Принято! — закричали всѣ, и опять Саша громче всѣхъ.

— Господинъ секретарь, — обратился Спиридовъ къ молодому человѣку, тихому и скромному, въ потертомъ зеленомъ фракѣ, провіантскому чиновнику, Ильѣ Ивановичу Иванову, секретарю Славянъ, — запишите въ протоколъ засѣданія: Общества соединяются.

Бестужевъ попросилъ слова и началъ торжественно:

— Господа! Верховная Дума предлагаетъ, и я имѣю честь сообщить вамъ сіе предложеніе: начать возстаніе съ будущаго 1826 года и ни подъ какимъ видомъ не откладывать онаго. Въ августѣ мѣсяцѣ государь будетъ производить смотръ 3-го корпуса, и тогда судьба самовластья рѣшится: тиранъ падетъ подъ нашими ударами, мы подыmemъ знамя свободы и пойдемъ на Москву, провозглашая конституцію. Благородство должно одушевлять cadaго къ исполненію великаго подвига. Мы утвердимъ навѣки вольность и счастье Россіи. Слава избавителямъ въ позднѣйшемъ потомствѣ, вѣчная благодарность отечества!..

Обводя взоромъ лица слушателей, Голицынъ остановился невольно на Сашиномъ лицѣ; оно было прекрасно, какъ лицо дѣвочки, которая въ первый разъ въ жизни, не зная, что такое любовь, слушаетъ слова любви. „Не оправдана ли ложь Бестужева этимъ лицомъ?“ — подумалъ Голицынъ.

— Принимается ли, господа, предложеніе Верховной Думы?—спросилъ предсѣдатель.

— Принято! Принято!

— Не принимаю! — закричалъ Кузьминъ, ударя кулакомъ по столу.

— Чего же вы хотите?

— Начинать немедленно!

— Ну, что вы, Кузьминъ, развѣ можно?

— Не слѣши, Настасьюшка: поспѣшишь, людей насмѣшишь,—унималъ его Мазалевскій.

— Что же вы за душу тянете, чортъ бы васъ всѣхъ побралъ! Лови Петра съ утра, а какъ ободняетъ, такъ провоняетъ! Голубчики, братцы, миленькіе, назначьте день, ради Христа, назначьте день возстанія!—кричалъ Кузьминъ, и глаза у него сдѣлались, какъ у сумасшедшаго.

— День, часъ и минуту по хронометру! — разсмѣялся полковникъ Тизенгаузенъ.

Но остальнымъ было не до смѣху. Сумасшествіе Кузьмина заразило всѣхъ. Какъ будто вихрь налетѣлъ на собраніе. Повскакали, заговорили, закричали. Поднялся такой шумъ, что предсѣдатель звонилъ, звонилъ и, наконецъ, усталъ, — бросилъ. Въ общемъ крикъ слышались только отдѣльные возгласы.

— Правду говоритъ Кузьминъ!

— Начинать, такъ начинать!

— Куй желѣзо, пока горячо!

— Въ отлагательствѣ наша гибель!

— Лишь бы добраться до батальона, а тамъ живого не возьмутъ!

— Умремъ на штыкахъ!

— Взбунтовать весь полкъ, всю дивизію!

— Арестовать генерала Толя и Рота!

— Овладѣть квартирою корпусной!
— На Житомиръ!
— На Кіевъ!
— На Петербургъ!
— 8-я рота начнетъ!
— Нѣтъ, никому не позволю! Я начну, я!
— Десять пуль въ лобъ тому, кто не пристанетъ въ общему дѣлу! — кричалъ маленький, пухленькій, кругленькій, съ лицомъ вербнаго херувима, прапорщикъ Бесчастный.

— Довольно бы и одной, — усмѣхнулся Мазалевскій.

— Клянусь купить свободу кровью! Клянусь купить свободу кровью! — покрывая всѣ голоса, однообразно гудѣлъ, какъ дьяконъ на амвонѣ, Артамонъ Захаровичъ; потомъ вдругъ остановился, взмахнулъ обѣими руками въ воздухъ и ударилъ себя по толстому брюху.

— Да что, господа, угодно, сейчасъ поклянусь на Евангеліи: завтра же поѣду въ Таганрогъ и нанесу ударъ?

— Слушайте, слушайте, Сергѣй Муравьевъ говоритъ!

Онъ почти никогда не говорилъ на собраніяхъ, и это такъ удивило всѣхъ, что крики тотчасъ же смолкли.

— Господа, завтра мы не начнемъ, — заговорилъ Муравьевъ спокойнымъ голосомъ: — начинать завтра — значитъ погубить все дѣло. Говорятъ, солдаты готовы; но пусть каждый изъ насъ спроситъ себя, готовъ ли онъ самъ; ибо многіе исподволь кажутся рѣшительными, а когда настанетъ время дѣйствовать, то куда дѣнется духъ? Ежели слова мои обидны, простите

меня, но, идучи на смерть, надо сохранять достоинство, а то, что мы сейчас дѣлаемъ, недостойно разумныхъ людей... Да, завтра мы не начнемъ; но вотъ что мы можемъ сдѣлать завтра же: дать клятву при первомъ знаѣ явиться съ оружіемъ въ рукахъ. Согласны ли вы?

Онъ умолкъ, и сдѣлалось такъ тихо, что слышно было, какъ за темными окнами верхушки сосенъ шепчутся. Все, что казалось легкимъ, когда говорили, кричали,—теперь, въ молчаніи, отяжелѣло грозною тяжестью. Какъ будто только теперь всѣ поняли, что слова *будутъ* дѣлами, и за каждое слово дастся отвѣтъ.

Предсѣдатель спросилъ, принято или отвергнуто предложеніе Муравьева

— Принято! Принято!—отвѣтили немногіе, но по лицамъ видно было, что приняли всѣ.

Рѣшивъ, когда и гдѣ сойтись въ послѣдній разъ, чтобы дать клятву,—завтра въ томъ же мѣстѣ, въ хатѣ Андреевича,—стали расходиться.

— Какъ хорошо, Господи, какъ хорошо! А я и не зналъ... вѣдь, вотъ живешь такъ, и не знаешь,—говорилъ Саша; лица его не видно было въ темнотѣ, но слышно по голосу, что улыбается; должно быть, самъ не понималъ, что говоритъ,—какъ во снѣ бредилъ.

Надъ свѣтлымъ кругомъ, падавшимъ отъ фонаря на лѣсную дорожку съ хвойными иглами, нависала чернота черная, какъ сажа въ печи; а зарницы мигали, подмигивали, какъ будто небесные заговорщики дѣлали знаки земнымъ; и въ мгновенномъ блескѣ видно было все, какъ днемъ: бѣлая хата Млиницъ на одномъ концѣ просѣки, а на другомъ—внизу, подъ

обрывомъ, за излучистой Гуйвою, бѣлыя палатки лагерь, далекіе луга, холмы, рощи и низко ползущія по небу тяжкія, грозныя тучи. Свѣтъ потухалъ — и еще чернѣе черная тьма. И страшны, и чудны были эти мгновенныя прозрѣнья, какъ у исцѣляемаго слѣпо-рожденнаго.

Впереди Голицына разговаривали, идучи рядомъ съ Сашею, такіе же молоденькіе, какъ онъ, подпоручики и прапорщики 8-ой артиллерійской бригады, только что поступившіе въ Общество. Голоса то приближались, то удалялись, такъ что слышались только отдѣльныя фразы, и казалось, что всѣ они тоже не знаютъ, что говорятъ, бредятъ, какъ сонные, и въ темнотѣ улыбаются.

— Цѣль Общества — доставить одинакія преимущества для всѣхъ людей вообще, тѣ самыя, что назначилъ Всевышній Творецъ для рода человѣческаго.

— Не Творецъ, а натура.

— Только то правленіе благополучно, въ которомъ соблюдены всѣ права человѣчества.

— Республиканское правленіе — самое благополучное.

— Когда въ Россіи будетъ республика, все процвѣтетъ — науки, искусства, торговля, промышленность.

— Переменится весь существующій порядокъ вещей.

— Все будетъ по-новому...

Спустившись съ обрыва на большую дорогу, гдѣ ждали ихъ денщики съ лошадьми, — Сергѣй Муравьевъ, Бестужевъ и Голицынъ поѣхали въ Лещинскій лагерь.

Бестужевъ молчалъ. Какъ это часто съ нимъ бы-

вало послѣ вдохновенья, онъ вдругъ усталъ, потухъ; свѣтлякъ — днемъ: вмѣсто волшебнаго пламени, червячокъ сѣренъкій. Муравьевъ тоже молчалъ. Голицынъ взглянулъ на лицо его при свѣтѣ зарницы, и опять поразило его то беззащитное, обреченное что замѣтилъ онъ въ этомъ лицѣ еще при первомъ свиданіи: въ лютый морозъ на снѣжномъ полѣ — зеленая вѣтка весенняя.

А Саша въ ту ночь долго не могъ заснуть, все думалъ о завтрашнемъ, а когда заснулъ, — увидѣлъ свой самый счастливый сонъ: золотыхъ рыбокъ въ стеклянной круглой вазѣ, наполненной свѣтлой водою; рыбы смотрѣли на него, какъ будто хотѣли сказать: „а ты и не зналъ, что все по-новому?“ Проснулся, счастливый, и весь день былъ счастливъ.

Собраніе назначили въ самый глухой часъ ночи, передъ разсвѣтомъ, потому что замѣтили, что за ними слѣдятъ. Ночь опять была черная, душная, но уже не зарницы блестѣли, а молніи съ тихимъ, точно подземнымъ, ворчаньемъ далекаго грома, и сосны подъ внезапно налетавшимъ вѣтромъ гудѣли протяжнымъ гуломъ, какъ волны прибоя; а потомъ наступала вдругъ тишина бездыханная, и странно, и жутко перекликались въ ней пѣтухи предразсвѣтные.

Когда Саша, войдя въ хату Андреевича, взглянулъ на лица заговорщиковъ, ему показалось, что всѣ такъ же счастливы, какъ онъ. Хата прибрана, полъ выметенъ, скамьи и стекла на окнахъ вымыты; столъ накрытъ чистою бѣлою скатертью; на столѣ не сальныя, а восковыя свѣчи, въ ярко вычищенныхъ мѣдныхъ подсвѣчникахъ, старинное масонское Евангеліе въ переплетѣ малиноваго бархата и обнаженная шпага: когда-то Славяне клялись на шпагѣ и Еван-

геліи; Андреевичъ не зналъ, какъ будетъ сегодня, и на всякій случай приготовилъ.

На майоръ Спиридовъ былъ парадный мундиръ съ орденами, а на секретаръ Ивановъ—новый круглый темно-вишневый фракъ съ бѣлымъ кисейнымъ галстукомъ. Отъ вербнаго херувима, Бесчастнаго пахло Бердичевскимъ „Парижскимъ ландышемъ“. У Кузьмина волосы, по обыкновенію, торчали копною, но видно было, что онъ ихъ пытался пригладить. „Милая Настасьюшка, ёжикъ причесанный!“—подумалъ Саша съ нѣжностью.

Говорили вполголоса, какъ въ церкви передъ обѣдней; двигались медленно и неловко-застѣнчиво, старались не смотрѣть другъ другу въ глаза; стыдились чего-то, не знали, что надо дѣлать. И на лицахъ была тихая торжественность, какъ у дѣтей въ большіе праздники. Черта, раздѣляющая два Общества, сгладилась, какъ будто всѣхъ соединилъ какой-то новый заговоръ, болѣе страшный и таинственный.

Всѣ были въ сборѣ. Только Артамонъ Захаровичъ да капитанъ Пыхачевъ не пришли. А полковникъ Тизенгаузенъ пришелъ, но объявилъ, что клясться не будетъ.

— Никакой клятвы не нужно: если необходимо начать, я начну и безъ клятвы; въ Евангеліи сказано: не клянитесь вовсе...

Ему не возражали, а только попросили уйти.

— Я никому, господа, мѣшать не намѣренъ. Сдѣлайте одолженіе...

Это значило: „если вамъ угодно валять дураковъ, —валяйте!“

— Уходите, уходите!—повторилъ Сухиновъ тихо;

но такъ рѣшительно, что тотъ посмотрѣлъ на него съ удивленіемъ, хотѣлъ что-то сказать, но только пожалъ плечами, усмѣхнулся брезгливо, всталъ и вышелъ.

Сергѣй Муравьевъ сидѣлъ, опустивъ голову на руку и закрывъ глаза. Когда Тизенгаузенъ ушелъ, онъ вдругъ поднялъ голову и посмотрѣлъ на Голицына молча, какъ будто спрашивалъ: „хорошо ли все это?“ — „Хорошо“, — отвѣтилъ Голицынъ, тоже молча, взглядомъ.

Бестужевъ что-то писалъ на листкахъ, грызъ ногти, хмурился, ерошилъ волосы: должно быть, къ рѣчи готовился.

— Ну, что-жъ, господа, начинать пора? — сказалъ кто-то.

Бестужевъ перебралъ листки свои въ послѣдній разъ, всталъ и началъ:

— Вѣкъ славы военной съ Наполеономъ кончился; теперь настало время освобожденія народовъ. И неужели русскіе, ознаменовавшіе себя столь блистательными подвигами въ войнѣ отечественной, — русскіе, исторгшіе Европу изъ-подъ ига Наполеона, не свергнуть собственнаго ига и не отличать себя благородной ревностью, когда дѣло пойдетъ о спасеніи отечества, счастливое преобразование коего...

„Не то, не то!“ — чувствовалъ онъ и, не глядя на лица слушателей, зналъ, что и они это чувствуютъ. Стыдно, страшно: неужели Тизенгаузенъ правъ?

Вдругъ забылъ, что хотѣлъ сказать, — остановился и продолжалъ читать по бумажѣ:

— Взгляните на народъ, какъ онъ угнетенъ; торговля упала, промышленности нѣтъ, бѣдность до

того доходить, что нечѣмъ платить не только подати, но даже недоимки; войско ропщетъ. При сихъ обстоятельствахъ нетрудно было нашему Обществу прійти въ состояніе грозное и могущественное. Скоро воспріиметъ оно свои дѣйствія, освободитъ Россію и, быть можетъ, цѣлую Европу. Порывы всѣхъ народовъ удерживаетъ русская армія; коль скоро она провозгласитъ свободу, всѣ народы подымутся...

„Не то, не то!“ Робѣлъ, глупѣлъ, проваливался, какъ плохой актеръ на сценѣ или ученикъ на экзаменѣ. Бросилъ бумажку, взмахнулъ руками, какъ утопающій, и воскликнулъ:

— На будущій годъ всему конецъ! Самовластье падетъ, Россія избавится отъ рабства, и Богъ намъ поможетъ...

„Богъ намъ поможетъ“, — сказалъ нечаянно, почти безсознательно, — но когда сказалъ, почувствовалъ, что это *то самое*.

— Богъ намъ поможетъ! Поможетъ Богъ! — повторили всѣ и сразу встали, какъ будто вдругъ поняли, что надо дѣлать.

И Бестужевъ понялъ. Разстегнулъ мундиръ и началъ снимать съ шеи образъ. Руки его такъ тряслись, что онъ долго не могъ справиться. Стоявшій рядомъ секретарь Ивановъ помогъ ему.

Бестужевъ взглянулъ на темный ликъ въ золотомъ окладѣ, ликъ Всѣхъ Скорбящихъ Матери. И вспомнилось ему лицо его старушки матери; вспомнилось, какъ она звала его къ себѣ, умирая. Что-то подступило къ горлу его, и онъ долго не могъ говорить; наконецъ, произнесъ:

— Клянусь... Господи, Господи... клянусь умереть за свободу!

Хотѣлъ еще что-то сказать:

— Россія Матерь... Всѣхъ Скорбящихъ Матеръ!.. — началъ и не кончилъ, заплакалъ, перекрестился, поцѣловалъ образъ и передалъ его Иванову. Образъ переходилъ изъ рукъ въ руки, и всѣ клялись.

Многіе приготовили вѣтвы, но въ послѣднюю минуту забыли ихъ; такъ же какъ Бестужевъ, начинали и не кончали, бормотали невнятно, восноязычно.

— Клянусь любить отечество паче всего!

— Клянусь вспомоществовать вамъ, друзья мои, отъ этой святой для меня минуты!

— Клянусь быть всегда добродѣтельнымъ! — пролепеталъ Саша съ рыданіемъ.

— Клянусь, свобода или смерть! — сказалъ Кузьминъ, и по лицу его видно было, что, какъ онъ сказалъ, такъ и будетъ.

А когда очередь дошла до Борисова, что-то промелькнуло въ лицѣ его, что напомнило Голицыну разговоръ ихъ въ Васильковской пасѣвѣ: „скажешь — и все пропадетъ“. Не крестясь и не цѣлуя образа, онъ передалъ его сосѣду, взялъ со стола обнаженную шпагу, поцѣловалъ ее и произнесъ клятву Славянъ:

— Клянусь посвятить послѣдній вздохъ свободѣ! Если же нарушу клятву, то оружіе сіе да обратится остриемъ въ сердце мое!

— Сохрани, спаси, помилуй, Матерь Пречистая! — повторилъ Голицынъ слова умирающей Софьи.

— Да будетъ единъ Царь на небеси и на земли — Иисусъ Христосъ! — проговорилъ Сергѣй Муравьевъ слова *Катехизиса*.

Клятвы смѣшивались съ возгласами:

— Да здравствуетъ конституція!

— Да здравствуетъ республика!

— Да погибнетъ различіе сословій!

— Да погибнетъ тиранъ!

И всѣ эти возгласы кончались однимъ:

— Умереть, умереть за свободу!

— Затѣмъ умирать? — воскликнулъ Бестужевъ, забывъ, что только что самъ клялся умереть. — Отечество всегда признательно: оно щедро награждаетъ вѣрныхъ сыновъ своихъ. Вы еще молоды; наградой вашею будетъ не смерть, а счастье и слава...

— Не надо! Не надо!

— Говоря о наградахъ, вы оскорбляете насъ!

— Не для наградъ, не для славы хотимъ освободить Россію!

— Сражаться до послѣдней капли крови, — вотъ наша награда!

И обнимались, цѣловались, плакали.

— Скоро будемъ счастливы! Скоро будемъ счастливы! — бредилъ Саша.

Такая радость была въ душѣ Голицына, какъ будто все уже исполнилось — исполнилось пророчество:

— Да будетъ одинъ Царь на землѣ и на небѣ — Іисусъ Христосъ.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Будеть вамъ шишъ подъ носъ!—воскликнулъ о. протопопъ, накладывая себѣ на тарелку кусокъ кулебяки съ вязигою.

— Не слушайте его, господа: онъ всегда, какъ лишнее выпьетъ, въ меланхоліи бываетъ,—возразилъ полицеймейстеръ, отставной гусаръ Абсентовъ.

— Врешь,—продолжалъ о. протопопъ, —меланхоліи я не подверженъ, а отъ водки пророческій духъ въ себѣ имѣю и все могу предсказывать. Вотъ помяните слово мое: будетъ вамъ шишъ подъ носъ!

— Заладила сорока Якова... что это, право, отецъ Алексѣй? Даже обидно: мы самого лучшаго надѣемся, а вы намъ шишъ подъ носъ, —вступился хозяинъ, городничій Дунаевъ.

Жена его была именинница. На именинную кулебяку собрались таганрогскіе чиновники и толковали о предстоящихъ наградахъ, по случаю пріѣзда государева.

— За здравіе его императорскаго величества! — провозгласилъ хозяинъ, вставая, торжественно.

— Ура! Ура!

Шли сапуринское, или цинливское и такъ на-
гружались, что городничій затянулъ-было свою люби-
мую нѣсенку:

Тщетны Россанъ всѣ престоны,
Храбрость есть побѣдъ залогъ...

и свелъ печально на „барыню-сударыню“. Тутъ гости
околожили хозяина, подняли его на руки и стали ка-
чать. А о. протопопъ, несмотря на почтенную на-
ружность и бѣлую бороду, собрался плясать, уже
поднялъ рису, но споткнулся, упалъ на колѣни къ
полицеймейстеру и сталъ цѣловать его съ нѣжностью.

— Васенька, а Васенька, почему тебя Абсенто-
вымъ звать? Абсента по-латыни речется *отсутствующій*:
у насъ-де въ городѣ столь нарочитый порядокъ, что по-
лицеймейстеръ якобы отсутствующій, такъ, что ли, а?..

Но языкъ у него заплелся; онъ обвелъ всѣхъ
мутнымъ взоромъ и воскликнулъ опять съ такимъ
зловѣщимъ видомъ, что стало жутко:

— А все-таки будетъ вамъ нинѣ подъ носъ!

„Почтеннѣйшій братецъ, — писалъ въ эти дни
предсѣдатель таганрогскаго коммерческаго суда, Фе-
доръ Романовичъ Мартосъ: — государь изволилъ къ
намъ пожаловать 13-го числа сего сентября. Рѣдкій
день проходитъ, чтобы не было приказанія быть въ
башмакахъ и подъ пудрою, отъ чего я такъ усталъ,
что едва держусь на ногахъ. Говорятъ, его величе-
ству въ Таганрогѣ все очень нравится, и онъ рас-
полагаетъ пробыть здѣсь всю зиму, а можетъ быть,
и долѣе. Учреждена экстра-почта; фонари поставлены
по Московской и Греческой, 63 фонаря—настоящая
иллюминація. Вчерашняго дня пріѣхалъ генералъ
Клейнмихель, а скоро будетъ и графъ Аракчеевъ.
Что изъ всего этого выйдетъ, единому Богу извѣстно.

Однако, столь неожиданное посѣщеніе высокихъ особъ всѣхъ насъ куражить“.

Мартосовъ домъ былъ окнами въ окна съ домомъ бывшаго городничаго Папкова, на Московской улицѣ, рядомъ съ Крѣпостною площадью, гдѣ жилъ государь. Хотя Федоръ Романовичъ запретилъ домашнимъ выглядывать въ окна, но Ульяна Андреевна, госпожа Мартосова, была такъ любопытна, что не могла утерпѣть, взбиралась на чердакъ, къ слуховому окну, и поглядывала въ подзорную трубку. По случаю теплой погоды, окна дворца открыты были настежь, и можно было видѣть, что дѣлается тамъ. Государь хлопоталъ, устраивая императрицыны комнаты. Самъ откупоривалъ ящики съ посудой, вынималъ фарфоръ и хрусталь изъ соломы, чтобы не разбилось что, не попортилось; разставлялъ мебель: велитъ поставить и отойдетъ, посмотреть, хорошо ли, уютно ли; самъ гвозди вбивалъ для зеркалъ и картинъ, шторы навѣшивалъ.

— Взлѣзетъ, бывало, на лѣсенку, гвозди держать въ зубкахъ, да молоточкомъ въ стѣну тукъ-тукъ, какъ простой обойщикъ,—разсказывала впослѣдствіи Ульяна Андреевна:—и такое у него личико доброе, такое ласковое, что я безъ слезъ глядѣть не могла. Сущій ангелъ!

— Мы его иначе не называли, какъ ангеломъ,—вспоминали другіе таганрогскіе жители:—аккуратно, отъ семи до девяти утра, ходилъ пѣшкомъ по городу, въ лейбъ-гусарскомъ сюртукѣ, гусарскихъ сапогахъ и походной фуражкѣ, а въ первомъ часу изволилъ ѣздить верхомъ въ кавалергардскомъ мундирѣ и шляпѣ съ плюмажемъ, и рѣдко прогулка сія не была ознаменована какою-нибудь помощью бѣдному семейству,

никъ самимъ отысканному, или какинъ-нибудь инымъ благоуханіемъ; только о томъ и думалъ, какъ бы сдѣлать добро кому, обласкать да обрадовать.

Вспоминали и о томъ, какъ, во время этихъ прогулокъ, государь любилъ вступать въ бесѣду съ простыми людьми — солдатами, матросами, крестьянами и даже съ тѣми нищими странниками, что ходятъ по большимъ дорогамъ, на постройку церквей собираютъ. Особенно, одинъ изъ нихъ понравился ему, и онъ долго съ нимъ наединѣ бесѣдовалъ: бродяга бездомный, безшпортиный, родства не помнящій, по имени Федоръ Кузьмичъ.

Таганрогъ—уѣздный городъ на берегу Азовскаго моря; на западѣ—Миусскій лиманъ, на востокѣ—Донецкое гирло. Городъ—на мысу, съ трехъ сторонъ—море, и въ концѣ почти каждой улицы оно голубѣетъ, зеленѣетъ, какъ стекло бутылки, мутно-пыльное.

Невеселый городишка: пустыри-площади, товарные склады, пакгаузы и разсыпанные, какъ пашечки, низенькіе, точно приплюснутые, домики съ облупленной штукатуркою и вѣчно закрытыми ставнями; а кругомъ степь—тридцать лѣтъ скажи, никуда не доскачешь.

Но государю все это нравилось, какъ въ томъ счастливомъ снѣ, который снился ему въ началѣ путешествія: та же осень весенняя; та же комета, его неразлучная спутница, сіявшая каждую ночь, здѣсь, на ясномъ небѣ юга, еще лучезарнѣе; и въ ея паденіи стремительномъ—тотъ же зовъ таинственный, надежда безконечная.

23-го сентября онъ выѣхалъ встрѣчать императрицу Елисавету Алексѣевну на первую отъ Таганрога

почтовую станцію—Коровій-Бродъ, пересѣлъ къ ней въ дормезъ и прибылъ въ городъ въ 7 часовъ вечера. Отслушавъ молебенъ въ Греческой церкви, ихъ величества отбыли во дворецъ.

Дворецъ — простенькій, каменный, съ желтымъ фасадомъ и зеленою крышею, одноэтажный, напоминавшій подгородную усадьбу средней руки помѣщика. Изъ оконъ, выходящихъ на дворъ и садикъ, видно море, а изъ тѣхъ, что на улицу, — пустынная площадь и земляные валы старой Петровской крѣпости.

Домъ раздѣлялся на двѣ половины большимъ сквознымъ заломъ — пріемною или столовою. Направо — покои государевы, двѣ комнатки: одна, побольше, угловая — кабинетъ-спальня; другая, маленькая, полукруглая, въ одно окно, — уборная; за нею — темный коридоръ-закута для камердинера и лѣсенка внизъ, въ подвальную гардеробную. Налѣво — покои императрицыны — восемь комнатокъ, тоже маленькихъ, но немного лучше убранныхъ. Вездѣ потолки низенькіе, небольшія оковалки и огромныя печи изразцовыя, какъ въ домахъ купеческихъ.

— Вамъ нравится, Лізе, въ самомъ дѣлѣ, нравится? — спрашивалъ государь, показывая комнаты: — я вѣдь все это самъ устраивалъ и такъ боялся, что вамъ не понравится...

— Какъ хорошо, Господи, какъ хорошо! — восхищалась она. — А эта спальня — точь въ точь маменькина красная комната...

По каждой мелочи видѣла, какъ онъ заботился о ней: вотъ любимый диванъ ея изъ кабинета царско-сельскаго; на стѣнѣ старинные ландшафты родимыхъ холмовъ Карлсруйскихъ и Баденскихъ, — она уже давно хотѣла ихъ выписать; а на полочкѣ — книги: Мемуары

Жалелъ, Вальтеръ-Скоттъ, Пушкинъ,—тѣ самыя, которыя она собиралась читать.

— А вотъ и онъ, онъ! Гдѣ вы его отыскали? Я думала, совсѣмъ пропалъ,—засидѣлась она и захлопала въ ладоши, какъ маленькая дѣвочка.

Это были настушокъ фарфоровый—столонныя часы, незапамятно-давнiе, дѣтскiе,—подарокъ матери: гдѣ тридцать назадъ ручка у него сломалась; вотъ и теперь сломана, а часы все тикаютъ да тикаютъ.

— Какъ хорошо, Господи, какъ хорошо! — повторила, опускаясь на диванъ и закрывая глаза съ блаженной улыбкой.

Къ тишинѣ прислушалась:

— А это что?

— Море: въ гавани мелко, а дальше глубоко, и тамъ настоящій прибой. Вотъ увидите, какъ хорошо спится подъ этотъ шумъ.

Онъ сидѣлъ рядомъ съ нею и цѣловалъ ея руки.

— Ну, вотъ мы и выѣстѣ, мой другъ, выѣстѣ одни, какъ я обѣщалъ вамъ, помните?

— Не говорите, не надо...

— Отчего не надо?

Не отвѣтила, но онъ понялъ, что она еще боится, не вѣрить счастью своему.

Въ ту ночь уснула такъ сладко, какъ не спала уже многiе годы; только отъ тишины просыпалась—и засыпала опять еще слаще, убаюканная шумомъ волнъ, какъ колыбельною пѣсенкой.

Такъ была больна при выѣздѣ изъ Царскаго, что доѣхать живой не надѣялась, а тутъ, съ первыхъ же дней по пріѣздѣ, стала вдругъ оживать, расцвѣтать, и доктора глазамъ своимъ не вѣрили, глядя на это исцѣленіе чудесное.

Несмотря на конецъ октября, погода стояла почти лѣтняя: тихіе, теплые дни, тихія, звѣздныя ночи. Когда она вдыхала воздухъ, пахнущій моремъ и степью, каждое дыханіе было радостью. Но не солнце, не воздухъ были главною причиною исцѣленія, а то, что онъ былъ съ нею, и такой спокойный, счастливый, какимъ она уже давно его не видѣла.

Не отходилъ отъ нея; казалось, ни о чемъ не думалъ, кромѣ нея, какъ будто, послѣ тридцати лѣтъ супружества, наступилъ для нихъ медовый мѣсяцъ. Ухаживалъ за нею, разъ десять на дню спрашивалъ: „хорошо ли вамъ? Не надо ли чего-нибудь еще?“ Угадывалъ ея желанія, прежде чѣмъ она успѣвала ихъ высказать.

Гуляя съ нимъ въ городскомъ саду, жалѣла, что моря не видно, а на слѣдующее утро онъ привелъ ее на то же мѣсто и показалъ видъ на море: ночью велѣлъ сдѣлать дорожку. Другое мѣсто, за городомъ, близъ карантина, тоже на берегу моря, понравилось ей, и онъ тотчасъ приказалъ поставить тамъ скамейку, самъ нарисовалъ планъ сада и выписалъ изъ Ропши ученаго садовника.

Никогда никто изъ придворныхъ не сопровождалъ ихъ въ этихъ уединенныхъ прогулкахъ, и если даже видѣлъ случайно издали, то спѣшилъ отвернуться, не кланяясь, чтобы не помѣшать „молодымъ супругамъ“.

Однажды сидѣли они на той новой скамейкѣ, близъ карантина. Вечеръ былъ ясный. Солнце зашло, и въ золотисто-розовомъ небѣ плылъ, какъ тающая льдинка, тонкій серпъ новорожденного мѣсяца. Внизу шумѣлъ прибой; разбивались волны мутно-зеленыя, и чайки носились надъ ними съ жалобными криками.

Съ обрыва вела тропинка къ морю; иногда они спускались по ней и собирали на пескѣ ракушки. Берегъ былъ высокій; море разстиалось безконечное. Передъ ними—море, за ними—степь, и между этими двумя пустынями, здѣсь, на краю свѣта,—они, какъ будто въ цѣломъ мірѣ, одни.

— Какъ вамъ въ лицу этотъ розовый жемчугъ, Live,—сказалъ государь.

На ней было ожерелье изъ розоваго жемчуга, давнишній подарокъ персидскаго шаха. Много лѣтъ не надѣвала его; для чего же надѣла теперь? Ужъ не для того ли, чтобъ ему понравиться? Неужели повѣрила въ медовый мѣсяцъ, старая, больная, полумертвая? Подумала объ этомъ и застыдилась, покраснѣла.

— Вечеромъ розовый жемчугъ еще розовѣе, прекраснѣе; онъ похожъ на васъ, — сказалъ государь, посмотрѣвъ на нее съ улыбкою; помолчалъ и прибавилъ:

— А знаете, какъ называютъ насъ господа свитскіе?

— Какъ?

— Молодыми супругами.

Ничего не отвѣтила, покраснѣла еще больше: въ самомъ дѣлѣ, въ блѣдно-розовѣющемъ лицѣ ея была послѣдняя прелесть, подобная вечернему отливу розовой жемчужины.

— Видите, смѣются надъ нами, — наконецъ, проговорила она. — Это все вы: слишкомъ балуете меня; берегитесь, избалуете такъ, что потомъ сами рады не будете...

— Когда потомъ?

— А вотъ, когда уѣдете.

— Не думайте объ этомъ, Lise.

— Не могу не думать. Мнѣ надо приготовиться заранѣе, какъ больные къ операціи готовятся... Я давно хотѣла спросить васъ: когда ѣдете?

— Не знаю. Говорю всѣмъ, къ новому году, а самъ не вѣрю. Кажется, никогда. Вотъ выйду въ отставку, куплю тотъ уголокъ въ Крыму, у моря, Ореанду, и поселимся тамъ навсегда...

Посмотрѣла на него молча, и въ широко раскрытыхъ глазахъ ея засіяла безумная радость, но тотчасъ потухла: знакомый страхъ—страхъ счастья напалъ на нее, подобный страху смертному. „Когда я счастлива, мнѣ стыдно и страшно, какъ будто я взяла чужое, украла и знаю, что буду наказана“,—вспомнилось ей то, что писала въ дневникѣ своемъ.

— Не говорите, не надо, не надо!—сказала такъ же какъ тогда, въ первый день свиданья, и онъ такъ же спросилъ:

— Отчего не надо? Отчего вы боитесь, не вѣрите, Lise? О, если бы я могъ сказать! Да вотъ не могу... Надо было тридцать лѣтъ назадъ. А я только теперь... Но какъ же вы сами не видите? Не видите? Не понимаете?..

Молчала, а сердце падало отъ страха счастья—страха смертнаго.

Одной рукой онъ держалъ ея руку, другой обнималъ ея станъ:

Амуру вздумалось Психею,
Рѣзвися, поимать...

— О, Lise, Lise, какъ я былъ глупъ всю жизнь! Точно спалъ и видѣлъ во снѣ, что люблю ее, но не зналъ, кто она... И вотъ, только теперь узналъ...

Здѣсь все—мечта и сонъ, но будетъ пробужденіе;
Тебя узналъ я здѣсь въ прелестномъ сновидѣніи,—
Узнаю наяву...

— Не надо, не надо, — закрыла лицо руками, заплакала; слезы лились, неудержимыя, неутолимыя, безконечно-горькія, безконечно-сладкія, слезы любви, которыхъ за всю свою жизнь не успѣла выплакать.

Онъ опустился передъ ней на колѣни, тоже заплакалъ и зашепталъ, какъ первое признаніе любви—шестнадцатилѣтній мальчикъ четырнадцатилѣтней дѣвочкѣ:

— Люблю, люблю!...

Повторялъ одно это слово и больше ничего не могъ сказать. Она вдругъ перестала плакать, наклонилась къ нему, обняла голову его, и губы ихъ слились въ поцѣлуй. Никто не видѣлъ этого перваго поцѣлуя любви, кромѣ степи, моря, неба и новорожденного мѣсяца.

Не хотѣлось возвращаться въ городъ; сѣли въ коляску и поѣхали дальше за карантинъ.

Кругомъ была степь, поросшая пыльно-сизой полынью да сухимъ бурьяномъ; ни деревца, ни кустика; только вдали одинокая мельница махала крыльями, и дрофа длинноногая, четко чернѣя въ ясномъ небѣ, на степномъ курганѣ, ходила взадъ и впередъ, какъ солдатъ на часахъ. Изрѣдка тянулся по пустынной дорогѣ обозъ чумаковъ съ азовскою таранью или крымскою солью; перекопскіе татары шли съ караваномъ верблюдовъ, нагруженныхъ арбузами; полудикій ногаецъ-пастухъ, верхомъ на лошадеѣ невзнузданной, гналъ отару овецъ; и высоко въ небѣ кружилъ надъ ними степной орланъ-бѣлохвость съ хищнымъ клѣкотомъ. И опять ни души—пусто, мертво.

Какъ вѣрная сообщница, степь уединяла ихъ, охраняла отъ суеты человѣческой, въ которой оба они погибали всю жизнь.

Наступали сумерки; поднялся холодный вѣтеръ съ моря.

— Холодно, Lise? Говорилъ я, что надо взять шубу. Ну что, если простудитесь?

— Да нѣтъ же, нѣтъ, тепло. Видите, какія руки горячія? Тепло, хорошо, лучше не надо...

Онъ обнималъ ее, куталъ въ шинель свою, и, чувствуя теплоту тѣла его, она прижималась къ нему со стыдливой неловкостью. Да, хорошо, лучше не надо: долго бы, долго, вѣчно такъ!

— А что, мой другъ, давно я васъ хотѣлъ спросить, — началъ онъ для себя самого неожиданно: — что вы думаете объ Аракчеевѣ?

— Объ Аракчеевѣ? — удивилась она и, по старой привычкѣ, испугалась, насторожилась, отвѣтила не прямо, а съ невольною женскою хитростью.

— Вы же знаете, я плохой политикъ, ничего не понимаю въ дѣлахъ государственныхъ...

Всегда боялась Аракчеева суевѣрнымъ страхомъ. При покойномъ императорѣ Павлѣ I, бывало, приходилъ онъ къ нимъ въ спальню, рано, когда они еще лежали въ постели: батюшка требовалъ, чтобы наследникъ былъ на ногахъ до зари, а Сашенькѣ вставать не хотѣлось; тутъ же, въ постели, принималъ онъ рапорты и подписывалъ, а она закрывалась съ головой одѣяломъ, съ такимъ чувствомъ, что вотъ-вотъ Аракчеевъ залѣзетъ къ ней въ постель, какъ сороконожка огромная.

— Ну что же, Lise, не хотите сказать?

— Я его такъ мало знаю...

— Ну, а все-таки, какъ вамъ кажется, какой онъ человекъ, хорошій или дурной?

— А вамъ очень нужно?

— Очень.

— Сейчасъ?

— Сейчасъ.

— Мнѣ кажется... да нѣтъ, не могу. Помогите мнѣ. Что именно вы хотите знать?

— Ну, какъ вы думаете, онъ меня...

Почему-то языкъ не повернулся сказать: „любить“.

— Онъ мнѣ преданъ?

— Преданъ? Да... нѣтъ, не знаю... Мнѣ кажется, онъ васъ не любитъ, онъ никого любить не можетъ...

— Значить, злой, фальшивый?

— Нѣтъ, не злой и не добрый, а никакой... ну, вотъ не умѣю сказать. Никакой, пустой, ничтожный... Вы на меня сердиться не будете?

Взглянула на него: странная улыбка прошла по лицу его—и она поняла, что онъ не будетъ сердиться.

— Онъ, самъ по себѣ, ничто,—продолжала уже смѣлѣе:—онъ ваша тѣнь; куда вы, туда и онъ; что вы, то и онъ,—а его самого нѣтъ; кажется, что онъ есть, а его нѣтъ... Ну, вотъ, видите, какія глупости...

— Нѣтъ, Lise, не глупости. Только не знаю, вѣрно ли? Вѣдь быть чужою тѣнью тоже великая жертва...

Замолчалъ и подумалъ: „да, тѣнь моя; взялъ на себя все мое дурное, темное, страшное. Когда солнце было высоко, тѣнь лежала у ногъ моихъ, а когда солнце зашло, тѣнь выросла“...

Не даромъ вспомнилъ объ Аракчеевѣ: много думалъ о немъ въ эти дни.

10-го сентября, въ Грузинѣ произошло убійство Настасьи Минкиной.

„Батюшка, ваше величество, — писалъ Аракчеевъ черезъ два дня послѣ убійства, — случившееся со мною несчастіе, потерянiемъ вѣрнаго друга, жившаго у меня въ домѣ 25 лѣтъ, здоровье и разсудокъ мой такъ разстроило и ослабило, что я одной смерти себѣ желаю, а потому и дѣлами никакими не имѣю силъ и соображенія заниматься. Прощай, батюшка, вспомни бывшаго тебѣ слугу! Друга моего зарѣзали ночью дворовые люди, и я не знаю еще, куда осиротѣвшую голову свою преклоню, но отсюда уѣду“.

Государь получилъ это письмо въ Таганрогѣ, 22-го сентября, наканунѣ пріѣзда императрицы, и отвѣтилъ ему въ тотъ же день:

„Любезный другъ, нѣсколько часовъ, какъ я получилъ письмо твое и печальное извѣстіе объ ужасномъ происшествiи, поразившемъ тебя. Сердце мое чувствуетъ все то, что твое должно ощущать. Жаль мнѣ выше всякаго изреченія твоего чувствительнаго сердца. Но, другъ мой, отчаяніе есть грѣхъ передъ Богомъ. Предайся слѣпо Его святой волѣ. Ты мнѣ пишешь, что хочешь удалиться изъ Грузина, но не знаешь, куда ѣхать. Пріѣзжай ко мнѣ: у тебя нѣтъ друга, который бы тебя искреннѣе любилъ. Но заклинаю тебя всѣмъ, что есть святого, вспомни отечество, сколь служба твоя ему полезна и, могу сказать, необходима, а съ отечествомъ и я неразлученъ. Прощай, не покидай друга, вѣрнаго тебѣ друга“.

Отправивъ письмо, государь вызвалъ въ Таганрогъ генерала Клейнмихеля, находившагося въ то

время въ южныхъ поселеніяхъ, и велѣлъ ему скакать въ Грузино, разузнать обо всемъ и уговорить Аракчеева, во что бы то ни стало, пріѣхать въ Таганрогъ.

Что пріѣдетъ, — не сомнѣвался, но, не получая отвѣта, написалъ другое письмо:

„Неужели тебѣ не придетъ на мысль то крайнее безпокойство, въ которомъ я долженъ находиться о тебѣ въ такую важную минуту твоей жизни? Грѣшно тебѣ забыть друга, любящаго тебя столь искренно и такъ давно, и еще грѣшнѣе сомнѣваться въ его участіи. Убѣдительно тебя прошу, если самъ не въ силахъ, то прикажи меня подробно извѣщать на свой счетъ. Я въ сильномъ безпокойствѣ“.

Безпокойство было, но была и странная безпечность, безболѣзненность: такъ параличнаго въ безчувственное тѣло волютъ иглою, а ему не больно, только жутко смотрѣть, какъ игла въ тѣло втыкается.

Наконецъ, пришелъ отвѣтъ:

„Батюшка, ваше величество! Послѣ причастія св. Христовыхъ Таинъ, сего числа, получилъ отцовское ваше письмо. Приношу за оное сыновнюю мою благодарность. Я, конечно, возлагаю мое упованіе на Бога, но силы мои меня оставляютъ: біеніе сердца, ежедневная лихорадка, и три недѣли не имѣю ни одной ночи покою, а единая тоска, уныніе и отчаяніе, — все оное привело меня въ такую слабость, что я потерялъ совсѣмъ память и не помню того, что дѣлаю и говорю: слѣдовательно, какія со мною будутъ послѣдствія, единому Богу извѣстно. Ахъ, батюшка! если бы вы увидѣли меня въ теперешнемъ моемъ положеніи, то вы бы не узнали вашего вѣр-

наго слугу. Вотъ положеніе человѣка въ мірѣ семъ: единымъ моментомъ, во власти Божіей, измѣняется все человѣческое положеніе!

„О поѣздѣ моей къ вамъ ничего не могу еще нынѣ сказать; благодарю и чувствую въ полной мѣрѣ ваши милости. Я прошу Бога не о себѣ, а о вашемъ здоровьѣ, которое необходимо для отечества въ нынѣшнее бурное время.

„Описаніе о злодѣйскомъ происшествіи пришлю послѣ, если силы мои укрѣпятся. Легко можетъ быть сдѣлано сіе происшествіе и отъ посторонняго вліянія, дабы сдѣлать меня неспособнымъ служить вамъ и исполнять свято вашу, батюшка, волю, а притомъ, по стеченію обстоятельствъ, можно еще, кажется, заключить, что смертоубійца имѣлъ помышленіе и обо мнѣ, но Богу угодно было, видно, за грѣхи мои оставить меня на мученіе.

„Обнимая заочно колѣни ваши и цѣлуя руки, остаюсь несчастный, но вѣрный вашъ до конца жизни, слуга“.

На слѣдующій день послѣ разговора съ императрицей объ Аракчеевѣ, сидя у себя одинъ въ кабинетѣ, государь перечелъ это письмо и задумался. Нѣтъ, не пріѣдетъ. Сколько бы ни звалъ, ни умолялъ, ни унижался,—не пріѣдетъ. Изъ двухъ друзей своихъ — его, государя, и Настасьи Минвиной, — сдѣлалъ выборъ окончательный. „Никого любить не можетъ; не злой и не добрый, а никакой, пустой, ничтожный. Кажется, что онъ есть, но его нѣтъ“...

Такъ вотъ, кого тридцать лѣтъ онъ считалъ своимъ другомъ единственнымъ. Ну, что-жъ, больно? Нѣтъ, не больно, а только жутко смотрѣть, какъ игла въ безчувственное тѣло втыкается. А что,

если вдругъ почувствуетъ боль? Вѣдь, близко къ сердцу? Не слишкомъ ли къ сердцу близко?

Да, „время бурное“ — это и онъ, Аракчеевъ, знаетъ. А вонъ и Клейнмихель доноситъ: „я обращаю особенное вниманіе на слѣдствіе, дабы открыть начальный слѣдъ злодѣянія, увѣренъ будучи, что здѣсь кроется много важнаго. Вчерашній день получилъ я съ почтою изъ Петербурга записку, никѣмъ не подписанную, подъ заглавіемъ: *О истинномъ и достоверномъ*. Записка сія заключаетъ въ себѣ мнѣніе благомыслящихъ людей о происшествіи, въ Грузинѣ бывшемъ, и злодѣйскій разговоръ подполковника Батенкова“.

Батенковъ—одинъ изъ нихъ, членовъ Тайнаго Общества. „Это—они,—начинается!“—подумалъ государь при первомъ же извѣстіи объ убійствѣ въ Грузинѣ.

Что начинается, зналъ и по другимъ доносамъ. Медлить нельзя: не сегодня-завтра вспыхнетъ бунтъ. Хотѣлъ уничтожить заговоръ; для этого и звалъ Аракчеева—и вотъ Аракчеевъ самъ уничтоженъ.

Когда еще надѣялся, что онъ пріѣдетъ, началъ писать для него записку о Тайномъ Обществѣ; теперь захотѣлось перечестъ. Вынулъ ее изъ шкатулки и сталъ читать.

Былъ четвертый часъ пополудни, день солнечный, ясный. Вдругъ потемнѣло, какъ будто наступили внезапныя сумерки. Густой, черно-желтый туманъ шелъ съ моря. Такъ темно стало въ комнатѣ, что нельзя было читать. Позвонилъ камердинера, велѣлъ подать свѣчи.

Не замѣтилъ, какъ туманъ разсѣялся, опять стало свѣтло, а свѣчи горѣли, ненужныя.

Вошелъ камердинеръ Анисимовъ.

— Чего тебѣ, Егорычъ?

— Не прикажете ли свѣчи убрать, ваше величество? Если кто со двора увидитъ, нехорошо по-думаетъ...

Глядя на дневное тусклое пламя свѣчей, государь старался что-то вспомнить. „Ахъ, да, свѣчи днемъ, — въ покойнику“...

— Ну, что-жъ, убери, пожалуй.

Егорычъ подошелъ къ столу, задулъ свѣчи и унесъ.

Государь хотѣлъ-было опять приняться за чтеніе, но уже не могъ. Вдругъ вспомнились ему петербургскія чуда и знаменія, смѣшныя страшилища.

— А туманъ-то какой, видѣли? Совсѣмъ какъ въ Петербургѣ, — сказала государыня, входя въ комнату.

— Да, совсѣмъ какъ въ Петербургѣ, — повторилъ онъ задумчиво и, взглянувъ на нее, спросилъ.

— Что съ вами?

— Ничего... Я вамъ помѣшала? Вы заняты?

— Lise, что съ вами? Вамъ нездоровится?

— Да нѣтъ же, нѣтъ, право, ничего. Утромъ гуляла пѣшкомъ и, должно быть, устала немного...

Стояла передъ нимъ, потупившись, не глядя на него, вся блѣдная, съ поникшей головой, съ руками, безсильно повисшими. Онъ взялъ ихъ въ свои и цѣловалъ, и смотрѣлъ на нее съ тою вкрадчивою нѣжностью, которой она не умѣла противиться.

— Ну, скажите правду, будьте умницей!

— Вы ѣдете въ Крымъ? — проговорила она и покраснѣла, какъ виноватая.

— Въ Крымъ? Да, можетъ быть... Такъ вотъ что... А кто вамъ сказалъ?

— Волконскій.

— Дуракъ, старая сплетница! Я нарочно вамъ не говорилъ. Самъ еще не знаю навѣрное... А ужъ теперь ни за что не поѣду!

— Почему теперь? Изъ-за меня?

— Нѣтъ, мнѣ самому не хочется. Не знаю отъ чего, но я не могу подумать объ этой поѣздкѣ безъ ужаса...

Посмотрѣла на него и вдругъ повѣрила, обрадовалась.

— Зачѣмъ же ѣдете?

— Да вотъ глупость сдѣлалъ, Воронцову обѣщалъ, а онъ поторопился. Все готово, ждутъ, съѣмки сдѣланы, маршруты назначены...

Когда онъ сказалъ „маршруты“ — слово завѣтное, — поняла, что онъ рѣшилъ ѣхать.

— Ну, и поѣзжайте, поѣзжайте, конечно, — сказала, улыбаясь черезъ силу.

Быть ему въ тягость, висѣть у него на шеѣ, — нѣтъ, лучше все, чѣмъ это.

— Не надолго вѣдь?

— Я думалъ, дней на десять, на двѣ недѣли, самое большее...

— Ну, вотъ, видите, стоитъ говорить объ этомъ? Уѣзжали на мѣсяцы, — и я ничего, а теперь двухъ недѣль не могу. Полноте, что за баловство, право! Вы должны ѣхать, должны непременно, я хочу, чтобъ ѣхали, слышите?

— Хорошо, Iise, только ужъ это въ послѣдній разъ: безъ васъ больше нигуда ни за что не поѣду...

Тѣнь прошла по лицу ея: слово „послѣдній“, такъ же, какъ всѣ такія слова безвозвратныя, внушало ей суевѣрный страхъ.

— А знаете, для чего я еще въ Крымъ хотѣлъ?

— Для чего?

— Чтобы купить Ореанду, выбрать мѣсто для домика.

— Ну, вотъ, какъ хорошо! Ну, и поѣзжайте съ Богомъ!

Положила ему руки на плечи, наклонилась и поцѣловала его въ лобъ. Слезы заблестѣли на глазахъ ея. Онъ думалъ, что это слезы счастья.

— Ну, я пойду, занимайтесь.

— Я сейчасъ къ вамъ, Lise, вотъ только письмо допишу.

Никакого письма не было, но не хотѣлъ оставлять на столѣ записки о Тайномъ Обществѣ: какъ бы Дибичъ не увидѣлъ; все еще скрывалъ отъ всѣхъ эту муку свою, какъ постыдную рану. Когда запиралъ бумаги въ шкатулку, внезапная, его самого удивившая мысль пришла ему въ голову: все связать ей, государынѣ. Вспомнилось, какъ вчера умно говорила объ Аракчеевѣ и какой была въ ту страшную ночь, 11-го марта: когда всѣ покинули его, перетрусили, — она одна сохранила присутствіе духа; спасла его тогда, — можетъ быть, и теперь спасетъ? Хотя бы только не быть одному, раздѣлить муку, хоть съ кѣмъ-нибудь, — это уже половина спасенія.

Обрадовался. Но знакомый стыдъ и страхъ заглушили радость. — Нѣтъ, не сейчасъ, лучше потомъ, когда она поправится, — обманулъ себя, какъ всегда обманывалъ.

Отъѣздъ государя назначенъ былъ 20-го октября. Послѣдніе дни были для обоихъ тягостны. Она сама не понимала, что съ нею, почему ей такъ страшно; убѣждала себя, что это болѣзнь. Умъ убѣждался, а

сердце не вѣрило. И хуже всего было то, что ей казалось, что ему тоже страшно.

Наканунѣ отъѣзда, была такая буря, что государыня надѣялась, что отъѣздъ въ послѣднюю минуту отложить. Съ этою мыслью легла спать. Проснулась рано,—чуть брезжило; соскочила босикомъ съ постели и подбѣжала къ окну посмотреть, какая погода. Густой, черно-желтый туманъ, такой же какъ на-медни; но тихо, какъ будто никакой бури и не было. Прислушалась, чтобы узнать по звукамъ въ домѣ, вѣдутъ ли. Но было еще слишкомъ рано. Опять легла и заснула. Что-то страшное приснилось ей; сердце вдругъ перестало биться, и казалось во снѣ, что она умираетъ. Проснулась, посмотрѣла въ окно: туманъ исчезъ; голубое небо, солнце. У крыльца—колокольчики: должно быть, тройку подали. Его шаги за дверью; дверь открылась; онъ вошелъ.

— Не спите, Lise?

Ничего не отвѣтила, лежала, не двигаясь, глядя на него широко раскрытыми глазами, вся блѣдная, какъ мертвая. Сердце опять, какъ давеча во снѣ вдругъ перестало биться.

— Что съ вами?—проговорилъ онъ въ испугѣ.

Сдѣлала усилие, перевела дыханіе и улыбнулась.

— Ничего, голова немного болитъ: ночью душно было, отъ тумана, должно быть. А теперь какая погода чудесная!

— Lise, ради Бога, позвольте, я позову Вилліе...

— Не надо, прошу васъ. Не бойтесь, буду умницей... Ну, Господь съ вами. Дайте, перекрещу. Ну, еще поцѣлуйте, вотъ такъ... А теперь ступайте, вамъ пора, а я еще посплю.

— Ахъ, Lise, право же, лучше бы...

— Нѣтъ, нѣтъ, ступайте, ступайте же!

Оторвалась отъ него, почти оттолкнула его, упала на подушки и закрыла глаза. Онъ постоялъ, посмотрѣлъ, подумалъ: „спить“, и тихонько на цыпочкахъ пошелъ къ двери, но остановился и еще разъ обернулся. Лежала, не двигаясь, и широко раскрытыми глазами смотрѣла на него, вся блѣдная, какъ мертвая. Вдругъ вспомнилось ему, какъ онъ уходилъ отъ умирающей Софьи, и она такъ же смотрѣла на него, такъ же въ послѣдній разъ онъ обернулся и подумалъ: „не остаться ли?“

Когда ушелъ, ей стало легче; какъ будто очнулась, опомнилась и удивилась, что это было; „болѣзнь“, — подумала опять и мало-по-малу успокоилась. Страхъ исчезъ, осталась только тоска привычная. Какъ всегда, съ его отъѣздомъ, все потускнѣло, потухло, потеряло вкусъ, „какъ супъ безъ соли“, — шутила она.

Только теперь замѣтила, что Таганрогъ прескверный городишка. На улицахъ—все какіе-то заспанные приказные, нищіе въ лохмотьяхъ, обшарканные солдатики, черномазые греки-маклеры да вловѣщіе турки-матросы съ разбойничьими лицами. Отъ сушиленъ азовской тарани тухлою рыбою несетъ. Въ гавани такъ мелко, что, когда вѣтеръ изъ степи, илистое дно обнажается и наполняетъ воздухъ испареніями вловонными. Сѣверо-восточный вѣтеръ похожъ на сквознякъ пронзительный. И даже въ тихіе, ясные дни вдругъ находятъ съ моря туманъ черно-желтый, пахнуцій могильною сыростью. А на сосѣдней церкви св. Константина и Елены колокола звонятъ уныло, какъ похоронные.

Дворецъ тоже не такъ хорошъ, какъ сначала ка-

залось. Изъ оконъ дуетъ, печи дымятъ. Множество крысъ и мышей. Мышь вскочила на колѣни къ фрейлинѣ Валуевой, и та чуть не умерла отъ страха. Крысы утащили государынинъ платокъ. По ночамъ возились, стучали, бѣгали, какъ будто выживали гостей непрошенныхъ. А подъ окнами были собаки; ихъ отгоняли, но не могли отогнать. Валуева была увѣрена, что это къ худу: все чего-то боялась, кусилась, плакала, сама была, какъ собака, и такъ, наконецъ, надоѣла государынѣ, что та запретила ей на глаза къ себѣ являться.

Дня черезъ два послѣ отъѣзда государя, императрица получила извѣстіе о кончинѣ короля баварскаго, мужа Каролины, сестры своей. Любила ее, горевала о ней, а гдѣ-то въ глубинѣ души была радость, какъ у солдата въ огнѣ сраженія, когда просвистѣла пуля мимо ушей, и товарищъ рядомъ упалъ: „слава Богу, онъ, а не я!“ Ужаснулась этой радости. „А что, если бы?..“ — начала и не кончила; вдругъ сердце перестало биться, какъ тогда, во снѣ.

На слѣдующій день получила отъ государя письмо изъ Перекопа:

„Смерть короля баварскаго, такая неожиданная, еще разъ напоминаетъ намъ, какъ всякій изъ насъ, во всякую минуту, долженъ быть готовъ. И надо же, чтобъ это извѣстіе пришло къ вамъ именно тогда, когда меня нѣтъ съ вами! Я знаю, вы умница, а все-таки лучше бы, если бы я при васъ былъ. Напишите, какъ вы себя чувствуете. Я боюсь больше всего, что вы отождествите себя съ Каролиною (vous identifierez à Caroline)“.

„Буду спокоенъ только тогда, когда опять увижу

васъ, что будетъ, надѣюсь, черезъ недѣлю“, — писалъ онъ 30-го октября, изъ Бахчисарая.

Она слѣдила по картѣ за его путешествіемъ: Перекопъ, Симферополь, Алушта, Гурзуфъ, Ореанда, Алупка, Байдары, Балаклава, Георгіевскій монастырь, Севастополь, Бахчисарай, Евпаторія и опять Перекопъ, уже на возвратномъ пути. По мѣрѣ того, какъ онъ приближался, — все опять оживало, освѣщалось, какъ будто солнце всходило; опять дѣлалось вкуснымъ, — „посолили супъ“.

„Нѣтъ, нельзя любить такъ, это грѣшно, за это Богъ накажетъ!“ — думала съ ужасомъ.

Государь долженъ былъ вернуться въ Таганрогъ 5-го ноября. Наканунъ былъ день почти лѣтній, какъ въ концѣ петербургскаго августа. Днем по небу ходили барашки, и солнце свѣтило сквозь нихъ, лунно-блѣдное, а къ ночи облака разсѣялись, и вызвѣздило такъ, какъ это бываетъ только поздною осенью.

Оставшись въ спальнѣ одна, передъ тѣмъ чтобы лечь, она открыла окно и полною грудью вдохнула воздухъ, свѣжій и тихій, какъ вздохъ ребенка во снѣ. Дышала, дышала и не могла надышаться. Не только въ душѣ, но и въ тѣлѣ было успокоеніе блаженное. „Даже и плоть моя упокоится въ упованіи“, — вспомнилъ ей стихъ псалма. „Какъ хорошо, Господи, какъ хорошо! И отчего это?“ Оттого что онъ завтра будетъ съ нею? Нѣтъ, не только отъ этого, а отъ всего, — отъ тишины, отъ моря, отъ неба, отъ звѣздъ. Все, что было, есть и будетъ, — все хорошо. И то, что она всю жизнь такъ мучилась, и то, что теперь такъ счастлива, — все хорошо на вѣки вѣковъ.

Стала на колѣни, подняла глаза къ небу, улыб-

нулась и заплакала. Лучи звѣздъ преломлялись въ слезахъ ея, голубые, острые, длинные, какъ будто сверкали уже не надъ нею, а въ ней, какъ будто она и они были одно.

Плакала, молилась, благодарила Бога. „А мужъ-то у Каролины умеръ,—вдругъ вспомнила.—Ну, что-жъ, воля Божья. У нея умеръ“...—„А у меня живъ“,—едва не подумала и ужаснулась опять: „что это, что это, Господи! Вотъ я какая подлая... А вѣдь все оттого, что слишкомъ люблю,—нельзя любить такъ, это грѣшно, за это Богъ накажетъ... Ну, прости же, прости меня, Господи!“

Опять улыбнулась и заплакала: знала, что Богъ простить, уже простилъ,—и все хорошо на вѣки вѣковъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ

— У меня маленькая лихорадка, должно быть, прыскалая...

— Съ какого времени, ваше величество?

— Съ Бахчисарая. Приѣхалъ туда поздно вечеромъ, пить захотѣлось; Оедоровъ подалъ барбарису; я подумалъ, не провисъ ли, — въ Крыму жара была, — но Оедоровъ сказалъ, что свѣжъ. Я выпилъ стаканъ и легъ, а ночью сдѣлалась боль въ животѣ ужасная; однако же, прослабило, и я полагалъ, что этимъ все кончится. Но въ Перекопѣ опять зазнобило, и съ тѣхъ поръ вотъ все трясеть...

Подумалъ и прибавилъ:

— А можетъ быть, и раньше, еще съ Севастополя: верхомъ ѣздилъ въ Георгіевскій монастырь, въ одномъ сюртукѣ; днемъ-то жарко, а ночью въ степи вѣтеръ холодный, — ну, вотъ и продуло.

— Значитъ, уже съ недѣлю больны?

— Да, съ недѣлю, пожалуй. А впрочемъ, не знаю...

— Хины принимать изволили?

— Нѣтъ, я лѣкарствъ не люблю; само пройдетъ.

— Какъ же само, ваше величество, помилуйте! Вы все забывать изволите, что, приближаясь къ пятому десятку, мы уже не то, что въ 20 лѣтъ...

— Да, братъ, старость не радость, это я не хуже твоего знаю. А насчетъ лихорадки, не бойся, — пустяки, ничего не будетъ.

Въ маленькой уборной, рядомъ съ кабинетомъ-спальнею, государь переодѣвался и умывался съ дороги. Всегда любилъ холодную воду для умыванья, но теперь попросилъ теплой: должно быть, боялся, чтобъ ознобъ не усилился. Волконскій, съ полотенцемъ черезъ плечо, лилъ ему изъ кувшина воду на руки. Бывшій начальникъ главнаго штаба, теперешній императрицынъ гофъ-маршалъ, генералъ-адъютантъ, князь Петръ Михайловичъ Волконскій часто служилъ государю камердинеромъ. Тридцать пять лѣтъ былъ ему дядькою, сопровождалъ его во всѣхъ путешествіяхъ, видѣлъ во всѣхъ состояніяхъ души и тѣла, самыхъ торжественныхъ и самыхъ униженныхъ. Государь не баловалъ князя. „Что я терплю отъ него, этого никто себѣ и представить не можетъ“, — говорилъ Волконскій и много разъ хотѣлъ выйти въ отставку, но все не выходилъ; былъ слабъ и добръ; любилъ его, жалѣлъ, какъ старая няня — дитя свое.

Жалѣлъ и теперь: видѣлъ, что онъ очень боленъ и только, по обыкновенію, скрываетъ болѣзнь, перемогается.

— Экъ, начадили! — сказалъ государь, вытирая руки полотенцемъ и глядя въ окно на дымное зарево иллюминаціи.

— Къ пріѣзду вашего величества.

— Вѣрноподданные! — поморщился государь съ брезгливостью. — Ну, а тутъ у васъ что?

— Все, слава Богу.

— Императрица какъ?

— Тоже, слава Богу, здоровы, только по васъ очень соскучились.

Усталъ отъ умыванія, присѣлъ, держа въ рукахъ полотенце, забылъ его отдать Волконскому и опустилъ голову на руку: по этому движенію видно было, какъ онъ боленъ.

— Лечь бы извоили, а ея величество я къ вамъ попрошу...

— Нѣтъ, что ты? Напугаешь. Пожалуйста, братецъ, не говори ей.

— Да вѣдь сами увидятъ...

— Пусть видитъ, а ты не говори. Зачѣмъ беспокоить? Сказано, вздоръ: отлежусь и буду здоровъ... Ну, давай же сюртукъ. Надо къ ней,—ждетъ, небось.

Волконскій подалъ сюртукъ; государь надѣлъ, взглянулъ на себя въ зеркало поспѣшно и неуверенно, какъ больные глядятъ, провелъ щеткою по волосамъ, зачесаннымъ вверхъ, отъ висковъ на плѣшивый лобъ, застегнулся, оправилъ сюртукъ, чтобы складокъ не было, и пошелъ; и по тому, какъ шелъ, согнувшись, сгорбившись, опять видно было, что очень боленъ. Волконскій, глядя ему вслѣдъ, бормоталъ себѣ что-то подъ носъ, какъ старая няня, которая смотритъ на больного ребенка съ ворчливою нѣжностью.

Императрица ждала государя къ пяти часамъ, по маршруту; но прошло пять, шесть, семь, половина восьмого, а его не было; наконецъ, безъ четверти восемь, увидѣла въ окно коляску, которая ѣхала шагомъ, съ поднятымъ верхомъ. Ужъ не пустая ли?

Нѣтъ, вотъ онъ, въ теплую шинель закутанъ, ноги прикрыты медвѣжьей полостью. Никогда не ѣздилъ шагомъ. Не случилось ли чего-нибудь? Не боленъ ли? Хотѣла бѣжать навстрѣчу, но не посмѣла: онъ не любилъ, чтобъ здоровались съ нимъ, когда еще не умылся. Рѣшила ждать; сидѣла одна у себя въ кабинетѣ, прислушиваясь, какъ столовые часики—фарфоровый пастушокъ со сломанною ручкою—тикаютъ да тикаютъ. Каждая минута казалась вѣчностью. Наконецъ, позвала секретаря своего, Лонгинова, и велѣла ему пойти узнать, что случилось. Лонгиновъ пошелъ и пропалъ. Вспомнилось ей, какъ во время наводненія такъ же посылала его, и онъ такъ же пропалъ. Силъ больше не было ждать; встала, пошла къ двери. Въ эту минуту слышались шаги: онъ! онъ!

Ничего не помнила, не видѣла, не слышала,—только чувствовала, что онъ съ нею.

— Lise, наконецъ-то! Ну, слава Богу, слава Богу!

Всегда, бывало, чувствовала себя счастливѣе, чѣмъ онъ, въ такія минуты свиданій, и въ этомъ неравенствѣ была капля отравы; теперь ея не было: въ первый разъ въ жизни почувствовала, что оба они одинаково счастливы.

Опомнилась и посмотрѣла на него внимательно.

— Больны?

— Пустяки, не стоитъ объ этомъ думать: завтра буду здоровъ... Ну, а вы какъ?

Не отвѣтила и посмотрѣла на него еще внимательнѣй: „да, похудѣлъ, осунулся; но ничего; насколько былъ хуже въ прошломъ году, когда началась рожа на ногѣ, а теперь ничего, ничего не будетъ“...

— Ну, право же, Lise, — ничего не будет, — проговорилъ онъ, какъ будто угадалъ ея мысли; улыбнулся ей — и она опять забылась, прижалась въ нему, закрыла глаза съ блаженной улыбкой; не могла быть несчастною: онъ съ нею — и все хорошо на вѣки вѣковъ.

— Ну что же мы? Садитесь же, — увидѣла вдругъ, что ему трудно стоять. — Вотъ здѣсь, на диванъ. Прилягте, хотите подушку? Знобитъ? Надѣньте шаль. Ничего, что гадкая, — никто не увидить. Это шаль моей бѣдной Амалихенъ; смѣшная, гадкая, а я ее люблю: теплая, милая. „Моя милая тегушка“, — такъ и называется. Всегда въ нее кутаюсь, когда ознобъ. Чаю хотите?

Говорила, сама хорошенько не зная что, только чувствуя, что не надо молчать.

— Да, чайку бы съ лимонцемъ, горяченькаго, — сказалъ онъ дѣтски-жалобно, и промелькнуло что-то въ глазахъ. Что это? Нѣтъ, ничего, ничего: только не надо молчать и думать не надо.

— Ну, рассказывайте, какъ простудились, когда и гдѣ? Только правду, всю правду...

Онъ рассказалъ ей то же, что Волконскому — еще успокоительнѣй; торопился кончить о болѣзи заговорить о другомъ.

— Погодите-ка, Lise, я что-то хотѣлъ...
Ореанда: я вѣдь купилъ Ореанду...

Вынулъ изъ бокового кармана и разложилъ столѣ планъ маленькаго дачнаго домика, только нихъ двоихъ; показывалъ и объяснялъ:

— Комнатки маленькія, пожалуй еще менѣе этихъ, но уютныя, свѣтленькія, бѣленькія, болятерраса съ колоннами, лѣстница къ морю — всѣ

греческомъ вкусѣ—къ мѣсту идетъ. А мѣста-то какія, настоящій рай! Кипарисы, лавры, мирты, вѣчно-зеленые, у синяго моря, у самаго синяго моря, какъ въ сказкахъ говорится. Теперь, въ ноябрѣ, еще розы цвѣтутъ.

Досталъ изъ маршрутной книжки и подалъ ей засушенную чайную розу.

— Понюхайте: до сихъ поръ пахнетъ. И какая тишина, какая пустыня! Какъ хорошо намъ будетъ вдвоемъ...

Помолчалъ и прибавилъ съ тихою грустью:

— А я вѣдь когда-то думалъ,—втроемъ. Ну, да ничего, скоро...

Едва не сказалъ: „скоро будемъ вмѣстѣ“,—слова умирающей Софьи.

Посмотрѣлъ на государыню молча, и опять мелькнуло что-то въ глазахъ. Ей стало страшно; хотѣла заговорить, нарушить молчаніе, но уже не могла, только чувствовала, что счастье уходитъ изъ сердца, какъ вода изъ стакана съ трещиной.

Вошелъ князь Волконскій и доложилъ о лейбъ-медикѣ Вилліе.

— Экій ты, братецъ! Я же тебѣ говорилъ, не пускать. Надоѣлъ онъ мнѣ со своими лѣкарствами,—сказалъ государь шопотомъ. — Ну, дѣлать нечего, пусть войдетъ.

Вилліе вошелъ, поцѣловалъ руку императрицы и спросилъ государя, какъ онъ себя чувствуетъ.

— Отлично, мой другъ! Вотъ чаю напился и согрѣлся. Озноба, кажется, нѣтъ, только маленькій жаръ.

Вилліе пощупалъ пульсъ и ничего не сказалъ.

— Сдѣлай милость, Яковъ Васильичъ,—продол-

жалъ государь,—успокой ты ее, скажи, что пустяки. Не вѣрить мнѣ...

— Пустяки, разумѣется. А все-таки лѣчиться надо, ваше величество. Вы вотъ лѣкарствъ не хотите...

— Ну, знаю, братъ, знаю... Поди-ка сюда, — подовзвалъ онъ князя Волконскаго.—Ты думаешь, это что?—указалъ ему на планъ.

— Домъ какой-то.

— А чей домъ?

— Не знаю.

— Отставного генерала Александра Павловича Романова. Я вѣдь скоро въ отставку.

— Не рано ли будетъ, ваше величество?

— Что за рано, помилуй: 25 лѣтъ службы,—и солдату за этотъ срокъ отставку даютъ. Выходи-ка и ты, братъ, будешь у меня библіотекаремъ...

Говорили спокойно, весело; но почему-то отъ этого спокойствія государынѣ опять стало страшно: чувствовала, какъ вода все уходитъ и уходитъ изъ стакана съ трещиной.

Вилліе посмотрѣлъ на часы и замѣтилъ, что государю лечиться пора.

— Такъ я и зналъ, что погонишь. А мнѣ здѣсь такъ хорошо. Ну, ладно, сейчасъ, — только вотъ простимся.

Вилліе съ Волконскимъ вышли.

— Ну, что, Lise, успокоились? — сказалъ государь, вставая.

Она хотѣла отвѣтить, но опять не могла.

— Что это, право, Lise? Нельзя же такъ. Другъ друга изводимъ: то вы больны, и я убиваюсь, то я боленъ. и вы убиваетесь. Какъ медвѣдь и коза въ

той игрушкѣ, знаете? — потянешь направо, медвѣдь на козу валится; потянешь налѣво, коза на медвѣдя...

— Да нѣтъ, я ничего... А только я была такъ счастлива, — начала и не кончила; слезы душили ее.

— А теперь несчастны?

Обнялъ и поцѣловалъ ее съ такою нѣжностью, что духъ у нея захватилъ отъ счастья; стаканъ, хоть и съ трещиной, опять до краевъ наполнился.

— Милый, милый! — прижалась къ нему и заплакала. — Да наградишь васъ Богъ за всю вашу... дружбу ко мнѣ!

Не посмѣла сказать: любовь.

— Ну, Господь съ вами, — хотѣла перекрестить его.

— Нѣтъ, Lise, потомъ. Зайдите, когда лягу.

Прошелъ къ себѣ въ кабинетъ, сѣлъ за столъ и началъ разбирать почту. Нашелъ донесеніе генерала Клейнмихеля: „Описаніе злодѣйскаго происшествія въ Грузинѣ“.

Голова болѣла, въ глазахъ темнѣло отъ жара; не могъ читать сплошь, только просматривалъ.

„По показанію смертоубійцы, покойница упала и закричала; въ которое время онъ совершенно перерѣзалъ ей горло и отрѣзалъ ей голову, такъ что она осталась на одной кости“...

А въ заключеніе: „о дѣлахъ и думать еще невозможно, но я въ полной надеждѣ, что графъ не повинетъ ихъ, лишь бы успѣть успокоить его нѣкоторымъ образомъ въ домашнемъ быту“.

Усмѣхнулся, подумалъ: какъ же его успокоить? Другую дѣвку найти ему, что ли? Да нѣтъ, такой не найдешь: вонъ о. Фотій называетъ „великомученицей“ эту звѣриху въ человѣческомъ образѣ, кото-

рая одной своей горничной, за то что нехорошо подвила ей волосы, раскаленными щипцами обожгла лицо.

Бросилъ читать; затошнило, и казалось тошнить отъ того, чтò читаетъ.

Увидѣлъ письмо Аракчеева, распечаталъ и тоже не сталъ читать, а только заглянулъ.

„Ахъ, батюшка, летѣлъ бы я къ вамъ въ Таганрогъ, ибо мнѣ ничего такъ не хочется, какъ видѣть моего благодѣтеля; по боль въ груди такъ велика становится, что боюсь въ сію дурную погоду и въ дорогу пуститься; кажется, я не перенесу онаго. Обнимаю заочно ваши колѣни и цѣлую руки“.

Опять усмѣхнулся: какъ бы встрѣтилъ онъ Аракчеева, если бы тотъ вздумалъ пріѣхать? А, впрочемъ, за что же сердиться? „Куда вы, туда и онъ; чтò вы, тò и онъ, а его самого нѣтъ: онъ ваша тѣнь“.—„Да, тѣнь моя: когда солнце было высоко, тѣнь лежала у ногъ, а когда солнце зашло, тѣнь выросла...“ Исполинская тѣнь, смѣшное страшилище. „Военныя поселенія суть жесточайшая несправедливость, какую только разъяренное зловластіе выдумать могло“,—вспомнился доносъ Алилуева и тихій плачъ народа: „спаси, государь, крещеный народъ отъ Аракчеева!“—Мечталъ о царствѣ Божьемъ, и вотъ—царство Аракчеева, царство Звѣря... Да, правы они...

Голова кружилась и въ глазахъ темнѣло такъ, что казалось вотъ-вотъ сдѣлается дурно. Всталъ, подошелъ къ дивану и легъ; закрылъ глаза; не спалъ, но, какъ во снѣ, видѣлъ: почтовая дорога на станція Васильевкѣ, въ 25 верстахъ отъ города Орѣхова, гдѣ проѣзжалъ третьяго дня; тутъ встрѣтилъ его фельдъегерь Масковъ съ депешами изъ Петер-

бурга и Таганрога; государь велѣлъ ему ѣхать за нимъ, хотѣлъ послать впередъ со слѣдующей станціи въ Таганрогъ съ письмомъ въ государынѣ; сѣлъ въ коляску и поѣхалъ. Дорога поворачивала круто, съ горы внизъ, въ мосту на рѣчкѣ. Благополучно спустился, переѣхалъ черезъ мостъ и подымался шагомъ на тотъ берегъ. Масковъ тоже сѣлъ на курьерскую тройку, крикнулъ ямщику: „пошелъ!“ и замахнулся на него саблею съ тѣмъ опалѣлымъ ухарствомъ, которое свойственно фельдъегерямъ; должно быть, выпилъ на станціи. Ямщикъ погналъ; тройка подхватила съ мѣста и понесла съ горы; но при поворотѣ на мостъ ямщикъ не управилъ, налетѣлъ на кочку; телѣга подпрыгнула, такъ что Масковъ вылетѣлъ, кувырнулся въ воздухъ и со всего размаха ударился тычкомъ головою о камень. Государь увидѣлъ, ахнулъ и велѣлъ Тарасову бѣжать на помощь къ упавшему. А на слѣдующей станціи, въ Орѣховѣ, Тарасовъ доложилъ, что Масковъ умеръ на мѣстѣ отъ сотрясенія мозга съ переломомъ черепа. Тогда уже начинался ознобъ, а при докладѣ Тарасова, усилился такъ, что зубъ на зубъ не попадалъ. „А что, если бы я,—подумалъ государь,—отправилъ Маскова впередъ съ письмомъ къ государынѣ? Написалъ бы такъ: „je vous envoie Maskoff et je le suis de prѣs. По-сылаю вамъ Маскова и слѣдую за нимъ тотчасъ“. Вѣдь было бы то же, какъ свѣчи днемъ, — къ покойнику?..“

Теперь, лежа на диванѣ съ закрытыми глазами, видѣлъ, какъ Масковъ падаетъ, и слышалъ костяной стукъ, трескъ черепа. „Вотъ отчего голова такъ болитъ, отъ этого костяного треска трещитъ голова... Какая гадость! Ужъ лучше встать“...

Всталъ, подошелъ къ столу и опять началъ разбирать бумаги; долго чего-то искалъ; наконецъ, нашелъ: безымянное письмо, одинъ изъ тѣхъ нелѣпыхъ доносовъ, которыхъ онъ такъ много получалъ въ послѣднее время. Помнилъ его почти наизусть; не надобно было больше читать; но не могъ удержаться.

„Ваше императорское величество! Въ Священномъ Писаніи, а именно въ 81-мъ псалмѣ о владыкахъ и царяхъ земныхъ сказано: бози есте и сынове Вышняго вси; вы же яко человеѣцы умрете. Государь! вѣрноподданнымъ вашимъ извѣстно, что, хотя вы и великій самодержецъ, но богомъ земнымъ себя не почитаете и даже воспретили то указомъ Св. Синоду во всѣхъ церквахъ, публично, ибо смертный часъ помните.

„Ваше величество, какъ вѣрноподданный и хотя тайный, но истинный другъ вашъ и сынъ отечества, умоляю васъ именемъ Вышняго, помните сей часъ,—помните нынѣ больше чѣмъ когда-либо, ибо онъ уже наступаетъ: адскіе замыслы изверговъ уже совершаются“.

До сихъ поръ написано было по-русски, а дальше—по-французски, безграмотно:

„Долго сомнѣвались убійцы, какое именно оружіе избрать, — пулю, кинжалъ или ядъ; наконецъ, избрали послѣднее. Можетъ быть, уже поздно,—уже отравы течетъ въ вашихъ жилахъ. Но, если не поздно, берегитесь, берегитесь всѣхъ, кто васъ окружаетъ; берегитесь вашего камердинера, вашего повара, вашего доктора; никому не вѣрьте; всѣ — измѣнники, всѣ подкуплены; вы окружены убійцами. Хлѣбъ, который вы ѣдите, отравленъ; вода, которую пьете, отравлена; воздухъ, которымъ дышите, отравленъ;—

лѣкарства, которыя вамъ даютъ, отравлены. Прежде чѣмъ ѣсть или пить, заставляйте отвѣдывать подающихъ вамъ. Помните объ этомъ днемъ и ночью, каждый день, каждый часъ, каждую минуту; помните, что отравы можетъ быть вездѣ. Мало ли отъ чего умираютъ люди? Отъ угара, отъ нелуженой посуды, отъ толченаго стекла въ хлѣбѣ. Убьютъ васъ, отравлять медленнымъ ядомъ и скажутъ потомъ, что вы естественной смертию умерли.

„Пишу сіе отъ чистаго и вѣрноподданническимъ жаромъ пламенѣющаго сердца, познавъ ужасъ адскихъ замысловъ. Да поможетъ вамъ Богъ!

„Раскаившійся извергъ и отнынѣ по гробъ жизни вѣрноподданный вашъ“.

Да, не надо было читать: глупо, гадко, тошно тошнотою смертною. Вдругъ вспомнилъ что-то и удивился: какъ же такъ, вѣдь сжегъ письмо? Полно, сжегъ ли? Да, ясно помнилъ, какъ это было: получилъ письмо, а на слѣдующій день, утромъ, за чаемъ, нашелъ въ сухарѣ камешекъ; послалъ за Дибичемъ, показалъ ему сухарь и велѣлъ узнать, что это и какъ могло попасть въ хлѣбъ. „Я не хочу, — сказалъ, — поручать этого Волконскому, потому что онъ старая баба и ничего не сумѣетъ сдѣлать, какъ слѣдуетъ“. Дибичъ позвалъ Вилліе; тотъ нашелъ, что это простой камешекъ; а пекарь извинился, что онъ попалъ въ сухарь по неосторожности. Государь хотѣлъ показать Дибичу доносъ объ отравѣ, но стало стыдно и страшно не того, чѣмъ грозилъ доносъ, а того, что онъ могъ ему повѣрить; пошелъ въ себѣ въ кабинетъ, отыскалъ письмо и сжегъ.

Откуда же оно теперь взялось? „Съ ума я схожу, что ли?“ Вертѣлъ его въ рукахъ, щупалъ, разсма-

триваль, какъ будто надѣялся, что оно исчезнетъ; нѣтъ, не исчезало. Поднесъ къ свѣчѣ, хотѣлъ сжечь, — не горитъ; бросилъ, — не падаетъ; липнетъ, липнетъ, не отстаётъ, точно клеємъ намазано. А свѣчи тускло горятъ; какъ тогда, днемъ — къ покойнику, и черно-желтый туманъ наполняетъ комнату; и кто-то стоитъ за спиной. Не глядя, не оборачиваясь, онъ знаетъ, кто: старичокъ бѣлобрысенькій, лысенькій; голубенькіе глазки, „совсѣмъ какъ у теленочка“, какъ у него самого въ зеркалѣ; бродяга бездомный, безпаспортный, родства не помнящій, Федоръ Кузьмичъ.

Вскрикнулъ, очнулся и увидѣлъ, что лежитъ на диванѣ; понялъ, что не вставалъ и что все это бредъ.

Отворилась дверь, вошла государыня.

— Не легли еще?

— Нѣтъ, Lise, я васъ жду.

— Я стучалась, не слышали?

— Не слышалъ, — оглохъ, всегда отъ жара глохну.

Помните, въ прошломъ году, когда рожа начиналась, тоже оглохъ? *As dief as pots.* (Глухъ, какъ горшокъ). Ну, поцѣлуйте меня. Сейчасъ лягу. Мнѣ теперь хорошо, совсѣмъ хорошо, — улыбнулся онъ такъ искренно, что она почти повѣрила: — не безпокойтесь же, мой другъ, спите съ Богомъ...

Перекрестила его и поцѣловала.

Когда ушла, Егорычъ постучался въ дверь. Стучался долго, но государь опять не слышалъ, и тотъ, наконецъ, вошелъ.

— Раздѣваться прикажете, ваше величество?

— Раздѣваться? Да... нѣтъ, потомъ. Позвоню.

Егорычъ подошелъ къ столу и сталъ снимать со свѣчей,

— А знаешь, Егорычъ, я вѣдь очень боленъ,—сказалъ государь.

— Пользоваться надо, ваше величество.

„Онъ всегда знаетъ, что надо“,—подумалъ государь; но спокойствіе Егорыча было ему пріятно.

— Нѣтъ, братъ, гдѣ ужъ,—продолжалъ, номочавъ.—А свѣчи-то помнишь?

— Какія свѣчи?

— Ну, какъ же, ты самъ говоришь: свѣчи днемъ—къ покойнику...

— Избави, Господи, ваше величество!—пробормоталъ Егорычъ, блѣднѣя, и началъ креститься.

— Ну, чего ты, дуракъ? Пошутить нельзя. Небось, тебя хоронить буду... Ступай.

Егорычъ вышелъ, все еще крестясь; лица на немъ не было: любилъ государя.

А тотъ всталъ и началъ ходить взадъ и впередъ по комнатѣ, хотя еще сильнѣй знобило, и каждый шагъ отдавался въ больной головѣ; но лечь было страшно, какъ бы опять не забредить. И надо было что-то обдумать, рѣшить окончательно. Что съ нимъ? Да, боленъ,—можетъ быть, очень боленъ. Но чего же такъ испугался? Смерти? Нѣтъ, не смерти. Да и не вѣрить, что умереть. Егорыча только испытывалъ и удивился, что онъ такъ легко повѣрилъ. Нѣтъ, не смерти, а чего-то страшнѣе, чѣмъ смерть... „Хлѣбъ, который вы ѣдите, отравленъ; вода, которую пьете, отравлена; воздухъ, которымъ дышите, отравленъ; лекарства, которыя вамъ даютъ, отравлены...“ А кстати, былъ ли доносъ? Былъ, конечно, былъ, и онъ съжегъ его тогда же, послѣ камешка въ хлѣбъ: это не бредъ, это онъ и сейчасъ, наяву, помнить. Но неужели же, неужели повѣрилъ тогда и теперь еще вѣрить?

А бумажка-то, видно, въ бреду къ пальцамъ прилипла не даромъ,—вотъ и къ душѣ липнетъ... Какая гадость!

Остановился, поднесъ руки къ глазамъ, посмотрѣлъ, какъ ногти посинѣли отъ озноба, а можетъ быть, отъ чего-нибудь другого; языкомъ почмокалъ, пробуя, какой вкусъ во рту: да, все тотъ же, какъ будто металлическій, и слюна, и тошнота, и гнилая отрыжка, и эта медленно-медленно, отвратительно сосущая боль въ животѣ; совсѣмъ какъ тогда, въ Бахчисараѣ, когда выпилъ провисшій сиропъ. „Можетъ быть, уже поздно; можетъ быть, отравы уже течетъ въ вашихъ жилахъ...“ Вдругъ злоба охватила его. Неужели же онъ, въ самомъ дѣлѣ, дошелъ до того? Камешекъ въ хлѣбѣ, провисшій сиропъ — да вѣдь это сумасшествіе!

Ну, конечно, отравленъ. О, какой медленный, медленный ядъ! Еще тогда, въ ту страшную ночь 11-го марта, отравился имъ. И они это знаютъ. Правы они—вотъ въ чемъ сила ихъ, вотъ чѣмъ они убиваютъ его издали; вѣдь есть такое колдовство: сдѣлать человѣчка изъ воска, проколоть ему сердце иглою,— и врагъ умираетъ. Да, ядъ течетъ въ жилахъ его: этотъ ядъ — страхъ. Страхъ чего? О, если бы чего-нибудь! Но давно уже понялъ, что страхъ страшнѣе самого страшнаго. Не страхъ чего-нибудь, а одинъ голый страхъ, безотчетный, безсмысленный, тотъ подлый животный страхъ, отъ котораго холодѣютъ и переворачиваются внутренности, и ознобъ трясетъ такъ, что зубъ на зубъ не попадаетъ. Страхъ страха. Это какъ два зеркала, которыя, отражаясь одно въ другомъ, углубляются до безконечности. И свѣтъ сознанія, какъ свѣтъ свѣчи между двумя зеркалами, туск-

нѣтъ, меркнетъ, уходя въ глубину безконечную—и темнота, темнота, сумасшествіе...

Вдругъ вспомнилось, какъ братъ Константинъ, еще мальчикомъ, изъ шалости отравилъ собаку, давъ ей проглотить иголку въ хлѣбномъ шарикѣ. „Ну, что-жъ, собакѣ собачья смерть!“—усмѣхнулся со спокойнымъ презрѣніемъ. И въ этомъ презрѣніи все потонуло—боль, стыдъ, страхъ.

Позвонилъ камердинера, быстро, молча раздѣлся и легъ. Ночь провелъ дурно, безъ сна, но въ утру сдѣлался потъ, и онъ заснулъ.

На слѣдующій день всталъ почти безъ жара; только былъ слабъ и желтъ, „желтъ, какъ лимонъ“,—пошутилъ, взглянувъ на себя въ зеркало. Одѣлся, умылся, побрился, все какъ всегда. Войдя въ кабинетъ, сталъ у камина грѣться; Волконскій по бумагамъ докладывалъ, а государь все просилъ его говорить громче: плохо слышалъ. „As dief as pots“,—опять пошутилъ.

Весь день былъ на ногахъ, въ сюртукѣ. Къ обѣду сдѣлался жаръ. Вилліе хотѣлъ ему дать лѣкарства, но онъ сказалъ, что приметъ вечеромъ, а когда тотъ настаивалъ,—прикрикнулъ на него:

— Ступай прочь!

Обѣдалъ съ государыней; подали супъ съ перловой врупой; съѣлъ и сказалъ:

— У меня больше аппетита, чѣмъ я думалъ.

Потомъ—лимонное желе. Отвѣдалъ и поморщился:

— Какой странный вкусъ! Попробуйте.

— Можетъ быть, кисло?

— Да нѣтъ же, нѣтъ, какой-то вкусъ металлическій. Развѣ не слышите?

Велѣлъ позвать метрдотеля Миллера, заставилъ и его попробовать.

— Я ужъ не въ первый разъ замѣчаю. Смотри, братъ, хорошо ли лудятъ посуду?

Послѣ обѣда, дремалъ на диванѣ, а государыня читала книгу. Вилліе опять завелъ рѣчь о лѣкарствѣ.

— Завтра,—сказалъ государь.

— Вы общали сегодня.

— Экій ты, братецъ! Ну что мнѣ съ тобою дѣлать? Вѣдь, если на ночь приму, спать не буду.

— Будете. До ночи подѣйствуетъ.

Государыня смотрѣла на него съ умоляющимъ видомъ.

— Вы думаете, Lise?..

— Да, прошу васъ.

— Ну, ладно, давай.

Вилліе пошелъ готовить лѣкарство и черезъ полчаса принесъ 8 пилюль.

— Что это?—спросилъ государь.

— Шесть гранъ каломели и полдрахмы корня ялапы. Ваше обыкновенное слабительное.

— Каломель—ртуть?

— Да, сладкая ртуть.

— Ядъ?

— Всѣ лѣкарства суть яды, ваше величество: по русской пословицѣ, одно дерево другимъ деревомъ...

— Клинь клиномъ вышибай?

— Вотъ именно: ядъ—ядомъ; ядъ болѣзни—ядомъ лѣкарства.

Проглотилъ пилюли и пошелъ къ себѣ. Вечеръ провелъ опять съ государыней. Болтали весело, или какъ будто весело, о таганрогскихъ сплетняхъ, о предсѣдательшѣ, Ульянѣ Андреевнѣ, которую поймали съ подозрною трубкою на чердакѣ, когда она въ окна

дворца заглядывала; вспомнили, что сегодня—6-е ноября, канунъ годовщины петербургскаго наводненія.— „Дастъ Богъ, этотъ годъ будетъ счастливъ!“

Вдругъ всталъ и попросилъ ее выйти.

— Что съ вами?

— Ничего. Кажется, лѣкарство дѣйствуетъ.

Отлично подѣйствовало; стало легче, жаръ уменьшился.

— Ну, вотъ видите, Lise, говорилъ я вамъ. что вздоръ, ничего не будетъ.

— Слава Богу! А вы еще принимать не хотѣли.

Но на слѣдующій день признался ей, что вчера просилъ ее уйти не потому, что лѣкарство подѣйствовало, а такая тоска вдругъ напала, что не зналъ, куда дѣваться, и не хотѣлъ, чтобы кто-нибудь видѣлъ его въ этомъ состояніи.

Пріѣхалъ въ Таганрогъ въ четвергъ; пятницу, субботу, воскресенье все еще былъ боленъ: ни хуже, ни лучше, или то хуже, то лучше; а когда спрашивали, какъ онъ себя чувствуетъ, отвѣчалъ всегда одно и то же:

— Хорошо, совсѣмъ хорошо.

Не измѣнялъ порядка жизни. Весь день—на ногахъ, въ сюртукѣ; а если ужъ очень знобило, все-какъ приманивался на диванъ, укрываясь одѣяломъ или старой мѣховой шинелью. Въ тѣ же часы вставалъ, ложился, обѣдалъ, ужиналъ. Садясь за столъ, чтобы выпить стаканъ хлѣбной или яблочной воды съ черносмородиннымъ сокомъ, крестился, какъ передъ настоящимъ обѣдомъ; пилъ и похваливалъ:

— Прекрасный напитокъ, освѣжающій! Волконскій мнѣ далъ, а ему сестра, а ей какой-то знакомый въ дорогѣ. Очень, говорятъ, отъ желчи помогаетъ, лучше всѣхъ лѣкарствъ...

А на Вилліе смотрѣлъ волкомъ; когда тотъ предлагалъ ему самое невинное слабительное, — молчалъ, хмурился или отшучивался:

— Эхъ, Яковъ Васильичъ, падоуль ты мнѣ хуже горькой рѣдки!

И, наконецъ, сердился:

— Оставьте меня въ покоѣ! И какъ вы не видите, что я отъ вашихъ лѣкарствъ боленъ? Стоить принять, чтобы сдѣлалось хуже...

Продолжалъ заниматься дѣлами или притворялся, что занимается.

— Поменьше бы бумагъ читали, ваше величество. Вамъ хуже отъ того, — говорилъ Волконскій.

— Радъ бы, мой другъ, да не могу: привычка. Какъ не позаймусь, — пустота въ головѣ. Если выйду въ отставку, буду цѣлыя библіотеки прочитывать, а то съ ума сойду отъ скуки.

Въ обычные часы отсылалъ государыню гулять.

— Отчего вы не гуляли сегодня? Погода такая прекрасная. Вамъ надо пользоваться воздухомъ.

Она не смѣла сказать, что ей страшно уйти отъ него. Когда нѣсколько часовъ не видѣла его и вдругъ вглядывалась въ лицо его, — страхъ жалилъ ей сердце не очень больно, тупо: такъ злыя осеннія мухи кусаются. А потомъ опять надежда; то страхъ, то надежда, — какъ лѣтнею ночью въ тихомъ воздухѣ, то теплая струя, то холодная. Но и сквозь страхъ — знакомое счастье, та особенная уютность, которую всегда испытывала во время болѣзни его: точно онъ маленькій, а она няньчится съ нимъ.

Приносила ему газеты, журналы. Особенно любилъ онъ модные: понималъ толкъ въ женскихъ модахъ. Разсматривали вмѣстѣ картинки; раскладывалъ

рабушки, которыя собрали на морскомъ берегу, у карантина.

— Вы приносите мнѣ игрушки, какъ ребенку, моя милая маменька!—смѣялся онъ.

Только что становилось легче, болтали, шутили, строили планы, какъ они будутъ жить въ Ореандѣ, или рассказывали анекдоты таганрогскіе: о депутаціи калмыцкихъ князей, которые, услышавъ клавесинъ у полковника Фредерикса, дворцоваго коменданта, сначала испугались, а потомъ пришли въ такой восторгъ, что нельзя было на нихъ смотрѣть безъ смѣха; объ уѣздномъ лѣкарѣ, французѣ Мённе, хвастунишкѣ ужасномъ, который носитъ какой-то персидскій орденъ, вмѣсто звѣзды, и зеленую ленту черезъ плечо, увѣряя, будто бы лѣчилъ самого шаха и весь его гаремъ, „et que peut être on verra un jour un chach de ma façon“.

Однажды зашла у нихъ рѣчь о Байронѣ; государыня въ то время читала послѣднія пѣсни Донъ-Жуана, гдѣ говорится о русскомъ царѣ не совсѣмъ уважительно.

— Геній его уподобляется блеску зловреднаго метеора, — сказалъ государь:—поэзія Байроновъ родитъ Зандовъ и Лувелей. Прославлять ее есть то же, что восхвалять убійственное орудіе, изощренное на погибель человѣчества. Такое употребленіе таланта не заслуживаетъ чести, приписываемой генію, и достоинства имѣть не можетъ, особенно, между христианами...

Она возражала, доказывала, что Байронъ—заблудшій, но не злой человѣкъ.

— А встати,—замѣтилъ онъ:—нынче завелись и у насъ свои Байроны. Вашъ любимый Пушкинъ...

— Да, любимый! А вы его за что не любите? Онъ слава Россіи, слава вашего царствованія...

— Ну, полно, мой другъ, избави насъ Богъ отъ этакой славы! Наводнилъ Россію стихами возмутительными. Этотъ человѣкъ на все способенъ. Говорятъ, 'отца своего чуть не убилъ...

— Неправда! Неправда! Клевета презрѣнная! Какъ вы можете? Вѣдь вы же сами знаете, вамъ Жуковский говорилъ!..—закричала она и вдругъ испугалась: „что это я? На больного кричу!“—испугалась и обрадовалась: значитъ, не очень боленъ.

А когда дѣлалось хуже, — уходилъ къ себѣ въ кабинетъ, прятался отъ нея или, ложась на диванъ, просилъ ее читать книгу и не обращать на него вниманія. Она дѣлала видъ, что читаетъ, но смотрѣла на него изъ-за книги, украдкой, и опять страхъ жалилъ ей сердце не очень больно, тупо, какъ злая осенняя муха.

Однажды онъ спалъ, а она сидѣла рядомъ, съ книгою; вдругъ онъ открылъ глаза, поглядѣлъ вокругъ, какъ будто съ веселой улыбкой, и тотчасъ же опять закрылъ ихъ, заснулъ. Только въ послѣдствіи, въ ужасныя минуты, поняла она, что значила эта улыбка.

Въ ночь съ воскресенья на понедѣльникъ былъ сильный потъ, такъ что нѣсколько разъ пришлось мѣнять бѣлье. На слѣдующій день лихорадки не было. Вилліе торжествовалъ и объявилъ, что болѣзнь можно считать пресѣченною: если даже вернется лихорадка, то сдѣлается перемежающеюся и скоро совсѣмъ пройдетъ. . „*Febris gastrica biliosa*, лихорадка желудочно-желчная“, — назвалъ онъ болѣзнь — и всѣ успокоились.

Государь запрещалъ писать въ Петербургъ о томъ, что онъ боленъ.

— Боюсь я экстрапочтъ, какъ бы не напугали матушку.

Послѣдняя почта была задержана, а со слѣдующей, въ понедѣльникъ, когда ему стало лучше, онъ велѣлъ написать императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ и цесаревичу, что былъ боленъ и что болѣзнь проходитъ; велѣлъ также Дибичу послать курьера за княземъ Валерьяномъ Михайловичемъ Голицынымъ.

„Слава Богу, ему гораздо лучше, — писала въ тотъ же день государыня матери своей, герцогинѣ Баденской. — Дастъ Богъ, когда вы получите это письмо, не будетъ больше и рѣчи о его болѣзни“.

Но въ тотъ же день къ вечеру опять сдѣлалось хуже. Все еще бодрился, началъ рассказывать анекдотъ о калмыкахъ, — должно быть, забылъ, что она уже знаетъ.

— А почему вы не носите траура по королѣ Баварскомъ?—спросилъ неожиданно.

— Я сняла по случаю вашего пріѣзда, а потомъ не захотѣлось надѣвать.

— Почему не захотѣлось? — опять спросилъ и посмотрѣлъ на нее, такъ же какъ на Егорыча, когда спрашивалъ его о свѣчахъ.

Покраснѣла; сама не понимала, почему, — не думала объ этомъ и только теперь, когда онъ спросилъ, поняла.

— Я завтра надѣну, — сказала поспѣшно.

— Нѣтъ, все равно...

Вошелъ Вилліе, и по тому, какъ лицо его вытянулось, когда онъ взглянулъ на больного, она увидѣла, что плохо.

Ночь провелъ безъ сна, въ жару. Утромъ принялъ опять шесть пилюль слабительныхъ. Сдѣлались

ужасныя схватки въ животѣ, тошнота, рвота, поносъ; ослабѣлъ такъ, что едва на ногахъ держался.

Лежалъ на диванѣ, подъ старой шинелью, съ фланелевымъ набрюшникомъ на животѣ, и, закрывъ глаза, думалъ, надо ли будетъ еще разъ вставать за нуждою или такъ обойдется. Думалъ объ этомъ и смотрѣлъ на выплывавшее изъ мутно-красной мглы воспаленныхъ вѣкъ, недвижимое, какъ изъ мѣди изваянное, лицо Наполеона; оно приближалось къ нему, и крѣпко сжатыя, тонкія губы раскрывались, шевелились, говорили; онъ зналъ, что что-то важное, нужное, отъ чего зависитъ его спасеніе или гибель, но разслышать не могъ: былъ „глухъ, какъ горшокъ.“

Вдругъ лицо Наполеона исчезло, и на мѣстѣ его появилось лицо Егорыча. Губы его такъ же раскрывались, шевелились беззвучно.

Очнулся и понялъ, что Егорычъ, дѣйствительно, стоитъ передъ нимъ.

— Ну, чего тебѣ? Громче, громче! Что это, право, всѣ вы шепчетесь?

— Полковникъ Николаевъ, ваше величество. Принять прикажете?—прокричалъ Егорычъ.

Государь вспомнилъ, что вчера, когда ему лучше было, велѣлъ прійти Николаеву. Но теперь чувствовалъ себя такъ плохо, что не зналъ, хватитъ ли силъ. Наконецъ, сказалъ Егорычу:

— Принять.

Еще въ первые дни по пріѣздѣ въ Таганрогъ, замѣтилъ государь лейбъ-гвардіи казачьяго полка полковника Николаева, командира таганрогскаго дворцоваго караула: ему понравилось лицо его, обыкновенное, не очень красивое, не очень умное, но такое открытое, честное, доброе, что, когда, представляясь

государю, крикнулъ онъ по-солдатски: „здравія желаю, ваше императорское величество!“—государь невольно улыбнулся и подумалъ: „какой молодецъ!“ И потомъ, встрѣчаясь съ нимъ, всегда улыбался, а Николаевъ смотрѣлъ ему прямо въ глаза съ тою восторженно-преданной влюбленностью, которую государь цѣнилъ въ людяхъ больше всего.

Въ концѣ сентября, получивъ отъ Аракчеева письмо Шервуда съ просьбой выслать въ Харьковъ надежное лицо для принятія окончательныхъ мѣръ къ открытію заговора,—рѣшилъ послать Николаева; но все откладывалъ, а потомъ, уже больной, мучился, что не успѣетъ, пропустить назначенный срокъ—15-е ноября. Вотъ почему принялъ его теперь: сегодня 10-е,—только 5 дней до 15-го.

Когда Николаевъ вошелъ, государь велѣлъ ему запереть дверь на ключъ и сѣсть поближе; началъ спрашивать, кто его родители, гдѣ онъ воспитывался, гдѣ служилъ и въ какихъ походахъ участвовалъ; чѣмъ больше вглядывался въ него, тѣмъ больше онъ ему нравился.

— У меня къ тебѣ важное дѣло, Николаевъ.

— Радъ стараться, ваше величество.

Государь закрылъ глаза и вдругъ почувствовалъ, что говорить не можетъ. Кровь застучала въ виски, и въ глазахъ потемнѣло такъ, что, казалось, вотъ-вотъ лишится чувствъ. Долго молчалъ; наконецъ, съ такимъ усиліемъ, какъ смертельно раненый вытаскиваетъ желѣзо изъ раны, началъ:

— Въ Россіи существуетъ политическій заговоръ...

И рассказалъ все, что нужно было знать Николаеву о Тайномъ Обществѣ.

— Поѣзжай въ Харьковъ; надобно быть тамъ не позже 15-го, дабы схватить бумаги, посланныя въ Петербургъ прапорщикомъ Вадковскимъ съ поручикомъ графомъ Николаемъ Булгари; въ бумагахъ найдешь списокъ заговорщиковъ. А что дѣлать потомъ, Шервудъ скажетъ.

Подумалъ и прибавилъ:

— Совѣты и объясненія Шервуда принимай съ осторожностью... Ну, что еще? Да, смотри, чтобъ никто не узналъ. Никому не говори, слышишь?

— Слушаю-съ, ваше величество.

Государь всталъ и пошатнулся. Николаевъ бросился къ нему, поддержалъ его и помогъ дойти до стола. Онъ отперъ шкатулку, вынулъ деньги, подорожную на имя Николаева и предписаніе начальника главнаго штаба, генерала Дибича, унтеръ-офицеру Шервуду. Со вчерашняго дня все было готово. Въ предписаніи сказано:

„По письму вашему отъ 20-го сентября къ господину генералу-отъ-артиллеріи графу Аракчееву, отправляется, по высочайшему повелѣнію, въ городъ Харьковъ лейбъ-гвардіи казачьяго полка полковникъ Николаевъ съ полною высочайшею довѣренностью дѣйствовать по извѣстному вамъ дѣлу“.

Отдалъ ему все, вернулся на диванъ и легъ.

— Понялъ?

— Точно такъ, ваше величество, — отвѣтилъ Николаевъ и, подумавъ, спросилъ:

— Заговорщиковъ арестовать прикажете?

Государь ничего не отвѣтилъ, опять закрылъ глаза; зналъ, что стоитъ ему произнести одно слово: „арестовать“, — и все сдѣлано, конечно, желѣзо изъ раны вынуто — и онъ спасенъ, исцѣленъ: зналъ — и

не могъ сказать этого слова; чувствовалъ, что желѣзо перевернулось въ ранѣ, но не вышло.

— Заговорщиковъ арестовать прикажете, ваше величество?—повторилъ Николаевъ, думая, что государь не разслышалъ.

Тотъ открылъ глаза и посмотрѣлъ на него такъ, что ему страшно стало.

— Какъ знаешь. Я тебѣ вѣрю во всемъ...

— Слушаю-съ,—проговорилъ Николаевъ, блѣднѣя.

— Ну, съ Богомъ... Нѣтъ, погоди, дай руку.

Николаевъ подалъ ему руку, и государь долго держалъ ее въ своей, долго смотрѣлъ ему въ глаза, молча.

— Вѣрный слуга?—произнесъ, наконецъ.

— Точно такъ, ваше величество!—отвѣтилъ Николаевъ, и въ глазахъ его засіяла восторженно-влюбленная преданность. — Объ одномъ Бога молю: жизнь положить за ваше величество...

— Ну, вотъ ты какой хорошій... Спасибо, голубчикъ. Помоги тебѣ Богъ! Дай перекрещу.

Николаевъ сталъ на колѣни и заплакалъ; государь обнялъ его и тоже заплакалъ.

Въ тотъ же день вечеромъ онъ лежалъ у себя въ кабинетѣ. Государыня сидѣла рядомъ, какъ всегда, съ книгою и, какъ всегда, не читая, смотрѣла на него украдкою.

— Отчего у васъ глаза красные, Lise?

— Голова болитъ. Рано закрыли печку въ спальнѣ: должно быть, угорѣла...

Сконфузилась, лгать не умѣла: глаза были красны, потому что плакала. Онъ посмотрѣлъ на нее и подумалъ: „не сказать ли всего? Нѣтъ, поздно... И зачѣмъ мучить? Вонъ у нея какіе глаза, — какъ у

той загнанной лошади съ кровавою пѣной на удилахъ. Бѣдная! Бѣдная!“

— Дайте руку.

Поцѣловаль руку и улыбнулся.

— Ну, полно, полно, будьте же умницей!

Вилліе готовилъ питье въ стаканѣ, подошелъ къ нему и подалъ.

— Что это?

— Нѣсколько капель *acidum muriaticum*. Вы на дурной вкусъ во рту все жаловаться изволите, такъ вотъ, прочистить.

Государь молча отвелъ руку его; но Вилліе опять подалъ.

— Извольте выпить, ваше величество.

— Не надо.

— Прошу васъ, выпейте...

— Не надо! Ступай прочь!

Вилліе продолжалъ совать стаканъ. Государь схватилъ его и бросилъ на полъ.

— Къ чорту! Убирайтесь всѣ къ чорту! Убійцы, убійцы! Отравители! — закричалъ онъ, и лицо его, искаженное бѣшенствомъ, сдѣлалось похоже на лицо императора Павла I.

Государыня выбѣжала изъ комнаты. Вилліе отошелъ и закрылъ лицо руками. Егорычъ, ползая по полу, подбиралъ осколки стекла.

Государь упалъ въ изнеможеніи на подушки и нѣсколько минутъ лежалъ, не двигаясь; потомъ взглянулъ на Вилліе и сказалъ:

— Яковъ Васильичъ, а Яковъ Васильичъ, гдѣ же ты? Поди сюда. Ну, не сердись, помиримся... Какъ же ты не видишь, что я имѣю свои причины такъ дѣйствовать?

— Какія же причины, ваше величество? Если вы мнѣ не довѣряете, позовите другого врача. Но не могу, не могу я видѣть, какъ вы себя убиваете...

Заплакалъ. Государь посмотрѣлъ на него съ удивленіемъ: никогда не видѣлъ его плачущимъ.

— Послушай, мой другъ, я не хуже твоего знаю, что мнѣ вредно и что полезно. Мнѣ нужно только спокойствіе...

Помолчалъ и прибавилъ по-французски:

— Обратите вниманіе на мои нервы, они очень разстроены. Не раздражайте же ихъ пустыми лѣкарствами...

Вилліе ничего не отвѣтилъ и задумался.

— Замучилъ я тебя, Яковъ Васильевичъ, — улыбнулся государь своей доброй улыбкой и пожалъ ему руку.—Скажи Тарасову, пусть посидитъ у меня, а ты ступай, отдохни.

„Не вѣрить мнѣ“, — подумалъ Вилліе и обидѣлся; но заглушилъ обиду: любилъ, жалѣлъ его, такъ же какъ Волконскій и Анисимовъ.

— Ваше величество, лѣчитесь у кого угодно, — только, ради Бога, лѣчитесь! Ну, если не хотите лѣкарствъ, можно кровь пустить...

— Кровь пустить? — повторилъ государь и посмотрѣлъ на него, усмѣхаясь.—А тебѣ не страшно?

— Что же тутъ страшнаго? Пустое дѣло...

— Пустое дѣло — кровь? — продолжалъ государь усмѣхаться. — Страшно видѣть кровь человѣческую, а кровь царя—еще страшнѣе? Или все равно—одна кровь?... Знаю, братъ, ты мастеръ кровь пускать. Дѣло мастера боится, но есть дѣла, которыхъ самъ мастеръ боится... Нѣтъ, не надо крови!

Сложилъ руки молитвенно и прошепталъ:

— Избави мя отъ кровей, Боже, Боже спасенія моего!

И опять посмотрѣлъ на него.

— Какое дѣло, мой другъ, какое ужасное дѣло! — произнесъ такъ, что Вилліе подумалъ: „бредить“, — потихоньку всталъ, вышелъ и послалъ къ нему Тарасова.

— Я ни за что не отвѣчаю, — говорилъ Вилліе Волконскому. — Все идетъ худо, и надо ждать самаго худшаго. Никого не хочетъ слушаться. Упрямъ...

Едва не повторилъ слова Наполеона: „упрямъ, какъ мулъ“.

— Самодержавный, — да вѣдь болѣзнь еще самодержавнѣе. И что съ нимъ? что съ нимъ? — прибавилъ задумчиво: — если бы только знать, что съ нимъ такое?..

— Не лихорадка, вы думаете? — спросилъ Волконскій.

— Нѣтъ, я не о томъ, — возразилъ Вилліе: — тутъ не болѣзнь, не только болѣзнь...

Говорили въ проходной залѣ-пріемной, рядомъ съ кабинетомъ государевымъ. Было темно, и въ самомъ темномъ углу государыня, стоя лицомъ къ стѣнѣ, плакала. Они ея не видѣли. Она прислушалась и вдругъ перестала плакать; вышла потихоньку изъ комнаты и прошла къ себѣ въ кабинетъ; легла ничкомъ на диванъ, уткнувъ лицо въ подушку. Все застыло въ ней, окаменѣло, замерло.

„Что съ нимъ? Что съ нимъ? Заговоръ, Тайное Общество, — вотъ что. А я и забыла, о себѣ думала, а о немъ забыла. Онъ умираетъ отъ этого, и я ничего, ничего, ничего не могу сдѣлать!“

Вдругъ вспомнила, какъ въ ту послѣднюю ночь

передъ его возвращеніемъ изъ Крыма была счастлива и, глядя на звѣзды, плакала, молилась, благодарила Бога. Да, Богъ наказываетъ ее, за то что она слишкомъ любить. Но зачѣмъ же именно тогда, когда она была такъ счастлива? Зачѣмъ? За что?

Слѣдующіе три дня, отъ 11-го до 13-го ноября, все было попрежнему; опять ни хуже, ни лучше, или то хуже, то лучше. Болѣзнь играла съ нимъ, какъ кошка съ мышью. Все еще утромъ вставалъ, одѣвался, но уже ходилъ съ трудомъ и большую часть дня лежалъ на диванѣ. Видимо, слабѣлъ. Жаръ не прекращался. Лихорадка изъ перемежающейся сдѣлалась непрерывной. О *febris gastrica biliosa* доктора уже не говорили, боялись горячки; особенно, пугала ихъ сонливость больного; не позволяли ему много спать, будили.

— Не будите меня, дайте поспать, — просилъ онъ жалобно.—Оставьте меня въ покоѣ, ради Бога, оставьте! Мнѣ нужно только спокойствіе. И мнѣ такъ хорошо, спокойно...

И опять засыпалъ.

„А, вѣдь, это смерть?—подумалъ однажды.—Ну, что-жъ, смерть такъ смерть, и слава Богу!“

Страхъ не было, а было разрѣшеніе, освобожденіе послѣднее; была надежда безконечная, тотъ зовъ таинственный, который слышался ему когда-то въ кликахъ журавлиныхъ и въ паденіи кометы стремительномъ.

Въ одну изъ рѣдкихъ минутъ полного сознанія позвалъ Дибича и спросилъ:

— Посланъ ли курьеръ за Голицынымъ?

— Точно такъ, ваше величество, — отвѣтилъ Дибичъ и хотѣлъ еще что-то сказать, но государь былъ такъ плохъ, что онъ вышелъ, ничего не сказавъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Утромъ, въ субботу, 14-го ноября, въ обычный часъ, въ половинѣ седьмого, государь всталъ, одѣлся, перешелъ изъ кабинета въ уборную, съ помощью Егорыча, потому что былъ очень слабъ, сѣлъ за маленькій туалетный столикъ съ круглымъ зеркаломъ и велѣлъ подать бриться. Егорычъ подалъ теплой воды, тазикъ съ мыломъ и бритвы. Государь началъ бриться; руки у него тряслись отъ слабости; сдѣлавъ порѣзъ на подбородкѣ, увидѣлъ кровь, поблѣднѣлъ, пошатнулся, не удержался на стулѣ и свалился на полъ. Столикъ опрокинулся, зеркало разбилось.

Егорычъ, вышедшій на минуту изъ комнаты, вбѣжалъ на грохотъ паденія и, увидѣвъ государя, лежавшаго на полу безъ чувствъ, бросился изъ уборной въ кабинетъ, залу и дальше по всѣмъ комнатамъ.

— Помогите! Помогите! Государь кончается!

Весь домъ всполошился. Люди закричали, забѣгали, заматались безъ толку.

Прибѣжалъ Вилліе; увидѣвъ кровь на подбородкѣ и шеѣ государя, подумалъ, что онъ зарѣзался, и такъ перепугался, что самъ едва не лишился чувствъ.

А государь все еще лежалъ на полу, и никто ничего не дѣлалъ, только ахали да охали. Анисимовъ крестился и всхлипывалъ. Императрицынъ лейбъ-медикъ, старичокъ Штофрегенъ, старался откупорить склянку съ одеколономъ, но все не могъ. Волконскій, въ одномъ бѣльѣ, въ шлафрокѣ, стоя въ дверяхъ и остолбенѣвъ отъ ужаса, загораживалъ входъ. Государыня, вбѣгая въ комнату, должна была оттолкнуть его. Полураздѣтая, въ сбившемся ночномъ чепчикѣ, только что вскочила она съ постели. Взглянувъ на государя, подумала, что онъ умираетъ, но не потерялась, какъ всѣ: лицо ея сдѣлалось вдругъ спокойнымъ и рѣшительнымъ. Велѣла поднять его и перенести въ спальню.

Перенесли и уложили на узкую походную кровать, на которой онъ всегда спалъ. Когда Виллиэ стеръ мыло съ подбородка и увидѣлъ, что кровь сочится изъ ничтожной царапины, сдѣланной бритвою, то успокоился и успокоилъ государыню, что это простой обморокъ отъ слабости. Въ самомъ дѣлѣ, государь скоро очнулся.

— Что это было, Lise?

— Ничего, мой другъ, вамъ сдѣлалось дурно, и мы перенесли васъ на постель.

— Напугалъ я васъ? Какія глупости... Зачѣмъ?..—говорилъ онъ, видимо, еще не совсѣмъ понимая, что говорить.—А гдѣ же онъ?..

— Кто онъ?

Но государь ничего не отвѣтилъ и оглянулся, какъ будто только теперь пришелъ въ себя.

— Ступайте же, ступайте всѣ! Скажите имъ, Lise, чтобъ ушли. Никого не надо. Я хочу спать...

Закрывъ глаза и впавъ въ забытье. Оно продол-

жалось весь день. Былъ сильный жаръ. Тяжело дышалъ, стоналъ и метался, жаловался на головную боль, особенно, въ лѣвомъ вискѣ. Кожа на затылкѣ и за ушами покраснѣла; лицо подергивала судорога; глоталъ съ трудомъ.

Доктора опасались воспаленія мозга; предложили поставить за уши пиявки, но онъ и слышать не хотѣлъ, кричалъ:

— Оставьте, оставьте, не мучьте меня, ради Бога!

Въ тотъ же день, ночью, въ пріемной залѣ, рядомъ съ кабинетомъ, доктора совѣщались, въ присутствіи государыни и князя Волконскаго.

— Онъ въ такомъ положеніи, что самъ не понимаетъ, что говорить и что дѣлаетъ. Надо употребить силу, иного средства нѣтъ, — говорилъ Вилліе.

— Есть еще одно, — возразилъ Волконскій.

— Какое же?

— Предложить его величеству причаститься, наставя духовника, дабы старался увѣщевать его къ принятію лѣкарствъ.

Всѣ замолчали, ожидая, что скажетъ государыня.

— Вы думаете, Вилліе? — начала она и не кончила.

— Да, если бы, ваше величество...

— Сейчасъ?

— Чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше.

Лицо ея сдѣлалось такимъ же спокойнымъ и рѣшительнымъ, какъ давеча. Перекрестилась, вошла въ комнату больного и сѣла къ нему на постель. Онъ посмотрѣлъ на нее внимательно.

— Что вы, Lise?

— У меня къ вамъ просьба, — заговорила она

по-французски:—такъ какъ вы отказались отъ всѣхъ лѣкарствъ, то, можетъ быть, согласитесь на то, что я вамъ предложу?

— Что же?

— Причаститься.

Онъ зналъ, что умираетъ, а все же удивился.

— Развѣ я такъ плохъ?

— Нѣтъ, мой другъ,—отвѣтила она, и лицо ея сдѣлалось еще спокойнѣе: — но всякій христіанинъ употребляетъ это средство въ болѣзняхъ...

— Позовите Вилліе,—сказалъ государь.

Вилліе вошелъ.

— Развѣ я такъ боленъ, что причаститься надо? Говори правду, не бойся.

— Не могу скрыть отъ вашего величества, что вы находитесь въ опасномъ положеніи...

— Хорошо, позовите священника.

Послали за соборнымъ протоіереемъ, о. Алексѣемъ Ѳедотовымъ, тѣмъ самымъ, что на именинной кулебякѣ у городничаго Дунаева предсказывалъ: „будетъ вамъ всѣмъ шишъ подъ носъ!“

О. Алексѣй любилъ выпить, и въ эту ночь, послѣ четырехъ купеческихъ свадебъ въ городѣ, былъ пьянъ. Когда пришли за нимъ изъ дворца, мать-протопопица долго не могла его добудиться; когда же, наконецъ, онъ очнулся и понялъ, куда и зачѣмъ его зовутъ, то испугался такъ, что руки, ноги затряслись: „кондрашка едва не хватила“, — рассказывалъ впослѣдствіи. Выливъ себѣ ушатъ холодной воды на голову, кое-какъ оправился и поѣхалъ во дворецъ.

Въ это время у больного сдѣлался потъ съ такой изнуряющей слабостью, что доктора сочли нужнымъ подождать съ причастіемъ.

Въ пять часовъ утра онъ спросилъ:

— Гдѣ же священникъ?

О. Алексѣя ввели въ комнату.

— Поступайте со мною, какъ съ христіаниномъ, забудьте мое величество,—сказалъ ему государь то, что говорилъ всѣмъ духовникамъ своимъ.

Началась исповѣдь.

Сколько разъ думалъ онъ объ этой минутѣ и хотѣлъ представить себѣ, что будетъ чувствовать, когда наступитъ она, но вотъ наступила, и ничего не почувствовалъ. Говорилъ о самомъ стыдномъ, страшномъ, тайномъ въ жизни своей и, глядя на сѣдую, почтенную бороду о. Алексѣя, замѣчалъ, какъ она гладко, волосокъ къ волоску, расчесана; смотрѣлъ на жиромъ заплывшіе, всегда веселые и плутоватые, а теперь испуганные глазки его и думалъ: „нѣтъ, не забудеть онъ мое величество“; замѣтилъ также, что петельки на темно-лиловой шелковой рясѣ его неровно застегнуты, должно быть, второпяхъ: самый верхній крючокъ остался безъ петельки; смотрѣлъ на красно-сизыя жилки на носу его и думалъ: „должно быть, пьетъ“. И вдругъ опомнился: „что это, что это я, Господи? въ такую минуту!..“ Хотѣлъ ужаснуться, но ужаса не было,—ничего не было, кромѣ скуки и желанія поскорѣе отдѣлаться.

Когда исповѣдь кончилась, всѣ вошли въ комнату, и государь причастился.

Подходили, поздравляли его. И, глядя на торжественныя лица, онъ чувствовалъ, что надо сказать что-то, чтобъ соблюсти приличіе. Оглянулся, нашелъ глазами государыню и произнесъ внятно, раздѣльно, нарочно по-русски, чтобы всѣ поняли.

— Я никогда не былъ въ такомъ утѣшительномъ

положеніи, какъ теперь. Благодарю васъ, мой другъ.

„Ну, кажется, все? — подумалъ. — Нѣтъ, еще что-то“...

О. Алексѣй опустился на колѣни, держа въ одной рукѣ крестъ, въ другой—чашу. Государь посмотрѣлъ на него съ недоумѣніемъ.

— Что еще? Что такое? Встаньте же, встаньте! Развѣ можно на колѣняхъ съ чашею?..

Колѣнопреклоненіе передъ нимъ священниковъ всегда казалось ему кощунственнымъ. Сколько разъ приказывалъ, чтобъ этого не было,—и вотъ опять, въ такую минуту.

— Вы уврачевали душу, государь; отъ лица всей церкви и всего народа молю васъ: уврачуйте же и тѣло,—говорилъ о. Алексѣй, видимо, слова заученныя.

— Встаньте, встаньте!—повторялъ государь съ отвращеніемъ.

Но о. Алексѣй не вставалъ.

— Не отказывайтесь отъ помощи медиковъ, ваше величество, извольте пѣвки...

— Не надо, не надо, оставьте! — началъ государь и не кончилъ, махнулъ рукою съ безконечною скукою:—ну, хорошо, дѣлайте, что знаете...

Духовникъ отошелъ, и врачи приступили. Поставили 35 пѣвковъ къ затылку и за уши; къ рукамъ и къ бедрамъ — горчичники; холодныя примочки на голову; поставили также клистиръ и начали давать лѣкарства внутрь. Возлисъ часа два. Онъ уже ничему не противился. Когда кончили, такъ ослабѣлъ, что впалъ въ забытѣе, похожее на обморокъ.

Поздно ночью дежурный лѣкаръ Тарасовъ вышелъ посоветоваться о чемъ-то съ Вилліе; въ комнатѣ

больного никого не было, кромѣ Анисимова. Государь очнулся и велѣлъ Егорычу снять горчичники.

— Доктора не велятъ, ваше величество. Потерпите...

— Самъ потерпи!—крикнулъ государь и началъ срывать горчичники.

Егорычъ помогъ ему; онъ опять забылся; потомъ вдругъ открылъ глаза и заговорилъ измѣнившимся голосомъ:

— Егорычъ, а Егорычъ, гдѣ же онъ?

— Кого изволите, ваше величество?

— Кузьмичъ, Ѳедоръ Кузьмичъ, будто не знаешь?—шепталъ государь быстрымъ, слабымъ шопотомъ: — на базарѣ тутъ старичокъ одинъ, странничекъ; по большимъ дорогамъ ходить, на построение церкви собираетъ, — Ѳедоръ Кузьмичъ... Сходи, узнай. Да поскорѣй, поскорѣй, а то поздно будетъ. Поговорить съ нимъ надо, Егорычъ, голубчикъ, ради Бога! Только чтобъ никто не зналъ, слышишь? Сохрани Боже, Дибичъ узнаетъ — плетью запереть, скажетъ: бродяга безпаспортный...

Егорычъ блѣднѣлъ и крестился; понималъ, что онъ бредитъ; но казалось, что это не спроста и что не все въ этомъ бреду бредъ.

— Ну, чего ты? Чего боишься? — продолжалъ государь. — Сказано: человекъ Божій. Куда лучше насъ съ тобою. Вотъ бы кого на царство-то! Помазанникъ Божій, воистину... Да нѣтъ, не пойдетъ, что ему? Онъ и безъ царства царь. Нищій; да царь. Ну какъ этакаго-то плетью? Царя-то плетью! Все равно, что меня бы... Вѣдь и лицомъ похожъ на меня. Не такъ, чтобы очень, а сходство есть. Бѣлобрысенькій, лысенькій, голубенькіе глазки, совсѣмъ

какъ у теленочка, какъ у меня самого въ зеркалѣ... Въ зеркалѣ-то давеча, какъ брился да со стула упалъ, я вѣдь его увидѣлъ, ты что думаешь? — его, его, Ѳедора Кузьмича, право! Только ты, братъ, никому не говори, я тебѣ по секрету...

— Ваше величество! Ваше величество! — лепеталъ Егорычъ въ ужасѣ.

Государь хотѣлъ еще что-то сказать, приподнялся, но упалъ на подушки и закрылъ глаза въ изнеможеніи; потомъ опять раскрылъ ихъ и посмотрѣлъ на Егорыча, какъ будто съ удивленіемъ.

— Ну, что, что такое? Что ты на меня такъ смотришь? Что я сейчасъ говорилъ?..

— Не могу знать, ваше величество. О Ѳедорѣ Кузьмичѣ...

— Вздоръ! А ты зачѣмъ слушаешь? Дуракъ! Ступай вонъ, позови Тарасова.

Всю ночь бредилъ, стоналъ и метался. Спрашивалъ о Софѣ, какъ о живой, и о князѣ Валерьянѣ Михайловичѣ Голицынѣ, — скоро ли пріѣдетъ?

Къ утру сдѣлалось такъ худо, что думали, кончается. Четвертый день не принималъ пищи, — все время тошнило, — только съѣдалъ иногда ложечку лимоннаго мороженаго; почти не говорилъ, но когда подходила къ нему государыня, улыбался ей молча, бралъ ея руку въ свои, цѣловалъ, влалъ себѣ на голову или на сердце.

— Устали? Отчего не гуляете? — сказалъ однажды въ два часа ночи: должно быть, дни и ночи для него уже спутались.

Иногда складывалъ руки и молился шопотомъ.

Утромъ, во вторникъ, 17-го ноября, доктора ставили ему на затылокъ мушку. Онъ кричалъ; по-

томъ уже не могъ кричать и только стоналъ однообразнымъ, безконечнымъ стономъ:

— Охъ-охъ-охъ-охъ!..

Государыня не узнавала голоса его: что-то было въ этомъ стонѣ ужасное, похожее на вой собаки. Заткнула уши, бросилась вонъ изъ комнаты. Но и сквозь стѣны слышала. Выбѣжала въ садъ.

Было ясное утро; лучезарное солнце, голубое небо, голубое море съ бѣлымъ парусомъ; тишина, прозрачность и звонкость хрустальная. Она смотрѣла на все съ удивленіемъ. Между этимъ яснымъ утромъ и тѣмъ воющимъ, лающимъ стономъ противорѣчіе было нестерпимое. Подняла глаза къ небу, вспомнила: *просите и дастся вамъ*. — „Ну, вотъ прошу, прошу, прошу! сдѣлай, сдѣлай, сдѣлай!“ — какъ будто не молилась, а приказывала.

Вернулась въ комнаты. Стонъ затихъ. Въ пріемной Вилліе говорилъ что-то дежурнымъ лѣкарямъ, Тарасову и Добберту. Подошла и прислушалась:

— Кажется, мушка дѣйствуетъ; смотрите же, чтобъ не сорвалъ, какъ намедни горчичники. А если надо будетъ, въ крайнемъ случаѣ...

Кончилъ шопотомъ. Она не разслышала, но поняла. „Руки ему свяжутъ, что ли, какъ сумасшедшему? Нѣтъ, нѣтъ, лучше я сама“...

Вошла въ кабинетъ. Лицо у него было, какъ у ребенка, котораго обидѣли, и который только что пересталъ плакать. Узналъ ее и какъ всегда улыбнулся ей.

— *Est-ce que cela ne vous fatiguera pas, chère amie?*

Шторы на окнахъ были спущены. Онъ взглянулъ на нихъ и сказалъ:

— Подымите шторы.

Подняли. Солнце залило комнату.

— Какая погода! — сказал он громко, внятно, почти обыкновенным своим голосом.

Хотѣлъ поднять руку къ затылку. Она удержала ее.

— Что это? — спросил он. — Отчего так больно?

— Вамъ поставили мушку, чтобъ кровь оттянуть.

Опять поднялъ руку, она опять удержала, — и такъ много разъ. Умоляла, ласкала, боролась; и въ этомъ нѣжномъ насиліи было что-то давнее-давнее, напоминавшее первыя ласки любви:

Амуру вздумалось Психею,
Рѣзвися, понимать...

Увидѣлъ Егорыча и тоже улыбнулся ему:

— Что, братъ, усталъ? Поди, отдохни.

— Ничего, ваше величество, только бы вамъ полегче...

— Миѣ лучше, развѣ не видишь?

— Слава тебѣ, Господи! — перекрестился Егорычъ. — Выбаливается, здоровъ будетъ! — шепнулъ онъ государынѣ съ такою вѣрою, что и она вдругъ повѣрила.

„Сдѣлай, сдѣлай, сдѣлай!“ — молилась и уже знала, что сдѣлалъ, — чудо совершилось.

„Дорогая матушка, — писала въ тотъ день императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, — сегодня, — да будетъ воздано за то тысячи благодареній Всевышнему, — наступило улучшеніе явное. О, Боже мой, какія минуты я пережила! Могу себѣ представить и ваше безпокойство. Вы получаете бюллетень; слѣдовательно, должны знать, что было съ нами вчера и еще сегодня ночью. Но нынче самъ Вилліе говорить, что

состояніе больного удовлетворительно. Я едва помню себя и больше ничего не могу вамъ сказать. Молитесь съ нами“...

Въ 5 часовъ вечера сидѣла у него на постели и держала руку его въ своей; рука его опять пылала: жаръ усилился. Онъ забывался и говорилъ съ трудомъ:

— *Ne rougrait-on pas, dites moi un peu...* — начиналъ и не кончалъ; потомъ — по-русски:

— Дайте мнѣ...

Пробовали давать чаю, лимонаду, мороженаго; но по глазамъ его видѣли, что все не то. Наконецъ, подозвалъ Волконскаго.

— Сдѣлай мнѣ...

— Что прикажете сдѣлать, ваше величество?

Государь посмотрѣлъ на него и сказалъ:

— Полосканье.

Волконскій началъ дѣлать, хотя зналъ, что государю уже нельзя полоскать рта отъ слабости. Онъ, впрочемъ, опять забылся.

Еще нѣсколько разъ начиналъ:

— *Ne rougrait-on pas?.. Il faudrait...*

Наконецъ, прибавилъ чуть слышно:

— *Renvoyer tout le monde.*

Но никого не было въ комнатѣ, кромѣ государыни и Волконскаго, который стоялъ въ углу, такъ что больной не могъ его видѣть.

— О, пожалуйста, пожалуйста!... — повторялъ онъ съ мольбою, какъ будто не хотѣли сдѣлать того, о чемъ онъ просилъ.

И вдругъ опять, какъ давеча, внятно, громко, почти обыкновеннымъ своимъ голосомъ:

— Я хочу спать.

Это были послѣднія слова его, которыя она слышала.

Онъ лежалъ высоко на подушкахъ, почти сидѣлъ; когда сказалъ: „я хочу спать“, — опустилъ голову и закрылъ глаза; попробовалъ сложить руки, какъ для молитвы, но уже не могъ: руки упали на одеяло, безсильныя. Улыбнулся, какъ тогда, въ началѣ болѣзни, когда она еще не понимала, что значитъ эта улыбка, — теперь поняла. Лицо тихое, свѣтлое и такое прекрасное, какими она никогда не видѣла его. „Ангель, котораго мучаютъ, — подумала. — И какъ я сдѣлаю, чтобъ его еще больше любить, когда...?“ Хотѣла подумать: „когда онъ будетъ здоровъ“, — и вдругъ поняла, только теперь, за всю болѣзнь, въ первый разъ поняла, что не будетъ здоровъ, что это смерть.

Онъ открылъ глаза и посмотрѣлъ на нее. Она увидѣла, что онъ хочетъ ей что-то сказать, и наклонилась.

— Не страшно, Lise, не страшно... — прошепталъ такъ тихо, что она не слышала; хотѣлъ сказать: „не страшно впасть въ руки Бога живаго“; но, взглянувъ на нее, понялъ, что говорить не надо, — она уже знаетъ все.

Въ это время въ пріемной Волконскій шептался съ Дибичемъ.

— Положеніе мое, князь, весьма затруднительно: мнѣ, какъ начальнику штаба, необходимо знать, къ кому относиться, въ случаѣ кончины его величества, — говорилъ Дибичъ.

— Я полагаю, къ государю наследнику, Константину Павловичу, — отвѣтилъ Волконскій.

Объ отреченіи Константина оба ничего не знали,

но и у нихъ, какъ у всѣхъ, при этомъ имени, мелькало сомнѣніе.

— Да, къ Константину Павловичу, — продолжалъ Дибичъ: — однако, послѣдняя воля его величества намъ неизвѣстна...

— О чемъ же вы раньше думали? — проговорилъ Волконскій съ нетерпѣніемъ.

— Позвольте вамъ напомнить, князь, что я неоднократно о семъ имѣлъ честь докладывать вашему сіятельству, — возразилъ Дибичъ тоже съ нетерпѣніемъ.

— Отчего же мнѣ докладывали, а сами не дѣлали?

— Я полагалъ, что неприлично...

— И хотѣли, чтобы я за васъ неприличіе сдѣлалъ?

Стояли другъ противъ друга, какъ два пѣтуха, готовые къ бою. Волконскій смотрѣлъ на него свысока, потому что иначе не могъ: голова Дибича приходилась едва по плечо собесѣднику; карапузикъ маленькій, толстенъкій, съ большой головой и кривыми ножками; когда маршировалъ въ строю, долженъ былъ бѣгать вприпрыжку; движенія кособокія, неуклюжія, ползучія, какъ у краба; видъ заспанный, неряшливый; на сюртукѣ вѣчно какой-нибудь пухъ или перышко; рыжіе волосы взъерошены; лицо налитое, красное: увѣряли, будто бы пьетъ. Но наружность его была обманчива: неутомимо-дѣятеленъ, горячъ, выпучъ, вспыльчивъ до самозабвенія (не даромъ впослѣдствіи, въ турецкомъ походѣ, солдаты прозвали его: „самоваръ-паша“) и, вмѣстѣ съ тѣмъ, хладнокровенъ, тонокъ, уменъ, проницателенъ. Государю потакалъ во всемъ, а тотъ почти боялся.

его. „Дибичу языка въ ротъ не клади“. — гонималъ.

Дибичъ и Волконскій другъ друга не знали. Одинъ — русскій князь, вельможа съ головы до ногъ; другой — пропавшій, вискочекъ, сынъ бѣлаго кандала изъ Пруссіи Сиверинъ, привезенный въ Россію чуть не пѣшкомъ, съ вѣточкой за пазухой. Дибичъ называлъ князя „старой каюшкой“, а тотъ его — „Аракчеевскій пазухъ, порожекѣвъ ещипыны“. Но какъ ни презирали ониъ Дибича, а тайкомъ чувствовали, что не ему, русскому князю, а этому нѣмецкому вискочку принадлежитъ будущее.

— Чего же вы отъ меня желаете, ваше превосходительство? — проговорилъ, наконецъ, Волконскій, едва сдерживаясь.

— Не будете ли такъ добры, князь, доложить ей величеству?

— Ну, нѣтъ, слуга покорный! Сами извольте докладывать...

Стальные глаза Дибича сверкнули злобою, лицо вспыхнуло, „самоваръ“ закипѣлъ.

— Воля ваша, князь, но если что случится. — не моя вина. Обращаясь къ вашему сіятельству, я полагаю, что въ такую минуту слѣдуетъ оставить всякія личности, памятуя токио о долгѣ службы передъ царемъ и отечествомъ. Но видно ошибся... Честь имѣю кланяться!

— Погодите, — остановилъ его Волконскій, — хотите, сдѣлаемъ такъ: выѣстъ войдемъ, и вы при насъ доложите ей величеству?

Дибичъ согласился. Вошли въ кабинетъ. Больной лежалъ въ забытѣ. Государыня стояла на кофѣняхъ, опустивъ голову на край постели и закрывъ лицо

руками. Когда вошли, обернулась и встала; по лицам ихъ увидѣла, что хотятъ ей что-то сказать, и подошла къ нимъ.

Дибичъ заговорилъ, но она долго не могла понять.

— Богъ одинъ можетъ помочь и спасти государя; однако же, спокойствіе и безопасность Россіи требуютъ, чтобы, на всякій случай, приняты были надлежащія мѣры. Прошу ваше величество сказать мнѣ, къ кому, въ случаѣ несчастья, должно будетъ относиться?..

Поняла, наконецъ, и почувствовала такое оскорбленіе, что хотѣлось закричать, затопать ногами, выгнать, вытолкать его изъ комнаты: казалось, что онъ снимаетъ съ государя мѣрку гроба заживо.

— Разумѣется, къ наслѣднику Константину Павловичу,—проговорила, едва сознавая, что говорить, только бы отъ него отдѣлаться. При имени Константина, ей что-то смутно вспомнилось; но не могла теперь думать объ этомъ.

— Слушаю-съ, ваше величество, — сказалъ Дибичъ и хотѣлъ еще что-то прибавить, но она остановила его:

— Прошу васъ, оставьте меня...

И отошла къ постели больного. А Дибичъ все еще стоялъ, какъ будто ждалъ чего-то; смотрѣлъ на государя, и ему казалось, что тотъ на него тоже смотреть. „Не спросить ли?“ — подумалъ, по махнулъ рукою и вышелъ изъ комнаты.

Пятую ночь никто во дворцѣ не ложился. Виліе былъ боленъ отъ усталости; Волконскому нѣсколько разъ дѣлалось дурно; Егорычъ едва на ногахъ держался. Одна государыня казалась бодрою; всегда больная, слабая, теперь была сильнѣе всѣхъ.

Въ окнахъ свѣтлѣло, въ окнахъ темнѣло; огни зажигались, огни потухали, — но для нея уже не было времени.

Больной всегда чувствовалъ ея присутствіе; говорить уже не могъ, только шевелилъ губами беззвучно, и она тотчасъ понимала, чего онъ хочетъ: клала ему руку на сердце, на голову и цѣлыми часами держала такъ. Однажды почувствовала на щекѣ своей два слабыхъ движенія губъ: то былъ его послѣдній поцѣлуй.

Въ другой разъ, увидѣвъ Волконскаго, онъ улыбнулся ему; а когда тотъ сталъ цѣловать ему руки, — сдѣлалъ знакъ глазами: не надо цѣловать руки.

Съ минуты на минуту, ждали конца. 18-го ноября, въ среду, утромъ начались опять судороги въ лицѣ. Дышалъ такъ тяжело и хрипло, что слышно было изъ сосѣдней комнаты. Лицо помертвѣло, кончикъ носа заострился, глаза ввалились и заткались паутиною смертною. Думали — конецъ. Позвали священника читать отходную. Но судороги мало-по-малу затихли. Часы пробили 9. Онъ перевелъ на нихъ глаза, и взоръ былъ полонъ жизни; потомъ взглянулъ на дежурнаго гофъ-медика Добберта, котораго не привыкъ видѣть у себя въ комнатѣ, и долго смотрѣлъ на него съ удивленіемъ, какъ будто хотѣлъ спросить, зачѣмъ онъ здѣсь.

И вдругъ опять начали надѣяться. Чтобы не умеръ отъ истощенія, такъ какъ давно уже глотать не могъ, — поставили два клистира изъ бульона, свареннаго на смоленской крупѣ.

Но не долго надѣялись: въ тотъ же день, около полуночи, началась агонія.

Государыня держала голову его въ рукахъ сво-

ихъ, иногда мочила пальцы въ холодной водѣ и проводила ими внутри воспаленныхъ губъ его, чтобъ освѣжить ихъ. Онъ сосалъ пальцы ея, и она улыбалась ему, какъ мать ребенку, котораго кормить.

Агонія длилась всю ночь до утра.. Утро въ четвергъ, 19-го ноября, было пасмурное. Во всѣхъ церквахъ служились молебны объ исцѣленіи государя. На площади передъ дворцомъ толпился народъ.

Умирающій былъ въ полномъ сознаніи; часто открывалъ глаза и смотрѣлъ то на распятіе въ золотомъ медальонѣ, висѣвшее на стѣнѣ, благословеніе отца, то на государыню. Дыханіе становилось все рѣже и рѣже, и съ каждымъ разомъ слабѣе, короче; нѣсколько разъ совсѣмъ останавливалось и потомъ опять начиналось; наконецъ, въ послѣдній разъ вдохнулъ въ себя воздухъ и уже не выдохнулъ.

Вилліе пощупалъ пульсъ и молча взглянулъ на государыню. Она перекрестилась. Было 10 ч. 47 м. утра.

Всѣ плакали, не плакала одна государыня. Опустилась на колѣни, поклонилась въ ноги усопшему, встала, закрыла ему глаза и долго держала пальцы на вѣкахъ, чтобъ не открылись; сложила носовой платокъ тщательно, подвязала покойнику нижнюю челюсть, перекрестила его и поцѣловала въ лобъ, какъ всегда дѣлала на ночь; еще разъ поклонилась въ ноги и вышла изъ комнаты.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего, благочестивѣйшаго государя императора Александра Перваго всея Россіи! — слышалось надгробное пѣніе, и никто не удивлялся, что царя называютъ рабомъ.

Обмытый, убранный, въ чистомъ бѣлѣѣ и бѣломъ шлафроку, онъ лежалъ тамъ же, гдѣ умеръ, въ кабинетъ-спальнѣ, на узкой, желѣзной походной кровати. Въ головахъ — икона Спасителя, въ ногахъ — аналой съ Евангеліемъ. Четыре свѣчи горѣли дневнымъ тусклымъ пламенемъ, какъ тогда, мѣсяць назадъ, когда онъ читалъ записку о Тайномъ Обществѣ. Въ лучахъ солнца (погода разгулялась) струились голубыя волны ладана.

Нижняя челюсть покойника все еще была подвѣзана, чтобъ ротъ не раскрывался; узелокъ затянутъ тщательно, и на макушкѣ торчали два бѣлыхъ кончика. Лицо помолодѣло, похорошѣло, и такое выраженіе было въ немъ, какъ будто онъ сдѣлалъ то, что надо было сдѣлать, и теперь ему хорошо, — „все хорошо на вѣки вѣковъ“.

На первой панихидѣ присутствовала государыня; все еще не плакала; лицо ея было такъ же спокойно, какъ лицо усопшаго.

На другой день, 20-го ноября, въ пятницу, въ семь часовъ вечера, въ присутствіи начальника штаба, генерала Дибича, генераль-адъютанта Чернышева и девяти докторовъ, въ томъ числѣ Вилліе, Штофрегена и Тарасова, произведено было вскрытіе тѣла.

Доктора нашли, что мозгъ почернѣлъ съ лѣвой стороны, именно тамъ, гдѣ государь жаловался на боль. Въ протоколѣ было сказано: „по отдѣленіи пилою верхней части черепа, изъ затылочной стороны вытекло два унца венозной крови, а при извлеченіи мозга изъ полости онаго, найдено прозрачной сукровицы (serositas) до двухъ унцовъ. Сіе анатомическое изслѣдованіе очевидно доказываетъ, что августѣйшій нашъ монархъ былъ одержимъ острою болѣзнію, коею первоначально поражена была печень и прочіе въ отдѣленію желчи служащіе органы; болѣзнь сія, въ продолженіи своемъ, постепенно перешла въ жестокую горячку съ воспаленіемъ мозга и была, наконецъ, причиною смерти его императорскаго величества“.

Чтобы тѣло перевезти въ Петербургъ, почти за двѣ тысячи верстъ, надо было набальзамировать его. Дибичъ поручилъ бальзамированье лейбъ-хирургу Тарасову, когда же тотъ отказался „изъ сыновняго чувства и благоговѣнія къ покойному императору“, то гофъ-медикамъ Рейнгольду и Добберту.

Тотчасъ по вскрытіи, тутъ же, въ кабинетѣ государя, приступили къ дѣлу: велѣно было кончить въ ту же ночь до утра.

Во второмъ часу ночи, Дибичъ отправилъ своего

адъютанта, молоденькаго штабнаго офицера, Николая Ивановича Шенига, во дворецъ, чтобы узнать, какъ идетъ бальзамированье.

Шенигъ не нашелъ во дворцѣ никого, кромѣ стоявшаго на часахъ у входа казачьяго офицера. На время бальзамированья и установки катафалка государыня выѣхала въ сосѣдній домъ Шихматова.

Пройдя по пустыннымъ и темнымъ комнатамъ, Шенигъ подошелъ къ двери кабинета; дверь была заперта; постучался; изнутри окликнули, опросили и, наконецъ, отперли.

Когда онъ вошелъ, на него пахнуло удушливымъ запахомъ лѣкарствъ, ароматическихъ травъ, уксуса, спирта и еще чѣмъ-то тяжелымъ—только потомъ понялъ онъ, что это трупный запахъ. Посрединѣ комнаты стоялъ большой кухонный столъ; вокругъ него толпились люди въ запачканныхъ фартукахъ; что-то длинное, бѣлое лежало на столѣ. Онъ зналъ что, но не хотѣлъ вглядываться; зажмуривъ глаза и стараясь не дышать носомъ, подошелъ къ гофъ-медикамъ, Рейнгольду и Добберту. Они сидѣли у пылавшаго камина и варили что-то на огнѣ въ двухъ котелкахъ, иногда снимая пѣну и помѣшивая варевъ оловянными ложками. Курили сигары. Рейнгольдъ—худой, длинный, Доббертъ—низенькій, толстенькій; освѣщенные краснымъ пламенемъ, похожи были на двухъ колдуновъ, которые варятъ волшебное снадобье.

— Честь имѣю явиться отъ его превосходительства, генерала Дибича, дабы узнать, въ какомъ положеніи находится тѣло покойнаго государя императора,—отрапортовалъ Шенигъ.

Рейнгольдъ ничего не отвѣтилъ и продолжалъ мѣшать въ котелкѣ, а Доббертъ вынулъ изо рта сигару,

держала ее между двумя пальцами, большим и безымяннымъ,—руки у него были запачканы,—и посмотрѣлъ изъ-подъ очковъ брюзгливо.

— Въ какомъ положеніи тѣло? А вотъ взглянуть не угодно ли, — кивнулъ на столъ, гдѣ лежало то бѣлое, длинное.

Шенигъ сдѣлалъ видъ, что смотреть, но опять невольно зажмурилъ глаза и потупился.

— Говорите по-нѣмецки?

— Говорю.

— Ну, такъ вотъ, господинъ офицеръ, генералъ Дибичъ требуетъ, чтобы мы кончили все въ одну ночь — разъ, два, три — по-военному. Но это невозможно, это противъ всѣхъ правилъ науки. Бальзамированье—дѣло трудное: для того, чтобы произвести его, какъ слѣдуетъ, должно погрузить все тѣло въ спиртъ на нѣсколько сутокъ, а мы для сего и спирта не имѣемъ въ потребномъ количествѣ: скверной русской водки сколько угодно, а хорошаго спирта нѣтъ, не говоря уже о прочихъ спеціяхъ. Тутъ ничего достать нельзя, даже чистыхъ простынь и полотенецъ. Во дворцѣ — ни души: всѣ разбѣжались. Давно ли трепетали одного взгляда его, а только что закрылъ глаза,—покинули его...

— Русскія свиньи! — процѣдилъ съвозъ зубы Рейнгольдъ и засосалъ, зажевалъ свой вонючій окурокъ.

— Я доложу обо всемъ его превосходительству немедленно,—проговорилъ Шенигъ и хотѣлъ раскланяться: его все больше мутило отъ запаха.

— Нѣтъ, погодите, извольте сами взглянуть.

Доббертъ взялъ Шенига подъ руку, подвелъ къ столу, и онъ долженъ былъ увидѣть то, чего не хо-

тѣло видѣть: безстыдно оголенное тѣло покойника. Хотя выраженіе лица очень измѣнилось, когда, при наложеніи отпиленной верхней части черепа на нижнюю, натягивали кожу съ волосами, — онъ тотчасъ же узналъ его, — узналъ, но не повѣрилъ, что это онъ.

Съ такимъ ученымъ видомъ, какъ будто читалъ лекцію, Доббертъ объяснялъ, какъ производится бальзамированіе. По вскрытіи, вынули мозгъ, сердце и прочія внутренности и уложили въ серебряный круглый ящикъ, похожій на обыкновенную жестянку изъ-подъ сахара, съ крышкою и замкомъ, почему-то называвшійся *животомъ*. Доббертъ тутъ же заперъ ящикъ и отдалъ ключикъ Шенигу для передачи генералу Дибичу.

— Ключикъ отъ сердца его величества, — пошутилъ онъ и спохватился, насупился, продолжалъ лекцію.

По удаленіи внутренностей, вырѣзали мясистыя части и начали набивать образовавшіяся полости бальзамическими травами, тщательно разваренными (ихъ-то и варили въ котелѣ Рейнгольдъ съ Доббертомъ), и вабинтовывать широкими полотняными тесьмами, на подобіе свивальниковъ.

Фельдшера, возившіеся надъ тѣломъ, остановились на минуту, когда подошли къ столу Доббертъ съ Шенигомъ.

— Ну, живо, живо, господа! — прикрикнулъ на нихъ Доббертъ. — Эй, Васильевъ, вѣпче стягивай, аккуратнѣе: двѣ тысячи верстъ не шутка для покойника!

Фельдшера опять принялись за работу, начали бинтовать, какъ будто пеленать, покойника.

— А посмотрите-ка, какое тѣло прекрасное, — сказалъ Доббертъ.

— Да, здоровъ былъ покойникъ, — замѣтилъ Рейнгольдъ, тоже подойдя къ столу:—сложеніе атлетическое; если бы не эта глупая горячка, еще сорокъ лѣтъ прожилъ бы.

— Никогда я не видывалъ человѣка, лучше сотвореннаго, — продолжалъ Доббертъ: — руки, ноги, всѣ части могли бы служить образцомъ для ваятеля. А кожа-то, кожа,—какъ у молодой дѣвушки!

Шенигъ тоже смотрѣлъ, и страхъ его исчезалъ: нѣтъ, не страшно это голое, чистое мертвое тѣло,—живые люди въ ихъ грязныхъ одеждахъ, съ ихъ безпокойными лицами—страшнѣе.

Когда перевертывали тѣло, рука покойника, упавъ со стола, бессильно свѣсилась. Шенигъ взглянулъ на нее, и вспомнилось ему, какъ однажды, на военномъ смотрѣ, государь скакалъ передъ фронтомъ, и когда тридцатитысячная громада войскъ кричала: „ура!“ — онъ, здороваясь, поднималъ руку къ шляпѣ, со своей прелестной улыбкой. О, какъ Шенигъ любилъ его тогда и какъ хотѣлось ему, чтобъ эта рука однимъ мановеніемъ послала ихъ всѣхъ на смерть! И вотъ теперь сама она—мертвая.

Слезы подступили къ горлу его; онъ поскорѣй распрощался и вышелъ изъ комнаты.

Въ темныхъ сѣняхъ зашелъ въ уголъ, закрылъ лицо руками и заплакалъ. Плакалъ не отъ горя, не отъ жалости, а отъ умиленія, отъ восторга, отъ влюбленной нѣжности.

Обряда царскихъ похоронъ никто изъ придворныхъ не зналъ. Къ счастью, въ бумагахъ покойнаго нашли церемоніаль погребенія императрицы Екатерины II, взятый государемъ по секрету, передъ отъѣздомъ въ Таганрогъ, изъ церемоніймейстерскаго де-

партамента. Думалъ ли онъ, что государынѣ живою не вернуться, или свою собственную смерть предчувствовалъ?

Большую приѣмную залу, рядомъ съ кабинетомъ, обили чернымъ сукномъ, воздвигли высокій, со ступенями, въ видѣ трона, катафалкъ и поставили на немъ гробъ. Первый, внутренній—свинцовый; за неимѣніемъ свинца въ достаточномъ количествѣ, сдѣлали гробъ изъ домовой крыши, купленной покойнымъ для ремонта дворца: кровля дома послужила домовиной вѣчною; второй, внѣшній гробъ—дубовый, обитый золотою парчою съ орлами двуглавыми.

Тѣло, по окончаніи бальзамированья, одѣли въ парадный общій генеральскій мундиръ, съ андреевскою звѣздой и прочими орденами въ петлицѣ, только безъ ленты и шпаги, съ царскою порфирой на плечахъ и съ золотою короною на головѣ, — положили въ гробъ и покрыли кисеею.

Днемъ и ночью дежурили у гроба донского лейбъ-гвардіи казачьяго полка одинъ генералъ, одинъ штабъ-офицеръ и два оберъ-офицера, съ обнаженными шпагами. Священники все время читали Евангеліе. Екатеринославскій архіерей съ греческимъ архимандритомъ изъ монастыря Варвадія и съ прочимъ духовенствомъ служили панихиды соборнѣ, два раза въ день, утромъ и вечеромъ.

Послѣ каждой панихиды, гофмаршалъ князь Волконскій вводилъ изъ залы всѣхъ, кромѣ священника и двухъ караульныхъ офицеровъ, которымъ велѣно было стоять, не шевелясь и не подымая глазъ. Въ залу входила государыня, вся въ черныхъ плѣрѣзахъ и съ длинною черною вуалью на лицѣ, неслышно, какъ тѣнь; подымалась на ступени катафалка, моли-

лась и цѣловала тѣло сквозь кисею гробовую. За нѣсколько дней похудѣла и осунулась такъ, что живое надъ гробомъ лицо казалось мертвѣе мертваго.

Въ эти дни писала она матери своей, герцогинѣ Баденской:

„Пишу вамъ только для того, чтобы сказать, что я жива. Но не могу выразить того, что чувствую. Я иногда боюсь, что вѣра моя въ Бога не устоитъ. Ничего не вижу предъ собою, ничего не понимаю, не знаю, не во снѣ ли я. Я буду съ нимъ, пока онъ здѣсь; когда его увезутъ, уѣду за нимъ, не знаю когда и куда. Не очень беспокойтесь обо мнѣ, я здорова. Но если бы Господь сжаился надо мною и взялъ меня къ Себѣ, это не слишкомъ огорчило бы васъ, маменька милая? Знаю, что я не за него, а за себя страдаю; знаю, что ему хорошо теперь, но это не помогаетъ, ничего не помогаетъ. Я прошу у Бога помощи, но, должно быть, не умѣю просить“...

Когда изъ дома Шихматова вернулась она во дворецъ, такая тоска напала на нее, что казалось, не вынесетъ, сойдетъ съ ума. Ходила по комнатамъ, такъ же какъ тогда, съ нимъ, по пріѣздѣ своемъ въ Таганрогъ: „вамъ нравится, Lise, въ самомъ дѣлѣ, нравится? Я вѣдь все это самъ устраивалъ и такъ боялся, что вамъ не понравится“... Вотъ ея любимый царскосельскій диванъ, на которомъ они тогда сидѣли вмѣстѣ: „ну, вотъ мы и вмѣстѣ, Lise, теперь уже навсегда вмѣстѣ!“ А вотъ и онъ, онъ, пастушокъ фарфоровый со сломанною ручкою, — столовые часики все тикаютъ да тикаютъ. Слушала ихъ и вдругъ забывала все: онъ живъ, здоровъ; только что вышелъ изъ комнаты и сейчасъ войдетъ; видѣла лицо

его, слышала голосъ: „хорошо ли вамъ, Lise? Все ли у васъ есть? Не надо ли чего-нибудь еще?..“

— Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего!—доносилось надгробное пѣніе, и ей казалось, что она спитъ и видитъ дурной сонъ,—вотъ-вотъ закричитъ и проснется.

И ночью, въ постели, думала, глядя широко раскрытыми глазами въ темноту: „ну, вотъ опять, опять этотъ сонъ! Когда же, наконецъ, проснусь?..“

Какъ человѣкъ, у котораго отняли ногу, очнувшись, хватается за нее и, увидѣвъ, что нѣтъ ноги, удивляется,—такъ она удивлялась; и отъ этого удивленія сходила съ ума. Но никогда не теряла сознанія; напротивъ, чѣмъ сильнѣе боль, тѣмъ яснѣе сознаніе; чѣмъ яснѣе сознаніе, тѣмъ сильнѣе боль,—и этому нѣтъ конца. Вспоминала то, что писала въ дневникѣ своемъ: „никогда не знаешь, какъ еще будешь страдать, какъ еще можно страдать, и есть ли конецъ страданію...“ Теперь знала, что нѣтъ конца.

Цѣловать мертвое тѣло, чувствуя холодъ на губахъ своихъ сквозь кисею гробовую,—вотъ все, что ей оставалось отъ любимаго здѣсь, на землѣ, а что тамъ, на небѣ,—объ этомъ старалась не думать: знала по опыту, что это не помогаетъ.

Иногда хотѣлось поднять кисею, чтобъ увидѣть лицо, но не смѣла: казалось, что ему, который при жизни такъ заботился о своей наружности, былъ такимъ щеголемъ, непріятно, чтобъ видѣли, какъ онъ измѣнился, а что измѣнился такъ, что почти узнать нельзя,—это и сквозь кисею было видно. „Что съ нимъ сдѣлали?—думала.—Не онъ! Не онъ!..“

Однажды, подойдя ко гробу и почувствовавъ сквозь привычно-приторный запахъ спирта, уксуса, бальза-

мическихъ травъ еще какой-то другой, — долго не могла понять, что́ это, — и вдругъ поняла; не потеряла сознанія, не сошла съ ума, но, казалось, что если бы могла сойти съ ума, — было бы легче.

Въ тотъ же день сидѣла у себя одна въ спальнѣ, поздно вечеромъ. Слушала, какъ вѣтеръ воетъ въ трубѣ, стучитъ косымъ дождемъ въ окна, какъ деревья сада шумятъ, и гдѣ-то рядомъ, должно быть, на крышѣ садовой бесѣдки, флюгеръ, неистово подъ вѣтромъ вертящійся, скрипитъ, визжитъ и стонетъ ржавымъ желѣзомъ: „сomme une âme en peine (какъ душа въ мукахъ)“ — подумала и почему-то вспомнила тотъ давешній запахъ. И какъ тогда долго не могла понять, что́ значитъ этотъ запахъ, и вдругъ поняла, — такъ и теперь долго слушала этотъ безконечный стонъ желѣза, все не понимая, — и вдругъ поняла.

— Сейчасъ! Сейчасъ! Сейчасъ! — какъ будто отвѣтила на чей-то зовъ; заторопилась, подошла къ столу, выдвинула ящикъ, вынула два ключа, сорвала съ головы длинную черную вуаль, накинула старый платокъ Амальхенъ, тотъ самый, который назывался „милой тѣтушкой“, взяла свѣчу, вышла изъ комнаты на цыпочкахъ, остановилась, прислушалась, — все тихо, только за стѣной слышится тонкій храпъ, должно быть, фрейлины Валуевой, и далеко гудитъ, какъ пчела, однообразный голосъ священника; пройдя еще нѣсколько комнатъ, вошла въ сѣни съ отдѣльнымъ, нарочно для нея устроеннымъ ходомъ въ садъ; поставила свѣчу на подоконникъ, выбрала изъ висѣвшаго на вѣшалкѣ платья самую старую, облѣзлую шубенку одной изъ своихъ камеръ-медхенъ, надѣла ее, отперла дверь, вышла на крыльцо и сошла въ садъ. Неистовый вѣтеръ охватилъ ее и едва не сва-

лилъ съ ногъ; гдѣ-то очень близко, какъ будто надъ самымъ ухомъ ея, завизжало, заскрежетало ржавое желѣзо флюгера. Въ темнотѣ, оступаясь и натываясь на цвѣточные клумбы, кусты и стволы деревьевъ, добралась до забора, нащупала калитку, вставила ключъ, отперла и уже хотѣла переступить порогъ, когда кто-то схватилъ ее за руку.

— Ваше величество! Ваше величество! — проговорилъ голосъ князя Петра Михайловича Волконскаго.

Ноги у нея подкосились; тихо вскрикнула и почти упала на руки его.

Когда опомнилась, — опять сидѣла у себя, одна, въ спальнѣ, какъ будто ничего не случилось. Волконскаго не было съ нею: поспѣшилъ уйти; ничего не говорилъ, ни о чемъ не спрашивалъ, когда велъ ее, почти несъ на рукахъ домой. Неужели понялъ, куда и зачѣмъ она шла? Ну, все равно: не сейчасъ, такъ потомъ, а это будетъ; только не здѣсь, не рядомъ съ нимъ, лежащимъ въ гробу, а гдѣ-нибудь подальше, чтобъ никто не увидѣлъ, не помѣшалъ; хорошо бы въ такую ночь, какъ эта, или потомъ, когда наступитъ зима и начнутся вьюги, — идти, идти, безъ дорогъ, безъ слѣда, по голой степи, по снѣгу, пока не упадетъ и не замерзнетъ гдѣ-нибудь на днѣ оврага, подъ сугробомъ, такъ чтобы никто никогда не нашелъ, не узналъ; или съ кручи надъ моремъ — прямо внизъ головой въ волны прибоя... Да, все равно, когда и гдѣ, и какъ, но это будетъ, — что рѣшила, то сдѣлаетъ; только объ этомъ и не страшно думать, только это и спасаетъ отъ того, что страшнѣе, чѣмъ безуміе, чѣмъ смерть, чѣмъ ея смерть, — отъ мысли, что все, во что она вѣрила, — ложь, проклятая ложь, и

что единственная правда въ томъ давешнемъ запахѣ и въ этомъ стонѣ, плачѣ, скрежетѣ ржавого желѣза подъ бурю: „тамъ будетъ плачъ и скрежетъ зубовъ“, и тамъ, какъ здѣсь,—вѣчная мука, вѣчная смерть...

Долго смотрѣла на пламя свѣчи невидящимъ взоромъ, потомъ опустила взоръ и что-то увидѣла. На столѣ—книга, старая, въ потертомъ кожаномъ переплетѣ, хорошо знакомая — французскій переводъ Библіи.

Государь уже много лѣтъ никогда не разставался съ нею, бралъ ее съ собою всюду, въ походы, въ путешествія, и каждый день прочитывалъ одну главу изъ Ветхаго и одну изъ Новаго Завѣта, по расписанію, составленному княземъ Александромъ Николаевичемъ Голицынымъ.

Вспомнила, что намедни Волконскій обѣщалъ ей отыскать и принести эту книгу; должно быть, и приходилъ для этого давеча, несмотря на поздній часъ: спѣшилъ, думая, что ей хочется поскорѣй имѣть ее.

Открыла книгу. Уголки страницъ потемнѣли отъ перелистыванія; на поляхъ — отмѣтки его рукою и кое-гдѣ строки подчеркнуты. Читала, не понимая и не думая о томъ, что читаетъ.

„Истинно, истинно говорю вамъ: наступаетъ время, и настало уже, когда мертвые услышатъ гласъ Сына Божія и услышавши оживутъ“.

— Что это? Что это?—хотѣла и не могла вспомнить; закрыла глаза, прислушалась къ дальнему, однообразно, какъ пчела, гудѣвшему голосу, — и вдругъ вспомнила.

Онъ лежалъ тогда уже въ гробу, но еще не вѣзалъ, на катафалкѣ, а у себя въ комнатѣ; служили

панихиду; былъ ясный день, и лучи солнца падали прямо въ окна, такъ же какъ за два дня до смерти, когда, очнувшись, онъ взглянулъ на окно и сказалъ:

— Какая погода!

И она тогда, на панихидѣ, тоже въ окно взглянула: „это для него такой праздникъ на небѣ!“ — подумала и прислушалась къ тому, что читаетъ священникъ:

— „Аминь, аминь глаголю вамъ, яко грядетъ часъ и нынѣ есть, егда мертвіи услышатъ гласъ Сына Божія и услышавше оживутъ“.

И вдругъ увидѣла, что стоитъ между гробомъ и крышкою гроба, прислоненной къ стѣнѣ: съ нимъ и въ гробу—въ смерти, какъ въ жизни. Обрадовалась, начала молиться, чтобъ въ день воскресенія такъ же стоять, какъ сейчасъ. Молилась и знала, что молитва услышана: такъ будетъ.

„Такъ будетъ!“—хотѣла сказать и теперь, когда прочла эти подчеркнутыя строки въ книгѣ,—но уже не могла, только спрашивала: „будетъ ли, будетъ ли такъ?“ Отвѣта не было, а все-таки ждала отвѣта и знала, что теперь уже недолго ждать...

Съ каждымъ днемъ доктора убѣждались все болѣе, что бальзамированье плохо удалось и что тѣло разлагается. Неотлучно дежурили при немъ одинъ изъ двухъ гофъ-медиковъ, Рейнгольдъ или Доббертъ, чтобы смачивать лицо покойника губкою, напитанной остропахучимъ уксусомъ; чаши, наподобіе урнъ, съ тѣмъ же составомъ стояли у гроба. Но это не помогало. Всѣ окна и двери были закрыты, и отъ горящихъ свѣчей жаръ въ комнату доходилъ до 20-ти градусовъ. Тяжелыя испаренія бальзамической жидкости,

смѣшанныя съ еще болѣе тяжелымъ трупнымъ запахомъ, наводили дурноту; даже мундиры караульныхъ офицеровъ пропахли такъ, что потомъ недѣли три сохраняли запахъ.

Лицо покойника темнѣло, чернѣло и дѣлалось неузнаваемымъ: сами доктора, глядя на эту страшную черную куклу въ царской порфирѣ и золотомъ вѣнцѣ, думали: „кто это?“

Однажды стоявшій на караулѣ Шенигъ указалъ Добберту, когда тотъ поднялъ кисею для примочки лица, что изъ-подъ воротника торчитъ кончикъ галстука. Доббертъ потянулъ, увидѣлъ, что это не галстукъ, а кожа, и въ ужасѣ бросился къ Вилліе.

Думали, думали, и рѣшили заморозить тѣло. Въ это время, послѣ осеннихъ бурь, сразу наступила зима. Открыли окна и двери настежь, поставили подъ гробъ корыто со льдомъ и на стѣнѣ повѣсили градусникъ, чтобы стужа была не менѣе 10-ти градусовъ. Только для панихидъ, вечернихъ и утреннихъ, на которыхъ присутствовала императрица, согрѣвали комнату.

Послѣ смерти государя, бѣдный Егорычъ началъ выпивать съ горя. На выпивкѣ сошлись они съ о. Алексѣемъ Ѳедотовымъ. Послѣ каждой панихиды заходилъ онъ подкрѣпиться къ Егорычу, въ темный, рядомъ съ бывшею государевой уборною, коридоръ-закуту, гдѣ всегда накрытъ былъ столикъ. Выпивали, закусывали, поминая покойника, и вели бесѣду шопотомъ.

— Говорилъ я, будетъ вамъ шишъ подъ носъ!— начиналъ о. Алексѣй своимъ любимымъ изреченіемъ:— не вѣрили мнѣ, а вотъ на мое и выходитъ...

— Отчего же вы такъ полагаете, батюшка, и какой такой шишъ подъ носъ?

О. Алексѣй отвѣчалъ не сразу: сперва выпивалъ рюмку перцовки, закусывалъ горячимъ блиномъ поминальнымъ, выпивалъ еще рюмку дулилки, вторымъ блиномъ закусывалъ; прищуривалъ глаза, подмигивалъ и, наконецъ, шепталъ, наклоняясь къ самому уху Егорыча:

— А во гробѣ кто лежитъ, ты какъ думаешь, а?

Егорычъ, видимо, предчувствуя этотъ вопросъ, начиналъ дрожать и блѣднѣть уже заранѣе.

— Ну, что это, право, отецъ Алексѣй, опять вы за свое! Кому же въ гробѣ лежать, какъ не его величеству, ангелу нашему и благодѣтелю? Надрываете вы сердце мое, не жалѣете меня, сироту...

— Нѣтъ, я тебя жалѣю, я тебя даже очень жалѣю, потому и говорю: смотри, говорю, кого хоронишь, того ли самаго?..

— Какъ же не того? Какъ же не того? Отецъ Алексѣй, помилосердствуйте! Сами же исповѣдывать, причащать изволили...

— Ну, нѣтъ, ты это, братъ, оставь, оставь, говорю, въ это дѣло не путай меня. Въ ту ночь, какъ за мной изъ дворца-то пришли, я того... на третьемъ ввводѣ былъ: у купца Вахрамѣева на свадьбѣ здорово клюкнули. Ежели меня о чемъ спросятъ, я такъ и скажу: ничего, молъ, не помню, знать не знаю, вѣдать не вѣдаю...

— Что вы говорите? Что вы говорите, отецъ Алексѣй?..

— Не я говорю, а поди-ка, послушай, что народъ говоритъ: гласъ народа—гласъ Божій: въ гробу-то не тѣло, кукла-вощанка лежитъ, аль бѣглый солдатъ изъ гошпиталя здѣшняго острожного, а государь будто живъ; извести его хотѣли изверги, а онъ

убѣжалъ, и неизвѣстно гдѣ скрывается,—нынѣ скрывается, а можетъ быть, и явится нѣкогда... О Кузьмичѣ-то, о Ѳедорѣ слышалъ?

— О какомъ, о какомъ еще Ѳедорѣ?.. — началъ Егорычъ и онѣмѣлъ, раскрылъ ротъ, вытаращилъ глаза отъ удивленія, отъ ужаса: вдругъ вспомнилъ предсмертный бредъ государя. — Господи, помилуй! Господи, помилуй! Матерь Царица Небесная!.. — шепталъ, крестясь; ему казалось, что онъ сходить съ ума.

— Ничего, братъ, не робѣй: наше дѣло — сторона, только знай, помалкивай, — утѣшалъ его о. Алексѣй. — А вѣдь ловкую штуку удрали, а? „Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего...“ А гдѣ рабъ, гдѣ царь, — не поймешь. По Писанію, значить, изъ крѣпкаго вышло сладкое, а можетъ, и опять изъ сладкаго выйдетъ крѣпкое да горькое... Вотъ тебѣ и фокусъ-повусъ! Вотъ тебѣ и шишъ подъ носъ!

На третій день по кончинѣ государя, въ таганрогскомъ Успенскомъ соборѣ присягали государю наслѣднику, Константину Павловичу. Въ тотъ же день отправленъ былъ въ нему въ Варшаву курьеръ съ рапортомъ отъ начальника главнаго штаба, генерала Дибича. На пакетахъ надписано: „его императорскому величеству, государю императору Константину Первому“.

Въ Таганрогъ, со дня на день, ждали прибытія новаго императора; особенно ждалъ Волжонскій.

„Я такъ ослабѣлъ, бывъ тринадцать дней и ночей безъ пищи и безъ сна, что едва шатаюсь, — писалъ онъ одному изъ своихъ петербургскихъ пріятелей. — Совершенно одинъ, въ ужасной горести, занимаюсь учрежденіемъ печальной церемоніи. За двѣ

тысячи верстъ отъ столицы, въ углу имперіи, безъ малѣйшихъ способовъ и съ большою трудностью доставать самыя необходимыя вещи, по сему случаю нужныя, за всякою бездѣлицею принужденъ посылать во всѣ стороны курьеровъ. Ежели бы меня здѣсь не было, не знаю, какъ бы сіе пошло, ибо всѣ прочіе совершенно потеряли голову. Съ нетерпѣніемъ ожидаю прибытія императора Константина Павловича, и не знаю, чѣмъ все это кончится“.

Въ меньшей тревогѣ былъ Вилліе.

Однажды, осмотрѣвъ тѣло и выйдя изъ ледяной комнаты, грѣлись они съ Волконскимъ у камина въ бывшемъ кабинетѣ государевомъ.

— Довеземъ, Яковъ Васильевичъ, какъ вы полагаете?—спрашивалъ Волконскій.

— Ежели морозы будутъ, довоземъ, пожалуй; ну, а ежели оттепель, то дѣло дрянъ.

День былъ солнечный; бѣлые цвѣты мороза на окнахъ чуть-чуть оттаяли. Вилліе взглянулъ на нихъ съ досадою: все боялся, что начнется оттепель.

— Вотъ тоже гробъ,—заговорилъ онъ опять:—едва втиснули покойника; извольте-ка упаковать на двѣ тысячи верстъ. Того и гляди, свинецъ раздавить голову... Ну, можно ли дѣлать гроба изъ домовыхъ крышъ?

— Охъ, не говорите!—простоналъ Волконскій.—Чтѣ-то будетъ, чтѣ-то будетъ, Господи!..

— Давно я хотѣлъ вамъ сказать, князь,—продолжалъ Вилліе, помолчавъ:—тутъ по городу ходятъ слухи возмутительные.

— Какіе слухи?

— Повторять гнусно...

— Это насчетъ куклы?

— Вы тоже слышали? Да, насчетъ куклы, и будто бы государь не своею смертию умеръ..

— Ахъ, мерзавцы!—воскликнулъ Волконскій съ негодованіемъ. — Но что же съ ними, дураками, дѣлать?

— Какъ что? Схватить, въ острогъ посадить, выпоротъ, особенно, этого святого-то ихняго, какъ его? Ѳедора... Ѳедора Кузьмича, что ли?

— Да, пожалуй... А вы говорили Дибичу?

— Говорилъ.

— Ну, что же?

— Да вы сами знаете его. Дуется свой пуншъ и ухомъ не ведетъ. „Съ меня, — говоритъ, — и такъ дѣла довольно: некогда мнѣ заниматься бабьими сплетнями“. Но посудите, князь: это чести моей касается и памяти моего благодѣтеля. Я этого такъ оставить не могу. Прошу ваше сіятельство, по прибытіи государя наследника, доложить немедленно...

— Да, да, конечно... Только бы пріѣхалъ! Только бы пріѣхалъ!—простоналъ опять Волконскій.

— А что, развѣ не скоро?

— Ничего неизвѣстно. Курьера за курьеромъ шлю, и все отвѣта нѣтъ. Сегодня и Дибичъ съ минуты на минуту ждетъ. Хотѣлъ быть здѣсь, да что-то не идетъ. Ужъ не послать ли за нимъ?.. А вотъ и онъ, легокъ на поминѣ!

Открылась дверь изъ погребальной залы, и повѣяло оттуда ледяною стужей, какъ будто замороженная муміядохнула смертнымъ холодомъ.

— Ну что, ваше превосходительство, какія новости?—поднялся Волконскій навстрѣчу Дибичу.

Тотъ ничего не отвѣтилъ, подошелъ къ столу, гдѣ всегда стояла для него бутылка рому, налилъ, выпилъ

и тяжело опустился въ кресло у камина. Въ движеніяхъ его, бособокихъ, ползучихъ, какъ у краба, который подъ камень прячется, въ искаженномъ лицѣ („вся рожа на-косо“, — вспоминалъ впоследствии Волконскій), въ рыжихъ волосахъ взъерошенныхъ и въ бѣгающихъ глазкахъ было что-то зловѣщее.

„Ужъ не пьянъ ли?“ — подумалъ Волконскій.

— Какія новости? — проговорилъ, наконецъ, Дибичъ сдавленнымъ голосомъ и разстегнулъ воротникъ мундира, какъ будто задохся. — А вотъ какія: курьеръ изъ Варшавы вернулся ни съ чѣмъ...

— Какъ ни съ чѣмъ?

— А такъ, что поворотъ отъ воротъ: депешы моихъ не распечатали и курьера не приняли, тотчасъ же ночью спровадили вонъ изъ города, запретивъ, чтобы съ кѣмъ-нибудь видѣлся...

— Что вы говорите? Что вы говорите? — воскликнули вмѣстѣ Вилліе и Волконскій.

— Не вѣрите, господа? Я и самъ не повѣрилъ. Да вотъ, прочесть не угодно ли?

Дибичъ подалъ письмо. Волконскій сталъ читать и поблѣднѣлъ.

— Что такое? Что такое, Господи?..

Вилліе тоже прочелъ, и лицо у него вытянулось.

Письмо было отъ великаго князя Константина Павловича. Онъ сообщалъ, что, съ соизволенія покойнаго государя императора, уступилъ право свое на наслѣдіе младшему брату, великому князю Николаю Павловичу, въ силу рескрипта его величества отъ 2 февраля 1822 года.

„Посему ни въ какія распоряженія не могу войти, а получите вы оныя изъ С.-Петербурга, отъ кого слѣдуетъ. Я же остаюсь на теперешнемъ мѣстѣ моемъ

и новаго государя императора такимъ же, какъ вы, вѣрноподаннымъ. А засимъ желаю вамъ лучшаго“.

— Какой же рескриптъ?—спросилъ Вилліе, опомнившись.

— Не могу знать,—отвѣтилъ Дибичъ.

— Государь ничего не говорилъ вамъ?

— Ничего.

— Но послѣдняя воля?..

— Послѣдняя воля его неизвѣстна.

— Какъ же передъ смертью не вспомнилъ?

— Да, вотъ не вспомнилъ, — должно быть, забылъ.

— И вы забыли?

— Я? Нѣтъ, я не забылъ, я имѣлъ честь докладывать его сіятельству неоднократно,—злбно посмотрѣлъ Дибичъ на Волконскаго. Но тотъ ничего не отвѣтилъ: сидѣлъ, какъ въ столбнякѣ.

— Чтò такое? Чтò такое, Господи?..—шепталъ, точно бредилъ; вдругъ вскочилъ, всплеснулъ руками и вскрикнулъ:—а присяга-то какъ же, присяга-то?..

— Ну, что жъ? Вчера присягнули одному, завтра присягнемъ другому. Съ присягой, видно, не церемонятся,—усмѣхнулся Дибичъ, и лицо его еще больше перекаосилось. — Только вотъ приметъ ли Николай Павловичъ корону, это вѣдь тоже еще неизвѣстно... Ну, а пока—междоцарствіе. Государь умеръ, наследника нѣтъ, и неизвѣстно, чья Россія...

Дибичъ всталъ, подошелъ опять къ столу, налилъ и поднялъ стаканъ:

— Честь имѣю поздравить, господа, съ двумя государями... или ни съ однимъ!

И вышелъ. Вилліе хотѣлъ что-то сказать, но Дибичъ остановилъ его:

— Стойте, еще не все, это сюрпризъ — номеръ первый, а вотъ и номеръ второй. Въ бумагахъ покойнаго я нашелъ доносъ о политическомъ заговорѣ обширнѣйшемъ, распространенномъ въ войскахъ по всей имперіи. Не сегодня-завтра начнется революція. Можетъ быть, уже и началось гдѣ-нибудь, а мы тутъ сидимъ и не знаемъ...

— Вотъ тебѣ, бабушка, и Юрьевъ день! — пролепеталъ Волконскій и хотѣлъ еще что-то прибавить, но языкъ отнялся, голова закинулась, лицо помертвѣло: онъ лишился чувствъ.

— Э, чортъ! Этого еще не доставало, — проворчалъ Дибичъ. — Что съ нимъ? Ударъ, что ли?

Когда Вилліе смочилъ ему виски водою, развязалъ галстукъ и далъ понюхать соли, Волконскій очнулся, но размякъ, раскисъ окончательно.

„Калоша старая!“ — подумалъ Дибичъ съ презрѣніемъ.

Вдругъ обѣ половинки двери изъ уборной съ шумомъ распахнулись, высунулась голова Егорыча внезапно, какъ будто нечаянно, но тотчасъ же спряталась, и, шурша шелковой рясой, вошелъ въ комнату о. Алексѣй, такой величавый, благообразный и торжественный, что никто не подумалъ бы, что онъ съ пьянымъ лакеемъ у дверей подслушивалъ. Проходя мимо сидѣвшихъ у камина трехъ собесѣдниковъ, поклонился низко, почтительно. Не до него имъ было, но если бы взглянули пристальнѣе въ лицо его, то увидѣли бы, что онъ усмѣхается въ свою бѣлую бороду такой язвительной усмѣшкой, какъ будто хочетъ сказать:

— Ну, вотъ вамъ и шишъ подъ носъ!

Въ тотъ же день и часъ, выходилъ за таганрогскую заставу, по большому почтовому екатеринославскому тракту, человекъ лѣтъ подь пятьдесятъ, съ котомкой за плечами, съ посохомъ въ рукахъ и образкомъ Спасителя на шеѣ, бѣловурый, плѣшивый, голубоглазый, сутулый, рослый, бравый молодецъ, какіе бывають изъ отставныхъ солдатъ; лицомъ на государя похожъ, „не такъ чтобъ очень, а сходство есть“, какъ самъ покойный говорилъ Егорычу; бродяга бездомный, безпаспортный, родства не помнящій, одинъ изъ тѣхъ нищихъ странниковъ, что по большимъ дорогамъ ходятъ, на построение церквей собирають.

Имя его было Федоръ Кузьмичъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Похоронили?

— Похоронили.

— Какъ же это произошло, Голицынъ, расскажите?

— А вотъ какъ. Вы знаете, Пестель, что *Русскую Правду*, вмѣстѣ съ прочими бумагами, взялъ къ себѣ на храненіе подпоручикъ Заикинъ?

— Знаю: я самъ ихъ отдалъ ему, когда стало извѣстно, что заговоръ открытъ, и я всякую минуту ждалъ, что меня придутъ хватать. Куда же онъ ихъ спряталъ?

— Подъ полъ, у себя въ домѣ, въ мѣстечкѣ Немировѣ, а потомъ зашилъ въ подушку и привезъ въ Тульчинъ. „Дѣлайте, — говоритъ, — съ ними, что знаете, а у меня ненадежно: шпионы завелись, и мыши“...

— Мыши Русскую Правду ѣдятъ, это аллегорія. что ли, Голицынъ?

— Да, Пестель, пожалуй, аллегорія...

— Какъ же вы рѣшили?

— Долго рѣшить не могли: одни говорятъ:

„сжечь“, а другіе: „помилюте, можно ли этакія бумаги жечь? Надо зарыть въ землю“. На томъ и рѣшили. Думали сперва, на Тульчинскомъ кладбищѣ; да тутъ народу много и къ начальству близко. Опять упаковали, отвезли въ село Кирнасовку, что по Балтской дорогѣ, отъ Тульчина верстахъ въ 15-ти; хотѣли на огородѣ или въ полѣ зарыть, но и тутъ опасно: мужики увидятъ, подумаютъ, — кладъ (все кладовъ ищутъ), выроютъ и отнесутъ къ начальству. Опять думали, думали, и рѣшили: на пустырь, подалше, за околицей. Собрались въ Шлёмкину корчму на выѣздѣ, за полночь, точно контрабандисты или фальшивые монетчики, и когда жидъ со своей жи-довкой заснули, — заперлись въ горницѣ и начали укладывать бумаги въ ящикъ, сначала свинцовый артиллерійскій, изъ-подъ пороха, а потомъ — деревянный...

— Значить, два гроба, какъ для важныхъ по-войниковъ?

— Вотъ именно. Ящикъ продолговатый, не очень большой, такъ, въ родѣ дѣтскаго гробика; какъ заби-вать стали крышку гвоздями, очень похоже было, что гробъ заколачиваютъ. А я къ *Русской Правдѣ* и *Катехизисъ* Муравьева приложилъ, на всякій случай: пусть вмѣстѣ найдутъ...

— Вотъ какъ, — значить, мы съ Муравьевымъ вмѣстѣ въ гробу?

— Да, вмѣстѣ... Ну, ящикъ тяжелъ, на рукахъ не снести, положили въ телѣжку и поѣхали. Фо-нарей взяли: ночь темная, зги не видать; снѣгъ ва-лилъ; заблудились... Вы въ тѣхъ мѣстахъ бывали?

— Бывалъ.

— Пустырь — по лѣвую руку отъ Балтскаго

шляха, такъ, въ полуверстѣ, за поповой левадою, у рѣчки Козярихи. Мѣсто дикое, все буераки да чертополохъ. Когда-то тутъ, говорятъ, разбойники вельможную панну зарѣзали; крестъ надъ нею стоитъ; мужики обходятъ, боятся: по ночамъ, будто-бы, панночка изъ гроба встаетъ. Недалеко отъ вреста и вырыли ямку, тоже въ родѣ дѣтской могилки, опустили ящикъ, да какъ засыпать землею начали и первые комья о крышку ударились, — опять совсѣмъ точно гробъ. „Вотъ бы панихидку спѣть: упокой, Господи, душу усопша рабы Твоея!“ — пошутить кто-то. А какъ зарыли, снѣгомъ замело, ровно, гладко, — ничего не видать, — только крестъ...

— Вы, Голицынъ, аллегоріи любите?

— Люблю не люблю, да куда отъ нихъ дѣнешься?.. Ну, такъ вотъ, рядомъ со мною поручикъ Бобрищевъ-Пушкинъ стоялъ; передъ тѣмъ какъ уходить, снялъ шляпу, перекрестился и пожалъ мнѣ руку; ничего мы другъ другу не сказали, но поняли: обѣщали, что сдѣлаемъ все, чтобы мертвая встала изъ гроба...

— Какъ та зарѣзанная панночка?

— Нѣтъ, живая.

— Ну, не скоро дождетесь.

— Пусть не скоро, а все-таки... Помните, Пестель, о горчичномъ зернѣ: когда сѣется, — меньше всѣхъ сѣмянъ, а когда вырастетъ, — больше всѣхъ злаковъ?

— Опять аллегорія? Ну, полно, давайте-ка лучше о другомъ...

Разговаривали тамъ же, въ кабинетѣ Пестеля, во флигелѣ опустѣлаго княжескаго дома, въ Линцахъ, гдѣ и тогда, въ первый разъ, два съ половиной мѣ-

сяца назадъ. Голицынъ исполнилъ свое обѣщаніе захватить въ Пестелю, послѣ Лещинскаго лагеря—только теперь, въ послѣднихъ числахъ ноября.

Въ кабинетѣ все было попрежнему: князя Сангушко, дѣды и прадѣды, съ почернѣлыхъ полотенъ слѣдили такъ же зловѣще и пристально, какъ будто зрачки свои тихонько поворачивали, за тѣмъ, кто смотрѣлъ на нихъ; такъ же пахло мышами и сыростью; такая же тоска и одиночество.

Лампа тускло горѣла. Каминъ потухалъ. На дворѣ мела метелица; снѣжные столбы проносились мимо оконъ, какъ блѣдные призраки, и старыя деревья сада шумѣли, гудѣли, махали вѣтвями, какъ руками—въ отчаяніи.

Слушая вой вѣтра въ каминѣ, Голицынъ вспоминалъ, какъ, ѣдучи въ Линцы, заблудился, едва не замерзъ, а ямщикъ, старый казакъ Радько, подъ вой бурана, а можетъ быть, и волчій вой, сказывалъ ему сказку о св. Юрѣ — Егорѣ, волчьемъ хозяинѣ, который бьетъ нечистую силу громовыми стрѣлами, а волки ему помогаютъ, — жрутъдохлыхъ чертей: „а если бы ихъ громъ не билъ, да волки не ѣли, то ихъ бы таково расплодилось, что и свѣту не было-бъ видно“...

— Какъ бы не забыть, кстати: тутъ у меня еще кое-какія бумажонки есть,—проговорилъ Пестель и, выдвинувъ ящикъ стола, вынулъ пачку бумагъ.—Ну, ужъ эти безъ похоронъ обойдутся,—прямо въ огонь!

Началъ кидать въ каминъ, одну за другою. Пламя вспыхнуло, и блѣдные призраки прильнули къ стекламъ, какъ будто заглянули въ комнату слѣплыми очами. Вѣтеръ вылъ въ трубѣ, какъ стая голодныхъ волковъ. „Юркины волки жрутъдохлыхъ чертей“,—

подумалъ Голицынъ. — Какая тоска, какое одиночество!

— Вы тутъ всю зиму пробудете, Пестель?

— Всю зиму.

— Не скучно?

— Нѣтъ, ничего, привыкъ. Нынче зима, слава Богу, стала ранняя. Вотъ замететь сугробами, — ни мы никуда, ни къ намъ ниоткуда. Хорошо, спокойно: какъ медвѣдь въ берлогѣ, буду сидѣть, лапу сосать, себя познавать, по совѣту оракула. Новую *Русскую Правду* сочинить можно: я буду сочинять, а вы — хоронить, — такъ жизнь и пройдетъ, не замѣтишь...

Голицынъ посмотрѣлъ на него внимательно: здоровъ, лихорадки нѣтъ, но какъ будто еще больше осунулся, и лицо опять, какъ тогда, — недвижимое, застывшее, похожее на маску.

Разговоръ не клеился: каждый думалъ о своемъ и чувствовалъ, что другой тоже о своемъ думаетъ. И обоимъ было неловко, какъ въ одной постели двумъ раненымъ: не пошевелиться бы, не сдѣлать себѣ или другому больно.

Пестель вяло спрашивалъ о Лещинскомъ лагерѣ, о соединеніи Славянъ съ Южными, о клятвѣ.

— И вы клялись, Голицынъ?

— Клялся.

— Зачѣмъ же, если нельзя исполнить?

— Почему нельзя?

— Вы сами знаете: нельзя сдѣлать второго шага безъ перваго, — пока государь живъ, никто не начнетъ... А вы опять торопитесь, Голицынъ. погостить у меня не хотите?

— Не могу, ѣхать надо.

— Экій непосѣда! Куда же теперь?

— Въ Кіевъ.

Пестель посмотрѣлъ на него въ упоръ, какъ будто хотѣлъ что-то сказать, но не сказалъ. Голицынъ потушился. Опять замолчали съ осторожностью, съ неловкостью.

— Одного я въ толѣ не возьму, — началъ Пестель послѣ молчанія: — почему не арестуютъ насъ? Мы тутъ сидимъ и дрожимъ, бумаги жжемъ, хорошимъ, а можетъ быть, все попусту. Вѣдь, вотъ уже три мѣсяца, какъ заговоръ открытъ, и сколько доносчиковъ—Шервудъ, Виттъ, Майборода (да, и онъ, вы были правы), — а всѣ цѣлы, ни одного ареста. Чего-жъ они ждутъ? О чемъ думаютъ? Ловушка, хитрость или... или сумасшествіе?.. Помните, Голицынъ, вы говорили тогда, что идти къ государю съ повинною, ждать отъ него милости—не подлость, а просто сумасшествіе?..

Опять не кончилъ, замолчалъ, какъ будто о чемъ-то задумался, и началъ о другомъ:

— А государь очень былъ боленъ?

— Онъ и теперь боленъ.

— Кажется, лучше теперь?

— Нѣтъ, опять хуже.

— Развѣ? Ну, все равно, будетъ здоровъ. Маленькая лихорадка, пустяки...

Пестель бросилъ въ огонь послѣдній листокъ; онъ догорѣлъ; догорала и лампа: должно быть, масло кончилось. Все чернѣе черныя тѣни въ углахъ, все блѣднѣе блѣдные призраки въ окнахъ.

Дверь изъ кабинета въ сосѣдную большую темную комнату была открыта, и оттуда слышались, какъ всегда по ночамъ въ опустѣлыхъ домахъ, сла-

бые шорохи, шопоты, шелесты, трескъ и скрипъ половицъ, какъ будто ходилъ по нимъ кто-то, крадучись.

— Мыши, да дерево сухое отъ погоды скрипитъ, — сказалъ Пестель, когда Голицынъ оглянулся на одинъ изъ этихъ шороховъ. — Савенко говорить, — привидѣнія, но я ничего не видѣлъ. А дверь открываю нарочно: ежели закрыть, то кажется все, что кто-то подслушиваетъ... шпионы, „шпигоны“. Должно быть, отъ нечистой совѣсти...

А лампа все гасла да гасла; пламя задрожало, вспыхнуло въ послѣдній разъ и потухло; только слабый отблескъ догоравшаго камина освѣщалъ комнату.

— Эй, Савенко, Савенко! — крикнулъ Пестель. — Сколько разъ говорилъ я тебѣ, чтобы на ночь лампу доливалъ! Не слышать, подлецъ, теперь его не разбудишь и пушками...

— Послушайте, Пестель, — вдругъ началъ Голицынъ, какъ будто въ темнотѣ легче стало говорить, чѣмъ при свѣтѣ, — я вамъ давеча неправду сказалъ: я ѣду не въ Кіевъ...

— А куда же?

— Въ Таганрогъ.

— Въ Таганрогъ? Къ государю?

— Да, къ государю.

— Вотъ что! — удивился Пестель, но какъ будто не очень. Лица его Голицынъ почти не видѣлъ, но слышалъ по голосу, что онъ усмѣхается.

Курьеръ, отправленный Дибичемъ по повелѣнію государя, долго не могъ отыскать Голицына, потому что тотъ все время былъ въ разъѣздахъ — въ Тульчинѣ, въ Житомирѣ, въ Кіевѣ, — а когда отыскалъ, наконецъ, въ с. Кирнасовѣ, то не хотѣлъ отпу-

ститъ, требуя, чтобы онъ ѣхалъ съ нимъ. Но генералъ Юшневскій поручился за него, и вурьеръ по-скакалъ впередъ, а Голицынъ выѣхалъ вслѣдъ за нимъ тотчасъ же, и, хотя Линцы были ему не по дорогѣ,—не захотѣлъ нарушить слова, даннаго Пестелю, заѣхать къ нему еще разъ передъ началомъ дѣйствій, а что теперь начало или конецъ всего, — предчувствовалъ.

— Такъ вотъ что, въ Таганрогъ, къ государю,—повторилъ Пестель все съ тою же усмѣшкою въ голосъ. — Отчего же раньше не сказали? Чудаки мы съ вами, право: точно въ жмурки играемъ. А вѣдь я зналъ, Голицынъ, что вы въ Таганрогъ ѣдете...

— Знали, Пестель?

— Ну, пожалуй, и не зналъ, а такъ, будто предчувствовалъ. Съ этимъ и ждалъ васъ, все думалъ объ этомъ, только объ этомъ и думалъ. Вѣдь мы того разговора не кончили, о подлости... или сумасшествіи. А надо бы кончить,—не подлецы же мы съ вами, въ самомъ дѣлѣ, и не сумасшедшіе. А ужъ если непременно одно изъ двухъ, такъ пусть лучше сумасшедшіе, не такъ ли, а?..

Голицынъ молчалъ и, не глядя на Пестеля, чувствовалъ, что взоръ его тяжелѣетъ на немъ невыносимою тяжестью.

— Ну, такъ вотъ что, Голицынъ, — началъ онъ вдругъ измѣнившимся голосомъ:—поѣдьте вмѣстѣ...

— Вмѣстѣ? Куда?

— Въ Таганрогъ.

— Зачѣмъ?

— Будто не знаете?..

Голицынъ зналъ,—но вдругъ стало ему страшно, какъ во снѣ; все хотѣлъ и не могъ вспомнить что-то

о Софьѣ, о государѣ и о томъ, что мучило всѣ эти мѣсяцы: „убить надо, но пусть не я, а другой“.

— Вы тогда сказали, — продолжалъ Пестель, — что мы съ вами квиты: оба знаемъ, что надо дѣлать, и не дѣлаемъ, не можемъ, — значитъ, подлецы оба. Но вѣдь это вы сказали мнѣ изъ жалости, а себѣ не скажете?.. Ну, не надо, не надо, ничего не будемъ рѣшать, — только вмѣстѣ поѣдемъ, посмотримъ, попробуемъ... Не отказывайте, Голицынъ, не отказывайте! — повторялъ онъ съ мольбою грозящей, и взоръ его все тяжелѣлъ, тяжелѣлъ невыносимою тяжестью. — Не хотите?.. — прошепталъ и приблизилъ лицо къ лицу его.

„Если онъ сейчасъ въ лицо мнѣ плюнетъ, то будетъ правъ“, — подумалъ Голицынъ.

— Хорошо, поѣдьте, — сказалъ и почувствовалъ, что не только сказано, но и сдѣлано что-то невозвратимое: убьетъ или не убьетъ, — все равно что убилъ.

— Ну, славу Богу, славу Богу! Я такъ и зналъ, что не откажете, — вздохнулъ Пестель съ облегченіемъ.

И опять молчаніе, только волчій вой въ трубѣ да въ сосѣдней комнатѣ — шелесты, шорохи, шопоты, трескъ и скрипъ половицъ, какъ будто ходитъ кто-то, крадучись. Шаги слышались такъ явственно, что оба вдругъ оглянулись и увидѣли, что кто-то, весь въ бѣломъ, стоитъ въ дверяхъ: не одинъ ли изъ тѣхъ блѣдныхъ призраковъ, что проносились мимо оконъ, вошелъ въ домъ?

— Кто это? Кто это? — вскрикнули оба.

— Это вы, Пестель? — сказалъ по-французски стоявшій въ дверяхъ.

— Э, чортъ тебя побори, мой милый! Вотъ напугалъ... Я ужъ думалъ, привидѣніе, — смѣясь, отвѣтилъ Пестель тоже по-французски.

Голицынъ узналъ князя Александра Ивановича Барятинскаго, лейбъ-гвардіи гусарскаго полка штабъ-ротмистра, члена Тульчинской Управы Южнаго Тайнаго Общества.

Внезапному появленію гостя хозяинъ не удивился. „Онъ и стакана воды не можетъ выпить иначе, какъ съ видомъ заговорщика“, — говорилъ въ шутку о Барятинскомъ. Пріѣзжая часто въ Линцы къ Пестелю, тотъ всегда останавливался въ томъ же домѣ, но въ другомъ флигелѣ, съ отдѣльнымъ ходомъ; у него былъ свой ключъ. Только что пріѣхалъ и вошелъ потихоньку, чтобъ не будить прислуги.

— Ну, входи же, входи, раздѣвайся. Ты очень встать: я ужъ хотѣлъ посылать за тобою. Знакомы, господа? Князь Валерьянъ Михайловичъ Голицынъ...

— Какъ же, у Юшневскаго встрѣчались, — отвѣтилъ Барятинскій, снимая шапку, шубу, шарфъ и валенки — все запушенное снѣгомъ такъ, что, въ самомъ дѣлѣ, похоже было на привидѣніе.

Барятинскій былъ красавецъ нѣсколько восточнаго облика; человѣкъ свѣтскій, адъютантъ главнокомандующаго, графа Витгенштейна, поэтъ, математикъ, философъ-безбожникъ и республиканецъ отъявленный; очень добрый и не очень умный, Пестелю былъ преданъ такъ, что если бы тотъ и въправду мечталъ „сдѣлаться императоромъ“, какъ многіе думали, Барятинскій не возмутился бы.

— Что это вы, господа, въ темнотѣ сидите? — удивился онъ.

— Да вотъ лампа потухла, а денщикъ спитъ, —

не разбудишь. Тутъ гдѣ-то свѣча, посмотри, — сказалъ Пестель.

Барятинскій отыскалъ свѣчу на столѣ, вышелъ въ переднюю и осторожно, такъ, чтобы не будить храпѣвшаго Савенко, зажегъ свѣчу о теплившійся въ углу ночникъ.

— Господа, важныя новости! — началъ онъ, вернувшись въ кабинетъ. Вообще заикался (его такъ и прозвали Заика, Le Bègue), а теперь особенно, должно быть, отъ волненія. Долго не могъ выговорить, наконецъ, произнесъ: — скончался... государь скончался...

— Что ты говоришь? Не можетъ быть! — воскликнулъ Пестель съ тѣмъ удивленіемъ, которое всегда рождается въ людяхъ внезапная вѣсть о смерти.

— Государь скончался? — все еще не вѣрилъ и удивлялся онъ. — Да правда ли? Откуда ты знаешь?

— Вчера, въ 9 часовъ вечера, въ штабъ получено извѣстіе съ курьеромъ изъ Таганрога отъ генерала Дибича.

— Странно, странно! — сказалъ Пестель тихо и какъ будто задумчиво. — Мы тутъ только что о немъ, — и вдругъ... Ужъ не аллегорія ли тоже, Голицынъ, а?

Голицынъ ничего не отвѣтилъ, поблѣднѣлъ и закрылъ лицо руками. Наконецъ-то, вспомнилъ онъ то, что хотѣлъ и не могъ вспомнить.

Дача Нарышкиныхъ по Петергофской дорогѣ; ясное утро; тишина, какая бываетъ только раннею весною на пустынныхъ дачахъ; щебетъ птицъ, скрежетъ грабли, далекій-далекій топоръ, — должно быть, рыбакъ чинитъ лодку на взморьѣ. Уютная комнатка — „настоящее гнѣздышко любви, *nid d'amour* для моей бѣдненькой, бѣдненькой дѣвочки“, — какъ говорила Марья

Антоповна. Открыта дверь на балконъ; запахъ весенняго утра березовыхъ почекъ, смѣшанный съ душистымъ запахомъ лѣкарствъ. Онъ стоитъ передъ Софьей на колѣняхъ; она наклонилась и шепчетъ ему на ухо:

— „Намедни-то что мнѣ приснилось. Будто мы входимъ съ тобой въ эту самую комнату, а у меня на постели кто-то лежитъ, лица не видать, съ головой покрытъ, какъ мертвецъ саваномъ. А у тебя въ рукахъ будто ножъ, убить хочешь того на постели, крадешься. А я думаю: что если мертвъ?— живыхъ убивать можно,—но какъ же мертваго? Крикнуть хочу, а голоса нѣтъ; только не пускаю тебя, держу за руку. А ты разсердился, оттолкнулъ меня, бросился, ударилъ ножомъ... саванъ упалъ... Тутъ мы и увидѣли, кто это“...

— Убить мертваго, убить мертваго!—прошепталъ Голицынъ, очнувшись, медленно, медленно поднялъ руку,—она была тяжела, какъ во снѣ,—и перекрестился.

Барятинскій, въ волненіи, бѣгая по комнатамъ и заикаясь отчаянно, рассказывалъ.

Еще наканунѣ жида въ Тульчинѣ, на базарѣ, говорили о кончинѣ государя. Никто имъ не вѣрилъ, но что происходитъ что-то неладное, чувствовали всѣ, потому что не было дня, чтобы въ Варшаву и обратно не проскакало три-четыре фельдъегеря. Когда же, наконецъ, извѣстіе получено было въ штабъ съ курьеромъ отъ Дибича,—велѣно приводить войска къ присягѣ Константину. Но это еще не вѣрно: ходятъ слухи, будто бы Константинъ отрекся, и, по секретному завѣщанію императора, законный наследникъ—младшій братъ, Николай. Ежели войска присягнутъ и потомъ присяга объявлена будетъ недействительной, то неизвѣстно, чѣмъ все это кончится.

— Такого случая и въ 50 лѣтъ не дождемся, — заключилъ Бяратинскій: — если и его потеряемъ, то подлецами будемъ!

— Вы что думаете, Голицынъ? — спросилъ Пестель.

— Думаю, что всегда думалъ: начинать надо.

— Ну, что-жъ, съ Богомъ! Начинать такъ начинать! — проговорилъ Пестель и улыбнулся; лицо его, какъ всегда, отъ улыбки помолодѣло, похорошѣло удивительно.

И, взглянувъ на него, Голицынъ почувствовалъ, что неимоверная тяжесть, которая давила его всѣ эти мѣсяцы, вдругъ упала съ души.

Принялись обсуждать планъ дѣйствій. Рѣшили такъ: Пестель съ Бяратинскимъ ѣдутъ въ Тульчинъ, чтобы приготовить членовъ тамошней Управы; Голицынъ — въ Петербургъ, чтобы постараться соединить Сѣверныхъ съ Южными, что теперь нужнѣе, чѣмъ когда-либо. Пестель былъ увѣренъ, что въ Петербургѣ начнется.

— Вы, господа, тамъ начинайте, а мы здѣсь: когда въ Тульчинѣ караулы займетъ Вятскій полкъ, арестуемъ главную квартиру, начальника штаба и главнокомандующаго, — этимъ и начнемъ...

— Мятежныя войска пойдутъ сначала на Кіевъ, потомъ на Москву и Петербургъ. Съ первыми успѣхами возстанія Синодъ и Сенатъ, если не подчинятся добровольно, принуждены будутъ силою издать два манифеста: первый — отъ Синода, съ присягой временному верховному правленію изъ директоровъ Тайнаго Общества; второй — отъ Сената, съ объявленіемъ будущей республики.

Проговорили всю ночь до утра. Къ утру вьюга

затихла; солнце встало, ясное. Замерзшія окна по-голубѣли, порозовѣли; солнце заиграло въ нихъ,—и вспомнилось Голицыну, какъ на сходѣ у Рылѣва, слушая Пестеля, онъ сравнивалъ мысли его съ ледяными кристаллами, горящими луннымъ огнемъ: не загорятся ли они теперь уже не мертвымъ, луннымъ, а живымъ огнемъ, солнечнымъ?

Въ передней денщикъ завозился: топилъ печку и ставилъ самоваръ.

— Хотите чаю?—предложилъ Пестель.

— Шампанскаго бы выпить на радостяхъ,—сказалъ Барятинскій. — Эй, Савенко, сбѣгай, братецъ, отыщи у меня въ возкѣ кулекъ съ бутылками.

Савенко принесъ двѣ бутылки. Откупорили, налили. Барятинскій хотѣлъ произнести тостъ.

— За во-во...—началъ заикаться; хотѣлъ сказать: за вольность.

— Не надо, — остановилъ его Голицынъ: — все равно, не сумѣемъ сказать, такъ лучше выпьемте, молча...

— Да, молча, молча!—согласился Пестель.

Подняли бокалы и сдвинули, молча.

Когда выпили, Голицынъ почувствовалъ, что безъ вина были пьяны еще давеча, когда говорили о предстоящихъ дѣйствіяхъ; не потому ли говорили о нихъ съ такою легкостью, что пьяному и море по колено? „Ну, что-жъ, пусть, — подумалъ онъ, — въ винѣ — правда, и въ нашемъ винѣ—правда вѣчная“...

Солнце въ замерзшихъ окнахъ играло, какъ золотое вино. Но онъ зналъ, что недолго зимній день и скоро будетъ золотое вино алою кровью.

— Лошади поданы, ваше сіятельство,—доложилъ Савенко.

Голицынъ сталъ прощаться. Пестель отвелъ его въ сторону,

— Помните, какъ вы прочли мнѣ изъ Евангелія: „женщина, когда рождаетъ, тернитъ скорбь; потому что пришелъ часъ ея, но когда родитъ младенца, уже не помнитъ скорби отъ радости“. Нашъ часъ пришелъ. Я себя не обманываю: можетъ быть, все, что мы говорили давеча,—вздоръ: погибнемъ и ничего не сдѣлаемъ... А все-таки радость будетъ, будетъ радость!

— Да, Пестель, будетъ радость!—отвѣтилъ Голицынъ.

Пестель улыбнулся, обнялъ его и поцѣловалъ.

— Ну, съ Богомъ, съ Богомъ!

Вынулъ что-то изъ шкатулки и сунулъ ему въ руку.

— Вы сестры моей не знаете, но мнѣ хотѣлось бы, чтобъ вы вспоминали о насъ обоихъ вмѣстѣ...

Въ рукѣ Голицына былъ маленькій кошелекъ вязаный, по голубой шерсти бѣлымъ бисеромъ вышито: Sophie.

Вышли на крыльцо.

— Значитъ, прямо въ Петербургъ, Голицынъ?—спросилъ Бятыинскій.

— Да, въ Петербургъ, только въ Васильковъ къ Муравьеву заѣду.

— По первопутку, пане! На осьмущечку бы съ вашей милости,—сказалъ ямщикъ.

Пестель въ послѣдній разъ обнялъ Голицына.

— Ну, съ Богомъ, съ Богомъ!

Голицынъ усѣлся въ возокъ.

— Готово?

— Готово, съ Богомъ!

Возокъ тронулся, полозья заскрипѣли, колокольчикъ зазвенѣлъ.

— Эй, кургузка, пять верстъ до Курска!—свиснулъ ямщикъ, помахивая кнутикомъ.

Тройка понеслась, взрывая на гладкомъ снѣгу дороги неѣженной двѣ колен пушистыя. Беззвучный бѣгъ саней былъ какъ полетъ стремительный, и морозно-солнечный воздухъ пьянилъ, какъ золотое вино.

Голицынъ снялъ шапку и перекрестился, думая о предстоящей великой скорби, великой радости:

— Съ Богомъ! Съ Богомъ!

К О Н Е Ц Ъ .

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	СТР.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.	
Глава первая	8
„ вторая	16
„ третья	33
„ четвертая	49
„ пятая	83
ЧАСТЬ ПЯТАЯ.	
Глава первая	103
„ вторая	118
„ третья	187
„ четвертая	156
„ пятая	186
„ шестая	206
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ.	
Глава первая	235
„ вторая	259
„ третья	289
„ четвертая	306
„ пятая	328

YC 573331

GENERAL LIBRARY - U.C. BERKELEY



B000817322

M237056

836
M551
173

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

